

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ 2007

ДОРИС
ЛЕССИНГ

ВЕЛИКИЕ МЕЧТЫ



издательство
амфора

Annotation

Роман «Великие мечты» представляет собой эпохальное полотно, рассказывающее о жизни трех поколений англичан и затрагивающее множество проблем: положение женщин в современном мире, национально-освободительное движение в Африке, борьба со СПИДом.

Один из лучших романов знаменитой английской писательницы Дорис Лессинг, лауреата Нобелевской премии за 2007 год.

- - [Великие мечты](#)
 - [От автора](#)
 -
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
-

С благодарностью моему редактору в издательстве «Фламинго» Филиппу Гвайну Джонсу и моему агенту Джонатану Клоузу, которому я очень признательна за добрые советы и критику, а также Энтони Ченнелзу за помощь в том, что касалось Римско-католической церкви.

Великие мечты

И люди, бывшие
милыми детьми, уходят.

От автора

Я не пишу третий том автобиографии, потому что он мог бы причинить боль ранимым людям. Это не означает, что перед вами романизованная автобиография. Здесь нет параллелей с реальными людьми, за исключением одного второстепенного персонажа. Надеюсь, мне удалось воссоздать дух, в частности, шестидесятых, того противоречивого времени, которое теперь, когда оглядываешься назад и сравниваешь с тем, что пришло позднее, кажется удивительно невинным. В них еще не было непристойности семидесятых и холодной жадности восьмидесятых.

Некоторые из включенных в книгу событий описаны как случившиеся в конце семидесятых и начале восьмидесятых, тогда как на самом деле они имели место декадой позже. Участники кампании за ядерное разоружение обвиняли правительство в том, что оно не делало ничего, чтобы уберечь население от последствий ядерной атаки или ядерной катастрофы, хотя именно защита населения является первейшей обязанностью государства. С людьми, которые считали, что народ необходимо защищать, обращались как с врагами, их подвергали вербальным нападкам (причем слово «фашист» было еще самым мягким выражением) и даже физическому насилию. Угрозы расправы... неприятные субстанции, бросаемые в почтовый ящик... — словом, весь ассортимент грязного давления. Никогда не было еще столь истеричной, шумной и иррациональной кампании. Студенты, изучающие динамику массовых движений, могут легко найти все это в газетных архивах. Они присылают мне письма, которые в целом сводятся к одному и тому же: «Но ведь это же безумие. Неужели люди не понимали очевидного?»

Был ранний осенний вечер, и улица под окном являла собой скопление мелких желтых огней, предполагавших интимный уют, и люди уже надели теплое в преддверии зимы. Комната за спиной Фрэнсис наполнялась зябкой темнотой, но ничто не приведет ее в уныние: она парила, высоко, как летнее облако, счастливая, как дитя, только что научившееся ходить. Причиной этой непривычной легкости на душе была телеграмма от ее бывшего мужа Джонни Леннокса — товарища Джонни, — полученная три

дня назад. «ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ ФИЛЬМ ФИДЕЛЕ ВСЕ ДОЛГИ ТЕБЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». Сегодня было воскресенье. Она знала: это «все долги» привели ее в состояние, близкое к экстазу. Разумеется, не могло быть и речи о том, что Джонни заплатит всё, что задолжал к настоящему моменту, поскольку сумма была уже так велика, что даже не имело смысла подсчитывать. Но он, похоже, рассчитывает получить действительно большие деньги, раз так уверен. Повеяло легким холодком — дурное предчувствие? Уверенность была его... нет-нет, Фрэнсис не должна говорить «коньком», даже если ей часто так казалось. И все-таки разве припомнит она хоть один случай, когда бы Джонни смутился или пришел в замешательство?

На столе лежали два письма — бок о бок, словно жизнь напоминала таким образом о невероятных, но столь частых драматических совпадениях. В первом письме ей предлагали роль в спектакле. Фрэнсис Леннокс была надежной, ровно играющей второстепенной актрисой, и от нее никогда не ожидали чего-то большего. А эта роль была в прекрасной новой пьесе для двух актеров, и ее партнером должен был стать сам Тони Уайльд, который до сих пор представлялся ей недостижимой звездой, и Фрэнсис даже мечтать не могла о том, чтобы их имена стояли рядом на афише. И это он сам попросил, чтобы вторую роль отдали ей. Два года назад они играли в одном спектакле, где Фрэнсис, как обычно, досталась роль заднего плана. Спектакль быстро сняли с репертуара (он не пользовался успехом), но в последний вечер, когда они, взявшись за руки, шагали по сцене взад и вперед, выходя на поклон, Фрэнсис услышала: «Отличная работа, хорошо сыграно». Улыбка с вершины Олимпа, так она подумала тогда и выбросила Уайльда из головы, хотя догадывалась о его интересе к ней. А вот сейчас Фрэнсис отдалась всевозможным мечтам (что не сильно удивило ее, ведь никто лучше нее самой не знал, как плотно задраена ее душа, как жестко контролируются все ее эротически порывы). На этот раз Фрэнсис не смогла помешать своему воображению, которое рисовало ее талант — у нее ведь все еще сохранился талант? — раскрывшимся в полную меру, для чего ему просто нужно было дать волю, и, получая от этих бесшабашных картин удовольствие, она одновременно демонстрировала, что смогла бы сделать на сцене, если бы только ей предоставили такую возможность. Но в маленьком театре, в рискованной постановке Фрэнсис не могла рассчитывать на большие деньги. Без той телеграммы от Джонни она бы не позволила себе роскоши сказать «да».

В другом письме ей предлагали место в газете «Дефендер» в качестве «мудрой тетушки» (имя еще предстояло выбрать) — хорошо оплачиваемое,

стабильное место. Оно стало бы продолжением другой линии в ее карьере — журналистской, той, которая и давала ей основные средства на жизнь.

Уже много лет Фрэнсис писала на самые разные темы. Поначалу она пробовала свои крылья в местных газетах и газетках, везде, где ей согласны были заплатить. Потом, незаметно для себя, она стала писать серьезные статьи, и они появились в национальной прессе. Со временем Фрэнсис заработала себе имя крепкими, сбалансированными очерками, которые порой проливали неожиданный и оригинальный свет на текущие события.

Она справится с этой работой. Для чего еще и сгодится ее опыт, как не для вдумчивого рассмотрения проблем других людей? Но согласие принять эту работу не доставило бы Фрэнсис ни капли удовольствия, не подарило бы ей ощущения, что она пробует что-то новое. Скорее, ей придется напрячься и сжать челюсти, словно подавляя зевок.

До чего же ее утомили все эти проблемы, израненные души, беспризорные и одинокие, как чудесно было бы сказать: «Всё, попробуйте сами позаботиться о себе, а я каждый вечер буду в театре и днем по большей части тоже». (И снова холодный тычок в бок: «Ты что, потеряла разум?» Да, и наслаждаюсь каждым мгновением!)

Верхушка дерева, все еще покрытая летней листвой, хотя и поредевшей, поблескивала в свете, падавшем из окон двумя этажами выше — из комнат старухи. Этот свет выхватывал из мрака ночи резвые колебания листьев, почти зеленых — цвет подразумевался. Значит, Юлия дома. Впуская в свои мысли свекровь (бывшую свекровь), Фрэнсис открыла дверь и привычному напряжению: из-за неодобрения, которое ощутимо просачивалось к ней через перекрытия дома. Но помимо этого появилось и что-то еще, в чем Фрэнсис стала отдавать себе отчет только в последнее время. Юлия могла лечь в больницу, могла вообще умереть, и Фрэнсис пришлось задуматься над тем, как сильно она зависела от старой женщины. Положим, Юлии не станет. И что тогда Фрэнсис будет делать? Что все они будут делать?

Вообще-то все называли ее старухой, и Фрэнсис в том числе, вплоть до недавнего времени. А вот Эндрю — нет. И еще она заметила, что Колин тоже начал называть бабушку Юлией.

Три комнаты над головой Фрэнсис, над тем местом, где она сейчас стояла, и под жилищем Юлии занимали их с Джонни Ленноксом сыновья: Эндрю, старший, и Колин, младший.

У самой Фрэнсис тоже было три комнаты: спальня, кабинет и еще одна, где вечно кто-нибудь ночевал, и она слышала, как Роуз Тримбл однажды спросила: «И зачем ей нужны целых три комнаты? Она просто

эгоистка».

Никто не говорил: «Зачем Юлии целых четыре комнаты?» Весь дом принадлежал ей. В этом древнем перенаселенном доме, где люди приходили и уходили, спали на полу, приводили друзей, чьих имен Фрэнсис зачастую не знала, на самом верху существовала чужеродная зона. Там царил порядок, там сам воздух, казалось, был окрашен в нежно-лиловый цвет и благоухал фиалками, там в шкафах хранились полувековой давности шляпы с вуалями, и стразами, и цветами и костюмы такого покроя и из такого материала, каких сейчас нигде уже не найдешь. Юлия Леннокс спускалась по лестнице, ходила по улице с прямой спиной, в перчатках (их у нее были десятки пар), в безупречных туфлях, шляпах, пальто сиреневых, серых, лиловых тонов, окруженная аурой цветочных эссенций. «Откуда она берет эти наряды?» — недоумевала Роуз; ну просто не укладывалось в ее голове, что одежду можно хранить годами, а не выбрасывать через неделю после того, как она была куплена.

Под владениями Фрэнсис находилась гостиная, которая шла от фасада до задней стены дома, и там, обычно на безразмерном диване, проходили жаркие доверительные беседы подростков, пара на пару, или, если приоткрыть дверь с осторожностью, на диване можно было увидеть сразу до полудюжины подростков, скучившихся, как новорожденные щенята в одной корзине.

Гостиная не использовалась в полной мере, по большей части она пустовала. Центром жизни всего дома была кухня. Только во время различных празднований гостиная оправдывала свой размер. Но праздники устраивались редко, потому что юные обитатели дома предпочитали ходить на дискотеки и концерты поп-музыки. Хотя, надо заметить, они с трудом отрывали себя от кухни и особенно от большого кухонного стола, которым, сложенным наполовину, в свое время пользовалась Юлия — еще когда устраивала приемы, как она выражалась.

Теперь стол стоял всегда раскрытый полностью, окруженный шестнадцатью, а то и двадцатью стульями и табуретками.

Квартира в цокольном этаже была просторной, и частенько бывало, что Фрэнсис понятия не имела, кто на этот раз разбил там лагерь. Спальные мешки и одеяла усеивали пол, напоминая берег после шторма. Фрэнсис чувствовала себя настоящей шпионкой, когда спускалась туда. Помимо требования, чтобы помещения содержались в порядке и чистоте (иногда с «детворой» случались приступы хозяйственности; впрочем, проходили они практически бесследно), Фрэнсис не считала себя вправе вмешиваться в жизнь нижней квартиры. Юлию подобные соображения,

очевидно, не сдерживали, и она спускалась по узкой лесенке, останавливаясь, обозревая сцену: спящих до середины дня подростков, грязные чашки на полу, горы пластинок, радиоприемники, сваленную в кучи одежду, — разворачивалась медленно и с суровым видом, несмотря на вуальки и перчатки, и приколотую к запястью розу, и, поняв по чьей-то напрягшейся спине или нервно вскинувшейся голове, что ее присутствие было замечено, она так же медленно поднималась по ступеням, оставляя за собой в затхлом воздухе аромат цветов и дорогой пудры.

Фрэнсис высунулась из окна, чтобы посмотреть: не льется ли на крыльцо свет из окон кухни. Да, свет горит, и значит, они уже там, ждут ужин. Кто именно у них в гостях сегодня? Скоро она узнает. В этот момент из-за угла появился маленький «фольксваген жук», аккуратно остановился перед домом, и из машины вышел Джонни. И сразу же три дня глупых мечтаний растаяли. Она подумала: «Я сошла с ума, я вела себя как идиотка. С чего я взяла, будто что-то изменится?» Даже если фильм не выдумка, для нее и детей денег все равно не нашлось бы, как обычно... но ведь он же сказал, что подписан контракт?

Пока Фрэнсис, с трудом передвигая ноги, направлялась к кухне, по пути остановившись у стола, где лежали два судьбоносных письма, пока она добралась до двери, по-прежнему не торопясь, и начала спускаться по лестнице, последние три дня стерлись из ее души, как будто их никогда и не было. Она не будет играть в спектакле и не будет наслаждаться интимной обстановкой театральных репетиций с Тони Уайльдом, а завтра, Фрэнсис почти не сомневалась в этом, она напишет в «Дефендер», что принимает их предложение.

Медленно, собираясь с мыслями, она спустилась на первый этаж и потом, с улыбкой, остановилась у открытой двери кухни. Спиной к окну и опираясь обеими руками о подоконник, там стоял Джонни, воплощенная бравада и — хотя сам он об этом не подозревал — виноватость. Вокруг стола расселись подростки, и Эндрю с Колином среди них. Все смотрели на Джонни, который о чем-то разглагольствовал, причем все — с восхищением, кроме его сыновей. Те, правда, улыбались, как остальные, но в их улыбках сквозило беспокойство. Они, как и их мать, знали, что деньги, обещанные на сегодня, исчезли в стране грез. (И зачем только она вообще им рассказала? Разве не знала, чем это кончится?) Сколько раз уже так бывало. А еще все трое понимали, что Джонни специально появился во время ужина, когда в кухне полно людей, чтобы его не встретили яростью, слезами, упреками — но это все было в прошлом, в давнем прошлом.

Джонни протянул к Фрэнсис руки ладонями кверху, с улыбкой

мученика, и сказал:

— Фильм накрылся... ЦРУ... — Наткнувшись на ее взгляд, он замолчал и нервно посмотрел на обоих сыновей.

— Не утруждай себя объяснениями, — ответила Фрэнсис. — Ничего другого я не ожидала.

И мальчики обратили взгляды на мать; их тревога за нее заставила Фрэнсис еще сильнее укорять себя.

Она встала у плиты, где своего момента истины дожидались различные блюда. Джонни, словно ее спина даровала ему прощение, завел речь о ЦРУ, чьи махинации на этот раз привели к тому, что съемки фильма о Фиделе Кастро сорвались.

Колин, которому нужен был хоть какой-то факт, перебил отца:

— Но, папа, я думал, что контракт...

Джонни быстро остановил его:

— Слишком много бюрократических тонкостей. Ты не поймешь... если ЦРУ чего-то хочет, оно этого добивается.

Быстрый взгляд через плечо выхватил лицо Колина — узел из гнева, озадаченности, неприязни. Эндрю, как всегда, выглядел беззаботным, даже довольным, хотя Фрэнсис знала, как далек он был от того, что изображало его лицо. Эта сцена с теми или иными вариациями повторялась на протяжении всего их детства.

В тот год, когда началась война, а именно в 1939-м, двое молодых людей, полные надежд и ничего в жизни не понимающие, влюбились, как и миллионы их сверстников в воюющих странах, и раскрыли объятия, чтобы утешить друг друга в этом жестоком мире. Но в мире тогда царило и возбуждение, и самым опасным симптомом этого была именно война. Джонни Леннокс привел Фрэнсис в Молодежную коммунистическую лигу как раз в то время, когда сам собирался покинуть ее, чтобы стать взрослым, если еще не солдатом. Он был кем-то вроде звезды, товарищ Джонни, и хотел, чтобы она знала об этом. Фрэнсис сидела в заднем ряду переполненного зала и слушала его разъяснения о том, что это была империалистическая война и что прогрессивные и демократические силы обязаны игнорировать ее. Вскоре, однако, Джонни выступал в тех же залах, перед теми же слушателями, но уже в военной форме, опять призывая их внести свой вклад в общее дело, но теперь это была война против фашизма, потому что таковой ее сделало нападение Германии на Советский Союз. Среди слушателей были и его сторонники, и противники, раздавались одобрительные возгласы и громкий издевательский смех. Джонни

высмеивали за то, что он спокойно стоит и объясняет новую линию Партии, как будто не говорил совсем недавно абсолютно противоположное. А на Фрэнсис произвела впечатление его невозмутимость; принимая — и даже провоцируя — враждебность своей позой: вытянутые вперед руки ладонями вверх, — он мужественно страдал, поскольку такое, понимаете ли, трудное было время. На нем была форма Королевских военно-воздушных сил. Джонни хотел быть пилотом, но подвело зрение, и его направили на административную работу. Ему присвоили звание капрала, потому что офицером он быть не желал по идеологическим причинам.

Вот таким было первое знакомство Фрэнсис с политикой, вернее — с политикой Джонни Леннокса. Наверное, можно было считать это достижением с ее стороны — юная девушка в конце тридцатых годов совсем ничего не знала о политике. Она была дочерью адвоката из Кента. Окном в гламур, приключением, великим миром стал для нее театр. Фрэнсис играла сначала в школьных пьесах, потом в любительских спектаклях. Ей доставались главные роли, в основном благодаря внешности типичной «английской розы». Но сейчас она тоже была в форме — одна из молодых девушек, прикрепленных к Военному министерству. В их обязанности входило немного: может, отвезти старшего офицера в город или что-нибудь еще в этом роде. То есть затаенные в форму привлекательные девушки при министерстве неплохо проводили время, хотя этот аспект войны обычно замалчивают — из соображений такта и даже стыда перед погибшими. Фрэнсис много танцевала, часто ужинала в ресторане, периодически влюблялась в эффектных французов, поляков, американцев, но не забывала Джонни и их страстных ночей любви. Их тянуло друг к другу.

Тем временем он был в Канаде, вместе с летчиками, которые там обучались. Он быстро дорос до офицера, был на хорошем счету и не скрывал этого в своих письмах. Потом Джонни приехал в отпуск: он вернулся домой в чине капитана, в должности помощника какой-то «шишки». Он был неотразим в своей форме, а она — соблазнительна в своей. В ту неделю они поженились, и тогда же был зачат Эндрю. И вскоре настал конец ее веселой жизни, потому что она оказалась заперта в комнатке наедине с младенцем и была одинока и испугана — из-за бомбежки. У Фрэнсис появилась свекровь — устрашающая Юлия, похожая на светскую даму из модного журнала тридцатых годов, которая снизошла до визита к невестке из своего дома в Хэмпстеде (этого дома), была потрясена тем, в каких условиях существует Фрэнсис, и предложила жить у себя. Фрэнсис отказалась. Хотя она так и не увлеклась политикой, однако

всеми фибрами души разделяла яростное стремление своего поколения к независимости. Когда она покинула родительский дом, то долго снимала комнату. И даже теперь, низведенная до состояния всего лишь жены Джонни и матери его ребенка, она была независима и могла опереться на эту мысль, держаться за нее. Пусть мало, зато все свое.

Тянулись бесконечные дни и ночи. Фрэнсис была так же далека от гламурной жизни, которой вкусила до свадьбы, как если бы она не уезжала из Кента. Последние два года войны оказались трудными, голодными, страшными. Хорошей еды было не достать. Бомбы, созданные словно специально для того, чтобы разрушать нервную систему, доводили ее до иступления. Одежда исчезла с прилавков. У Фрэнсис не было друзей, она встречалась только с другими молодыми мамами. Больше всего она боялась того, что муж, когда вернется домой, разочаруется в ней — располневшей усталой матери, ибо в ней ничего не осталось от той красивой девушки в форме, в которую Джонни был отчаянно влюблен. Увы, именно так и случилось.

Джонни преуспел на военной службе, его заметили. Про него говорили, что он умен и сообразителен, а его политические убеждения в те годы не были ничем примечательны. Ему предложили хорошую должность в Лондоне, приходившем в себя после войны. Он отказался. Капиталистическая система не купит его. Ни на йоту не изменил он своей вере. Товарищ Джонни Леннокс, вновь в гражданском, все свои помыслы отдавал Революции.

В 1945 году родился Колин. Два маленьких ребенка в жалкой квартирке в Ноттинг-хилле, тогда еще захудалом и бедном районе Лондона. Джонни дома бывал редко. Он работал на Партию. Теперь необходимо, наверное, пояснить, что под Партией понимается Коммунистическая партия, а произносилось это слово как «ПАРТИЯ». Когда встречались два незнакомых человека, между ними мог состояться такой диалог: «Ты тоже в Партии?» — «Да, разумеется». — «Я так и думал». Что означало: «Ты хороший человек, ты мне нравишься и поэтому, как и я, должен быть в Партии».

Фрэнсис в Партию так и не вступила, хотя Джонни подталкивал ее к этому. Для него плохо, говорил он, иметь жену, которая отказывается вступать в их ряды.

— Но кто узнает? — спрашивала Фрэнсис, чем вызывала еще большее презрение к себе со стороны Джонни, понимавшего, что у жены не было никакого вкуса к политике и никогда не будет.

— Партия все знает, — отвечал он на это.

— Что ж, ничего не попишешь.

Они определенно не находили общего языка, и Партия была далеко не единственным камнем преткновения, хотя и очень раздражала Фрэнсис. Они жили в стесненных условиях, если не сказать — в нищете. Джонни считал это свидетельством внутреннего богатства. Появляясь после семинара «Джонни Леннокс об угрозе американской агрессии», он заставлял Фрэнсис возле шаткой конструкции из планок и бечевки, на которой она развешивала детское белье, или на пути к дому из парка — один ребенок на руках, второй в коляске, где еще умещались гора продуктов и книжка, которую Фрэнсис надеялась почитать, пока дети играют в парке.

— Ты настоящая трудящаяся женщина, — хвалил ее Джонни.

Если его самого такое положение дел устраивало, то его мать — нет. Когда Юлия приходила с визитом (неизменно предупредив о времени и дате письмом на плотной белой бумаге, о край которой можно было порезаться), то садилась брезгливо на край стула с размазанными по нему остатками печенья или апельсина и провозглашала:

— Джонни, так больше продолжаться не может.

— Почему это, Мутти?

Он называл ее Мутти, потому что ей это не нравилось.

— Твои внуки, — наставлял он мать, — станут гордостью Народной Британии.

Фрэнсис в такие моменты избегала встречаться взглядом с Юлией, ибо не хотела предавать мужа. Ей казалось, что ее жизнь и сама она превратились в нечто убогое, уродливое, утомительное, и пустая болтовня Джонни была лишь малой частью этого. Все изменится, она была уверена. Этому обязательно придет конец.

Так и вышло. Однажды Джонни объявил, что он влюбился в настоящую боевую подружку, члена Партии, и что он переезжает к ней.

— А как я буду жить? — спросила Фрэнсис, уже догадываясь, чего ожидать.

— Я буду давать тебе деньги на содержание детей, разумеется, — сказал Джонни, но это обещание так и осталось словами.

Фрэнсис нашла для детей бесплатный детский садик, а сама устроилась в маленькую фирму по пошиву театральных декораций и костюмов. Зарплата была мизерной, но она справлялась. Юлия навещала невестку и упрекала ее в том, что за мальчиками плохой уход и что они плохо одеты.

— Может, вы поговорите со своим сыном? — предложила Фрэнсис. — Он уже целый год не дает на детей ни пенни.

Потом год превратился в два года, в три.

Юлия спрашивала, не бросит ли Фрэнсис работу, если семья будет выдавать ей приличное содержание. Тогда она сможет полностью посвятить себя детям, не так ли?

Фрэнсис неизменно отвечала «нет».

— Но я не буду вмешиваться, — заверяла ее Юлия.

— Вы не понимаете, — говорила на это Фрэнсис.

— Да, не понимаю. Возможно, вы попробуете объяснить мне?

Джонни разошелся с товарищем Морин и вернулся обратно к жене, к Фрэнсис, сказав, что ошибся. Фрэнсис приняла его. Она была одинока, знала, что мальчикам нужен отец, она изголодалась по сексу.

Потом муж снова оставил ее ради очередного настоящего товарища. Когда он вновь хотел вернуться к Фрэнсис, она сказала ему:

— Пошел вон!

Она к тому времени получила хорошее место в театре и зарабатывала если не много, то достаточно. Мальчикам тогда исполнилось десять и восемь лет. В школе у них постоянно были проблемы, учились оба из рук вон плохо.

— А чего вы ожидали? — спросила Юлия.

— Я от жизни уже ничего не ожидаю, — сказала Фрэнсис.

А потом все вдруг переменилось. Фрэнсис с удивлением узнала, что товарищ Джонни согласился отправить Эндрю в приличную школу. Юлия предложила Итон, потому что ее покойный муж в свое время его окончил. Фрэнсис полагала, что Джонни будет возражать, но выяснилось, что он сам там учился. До сих пор он умудрялся хранить этот компрометирующий факт в тайне. А Юлия никогда не упоминала об учебе сына в Итоне потому, что его итонская карьера не делала чести ни Джонни, ни его родственникам. Он провел там три года и бросил учебу, чтобы отправиться воевать в Испанию.

— То есть ты не против, чтобы Эндрю учился в Итоне? — спросила у него Фрэнсис по телефону, все еще полная недоверия.

— Ну, по крайней мере получит приличное образование, — ответил Джонни, и Фрэнсис услышала недосказанное: посмотри на меня, как хорошо повлиял на меня Итон.

Итак, Эндрю покинул бедные комнаты, где жили мать и младший брат, и перебрался в Итон (все расходы взяла на себя Юлия). Даже каникулы он проводил с одноклассниками и постепенно превратился в вежливого незнакомца.

Фрэнсис приехала в Итон на торжество в честь окончания первого

семестра, купив ради этого костюм и первую в своей жизни шляпку. Она поняла, что выглядит вполне достойно, когда при встрече увидела на лице Эндрю облегчение.

В Итоне к ней подходили незнакомые люди и расспрашивали о Юлии, вспоминая ее покойного мужа Филиппа и его отца, дедушку Джонни. Их обоих хорошо помнили. Оказалось, что Ленноксы все до одного учились в Итоне. Спрашивали и о Джонни, известном в Итоне как Джолион. «Интересно... — сказал человек, бывший некогда его учителем. — Кто бы мог подумать...»

В дальнейшем на все торжественные мероприятия в Итон ездила Юлия, где ее встречали как почетную гостью, чему она очень удивлялась. Посещая Итон в те краткие три года, пока там учился Джолион, она воспринимала себя исключительно как никому не известную жену Филиппа.

Колин отказался поехать в Итон из-за глубокой, даже болезненной преданности по отношению к матери. Он видел, как нелегко ей дались все эти годы. Но это вовсе не означало, что он не ссорился с ней, не ругался, не спорил; а в школе Колин занимался так плохо, что Фрэнсис в душе была уверена: он это делает ей назло. Однако он вел себя холодно и враждебно с Джонни, когда тот вдруг появлялся, чтобы сказать, как ему жаль, что денег на сыновей у него нет. Колин согласился поступить в школу прогрессивного обучения Сент-Джозеф, и опять платила за это Юлия.

Затем Джонни выдвинул предложение, от которого Фрэнсис в конце концов не смогла отказаться. Юлия сдаст ей и мальчикам нижнюю половину дома. Ей самой и не нужно столько места, это просто смешно...

Фрэнсис переживала за Эндрю, которому приходится возвращаться не домой, а в жалкие временные пристанища, мальчик даже не мог привести к себе друзей. Она переживала и за Колина, который не скрывал, как ненавидит он обстоятельства их жизни и быта. И она согласилась с Джонни, согласилась с Юлией и так оказалась в огромном доме, который в ее представлении принадлежал и всегда будет принадлежать Юлии.

Только она сама знала, чего ей стоило согласиться. До тех пор Фрэнсис трепетно отстаивала свою независимость, платила за себя и за сыновей, не принимала деньги ни от Юлии, ни от родителей, которые были бы рады помочь. И вот она сдалась, и то была окончательная капитуляция. Все вокруг называли ее переезд «самым разумным шагом в данных обстоятельствах», а на самом деле это было поражение. Фрэнсис перестала быть собой и стала придатком семьи Ленноксов.

Ну, а что касается Джонни, то он сделал ровно столько, сколько можно

было от него ожидать. Когда его мать сказала ему, что он должен содержать своих сыновей и что для этого ему нужно найти работу, которая приносит деньги, Джонни раскричался на нее: мол, она типичный представитель класса эксплуататоров, думает только о деньгах, тогда как он трудится ради будущего всего мира. Они ссорились часто и шумно. Колин бледнел, когда слышал их крики, замолкал и уходил из дома на часы или даже дни. Эндрю сохранял на лице беспечную, насмешливую улыбку — его излюбленную маску. В те дни он стал часто бывать дома и даже начал приводить друзей.

Тем временем Фрэнсис и Джонни развелись, поскольку он захотел снова официально жениться, с полным соблюдением формальностей и свадьбой. На свадьбе присутствовали товарищи по партии и Юлия. Новую жену Джонни звали Филлида, и членом Партии она не была, однако Джонни утверждал, что она — хороший материал и что он сделает из нее коммунистку.

Такова была незамысловатая предыстория. И вот сейчас Фрэнсис стояла на кухне спиной к остальным и мешала тушеное мясо, которое мешать не требовалось. Своего рода запоздалая реакция: у нее дрожали колени, рот будто наполнился кислотой — так ее тело воспринимало дурные новости, гораздо позже, чем мозг. Фрэнсис злилась на бывшего мужа, понимая, что имеет на это все основания, но на себя она злилась даже сильнее, чем на Джонни. Если она позволила себе провести три дня в безумном сне, что ж, ее дело, но как она могла вмешивать в это мальчиков? Хотя, с другой стороны, телеграмму ей принес Эндрю, дождался, чтобы мать показала ее ему, и сказал:

— Фрэнсис, твой беспутный муж наконец-то собирается поступить правильно.

Эндрю легко присел на край стула — светловолосый привлекательный юноша, похожий на птицу, готовую вот-вот взлететь. Он был высокого роста и от этого казался еще более худым, джинсы свободно облегли длиннющие ноги. Изящной формы костистые руки расслабленно лежали на коленях ладонями вверх. Он улыбался матери, и она знала, что в его улыбке нет иронии. Они оба изо всех сил старались найти общий язык, но Фрэнсис все еще нервничала в присутствии старшего сына, помня о тех долгих годах, что он отвергал ее. Он сказал «твой муж», а не «мой отец». С новой женой Джонни, Филлидой, Эндрю был в дружеских отношениях; возвращаясь из их дома, он сообщал, что в целом она — большая зануда.

Эндрю поздравил Фрэнсис с ролью в новой пьесе и мило пошутил насчет мудрых тетушек.

Колин тоже был ласков, что для него редкость, и звонил друзьям, чтобы рассказать о новой пьесе.

И сегодняшней приход Джонни был так тягостен для них, так ужасен, но, в конце концов, это всего лишь еще один удар, бесчисленное количество которых они получили за все эти годы, — так говорила себе Фрэнсис, дожидаясь с закрытыми глазами, когда ее колени вновь окрепнут, и, ухватившись одной рукой за край стола, другой помешивала мясо.

За ее спиной Джонни вещал что-то о капиталистическом давлении и вранье, которое распространяется о Советском Союзе, о Фиделе Кастро и о том, что этого великого человека неверно представляют.

Многолетние проповеди Джонни почти не затронули Фрэнсис, и особенно ярко это проявилось, когда после очередной его лекции она проговорила: «Хм, он кажется весьма интересным человеком». Джонни тут же набросился на нее: «Похоже, я ничему не сумел научить тебя, Фрэнсис, ты несправима».

«Да, я знаю, я тупая». То было повторение великого, главного и в то же время решительного момента, когда Джонни вернулся к жене во второй раз, ожидая, что она примет его. Он тогда орал на Фрэнсис: мол, она политическая кретинка, мелкий люмпен-буржуа, классовый враг, а она только сказала: «Да, все правильно, я тупая, а теперь убирайся».

Больше нельзя было стоять ко всем спиной, зная, что мальчики наблюдают за матерью — нервничают, переживают за нее, пока все остальные смотрят на Джонни глазами, полными любви и обожания.

Фрэнсис попросила:

— Софи, помоги мне.

Тут же появились помощники: Софи и другие девочки. В центре стола поставили стопку тарелок, с кастрюль сняли крышки. Кухню наполнили восхитительные запахи.

Фрэнсис села во главе стола, довольная, что наконец сидит и что со своего места не видит Джонни. Все стулья за столом были заняты, но у стены стояли табуретки, и если бы он хотел, мог бы принести одну и сесть со всеми. Уж не собирается ли он у них ужинать? С него станется. Джонни часто так делал, чем приводил Фрэнсис в бешенство, хотя сам считал, что оказывает ей этим великую честь. Нет, сегодня, произведя должное впечатление и насытившись восхищением (если в его случае это вообще было возможно), он все-таки уйдет. Или останется? Нет, он не уходил. Винные бокалы на столе наполнились. Джонни принес с собой две бутылки вина — щедрый Джонни, который никогда не входил в комнату без угощения... Фрэнсис не могла удержать эти желчные, горькие слова, они

сами возникали в ее голове и чуть не срывались с языка. «Уходи же, — мысленно призывала она Джонни. — Просто уйди».

Она приготовила сытное, ароматное зимнее блюдо — тушеную говядину с каштанами, по рецепту Элизабет Дэвид, книга которой «Кухня французской деревни» лежала раскрытая где-то возле плиты. (Много лет спустя она скажет: «Боже праведный, я была частью кулинарной революции и ничего об этом не знала».) Фрэнсис была убеждена, что эти подростки только за ее столом питались «как следует». Эндрю накладывал картофельное пюре, сдобренное сельдереем. Софи раскладывала по тарелкам мясо. Шпинат со сливками и морковь в масле выдавались Колином. Джонни наблюдал за процессом, на время умолкнув, потому что никто не смотрел на него.

Ну почему же он не уходит?

За столом в этот вечер собрались те, кого Фрэнсис называла про себя «постоянными клиентами», во всяком случае она знала все эти лица. Слева от нее сидел Эндрю, который положил себе хорошую порцию, но теперь разглядывал содержимое тарелки так, будто не узнавал продукты. Рядом с ним — Джефффри Боун, школьный приятель Колина, который проводил с Ленноксами все каникулы и выходные с незапамятных (так казалось Фрэнсис) времен. Он не ладил со своими родителями, так сказал Колин. (А разве кто-то ладил?) Возле Джефффри — Колин, который обратил к отцу свое круглое, уже вспыхнувшее румянцем лицо, весь — гневное обвинение, с вилок и ножом в руках. Рядом с Колином сидит Роуз Тримбл, которая была подругой Эндрю, но недолго: обязательное для тех лет увлечение марксизмом привело Эндрю на семинар, посвященный «Африке, разрывающей свои цепи», и там он встретил Роуз. Их роман (можно ли назвать это романом? Ей было всего шестнадцать) закончился, но девушка по-прежнему приходила сюда, хотя точнее было бы сказать, что она переехала сюда. Напротив Роуз — Софи, еврейская девушка в полном расцвете красоты, тонкая, с черными блестящими глазами, черными блестящими волосами; людям при виде нее неизменно приходили в голову мысли о неизбежной несправедливости Рока и затем о власти Красоты. В Софи был влюблен Колин. И Эндрю. И Джефффри. Рядом с Софи — мятущийся и страдающий Дэниел. Сейчас он сидел прямо напротив приглашенного, вежливого и примерного Джефффри, типичного англичанина, являя собой его воплощенную противоположность и в фигуральном смысле. Дэниел оказался на грани исключения из Сент-Джозефа за воровство в магазине. В классе он был помощником старосты, а Джефффри — старостой, и поэтому именно Джефффри пришлось

отчитывать Дэниела и потребовать, чтобы тот исправился, а не то... — пустая угроза, разумеется, сказанная больше для того, чтобы произвести впечатление на остальных серьезностью происходящего. Это происшествие, с иронией обсуждавшееся этими искушенными в жизни детьми, было еще одним подтверждением, если таковое вообще требовалось, несправедливости, царящей в мире, поскольку Джеффри сам все время воровал в магазинах, но невозможно было заподозрить мальчика с таким открытым лицом в чем-либо неблаговидном. И к тому же во всем этом был еще один аспект: Дэниел боготворил Джеффри, и выговор, прилюдно полученный от его героя, стал для него невыносимо горьким испытанием.

А вот рядом с Дэниелом сидела девочка, которую Фрэнсис раньше не видела и ожидала, что в скором времени ее просветят на этот счет. Это была светленькая, чисто вымытая, опрятно одетая девочка, которую звали, кажется, Джил. По правую руку от Фрэнсис сидела Люси, не из школы Сент-Джозеф: она была подружкой Дэниела из Дартингтона, часто заходила к Ленноксам. Люси, которая в обычной школе несомненно стала бы идеальной ученицей благодаря своей решительности, уму, ответственности и прирожденной властности, говорила, что школы прогрессивного обучения, по крайней мере Дартингтон, подходят некоторым людям, но другим требуется дисциплина, и что она предпочла бы учиться в обычной школе с ее правилами, режимом и экзаменами, которые заставили бы ее трудиться. Дэниел заявил, что школа Сент-Джозеф — лицемерное дерьмо, где проповедуют свободу, но когда доходит до дела, задавливают моралью.

— Я бы не использовал здесь слово «задавливают», — мило улыбаясь, пояснил всем Джеффри, дабы защитить своего адепта, — скорее, нам всем указывают границы.

— Не всем — кому-то, — возразил Дэниел.

— Да, несправедливо, — согласился с ним Джеффри.

Софи сказала, что она обожает Сент-Джозеф и обожает Сэма (старшего учителя). Мальчики постарались изобразить равнодушие, услышав эту новость.

Успеваемость Колина по-прежнему была такой низкой, что его безмятежное существование красноречиво свидетельствовало о терпимости педагогов, и без того широкой известной.

Роуз много чем была недовольна в жизни, но чаще всего она жаловалась на то, что ее не послали в школу прогрессивного обучения, и когда обсуждались достоинства и недостатки этой системы образования, а

обсуждались они постоянно и бурно, ее всегда румяное лицо багровело от злости. «Дерьмовые, отстойные» родители послали ее в «нормальную девчачью» школу в Шеффилде. Хотя Роуз, по-видимому, давно бросила школу и поселилась здесь, ее обвинения по этому поводу никак не стихали, и она в любую минуту могла разразиться рыданиями, выкрикивая, что «вы сами не знаете, как вам всем повезло».

Вообще-то Эндрю встречался с ее родителями, которые оба работали в муниципальном совете.

— И что с ними не так? — поинтересовалась Фрэнсис, надеясь услышать о них положительный отзыв, потому что она не любила Роуз и хотела, чтобы девушка покинула их. (И почему просто не сказать Роуз, чтобы та съехала? Да потому, что это было бы не в духе времени.)

— Боюсь, они самые обыкновенные люди, — с улыбкой ответил Эндрю. — Жители небольшого городка со всеми присущими жителям небольших городков предрассудками, и думаю, им просто не справиться с нашей Роуз.

— А-а, — протянула Фрэнсис, понимая, что шансы на возврат Роуз в отеческий дом невелики. И тут тоже было кое-что еще. Разве в свое время сама Фрэнсис не говорила, что ее родители скучны и полны предрассудков? Нет, дерьмовыми фашистами она их, конечно, не называла, но кто знает, может, и назвала бы, если бы эти эпитеты существовали во времена ее молодости. Так вправе ли она критиковать Роуз за то, что девочка не хочет жить с родителями, которые ее не понимают?

Стали передавать тарелки за добавкой — все, кроме Эндрю. Он едва прикоснулся к своей порции. Фрэнсис сделала вид, будто не замечает.

У Эндрю проблемы, но насколько серьезные, пока трудно было сказать.

В Итоне у него все складывалось неплохо, он завел там друзей — пожалуй, для этого и посылают мальчиков в Итон, рассуждала Фрэнсис — и на следующий год собирался поступать в Кембридж. А этот год, заявил Эндрю, он намерен посвятить ничегонеделанью. И сдержал свое слово — во всяком случае, валялся в постели до четырех-пяти часов пополудни. Но выглядел при этом утомленным и что-то — что? — скрывал под своим обаянием, под врожденной коммуникабельностью.

Фрэнсис знала, что старший сын несчастлив (хотя ни один из ее сыновей никогда не мог похвастаться тем, что доволен жизнью). Необходимо было что-то делать. И даже Юлия спустилась как-то к невестке, чтобы спросить:

— Фрэнсис, вы заглядывали в последнее время в комнату Эндрю?

— Я не посмею войти туда без разрешения.

— Вы его мать, я полагаю.

Этот краткий диалог вновь осветил пропасть, разделяющую их. Фрэнсис, как обычно в таких случаях, могла лишь беспомощно смотреть на свекровь, не зная, что сказать. Юлия, безупречная и прямая, молча ждала ответа, и Фрэнсис под ее неодобрительным взглядом ощущала себя школьницей и едва ли не переминалась с ноги на ногу.

— За дымом мальчика почти не видно, — сказала Юлия.

— А, понятно, вы имеете в виду травку — то есть марихуану? Но, Юлия, сейчас почти все ее курят. — Фрэнсис не решилась признаться, что и сама пробовала травку.

— Значит, для вас это пустяк? Это не важно?

— Этого я не говорила.

— Целыми днями Эндрю спит, ночью одурманивает себя этим дымом, почти не ест.

— Юлия, что вы хотите от меня?

— Поговорите с ним.

— Я не могу... не смогу... он не станет слушать меня.

— Тогда я сама поговорю с ним.

И Юлия вышла, развернувшись на маленьких аккуратных каблучках, оставляя за собой запах роз.

Юлия действительно поговорила с Эндрю. И вскоре он пристрастился навещать бабушку в ее комнатах, чего раньше никто не смел делать, и, возвращаясь, всячески пытался навести мосты и смазать колеса.

— Юлия не такая уж плохая, как все думают. Она вообще милашка.

— Вот уж абсолютно не подходящее к Юлии слово.

— Ну, а мне она нравится.

— Мне кажется, Юлия могла хотя бы иногда спускаться к нам. Может, она поужинает с нами?

— Она не придет. Она нас не одобряет, — сказал Колин.

— Возможно, она могла бы реформировать нас, — попыталась пошутить Фрэнсис.

— Ха! Ха! Но почему ты сама никогда не приглашаешь ее?

— Я боюсь Юлию, — впервые призналась сыновьям Фрэнсис.

— А она боится тебя! — воскликнул Эндрю.

— Нет, это абсурд. Я уверена, Юлия никогда в жизни ни перед кем не испытала страха.

— Послушай, мама, ты не понимаешь. Она всегда жила в тепличных условиях. Ей непривычна наша беспорядочная жизнь. Ты забываешь, что

до смерти дедушки она, наверное, и яйца не умела сварить. А ты управляешь голодными ордами и говоришь на их языке. Понимаешь?

Он сказал «на их», а не «на нашем», отметила про себя Фрэнсис.

— Я знаю только, что Юлия сидит там с кусочком копченой селедки на полупрозрачном ломтике хлеба и единственным бокалом вина, а мы накладываем себе полные тарелки всевозможных яств. Наверное, стоит послать ей поднос?

— Я спрошу у нее, — пообещал Эндрю и, вероятно, так и сделал, но ничего не изменилось.

Фрэнсис заставила-таки себя подняться в комнату старшего сына. Было всего шесть часов вечера, но уже стемнело. (Это было недели две назад.) Она постучалась, хотя ноги сами вели ее обратно.

— Входите, — услышала она спустя довольно долгий промежуток времени.

Фрэнсис вошла. Эндрю лежал одетый на кровати и курил. За окном лил холодный дождь.

— Уже шесть часов, — сказала она.

— Я знаю, что уже шесть часов.

Фрэнсис села, не дождавшись так нужного ей приглашения. Комната была большая, обставленная старинной массивной мебелью, которую освещали несколько прекрасных китайских ламп. В этой обстановке Эндрю казался как-то совсем не к месту, и Фрэнсис не могла не вспомнить мужа Юлии, дипломата. Вот кто смотрелся бы здесь органично.

— Ты пришла читать мне лекции? Не утруждай себя понапрасну. Юлия уже сказала мне все, что в таких случаях полагается.

— Я беспокоюсь за тебя, — произнесла Фрэнсис дрожащим голосом. Годы, десятилетия невысказанных тревог рвались наружу из ее горла.

Эндрю приподнялся на подушке, чтобы приглядеться к матери. Не враждебно, а скорее настороженно.

— Я и сам за себя беспокоюсь, — ответил он. — Но похоже, скоро я смогу взять себя в руки.

— Точно, Эндрю? Скоро?

— В конце концов, это ведь не героин, и не кокаин, и не... Ты же не видишь раскиданных по комнате пустых бутылок.

От внимания Фрэнсис тем не менее не ускользнуло, что под кроватью валялись рассыпанные голубые таблетки.

— Тогда что это рассыпано у тебя на полу?

— Ах, те маленькие голубые таблетки? Амфетамины. Насчет них не стоит волноваться.

— Потому что к ним не возникает привыкания и от них можно отказаться в любой момент, — процитировала сына Фрэнсис. Она желала придать голосу ироничность, но это ей не удалось.

— В этом я как раз не уверен. Думаю, на самом деле я уже зависим — но не от таблеток, а от травы. Она определенно помогает смягчить реальность. Кстати, почему бы тебе не попробовать травку?

— Я уже пробовала. На меня она не оказывает никакого воздействия.

— Жаль, — заметил Эндрю. — Потому что, на мой взгляд, реальность довольно жестока к тебе.

Больше он ничего не сказал. Фрэнсис подождала немного, встала и вышла из комнаты. Уже закрывая за собой дверь, она услышала:

— Спасибо, что зашла, мама. Заглядывай.

Неужели все это время Эндрю хотел ее «вмешательства» и ждал, чтобы мать навестила его, хотел поговорить с ней?

Что касается нынешнего вечера, то свою связь с обоими сыновьями Фрэнсис ощущала как никогда сильно, только все это было ужасно — они трое были близки сегодня благодаря разочарованию. Их объединил удар, нанесенный в то же место, что и раньше.

Говорила Софи.

— Вы слышали о том, какую замечательную роль дали Фрэнсис? — спрашивала она Джонни. — Она станет звездой. Это прекрасно. Вы пьесу читали?

— Софи, — попыталась остановить ее Фрэнсис, — боюсь, от роли мне пришлось отказаться.

Девушка изумленно уставилась на нее, и в ее больших голубых глазах уже блестели слезы.

— Что это значит? Вы не можете... это невозможно... это неправда.

— Я отказалась от роли, Софи.

Оба сына гневно смотрели на Софи и, вероятно, пинали ее под столом: заткнись!

Милая девочка ахнула и уткнулась лицом в ладони.

— Обстоятельства изменились, — сказала Фрэнсис. — Долго объяснять.

Теперь мальчики обратили обвиняющие взгляды на отца. Тот замялся, хотел было пожать плечами, подавил это желание, улыбнулся и вдруг заявил:

— Я пришел к тебе по важному делу, Фрэнсис.

Так вот почему он не ушел и не сел, все стоял неловко у окна. Ему нужно что-то ей сказать.

Фрэнсис внутренне собралась и поняла, что Колин и Эндрю делают то же самое.

— Хочу попросить тебя об одном одолжении, — начал Джонни, обращаясь непосредственно к обманутой жене.

— И что же это за одолжение?

— Ты знаешь о Тилли? Конечно же знаешь... Это дочь Филлиды.

— Разумеется, я в курсе, кто она такая.

Эндрю, навещавший отца, своими немногословными рассказами давал понять, что его новая семья не отличается гармонией и что девочка причиняет массу хлопот.

— Филлида не может справиться с Тилли.

При этих словах Фрэнсис громко рассмеялась, потому что уже поняла, что последует дальше. Она сказала:

— Нет. Это попросту невозможно. И речи быть не может, нет.

— Но как же, Фрэнсис, ты сама подумай. Они не ладят. Филлида на грани нервного срыва. И я тоже. Я хочу, чтобы Тилли временно пожила у тебя. Ты ведь так отлично умеешь...

От негодования Фрэнсис задохнулась. Она заметила, что оба ее мальчика побледнели. Втроем они молча переглянулись, разделяя мысли и чувства друг друга.

Софи же восклицала:

— О Фрэнсис, какая же вы все-таки добрая, как это прекрасно!

Джеффри, который уже так давно приходил в этот дом, что с полным правом мог называться членом семьи, подхватил:

— Клевая идея.

— Минутку, Джонни, — сказала Фрэнсис. — Ты просишь меня забрать дочь твоей второй жены, потому что вы не в силах справиться с ней?

— В общем и целом — да, — признал с улыбкой Джонни.

Наступила долгая-долгая пауза. До восторженных Софи и Джеффри постепенно доходило, что Фрэнсис реагирует совсем не в традициях всеобщего либерального идеализма, как они предполагали, то есть в духе «Все к лучшему в этом лучшем из возможных миров» (в будущем именно так будут описывать шестидесятые).

Фрэнсис услышала свои дальнейшие слова:

— Вероятно, ты собираешься оказывать какую-то финансовую поддержку? — И поняла, что уже соглашается.

На что Джонни обвел вопросительным взглядом юные лица, проверяя, шокированы ли они ее мелочностью в той же степени, что и он.

— Речь о деньгах, — провозгласил он, — в данном случае неуместна.

И Фрэнсис вновь не нашлась, что сказать. Она встала, прошла к плите, остановилась там, опять оказавшись спиной к присутствующим.

— Я хотел бы привести Тилли, — продолжал Джонни. — Тем более что девочка уже здесь. Она ждет в машине.

Колин и Эндрю одновременно встали и подошли к матери с обеих сторон. Их немое сочувствие придало Фрэнсис силы, и она сумела повернуться лицом к Джонни. Она ничего не говорила. Джонни, при виде трех бледных обвиняющих лиц — его бывшей жены и двух сыновей, — тоже умолк, но всего на мгновение. А затем простер вперед руки, обращаясь ко всем ним, и воскликнул с пафосом:

— От каждого по способности, каждому по потребности. — И уронил руки.

— О, как это замечательно! — воскликнула Роуз.

— Клево, — сказал Джеффри.

Новенькая, Джил, выдохнула:

— Как это хорошо!

Все глаза теперь были направлены на Джонни — ситуация, в которой он чувствовал себя как рыба в воде. Он стоял, купаясь в лучах критики и обожания, и улыбался. Он был высоким мужчиной, товарищ Джонни, с седеющей шевелюрой, достойной римского патриция, и носил узкие черные джинсы, черную кожанку, сшитую специально для него кем-то из его почитателей или соратников. Его излюбленным стилем всегда была подчеркнутая суровость, и улыбка тому вовсе не помеха, ведь это не более чем временная уступка, так что Джонни всю улыбался.

— Ты хочешь сказать, что, пока мы здесь разговаривали, девочка все это время сидела в машине? — изумился Эндрю.

— Боже мой, — вздохнул Колин. — Как это для тебя типично.

— Я схожу за ней, — ничуть не смутился Джонни и вышел, умудрившись не встретиться с ними — с Фрэнсис, Эндрю и Колином — взглядом, хотя ему нужно было обойти их на пути из кухни.

Никто не двигался. Фрэнсис думала, что, если бы сыновья сейчас не стояли рядом, окружая ее своей поддержкой, она бы упала. Лица всех сидевших за столом были повернуты к ним. Наконец-то остальные поняли, что для них троих это был очень тяжелый момент.

Из прихожей раздался стук входной двери (разумеется, у Джонни был ключ от дома матери), и вот в кухне возникла хрупкая перепуганная девочка, в пальто, которое было явно ей велико, дрожащая от холода. Она попыталась улыбнуться, но вместо этого из ее горла вырвались рыдания. Девочка смотрела на Фрэнсис, которая, как ей сказали, была доброй

женщиной: «Она присмотрит за тобой, пока у нас тут все не устроится». Тилли казалась маленькой птичкой, принесенной сюда бурей, и Фрэнсис в мгновение ока оказалась рядом с ней, обняла со словами:

— Все хорошо, тише, тише, ну что ты.

Потом она вспомнила, что это не ребенок, а подросток лет четырнадцати или около того, и это погасило ее порыв сесть и взять несчастную малютку на колени. Тем временем Джонни, стоя за спиной падчерицы, говорил:

— По-моему, кому-то нужно лечь в теплую постель. — А потом, обращаясь ко всем и ни к кому в частности, объявил: — Мне пора. — Но не ушел.

Девочка направила умоляющий взгляд на Эндрю, поскольку он был единственным человеком среди толпы незнакомцев (кроме Джонни), которого она знала.

— Не волнуйся, я все устрою. — Он обнял Тилли за плечи и повел из кухни. — Она поживет в цоколе, — сказал он матери. — Там тепло и уютно.

— О, нет, нет, пожалуйста, — заплакала девочка. — Не надо, я не останусь там одна, я не могу, прошу вас.

— Ну хорошо, раз тебе этого не хочется, — быстро согласился Эндрю. И снова обратился к матери: — Тогда поставлю кровать на эту ночь к себе.

И они с девочкой ушли. Оставшиеся на кухне сидели молча, прислушиваясь к тому, как Эндрю на лестнице уговаривает Тилли не плакать.

Джонни оказался лицом к лицу с Фрэнсис, и она сказала ему тихо, надеясь, что ее слова не будут услышаны остальными:

— Уходи, Джонни. Сию же минуту.

Он обвел всех взглядом с призывной улыбкой, на которую улыбкой же ответила только Роуз, но и та несколько сомневалась; сурово кивнул Джеффри, поскольку знал того уже много лет; предпочел не заметить страстного укора, которым горели глаза Софи, и ушел. Хлопнула входная дверь. Загудел двигатель автомобиля.

Теперь Колин ходил вокруг Фрэнсис, касался то ее руки, то плеча, не зная, что делать.

— Пойдем, — сказал он наконец. — Пойдем наверх.

Они вместе вышли из кухни. Поднимаясь по лестнице, Фрэнсис начала проклинать Джонни, сначала тихо, чтобы не услышала молодежь, сидящая за кухонным столом, потом все громче:

— Пошел он к черту, к черту, дерьмо, какое же он все-таки дерьмо.

У себя в гостиной она расплакалась, а растерянный Колин сообразил только принести салфетки и потом еще стакан воды.

Тем временем Эндрю сообщил Юлии о том, что происходит. Она спустилась, открыла дверь в комнату Фрэнсис, не постучавшись, и промаршировала к креслу, где хлюпала носом ее невестка.

— Пожалуйста, объясните мне, — сказала она, — потому что самой мне не понять: почему вы позволяете ему так себя вести?

Юлия фон Арне родилась в одном из красивейших уголков Германии, возле Штутгарта, в краю холмов, ручьев и виноградников. Она была единственной девочкой, третьим ребенком в благородном семействе. Отец ее был дипломатом, мать — музыкантом. В июле 1914 года в доме фон Арне гостил Филипп Леннокс, подающий надежды третий секретарь британского посольства в Берлине. То, что четырнадцатилетняя Юлия влюбилась в обаятельного Филиппа (тому было двадцать четыре), было вполне естественно, но и он тоже влюбился в нее. Она была миленькой, миниатюрной, с золотистыми кудряшками и носила платьица, которые были похожи на цветы, — так сказал ей романтичный Филипп. Юлию воспитывали в строгости две гувернантки, англичанка и француженка, и молодому человеку казалось, что каждый ее жест, каждая улыбка, каждый поворот головы были выверены, предписаны, отрепетированы — она двигалась так, словно танцевала. Как и всех девочек, Юлию приучали контролировать свое тело и речь, дабы избежать ужасного греха нескромности, поэтому за нее говорили ее глаза. Одним взглядом Юлия могла пронзить сердце мужчины насквозь, а когда она опускала нежные веки поверх голубых приглашений в любовь, Филиппу чудилось, будто его отвергают. У него были сестры, которых он видел всего несколькими днями раньше в Сассексе: энергичные девчонки-сорвиголовы в полной мере наслаждались образцовым летом, которое описывали позднее в бесчисленных мемуарах и романах. Подружка одной из сестер, девушка по имени Бетти, частенько выходила к ужину с царापинами на загорелых руках, что выдавало ее пристрастие играть с собаками на сеновале, — все весело подшучивали над ней. Родня Филиппа считала эту девушку подходящей партией и наблюдала, не выкажет ли он симпатии по отношению к ней, да и он считал ее неплохой кандидатурой на роль жены. А эта маленькая фройлен показалась ему недосыгаемой звездой, словно мелькнувшая в дворцовых переходах красавица из гарема, вся — обещание неизведанного блаженства, и Филиппу чудилось, что в прямых лучах солнца юная немка растает как снежинка. Юлия подарила ему алую розу из

своего сада, и он понял, что она предлагает ему свое сердце. Филипп провозгласил свою любовь под луной, а на следующий день обратился к ее отцу с просьбой отдать ему руку дочери. Да, он понимал, что четырнадцать лет — слишком юный возраст, но он просил лишь формального разрешения сделать Юлии предложение, когда ей исполнится шестнадцать. На этом они и расстались все в том же роковом четырнадцатом году. Все явственнее назревала война, однако, подобно многим либерально настроенным людям, и Ленноксы, и фон Арне считали смехотворной идею о том, будто Германия и Англия станут воевать друг с другом. Всего за две недели до объявления войны Филипп со слезами на глазах покинул свою любовь. В те дни оба правительства были убеждены, что война закончится самое позднее к Рождеству, и двое влюбленных полагали, что их разлука не продлится долго.

Любовь Юлии подверглась серьезным испытаниям. Родные не препятствовали ее отношениям с англичанином — разве не были императоры обеих стран кузенами? — но вот соседи позволяли себе нелестные комментарии, а слуги перешептывались и судачили. Всю войну слухи преследовали Юлию и членов ее семьи. Три ее брата сражались в окопах, отец служил в Военном министерстве, а мать работала на добровольных началах в госпитале, но те несколько лихорадочных дней в июле четырнадцатого года навсегда сделали их мишенью для подозрений. Юлия тем не менее не утратила веры в свою любовь и в Филиппа. Он был ранен, дважды, и какими-то окольными путями Юлия узнавала об этом и плакала. Не имеет значения, кричала душа Юлии, как сильно он ранен, она будет любить его вечно. Демобилизовали его в 1919 году. Она ждала Филиппа, зная, что он приедет за ней, но когда в ту самую комнату, где пять лет назад они признавались друг другу в любви, вошел мужчина с пустым рукавом и напряженным морщинистым лицом, она не узнала его, хотя чувствовала, что должна бы. Юлии тогда еще не исполнилось двадцати лет. Филипп увидел высокую молодую женщину (за эти годы она выросла на несколько дюймов) со светлыми волосами, собранными на макушке в узел, и в тяжелом черном платье — Юлия носила траур по двум погибшим братьям. Третий брат, младший, совсем мальчик, тоже был ранен, вернулся домой и сейчас сидел, еще в военной форме, в той же комнате, положив негнущуюся ногу на низкий табурет. Двое недавних врагов, они молча смотрели друг на друга. Затем Филипп без улыбки подошел к юноше, протягивая для приветствия руку. Тот поначалу дернулся, поддавшись импульсу отвернуться, но справился с собой, стер с лица гримасу неприязни, и правила приличия окончательно возобладали, когда хозяин,

уже с улыбкой, пожал гостю руку. Эта сцена, повторяющаяся с тех пор со всевозможными вариациями, в то время не имела того значения, какое имела бы в наши дни. Ирония, которая подчеркивает тот самый элемент, что мы старательно исключаем из нашего видения вещей, была бы для этих двух людей невыносима. А мы научились быть более толстокожими.

И вот двое влюбленных, которые не узнали бы друг друга, если бы столкнулись на улице, должны были решить, достаточно ли сильны их мечты, пронесенные ими через ужасные годы войны, для того, чтобы стать основанием для брака. В Юлии не осталось ничего от очаровательной вежливой девочки, а в Филиппе — от сентиментального молодого человека, который носил в нагрудном кармане засушенную красную розу до тех пор, пока она не рассыпалась в прах. Большие голубые глаза Юлии были печальны, а Филипп часто погружался в молчание, подобно ее младшему брату, когда вспоминал вещи, понятные только тем, кто воевал.

Они поженились без помпы — это было не лучшее время для пышной англо-германской свадьбы. В Лондоне военная лихорадка стихала, хотя до сих пор в разговорах упоминались боши и гансы. С Юлией обращались вежливо. Тогда она впервые засомневалась, верно ли поступила, выбрав мужем Филиппа, хотя по-прежнему верила, что они любят друг друга. Оба притворялись, будто просто серьезны от природы, а не опечалены без надежды на излечение. Однако война в конце концов закончилась, вызванная ей ненависть улеглась, и худшее осталось позади. Юлия, страдавшая в Германии из-за своей любви к англичанину, теперь сама усиленно пыталась стать англичанкой. Английским она отлично владела с детства, но записалась на курсы и вскоре заговорила на этом языке лучше любого британца. Это был идеальный, рафинированный английский, где каждое слово звучало отдельно от других. Юлия осознавала, что ее манеры слишком формальны, и работала над тем, чтобы вести себя более свободно. Одевалась она всегда безупречно, и теперь это пришлось весьма кстати, ведь она — жена дипломата и должна соблюдать приличия. Как говорят англичане.

Супружескую жизнь они начали в небольшом домике в районе Мейфэр. Там Юлия при помощи всего лишь повара и служанки устраивала приемы, к чему обязывало ее положение мужа, и каким-то образом сумела приблизиться к стандартам, к которым привыкла дома. Тем временем Филипп обнаружил, что женитьба на немке была не лучшей предпосылкой для безоблачной карьеры. Несколько бесед с начальством привели его к пониманию того, что определенные посты, например в Германии, для него отныне недостижимы и что с годами он, скорее всего, окажется на

периферии дипломатии, где-нибудь в Южной Африке или Аргентине. Он решил избежать подобных разочарований и сменить карьеру дипломата на административное поприще. Там он поднимется по служебной лестнице, лишившись, правда, блеска Министерства иностранных дел. Иногда в доме сестры он встречал Бетти, на которой мог бы жениться — и которая до сих пор оставалась не замужем, потому что на войне погибло много мужчин, — и гадал, насколько более удачной могла бы быть его жизнь.

Когда в 1920 году на свет появился Джолион Мередит Вильгельм Леннокс, за ним сначала приглядывала кормилица, а потом няня. Он был высоким худым ребенком с золотистыми кудрями и голубыми глазами, критичный и недовольный взгляд которых нередко останавливался на матери. От няни Джолион узнал, что он наполовину немец; с ним приключилась истерика, и потом еще несколько дней мальчик вел себя из рук вон плохо. Его свозили в Германию навестить родственников по материнской линии, но затея не удалась. Джолиону там вообще ничего не понравилось, а особенно правила поведения: от мальчика требовали, чтобы за столом он, когда не ест, сидел, положив руки по обе стороны тарелки, говорил только тогда, когда к нему обращались взрослые; и щелкал каблуками, когда что-либо просил. Мальчик наотрез отказался ехать туда снова. Юлия противилась тому, чтобы ее ребенка с семи лет отправили в школу (сейчас в таком желании матери нет ничего необычного, но тогда это было очень смело с ее стороны). Но Филипп возражал, что все его одноклассники прошли через это, и вообще, взгляните на него самого! — он ведь тоже в семь лет оказался в интернате. Да, он припоминает, что первое время скучал по дому... но это не важно, все быстро прошло. Этот аргумент со стороны Филиппа — «Посмотрите на меня!» — фигурировал в спорах супругов часто. Обычно к нему прибегают, чтобы подавить оппозицию нерушимой убежденностью говорящего в собственном превосходстве или, по крайней мере, правоте. Но Юлию он ни в чем не убеждал. В душе Филиппа оставался уголок, навсегда закрытый для нее, присутствовала в нем некая сдержанность, холодность, которую жена поначалу объясняла войной, окопами, невидимыми психологическими шрамами. Но потом у нее появились сомнения. С женами коллег Филиппа у нее так и не сложились отношения, достаточно близкие для того, чтобы спросить: ощущают ли и они тоже эту закрытость в своих мужьях, видят ли эту табличку «Verbotten» («Входа нет»), но Юлия была наблюдательна, она замечала многое. «Нет, — думала она, — если ты можешь забрать у матери ребенка в таком нежном возрасте...» Ту битву Юлия проиграла и потеряла сына, который с тех пор был с ней вежлив и учтив, но зачастую нетерпелив.

Насколько Юлия могла понять из его уклончивых рассказов, в своей первой школе Джолион учился хорошо, а вот в Итоне не очень. Учителя в своих ежегодных отчетах писали, что мальчик не умеет заводить друзей, склонен к одиночеству.

Она спросила его однажды во время каникул, предварительными маневрами создав такую ситуацию, из которой мальчик не мог с легкостью ускользнуть (сын имел привычку уходить от прямых разговоров и вопросов):

— Скажи мне, Джолион, тебе действительно неприятно то, что я немка?

Его взгляд дернулся, хотел убежать, но затем Джолион посмотрел на мать с широкой вежливой улыбкой и сказал:

— Нет, мама, с чего бы это?

— Я просто хотела узнать, вот и все.

Она просила Филиппа «поговорить» с сыном, имея в виду, конечно: «Пожалуйста, измени мальчика, он разрывает мне сердце».

— Он не из тех, кто станет откровенничать, — таков был ответ мужа.

В сущности, Итон несколько утишил ее тревоги: сам факт и значимость того, что ее сын учился в этом прославленном заведении, являли собой некую гарантию преуспевания и благополучия. Юлия отдала сына — своего единственного сына — системе образования Англии и ожидала честного обмена: надеялась, что Джолион вырастет хорошим человеком, подобно отцу, и в дальнейшем пойдет по его стопам, возможно, станет дипломатом.

Когда умер отец Филиппа и почти сразу после этого — его мать, Филипп захотел переехать в их дом в Хэмпстеде. Это фамильный особняк, и он, сын и наследник, имеет полное право жить в нем. Юлии нравился их скромный домик в Мейфэре, который было просто поддерживать в порядке, и поэтому она не испытывала желания переезжать в большой дом с многочисленными комнатами. Но тем не менее переехала. Она ни разу не противопоставила свою волю желаниям Филиппа. Супруги не ссорились. Они ладили, потому что она не настаивала на своих предпочтениях. Юлия вела себя так, как научилась у матери, которая неизменно уступала своему мужу. Что ж, одна из двух сторон должна уступить, так понимала ситуацию Юлия, и не важно, какая именно это будет сторона. Гораздо важнее мир в семье.

Мебель из маленького дома, в свое время вывезенная по большей части из Германии, с легкостью разместилась в фамильном особняке в Хэмпстеде. Как ни странно, в новом доме количество приемов сократилось,

хотя место позволяло проводить их с размахом. Прежде всего, Филипп не был общительным человеком. У него имелось двое или трое близких друзей, и с ними он время от времени виделся, обычно без жены. Юлия тоже перестала получать от приемов и вечеринок удовольствие, как раньше, и сделала из этого вывод, что она становится старой и скучной. Однако они порой устраивали ужины, на которые приглашались весьма важные персоны, и Юлия радовалась тому, что у нее получается делать это хорошо и что Филипп гордится ею.

Она ездила в Германию в гости. Ее родители, уже старые, были счастливы видеть дочь, и она любила единственного оставшегося в живых брата. Но поездки на родину тревожили и даже пугали. Бедность и безработица, повсюду коммунисты и нацисты, на улицах орудуют бандиты. Потом появился Гитлер. Фон Арне в равной мере презирали и коммунистов, и Гитлера и считали, что оба неприятных явления вскоре исчезнут сами собой. Это не их Германия, заявляли они. И это определенно была не та Германия, которую помнила Юлия, если, конечно, вычеркнуть из памяти злобные сплетни во время войны. Про нее тогда болтали, что она якобы шпионка. Так говорили не умные люди, не образованные... хотя да, было среди них и несколько образованных. Юлия решила, что визиты в Германию перестали быть приятными, и когда родители умерли, она постепенно перестала туда ездить.

Все же англичане в основе своей разумные люди, Юлия не могла не соглашаться с этим. Невозможно было представить себе, чтобы на улицах Лондона шли битвы между коммунистами и фашистами. Конечно же, стычки бывали, но не нужно преувеличивать, ничего похожего на Гитлера в Англии не существовало.

Из Итона пришло письмо, извещавшее, что Джолион пропал, оставив записку о том, что он отправляется в Испанию воевать. Подписался он «Товарищ Джонни Леннокс».

Чтобы выяснить, где находится его сын, Филипп использовал все свои связи и влияние. Интернациональная бригада? Мадрид? Каталония? Никто ничего не знал. Юлия в некотором роде сочувствовала убеждениям сына, поскольку была шокирована тем, как обошлись с законно избранным правительством Испании британцы и французы. Ее муж, будучи дипломатом, оправдывал свое правительство и свою страну, но наедине с Юлией говорил, что ему стыдно. Он не был сторонником политики, которую защищал и в некоторой степени проводил.

Шли месяцы. Потом от сына пришла телеграмма, в которой он просил денег и указывал адрес жилого дома в Ист-Энде. Юлия сразу поняла, что

это свидетельствует о его желании видеть родителей, а иначе мальчик назвал бы какой-нибудь банк, откуда мог получить перевод. Вместе с Филиппом они прибыли на бедную улицу и нашли дом, а в нем больного Джолиона, за которым ухаживала порядочная на вид женщина (Юлия тут же подумала, что неплохо бы нанять ее в качестве прислуги). Джолион лежал в комнате на втором этаже с гепатитом, подхваченным, вероятно, в Испании. В результате беседы с женщиной, которая представилась как товарищ Мэри, выяснилось сначала, что об Испании она ничего не слышала, и затем, что Джолион никуда не уезжал, а все это время пробыл здесь, в этом доме, больной.

— Не сразу до меня дошло, что со здоровьем-то у него не все в порядке, — поделилась товарищ Мэри.

Семья Мэри была бедной. Филипп выписал щедрый чек, но ему заявили, что у них нет счета в банке, — заявили достаточно вежливо, лишь капелька сарказма давала понять, что банковские счета бывают только у богачей. В таком случае, сказал Филипп, деньги им передадут наличными, на следующий же день (что и было сделано). Джолион, настаивавший, чтобы отныне его называли Джонни, так исхудал, что его лицо напоминало обтянутый кожей череп. Он повторял, что товарищ Мэри и ее семья — это соль земли, однако с легкостью согласился вернуться домой.

Больше его родители об Испании не слышали. Зато в Коммунистической лиге молодежи он, герой Гражданской войны в Испании, стал звездой.

В большом доме у Джонни была сначала комната, а потом и целый этаж, куда постоянно приходили люди, что причиняло родителям массу неудобств и делало Юлию несчастной. Все посетители были коммунистами, весьма молодыми, и всегда забирали Джонни на митинги, демонстрации, воскресные семинары, марши. Юлия сказала как-то сыну, что если бы он видел улицы Германии, где сражаются соперничающие банды, то никогда бы не стал иметь дела с этими людьми. Последовала ссора, в результате которой Джонни просто ушел из дома. Так было положено начало его новому образу жизни — кочевому: он перемещался между домами товарищей, ночевал на полу, по углам, где находилось ему место, и просил у родителей денег. «Полагаю, вы все же не хотите, чтобы я умер с голоду, хоть я и коммунист».

Мать и отец ничего не знали о Фрэнсис — до тех самых пор, пока Джонни не женился на ней во время одной из своих побывок в Лондоне, однако Юлия имела представление о «девушках подобного типа», как она выражалась. Она встречалась с ними — нарядными, ловкими, кокетливыми

девицами на побегушках у старших офицеров — в департаменте мужа, куда их прикрепили на время войны. «Разве можно так наслаждаться жизнью посреди этой ужасной войны?» — задавалась вопросом Юлия. Что ж, по крайней мере они не лицемерили, эти девушки. (Одна древняя леди, сбрызгивая седые кудряшки лаком и печально разглядывая свое отражение в зеркале, вздыхала несколько десятилетий спустя: «О, как мы веселились, это было удивительно, восхитительно, вы меня понимаете?»)

Война могла обернуться для Юлии еще более страшной стороной. Ее имя оказалось в списке тех немцев, которых должны были интернировать в лагерь на острове Мэн. Филипп сказал ей:

— Никто и никогда не собирался ссылать тебя, это всего лишь досадная административная ошибка.

Но как бы то ни было, ему пришлось потрудиться, чтобы имя жены наконец вычеркнули из того списка. Эта вторая война наполнила мысли Юлии воспоминаниями о первой, давно прошедшей, и она поверить не могла, что снова страны, которым по всем статьям следовало дружить, идут друг на друга с оружием. Она стала болеть, плохо спала, плакала. Филипп был добр к жене — он вообще был добрым человеком. Он обнимал ее и укачивал в своих объятиях: «Ну же, моя дорогая, не надо». У него снова появилась возможность обнимать Юлию — благодаря одной из этих новых искусственных рук, которые могли делать все что угодно. Ну, или почти все. По вечерам муж отстегивал руку и вешал ее на подставку, после чего мог лишь частично обнять Юлию, и поэтому наступал час, когда она сама обнимала его.

Родителей-Ленноксов на свадьбу Джолиона и Фрэнсис не пригласили. Им сообщили о ней телеграммой, одновременно с известием о том, что их сын вновь отбывает в Канаду. Сначала Юлия не поверила, что он мог так обойтись с ними.

Филипп обнял ее и сказал:

— Ты не понимаешь, Юлия.

— Это точно. Я ничего не понимаю.

Хрипловатым от иронии голосом Филипп ответил:

— Мы же классовые враги! Ну же, Юлия, не плачь. Когда-нибудь он повзрослеет. Будем надеяться.

Однако на лице его было написано иное — чего Юлия, уткнувшись мужу в плечо, не могла видеть, но чувствовала с каждым днем все чаще и острее: глубокое, горестное, беспросветное разочарование, от которого никак не избавиться.

Они знали, что в Канаде дела у Джонни «идут хорошо». Что это могло

значить в свете всех событий? Вскоре после того, как он снова туда улетел, от него пришло письмо с фотографией — они с Фрэнсис на ступеньках регистрационного бюро, оба в форме, причем гимнастерка Фрэнсис тесная, как корсет. Взглянув на радостно улыбающуюся блондинку, Юлия вынесла свое суждение: «Глупая девица», — и убрала письмо с фотоснимком подальше. На конверте стояла печать цензора, как будто внутри содержалось нечто запретное, и у Юлии было именно такое чувство. Потом Джонни прислал записку: «Можешь зайти как-нибудь к Фрэнсис, посмотреть, как у нее дела. Она беременна».

Юлия не пошла. Затем Ленноксам доставили авиаписьмо, извещавшее о том, что у них родился внук. Джонни выражал надежду, что уж теперь мать соизволит нанести невестке визит. «Мы назвали мальчика Эндрю», — говорилось в постскриптуме, словно Джонни чуть не забыл об этой детали, и Юлия вспомнила, как сама сообщала родственникам о рождении сына: рассылала послания в больших белых плотных конвертах; на бумаге, похожей на тонкий фарфор, каллиграфическим шрифтом было выведено: «Джолион Мередит Вильгельм Леннокс». Ни один из получателей такого письма не мог сомневаться, что человеческая раса получила в лице новорожденного очень ценное пополнение.

Она понимала, что нужно бы повидать внука, но долго откладывала визит, а когда наконец пришла по адресу, указанному в письме Джонни, то узнала, что Фрэнсис съехала. Стоя посреди полуразрушенной улицы, Юлия радовалась, что ей не придется входить в один из здешних жутких домов, однако тот, куда ее направили, оказался еще хуже. Он был в Ноттинг-хилле. Входную дверь открыла неряшливая хмурая женщина и велела постучать вон в ту дверь, с треснутым смотровым окошком.

Юлия постучала, и раздраженный голос крикнул в ответ:

— Подождите, сейчас... Всё, входите.

Комната была большой, плохо освещенной, с грязными окнами. Выцветшие занавески из зеленого сатина, потертый палас. В зеленоватом полумраке на кровати сидела крупная молодая женщина, расставив ноги и прижимая к груди младенца. В свободной руке она держала книгу. Маленькая головка ритмично двигалась, ладошки с растопыренными пальчиками прижимались к обнаженной плоти. Из полной груди, тяжелой, подрагивающей, сочилось молоко.

Первой мыслью Юлии было, что ей дали неверный адрес. Не может быть, что эта женщина — та самая девушка с фотографии. Пока Юлия размышляла, неужели перед ней действительно ее невестка Фрэнсис, жена Джолиона Мередита Вильгельма, молодая мать произнесла:

— Присаживайтесь...

Прозвучало это так, будто появление здесь Юлии, необходимость видеть и говорить с ней стали для девушки последней каплей. Она сморщилась, высвобождая грудь из неудобного положения, рот младенца соскользнул с соска, и беловатая жидкость потекла по груди к расползшейся талии. Фрэнсис вновь заправила сосок малышу в губы, тот, давясь, захныкал, но через миг уже возобновил мелкие дрожачие движения головой, которые Юлия когда-то давно наблюдала у щенят, лежащих в ряд у сосков кормящей суки, ее таксы. Фрэнсис прикрыла свободную грудь тряпицей... Юлия могла бы поклясться, что это была пеленка.

В неприязненном молчании женщины смотрели друг на друга.

Юлия не села. Стул в комнате имелся, но выглядел уж очень задрипанным. Можно было присесть на кровать, однако незаправленная постель Юлию не привлекала.

— Джонни в письме попросил меня навестить вас.

Равнодушный, легкий, чуть томный голос Юлии, настроенный на одной ей известную ноту, заставил молодую женщину еще пристальнее взглянуть на гостью, но потом она рассмеялась.

— Что ж, считайте, что навестили, — сказала Фрэнсис.

Юлия пришла в ужас. Квартира казалась ей кошмарной, одновременно убогой и запущенной. Дом, в котором они с Филиппом нашли Джонни в пору неудавшейся поездки в Испанию, был тоже бедный, с тонкими стенами, весь какой-то хлипкий, но при этом опрятный, да и хозяйка Мэри была приличной женщиной. Но здесь Юлия ощущала себя так, словно спит и видит дурной сон. Эта бесстыжая молодуха, полунагая, с огромными сочащимися грудями... громкое чавканье младенца, витающий в воздухе запах рвоты и грязных пеленок... Юлии казалось, будто Фрэнсис намеренно и весьма грубо заставляет ее смотреть на неприглядную сторону жизни, существование которой она, сама, отказывалась признавать. Ее собственный ребенок, помнится, был представлен ей в виде красиво упакованного свертка после того, как кормилица вымыла и покормила младенца. Юлия отказалась кормить сына грудью, не желая вести себя как животное (хотя открыто не говорила об этом). Врачи и кормилицы любезно соглашались, что состояние молодой матери не позволяет ей самой кормить ребенка... у нее такое слабое здоровье, конечно же... Юлия часто играла с маленьким мальчиком, который появлялся в ее комнате с игрушками, она даже садилась на пол рядом с ним и искренне получала удовольствие от часового общения (няня отмеряла время с точностью до минуты). Она помнила запах мыла и талька. Она помнила, как приятно было уткнуться

носом в головку Джолиона...

Фрэнсис же думала: это невероятно. Эта женщина просто невероятна. И неприязнь ее была так велика, что грозила прорваться наружу резким хохотом.

Юлия стояла посреди комнаты в своем аккуратном костюме из серой шерсти, на котором не было ни морщинки, ни складки. Пуговицы застегнуты до самого горла, где шелковый шарфик добавлял в ансамбль оттенок лилового. Руки Юлии, затянутые в серые лайковые перчатки и тем самым, казалось бы, защищенные от немых поверхностей вокруг нее, находились в непрерывном тревожном движении, выражая ее неприятие и неодобрение. Туфли были похожи на черных блестящих птичек, а медные пряжки на них — как замки, подумала Фрэнсис, предназначенные для того, чтобы удержать птичек от полета или даже от нескольких шажков чинного танца. Серая шляпка Юлии отгораживала хозяйку от мира короткой вуалью, которая, однако, не скрывала шокированного взгляда; и тут тоже присутствовала металлическая пряжка, прикрепляющая вуаль к шляпе. Эта женщина; ивет в клетке, думала Фрэнсис, и для нее, измотанной одиночеством, бедностью, тревогами, появление свекрови в этой комнате (которую Фрэнсис ненавидела и мечтала покинуть) выглядело как намеренное издевательство, оскорбление.

— Что мне передать Джолиону?

— Кому? А, да. Но... — И Фрэнсис энергично выпрямилась на кровати, одной ладонью не забыв придержать головку малыша, а другой тряпку у себя на груди. — Так вы хотите сказать, что это он попросил вас прийти?

— Да, в письме.

И обе женщины на мгновение разделили общее чувство — это было неверие. Их взгляды наконец не просто встретились, а обменялись вопросами.

Когда Юлия прочитала письмо, в котором сын велел ей навестить его жену, она сказала Филиппу:

— Но я думала, что Джонни ненавидит нас. Если мы недостаточно хороши для того, чтобы пригласить нас на свадьбу, то почему он хочет, чтобы я повидалась с Фрэнсис?

Филипп ответил, сухо и несколько отстраненно, поскольку вечно был погружен в свои обязанности, связанные с военным временем:

— Как я понимаю, ты ожидаешь найти в его поступках последовательность. По-моему, это ошибка.

Что касается Фрэнсис, то она никогда не слышала, чтобы Джонни

говорил что-нибудь хорошее о своих родителях: он неизменно отзывался о них как о фашистах, эксплуататорах, в лучшем случае — реакционерах. Тогда как он мог...

— Фрэнсис, я бы очень хотела оказать вам небольшую денежную помощь.

Из сумочки гостыи появился конверт.

— О нет, я уверена, что Джонни не одобрил бы... Он никогда не принимает деньги от...

— Думаю, вы ошибаетесь. Он принимает и будет принимать.

— О нет-нет, Юлия, пожалуйста, не надо.

— Как хотите. Что ж, всего хорошего.

Юлия с Фрэнсис больше не встречалась — до тех пор, пока Джонни не вернулся с войны. Филипп, который к тому времени тяжело заболел и которому оставалось жить уже совсем недолго, сказал, что беспокоится о благополучии Фрэнсис и внуков. Воспоминания о единственном визите к невестке заставили Юлию вздрогнуть. Она принялась заверять мужа, что наверняка Фрэнсис не захочет ее видеть, но Филипп настоял:

— Прошу тебя, Юлия, навести их. Чтобы мне было спокойнее.

Юлия снова пошла в дом в Ноттинг-хилле. Она не сомневалась, что Джонни выбрал этот район именно из-за его убожества и сомнительной славы.

В семье сына к тому времени было уже двое детей. Старший (Эндрю, которого она видела) превратился в шумного и энергичного ребенка, а младший (Колин) был еще совсем крошечным младенцем. Фрэнсис и его вскармливала грудью. Она была все такой же полной, бесформенной и неряшливой, а квартира представляла собой, Юлия была в этом убеждена, угрозу для здоровья детей. На стене висел шкафчик для продуктов, с дверцами, затянутыми проволочной сеткой — для вентиляции. Сквозь сетку виднелись бутылка молока и сыр. Шкафчик недавно покрасили масляной краской, которая кое-где закупорила ячейки сетки, то есть циркуляция воздуха была нарушена. Детские одежки сохли на хрупкой деревянной конструкции, которая грозила в любой момент рассыпаться. Нет, сказала Фрэнсис голосом, звенящим враждебностью. Нет, ей не нужны деньги, спасибо, ничего не нужно.

Юлия стояла, не осознавая, что вся ее фигура выражает мольбу, руки дрожат, а глаза полны слез.

— Но, Фрэнсис, подумайте о детях.

Реакция невестки была такой, будто Юлия капнула ей на рану кислоты. О да, Фрэнсис часто думала о том, в каком свете ее собственные родители,

а не только семья Джонни, воспринимают ее замужество и то, в каких условиях живут ее дети. Запинаясь от гнева, Фрэнсис выпалила:

— Мне кажется, что я только и делаю, что думаю о детях.

На самом деле ее слова означали: «Да как вы смеете!»

— Пожалуйста, Фрэнсис, позвольте мне помочь вам, прошу вас. Джонни занят совершенно не тем, он всегда был таким, и это несправедливо по отношению к детям.

Проблема состояла в том, что к этому времени Фрэнсис уже полностью соглашалась: да, Джонни действительно занят не тем. Последние иллюзии растаяли, оставив после себя нерастворимый осадок раздражения на него, товарищей, Революцию, Сталина и прочая, и прочая. Но дело было теперь не в Джонни, а в ней, в крохотном, едва живом чувстве самоуважения и независимости. Вот почему фраза Юлии «Подумайте о детях» отравленной пулей вонзилась прямо в цель. Какое право имеет она, Фрэнсис, бороться за свою независимость, за собственное «я», если ради этого приходится жертвовать... Но дети же не страдают, нет. Она точно знает, сыновья не испытывают страданий.

Юлия ушла, рассказала о том, что видела, Филиппу и постаралась больше не думать о той квартире в Ноттинг-хилле.

Позже Юлия узнала, что Фрэнсис устроилась на работу в театр, и подумала: «Театр! Ну конечно, чего и следовало ожидать». Потом Фрэнсис стала играть на сцене, и свекровь думала: «Наверное, ей достаются роли служанок».

Однажды она пошла на спектакль, села в глубине зала, где, как она рассчитывала, ее не заметят, и посмотрела на игру Фрэнсис в симпатичной комедии. Та похудела, хотя оставалась еще в теле, ее светлые волосы вились кудряшками. Она играла владелицу отеля в Брайтоне. Юлия не находила в ней ничего от той довоенной хохотушки в тесной униформе, но сочла, что актриса Фрэнсис неплохая, и испытала некоторое облегчение. Фрэнсис знала, что свекровь приходила посмотреть на нее, потому что это был маленький театр, и Юлия явилась в одной из своих неподражаемых шляпок с вуалью и весь спектакль просидела, не снимая перчаток. В зрительном зале она была единственной женщиной в шляпке. А уж перчатки, эти ее перчатки, ну чистый смех.

На протяжении всей войны, особенно в трудные моменты, Филипп хранил память об одной миниатюрной перчатке, из швейцарского муслина, и те крапинки, белые точки на белом, и та крошечная оборка на запястье казались ему восхитительной фривольностью, насмешкой над собой и обещанием, что цивилизация вернется.

Вскоре Филипп умер от сердечного приступа, и Юлия не удивилась этому. Муж тяжело перенес войну. Он пропадал на работе сутками, домой приходил нагруженный бумагами и сразу садился за стол снова работать. Она знала, что Филипп был вовлечен во всевозможные смелые и рискованные акции и что он горевал о тех людях, которых посылал в опасные места, иногда — на смерть. За время войны он состарился. И, подобно Юлии, эта война заставляла его переживать в памяти прошлую войну; она догадывалась об этом по тем кратким, сухим замечаниям, которые муж изредка позволял себе делать. Вот так двое людей, когда-то безоглядно влюбленные друг в друга, прожили всю жизнь во взаимном терпении и нежности, будто желая уберечь воспоминания о прошлом от резкого движения или необдуманного прикосновения, но ни разу так и не всмотревшись в них повнимательнее.

Юлия осталась одна в большом доме, и однажды пришел Джонни и заявил, что он хочет забрать дом себе, а мать пусть снимет квартиру. Впервые в жизни Юлия проявила твердость и сказала «нет». Она собирается жить здесь, и на это ей не требуется согласия Джонни или кого бы то ни было еще. Ее родного дома, дома фон Арне, больше нет. После смерти младшего брата Юлии во время Второй мировой войны дом был продан и полученные средства переданы ей. И теперь особняк в Хэмпстеде, куда она так не хотела переезжать, стал ее домом, это единственная ниточка, которая связывает ее с той Юлией, у которой был дом, была семья, было прошлое. Она — Юлия Леннокс, и это — ее дом.

— Ты эгоистичная и жадная женщина, как и все представители вашего класса, — сказал Джонни.

— Вы с Фрэнсис, если хотите, можете тоже переехать сюда и жить со мной, но я отсюда никуда не уеду.

— Спасибо большое, Мутти, но мы отклоняем твое приглашение.

— Почему вдруг Мутти? Ты никогда не называл меня так.

— Ты желаешь скрыть тот факт, что являешься урожденной немкой, Мутти?

— Нет. По-моему, я ничего не скрываю.

— А по-моему, скрываешь. Лицемерие — это как раз то, чего стоит ожидать от подобных тебе людей.

Он был не на шутку зол. Отец не оставил ему ничего, все отошло Юлии. А Джонни планировал унаследовать дом и поселить в нем товарищей, нуждающихся в жилье. После войны все были бедны, жили одним днем, и он существовал на доходы от партийной работы, частью — противозаконные. Джонни дико злился на Фрэнсис за то, что она

отказалась принять ежемесячную помощь от Юлии. И когда Фрэнсис однажды спросила: «Но, Джонни, я не понимаю, разве ты смог бы принять деньги от классового врага?» — он ударил ее, единственный раз за все время их совместной жизни. В ответ жена тоже ударила его, еще сильнее. В ее вопросе не было ни язвительности, ни критики, Фрэнсис искренне хотела услышать от него объяснение.

Юлия была дамой хорошо обеспеченной, но не богатой. Оплачивать школу для обоих внуков, Колина и Эндрю, она была в состоянии, но заявила, что если Фрэнсис в ближайшее время не согласится переехать в особняк, то придется сдать часть дома чужим людям. Теперь Юлия вынуждена была экономить в таких вещах, о которых раньше даже не задумывалась (Фрэнсис посмеялась бы, узнав об этом). Она перестала покупать новую одежду. Она рассталась с экономкой, которая жила в цокольном этаже, и отныне обходилась услугами женщины, приходящей два раза в неделю, то есть порой часть работ по хозяйству выполняла собственноручно. (Эту приходящую прислугу, миссис Филби, пришлось уговаривать и улещивать, чтобы согласилась работать и после того, как в доме появилась Фрэнсис с ордой своих плохо воспитанных подопечных.) Юлия больше не покупала продукты в универсаме «Фортнум», к тому же после смерти Филиппа она обнаружила, что имеет склонность к аскетизму. Оказывается, образ жизни, предписанный жене чиновника из Министерства иностранных дел, не имел ничего общего с ее вкусами.

Юлия испытала облегчение, когда Фрэнсис наконец согласилась переехать. Молодым Ленноксам был отдан весь дом, кроме верхнего этажа, где поселилась она сама. Юлия по-прежнему не любила Фрэнсис, но искренне привязалась к внукам и надеялась, что уж в своем доме сумеет оградить детей от влияния родителей. Мальчики же боялись ее, по крайней мере в первое время, но Юлия об этом так никогда и не узнала. Она думала, что это мать не дает мальчикам сблизиться с ней, хотя все было как раз наоборот. Фрэнсис уговаривала сыновей навестить бабушку: «Пожалуйста, она ведь так добра к нам. И ей будет приятно». — «О нет, только не это! Мама, можно мы не пойдём?»

Фрэнсис отправилась в редакцию газеты, чтобы сообщить о своем согласии у них работать, и сразу поняла, что была права, изначально предпочитая театр. Обычно она писала дома, работая по заказу, и не обладала опытом работы в учреждении. Желания вливаться в трудовой коллектив у нее не было. Едва войдя в здание, где располагалась редакция «Дефендера», она сразу ощутила царящий в нем *esprit de corps*. [\[1\]](#) Эта

газета с момента своего образования слыла борцом за правое дело, а точнее — за множество правых дел. Боевые традиции газеты, заложенные еще в XIX веке, поддерживались и поныне, это чувствовали все, и особенно те люди, которые здесь работали: этот период, шестидесятые, несомненно оставит в истории след наравне с другими великими эпохами прошлого. В этот круг единомышленников новенькую Фрэнсис ввела некая Джули Хэкетт. Это была мягкая, уютная женщина с массой густых черных волос, собранных там и тут гребешками, заколками, булавками, решительно не модница, так как считала моду поработорительницей женщин. За всем, что происходило вокруг нее, Джули наблюдала с намерением исправлять ошибки — как фактические, так и идеологические — и в каждой фразе критиковала мужчин, по умолчанию полагая, как часто поступают горячо верящие во что-то люди, что Фрэнсис разделяет все ее взгляды. Она давно уже присматривается к Фрэнсис, читает ее статьи, появляющиеся то там, то здесь, в том числе и в «Дефендере», но одна статья стала определяющей, и Джули решила пригласить автора в штат газеты. Это был сатирический, но в целом добродушный очерк о Карнаби-стрит, которая находилась в процессе превращения в символ модной Британии и привлекала к себе со всего мира молодежь и людей, молодых душой. Фрэнсис писала, что, похоже, все они страдали некоей коллективной галлюцинацией, поскольку улица-то на самом деле была грязной, невзрачной, и если одежда там продавалась неплохая — по крайней мере часть ее, — то все равно ничуть не лучше, чем на других улицах, которые не имели, к сожалению, волшебных слогов Кар-на-би в своем наименовании. Какая ересь! Храбрая ересь, решила Джули Хэкетт и записала Фрэнсис в сестры по духу.

Фрэнсис показали офис, где секретарша сортировала письма, адресованные тетушке Вере, и раскладывала их по стопкам: ведь даже самые неприглядные стороны человеческой жизни подпадают под одну из легко выделяемых категорий. Мой муж изменяет мне, алкоголик, бьет меня, не дает достаточно денег, изменяет мне с секретаршей, предпочитает моему обществу приятелей в пабе. Мой сын алкоголик, наркоман, не хочет жить самостоятельно, прожигает жизнь в Лондоне, работает, но отказывается давать деньги на хозяйство. Моя дочь... Пенсии, льготы, поведение чиновников, медицинские проблемы... хотя нет, такими вопросами занимался врач. На подобные — более или менее стандартные — жалобы секретарша отвечала самостоятельно, подписываясь «Тетушка Вера», и это был новый процветающий раздел в «Дефендере». Работа Фрэнсис будет состоять в том, чтобы просматривать все эти письма в поисках особенно острой темы или проблемы и потом использовать ее как основу для

серьезной, длинной статьи, которой будет выделено на страницах газеты заметное место. Фрэнсис может писать свои статьи дома. Она будет частью «Дефендера», но частью самостоятельной, и за это она была благодарна.

Из издательства Фрэнсис возвращалась на метро и по дороге купила продуктов. К дому она шла с полными сумками.

Юлия стояла у своего высокого окна и смотрела вниз, когда заметила приближающуюся Фрэнсис. По крайней мере, это пальто не такое мешковатое, как остальные; возможно, есть надежда, что когда-нибудь невестка научится носить нормальную одежду, а не только джинсы и свитеры. Она ступала тяжело — как нагруженный вол, подумалось Юлии. Не доходя до дома, Фрэнсис остановилась, и свекровь с удивлением отметила, что она была в парикмахерской, сделала прическу: светлые волосы падают прямо как солома по обе стороны от пробора, в полном соответствии с последней модой.

Из окон некоторых домов, мимо которых брела Фрэнсис, гремела музыка, ритмично и яростно, как сердитое сердце, но Юлия с самого начала предупредила, что не потерпит громкой музыки, поэтому в ее доме музыку хотя и слушали, но тихо. Из комнаты Эндрю обычно доносились приглушенные мелодии Палестрины или Вивальди, из комнаты Колина — традиционный джаз, из гостиной, где стоял телевизор, — обрывки песен и голосов, из квартиры в цоколе — «бум-бум-бум», столь любимый «детворой».

Весь большой дом сиял, ни одного темного окна, и казалось, что свет исходит не только от окон, но и от стен — дом источал свет и музыку.

На фоне кухонной занавески Фрэнсис различила силуэт Джонни, и тут же ее настроение упало. Судя по жестикуляции, он был в процессе произнесения пламенной речи, и когда Фрэнсис вошла в дом, ее догадка подтвердилась: Джонни ораторствовал. Куба, опять. Вокруг стола привычный ассортимент подростков, но у нее не было времени рассмотреть, кто именно там сидит. Эндрю — да, Роуз — да... Зазвонил телефон. Она уронила сумки на пол, сняла трубку. Звонил Колин из школы.

— Мама, ты слышала новости?

— Нет. Какие новости? Колин, с тобой все в порядке? Ты же только утром уехал...

— Да-да, послушай, мы только что узнали, передали в новостях. В Кеннеди стреляли. Он погиб.

— Кто?

— Президент Кеннеди.

— Ты уверен?

— Говорю же, его застрелили. Включи телевизор.

Через плечо Фрэнсис сказала сидевшим в кухне:

— Президент Кеннеди умер. Его застрелили.

Молчание. Фрэнсис подошла к радио, включила его. Ничего. Она молча обернулась к неподвижным от шока лицам, и Джонни тоже молчал. Он на время потерял дар речи, потому что искал «верную формулировку», и через несколько секунд сумел выдать только:

— Мы должны оценить ситуацию... — но не смог продолжить.

— Телевизор, — сказал Джеффри Боун, и вся «детвора» мигом выскочила из-за стола и убежала из кухни наверх, в гостиную.

Эндрю крикнул им вслед:

— Осторожней, там Тилли смотрит... — и побежал вслед за всеми.

Фрэнсис и Джонни остались вдвоем, лицом к лицу.

— Как я понимаю, ты пришел навестить падчерицу? — спросила она.

Джонни замялся. Ему не терпелось подняться наверх и посмотреть шестичасовые новости, но он, очевидно, планировал сказать что-то Фрэнсис, и она стояла, прислонившись к полкам над плитой, и думала: «Ну-ка, попробую угадать...» И, как она и ожидала, он выпалил:

— Видишь ли, Филлида...

— Что Филлида?

— Она нездорова.

— Да, Эндрю говорил.

— Через пару дней я еду на Кубу.

— Тогда будет лучше, если ты возьмешь ее с собой.

— Боюсь, средств на это не хватит, и...

— А кто платит?

На лице Джонни возникло раздраженное выражение «Ну чего еще от нее можно ожидать», которое давало Фрэнсис понять всю безнадежность ее скудоумия.

— О таких вещах не спрашивают, товарищ.

Когда-то этих слов было достаточно, чтобы она погрузилась в пучину собственной неполноценности и вины. Надо же, как ловко у Джонни получалось заставить ее почувствовать себя идиоткой.

— А я спрашиваю. По-моему, ты забываешь, что у меня есть основания интересоваться твоими финансами.

— Кстати, сколько тебе будут платить на твоей новой работе в газете?

Фрэнсис улыбнулась:

— Недостаточно, чтобы содержать двух твоих сыновей и твою падчерицу.

— И кормить всех, кто решит заглянуть сюда на ужин.

— Что? Ты же не хочешь, чтобы я выгоняла на улицу потенциальных революционеров?

— Они все лентяи и разгильдяи, — заявил Джонни. — Оборванцы. — Но затем решил не продолжать и сменил тон: теперь он призывал к лучшим чувствам Фрэнсис. — Филлида действительно плоха.

— И чего ты от меня хочешь?

— Хочу, чтобы ты приглядела за ней.

— Нет, Джонни.

— Ну, тогда попрошу Эндрю. Все равно он ничем не занят.

— Он занят — ухаживает за Тилли. Она больна, как тебе известно.

— По большей части девочка просто бьет на жалость.

— Тогда почему ты кинул ее на нас?

— О... к черту, — сказал товарищ Джонни. — Психические расстройства — не моя специальность, а твоя.

— Тилли больна. Серьезно больна. Ты надолго собираешься уехать?

Он посмотрел себе под ноги, нахмурился.

— Я согласился поехать на шесть недель, но с этим очередным кризисом... — Вспомнив о кризисе, он торопливо свернул разговор: — Пойду послушаю новости. — И выбежал из кухни.

Фрэнсис подогрела суп, куриное жаркое, чесночный хлеб, сделала салат, выложила на блюдо фрукты, нарезала сыр. Она думала о несчастном ребенке — о Тилли. На следующий день после ее появления Эндрю заглянул к Фрэнсис в кабинет, где она работала, и спросил:

— Мама, ты не против, если я устрою Тилли в гостевой комнате? Вряд ли она может спать у меня, хотя, похоже, именно этого ей хочется.

Фрэнсис ожидала чего-то в этом роде. На ее этаже было четыре комнаты: ее спальня, кабинет, гостиная и маленькая комнатка, которая служила спальней для гостей во времена, когда в доме хозяйничала Юлия. Фрэнсис считала этаж полностью своим, считала его убежищем, где она была свободна от всех забот, всех людей. А теперь больная Тилли окажется совсем рядом. И будет мыться в ее ванной...

— Ну ладно, Эндрю. Но я не смогу ухаживать за ней. Ведь девочке нужен уход.

— Конечно, я сам буду за ней ухаживать. И буду убирать в ее комнате. — Потом, уже повернувшись, чтобы взбежать вверх по лестнице, он сказал тихо, но настойчиво: — Тилли действительно нужна помощь.

— Да, я понимаю.

— Она боится, что мы отправим ее в психушку.

— С какой стати, она же не сумасшедшая.

— Нет, — подтвердил сын с кривой улыбкой, в которой было больше мольбы, чем он подозревал. — Но может, я сумасшедший?

— Мне так не кажется.

Она слышала, как Эндрю спустился вместе с девушкой из своей спальни, и они вдвоем удалились в гостевую комнату.

О том, что там происходит, Фрэнсис могла догадаться: девушка лежала, свернувшись калачиком, на кровати или даже на полу, а Эндрю обнимал ее, утешал, возможно, даже напевал ей что-то (она уже слышала, как сын это делал).

И чуть раньше, этим утром, готовя на кухне еду на вечер, Фрэнсис наблюдала следующую сцену. Эндрю сидел за обеденным столом рядом с Тилли, завернувшейся в детское одеяльце, которое нашла в комодке и присвоила. Перед ней стояла миска молока с кукурузными хлопьями, и вторая такая же миска — перед Эндрю. Он играл с ней в детскую игру:

— Одна ложка для Эндрю... Теперь одна ложка для Тилли... Одна для Эндрю...

При словах «одна для Тилли» она открывала рот и огромными голубыми глазами смотрела на Эндрю. Казалось, что она не умеет моргать. Эндрю наклонял ложку, после чего девушка закрывала губы, но не глотала. Эндрю заставлял себя проглотить свою ложку, и все повторялось:

— Одна для Тилли... Другая для Эндрю...

В рот Тилли попадали жалкие крохи, но хотя бы Эндрю что-то ел.

Потом Эндрю делился с ней:

— Тилли не ест. Нет-нет, у нее это получается гораздо хуже, чем у меня. Она совсем не ест.

Все это происходило задолго до того, как анорексия стала привычным явлением наряду с сексом и СПИДом.

— А почему Тилли не ест? Ты знаешь? — поинтересовалась Фрэнсис, подразумевая: пожалуйста, скажи мне, почему ты сам не ешь.

— В ее случае я бы сказал, что из-за матери.

— А какие еще бывают случаи?

— Ну, в моем случае, например, это скорее из-за отца.

Самоирония и неунывающий юмор, которые воспитал в сыне Итон, в этот момент словно отсоединились от его истинного «я» и превратились в набор гротескных и неуместных масок. Глаза Эндрю смотрели на мать серьезно, тревожно, умоляюще.

— И что же нам делать? — спросила Фрэнсис в таком же отчаянии, как и он.

— Надо подождать, немного подождать, только и всего, а потом все наладится.

Когда «детвора» (пора бы ей уже перестать называть их так) толпой спустилась и расселась вокруг стола в ожидании еды, Джонни с ними не вернулся. Все сидели и прислушивались к ссоре, вспыхнувшей на верхнем этаже дома. Крики, проклятия — отдельных слов, правда, было не разобрать.

Эндрю пояснил Фрэнсис:

— Отец хочет, чтобы Юлия пожила в его квартире и присмотрела за Филлидой, пока он будет на Кубе.

Все посмотрели на Фрэнсис, ожидая ее реакции. Она рассмеялась.

— О, господи, — сказала она. — Это же переходит всякие границы.

Теперь все переглядывались — неодобрительно. То есть все, кроме Эндрю. «Детвора» восхищалась Джонни и считала Фрэнсис недоброй. Эндрю сказал, обращаясь ко всем очень серьезно:

— Это невозможно. Несправедливо просить об этом Юлию.

Верхний этаж, где обитала Юлия, часто бывал объектом насмешек, и хозяйку дома называли не иначе как старухой. Но с тех пор как Эндрю вернулся домой и подружился с Юлией, отношение к ней стало меняться, так как все брали пример с него.

— С какой стати она должна помогать Филлиде? — сказал Эндрю. — Хватит и того, что ей приходится терпеть всех нас.

Этот новый взгляд на ситуацию заставил всех задуматься.

— И к тому же Филлида ей не нравится, — сказала Фрэнсис в поддержку Эндрю. И вовремя остановилась, потому что на языке уже вертелось продолжение: и я ей не нравлюсь, Юлии никогда не нравились женщины Джонни.

— Кому она вообще может нравиться? — воскликнул Джеффри, и Фрэнсис взглянула на него вопросительно: это было что-то новое.

— Филлида приходила сюда сегодня, — объяснил Джеффри.

— Она хотела поговорить с тобой, — добавил Эндрю.

— Сюда? Филлида?

— Она чокнутая, — сказала Роуз. — Я была здесь, видела ее. Она спятила. Съехала с катушек. — И Роуз хихикнула.

— А что Филлиде было нужно? — удивилась Фрэнсис.

— Я не спрашивал, — ответил Эндрю. — Сказал ей, чтобы уходила.

Наверху хлопнула дверь, громче раздались крики Джонни, и вот он уже затопал по лестнице, а вслед ему неслось единственное слово, которым наградила сына Юлия:

— Имбецил!

Он вошел в кухню, искрясь от ярости.

— Старая сука, — бормотал он, — фашистка.

«Детвора» смотрела на Эндрю в ожидании подсказки, как себя вести. Он же сильно побледнел, и вид у него был нездоровый. Громкие крики, ссоры — для него это было слишком.

— Это уже слишком, — протянула Роуз, наслаждаясь общей атмосферой раздора.

Эндрю сказал:

— Тилли снова расстроится.

Он полупривстал из-за стола, и Фрэнсис попросила сына, боясь, что он воспользуется этим предложением, чтобы не поужинать:

— Пожалуйста, сядь, Эндрю.

Он сел, и Фрэнсис удивилась тому, что он ее послушался.

— Вы знали, что ваша... что Филлида приходила сюда? — спросила Роуз у Джонни, хихикая. Она раскраснелась, ее маленькие черные глазки блестели.

— Что? — спросил Джонни резко, кинув быстрый взгляд в сторону Фрэнсис. — Она действительно приходила?

Никто не ответил ему.

— Я поговорю с Филлидой, — сказал он неловко.

— Ее родители живы? — поинтересовалась Фрэнсис. — Она могла бы пожить с ними, пока ты не вернешься с Кубы.

— Филлида ненавидит их. И имеет на это все основания. Они — жалкие отбросы люмпена.

Роуз зажала рот рукой, сдерживая новый приступ веселости.

Тем временем Фрэнсис оглядывала стол: кто сегодня ужинает с ними? Помимо Джеффри — ну, само собой, этот всегда здесь — она увидела Эндрю, потом Роуз, и еще Джил, и Софи, которая плакала. За столом сидел и еще один мальчик, незнакомый ей.

В этот момент снова зазвонил телефон, и снова это был Колин.

— Я тут подумал, — сказал он, — Софи не у вас? Она, должно быть, дико расстроена. Позови ее, я поговорю с ней.

И его звонок напомнил всем, что Софи действительно должна была расстроиться, потому что ее отец в прошлом году умер от рака и мать непрестанно плакала и винила в своем горе дочь. Это-то и было причиной, по которой почти каждый день Софи сидела за этим столом. Смерть Кеннеди, разумеется, вызвала у нее...

Софи с телефонной трубкой в руках всхлипывала и говорила:

— О Колин, спасибо тебе, о, спасибо тебе, ты понимаешь, Колин, о, я знала, что ты поймешь, о, ты приедешь, о, спасибо, спасибо тебе.

Она вернулась на свое место за столом со словами:

— Колин приедет сегодня последним поездом.

Софи закрыла лицо ладонями — узкими изящными ладонями с ноготками розового цвета именно того оттенка, который был предписан на эту неделю модными арбитрами Сент-Джозефа, одним из которых была она сама. Длинные блестящие волосы упали на стол, словно овеществленная мысль о том, что никогда не придется ей подолгу грустить в одиночестве.

Роуз кисло заметила:

— Мы все сильно расстроились из-за Кеннеди, правда ведь?

А Джил разве не должна быть в школе? Но в школе Сент-Джозеф ученики приезжали и уезжали когда им вздумается, не обращая особого внимания на время, расписания или экзамены. Когда преподаватели предлагали ужесточить дисциплину, им напоминали о принципах, лежащих в основе прогрессивного обучения, среди которых главным был принцип самостоятельного развития. Только сегодня утром Колин отправился в школу и вот уже едет обратно. Джеффри сказал, что, возможно, завтра тоже поедет — он вспомнил, что является старостой класса. А Софи — она, случаем, не бросила учебу? Так или иначе, Фрэнсис видела ее в доме чаще остальных ребят. Джил, похоже, надолго поселилась на нижнем этаже со своим спальным мешком и регулярно поднималась в кухню поесть. Девушка сказала Колину, который передал ее слова Фрэнсис, что, мол, ей нужно отдохнуть. Дэниел уже несколько дней был в школе, но можно не сомневаться, что вернется, раз Колин возвращается — любой предлог подойдет. Фрэнсис прекрасно понимала ход их мыслей: ребята были уверены, что стоит им отвернуться, как за их спинами начинают происходить упоительно драматичные события.

В конце стола Фрэнсис заметила нового гостя, тот широко улыбался ей, словно ждал, когда она спросит: «Кто ты? Что ты здесь делаешь?» Но она просто поставила перед ним тарелку с супом и улыбнулась.

— Я Джеймс, — сказал он, краснея.

— Что ж, рада познакомиться. Бери хлеб и... все, что тебе нужно.

Большая рука смущенно протянулась, чтобы взять кусок цельнозернового (полезного) хлеба. После чего Джеймс так и застыл с хлебом в руках, восхищенно оглядываясь.

— Джеймс — мой друг. То есть на самом деле он мой двоюродный брат, — объявила Роуз, и вид у нее при этом был нервный и агрессивный одновременно. — Я сказала ему, что он может прийти... в смысле

поужинать... в смысле...

Фрэнсис поняла, что в их шумном доме прибавился еще один беженец из проблемной семьи, и стала прикидывать, сколько продуктов нужно будет завтра купить.

В этот вечер за столом их было всего семеро вместе с ней. Джонни стоял у окна, напряженный, как часовой. Он явно ждал, чтобы его пригласили есть. Свободные места были. Да ни за что на свете она не станет приглашать его, и ей все равно, что подумает о ней «детвора».

— Пока ты не ушел, — произнесла Фрэнсис с намеком, — расскажи нам, кто убил Кеннеди.

Джонни пожал плечами, на мгновение растерявшись.

— Может, это Советы? — предположил новичок за их столом, явно желая утвердиться.

— Чепуха, — сказал Джонни. — Советские товарищи — не сторонники терроризма.

Бедный Джеймс сильно смутился.

— А не Кастро ли стоит за этим? — выдвинула новый вариант Джил и заслужила этим ледяной взгляд Джонни. — Ну, то есть залив Свиней и все такое...

— Фидель Кастро тоже не террорист, — отмел ее доводы Джонни.

— Так ты позвони мне перед отъездом, — все пыталась выпроводить его Фрэнсис. — Ты говоришь, через пару дней?

Но он не уходил.

— Это был псих! — выкрикнула Роуз. — Какой-то псих взял и застрелил президента!

— Но кто заплатил этому психу? — спросил Джеймс, оправившись после первой неудачи, хотя его щеки все еще горели.

— Не следует отбрасывать ЦРУ как вариант, — сказал Джонни.

— ЦРУ никогда не следует отбрасывать как вариант, — уточнил Джеймс и был награжден улыбкой и кивком Джонни.

Джеймс был крупным молодым человеком, старше Роуз, старше всех их — за исключением, пожалуй, Эндрю. Роуз заметила, что Фрэнсис изучает новенького, и немедленно отреагировала, будучи чутко настроена на любую критику:

— Джеймс увлекается политикой. Он дружит с моим старшим братом. И бросил учебу.

— Ну надо же, — сказала Фрэнсис, — какой сюрприз.

— Что значит сюрприз? — вскинулась Роуз. — Почему вы так сказали?

— О, Роуз, это всего лишь шутка.

— Она шутит, — пояснил Эндрю, словно переводя слова матери, как будто это было необходимо.

— Да, кстати, раз уж зашла речь о шутках, — вспомнила Фрэнсис. Когда они все убежали наверх смотреть новости, она увидела, что на полу опустевшей кухни стоят две большие сумки, набитые книгами. Теперь она указала на них Джеффри, который не сумел сдержать горделивой улыбки: — Хороший улов сегодня?

Все рассмеялись. «Детвора» воспринимала воровство в магазинах как нечто само собой разумеющееся, но для Джеффри это стало делом принципа. Он регулярно обходил книжные магазины именно с целью стащить что-нибудь — школьные учебники были предпочтительнее всего, хотя он брал все, что мог. Называл он это «освобождением» книг, с намеком на Вторую мировую и своего отца, который во время войны летал на бомбардировщиках. Джеффри говорил Колину, что его отец не может думать и говорить ни о чем, кроме войны: «Во всяком случае, нас с матерью он точно не замечает». С тем же успехом отец мог бы погибнуть в одном из боев, если судить по тому, что он сделал для семьи с тех пор. Колин на это отвечал, что и сам в таком же положении. «Война, революция — все одно».

— Да благословит господь «Фойл», — сказал Джеффри. — Там я освободил больше книг, чем во всех других магазинах вместе взятых. Прямо благодетель человечества этот «Фойл». — Но он то и дело поглядывал на хозяйку и нервно добавил: — Фрэнсис не одобряет.

Они знали, что Фрэнсис этого не одобряла. Она так часто говорила: «Все дело в моем воспитании. Меня с детства учили тому, что воровать плохо», что, когда она или кто-нибудь еще критиковал остальных или не соглашался с ними, «детвора» подхватывала: «Все дело в вашем воспитании!» Но недавно Эндрю сказал, что шутка уже приелась.

Джонни не упустил случая поразглагольствовать на одну из своих любимых тем:

— Да-да, правильно, забирайте у капиталистов все, что сумеете. Ведь откуда у них все это? Украдено ими у вас же!

— Неужели у нас? — поддел отца Эндрю.

— У рабочего класса. У простых людей. Так что берите у этих подонков все подряд.

Эндрю никогда не воровал в магазинах, считал это недостойным поведением. С откровенным вызовом он спросил:

— Тебе не пора возвращаться к Филлиде?

Намеки Фрэнсис можно было игнорировать, но слова сына заставили Джонни направиться к двери.

— Никогда не забывайте, — обратился он напоследок ко всем, — каждый ваш шаг, каждое слово, каждая мысль должны сверяться с нуждами Революции.

— Так что ты сегодня добыл? — спросила Роуз у Джеффри. Она восхищалась им почти так же, как восхищалась Джонни.

Джеффри вынул книги из сумок и сложил из них на столе башню.

Все захлопали — за исключением Фрэнсис и Эндрю.

Фрэнсис взяла свой портфель и достала оттуда одно из писем, которые принесла из издательства домой. Она зачитала его вслух:

— «Дорогая тетушка Вера...» Тетушка Вера — это я. «Дорогая тетушка Вера, у меня трое детей, все школьники. Каждый вечер они приходят домой с ворованными вещами, в основном это конфеты и печенье...» — Тут вся компания дружно застонала. — «Но может быть что угодно, в том числе учебники...» — Все захлопали. — «А сегодня мой старший сын пришел с парой дорогих джинсов». — Снова аплодисменты. — «Прямо не знаю, как быть. Когда нам звонят в дверь, я все время думаю, что это полиция». — Фрэнсис выдержала паузу, пока «детвора» выражала свои чувства долгим «У-у». — «И я так волнуюсь за них. Была бы очень признательна вам за совет, тетушка, а то я уж и не знаю, что делать». Она вложила письмо обратно в конверт.

— И что ты собираешься ей посоветовать? — поинтересовался Эндрю.

— Может, нам поможет в этом Джеффри. В конце концов, староста должен хорошо разбираться в подобных ситуациях.

— О, — простонал Джеффри, спрятав лицо в ладонях и притворяясь, будто плачет, — Фрэнсис воспринимает это всерьез.

— Да, я воспринимаю это всерьез, — согласилась Фрэнсис. — Это воровство. Вы — воры, — сказала она, обращаясь по большей части к Джеффри, поскольку его давнишнее пребывание в их доме давало ей на это право. — Ты — вор. И этим все сказано. Я не Джонни, — добавила она.

За столом воцарилась тишина. Роуз хихикнула. Полыхающее огнем лицо новичка — Джеймса — было красноречивее любого признания.

Софи воскликнула:

— Но, Фрэнсис, я и не знала, что вы настолько сильно нас не одобряете.

— Да, не одобряю, — сказала Фрэнсис, но лицо и голос ее смягчились, потому что это была Софи. — Теперь будете знать.

— Все дело в вашем... — начала Роуз, но под взглядом Эндрю

умолкла.

— Ну, пойду послушаю, что говорят в новостях, и мне еще надо поработать. — Она вышла, на прощание сказав: — Доброй ночи, — обращаясь ко всем и таким образом давая разрешение, в том числе и Джеймсу, остаться на ночь — если будет такое желание.

Перед телевизором Фрэнсис просидела всего несколько минут. Выходило, что Кеннеди действительно застрелил какой-то сумасшедший. Ну, с ее точки зрения, просто не стало еще одного политика. Вероятно, он заслужил свою судьбу. Конечно, Фрэнсис никогда не позволит себя высказать эту мысль вслух, уж очень она не соответствовала духу времени. Иногда Фрэнсис казалось, что из долгих отношений с Джонни она вынесла всего одну полезную вещь: умение держать свое мнение при себе.

Перед тем как сесть за работу, которая в этот вечер состояла из чтения сотни с лишним писем, принесенных домой, она приоткрыла дверь в гостевую комнату. Тишина и темнота. Фрэнсис на цыпочках подошла к кровати и склонилась над закутанной в одеяло фигуркой — маленькой, почти детской. Так она и думала: Тилли держала во рту большой палец.

— Я не сплю, — услышался ее голосок.

— Я волнуюсь за тебя, — сказала Фрэнсис и услышала, к собственному удивлению, что ее голос дрожит, а ведь она обещала себе не принимать близко к сердцу проблемы других людей, потому что какой от этого может быть толк? — Ты выпьешь какао, если я тебе принесу?

— Попробую.

Фрэнсис приготовила в кабинете чашку какао (она держала возле письменного стола чайник и кое-какие припасы) и отнесла ее девочке, которая произнесла:

— Только, пожалуйста, не считайте меня не благодарной.

— Включить свет? Может, ты прямо сейчас попьешь, пока горячее?

— Поставьте чашку на пол.

Фрэнсис так и сделала, понимая, что, скорее всего, к утру чашка по-прежнему будет стоять там нетронутая.

Работала она допоздна. Она слышала, как приехал Колин и потом вместе с Софи устроился на большом диване, где они долго говорили — она слышала их, по крайней мере голоса, если не слова, прямо у себя под ногами (старый красный диван стоял примерно под ее письменным столом, а над столом, этажом выше, — кровать Колина). Когда голоса в гостиной стихли, раздались осторожные шаги у нее над головой. Ну, Колин знал, какие меры предосторожности нужно предпринимать — он так и заявил брату, когда тот поучал его в подобных делах.

Софи было шестнадцать лет. Фрэнсис хотелось обнять девушку и защитить ее. Ничего такого она не испытывала в отношении Роуз, или Джил, или Люси, или кого-то еще из тех девиц, которые появлялись в доме. Почему именно Софи? Она красавица, и в этом все дело, вот почему хотелось оберегать ее. И как же это глупо — ей, Фрэнсис, должно быть стыдно. Этим вечером ей не раз было стыдно. Она открыла дверь, прислушалась. Внизу, в кухне, было шумно. Похоже, там не только Эндрю, Роуз и Джеймс... Ладно, завтра она все узнает.

Ночь прошла беспокойно. Фрэнсис дважды вставала, ходила к Тилли, смотрела, как у той дела. Один раз она застала в гостевой комнате темноту, покой и душноватый запах какао. А второй раз увидела, как к себе в комнату поднимается Эндрю, очевидно возвращавшийся после сходной миссии. После этого Фрэнсис было не уснуть. Ее беспокоило воровство в магазинах. Когда Колин только начинал учебу в Сент-Джозефе, то в доме, замечала Фрэнсис, стали появляться вещи, не принадлежавшие им, — так, по мелочи, ничего особенного: футболка, ручки, пластинки. Однажды он украл антологию поэзии, чем поразил Фрэнсис. Тем не менее она высказала свой протест. Колин стал жаловаться, что в школе все так делают, а она консервативная мещанка. Разумеется, этим проблемы не закончились, ведь это была школа прогрессивного обучения! Одна из девочек первой волны гостей (которые вели себя не так раскованно, ведь тогда они были гораздо младше), Петула, проинформировала Фрэнсис, что Колин ворует любовь. Так сказал их классный руководитель. За ужином состоялось шумное обсуждение. Нет, он ворует не любовь родителей, а любовь того самого классного руководителя, который имел совсем другие представления о Колине.

Джеффри, уже тогда, пять лет назад, бывший практически постоянным обитателем дома, гордился тем, что он добывал с прилавков. Фрэнсис была шокирована, но сказала всего лишь: «Ладно, только смотрите не попадитесь». Она не заявила им: «Нет, ни в коем случае не делайте этого» не только потому, что знала — ее не послушают, но и потому, что не представляла, какие масштабы примет воровство в будущем. И вот еще что не давало Фрэнсис сомкнуть глаз той ночью: ей нравилось быть среди этих современных подростков, ставших новыми арбитрами моды и морали. Главным, разумеется, было ощущение «Мы против них». Петула, та живая девочка (теперь она училась в Гонконге в школе для детей дипломатов), говорила, что украсть и остаться непопавшим означает пройти своеобразный обряд посвящения, и взрослые должны понимать это.

И вот Фрэнсис оказалась перед необходимостью написать

основательную, длинную и взвешенную статью как раз на эту тему. Она уже сожалела о том, что согласилась принять предложение газеты, которое вынуждало ее занять четкую позицию по целому ряду вопросов, тогда как ей свойственно учитывать взгляды разных сторон и выражать собственное мнение не более чем одной фразой: «Да все это так сложно».

В последние годы Фрэнсис относилась к воровству особенно негативно, и дело тут было не столько в ее воспитании, сколько в десяти годах непрерывных призывов Джонни к всевозможным видам антисоциального поведения; все это чем-то напоминало партизанскую войну: нанести удар и скрыться. Однажды до нее дошла простая истина: для Джонни Революция — это не что иное, как шанс обрушить себе на голову все что можно, как это сделал Самсон. Он и его приятели мечтают о том, чтобы направить на мироздание горелку и спалить все, а потом, ну это же так просто — построить на выжженной земле новое общество по своему образу и подобию. Оставалось только удивляться, как Фрэнсис не поняла этого раньше, настолько очевидно все было, но в то время перед ней встал еще один вопрос: на что рассчитывают эти будущие строители новой жизни, если они не в силах организовать свою собственную жизнь? Что и говорить, мысль бунтарская, опередившая свое время на много лет (по крайней мере, в тех кругах, в которых вращалась Фрэнсис), и в душе у нее поселилась эмоция, которую она признала далеко не сразу. Фрэнсис стала считать Джонни... не обязательно называть кем именно... Она наконец-то очень четко определила для себя, как относиться ко всем этим идеям и разговорам Джонни, но в то же время полагалась почему-то на ауру надежды, оптимизма, которая окружала его, его товарищей, все, что они делали. Фрэнсис ведь тоже верила — правда, не отдавая себе в этом отчета, — что мир становится лучше и лучше, что все они едут на эскалаторе прогресса и что болезни настоящего постепенно растворятся и все люди окажутся в новом счастливом, здоровом времени. И когда она стояла на кухне и раскладывала «детворе» еду по тарелкам, видя их юные лица, слушая их непочтительные, уверенные голоса, ей казалось, что она молча обещает им это светлое будущее. Откуда в ней это обещание? От Джонни, Фрэнсис впитала его от товарища Джонни, и пока ее мозг был занят критикой — с каждым днем все более жесткой, — на подсознательном, эмоциональном уровне она верила Джонни и его смелым новым мирам.

Через несколько часов она сядет и напишет статью — о чем?

Если в своем доме она не заняла твердую позицию в отношении воровства (даже если в душе она его порицает), то какое право она имеет

советовать другим людям, что им делать?

И как же запутались эти непутевые дети. Выходя вчера вечером из кухни, Фрэнсис слышала, что они смеются, но как-то натужно; голос Джеймса был громче остальных, потому что он так хотел быть принятым в круг этой свободной духом молодежи. Бедный мальчик, он бежал от скучных провинциальных родителей (так же, как она в свое время) в блистательный Лондон, и что же? В том самом доме, который Роуз называла «Залом Свободы» (и ей, Фрэнсис, нравилось это выражение), он слышит те же самые нравоучения, что и от родителей (Джеймс наверняка тоже воровал, они все сейчас так делают).

Уже девять часов, по ее меркам — позднее утро. Давно пора вставать. Фрэнсис выглянула на площадку и увидела, что Эндрю сидит на полу — так, чтобы видеть комнату, где вчера положили гостью. Дверь туда была не закрыта. Эндрю одними губами сказал:

— Смотри!

Бледное ноябрьское солнце падало в комнату напротив, где хрупкая прямая фигура в ореоле светлых волос, в старомодном розовом одеянии (капор?) устроилась на высоком стуле. Если бы перед Филиппом явилось сейчас такое видение, то как легко ему было бы поверить, что это его юная Юлия, его давнишняя любовь. На кровати, закутанная все в то же детское одеяльце, сидела посреди подушек Тилли и не мигая смотрела на старую женщину.

— Нет, — донесся до Фрэнсис холодный, размеренный голос, — нет, твое имя не может быть Тилли. Это очень глупое прозвище. Как твое настоящее имя?

— Сильвия, — едва слышно выдохнула девушка.

— Вот видишь. Почему же ты тогда называешь себя Тилли?

— В детстве я не могла выговорить «Сильвия», у меня получалось только «Тилли». — За один раз она произнесла больше слов, чем за все время пребывания в доме.

— Очень хорошо, я буду звать тебя Сильвией.

В руке Юлия держала кружку какой-то жидкости. Она тщательно, красиво отмерила некое количество содержимого чашки в ложку — запахло мясным бульоном — и протянула ложку к губам Тилли, то есть Сильвии. Только они были плотно сомкнуты.

— А теперь внимательно выслушай меня. Я не собираюсь смотреть, как ты убиваешь себя из-за собственной глупости. Я этого не позволю. Так что открывай рот и начинай есть.

Бледные губы задрожали, но разжались, и все это время девочка не

отрывала взгляд от Юлии, словно загипнотизированная. Ложка проникла в рот, ее содержимое вылилось внутрь. Фрэнсис и Эндрю, затаив дыхание, ждали, сделает ли Сильвия глотательное движение. Сделала.

Фрэнсис глянула на сына и заметила, что он тоже повторил это движение, сопереживая.

— Видишь ли, — продолжала Юлия, пока ложка проделала повторное путешествие в кружку с бульоном, — я твоя приемная бабушка. А я не разрешаю своим детям и внукам вести себя глупо. Ты должна понять меня, Сильвия...

Ложка нырнула в рот, последовал еще один глоток. И снова Эндрю глотал вместе с Сильвией.

— Ты ведь умная и красивая девочка...

— Я гадкая, — послышалось из подушек.

— Мне так не кажется. Но если ты решила быть гадкой, то рано или поздно станешь такой, а я, как я уже тебе говорила, ничего подобного не позволяю.

Ложка отправляется в рот, глоток.

— Во-первых, я прослежу за тем, чтобы ты снова стала здоровой, а потом ты пойдешь в школу и сдашь пропущенные экзамены. После этого ты поступишь в университет и станешь врачом. Вот я не стала врачом и очень сожалею об этом, но теперь ты вместо меня научишься лечить людей.

— Я не могу, не могу. Я не вернусь в школу.

— Почему не можешь? Эндрю говорил мне, что ты хорошо училась, пока не стала глупить. Ну-ка, возьми кружку и допей сама, что осталось.

Наблюдатели на площадке затаили дыхание — ведь это мог быть кризис. Предположим, Тилли... Предположим, Сильвия откажется от кружки с живительным бульоном и снова засунет в рот палец. Предположим, она снова сомкнет губы. Юлия держала кружку возле тонкой руки — не той, которая сжимала детское одеяльце, а бессильно лежавшей на коленях.

— Бери.

Рука дрогнула, но вот пальцы ожили, и Юлия осторожно вложила в них кружку и сжала маленькую ладонь вокруг теплой керамики. Рука самостоятельно поднялась, кружка достигла губ, и...

— Это так трудно, — шепнула девочка.

— Конечно, я знаю.

Дрожащая рука поднесла бульон к губам. Юлия поддерживала кружку. Девочка отхлебнула, глотнула.

— Мне будет плохо, — сказала она.

— Нет, не будет. Пей, Сильвия, не разговаривай.

Снова Фрэнсис и ее сын ждали, что будет дальше. Сильвию не вырвало, хотя позывы были, и она подавила их, однако Юлия просто сказала:

— Прекрати это.

Тем временем с «мальчишеского» этажа по лестнице спустился Колин, а за ним — Софи. Они остановились. Лицо Колина вспыхнуло пунцовым светом, а Софи при виде Фрэнсис то ли заплакала, то ли засмеялась (а может, то и другое вместе) и чуть не убежала обратно, но вместо этого подбежала к ней, обняла и сказала:

— Милая, милая Фрэнсис!

Уже без слез она сбежала по лестнице на кухню.

— Это совсем не то, что ты думаешь, — сказал Колин.

— Я ничего не думаю, — ответила Фрэнсис.

Эндрю молча улыбнулся, оставив свои соображения при себе.

Теперь и Колин увидел, какая сцена разыгрывалась в гостевой комнате, и сказал перед тем, как длинными прыжками скатиться на первый этаж:

— Бабушке это будет полезно.

Юлия, которая не обращала на зрителей никакого внимания, поднялась со стула и разгладила свои юбки. Пустую кружку она забрала у девочки со словами:

— Я приду через час и посмотрю, как твои дела. А потом отведу тебя в свою ванную комнату, после чего ты сможешь надеть чистую одежду. Скоро тебе станет гораздо лучше, вот увидишь.

По дороге Юлия подняла с пола чашку с холодным какао, вышла из комнаты и отдала чашку Фрэнсис.

— Полагаю, это ваше, — сказала она. И затем повернулась к Эндрю: — И тебе тоже уже пора перестать делать глупости.

Дверь в гостевую комнату она оставила открытой и поднялась по лестнице, придерживая одной рукой свое розовое шуршащее одеяние.

— Значит, с этим все устроилось, — сказал Эндрю матери. — Молодец, Сильвия! — крикнул он, обращаясь к девушке, и та улыбнулась, пусть и слабо.

Он взбежал к себе, Фрэнсис услышала, как хлопнула сперва дверь в комнату Юлии, а потом другая, у Эндрю. В комнате напротив солнечное пятно упало прямо на подушку, и Сильвия (не было никакого сомнения в том, что отныне она была Сильвией и никем иным) поворачивала в желтом квадрате свою руку, разглядывала ее.

В этот момент во входную дверь забарабанили, истерично взвыл

звонок, послышался женский голос. Девочка, сидящая в солнечном свете, издала тонкий вскрик и нырнула под одеяла.

Когда дверь открыли, по дому пронесся крик: «Впустите меня!» Грубый, визгливый голос: «Впустите же меня, впустите!»

Распахнулась со стуком дверь в комнате Эндрю, и он слетел по ступеням, успев лишь сказать Фрэнсис:

— Предоставь это мне, о, господи, закрой дверь к Тилли.

Фрэнсис закрыла дверь и тут же услышала голос Юлии с верхней площадки:

— Что случилось, кто это?

Ответил ей Эндрю, негромко:

— Это ее мать, мать Тилли.

— Что ж, очень жаль, но Сильвии снова станет хуже, — сказала Юлия и продолжила стоять на площадке, как на страже.

Фрэнсис все еще была в ночной сорочке и поэтому пошла себе переодеться: натянула джинсы и свитер. После чего помчалась вниз, туда, где слышались крики.

— Где она? Мне нужна Фрэнсис! — орала Филлида.

Эндрю попытался успокоить ее:

— Тише, тише, сейчас приведу.

— Я здесь, — сказала Фрэнсис.

Филлида была высокой женщиной, тощей как палка, с массой плохо покрашенных рыжеватых волос и длинными острыми ногтями, покрытыми ярко-фиолетовым лаком. Она ткнула крупной костистой рукой в сторону Фрэнсис и провозгласила:

— Я хочу забрать свою дочь. Вы украли ее.

— Не говорите ерунду, — сказал Эндрю.

Он суетился вокруг истеричной женщины, словно большое насекомое, выбирающее, куда лучше укусить. Он положил руку на плечо Филлиды, но та смахнула ее, и тогда Эндрю прикрикнул на нее, внезапно выйдя из себя, чему и сам удивился не менее остальных:

— Прекратите!

Затем он отошел к стене, чтобы успокоиться. Его била дрожь.

— А как же я? — потребовала ответа Филлида. — Кто будет ухаживать за мной?

Фрэнсис обнаружила, что тоже дрожит. В груди колотилось сердце, воздуха не хватало. Так и она, и Эндрю отреагировали на появление этого смерча эмоциональной энергии. И скоро Филлида, стоящая у двери прямо и торжествующе, выглядела спокойнее, чем хозяйка дома.

— Это несправедливо, — провозгласила Филлида, тыча фиолетовыми когтями в лицо Фрэнсис. — Почему Тилли можно жить здесь, а мне нет?

Эндрю уже немного пришел в себя.

— Ну-ну, Филлида, — сказал он примирительно, и ироничная улыбка, которую он научился использовать в качестве защиты, снова заиграла на его губах. — Филлида, вы же понимаете, что подобное невозможно.

— Почему это? — спросила она, переключив внимание на него. — Хотите сказать, ей нужен дом, а мне не нужен?

— Но у вас же есть дом, — возразил Эндрю. — Я приходил к вам в гости, разве вы не помните?

— Да, но Джонни уезжает и бросает меня. — И потом дикий вопль: — Он уезжает и бросает меня! — Выплеснув ярость, Филлида уже более спокойно обратилась к Фрэнсис: — Вы знаете об этом? Знаете? Он бросит меня так же, как бросил вас.

Эта рассудительная ремарка лишней раз подкрепила ощущение Фрэнсис, будто истерия окончательно переселилась из Филлиды в нее: ее трясло, колени подгибались.

— Ну, что же вы молчите?

— Я не знаю, что сказать, — выдавила из себя Фрэнсис. — И не знаю, зачем вы пришли.

— Зачем? И вы еще спрашиваете? — И она принялась орать: — Тилли, Тилли, ты где?

— Не трогайте ее, — сказал Эндрю. — Вы всегда жаловались, что не можете справиться с дочкой, так дайте нам шанс попробовать.

— Но она теперь здесь. Она — здесь. А я? Кто будет ухаживать за мной?

Похоже, разговор пошел по кругу.

Эндрю ответил — тихо, но его голос прерывался:

— Вы же не думаете, будто Фрэнсис должна еще и о вас заботиться?

— Но как же я? Как же я? — Теперь это уже был не крик, а злобное ворчание, и гневные глаза незваной гостьи остановились на Фрэнсис. Должно быть, Филлида только сейчас разглядела ее. — И не такая уж вы Брижит Бардо, так почему он то и дело ходит к вам?

И тогда Фрэнсис увидела всю ситуацию совершенно в новом свете. И не нашлась, что ответить. Эндрю сказал:

— Он приходит сюда из-за нас, Филлида. Мы — его сыновья, если помните. Колин и я... или вы забыли об этом?

Похоже, что так оно и было. И внезапно, постояв несколько мгновений молча, Филлида опустила свой вытянутый обвиняющий палец. Она

поморгала, будто просыпаясь, потом развернулась и выскочила за дверь.

Фрэнсис казалось, что она сейчас вся рассыплется. Ее трясло с такой силой, что стоять она могла, только опираясь всем телом о стену. Эндрю тоже привалился рядом, жалко улыбаясь. Фрэнсис думала: «Но он ведь еще слишком юн, чтобы участвовать в таких сценах». Она добрела до кухонной двери, постояла, отдыхая, вошла в кухню. За столом сидели Колин и Софи, завтракали тостами.

Колин, увидела она, был неодобрительно настроен по отношению к матери. Софи опять плакала.

— Ну и чего ты ожидала? — с холодной яростью спросил Колин.

— О чем ты? — задала бессмысленный вопрос Фрэнсис — она просто тянула время.

Упав на стул, она опустила голову на сложенные на столе руки. Конечно, она знала, о чем он. Это было все то же давнее и излюбленное обвинение Колина: дескать, родители его все испортили, Фрэнсис не смогла стать обыкновенной, среднестатистической, удобной матерью, как у всех остальных подростков, и вместо дома у них был богемный привал (который порой вызывал у Колина яростное неприятие, хотя он признавал, что в целом ему такой порядок нравится).

— Филлида чувствует себя вправе прийти сюда, — сказал Колин, — она просто заявляется с утра пораньше и устраивает сцену, и теперь нам еще нужно успокаивать Тилли.

— Тилли хочет, чтобы ее звали Сильвией, — заметил Эндрю, который тоже вошел и сел за стол.

— Мне все равно, как ее зовут, — буркнул Колин. — С какой стати она вообще торчит здесь?

И вот на глазах у него уже показались слезы, и он стал похож на маленькую взъерошенную сову — в этих очках с черной оправой. Если Эндрю был длинный и угловатый, то Колин — весь сплошные округлости, и самым круглым в нем было его открытое, мягкое лицо, которое в настоящий момент надулось от плача. Теперь Фрэнсис поняла, что прошлой ночью эти двое, Колин и Софи, скорее всего лежали в объятиях друг друга и рыдали: она — из-за своего умершего отца, а он — из-за своего... ну, из-за всех своих горестей.

Эндрю, который, подобно Фрэнсис, все еще не мог прийти в себя и дрожал, спросил у брата:

— Зачем выплескивать все на маму? Это же не ее вина.

Если срочно что-нибудь не предпринять, то братья начнут ссориться. Они часто ссорились и всегда из-за того, что Эндрю вставал на сторону

матери, а Колин обвинял ее.

Фрэнсис сказала:

— Софи, пожалуйста, налей мне чашку чая. И я уверена, что Эндрю тоже не отказался бы.

— О да, это было бы отлично, — согласился Эндрю.

Софи подскочила, довольная тем, что к ней обратились с просьбой. Колин, оставшийся без моральной поддержки, ибо девушки рядом не было, растерянно мигал, весь такой несчастный, что Фрэнсис захотелось прижать его к себе... только он не потерпел бы ничего подобного. Эндрю сказал:

— Я съезжу навестить Филлиду попозже, когда она успокоится. В принципе с ней можно общаться, если она не на взводе. — И вдруг подскочил: — Господи, я совсем забыл про Тилли, то есть — Сильвию. Она ведь все слышала. Она не выносит, когда ее мать заводится.

— И ее можно понять, — согласилась Фрэнсис. — Я тоже до сих не могу прийти в себя.

Эндрю выбежал из кухни и больше уже не вернулся. В комнате у Сильвии он застал Юлию, которая спустилась посидеть с ней. Девочка спряталась под горой одежды и выла:

— Не пускайте ее сюда, не пускайте.

Юлия снова и снова повторяла:

— Ш-ш-ш, тихо, тихо, она уже ушла.

Фрэнсис пила чай молча, ожидая, когда пройдет нервный озноб. Если бы где-нибудь в книге она прочитала, что истерия заразна, то в жизни бы не поверила. Она думала: «И бедная Тилли годами жила в такой обстановке! Не удивительно, девочка в ужасном состоянии».

Софи села рядом с Колином, и они обнялись, словно две сиротки. Вскоре оба отправились на вокзал, чтобы вернуться в Сент-Джозеф, и, уходя, Колин смущенно глянул на мать с извиняющейся улыбкой. А Софи обняла Фрэнсис:

— О Фрэнсис, не знаю, что бы я делала, если бы не могла иногда приезжать к вам в дом!

Наконец Фрэнсис могла взяться за статью.

Письма о магазинном воровстве она отложила пока в сторону и принялась за другую тему.

«Дорогая тетушка Вера, от тревоги я схожу с ума». Пятнадцатилетняя дочь этой женщины занимается сексом с парнем восемнадцати лет. *«Эти подростки думают, что они девы Марии и что с ними ничего такого не может произойти».* Фрэнсис посоветовала обеспокоенной матери подобрать для дочери противозачаточное средство.

«Обратитесь к семейному врачу,— писала она. — Нынешняя молодежь вступает в сексуальную жизнь гораздо раньше, чем мы. Попросите у врача противозачаточные таблетки. Хотя даже с ними могут возникнуть проблемы: не все тинейджеры знают, что такое ответственность, а таблетки нужно принимать регулярно, каждый день».

Так и вышло, что первая статья Фрэнсис вызвала бурю ярости со стороны защитников морали. Письма от перепуганных родителей приходили в издательство газеты пачками, и Фрэнсис ожидала, что ее уволят, но Джули Хэкетт была довольна. Фрэнсис делала то, ради чего ее наняли. Именно этого хотели от человека, которому хватало смелости заявить, что Карнаби-стрит — всего лишь низкосортная иллюзия.

Беженцы, которые волнами накатывали на Лондон, сначала спасаясь от Гитлера, потом от Сталина, были бедны как церковные крысы или вовсе нищи. Перебивались они случайными заработками — перевод там, рецензия на книгу или частный урок тут. Они работали санитарями в больницах, разнорабочими на стройках, домашней прислугой. Все они заканчивали европейские университеты, к ним в полной мере относилось слово «интеллектуал» — то самое слово, которое у ксенофобной британской публики неизменно вызывало подозрения. Обыватели отнюдь не считали зазорным для себя признать, что эти пришельцы были более образованны, чем они, коренные островитяне.

В Лондоне было несколько кафе и ресторанов, таких же бедных, как и они сами, где можно было удовлетворить ностальгическую потребность посидеть с чашкой кофе и поговорить о политике и литературе. В таких кафе подавались гуляши, густые супы и другие питательные блюда, поддерживающие жизненные силы в гонимых бурями иммигрантах, которые вскоре придадут весомости и блеска национальной культуре в самых разных ее областях. К концу пятидесятых — началу шестидесятых среди бывших беженцев уже появились издатели, писатели, журналисты, художники, даже один нобелевский лауреат, и человек, впервые забредший в такое кафе, например «Космо», счел бы его одним из самых стильных заведений северного Лондона, где все посетители были одеты в униформу нонконформизма — водолазки, дорогие джинсы и кожаные куртки — и щеголяли либо длинными волосами, либо вечно популярной короткой стрижкой на манер римских императоров. Были тут и женщины, немного, в мини-юбках, в основном — подружки; они впитывали привлекательные заграничные манеры, попивая лучший в Лондоне кофе и откусывая

сливочные пирожные, вдохновленные Веной.

Фрэнсис стала захаживать в «Космо» — присаживалась за столиком, чтобы поработать. В том углу дома, который она считала своим, огражденным от вторжения, ей теперь приходилось слушать шаги то Юлии, то Эндрю, так как они оба навещали Сильвию, приносили кружки с бульоном и прочим питательным содержимым и настаивали, что дверь в ее комнату должна быть открытой, потому что девочка боялась замкнутых пространств. И еще по дому бродила Роуз. Однажды Фрэнсис застала ту перебирающей бумаги на ее письменном столе. Роуз хихикнула и сказала весело: «О, Фрэнсис», — после чего убежала. Попадалась она и в комнатах Юлии — сама Юлия видела ее там. Она не воровала, а если и воровала, то по мелочи, просто по природе своей эта девушка была шпионкой. Юлия заявила Эндрю, что необходимо попросить Роуз покинуть дом; Эндрю передал матери пожелание бабушки, и Фрэнсис, обрадованная этим, так как никогда не испытывала к девушке симпатии, сказала Роуз, что пора бы ей вернуться в свою семью. То был крах Роуз. Из цокольного этажа, где обитала девушка («Это моя "хата"!»), поступали сообщения, что она лежит, не вставая, и рыдает и что она, похоже, больна. Со временем все как-то само собой улеглось, и Роуз вновь появилась за кухонным столом, агрессивная, сердитая и демонстративная.

Можно возразить, что это как минимум непоследовательно: сначала жаловаться на мелкие неудобства дома, а потом устраиваться работать за столом в углу «Космо», гудящего от дебатов и дискуссий. И в основном разговоры там шли революционного толка. Все эти люди были в той или иной степени революционерами, даже если именно в результате революции им пришлось бежать из родного дома. Они были представителями разных стадий Мечты и могли часами спорить о том, что случилось на таком-то и таком-то митинге в России в 1905 году, или в 1917, или в Берхтесгадене, или когда германские войска вторглись в Советский Союз, или каким было состояние румынской нефтедобывающей промышленности в сороковых годах. Они спорили о Фрейде и о Юнге, о Троцком и о Бухарине, об Артуре Кестлере и о гражданской войне в Испании. Странно: Фрэнсис, плотно зажимающая уши всякий раз, когда Джонни начинал одну из своих речей, находила разговоры в «Космо» успокаивающими, хотя внимательно она не вслушивалась. И это верно, что шумное кафе, полное сигаретного дыма (тогда это был обязательный аккомпанемент для любой интеллектуальной деятельности), дает больше уединения, чем дома, где к тебе в любой момент может кто-нибудь заглянуть с разговором. Эндрю тоже нравилось в этом кафе. И Колину. Они говорили, что в нем хорошая энергетика и

позитивная аура.

Джонни частенько сюда заглядывал, но пока он был на Кубе, Фрэнсис чувствовала себя в безопасности за своим столиком в углу.

В «Космо» Фрэнсис была не единственной сотрудницей «Дефендера». Она встречала здесь человека, который писал политические статьи. Джули Хэкетт представила его следующим образом:

— Это наш главный политик, Руперт Боланд, умница и эрудит. И вообще неплохой человек, даром что мужчина.

Боланд не относился к тем людям, которые привлекают внимание, однако в «Космо» он буквально бросался в глаза — из-за скучного коричневого костюма и галстука. У него было приятное лицо. Он сидел и что-то писал, как и Фрэнсис. Они улыбнулись и кивнули друг другу, и в этот момент она заметила высокого человека в полувоенном френче, который вставал, собираясь уходить. Боже праведный, это же Джонни. Он набросил на плечи шерстяное пальто, перекрашенное в синий цвет (последнее слово моды с Карнаби-стрит), и удалился. А через несколько столиков, в самом углу, сидела, стараясь быть незамеченной (своим сыном, очевидно), Юлия. Она беседовала с... это был явно очень близкий ей человек. Со своим кавалером? Но нет, этого не может быть! Разве возможно, чтобы Юлия завела любовную связь (она употребила бы в данном случае французское слово «liaison») в доме, доверху набитом глазастыми подростками? Это столь же нелепо, как если бы сама Фрэнсис сделала нечто подобное.

Отказавшись от роли — и, вероятно, тем самым навсегда уже отказавшись от театра, Фрэнсис чувствовала, будто вычеркнула из своей жизни всякую возможность серьезной любви.

Что касается Юлии... Только сейчас Фрэнсис задумалась над тем, что свекрови, должно быть, было довольно одиноко там, на самом вершине шумного переполненного дома, в котором молодежь называла ее старухой и даже старой фашисткой. Она слушала классическую музыку, читала. Но иногда куда-то выходила. Оказывается, в «Космо».

Юлия была одета в костюм цвета вечернего тумана и лиловую шляпку — разумеется! — с крошечной вуалью. На столе лежали перчатки. Ее спутник — седовласый, ухоженный джентльмен — был столь же элегантен и старомоден, как и она сама. Он поднялся, склонился над рукой Юлии, и его губы сомкнулись всего в миллиметре от ее кожи. Она улыбнулась, кивнула, и он вышел. Когда Юлия осталась одна, на ее лице появилось выражение, которое Фрэнсис восприняла как стоицизм. Юлия насладилась часом свободы и теперь должна возвращаться домой или пойти за теми

немногими продуктами, которые она может себе позволить. Ох, а кто же присматривает за Сильвией? Должно быть, Эндрю дома. Фрэнсис больше не заходила к сыну в комнату, но предполагала, что он проводит там долгие часы, один, с книгой и сигаретой.

Была пятница. Этим вечером за столом, полагала она, не будет свободного места. Ожидалось большое событие, и все знали об этом, в том числе и те, кто был сейчас в Сент-Джозефе, потому что Фрэнсис звонила Колину: сказать, что к ужину спустится Сильвия, так что пусть он предупредит друзей, чтобы все называли ее Сильвия.

— И попроси их вести себя тактично, Колин.

— Спасибо за твое высокое мнение о нас, — ответил он.

Его бережное отношение к Софи тем временем переросло в любовь, и двое считались в Сент-Джозефе парой. «Наши голубки», — так отзывался о них Джеффри, что было великодушно с его стороны, ведь он наверняка сильно ревновал. Да, можно было не сомневаться в джентльменском поведении Джеффри, хоть тот и воровал в магазинах. А вот о Роуз такого не скажешь, ревность к Софи была написана на ее злобном лице.

«Дорогая тетушка Вера, наши двое детей не хотят ходить в школу. Сыну пятнадцать лет, а дочери шестнадцать. Они давно уже прогуливали занятия, но мы и не догадывались об этом. А теперь полиция сообщила нам, что их видели в дурной компании. И дома дети почти не бывают. Что нам делать?».

Софи сказала, что после Рождества в школу она не вернется, но, учитывая их отношения с Колином, она еще может переменить это решение, чтобы не расставаться с ним. Но сам Колин так плохо успевал, что не собирался сдавать выпускные экзамены летом. Ему исполнилось восемнадцать лет. Он считал экзамены пустой тратой времени, а себя — слишком взрослым для того, чтобы ходить на уроки. Роуз (нет, ее, Фрэнсис, это не касается!) школу бросила. И Джеймс тоже. Сильвия не была на занятиях уже несколько месяцев. Джеффри учился отлично, всегда так было, и похоже, он один будет сдавать экзамены. Ну, и Дэниел с ним, разве может Дэниел не сделать того, что делает его кумир, но он был далеко не так умен, как Джеффри. Джил чаще бывала здесь, чем в школе. Люси из Дартингтона тоже экзамены сдаст, причем с легкостью, в этом нет никаких сомнений.

Сама Фрэнсис была послушной девочкой: ходила в школу, была

пунктуальна, сдавала все экзамены и поступила бы в университет, если бы не вмешались война и Джонни. И ей было не понятно, в чем, собственно, проблема. Уроки ей не очень нравились, но она смотрела на них как на нечто необходимое. Ведь дальше ей придется как-то зарабатывать на жизнь, вот в чем смысл школьного образования. А нынешние дети почему-то совсем не думали об этом.

И Фрэнсис написала письмо, которое хотела бы послать, но, конечно, не пошлет:

«Дорогая миссис Джэксон, не имею ни малейшего представления, что Вам посоветовать. Кажется, мы вырастили поколение, которое полагает, будто еда будет просто падать им в рот, зарабатывать ее не придется. Искренне сочувствую, тетя Вера».

Юлия готовилась уходить. Она собрала сумочку, перчатки, газету и, проходя мимо невестки, кивнула ей. Фрэнсис подскочила (слишком поздно), чтобы придвинуть ей стул, Юлия уже прошла. Если бы Фрэнсис сумела все сделать правильно, то та бы присела на минутку — присела бы, Фрэнсис заметила секундное колебание в ее глазах. И тогда она наконец-то могла бы попытаться сблизиться со своей свекровью.

Фрэнсис осталась сидеть, заказала еще кофе, потом суп. Эндрю говорил матери, что если удачно выбрать момент для заказа гуляша, то тебе может достаться самая гуща со дна котла. Ее гуляш, когда его принесли, был в лучшем случае из середины котла.

Фрэнсис не знала, какую тему выбрать для третьей статьи. Вторая была о марихуане, и с ней проблем не было. Статья получилась информативная и выдержанная, вот, в общем-то, и все, но в ответ пришло много писем.

До чего симпатичный народ здесь, в «Космо», все эти люди из разных европейских стран, ну и, конечно, британцы, те, которые прониклись к ним симпатией. Многие из них евреи. Но не все.

Юлия как-то заметила в присутствии «детворы», когда один из них спросил у нее, была ли она беженкой:

— Увы, мне не повезло! Я родом из Германии, но при этом не еврейка.

Шок и возмущение. Фашистская сущность Юлии получила окончательное подтверждение (хотя, надо сказать, они все употребляли слово «фашист» так же легко, как говорили «трахаться» или «дерьмо», но вряд ли понимали под этим что-то большее, чем общее неодобрительное

отношение к кому-то).

Софи ныла, что от Юлии — от всех немцев — у нее просто мурашки по коже.

Юлия в свою очередь так отозвалась о Софи:

— Она красива, как красивы все еврейские девушки, но с годами она превратится в такую же старую каргу, как и все мы.

Если Сильвия-Тилли будет ужинать со всеми, то нужно приготовить что-то такое, что она станет есть. В то же время нельзя же подать ей одно, а всем остальным другое. А ест она только картошку. Что ж, Фрэнсис приготовит картофельную запеканку, тогда девушки, которые следят за фигурой, смогут отодвинуть в сторону пюре и съесть начинку. И еще, само собой, овощи. Роуз овощи не ест, только зеленый салат — хорошо, значит, будет и салат. Джеффри никогда не любил ни рыбу, ни овощи, и Фрэнсис уже несколько лет переживала, чем же его кормить (а он ведь не ее ребенок). Интересно, что думают его родители, ведь они почти не видят сына дома, он все время приезжает к Фрэнсис — то есть к Колину, разумеется. Она как-то спросила Джеффри об этом, и он ответил, что родители его вполне довольны тем, что ему есть куда пойти. Судя по его словам, они оба много работали. Квакеры. Верующие. Н-да, скучное семейство. Фрэнсис привязалась к Джеффри, но будь она проклята, если станет волноваться из-за Роуз. Осторожно, Фрэнсис. Жизнь преподала тебе немало уроков, но главным был такой: человек не может предвидеть, что он примет от судьбы, а от чего откажется. У судьбы свои соображения.

Но возможно, судьба — это всего лишь отражение характера самого человека. Он сам притягивает к себе определенные события и определенных людей. Есть такие люди, которые (зачастую неосознанно, по молодости лет, пока эта привычка не становится их сущностью) проявляют по отношению к жизни некую пассивность. Они просто смотрят, что появится на их тарелке, что упадет им в руки или уставится им в лицо: «Да что с тобой такое? Или ты ослеп?» — и потом стараются не столько понять, сколько выждать, позволяя явлению развиваться, проявить себя. Ну а затем задача понятна: надо сделать в сложившихся обстоятельствах все что можно.

Поверила бы она, девятнадцатилетняя, когда выходила замуж за Джонни и не имела причин рассчитывать ни на что, кроме войны и тягот, что станет через два десятка лет хозяйкой дома (матерью и кормилицей!). Где, в какой точке пути следовало Фрэнсис сказать (если бы она хотела изменить судьбу): «Нет, нет!»? Она сопротивлялась переезду в дом Юлии, но, вероятно, было бы лучше, если бы она согласилась гораздо раньше —

если бы сказала «Да, да!» тому, что случается, и сказала бы это осознанно, принимая данное ей. Такова сейчас была ее философия. Что значит сказать «нет»? Это все равно как развестись с одним супругом, чтобы тотчас же вступить в брак с другим, но абсолютно таким же и внешне, и внутренне; мы несем в себе невидимые шаблоны, столь же неотъемлемые, как и наши отпечатки пальцев, но мы не знаем о них, пока не оглянемся и не увидим их отражения.

«Мы знаем, что мы такое теперь... (О нет, совсем не знаем!) но не знаем, чем будем потом». ^[2]

Когда-то она бы и представить не смогла, что будет жить целомудренно, без мужчины (хотя бы в перспективе)... но нет, она все еще хранила мечту о том, что в ее жизни появится мужчина, который не будет таким отъявленным эгоистом, как Джонни. Но какой мужчина согласится взвалить на себя бремя заботы о племени подростков — всех до одного «проблемных» в той или иной степени? Надо же, они обладают привилегией жить в Свингующем Лондоне, им обещано все, что только смогли выдумать рекламисты двух континентов, но если они и свингуют (а они свингуют, в ближайшую субботу, то есть завтра, они все идут на джазовый концерт), то все равно они ущербны, и двое из них, ее сыновья, ущербны из-за нее самой и Джонни. И из-за войны, конечно.

Фрэнсис собрала свои сумки и пакеты, расплатилась по счету и пошла домой вверх по склону.

За окнами плавал жемчужный туман («Закон о чистом воздухе» уже был принят к тому времени) и осыпал росой волосы и ресницы «детворы», которая стягивалась в дом со смехом и обнимаясь, как выжившие в погодный катаклизм. Сырые пальто и куртки завалили лестничные перила, и все стулья вокруг большого кухонного стола были заняты — за исключением двух слева от Фрэнсис. Колин сел было возле Софи, но сообразил, что окажется рядом с братом, когда тот сядет на свободное место, и быстро перешел в конец стола, где встал рядом с Джеффри, который устроился напротив Фрэнсис. И теперь Колин решил захватить это значимое место, движением ягодиц столкнув Джеффри. Школьный, мальчишеский поступок, слишком детский для их почти взрослого статуса. Не глядя на Колина, Джеффри перешел на другое место, справа от Фрэнсис. Софи, страдающая от любого несогласия, подскочила к Колину, склонилась, кладя одну руку ему на плечи, и поцеловала его в щеку. Он запретил себе улыбаться, но все-таки не удержался, и слабая любящая улыбка сначала была направлена на Софи, а потом распространилась на всех. И все засмеялись. Роуз... Джеймс... Джил — эти трое надолго

окопались в цоколе. Рядом с Джеффри — Дэниел: староста и его заместитель. За Дэниелом — Люси, приехавшая из Дартингтона, чтобы провести с ним здесь выходные. Двенадцать человек. Все ждали, жадно поедая куски хлеба, принюхиваясь к запахам, которые поднимались от плиты. Наконец вошел Эндрю, поддерживая под руку Сильвию. Она все еще куталась в детское одеяло, но была в чистых джинсах, которые были ей велики, и в свитере Эндрю. Свои бледные жидкие волосы она зачесала от лица, отчего стала выглядеть еще более инфантильной. Но девушка улыбалась, пусть и дрожащими губами.

Колин, который вообще-то не одобрял сам факт ее присутствия в доме, поднялся и с улыбкой отвесил ей небольшой поклон.

— Добро пожаловать, Сильвия, — сказал он.

И слезы показались на ее глазах, когда хором все подхватили:

— Привет, Сильвия.

Она села рядом с Фрэнсис, Эндрю — на соседнем стуле. Можно было приступить к еде. Вмиг весь стол был заставлен тарелками. Колин встал, чтобы разлить вино, опередив Джеффри — тот тоже собирался это сделать. Фрэнсис раскладывала еду по тарелкам. Момент кризиса: настала очередь Эндрю, а следующая на очереди Сильвия. Он сказал:

— Позволь мне.

И началась небольшая игра. На свою тарелку он положил одну маленькую морковку, и на тарелку Сильвии — одну морковку. Он был важен, раздумчив, сосредоточенно морщил лоб, и вот уже Сильвия начинает смеяться, хотя губы ее еще совершают мелкие нервные движения. Себе на тарелку — ложку капусты без верха, и ей на тарелку — ложку капусты без верха, игнорируя руку, которая инстинктивно поднялась, чтобы остановить его. Для себя — капля фарша, и то же самое для нее. И потом, с бесшабашным видом, он положил довольно большую порцию пюре и Сильвии, и себе. Теперь уже все смеялись. Сильвия уставилась в свою тарелку, но Эндрю, с решительным выражением лица, зачерпнул вилкой пюре и стал ждать, чтобы девушка сделала то же самое. Она так и сделала, а потом поднесла вилку ко рту и проглотила пюре.

Стараясь не наблюдать слишком откровенно за тем, что происходит, пока Эндрю и Сильвия борются сами с собой, Фрэнсис подняла стакан красного вина по семь шиллингов за бутылку, потому что этот приятный сорт вина еще не был «открыт» потребителями, и произнесла тост за прогрессивное обучение — старая шутка, но она всем нравилась.

— А где Юлия? — спросила Сильвия тоненько.

Встревоженное молчание. Потом Эндрю сказал:

— Она обычно не ест с нами.

— Но почему? Почему, ведь с вами так весело?

Это был прорыв, настоящий прорыв, так Эндрю позднее описывал это Юлии: «Мы победили, Юлия, да, мы и в самом деле победили». И Фрэнсис была польщена, у нее даже слезы выступили на глазах. Эндрю положил руку на плечи Сильвии и, улыбаясь матери, сказал:

— Да, с нами весело. Но Юлия предпочитает ужинать у себя наверху, одна.

Сам того не ведая, Эндрю нарисовал картину того, что значит быть одиноким, и она потрясла его до глубины души. Он вскочил и сказал:

— Я пойду и еще раз приглашу ее.

В определенной степени он сделал это и для того, чтобы избавиться от бремени и вызова своей тарелки, к содержимому которой едва притронулся. Как только он вышел из кухни, Сильвия тоже отложила вилку.

Через минуту Эндрю вернулся и сел, проговорив:

— Юлия сказала, что, возможно, заглянет попозже.

Это вызвало за столом нечто вроде паники. Несмотря на все усилия Эндрю представить свою бабушку в более привлекательном свете, ее склонны были считать старой ведьмой, она служила объектом насмешек. Сент-джозефский контингент не мог знать, как Юлия неделю, даже две боролась с болезнью Сильвии, сидела с ней, купала ее, заставляла проглотить кусочек того, ложечку другого. Должно быть, она почти не спала эти дни. И вот ее награда — Сильвия, снова берущаяся за вилку при виде того, как Эндрю берется за свою (словно забыла, как это делается).

Неловкий момент остался позади, «детвора» насытилась, и Фрэнсис съела больше, чем обычно, чтобы подать пример тем двоим, что сидели слева от нее. Это был прекрасный вечер, окрашенный подспудной нежностью — из-за Сильвии и их общей заботы о ней. Казалось, будто они обнимают девушку коллективной рукой за плечи, пока она проглатывает содержимое вилки раз за разом. И Эндрю тоже.

Потом вдруг все заметили, что Сильвия побледнела и задрожала. Она услышала, что кто-то пришел.

— Мой отец, — прошептала она. — То есть это мой отчим...

— Ну нет, — возразил Колин, — он уехал на Кубу, так что это кто-то другой.

— Боюсь, он все же не уехал, — сказал Эндрю и бросился в прихожую, чтобы перехватить появившегося там Джонни.

Он захлопнул за собой дверь, но все слышали рассудительный, самоуверенный голос Джонни и нервный голос Эндрю:

— Нет, отец, нет, к нам нельзя, я объясню позднее.

Громкие голоса, потом тихие, и вот Эндрю вернулся, оставив дверь открытой, и опустился на стул рядом с Сильвией. Весь красный и сердитый, он схватился за вилку как за оружие.

— Почему же он не на Кубе? — спросил Колин с обидой в голосе, совсем по-детски.

Эндрю сказал:

— Отец еще не уехал, но, по-моему, собирается. — И добавил, все еще злясь: — Только не на Кубу, а в какой-нибудь Занзибар... или Кению. — Наступила пауза, во время которой братья общались глазами и гневными улыбками. — Он не один, с ним чернокожий... человек оттуда... африканский товарищ.

Эти поправки в духе времени были выслушаны всей компанией с величайшим вниманием. Африка жила в их сердцах и душах, прогрессивное обучение не пропало даром, и даже Роуз, из школы далеко не прогрессивной, выбирала свои слова тщательнее, чем обычно:

— Мы должны вести себя вежливо с темнокожими людьми, так я считаю.

Сильвия так и не оправилась. Ложка в ее тонкой руке повисла безжизненно.

И теперь Джеймс, который по понятным причинам оказался в растерянности, спросил:

— Почему он едет в Африку вместо Кубы?

Братья в ответ рассмеялись, но это был недобрый смех. Фрэнсис с трудом сдержалась, чтобы не присоединиться к сыновьям. Обычно она старалась не критиковать Джонни в присутствии других людей.

Колин произнес с ухмылкой:

— Пусть теряются в догадках.

Тут уж Фрэнсис не выдержала и тоже засмеялась. Она узнала цитату.

— Точно, — подхватил и Эндрю. — Пусть теряются в догадках.

— Над чем вы смеетесь? — спросила Сильвия. — Что тут смешного?

Эндрю тотчас прекратил насмешничать и взялся за ложку. Но поздно, их ужин, его и Сильвии, уже окончился.

— Джонни сейчас вернется, — сказал он ей. — Ему просто нужно было забрать что-то из машины. Если ты не хочешь с ним встречаться...

— Да-да, не хочу, пожалуйста, — заторопилась приемная дочь Джонни и встала из-за стола, поддерживаемая Эндрю.

Вдвоем они вышли. По крайней мере оба успели хоть что-то съесть.

Фрэнсис крикнула им вслед:

— Попросите Юлию не спускаться, а то они снова поссорятся.

Ужин продолжился, но уже без той веселости, что вначале.

Ученики школы Сент-Джозефа обсуждали книгу, которую Дэниел украл из букинистического магазина, «Бремя Ричарда Феверела». Дэниел прочитал ее, сказал, что роман классный и что отец-тиран вылитый его папаша. Он порекомендовал книгу Джеффри, и тот порадовал его восторженным отзывом, после чего роман перекочевал к Софи, которая заявила, что не читала ничего лучше. Она даже плакала, пока читала. Теперь книгу читал Колин.

Роуз спросила:

— А почему мне не дали? Это несправедливо.

— Это же не единственный экземпляр в мире, — заметил Колин.

— У меня есть, я дам тебе почитать, — пообещала Фрэнсис.

— О Фрэнсис, спасибо, вы так добры ко мне.

Это означало (и все понимали это): надеюсь, вы и дальше будете так же добры ко мне. Фрэнсис сказала:

— Схожу принесу, пока не забыла.

Ей нужен был предлог, чтобы выйти из комнаты, где всех вскоре закружит водоворот противоречивых настроений. А ведь все так славно начиналось... Она поднялась в комнату, расположенную как раз над кухней, в гостиную, нашла «Бремя Ричарда Феверела» на книжной полке, повернулась и увидела, что в темном углу сидит Юлия. Ни разу с тех пор, как Фрэнсис заняла нижнюю часть дома, она Юлию здесь не встречала. Вот он, идеальный момент, можно сесть рядом и попытаться сойтись со свекровью поближе. Но увы, она, как всегда, спешила в другое место.

— Я шла на кухню, ко всем вам, — пояснила Юлия, — но услышала, что приехал Джонни.

— Не вижу, как я могу запретить ему приезжать сюда, — сказала Фрэнсис. Она прислушивалась к тому, что происходит внизу, в кухне: все ли там в порядке? Не ссорятся ли там? А наверху... как там Сильвия?

Юлия продолжала:

— У него есть дом. Складывается впечатление, что он нечасто туда заглядывает.

— Что ж, — заметила Фрэнсис, — памятуя о Филлиде, я могу его понять.

Она надеялась, что эта фраза вызовет улыбку у Юлии, однако та была серьезна:

— Я должна сказать...

И Фрэнсис ждала, что последует. Она не сомневалась, что это будет

очередная порция неодобрения.

— Вы слишком мягки с Джонни. Он обращается с вами возмутительно.

Фрэнсис думала: «Тогда зачем давать ему ключи?» Хотя она, конечно же, понимала, что мать не может забрать у сына ключи от дома, который тот считает своим. И нужно же помнить о мальчиках. Она попыталась пошутить:

— Не поменять ли нам замки в доме?

Но Юлия восприняла это буквально:

— Я бы так и сделала, если бы не была уверена, что вы сразу же дадите ему новый ключ.

Она поднялась, и Фрэнсис, собиравшаяся сесть рядом, поняла, что потеряла еще одну возможность сблизиться с Юлией.

— Юлия, — проговорила Фрэнсис, — вы всегда критикуете меня, а поддержки от вас я не вижу. — Интересно, что она хотела этим сказать — кроме того, разумеется, что при свекрови она неизменно чувствовала себя провинившейся школьницей.

— Что это вы говорите? — сказала Юлия. — Я вас не понимаю. — Она была в ярости: слова невестки ее обидели.

— Я не хотела... вы всегда были так великодушны... так щедры к нам... Нет, я просто имела в виду...

— Я не думаю, что пренебрегаю своими обязанностями перед семьей, — произнесла Юлия, и изумленная Фрэнсис вдруг поняла, что старая женщина вот-вот расплачется.

Она обидела Юлию. Запинаясь от неловкости и желания как-то исправить ситуацию, она начала:

— Юлия... но, Юлия... вы ошибаетесь, я только хотела сказать... — А затем отбросила оправдания и сказала совсем другим тоном: — О Юлия!

Это заставило свекровь, которая уже была в дверях, остановиться и словно бы приготовиться к тому, чтобы к ней прикоснулись или даже чтобы протянуть руку самой.

Но тут внизу хлопнула дверь, и Фрэнсис в отчаянии воскликнула:

— Ох, это Джонни!

— Да, пришел товарищ Джонни, — сказала Юлия и пошла к себе наверх.

Фрэнсис спустилась в кухню и застала там Джонни в его обычной позе — спиной к окну. С ним был симпатичный чернокожий мужчина в дорогой одежде. Он улыбнулся, когда Джонни представил его Фрэнсис:

— Это товарищ Мо из Восточной Африки.

Фрэнсис села, подтолкнув по столу томик Мередита в сторону Роуз, но та восхищенно воззрилась на товарища Мо и на Джонни, который продолжил свою лекцию об истории Восточной Африки и арабов, которой, очевидно, рассчитывал произвести впечатление на товарища Мо.

Перед Фрэнсис возникла дилемма. Она не хотела приглашать Джонни за стол. Она раньше уже просила его (хотя Юлия никогда бы этому не поверила) не приходить во время еды и заранее предупредить о визите по телефону. Но с ним был незнакомец, гость, и она должна...

— Не хотите ли перекусить? — спросила Фрэнсис, и товарищ Мо потер руки и со смехом сказал, что он голоден как волк.

Он немедленно сел на стул рядом с ней. Джонни, получив приглашение садиться, сказал, что он только выпьет вина — он как раз захватил с собой бутылку. Там, где всего несколько минут назад сидели Эндрю и Сильвия, теперь сидели товарищи Мо и Джонни. Двое мужчин положили себе на тарелки все, что оставалось от запеканки и овощей.

Фрэнсис была раздражена до предела, и раздражение это перерастало в беспомощное отчаяние: какой смысл злиться на Джонни? Было очевидно, что он не ел уже неизвестно сколько, с такой жадностью уминал он куски хлеба, большими глотками пил вино, подливая себе и товарищу Мо, заглывал вилками пюре и фарш. Даже «детвора» не обладала таким аппетитом.

— Я подам пудинг, — сказала Фрэнсис глухим от ярости голосом.

На столе появились тарелки с липкими сладостями из лавочек киприотов-эмигрантов — смесь из меда, орехов и слоеного теста, блюда с фруктами и ее шоколадный пудинг, приготовленный специально для «детворы».

Колин смотрел сначала на отца, а затем на мать: «Почему ты позволила ему сесть? Почему ты позволяешь ему?..» Теперь он встал, оттолкнув стул так, что тот отлетел к стене, и вышел.

— Я чувствую себя здесь как дома, — говорил товарищ Мо, поглощая шоколадный пудинг. — А вот это что-то знакомое, — сказал он про киприотские сладости. — Это ведь что-то из арабской кухни?

— Киприоты, — ответил Джонни, — почти наверняка испытали влияние Востока... — И завел новую лекцию о кухнях Средиземноморья.

Все зачарованно слушали: Джонни, когда не говорил о политике, мог быть бесконечно интересным рассказчиком. Однако долго говорить не о политике он не умел. Вскоре он отвлекся на убийство Кеннеди и начал разглагольствовать о возможном участии в нем ЦРУ и ФБР. Оттуда его красноречие направилось на планы Америки захватить Африку, в

доказательство чего последовал рассказ о предложении финансовой помощи, которое получил товарищ Мо от ЦРУ. Показывая в улыбке не только зубы, но и десны, товарищ Мо подтвердил это с гордостью. В Найроби на него вышел агент ЦРУ с предложением финансировать его партию в обмен на информацию.

— А как вы узнали, что он из ЦРУ? — заинтересовался Джеймс, на что товарищ Мо ответил, что это «все знают» и что агенты ЦРУ рыщут уже по всей Африке, как львы в поисках добычи.

Мо радостно засмеялся и оглядел присутствующих, ожидая одобрения.

— Вы все должны приехать к нам в гости. Посмотрите, погуляете, хорошо проведете время, — сказал он, не предполагая, однако, что описывает славное будущее. — Джонни уже пообещал, что приедет.

— О, я думал, что он уже собрался ехать... Я имею в виду, в ближайшее время, — удивился Джеймс, и товарищ Мо вопросительно посмотрел на Джонни, заметив:

— Товарищу Джонни мы будем всегда рады.

— Как, разве ты не сказал только что Эндрю, что едешь в Африку? — поинтересовалась Фрэнсис с целью получить ответ: «Пусть теряются в догадках».

И Джонни улыбнулся и авторитетно произнес:

— Пусть все теряются в догадках.

— Кто? — тут же спросила Роуз.

— Это же очевидно, Роуз: ЦРУ, — ответила Фрэнсис.

— Ах да, ЦРУ, — задумчиво сказал Джеймс, — конечно же. — Он впитывал информацию, к чему у него был талант и к чему он стремился.

— Пусть теряются в догадках, — повторил Джонни. И в самой суровой манере обратился к своему жаждущему знаний ученику, Джеймсу: — В политике ты никогда не должен позволять левой руке знать, что делает правая.

— И даже то, что делает левая рука, — вставила Фрэнсис.

Джонни продолжал, игнорируя ее:

— Необходимо всегда замечать следы, товарищ Джеймс. Ни одна крупинка информации не должна достаться врагу легко.

— Может, мне тоже стоит съездить на Кубу? — вслух задумался товарищ Мо. — Товарищ Фидель одобряет укрепление связей с освобожденными африканскими странами.

— И даже с теми, которые еще не освободились, — добавил Джонни, приоткрывая перед всеми секреты мировой политики.

— Зачем вы едете на Кубу? — спросил Дэниел, действительно

желающий понять это. Он смотрел на Джонни через стол, весь в пламени рыжих волос и веснушек, с извечным напряжением в глазах — от осознания того, что он недостоин даже лизать ботинки — Джеффри, например. Или Джонни.

Ему ответил Джеймс:

— Такие вопросы не задают, — и тут же глянул на Джонни: правильно?

— Точно, — кивнул Джонни. Он поднялся, чтобы снова встать в свою позу лектора, спиной к окну, вроде бы расслабленный, но в то же время настороже.

— Я хочу увидеть страну, которая знала только рабство и угнетение, но стремится завоевать свободу, построить новое общество. За пять лет Фидель сотворил чудо, но следующие пять лет покажут нам настоящие перемены. Я надеюсь, что в будущем смогу взять Эндрю и Колина, своих сыновей, туда, чтобы они сами увидели... Кстати, где они? — Только сейчас Джонни заметил их отсутствие.

— Эндрю сейчас с Сильвией, — сказала Фрэнсис. — Мы теперь так зовем Тилли.

— Почему? Она поменяла имя?

— Это и есть ее настоящее имя, — недовольно фыркнула Роуз. Она постоянно ныла, что ненавидит свое имя, требовала, чтобы ее звали Мэрилин.

— Я знал ее только как Тилли, — сказал Джонни с ироничной усмешкой и на миг стал похож на Эндрю. — Ну, а где же Колин?

— Уроки делает, — ответила Фрэнсис. Вероятность этого существовала, хотя для Джонни не было никакой разницы.

Ее бывший муж потерял часть своего запала. Сыновья были его излюбленной аудиторией; он и понятия не имел, сколь критично оба настроены против отца.

— А разве можно просто взять и поехать на Кубу, туристом? — спросил Джеймс, явно презирая туризм и сопутствующую ему фривольность.

— Он едет не как турист, — сказал товарищ Мо. Он несколько растерялся оттого, что остался за столом без своего товарища по оружию, и тоже переместился к окну. — Его пригласил сам Фидель.

Фрэнсис впервые слышала об этом.

— И вас он тоже пригласил, — продолжал Мо, обращаясь к хозяйке.

Джонни был раздосадован; он, судя по выражению его лица, не желал, чтобы эта информация выплыла наружу. А товарищ Мо рассказывал

дальше:

— Друг Фиделя сейчас в Кении, куда он прибыл для празднования Дня независимости, и он рассказал мне, что Фидель хочет пригласить Джонни и его жену.

— Должно быть, он имел в виду Филлиду.

— Нет, речь шла о вас. Он сказал: товарищ Джонни и товарищ Фрэнсис.

Джонни был в ярости.

— Товарищ Фидель не в курсе, что Фрэнсис абсолютно равнодушна к событиям в мире.

— В курсе, — возразил товарищ Мо, не замечая, по-видимому, что в трех дюймах от него Джонни вот-вот взорвется. — Фидель сказал, что слышал о том, что Фрэнсис — знаменитая актриса, и хотел бы, чтобы она организовала театральную труппу в Гаване. Позвольте к этому также добавить и приглашение от меня лично. Фрэнсис, приезжайте в Найроби и создайте там революционный театр.

— О Фрэнсис, — выдохнула Софи, всплескивая руками и тая от счастья. — Как замечательно, это же просто замечательно!

— По-моему, Фрэнсис уже давно переквалифицировалась в советника по вопросам семьи, — сухо заметил Джонни и, дабы положить конец всей этой чепухе, возвысил голос, обращаясь к молодежи. — Вы — счастливое поколение, — сказал он им. — Вы будете строить новый мир, мои юные товарищи. Вы обладаете способностью видеть насквозь старые обманы, притворство, трюки, вы сможете перевернуть прошлое, разрушить его, построить все заново... В этой стране есть два основных аспекта. С одной стороны, она богата, с надежной, устоявшейся инфраструктурой, но в то же время в ней полно старомодных глупостей и косности. Это и станет проблемой. Вашей проблемой. Но уже сейчас я вижу Британию будущего, свободную и богатую, бедности нет, несправедливость осталась только в воспоминаниях...

Он продолжал в том же духе некоторое время, повторяя наставления, которые звучали как обещания. Вы трансформируете этот мир... это на плечи вашего поколения ляжет ответственность... будущее в ваших руках... вы доживете до новых времен... при вас мир станет лучше, и вы будете знать, что это ваши усилия сделали его таким... как здорово быть молодым именно сейчас, когда все в руках подрастающего поколения...

Юные лица, юные глаза сияли, восхищались оратором и тем, что он говорил. Джонни был в своей стихии, купался в обожании. Он стоял как Ленин: одна рука указывает вперед, в будущее, а другая прижата к сердцу.

— Товарищ Фидель — великий человек, — заключил он тихим, почтительным голосом, сурово оглядывая всех. — Фидель поистине великий человек. Он всем нам показал путь в будущее.

Только одно молодое лицо выражало не то, что следовало: Джеймс, обожающий Джонни так, что тот и сам не мог бы желать большего, нуждался в дополнительных объяснениях.

— Но, товарищ Джонни... — пробормотал он и поднял руку как на уроке.

— А теперь всем спокойной ночи, — заявил Джонни, — мне пора на митинг. И товарищу Мо тоже.

Его строгий, но товарищеский кивок каким-то образом исключил Фрэнсис, которой достался только холодный взгляд. Джонни вышел, и товарищ Мо последовал за ним, успев только сказать на прощание хозяйке:

— Спасибо, товарищ. Вы спасли меня от голодной смерти. А теперь, оказывается, мне нужно идти на митинг.

Все молча слушали, как завелся и уехал «фольксваген» Джонни.

— Полагаю, с посудой вы справитесь и без меня, — сказала Фрэнсис. — Я пойду поработаю. Доброй ночи.

Она не спешила уходить из кухни — ей хотелось посмотреть, кто откликнется на это приглашение. Джеффри, конечно, он вообще милый мальчик; Джил, которая, несомненно, была влюблена в симпатягу Джеффри; Дэниел, тот тоже был влюблен в Джеффри, но не знал этого; Люси... В общем, практически все. Ну, а Роуз?

Роуз осталась сидеть. Чтобы ее использовали? Да ни за что!

Влияние Рождества, этого неподвластного нашим желаниям праздника, ощущалось уже вечером двенадцатого декабря, когда Фрэнсис, к своему удивлению, обнаружила, что она пьет за независимость Кении. Это Джеймс поднял бокал, полный красного вина, и провозгласил:

— За кенийцев, за Кению, за Свободу.

Как всегда, его приветливое, дружелюбное лицо под копной черных кудрей источало переполнявшие его чувства. Вокруг него — горящие глаза, ответные возгласы поддержки; это недавние речи Джонни все еще давали о себе знать.

За ужином было съедено много, и даже Сильвия приняла в этом посильное участие. За ней закрепилось место по левую руку от Фрэнсис. В ее стакане виднелись потеки красного: Эндрю сказал, что она должна выпить немного вина, ей это будет полезно, и Юлия его поддержала. Сигаретный дым был гуще, чем обычно. Похоже, сегодня, в честь

освобождения Кении, всем захотелось курить. Но только не Колину. Он отмахивался от клубов дыма, которые окутывали его со всех сторон.

— Ваши легкие сгниют, — припугнул он курильщиков.

— Потерпи, это только сегодня, — сказал Эндрю.

— На Рождество я собираюсь поехать в Найроби, — объявил Джеймс, оглядываясь вокруг с гордостью, но и с опаской.

— Твои родители туда едут? — спросила Фрэнсис не подумав, и всеобщее молчание стало ей упреком.

— Такое что, возможно? — фыркнула Роуз, загасив одну сигарету и жадно затянувшись новой.

Джеймс, однако, возразил:

— Мой отец сейчас сражается в Кении. Он солдат. Он говорит, что это хорошая страна.

— То есть твои родители там живут? Или планируют там поселиться? А ты поедешь к ним в гости?

— Нет, они там не живут, — не унималась Роуз. — Его отец работает налоговым инспектором в Лидсе.

— Ну и что? Разве это преступление?

— Они такие обыватели, — протянула Роуз. — Вы и представить себе не можете.

— Не так уж они и плохи, — возразил Джеймс, которому не понравились слова Роуз. — И вообще, следует мягче относиться к людям, которые еще не так политически сознательны, как мы.

— Хм, неужели ты собираешься пробудить в своих предках политическую сознательность? Не смей меня! — закатила глаза Роуз.

— Этого я не говорил, — сказал Джеймс и отвернулся от своей двоюродной сестры к Фрэнсис. — Отец присылал свои фотографии из Найроби. Там классно. Вот почему я еду туда.

Фрэнсис понимала, что сейчас не время задавать всякие тупые вопросы про паспорт, визу, оплату билетов. И нет смысла напоминать парню, что ему всего семнадцать лет.

Джеймс парил на облаках юношеской мечты, которую не сковывала скучная действительность. Он, как по волшебству, вдруг окажется на главной улице Найроби... там он встретится с товарищем Мо... вольется в группу любящих его товарищей и вскоре станет ее лидером, будет произносить пламенные речи. И, поскольку ему семнадцать, не забудьте, рядом с ним появится девушка. Какой именно он представлял ее? Чернокожей? Белой? Об этих тонкостях Фрэнсис, конечно, не имела понятия. Джеймс продолжал рассказывать о впечатлениях отца от Кении.

Мрачные реалии войны были стерты, и все, что оставалось, это высокое синее небо, и бескрайние просторы, и славный мальчик, который спас отцу жизнь. Чернокожий. Местный житель, рискнувший своей жизнью ради спасения британского солдата.

А о чем мечтала Фрэнсис — нет, не в шестнадцать, в шестнадцать она была занята учебой, — а, скажем, в девятнадцать? Да, какие-то фантазии у нее точно были. Из-за увлечения Джонни гражданской войной в Испании она мечтала о том, чтобы выходить раненого солдата. Где? В гористой местности, среди оливковых деревьев и виноградников. Но где именно? Юношеские мечты не нуждаются в географических координатах.

— Ты не сможешь поехать в Кению, — вдруг заявила Роуз. — Тебе родители не разрешат.

Насильно спущенный с небес, Джеймс потянулся к стакану с вином и осушил его.

— Раз уж зашла об этом речь, — сказала Фрэнсис, — то почему бы нам не обсудить наши планы на Рождество?

Настороженные лица лишили ее воли продолжать. Все знали, что им предстоит услышать, потому что Эндрю уже предупредил их.

Теперь он заговорил вместо Фрэнсис:

— Понимаете, в этом году у нас не будет Рождества. Я поеду к Филлиде на обед. Она звонила мне и сказала, что от моего... от Джонни ни слуху ни духу и что она с ужасом думает о празднике.

— И не одна она, — вставил Колин.

— О Колин, — воскликнула Софи, — не будь таким!

Колин, ни на кого не глядя, сказал:

— Я еду к Софи. Это из-за ее матери. Она не может остаться одна в Рождество.

— Но вы же евреи! — повернулась к Софи Роуз.

— Мы всегда отмечали Рождество, — сказала Софи. — Пока папа был жив... — Она замолчала, кусая губы, и ее глаза наполнились влагой.

— А Сильвия собирается в гости вместе с Юлией — к одному знакомому Юлии, — продолжил Эндрю.

— Ну а я, — заключила Фрэнсис, — предпочту вовсе проигнорировать Рождество как таковое.

— Но, Фрэнсис, — заговорила Софи, — это ужасно, так нельзя.

— Все даже не ужасно. Это замечательно, — возразила Фрэнсис. — Скажи, Джеффри, ты разве не собираешься поехать на Рождество домой? Это было бы правильно, ты сам знаешь.

На вежливом лице Джеффри, всегда чутко реагирующего на то, чего

ожидают от него окружающие, появилась согласная улыбка.

— Да, Фрэнсис. Я знаю. Вы правы. Я поеду домой. И моя бабушка при смерти, — добавил он тем же тоном.

— Тогда я тоже съезжу домой, — сказал Дэниел. Его рыжие волосы горели, а лицо зарделось еще ярче, когда он произнес: — А потом загляну к тебе.

— Как хочешь, — пожал плечами Джеффри, и по равнодушному ответу можно было понять, что, вероятно, он рассчитывал хотя бы в каникулы отдохнуть от присутствия Дэниела.

— Джеймс, — сказала Фрэнсис, — и ты тоже, пожалуйста, возвращайся домой.

— Вы гоните меня прочь? — спросил он добродушно. — Я не виню вас. Наверное, мой визит затянулся.

— На данный момент — да, — кивнула Фрэнсис, которая по природе своей никого не смогла бы выгнать окончательно и бесповоротно. — И как насчет школы, Джеймс? Ты собираешься заканчивать ее?

— Конечно собирается, — сказал Эндрю, обнаруживая тем самым, что он уже пытался наставить Джеймса на путь истинный. Будучи четырьмя годами старше, он имел такое право. — А иначе это просто смешно, — продолжил он, обращаясь к Джеймсу. — Тебе остался всего один год. Потерпишь, это не смертельно.

— Ты не знаешь, какая у нас школа, — возразил Джеймс. В голосе его зазвучало отчаяние. — Если бы знал...

— Один год любому по силам, — безапелляционно заявил Эндрю. — И даже три года. Или четыре, — сказал он, виновато глянув в сторону матери: это было признание.

— Ладно, — сказал Джеймс. — Дохожу. Но... — И тут он тоже бросил взгляд на Фрэнсис. — Без живительной атмосферы этого дома я не выживу.

— Можешь заходить в гости, — разрешила Фрэнсис. — Ведь есть же выходные.

Теперь оставались только Роуз и темная лошадка Джил — всегда хорошо причесанная, чисто вымытая, вежливая светловолосая девочка, почти никогда не раскрывающая рта, но внимательно слушающая. Да, слушала она как никто другой.

— Я домой не поеду, — заявила Роуз. — Не поеду, и все тут.

Фрэнсис сказала:

— Понимаешь, твои родители могут подать на меня в суд за то, что я переманиваю их дочь к себе... что-нибудь в этом роде.

— Им наплевать на меня, — провозгласила Роуз. — Им до лампочки,

где я и с кем я.

— Это неправда, — возразил Эндрю. — Может, ты их и не любишь, но они волнуются о тебе. Они мне писали. По-моему, родители думают, что я могу оказать на тебя хорошее влияние.

— Да ерунда все это, — нахмурилась Роуз.

То, что осталось невысказанным, но подразумевалось этим кратким диалогом, нашло отражение во взглядах, которыми обменялись сидящие за столом.

— Я сказала, что не уеду, — повторила Роуз. Она затравленно оглядывала всех, одного за другим: каждый мог оказаться ее врагом.

— Послушай, Роуз, — сказала Фрэнсис, пытаясь не выдать голосом неприязнь, которую испытывала к девушке, — наш Дом Свободы закрывается на время рождественских праздников. — Она не уточнила, до какого числа.

— Но если я живу в цоколе, то никому ведь не помешаю?

— А как ты собираешься... — Но Фрэнсис не договорила. Она вспомнила, что Эндрю делился карманными деньгами и с Роуз.

— А иначе Роуз станет обвинять меня в том, что я плохо отношусь к ней, — как-то сказал он матери. — То есть она и так жалуется, говорит всем, как подло я с ней поступил. Рисует это все в духе безнравственного помещика и несчастной молочницы. Проблема в том, что мои чувства к Роуз никогда не равнялись ее чувствам ко мне.

(«Или ее чувствам к итонскому выпускнику со всеми его связями?» — подумалось тогда Фрэнсис.)

— Думаю, закончилось все тогда, когда она поселилась у нас, — размышлял Эндрю. — Для Роуз это стало откровением. Ее родители, конечно, очень милые люди...

— И что же, ты — и Юлия вместе с тобой — собираетесь содержать ее до старости?

— Нет, — сказал Эндрю. — Я же говорю — с меня хватит. В конце концов, Роуз и так получила немало за один-два поцелуя при луне.

И вот теперь в доме поселилась гостья, которая никак не желала уходить.

Роуз смотрела на всех так, словно ей грозили тюрьмой и пытками. Так же выглядело бы животное в слишком тесной клетке.

Все это уже оборачивалось гротеском, становилось смешным... Фрэнсис стояла на своем, хотя агрессия девушки заставляла и ее сердце биться быстрее:

— Роуз, просто проведи Рождество дома, вот и все, о чем я тебя прошу.

Должно быть, твои родители беспокоятся о тебе. И тебе нужно поговорить с ними насчет школы...

И тут Роуз взвилась со стула и крикнула:

— Вот дерьмо, вечно вы все об этом!.. — И выбежала из кухни с воем, размазывая слезы. Они слышали, как она протопала по лестнице вниз, в цокольный этаж.

— Надо же, — сказал деликатно Джеффри, — сколько эмоций.

Сильвия заметила:

— Наверное, ее школа совсем уж невыносимая, раз она так ее ненавидит. — Сама она согласилась вернуться на занятия, пока живет здесь, «с Юлией», как она выразилась. И она подтвердила, что продолжит учиться и дальше, чтобы стать врачом.

Причиной лютой зависти Роуз, которая разъедала ее душу как кислота, было то, что Сильвия («А ведь она даже не родня, всего лишь приемная дочь Джонни») поселилась в доме как полноправный член семьи и что Юлия ее финансирует. Похоже, Роуз была уверена, что по справедливости Юлия должна платить и за ее, Роуз, обучение в школе прогрессивного обучения и что у нее тоже есть полное право жить в этом доме.

Колин спросил ее как-то:

— Думаешь, моя бабушка напичкана деньгами? Ошибаешься, Юлии непросто обеспечивать Сильвию, ведь она и так уже платит за меня и Эндрю.

— Это несправедливо, — был ответ Роуз. — Почему это у нее должно быть все, а у других ничего?

Итак, оставалась еще Джил, которая пока не сказала ни слова. Заметив, что все смотрят на нее, она наконец подала голос:

— Домой я не поеду. Но на Рождество я собиралась в гости к своей кузине в Эксетер.

На следующее утро Фрэнсис застала Джил на кухне — та кипятила чайник. Поскольку в цокольной квартире была отдельная кухня со всеми необходимыми принадлежностями, появление Джил здесь означало, что она хочет поговорить.

— Попьем чаю вместе, — предложила Фрэнсис и села за стол.

Джил присоединилась к ней, сев на дальнем от Фрэнсис конце стола. Пожалуй, решила Фрэнсис, ничего похожего на конфронтацию с Роуз не ожидается. Джил тоже изучала хозяйку, но не враждебно, а серьезно, даже печально. Она сидела, обхватив себя руками, будто ей холодно.

Фрэнсис сказала:

— Джил, надеюсь, ты понимаешь, что в глазах твоих родителей я

выгляжу не лучшим образом.

Девушка ответила:

— О, я думала, вы скажете, что не хотите, чтобы я тут жила. Это, конечно, справедливо. Но...

— Нет, дело не в этом. Только разве ты не понимаешь, что твои родители сейчас, должно быть, с ума сходят от тревоги?

— Я сообщила им, где я. Я сказала, что живу здесь.

— Ты не собираешься вернуться в школу?

— Не вижу смысла.

Джил не очень хорошо училась, но в Сент-Джозефе на успеваемость особого внимания не обращали.

— А ты не думаешь, что я тоже могу о тебе беспокоиться?

При этих словах девушка будто ожила, забыла о ледяной настороженности и нагнулась вперед.

— О Фрэнсис, что вы, не надо беспокоиться обо мне. У вас тут так хорошо. Я чувствую себя здесь так спокойно.

— А дома ты себя не чувствуешь спокойно?

— Не то чтобы... Просто родители... они не любят меня. — И Джил снова спряталась в свою скорлупу, обхватила себя руками, стала растирать ладонями предплечья, словно на самом деле мерзла.

Фрэнсис заметила, что этим утром Джил нарисовала вокруг глаз жирную черную линию. Это что-то новенькое в облике аккуратной девчушки. И еще она надела одну из мини-юбок Роуз.

Фрэнсис захотелось обнять этого ребенка и прижать к себе. С Роуз у нее никогда не возникало такого желания — хотелось только, чтобы она поскорее куда-нибудь исчезла из их дома. Другими словами, Джил ей нравится, а Роуз нет. Но какой в этом смысл, если обращается она с обеими девочками одинаково?

Фрэнсис в одиночестве сидела на кухне. Вымытый и натертый стол блестел как зеркало. Хм, а ведь это очень симпатичный стол, подумала она, если приглядеться. А сейчас был тот редкий случай, когда он не заставлен чашками и тарелками, когда вокруг него никто не сидит. Сегодня Рождество, и она сначала проводила Колина и Софи, нарядившихся для праздничного обеда, надо же, а ведь Колин обычно с презрением относится к одежде. Потом настала очередь Юлии покинуть дом — в сером бархатном костюме и чём-то вроде чепца с розочкой на голове, с неизменной вуалькой. Сильвия надела платье, которое купила для нее Юлия, и Фрэнсис порадовалась, что девушку в нем не видел никто из «детворы»,

предпочитавшей джинсы и футболки. Ее бы высмеяли за это голубое платье — в таких пятьдесят лет назад добронравные девочки ходили в церковь. Но хотя бы от шляпки она отказалась. Затем с Фрэнсис попрощался Эндрю — этот отправлялся утешать Филлиду. Он просунул голову в дверь, чтобы сказать:

— Мы все тебе завидуем, Фрэнсис. Все, кроме Юлии, которая расстроена из-за того, что ты осталась одна-одинешенька. И кстати, будь готова к подарку. Она постеснялась сама тебе об этом сказать.

Фрэнсис сидела в одиночестве. В этот час женщины по всей стране трудятся возле плиты, жарят несколько миллионов индеек и следят за тем, как поспевают рождественские пудинги. От зеленовато-желтой брюссельской капусты исходит волшебный аромат. Целые поля картофеля уложены вокруг ощипанных птиц. Балом правят раздражение и нервозность. Но она, Фрэнсис, сидит тут как королева, одна. Только те, кто испытал давление непомерных требований тинейджеров или эмоционально зависимых взрослых, которые высасывают из тебя все, кормятся тобой и тебя же потом обвиняют во всем, могут понять всю прелесть свободы, пусть всего на несколько часов. Фрэнсис чувствовала, как расслабляется все ее тело, от головы до ног: она превращалась в воздушный шар, готовый вспарить и улететь прочь. И было тихо. В других домах звенела рождественская музыка, но здесь, в этом доме, ни телевизор, ни даже радио... хотя что это там, внизу — уж не Роуз ли осталась в цоколе? Она же вроде собиралась вместе с Джил поехать к ее родственникам. Должно быть, это музыка из соседнего дома.

А в остальном — тишина. Фрэнсис вдыхала ее и выдыхала, о, счастье, ей абсолютно не о чем беспокоиться, даже думать не о чем — в ближайшие несколько часов. В дверь позвонили. Бормоча проклятия, Фрэнсис пошла открывать. За дверью она увидела улыбающегося молодого человека в красном — в честь Рождества — наряде. Он вручил ей с поклоном поднос, накрытый муслином. Белая ткань была прихвачена алым бантом.

— Веселого Рождества, — сказал молодой человек и потом: — *Bon appétit!* — И ушел, насвистывая старинную песенку.

Фрэнсис поставила поднос в центр стола. Приложенная к нему карточка возвещала, что его прислали из элегантного ресторана, весьма фешенебельного. Под муслином обнаружили угощение на целый банкет и еще одна карточка: «С наилучшими пожеланиями от Юлии». С наилучшими пожеланиями... В том, что Юлия не добавила «с любовью», была исключительна вина самой Фрэнсис. Но не важно, сегодня она не будет переживать по этому поводу.

Ресторанный обед был так красив, что не хотелось притрагиваться к нему, чтобы не испортить картину.

Во-первых, зеленый суп в белой фарфоровой миске, очень холодный, посыпанный тертым льдом. Высланный на разведку палец донес, что это была смесь бархатистой маслянистости и кислинки — может быть, щавель? Синяя тарелка, выложенная кружевами ярко-зеленого салата, который притворялся водорослями, содержала раковины с моллюсками внутри, нарезанными и смешанными с грибами. Две перепелки сидели бок о бок на подстилке из припущенного сельдерея. Маленькая записка рядом с ними советовала: «Разогревайте в течение десяти минут». Небольшой рождественский пудинг был залит шоколадом и украшен веточкой остролиста. Еще на подносе умещалось блюдо с фруктами, которых Фрэнсис никогда не пробовала и с трудом смогла вспомнить названия: физалис, личи, маракуйя, гуава. И еще кусок «стилтона». Маленькие бутылочки шампанского, бургундского и портвейна обрамляли роскошное угощение. Да это же настоящий пир! В наши дни такой обед, отдающий дань традициям и в то же время остроумно подшучивающий над ними, не представлял бы собой ничего выдающегося, однако тогда это было видение из райских куш, ласточка, залетевшая из изобильного будущего. Фрэнсис не могла положить в рот такую красоту, это было бы преступлением. Поэтому она просто смотрела на поднос и думала о том, что Юлия все-таки хорошо к ней относится.

Она всплакнула. На Рождество принято плакать, это почти обязательно. Фрэнсис плакала из-за того, что свекровь была так добра к ней самой и ее сыновьям, из-за блестящей изысканности подарочного обеда, из-за собственного удивления тем, что ей довелось пережить, и потом, совсем уж расчувствовавшись, она всплакнула, вспомнив жалкие рождественские праздники прошлого. О господи, разве это можно назвать праздником: мальчики были совсем маленькими, и жили они в ужасных съемных квартирах, и все было такое убогое, и они частенько мерзли.

Потом Фрэнсис утерла слезы и продолжила сидеть в благословенном ничегонеделании — час, второй. Ни души в доме... однако звук радио все же доносится из цокольного этажа, а не из соседнего дома. Ладно. Фрэнсис решила не обращать на это внимания. Может, его просто забыли выключить. Четыре часа. Коммунальные службы, наверное, вздыхают с облегчением: они обеспечили газом и электричеством еще один национальный рождественский обед. Усталые и сердитые женщины от южного до северного края страны сейчас выходили из кухонь со словами: «Уж посуду-то сами помоеете». Что ж, удачи им.

В креслах и на диванах клюют носами сытые люди. Речь королевы, страдающая от последствий праздничного переизбытка, будут слушать вполуха. Темнело. Фрэнсис встала, задернула занавески, включила свет. Снова села. Она проголодалась, но не могла заставить себя нарушить безупречность ресторанного обеда и пока обошлась куском хлеба с маслом. Она налила себе стакан «Тио Пепе». Должно быть, Джонни сейчас на Кубе читает лекции тем, кто оказался с ним рядом. О чем? Да о чем угодно. Возможно, о текущей ситуации в Британии.

Она могла бы подняться к себе и немного поспать — в конце концов, не часто ей выпадает шанс устроить «тихий час». Но вот хлопнула входная дверь, и потом открылась дверь на кухню: вошел Эндрю.

— Ты плакала, — заметил он, садясь за стол рядом с матерью.

— Ага. Немного. Было так приятно.

— Я не люблю плакать, — сказал Эндрю. — Меня это пугает. Я боюсь, что, однажды начав, никогда больше не остановлюсь. — Тут его лицо вспыхнуло до корней волос, и он пробормотал: — Боже мой...

— О Эндрю, — сказала Фрэнсис, — прости меня.

— За что? Черт, неужели ты подумала...

— Все можно было бы сделать иначе, наверное.

— Что? Что можно было бы сделать иначе? Ох, черт.

Он налил им обоим вина и сел, нахохлившись, совсем как Джил несколько дней назад.

— Это все из-за Рождества, — сказала Фрэнсис. — Именно оно всегда вызывает из глубины памяти плохие воспоминания.

Но сын отмахнулся от этой мысли, сделав жест рукой, словно хотел сказать: «Достаточно, не продолжай». И наклонился вперед, чтобы изучить подарок Юлии. Так же, как Фрэнсис, он обмакнул палец в суп и одобрительно хмыкнул. Потом попробовал кусочек моллюска.

— Я чувствую себя ужасной лицемеркой, Эндрю. Настояла, чтобы все были пайньками и поехали домой, а сама почти не навещала родителей после того, как стала жить самостоятельно. Если я и приезжала к ним на Рождество, то уезжала на следующее утро или вообще в тот же вечер.

— Интересно, а они сами возвращались домой на Рождество — твои родители?

— Твои бабушка и дедушка?

— Да. Думаю, они-то как раз возвращались.

— Точно не знаю. Мне вообще мало что про них известно. Ведь была война. Она как пропасть прошла через мою жизнь. Та жизнь, с родителями, осталась на том краю. И оба они уже умерли. Когда я уехала из дома, то

старалась думать о родителях как можно меньше. У меня просто сил на них не хватало. И поэтому я не навещала их. А теперь ругаю Роуз за то, что она не хочет ехать к своим родителям.

— Я так понимаю, тебе было не пятнадцать лет, когда ты уехала из дома?

— Нет, восемнадцать.

— Ну вот, значит, ты чиста.

Это абсурдное замечание насмешило их обоих. Чудесное взаимопонимание. Как хорошо она ладит со старшим сыном! Так было с тех пор, как он повзрослел — то есть совсем еще недолго на самом деле. И какая же это радость, какое утешение за...

— А Юлия... Она ведь тоже не ездила домой на Рождество?

— Но она и не могла, она жила здесь, в Англии.

— Сколько ей было, когда она приехала в Лондон?

— Лет двадцать, кажется.

— Что? — Эндрю даже закрыл лицо руками, а потом убрал их и проговорил: — Двадцать. Мне сейчас столько же. А мне иногда кажется, что я еще не научился толком шнурки завязывать.

Оба молчали, пытаясь представить себе совсем юную Юлию.

Фрэнсис сказала:

— Помнится, я видела одну фотографию. Свадебную. Там она в шляпке с таким количеством цветов, что лица почти не видно.

— Без вуали?

— Без вуали.

— Господи, приехать сюда, совсем одной, к нам, холодным англичанам. А каким был мой дедушка?

— Я с ним ни разу не встречалась. Они не очень-то жаловали Джонни. И, разумеется, меня. — Стараясь найти причину всех этих огромной важности поступков, Фрэнсис продолжала: — Понимаешь, тогда шла холодная война.

Эндрю теперь сложил руки на столе, оперся на них и хмурился, глядя на маму и желая понять.

— Холодная война, — повторил он.

— Боже праведный! — воскликнула Фрэнсис, потрясенная. — Конечно же, я забыла, мои родители тоже не одобряли Джонни. Они даже написали мне письмо, в котором называли меня врагом родины. Предательницей — да, думаю, такое слово они употребили. Потом они, правда, изменили свое мнение и приехали ко мне; вы с Колином были тогда совсем еще малютки. Джонни как раз был дома. Он назвал моих родителей

отбросами истории. — Фрэнсис чуть не заплакала снова, с такой силой нахлынули на нее воспоминания о тех трудных годах.

У Эндрю одна бровь поползла вверх, лицо сморщилось от выпирающего наружу смеха, и вот он уже не справился и прыснул. И замахал руками, словно отменяя смех.

— Это так забавно, — попытался он извиниться.

— Ну да, должно быть, это забавно.

Он уронил лицо на руки, вздохнул и оставался в такой позе долгую минуту или две. Из-под сложенных рук раздался его голос:

— Я просто не думаю, что во мне есть силы...

— Для чего? Силы на что?

— Откуда она у вас, эта уверенность? Поверь, я по сравнению с вами очень хрупкое создание. Возможно, это я — отбросы истории.

— Что? О чем ты?

Эндрю приподнял голову. На красном лице блестели слезы.

— Да так, ни о чем. — Он опять помахал рукой, развеивая грустные мысли. — Ты знаешь, а я бы не отказался попробовать, что тут у тебя на подносе.

— Разве ты не вернулся только что с рождественского обеда?

— Филлида была не в том состоянии, чтобы готовить. Она рыдала, и кричала, и падала в обморок. Знаешь, она на самом деле сумасшедшая. Я имею в виду, по-настоящему сумасшедшая.

— Соглашусь с тобой.

— Юлия говорит, это потому, что ее — Филлиду — отослали в Канаду, когда началась война. Бедняжке, по-видимому, не повезло, семья, которая ее приняла, была не самая приятная. Она их всех ненавидела. И когда вернулась домой, то стала совсем другим человеком, так ее родители говорили. Они не узнавали дочь. Филлида уехала, когда ей было десять лет. Вернулась уже почти в пятнадцать.

— Что ж, остается только пожалеть ее.

— Угу. А потом еще такой подарочек в виде товарища Джонни! — Эндрю подтянул к себе поднос, встал, чтобы взять ложку, вилку и нож, сел и только окунул ложку в суп, как опять с улицы в дом кто-то вошел. Дверь у них за спиной с шумом раскрылась, и появился Колин, принеся с собой холодный воздух и ощущение темноты за стенами. Его несчастное лицо было для них как обвинение.

— Что это я вижу — еду? На самом деле еду?

Он немедленно уселся за стол и, схватив ложку, которую достал для себя Эндрю, принялся за суп.

— Ты тоже остался без праздничного обеда?

— Да. Мать Софи вдруг вспомнила, что она еврейка! Говорит, мол, какое ей дело до Рождества. Хотя раньше они всегда его отмечали. — Он доел суп. — Почему ты никогда не готовишь такую еду? — спросил он у Фрэнсис недовольно. — Вот это я понимаю — суп.

— Ты сам подумай: сколько перепелок мне придется приготовить для каждого из вас, с вашими-то аппетитами?

— Погоди-ка, — сказал Эндрю, — как насчет поделиться?

Он поставил на стол одну тарелку, потом вторую — для Колина — и еще одну вилку с ножом. Затем положил себе перепелку.

— Их нужно разогревать десять минут, — сказала Фрэнсис.

— Какая разница? И так вкуснотища.

Братья ели, соревнуясь друг с другом. Когда от перепелок остались одни косточки, ложки зависли над пудингом. И через полминуты он тоже исчез.

— А что, у нас будет настоящий рождественский пудинг? — поинтересовался Колин. — Без него Рождество не праздник.

Фрэнсис встала, сняла с верхней полки миску с пудингом, который тихонько там поспевал, и поставила его на плиту.

— Сколько ему готовиться? — спросил Колин.

— Час.

Фрэнсис выложила на стол хлеб, потом масло, сыр, поставила тарелки. От «стилтона» мгновенно не осталось и следа, и только тогда, отодвинув разоренный поднос, они приступили к еде как следует.

— Мама, — сказал Колин, — мы должны пригласить Софи пожить у нас.

— Но она и так практически живет у нас.

— Нет, я имею в виду пригласить по-настоящему. Тут дело не во мне... То есть я не хочу сказать, будто мы с Софи пара, совсем нет. Просто она не может больше жить дома. Ты не поверишь, какая у нее мать. Вечно рыдает, хватает Софи и говорит, что они должны вместе спрыгнуть с моста или принять яд. Представляешь: жить в такой обстановке? — Прозвучало это опять как обвинение в адрес Фрэнсис, и Колин, сам, услышав это, сказал уже другим тоном, почти извиняясь: — Если бы ты поняла, что это за дом... Хуже, чем средневековая темница.

— Ты знаешь, что я очень симпатизирую Софи. Но я не думаю, что ей понравится жить в цоколе вместе с Роуз или со всеми теми, кто решит разбить там лагерь. Я так понимаю, ты не планируешь поселить ее у себя в комнате?

— Э-э... нет, это не... Ничего такого. Но она могла бы пожить в гостиной, мы почти не пользуемся этой комнатой.

— Раз ты завязал с Софи, то можно теперь мне попробовать завоевать ее расположение? — спросил Эндрю. — Я без ума от нее, как всем, должно быть, хорошо известно.

— Я не говорил, будто...

И двое юношей в один миг снова стали мальчишками, начали пихать друг друга локтями, коленями...

— Счастливого Рождества, — сказал Фрэнсис, и они прекратили баловаться.

— Кстати, о Роуз: где она? — вспомнил Эндрю. — Неужели поехала домой?

— Конечно же нет, — ответил Колин. — Она сидит внизу, попеременно то заливается слезами, то делает макияж.

— А ты откуда знаешь? — спросил Эндрю.

— Ты забываешь о преимуществах прогрессивного обучения. Я все знаю о женщинах.

— Я бы тоже хотел это знать. Хотя полученное мной образование на порядок лучше твоего, в сфере человеческих отношений я неизменно совершаю ошибки.

— С Сильвией у тебя получается совсем неплохо, — заметила Фрэнсис.

— Да, но ее ведь не назовешь женщиной, правда? Скорее, она — это призрак убитого ребенка.

— Господи, ужас какой, — сказала Фрэнсис.

— Но как верно подмечено, — добавил Колин.

— Если Роуз и вправду здесь, то нам лучше пригласить ее подняться к нам, — вслух подумала Фрэнсис.

— Ох, может не надо? — протянул Эндрю. — Так хорошо посидеть *en famille*, ^[3] хотя бы раз.

— Я схожу к ней, — сказал Колин, — а не то Роуз примет слишком большую дозу и потом скажет, что это мы виноваты.

Он подскочил и унесся вниз по лестнице. Двое оставшихся за столом ничего не говорили, только смотрели друг на друга, слушая, как этажом ниже раздался вопль, вероятно приветственный, потом громкий рассудительный голос Колина, и наконец в кухню вошла Роуз, подталкиваемая Колином.

Роуз была сильно накрашена: жирная черная подводка вокруг глаз, накладные ресницы, сиреневые тени. Она была сердита, обижена и готова в

любой момент пуститься в рев.

— Скоро будет готов рождественский пудинг, — сказала Фрэнсис.

Но Роуз увидела фрукты на подносе и стала разглядывать их.

— Что это? — спросила она агрессивно. — Что это? — Она взяла личи.

— Ты наверняка его пробовала, его подают в китайских ресторанах к пудингу, — сказал Эндрю.

— Каких еще китайских ресторанах? Я никогда там не была.

— Позволь мне. — Колин очистил личи. Ломкие фрагменты пупырчатой скорлупы обнажили жемчужную полупрозрачную плоть фрукта, похожую на маленькое яичко, которую Колин и вручил Роуз. Она проглотила его и сказала:

— Ничего особенного. Много шума из ничего.

— Этот плод полагается подержать на языке, нужно позволить его сущности проникнуть в твою сущность, — пояснил Колин. Он состроил глуповато-заносчивую гримасу и стал похож на судью, только парика не хватало. Затем он вскрыл еще один плод для Роуз и передал его ей, аккуратно держа между большим и указательным пальцами. Она посидела, перекатывая личи во рту, как ребенок, который отказывается глотать пищу, потом проглотила и заявила:

— Это все туфта.

И немедленно братья подтащили блюдо с фруктами к себе и поделили их между собой. Роуз смотрела на них, раскрыв рот. Теперь она действительно могла заплакать.

— О-о, — завывала она, — какие вы злые. Я не виновата, что никогда не была в китайском ресторане.

— Ну, рождественский пудинг ты уж точно ела, и как раз его сейчас и получишь, — сказала Фрэнсис.

— Я есть хочу, — причитала Роуз.

— Тогда сделай себе бутерброд с сыром.

— Бутерброд с сыром на Рождество?

— Это все, что у меня есть, — ответила Фрэнсис. — Прекращай ныть, Роуз.

Роуз, опешив, замолчала на полуслове, уставилась на Фрэнсис и потом изобразила всю гамму чувств непонятого подростка: негодующие взгляды, дрожащие губы, вздымающаяся грудь.

Эндрю отрезал ломоть хлеба, нагрузил его маслом и сыром.

— На, ешь, — сказал он.

— Я растолстею, если буду есть столько масла.

Эндрю без лишних слов забрал бутерброд обратно и стал жевать его сам. Роуз сидела, набухая злостью и слезами. Никто не смотрел на нее. Тогда она потянулась к буханке, отрезала полупрозрачный кусок, размазала пленкой масло и положила сверху несколько крошек сыра. Однако есть не стала, а просто сидела с оскорбленным видом: «Вот, посмотрите на мой рождественский ужин».

— Спою-ка я рождественские колядки, пока мы ждем пудинга, — сказал Эндрю и затыкнул «Тихую ночь».

Колин воскликнул:

— Эндрю, заткнись! Этого я не вынесу!

— Думаю, что пудинг уже вполне съедобный, — сказала Фрэнсис.

Большая, темная, блестящая масса пудинга была выложена на тонкое фарфоровое блюдо. Фрэнсис раздала тарелки и ложки, налила всем вина. Веточку остролиста, присланную с подносом из ресторана, она воткнула в центр пудинга. На полке нашлась банка со сладким кремом.

Они стали есть.

Через некоторое время зазвонил телефон. Это была Софи, вся в слезах, и Колин поднялся этажом выше, чтобы поговорить с ней. Они говорили долго, очень долго, и потом Колин спустился сказать, что он возвращается к Софи, останется там на ночь, потому что бедняжка Софи одна не справится. А может, он привезет ее сюда.

Затем к дому подъехало такси — это вернулась Юлия. В кухню вбежала Сильвия, раздумавшаяся, улыбающаяся — настоящая красавица. И кто бы мог поверить, что такое возможно, всего несколько недель назад? Она присела перед ними в шутливом реверансе, смущаясь и в то же время гордясь своим новым платьем добронравной девочки, поглядывая на кружевной воротничок, кружевные манжеты, вышивку. За ней вошла Юлия. Фрэнсис сказала:

— Юлия, прошу вас, присаживайтесь.

Но Юлия уже заметила Роуз, похожую на клоуна из-за потекшей косметики, та как раз набивала рот пудингом.

— Как-нибудь в другой раз, — сказала Юлия.

Было очевидно, что Сильвия хотела бы остаться на кухне, с Эндрю, однако она последовала за Юлией на лестницу.

— Идиотское платье, — сказала Роуз.

— Да, ты права, — кивнул Эндрю, — это совсем не твой стиль.

И только тогда Фрэнсис вспомнила, что она не поблагодарила Юлию. Шокированная своей невежливостью, она выбежала на лестницу. Свекровь она догнала только на верхней площадке. Вот он, этот момент. Теперь

нужно обнять Юлию. Нужно просто положить руки на эту чопорную, критически настроенную старую женщину и поцеловать ее. Но она не смогла. Ее тело не послушалось хозяйку. Руки отказывались подниматься и прикасаться к Юлии.

— Спасибо вам, — сказала Фрэнсис. — Это было так мило с вашей стороны. Вы не представляете, как ваш подарок...

— Я рада, что он вам понравился, — произнесла Юлия, поворачиваясь к своей двери.

И Фрэнсис сказала ей в спину, чувствуя себя беспомощной и жалкой:

— Спасибо, спасибо вам большое.

А вот Сильвия не испытывала никаких проблем с тем, чтобы поцеловать Юлию или принимать от нее поцелуй, она даже сидела у той на коленях.

Наступил май. Окна были распахнуты навстречу жизнерадостному весеннему вечеру. Птицы старались вовсю, заглушая своим пением шум транспорта. Легкий дождик осыпал искрами листву и цветы.

Компания вокруг стола выглядела как хор для мюзикла, потому что все поголовно были одеты в туники в сине-белую горизонтальную полосу, только у Фрэнсис полоски были черные и белые — ей казалось, что необходимо хоть как-то подчеркнуть разницу между собой и «детворой». Девушки носили туники с узкими черными легинсами, а юноши те же полоски — с джинсами. У мальчишек волосы опускались гораздо ниже ушей, иначе и быть не могло, а все девочки щеголяли стрижкой от миссис Эвански. Прическа от Эвански являлась в эти дни устремлением любой девчонки, кроме совсем уж отсталых, и всеми правдами и (что более вероятно) неправдами они добивались желаемого. Эта прическа была чем-то средним между «бобом» двадцатых годов и короткой стрижкой «под фокстрот» с белкой до бровей. Волосы, разумеется, прямые. Никаких кудрей! Даже волосы Роуз, масса черных завитков, были уложены под Эвански. Маленькие аккуратные головки, хрупкие девочки-припевочки, эдакие куколочки, и мальчишки — лохматые пони, и все в сине-белую полосу, которые берут свое начало от тельняшек и удивительным образом сочетаются с голубой и белой посудой для завтрака. Когда говорит Geist, ^[4]Zeit ^[5] должно подчиниться. Вот они, юноши и девушки сексуальной революции, хотя они еще не знали, что именно под этим именем останутся в истории человечества.

Однако было одно исключение из императива Эвански, столь же сильного, как и императив Видала Сассуна. Миссис Эвански, решительная

леди, отказалась стричь волосы Софи. Она постояла за спиной у девушки, подняла атласные черные струи, позволила им стечь между пальцев и затем объявила:

— Простите, но я не могу этого сделать. — И затем на протесты Софи: — Кроме того, у вас вытянутое лицо, вам не пойдет стрижка.

Софи сидела с таким горестным видом отверженного ребенка, что миссис Эвански смягчилась:

— Ладно, идите домой, еще раз все обдумайте. Если все же будете настаивать, так и быть, срежу эту красоту, но меня это убьет.

Вот так, единственная из всех девочек, Софи сохранила свои длинные пряди, но чувствовала она себя из-за этого уродом.

Волчок времени не стоял на месте прошедшие четыре месяца, вертелся изо всех сил. Что такое четыре месяца? Ничего, а все так переменялось.

Во-первых, Сильвия. Она тоже влилась в единообразные ряды сверстников. Ее прическа, вымоленная у Юлии, не очень ей шла, но все понимали, как важно Сильвии ощущать себя нормальной, такой же, как остальные. Она ела, пусть без большого аппетита, и во всем слушалась Юлию. Старая женщина и эта юная девочка часами сидели в гостиной Юлии. Там хозяйка угощала Сильвию разными вкусностями, в том числе шоколадными конфетами, которые дарил ей ее преданный поклонник, Вильгельм Штайн, и рассказывала девочке о довоенной Германии — о Германии до Первой мировой войны. Сильвия спросила однажды — спросила осторожно, потому что она бы скорее умерла, чем обидела Юлию:

— Неужели тогда не случилось ничего плохого?

Юлию вопрос привел в замешательство, но потом она засмеялась.

— Я не собираюсь признавать этого, даже если плохое случилось.

Но Юлия искренне не могла вспомнить ничего плохого о том времени. Ее детство, проведенное в доме, полном музыки и добрых людей, казалось ей раем. Разве сейчас найдется хоть что-нибудь подобное?

Эндрю пообещал матери и бабушке, что осенью начнет учиться в Кембридже, а пока едва ли не все время проводил дома. Он бездельничал у себя в комнате, читал и курил. Его навещала там Сильвия, официально стучась в дверь. Она прибиралась у него и отчитывала Эндрю:

— Раз я сумела, то и ты смог бы.

Речь теперь шла о курении травки. Для Сильвии, которая едва не потеряла себя и с таким трудом вернулась к нормальной жизни, все являло угрозой — алкоголь, табак, наркотики, громкие голоса. Ссоры, даже не

имеющие к ней отношения, по-прежнему заставляли девушку прятаться под одеяло и сидеть там, зажимая уши ладонями. Она ходила в школу и уже делала в учебе первые успехи.

Для Джеффри, который от природы был умен, экзамены в школе не составят труда, после чего он собирался поступать в Лондонскую школу экономики — на отделение политики и экономики, разумеется, тратить время на философию он не желал. Дэниел, тень Джеффри, сказал, что он тоже будет поступать в школу экономики, на то же отделение.

Джил сделала аборт и вела себя так же, как обычно, по-видимому ничуть не затронутая произошедшим. Впечатляет то, что «детвора» сумела сделать все самостоятельно, без участия взрослых. Не было сказано ни слова ни Фрэнсис, ни Юлии, ни даже Эндрю, которому было уже слишком много лет и в котором видели возможного противника. К родителям девушки ездил Колин (сама она побоялась), и именно он сказал им, что их дочь беременна. Они решили, что Колин и есть отец, и не поверили его заверениям в обратном. Так кто же был настоящим отцом? Никто не знал и, наверное, никогда не узнает, хотя многие подозревали Джеффри. Его часто винули за разбитые сердца, с его внешностью ему было не избежать подобных обвинений.

Колин получил от родителей Джил необходимую сумму на аборт и отправился к своему семейному врачу, который после уговоров все же назвал требуемый телефонный номер. Уже потом, когда Джил вновь водворилась в цокольном этаже, настало время рассказать обо всем Фрэнсис, Юлии и Эндрю. Родители Джил, однако, не разрешили дочери вернуться в Сент-Джозеф, «раз там творится такое».

Софи и Колин расстались. Софи, которая никогда в жизни не стала бы делать ничего наполовину, подавила Колина своими чувствами: она любила его до смерти или, по крайней мере, до болезненного состояния.

— Уходи! — в конце концов закричал он на нее. — Оставь меня в покое!

Колин несколько дней не выходил из своей комнаты. Потом он поехал к Софи домой и просил прощения, сказал, что это он виноват, что он просто запутался немного и что пусть Софи, пожалуйста, вернется к ним. «Ну, пожалуйста, мы все так скучаем по тебе, и Фрэнсис все время спрашивает: "Где Софи?"». И когда Софи вернулась, с таким виноватым видом, как будто в чем-то провинилась, Фрэнсис обняла ее и сказала:

— Софи, ваши с Колином отношения — это одно, а твое место в доме — совсем другое. Приходи сюда всегда, когда захочешь.

На выходных Софи приезжала в Лондон вместе со всей ватагой из

Сент-Джозефа, часть времени проводила в доме, ездила навещать мать, которой, по ее словам, стало лучше. «Хотя по виду и не скажешь. Бродит целыми днями по дому и выглядит ужасно». Депрессия, не говоря уже о клинической депрессии, еще не вошла в повседневный словарь и сознание людей. Если человек говорил: «Я так подавлен», то понималось под этим всего лишь плохое настроение. Софи, старающаяся быть хорошей дочерью, иногда оставалась с матерью на ночь, но все дни проводила в доме Ленноксов. Вечерами и в субботу, и в воскресенье она неизменно сидела за большим столом на кухне.

А потом с ней произошло нечто необыкновенное. Софи часто спускалась с холма на Примроуз-хилл и шла дальше через Риджентс-парк на занятия по пению и танцам. Там, в парке, посреди травы и цветочных клумб стояла статуя девушки с маленькой козочкой, которая называлась «Хранительница беззащитных». Как-то незаметно для себя Софи стала оставлять на постаменте сначала листочки, затем цветы, а потом букетики. Вскоре она уже приносила туда печенье и, отойдя в сторону, наблюдала, как воробьи и скворцы прилетали к статуе за крошками. Один раз она надела на голову козочки венок. И вот однажды она нашла возле статуи буклет под названием «Язык цветов» и привязанный к нему букет из сирени и красных роз. Вокруг Софи никого не увидела, только в отдалении гуляли какие-то люди. Она встревожилась, поняв, что за ней следят. За ужином она рассказала эту историю и пустила по кругу «Язык цветов», чтобы все могли посмотреть. Сирень означала «Влюбленность», а красная роза — «Любовь».

— Ты ведь не собираешься отвечать ему? — возмутилась Роуз.

— Милая Роуз, — сказал Колин, — конечно, Софи собирается ответить.

И они все вместе углубились в содержание буклета, подыскивая подходящий ответ. Но Софи хотела сказать примерно следующее: «Я заинтересована, но не спеши с выводами». Ничего подобного в справочнике не было. В конце концов остановились на подснежниках — «Надежда», только их время уже закончилось, и барвинках — «Предложение дружбы». Софи сказала, что, кажется, видела несколько барвинков в саду матери. А что еще добавить?

— О, не надо осторожничать! — воскликнул Джеффри. — Мы живем только раз. Ландыш — «Возвращение счастья». И флокс — «Согласие».

Софи положила свой букет на пьедестал, подождала немного рядом; потом ушла, а когда вернулась, то ее цветов уже не было. Но, может, кто-то другой забрал их? Нет, забрал их тот, кому они предназначались, потому

что на следующий день возле статуи Софи поджидал молодой человек, который, как он сказал, наблюдал за ней «целую вечность», но был слишком застенчив, чтобы завязать знакомство без помощи «Языка цветов». Не очень-то правдоподобная история, потому что от застенчивости юноша явно не страдал. Он был актером, учился в той самой академии, куда собиралась поступать осенью и Софи. Звали его Роланд Шатток, и был он по-разбойничьи красив и драматичен во всем, что делал. По убеждениям он был троцкистом. Роланд часто навещался в дом Ленноксов во время ужина и этим вечером тоже был с ними. Старше остальных, старше даже, чем Эндрю, на целый год, он ходил с видом умудренного жизнью человека, носил замшевый пиджак с бахромой, крашенный в сиреневый цвет, и его присутствие воспринималось как явление из мира взрослых и даже чем-то вроде входного билета в этот мир. Если Роланд не считает их «детворой», то, значит... В их идеалистические умы не закрадывалась мысль, что зачастую ему просто хотелось есть.

Когда приходил Роланд, Колин становился немногословным и часто отправлялся к себе наверх, хотя застолье было еще в полном разгаре. Особенно ранними его уходы были тогда, когда заглядывал Джонни, потому что споры между молодым троцкистом и старым сталинистом были шумными, неистовыми и порой некрасивыми. Сильвия тоже сбегала и находила приют у Юлии.

Джонни съездил на Кубу и договорился о съемках небольшого фильма. «Только боюсь, Фрэнсис, денег он не принесет». А потом он улетел с визитом в независимую Замбию вместе с товарищем Мо.

Теперь Роуз: с ней трудности не прекращались ни на день за все эти четыре месяца. Сначала она отказалась возвращаться в свою школу и упорно не уезжала домой. Вот если ей разрешат жить здесь, в этом доме, тогда она, может быть, согласится на Сент-Джозеф. Эндрю снова пришлось ехать к ее родителям. Те убедили себя, что этот обворожительный, такой аристократичный молодой человек имеет виды на их дочь, и из-за этого с ними было довольно просто договориться. Родители дали согласие на то, чтобы их дочь училась если не в Сент-Джозефе (на это им не хватало средств), то в какой-нибудь школе в Лондоне. Они готовы были платить за ее обучение и давать деньги на одежду. Но за проживание и питание они платить не будут. Из их слов и взглядов следовало, что они считали это обязанностью Эндрю. В действительности же это бремя упало на плечи Фрэнсис.

А нельзя ли попросить Роуз что-нибудь делать взамен, например, по хозяйству? С поддержанием в доме чистоты всегда возникали проблемы,

несмотря на еженедельные визиты миссис Филби (правда, она мало что делала — лишь совершала быстрый рейд по комнатам с пылесосом).

— Не говори глупости, — заявил в ответ на предложение матери Эндрю. — Неужели ты думаешь, что Роуз соизволит хотя бы палец о палец ударить?

В Лондоне была найдена школа, близкая по духу к принципам прогрессивного обучения, и Роуз на все согласилась. Если только ей разрешат остаться здесь, то с ней не будет проблем. А потом к Фрэнсис явился Эндрю с сообщением о крупной неприятности. Роуз побоялась сама прийти к ней. И Джил, оказывается, тоже была в этом замешана. Девочек поймали в подzemке за то, что они ездили без билетов, причем каждую из них уже в третий раз. Их вызвали в отдел малолетних правонарушителей при транспортной полиции.

Обеим грозили штрафы или даже исправительное заведение. Фрэнсис так рассердилась на Роуз (это было все то же глухое безнадежное чувство, сродни хроническому несварению), что не захотела даже с ней разговаривать, а передала через Эндрю, что сходит с ними в полицию. В назначенное утро, когда она спустилась в кухню, там ее уже ждали две надутые девушки, объединенные ненавистью к миру и дымящие сигаретами. Обе они были накрашены как панды — белые тени и черная подводка. На них были надеты крохотные мини-платья, ворованные, разумеется. Ни в каком другом наряде они не смогли бы настроить Власть против себя столь же эффективно. Фрэнсис сказала:

— Если вы действительно надеетесь, что все обойдется одним лишь нравоучением, то советую вам хорошенько умыться.

У нее складывалось впечатление, что девчонки намеренно усложняют дело, возможно, они даже планируют попасть в колонию для несовершеннолетних. И это послужит Фрэнсис уроком: нельзя стать *in loco parentis* ^[6] без того, чтобы в какой-то момент не принять на себя наказание, адресованное на самом деле не выполняющим свои обязанности родителям.

Роуз тут же огрызнулась:

— Не вижу смысла.

Фрэнсис с любопытством ждала ответа Джил. Эта когда-то тихая, добрая, послушная девочка, которая могла весь вечер просидеть, не сказав ни слова, только улыбаясь, сейчас была едва видна из-за щита макияжа и ненависти.

Она последовала примеру Роуз:

— И я не вижу.

Они поехали на метро. Билеты покупала Фрэнсис, для всех троих, отметив саркастические ухмылки девушек. Вскоре они оказались в кабинете, где юных безбилетников встречала их судьба в лице миссис Кент, одетой в темносиний костюм из тех, что предназначены подчеркивать величие бюрократии. Ее лицо, однако, было добрым, как ни старалась она хмурить лоб.

— Прошу вас, садитесь, — сказала миссис Кент.

Фрэнсис села с одной стороны стола, а девочки, постояв, как упрямые лошадки, демонстрируя свой протест, плюхнулись, будто их толкнули, с другой.

— Все очень просто, — начала миссис Кент, но тут же тяжелым вздохом опровергла свои слова, сама, впрочем, не догадываясь. — Вы обе уже дважды получали предупреждение. Вы знали, что третий раз будет последним. Я могу передать ваше дело в суд, и пусть там решают, посылать вас в исправительное учреждение или нет. Но если вы пообещаете, что будете хорошо себя вести, то обойдемся всего лишь штрафом. Однако в таком случае кто-то из ваших родителей или опекунов должен поручиться за вас. — Миссис Кент произносила эти фразы так часто, что они навязли у нее в зубах. Безысходность и скука чувствовались в том, как ее ручка выводила на листе бумаги вытянутые загогулины. Закончив говорить и оторвав глаза от блокнота, миссис Кент улыбнулась Фрэнсис. — Вы мать одной из этих девочек?

— Нет.

— Тогда опекун? Или уполномоченное законом лицо?

— Нет, но они живут со мной — в нашем доме. И будут ездить отсюда на занятия в школу. — Про Роуз Фрэнсис говорила чистую правду, потому что это обсуждалось, а вот про Джил ей ничего не было известно, и, значит, она лгала.

Миссис Кент задумчиво взгляделась в девушек, которые сидели с недовольными лицами, широко раскинув колени и скрестив лодыжки так, что черные колготки были видны до промежности. Фрэнсис заметила, что Джил вся дрожит. Вот уж не ожидала она, что эта хладнокровная девочка способна на такие переживания.

— Я бы хотела поговорить с вами наедине, вы не возражаете? — спросила у нее миссис Кент. Встав, она обратилась к девочкам: — Мы отойдем на минутку.

Через дверь в глубине кабинета она провела Фрэнсис в маленькую комнатку. Очевидно, это было убежище миссис Кент, где она отдыхала от утомительных и бесплодных встреч вроде этой.

Представительница закона подошла к окну, и Фрэнсис тоже. Внизу находился небольшой садик. Двое влюбленных на лавочке лизали мороженое из одного стаканчика.

Миссис Кент сказала:

— Мне понравилась ваша статья о преступности среди подростков. Я даже вырезала ее.

— Спасибо.

— У меня просто в голове не укладывается, почему они это делают. Можно понять, когда закон нарушают дети бедняков, и у нас выработана особая политика для таких случаев, но ведь сюда попадают не только бедняки, а мальчики и девочки, одетые с иголки, и я просто ничего не понимаю. Один из них заявил мне буквально вчера — и он из приличной школы, заметьте, — что не платит за проезд из принципа. Я спросила, что это за принцип, и парень ответил, что он марксист. И хочет разрушить капитализм, так он сказал.

— Это мне знакомо.

— Можете ли вы гарантировать, что эти девушки не появятся у меня опять через неделю или две?

— Нет, не могу, — сказала Фрэнсис. — Никаких гарантий. Они обе поссорились с родителями и свалились мне на голову. Обе бросили школу, но, кажется, с осени снова будут учиться.

— Понимаю. Приятель моего сына — одноклассник — проводит у нас больше времени, чем у себя дома.

— И говорит, что у него родители — дерьмо?

— Что они его не понимают. Но я тоже его не понимаю. Скажите мне, вам пришлось много материала изучить, чтобы написать ту статью?

— Довольно много.

— Но ответов вы так и не дали.

— Я не знаю ответов. Вот вы можете мне объяснить, почему девочка — я имею в виду темненькую, Роуз Тримбл, — у которой только-только что-то стало налаживаться в жизни, выбрала именно этот момент, чтобы все испортить?

— Я называю это хождение по краю, — сказала миссис Кент. — Им нравится испытывать границы. Подростки изображают из себя канатоходцев, надеясь, что кто-нибудь поймает их, если они упадут. И вы их ловите, правильно?

— Пожалуй.

— Вы не представляете, как часто мне приходится слышать подобные истории.

Две женщины стояли рядом у окна, связанные общим отчаянием.

— Хотела бы я знать, что происходит, — произнесла миссис Кент.

— Вы не одиноки в этом.

Они вернулись в кабинет, и девочки, хихикавшие в их отсутствие, тут же насупились и возобновили враждебное молчание.

Миссис Кент вынесла решение:

— Я даю вам еще один шанс. Миссис Леннокс сказала, что поможет вам. Но на самом деле я превышаю свои полномочия. Надеюсь, вы обе понимаете, что избежали серьезных неприятностей. Вам повезло, что за вас заступилась миссис Леннокс.

Последнее замечание было ошибкой, хотя миссис Кент и не могла этого знать. А Фрэнсис чуть ли не въяве слышала шипение, с которым вскипело в девушках раздражение, по крайней мере в Роуз, при мысли о том, что они кому-то чем-то обязаны.

Когда все трое вышли из здания транспортной полиции, девочки сказали, что пройдутся по магазинам.

— Если я попрошу вас не воровать, вы обратите внимание на мои слова? — спросила Фрэнсис.

Они ушли, даже не взглянув на нее. В тот вечер за ужином Роуз и Джил горделиво сообщили всем, что стащили из магазина два мини-платья — те самые, которые на них были надеты, оба такие короткие, что выбрать их можно было с единственной целью: шокировать окружающих и вызвать неодобрение.

И Сильвия так и сказала, что, по ее мнению, платья слишком короткие. Так она пыталась самоутвердиться, и стоило ей это немалых усилий.

— Слишком короткие для чего? — фыркнула Роуз.

За весь вечер она ни разу не встретилась глазами с Фрэнсис. Можно было подумать, что утреннего кризиса вовсе не было. Джил, однако, пробормотала торопливой скороговоркой, в которой смешались вежливость и агрессия: «Спасибо, Фрэнсис, дико благодарна».

Эндрю сказал девочкам, что им чертовски повезло так легко отделаться, и Джеффри, закоренелый воришка, обвинил обеих в неосторожности, раз они попались.

— В подземке нельзя быть или не быть осторожным, — сказал Дэниел, который никогда не покупал билет в подражание своему идолу, Джеффри. — Все зависит от удачи. Тебя или поймают, или не поймают.

— Тогда не едь на подземке без билета, — отрезал Джеффри. — Особенно если у тебя уже два предупреждения. Это глупо.

Дэниел, получивший публичное порицание от Джеффри, вспыхнул и

сказал, что он «годами» не платит за проезд и попался всего дважды.

— И что случится, когда тебя поймут в третий раз? — наставительно спросил Джеффри.

— Не повезет! — пропел нестройный хор сидящих за столом.

Это случилось в ту самую неделю, когда забеременела Джил.

Вот какие драмы разыгрались на протяжении четырех месяцев, прошедших после Рождества, но сейчас, весенним вечером, все эти мальчики и девочки, действующие лица этих драм, сидели за кухонным столом, словно ничего и не случилось, и обсуждали планы на лето.

Джеффри заявил, что он поедет в Штаты и присоединится к борцам за расовое равенство «на баррикадах». Полезный опыт для человека, собирающегося изучать политику и экономику.

Эндрю сказал, что он останется дома и будет читать.

— Только не читай «Бремя Ричарда Феверела», — предупредила Роуз. — Такая скукотища.

— Обязательно прочитаю, — ответил Эндрю.

Сильвия получила приглашение поехать с Джил в Эксетер («Там классно. Даже лошади есть»), но отказалась, сказав, что, как и Эндрю, останется в доме и посвятит лето чтению.

— Юлия говорит, что мне нужно больше читать. На самом деле я и раньше читала, брала книги у Джонни. Вы не поверите, но я тогда думала, что в книгах пишут только о политике.

Всем было ясно, чем был продиктован отказ Сильвии: она не могла оставить Юлию, потому что была еще слишком хрупка.

Колин сообщил, что, возможно, поедет во Францию собирать виноград или попробует написать роман. Это вызвало всеобщий стон.

— А почему бы ему не попробовать? — спросила Софи, которая всегда защищала Колина — потому что он так сильно ранил ее.

— Да, я мог бы написать книгу про Сент-Джозеф, — фантазировал Колин. — И там бы вывел всех нас.

— Это несправедливо, — тут же отозвалась Роуз. — Ты про меня не сможешь написать, потому что я не учусь в Сент-Джозефе.

— Как верно подмечено, — сказал Эндрю.

— Тогда я могу написать роман только о тебе, — прищурился Колин, глядя на Роуз. — И назову его «Бремя Роуз».

Роуз уставилась на него, потом с подозрением обвела взглядом остальных. Все смотрели на нее с серьезными и даже торжественными лицами. В последнее время коллективное издевательство над Роуз превратилось чуть ли не в спорт, и Фрэнсис постаралась остановить в

зародыше новый раунд, грозящий закончиться слезами. Она спросила:

— А какие у тебя планы, Роуз?

— Поживу у родни Джил. Или автостопом поеду в Девон. А может, здесь останусь, — добавила она, с вызовом взглянув на Фрэнсис.

Девушка знала, что Фрэнсис была бы рада избавиться от нее хотя бы на летние месяцы, но не думала, что это вызвано какими-либо неприятными качествами ее, Роуз, характера. Она не знала, что отталкивает людей. То, что к ней практически все относились с неприязнью, Роуз объясняла общей несправедливостью мира, и при этом ей в голову бы не пришло употребить слово «неприязнь»: нет, к ней просто цепляются по пустякам, из вредности или зависти. Те люди, которые добры, или красивы, или милы, или объединяют в себе все три эти качества, а также люди, которые доверяют другим, никогда не поймут, каково жить в собственном маленьком аду, в котором живут Роуз и ей подобные.

Джеймс сказал, что поедет в летний лагерь, рекомендованный Джонни, где будет изучать порочность капитализма и внутренние противоречия империализма.

Дэниел с тоской в голосе сказал, что ему, скорее всего, придется торчать все лето дома, и Джеффри попытался утешить его:

— Лето когда-нибудь закончится, не переживай.

— Никогда оно не закончится, — ответил Дэниел, весь пылая от горя.

Роланд Шатток объявил, что он берет Софи в пеший поход по Корнуоллу. Заметив, что на некоторых лицах (Фрэнсис, Эндрю) отразились сомнения, он сказал:

— Только не надо впадать в панику, со мной Софи будет в безопасности — кажется, я гей.

Это заявление, которое сейчас было бы встречено равнодушно-вежливыми «Да что вы?» или, в крайнем случае, вздохами со стороны женщин, для того времени было настолько необычным, что граничило с бестактностью. Все смутились.

Софи выкрикнула, что ей все равно, ей просто нравится быть с Роландом. Эндрю сочувственно улыбался; по выражению его лица нетрудно было догадаться, о чем он думает: «Уж я-то не такой».

— Ну хорошо, может, и не гей, — поправился Роланд. — В конце концов, Софи, ты сводишь меня с ума. Но вы не бойтесь, Фрэнсис, я не из тех, кто станет совращать малолетних.

— Мне уже почти шестнадцать, — с негодованием заметила Софи.

— Когда я наблюдал, как ты мечтательно бродила по парку, то думал, что ты гораздо старше.

— Я и есть гораздо старше, — заявила Софи, и это было правдой: к ее неполным шестнадцати годам нужно было прибавить болезнь матери, смерть отца и еще болезненный разрыв с Колином.

— Моя прекрасная мечтательница, — сказал Роланд, склоняясь над ее рукой, чтобы исполнить пародию на тот континентальный поцелуй руки, который совершается в воздухе над перчаткой или, как в данном случае, над костяшками пальцев, едва заметно пахнувшими куриным рагу, что сейчас помешивала Софи, желая помочь Фрэнсис. — Но даже если я попаду в тюрьму, то это будет стоить того.

Что касается Фрэнсис, то она рассчитывала на безмятежные и продуктивные недели.

Когда пришло то, посеявшее раздор письмо, то адрес на нем выглядел следующим образом: « Дж... [7] неразборчиво... Леннокс», и его вскрыла Юлия. Увидев, что послание предназначается Джонни («Уважаемый товарищ Джонни Леннокс»), и прочитав первое предложение («Обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне открыть людям правду»), она прочитала все письмо, потом перечитала его еще раз и, приведя мысли в порядок, позвонила сыну.

— У меня в руках письмо из Израиля от человека по имени Рубен Сакс. Оно адресовано тебе.

— Хороший парень, — сказал Джонни. — Он неизменно придерживается прогрессивной позиции неприсоединившегося марксиста и ратует за мирные отношения с Советским Союзом.

— Ну, как бы там ни было, этот Сакс просит тебя созвать всех друзей и знакомых, чтобы они послушали о его впечатлениях от чехословацкой тюрьмы.

— Должно быть, он попал туда не просто так.

— Его арестовали как сионистского шпиона, подосланного американским империализмом. — Джонни молчал. — Его продержали четыре года, пытали, жестко с ним обращались и наконец выпустили... Я буду тебе благодарна, если ты не станешь говорить сейчас, что ошибки случаются, и произносить тому подобные сентенции.

— Чего ты от меня хочешь, Мутти?

— По-моему, ты должен сделать то, о чем тебя просят. Он пишет, что считает необходимым открыть людям глаза и рассказать о методах, которые использует Советский Союз. Только прошу тебя, не говори, что этот Рубен Сакс — провокатор.

— Боюсь, я не вижу смысла в такой встрече.

— В таком случае я сама соберу людей. Не забывай, Джонни, мне уже

довелось познакомиться со многими твоими, с позволения сказать, соратниками, хотя у меня не было ни малейшего на то желаниа.

— С чего ты взяла, что они придут, если ты их позовешь, Мутти?

— Я всем разошлю копию письма Сакса. Хочешь, я его тебе прочитаю?

— Нет. Я и так отлично знаю, что выдумывают насчет коммунистов.

— Он приезжает в Лондон через две недели, специально ради этого — поговорить с товарищами. И еще он поедет с этой же целью в Париж. Какую дату назначить?

— Какую захочешь.

— Но она должна согласовываться с твоими планами. Вряд ли Рубен Сакс будет доволен, если тебя на встрече не будет.

— Я позвоню тебе, когда определюсь с числом. Но сразу заявляю: я намерен жестко отмежеваться от любой антисоветской пропаганды.

В назначенный вечер большая гостиная выдержала небывалый наплыв гостей. Джонни все-таки позвал некоторых своих коллег и товарищей, а Юлия написала тем людям, которых, по ее мнению, Джонни тоже должен был пригласить, но не пригласил. Тут собрались и те, кто еще состоял в Партии, и те, кто покинул ее после того или иного события: пакта «Молотов — Риббентроп», Берлинского восстания, волнений в Венгрии и Чехословакии, — всего около полусотни человек. Комната была заставлена стульями, и все равно некоторым пришлось стоять вдоль стен. Все собравшиеся называли себя марксистами.

Колин и Эндрю также присутствовали, хотя поначалу жаловались, что все это слишком скучно.

— Зачем ты участвуешь в этом? — спрашивал Колин бабушку. — Политика — это же не совсем твое, или я ошибаюсь?

— Я всего лишь старая глупая женщина, но мне хочется надеяться, что Джонни послушает и хоть что-то поймет.

Сент-джозефские ученики сдавали экзамены. Джеймс уехал в Америку. Девушки из цокольной квартиры демонстративно отправились на дискотеку: политика — сплошное дерьмо. Фрэнсис в душе была согласна с мнением девушек и даже с их формулировкой.

Рубен Сакс ужинал с Юлией, наедине. Он оказался маленьким круглым человечком, доведенным до отчаяния, искренне желающим донести истину до возможно большего количества людей. Сакс без остановки говорил о том, что с ним случилось, и его последующее выступление перед товарищами ничем не отличалось от беседы с Юлией,

которая, сообщив о том, что никогда не была коммунисткой и переубеждать ее ни в чем не требуется, по большей части молчала. По-видимому, Саксу требовалось только одно: чтобы его слушали, пока он говорит.

В Израиле он на протяжении многих лет занимал непростую политическую позицию: он был социалистом, но отрицал коммунизм и призывал всех неприсоединившихся социалистов мира поддерживать мирные отношения с Советским Союзом, что для них означало бы конфронтацию с правительствами у себя на родине. В эпоху холодной войны он как коммунист подвергался критике и гонениям. А Сакс не был создан для жизни изгоя, для непрестанной борьбы, это становилось понятно через пять минут общения с ним: по его горячим, несвязным речам, по умоляющим и сердитым глазам. Через каждые два-три предложения рефреном звучали заверения: «Я ни разу не отступил от своих принципов».

В Прагу он поехал с товарищеским визитом, в рамках «Миссии мира и доброй воли». И там его арестовали как сионистского шпиона американского империализма! В полицейской машине он обратился к своим конвоирам: «Как можете вы, представители страны рабочих, марать руки такими делами?» И когда его стали бить, он продолжал повторять то же самое. Это же он говорил и в тюрьме. Охранники были грубыми тварями, следователи тоже, но Сакс говорил с ними как с цивилизованными людьми. Он знает шесть языков, однако его упорно допрашивали на неизвестном ему языке, румынском, то есть поначалу бедняга даже не знал, в чем его обвиняют, а обвиняли его во всевозможной антисоветской и античехословацкой деятельности. Но: «Я способен к языкам, я должен объяснить...» За время допросов Сакс достаточно поднаторел в румынском, чтобы начать отвечать и даже защищаться. Днями, месяцами, годами его избивали, оскорбляли, надолго лишали еды и сна — словом, мучили всеми излюбленными садистами способами. И так продолжалось четыре года. А Сакс по-прежнему настаивал на своей невинности и разъяснял тюремщикам и следователям, что они своими поступками пятнают честь народа, честь государства рабочих. Далеко не сразу он понял, что его случай не был исключением и что тюрьма полна людьми вроде него. Они перестукивались через стены, рассказывая друг другу о том, как удивлены тем, что оказались за решеткой. И еще они говорили ему: «Идеализм в таких условиях неуместен, товарищ». Пелена упала с его глаз, как он сказал. Примерно тогда же, когда Сакс потерял веру в идеалы Революции и перестал взывать к лучшим чувствам и совести своих мучителей, его освободили. И он понял, что у него по-прежнему есть миссия, только

теперь она заключалась в том, чтобы открыть глаза товарищам, все еще заблуждавшимся относительно сути коммунизма.

Фрэнсис решила, что ей неинтересно слушать «откровения», ставшие для нее очевидными много лет назад, но все же прокралась в гостиную, когда встреча уже началась. Она нашла местечко рядом с человеком, которого она, кажется, когда-то встречала, но вот сосед хорошо ее помнил, судя по тому, как он поздоровался с ней. Джонни устроился в углу и слушал внимательно. Его сыновья сидели рядом с Юлией и на отца не смотрели. В их глазах застыло напряженное, несчастное выражение, которое Фрэнсис замечала у них в последние годы все чаще. Избегая встречаться взглядами с отцом, матери они посылали подбадривающие улыбки — впрочем, слишком жалкие для того, чтобы сойти за иронию, как предполагалось. В этой комнате находились люди, которых они видели на протяжении своего детства и с детьми которых играли и дружили.

Когда Рубен приступил к рассказу («Я приехал в Лондон, чтобы поведать правду о сложившейся ситуации, как велит мне мой долг...»), в комнате стало тихо, так что он не мог пожаловаться на невнимательность аудитории. Но эти лица... это были не те лица, которые видишь обычно на митингах, реагирующие на то, что он сказал, улыбками, кивками, согласием или несогласием. Это были вежливые, ничего не выражающие маски. Часть слушателей были коммунистами и останутся коммунистами на всю жизнь, они никогда не изменятся. Другая часть состояла из бывших коммунистов, которые могли покритиковать Советский Союз, и даже с определенным жаром, однако все они были социалистами и верили в прогресс, в едущий наверх и только наверх эскалатор, конечная цель которого — лучший мир. И СССР настолько тесно ассоциировался у них с этой верой, что стал ее символом. Как выразились десятилетиями позднее люди, так и не вынырнувшие из фантазий: «Советский Союз — наша мать, а матерей не оскорбляют».

Они сидели и слушали человека, который провел четыре года в коммунистической тюрьме, подвергался насилию и жестокости. Эмоции рассказчика зашкаливали, так что иногда Рубен Сакс начинал плакать, поясняя, что это «из-за того, что опорочена и искажена великая мечта человечества», но на самом деле обращался он не к чувствам, а к разуму.

Вот почему лица людей, пришедших «послушать правду», были равнодушными или даже недовольными. Они слушали с таким видом, будто рассказ их не касается. Полтора часа выступал эмиссар «истинного положения дел» и закончил страстным приглашением задавать вопросы, но вопросов не было. И, как будто Сакс ничего и не говорил, собрание

закончилось, люди стали вставать и благодарить Фрэнсис, ошибочно полагая, что хозяйкой дома была она, и кивали Джонни, и незаметно расходились. Реакции на выступление не последовало никакой.

Рубен Сакс сидел и ждал того, ради чего он прилетел в Лондон. Но он с тем же успехом мог рассказывать о характерных чертах Средневековья или даже о быте человека в каменном веке. Он поверить не мог тому, что происходило, что он видел.

Юлия тоже продолжала сидеть и наблюдала за всем с сардонической, немного горькой усмешкой, а Эндрю и Колин были откровенно насмешливы. Джонни ушел вместе с кем-то из товарищей, не глядя ни на сыновей, ни на мать.

Человек рядом с Фрэнсис не двигался с места. Она поняла, что была права, когда не хотела приходить на собрание: к ней с новой силой вернулось давнишнее ощущение несчастья, и теперь ей нужно было прийти в себя.

— Фрэнсис, — сказал сосед, желая привлечь ее внимание, — не очень приятно было слушать все это.

Она улыбнулась туманнее, чем ей того хотелось, но затем увидела его лицо и подумала, что нашелся хоть один человек, который услышал сказанное.

— Я — Гарольд Холман, — представился он. — Вы меня, кажется, не помните? В былые времена мы с Джонни много общались... Я приходил к вам в дом, когда ваши дети были еще маленькими... А сам был тогда женат на Джейн.

— Весь тот период как будто вычеркнут у меня из памяти.

Эндрю и Колин тем временем заметили, что мать разговаривает с кем-то. Гостиная почти опустела, и Юлия выводила глубоко разочарованного вестника правды в свою часть дома.

— Вы позволите мне позвонить вам? — спросил Гарольд.

— Почему нет? Но лучше звоните мне в редакцию. — И Фрэнсис понизила голос — из-за сыновей: — Я буду там завтра после обеда.

— Отлично, — сказал он и ушел.

Все произошло так быстро, что только после его ухода до Фрэнсис стало доходить: Холман заинтересовался ей как женщиной; подобного так долго не случалось, что она перестала ожидать этого. К ней подошел Колин.

— Кто это?

— Один приятель Джонни, еще со старых времен.

— Зачем он будет тебе звонить?

— Не знаю. Может, пригласит на чашку кофе куда-нибудь, Посидим, вспомним былое, — сказала она. Вранье давалась легко, эта ее часть мгновенно пробудилась к жизни.

— Я поехал в школу, — отрывисто сказал Колин, весь в подозрениях, и не попрощался с Фрэнсис, когда отправился на вокзал.

Что касается Эндрю, то он сказал:

— Я поднимусь к Юлии, помогу ей с нашим гостем. Бедняга! — И оставил мать с улыбкой, одновременно заговорщической и предупреждающей, о чем он сам вряд ли догадывался.

Если женщина захлопнула плотно и бесповоротно дверь в любые амурные чувства, как это сделала Фрэнсис, то она не может не удивиться, когда эта дверь вдруг распахнется. Ей понравился Гарольд, это однозначно, если судить по тому, как она пробудилась к жизни, как забились в ней токи, как заиграл красками окружающий мир.

И все же — почему? И почему именно Холман? Да, он захватил ее врасплох. Это случилось так внезапно. И обстоятельства их встречи выбивались из обыденной череды дней. Возможно, что Гарольд был единственным, кто сумел воспринять то, что говорил Рубен Сакс. Хорошее выражение: «воспринять». Можно просидеть полтора часа, слушая информацию, нацеленную на то, чтобы разнести на куски бесценную цитадель твоих убеждений, или хотя бы просто такую, которая не соответствует тому, что уже укоренилось в твоём мозгу, и тогда ты просто не воспримешь ее. Можно подвести лошадь к воде...

В ту ночь Фрэнсис спала плохо — потому, что позволила себе погрузиться в мечтания, как влюбленная девчонка.

На следующий день Гарольд позвонил и пригласил ее съездить вместе в выходные в небольшой городок в Уорвикшире. Фрэнсис согласилась с легкостью, словно подобные приглашения были для нее обычным делом. И опять она удивлялась: что такого было в Гарольде? Как он сумел в один миг подобрать ключ к замку на давным-давно запертой двери? Холман был плотным, улыбающимся, светловолосым мужчиной, и на мир он смотрел со спокойной, оценивающей усмешкой. Работал он, кажется, в каком-то образовательном учреждении. Или занимался профсоюзной деятельностью?

Ожидалось, что к вечеру пятницы в доме соберется обычный ассортимент «детворы», и Фрэнсис поднялась к Юлии, чтобы сообщить о своем желании взять отпуск на выходные, она так и сказала: «отпуск на два выходных дня». Губы Юлии будто бы дрогнули — это улыбка? И вроде улыбка добрая...

— Бедная Фрэнсис, — сказала Юлия к удивлению своей невестки. — Вы ведете такую скучную жизнь.

— Скучную?

— Мне так кажется. А молодежь сможет обойтись без вас один разок.

Когда Фрэнсис выходила, то слышалось едва различимое:

— Возвращайтесь к нам, Фрэнсис.

Эти слова так ее поразили, что она остановилась и обернулась, но Юлия уже снова взяла свою книгу.

Возвращайтесь к нам... о, как тонко Юлия чувствует, даже страшновато становится. Потому что в душе Фрэнсис закипал бунт против ее жизни, против томительного бремени забот, и она все больше погружалась в лихорадочные фантазии, где могла забыть, забыться, потеряться и — никогда больше не вернуться в дом Юлии.

Но были еще сыновья, и тут все обстояло гораздо серьезнее. На известие о том, что мать уедет на выходные, они оба прореагировали так, будто Фрэнсис собиралась путешествовать полгода.

Колин, говоря с ней из школы по телефону, спросил:

— Куда ты едешь? С кем?

— С одним знакомым, — сказала Фрэнсис, и ответом ей было полное подозрений молчание.

А Эндрю улыбнулся самой бледной своей улыбкой, выдававшей всю глубину страха. Он не знал, как выразительно его лицо.

В жизни сыновей Фрэнсис являлась единственной постоянной составляющей, и бесполезно говорить, что оба они уже достаточно взрослые, чтобы позволить матери немного свободы. В каком возрасте такие дети, лишенные с рождения стабильного окружения, перестают нуждаться в том, чтобы рядом всегда был родной человек? И вот сыновья узнают, что их мать уезжает куда-то на два дня с мужчиной! Если бы она хотя бы раз сделала нечто подобное раньше... но нет, Фрэнсис неизменно подчинялась их потребностям, их обстоятельствам, как будто пыталась компенсировать то, что не дал мальчишкам Джонни. «Как будто»? Она в самом деле пыталась заменить им отсутствующего отца.

В субботу Фрэнсис на цыпочках вышла из дома, опасаясь, что ее вдруг услышит Эндрю, который спал очень чутко, да и Колин мог решить, что сегодня неплохо проснуться пораньше, а не в обычные для него десять часов. Боясь увидеть в окнах лица сыновей, Фрэнсис все же рискнула окинуть взглядом фасад — никого. Было семь утра прекрасного летнего дня, и замечательное настроение, несмотря на чувство вины, грозило

вознести ее в эмпиреи безответственности, и вот появился он, ее кавалер, ее поклонник, улыбающийся, очевидно довольный тем, что предстало его взору, а предстала ему блондинка (Фрэнсис сходила накануне в парикмахерскую) в зеленом льняном платье, которая уселась рядом с ним и повернулась к нему, чтобы разделить радость предвкушения от их приключения.

В комфорте автомобиля они миновали пригороды Лондона и оказались в сельской местности, и Фрэнсис наслаждалась его наслаждением ею и своим удовольствием от него, этого привлекательного мужчины с песочными волосами, но в сознании у нее не прекращалась борьба с мыслями о беспомощно-горестных лицах сыновей.

«Уважаемая тетушка Вера, я разведена и воспитываю двух сыновей. Мне хочется завести роман, но я боюсь огорчить моих мальчиков. Они следят за мной как ястребы. Что мне делать? Я бы хотела получить от жизни хоть немного радости. Разве у меня нет никаких прав?»

Ну, если она, Фрэнсис, собралась получить «от жизни немного радости», то надо отбросить все и радоваться! И она решительно выбросила мысли о сыновьях из головы. Или так, или скажи своему спутнику: «Поворачиваем и едем обратно, я ошиблась».

Они остановились у реки и позавтракали, позже отдохнули немного в городке, где им понравился парк, поехали дальше, зашли в приглянувшийся паб и пообедали в еще одном парке, пока вокруг них прыгали в пыли воробьи.

Гарольд спросил в какой-то момент:

— Тебе все еще трудно поверить?

— Да. — И она проглотила чуть не вырвавшееся следом признание: «Это все из мальчиков, понимаешь».

— Я так и думал. Что касается меня, то у меня никаких трудностей с этим нет.

В его смехе звучало столько триумфа, что Фрэнсис не могла не приглядеться к Гарольду повнимательнее. Было во всем этом что-то такое, чего она не понимала, но не важно. Она отдалась безоглядному счастью. До чего же скучна ее жизнь — Юлия была права.

Они выбирали проселочные дороги, избегая оживленных трасс, заблудились, петляли, и все время их взгляды и улыбки обещали: сегодня

вечером мы будем лежать в объятиях друг друга. День простоял теплый, в шелковисто-золотой дымке, и ближе к вечеру они очутились в уютном саду, на берегу реки, в компании черных дроздов и большого дружелюбного пса, который сидел возле них до тех пор, пока не получил по куску пирога от каждого, и только тогда побрел прочь, медленно помахивая хвостом.

— Вот толстая псина, — сказал Гарольд Холман, — и я превращусь в такую же после этого уикенда.

Нескрываемая радость на его дородном лице, явно не только от вкусного плотного обеда, заставила Фрэнсис в конце концов спросить:

— И чем это ты так доволен?

Он тут же понял и своим ответом отменил нечаянную агрессивность вопроса, о которой Фрэнсис тут же пожалела, поскольку она противоречила лучистому довольству в ней самой.

— О да, я очень доволен, ты права, абсолютно права, — сказал он и посмотрел на нее со смехом.

Фрэнсис подумала, что Гарольд похож на вальяжного льва, который лежит, скрестив перед собой мощные лапы и подняв величественную морду в медленном, ленивом зевке.

— Я расскажу тебе, расскажу тебе все. Но сначала я хочу показать тебе одно место, пока еще светло.

И они снова отправились в путь, в глубь Уорвикшира. Гарольд остановил машину перед гостиницей и вышел, чтобы открыть Фрэнсис дверь.

— Пойдем, взглянешь на это. — С другой стороны дороги виднелись деревья, надгробия, кусты, старый тис. — Я так хотел показать тебе... нет, ты ошибаешься. Это совсем не то, что ты подумала. Я не привозил сюда раньше другую женщину, просто был здесь несколько месяцев назад по делу, увидел все и подумал: это волшебное место. Но был я тогда один.

Рука об руку они пересекли улицу и остановились посреди кладбища, где тис был чуть ли не выше церковного шпиля. Опустились легкие летние сумерки, яркая луна выкатывалась на потемневшее небо. Бледные надгробия клонились в стороны, и казалось, что они хотят что-то сказать забредшим сюда людям. Дыхание теплого летнего воздуха, смешанное с языками прохладного тумана, окутало их, и они обнялись и стали целоваться, а потом просто стояли, тесно прижавшись друг к другу, и прислушивались к посланиям своих тел. Наконец давление неразделенных эмоций стало невыносимым, что заставило их отшагнуть друг от друга, хотя руки они не разняли, и Гарольд произнес:

— Да.

Ему не нужно было объяснять Фрэнсис причину сожаления, прозвучавшего в этом коротком слове. Она думала: «Я могла бы выйти замуж за кого-нибудь вроде него, а не за...»

Юлия называла сына имбецилом. Поскольку Джонни не позвонил ей после того странного собрания, созванного, «чтобы все смогли узнать правду», Юлия сама набрала его номер с желанием узнать, что он думает о Саксе, а вернее — что он готов сказать.

— Ну? — спросила она. — По-моему, выступление этого израильянина должно было заставить тебя задуматься.

— Ты должна научиться оценивать ситуацию в долгосрочной перспективе, Мутти.

— Имбецил.

На кладбище сгустился мрак, а небо просветлело, и могильные камни засияли ярко и потустороннее; Гарольд и Фрэнсис прислонились к стволу тиса и смотрели из его тени, как набирает силу лунный свет. Потом они погуляли между могилами — все старинные, всем более века — и вскоре оказались в номере гостиницы, зарегистрировавшись как Гарольд и Фрэнсис Холман.

У нее в голове все крутилось: «А почему бы и нет, мы можем пожениться, мы можем быть счастливы, ведь другие люди женятся и живут счастливо», однако мысль о бремени и сложности дома Юлии не позволяла развить эту сумасшедшую идею, и в конце концов Фрэнсис отбросила ее. Она не станет сейчас пытаться разрешить неразрешимое и просто будет счастлива хотя бы одну ночь. И она была счастлива, они оба были счастливы.

— Созданы друг для друга, — выдохнул Гарольд ей в ухо и потом повторил громко, ликующе.

Они лежали бок о бок, сплетя конечности, пока за окном краткая ночь спешила навстречу рассвету, который сегодня не встретит препятствий в виде облаков. Луна серебрила оконные рамы.

— Я влюблен в тебя уже много лет, — сказал Гарольд. — Много лет. С тех пор, как впервые увидел тебя с двумя вашими малышами. Жена Джонни. Ты не знаешь, как часто я мечтал о том, чтобы позвонить тебе и попросить выскользнуть за угол, в кафе. Но ты была замужем за Джонни, а я боготворил его.

Настроение Фрэнсис грозило рухнуть в пропасть, и ей захотелось, чтобы Гарольд не продолжал. Но она видела: ему это необходимо, это говорит в нем печальная правда.

— Должно быть, это было в той ужасной квартирке в Ноттинг-хилле.

— Ты считаешь ее ужасной? Но тогда благополучный быт не был нашей целью. — И он рассмеялся громко, от избытка чувств, и сказал: — О Фрэнсис, представь, что у тебя была мечта, которая казалась тебе несбыточной, и вот она сбылась. Для меня сегодняшняя ночь — это такая мечта.

Фрэнсис пыталась вспомнить, какой она была тогда, в те годы: располневшая, задавленная тревогами, с двумя маленькими детьми, которые вечно цеплялись за мать, залезали на нее, сражались за место на ее коленях.

— И что ты во мне видел, хотела бы я знать?

Гарольд помолчал.

— Всё. Джонни — тогда он был для меня героем. А ты была его женой. Вы были такой удивительной парой, я завидовал вам обоим и завидовал Джонни. И ваши мальчики — у меня ведь еще не было своих детей. Я хотел быть как ты.

— Как Джонни.

— Это трудно объяснить. Вы были как... святое семейство. — Гарольд засмеялся и взболтнул в воздухе руками и ногами, а потом сел на краю кровати, потянувшись в молочно-лунном свете, и сказал: — Ты была прекрасна. Невозмутимая... безмятежная... ничто не могло нарушить твой покой. А ведь я понимал, что Джонни не был самым легким в... Я, конечно, не критикую его.

— Отчего же? Я-то его критикую. — Неужели она решится разрушить его мечту? Нет, невозможно. Но: — Ты догадывался, как сильно я ненавидела Джонни в то время?

— Ну, все мы порой испытываем ненависть к самым близким нам людям. Взять хотя бы Джейн... иногда она была невыносима.

— Джонни был невыносим постоянно.

— Но зато какой герой!

Фрэнсис сидела, обхватив Гарольда одной рукой за шею, чтобы быть как можно ближе к бьющей из него жизнеутверждающей энергии. Грудью она касалась его плеча. Этой ночью собственное тело нравилось ей как никогда раньше, потому что оно нравилось ему. Полные тяжелые груди, и ее руки — да, она согласна, они прекрасны.

— Когда я увидел в комнате Джонни, то подумал, а вместе ли вы до сих пор или...

— Боже праведный, нет! — И Фрэнсис отодвинулась от него — телом, душой и даже симпатией, но всего лишь на один миг. — Как тебе могло прийти такое в голову? — Хотя, конечно, откуда Гарольду знать... —

Ладно, оставим Джонни, — сказала она. — Давай, иди ко мне поближе. — Она легла, и он вернулся на кровать, лег рядом, улыбаясь.

— За всю жизнь я никем не восторгался больше, чем этим человеком. Для меня он был кумиром, даже богом. Товарищ Джонни. Он был гораздо старше меня... — Гарольд приподнял голову, чтобы взглянуть на Фрэнсис.

— То есть и я гораздо старше тебя.

— Нет, сегодня ночью это не так. Когда я впервые встретил его — на каком-то митинге это было, в моей жизни все шло наперекосяк. Я был совсем еще зеленым мальчишкой. Завалил экзамены. Мои родители сказали: «Если ты коммунист, то чтобы духу твоего в нашем доме не было». А Джонни был добр ко мне. Стал мне вместо отца. И я решил оправдать его доверие.

Фрэнсис пришлось напрячь мышцы горла, но сдерживала она смех или слезы, не было ясно.

— Я нашел комнату в доме одного из товарищей. Снова сдал экзамены. Некоторое время работал учителем; вступил в профсоюз... но смысл не в этом, а в том, что все это произошло только благодаря Джонни.

— Ну, что я могу на это сказать? В этом смысле он молодец. Но и ты молодец тоже.

— Если бы я тогда знал, что когда-нибудь смогу оказаться с тобой в одной постели, обнять тебя, то, наверное, сошел бы с ума от радости. Жена Джонни в моих объятиях!

Они снова занялись любовью. Да, то была любовь, дружеская, даже немного эротическая, но рядом булькал смех — неслышный для него, но отчетливо различаемый ею.

Они заснули, под утро проснулись. Должно быть, Гарольду привиделся дурной сон, потому что он пробудился разом и лежал на спине, обнимая Фрэнсис, но словно говоря этим объятьем: «Подожди». Наконец он сказал тоскливо:

— Тяжелый удар это был, ну, то, что рассказывал Сакс.

Фрэнсис решила оставить его слова без ответа.

— Признай, для тебя это тоже было шоком.

Тут уж она молчать не могла.

— А в газетах? — проговорила она. — Сколько было газетных статей? На телевидении. По радио. Чистки, лагеря. ГУЛАГ. Убийства. Уже столько лет.

Воцарилось долгое молчание.

— Да, — сказал Гарольд наконец, — только я не верил ничему. То есть кое-чему, конечно, верил... но чтобы в таких масштабах — то, что Сакс

рассказал нам.

— Как можно было не верить?

— Наверное, я просто не хотел.

— Вот именно. — И потом у нее невольно вырвалось: — А ведь спорю на что угодно, мы не слышали еще и половины всего.

— Почему ты так говоришь? Ты как будто довольна собой.

— Возможно, что и так. Я оказалась права, хотя много лет мои слова отметались как бессвязный лепет. Отмечаются до сих пор, — сказала Фрэнсис.

Теперь была его очередь прийти в уныние. Но она продолжала:

— Я не соглашалась с Джонни. Только в самые первые дни, а потом...

Она не договорила то, что уже висело на кончике языка: «Когда Джонни вернулся из Испании». Ведь он не ездил туда. И она не сказала другое: «Когда я увидела, какой он лживый лицемер». Потому что лжецом его назвать нельзя. Джонни верил каждому своему слову.

— Меня увлекла вся эта романтика. Мне было девятнадцать. Но долго это продлиться не могло.

Гарольду не нравилось то, что он слышал, очень не нравилось, и Фрэнсис замолчала, прижалась к нему. Его боль причиняла боль и ей, они уже настолько сблизились.

Они долго лежали в полудреме. За окном уже был в полном разгаре жаркий день, с шумом проезжали машины.

— Выходит, что все было напрасно, — сказал Гарольд наконец. — Все было... ложь и болтовня. — В его голосе слышались слезы. — Бессмысленно. Столько усилий... столько людей погибло ни за что. Хороших людей. Никто не убедит меня, что они не были хорошими. — Пауза. — Не хочу делать на этом особый акцент, но ради Партии мне пришлось принести такие жертвы! И все понапрасну.

— За исключением того, что товарищ Джонни все же вдохновил тебя на великие дела.

— Не издевайся.

— А я не издеваюсь. Я хочу поставить Джонни хотя бы один плюсики. По крайней мере для тебя он сумел сделать что-то полезное.

— Я пока еще не сумел все осознать. Даже не начал.

И поэтому они лежали рядом на кровати, пока Гарольд прощался со своими мечтами — с такими дорогими ему, заветными мечтами. Фрэнсис думала: «Может, я и вправду очень эгоистична, как утверждает Джонни. Гарольд сейчас думает о золотом будущем человечества, отложенном только что на неопределенное время, а я думаю только о том, что было

вычеркнуто из моей жизни». Боль от осознания потери была невыносима. Сладкое теплое тело мужчины, спящего в ее объятиях, его губы на ее щеке, нежная увесистость мужских яичек, восхитительная гладкость...

— Пойдем позавтракаем, — предложил Гарольд. — А то я боюсь, что расплачусь.

Они в молчании съели завтрак в маленькой гостиничной столовой и вышли на улицу. Кладбище в дневном свете выглядело заброшенным и непривлекательным. Чудо прошлой ночи могло с минуты на минуту превратиться в сентиментальный пафос, если они не покинут это место немедленно. И они уехали. Днем, лежа на травянистом холме, Гарольд сказал Фрэнсис, что место, где они сейчас находятся, точка посреди мягко катящихся волн пейзажа, является самой серединой Англии, ее сердцем. И потом расплакался (Фрэнсис понимала его всей душой), этот крупный мужчина расплакался, уткнувшись лицом в руку, на траве, он плакал об утраченной мечте, а она думала: «Мы так подходим друг другу, но вместе больше не будем». Это было не начало чего-то, а конец — для него. И для нее тоже: «Что я делаю здесь, в сердце Англии, с мужчиной, который рыдает не обо мне?»

В конце дня Фрэнсис попросила Гарольда высадить ее где-нибудь, откуда она могла бы взять такси, потому что появиться вместе с ним дома, перед ревнивыми, голодными глазами, она не могла. Они поцеловались, оба полные сожалений. Он посадил ее в такси, и они разъехались в разные стороны.

Фрэнсис легко взбежала по лестнице, переполняемая энергией от недавних занятий любовью, и пошла прямо в ванную, боясь, что от нее пахнет сексом. Потом она отправилась к Юлии и постучалась, и встала в дверях, ожидая пристальной инспекции — которая и состоялась. Потом, поскольку инспекция эта была не враждебной, а доброжелательной, Фрэнсис села и молча улыбнулась свекрови, и губы ее в улыбке подрагивали.

— Да, это все сложно, — сказала Юлия. По ее тону казалось, что она действительно знала, как все сложно. Она подошла к буфету, где хранились разнообразные интересные бутылки, налила коньку и принесла бокал невестке.

— От меня будет пахнуть алкоголем, — сказала Фрэнсис.

— Ничего страшного, — возразила Юлия и зажгла огонь под своей маленькой кофеваркой.

Она довольно долго стояла возле нее, спиной к Фрэнсис, которая понимала, что Юлия поступает так из соображений такта, догадываясь, что

невестке нужно поплакать. Потом рядом с рюмкой коньяка появилась чашка крепкого черного кофе.

Открылась дверь — без всякого стука: вбежала Сильвия.

— О Фрэнсис! — вскрикнула она обрадованно. — Я не знала, что вы здесь. Юлия, я не знала, что она здесь! — Она стояла нерешительная, улыбающаяся, потом бросилась к Фрэнсис и обняла ее двумя руками, прижалась щекой к волосам. — О Фрэнсис, мы не знали, где вы. Вы уехали куда-то. Оставили нас. Мы подумали, что вы так устали от всех нас, что решили все бросить и уехать.

— Ну что за глупости, я никогда бы так не сделала, — сказала Фрэнсис.

— Да, — проговорила Юлия. — Я думаю, что место Фрэнсис здесь.

Лето тянулось и расползалось; оно дышало медленно, еще медленнее, и время как будто растеклось вокруг мелкими теплыми озерцами, в которых так хорошо плескаться и плавать. Все это закончится, когда вернется «детвора». Те, что не уезжали, почти не занимали в большом доме места. Фрэнсис иногда видела через площадку фигурку Сильвии, растянувшейся на кровати с книгой (Сильвия отрывалась и махала рукой: «О Фрэнсис, это такая чудесная книга!») или бегущей по лестнице к Юлии. Или можно было видеть их обеих, идущих по улице в магазин, — Юлия со своей юной подружкой Сильвией. Эндрю тоже в основном лежал на кровати и читал. Фрэнсис (само собой, чувствуя себя бесконечно виноватой) стучалась к нему, слышала: «Войдите», заходила и: нет, в комнате не было дыма.

— Ну что же ты, мама, — тянул он, потому что все в нем тоже замедлилось, как и ее собственные пульсы и токи, — совсем мне не доверяешь. Я уже не тот курильщик, что несется навстречу своей гибели.

Фрэнсис не готовила. Она иногда встречала на кухне Эндрю, который сооружал себе бутерброд, и он предлагал сделать бутерброд и для нее. Или наоборот, она делала ему. Сын с матерью сидели на противоположных концах большого стола и созерцали плоды лета: помидоры из киприотских магазинов в Кэмден-тауне, лопающиеся от настоящего солнечного света, бугристые и кособокие, но когда нож взрезал их, то пряный и варварский аромат заполнял всю кухню. Они ели помидоры с греческим хлебом и оливками и иногда разговаривали. Эндрю как-то поделился своими планами — ему пришла в голову мысль изучать закон.

— А ты определился, что именно тебя интересует?

— Думаю, я пойду на отделение международного права. Столкновение

наций и все такое. Но должен признать, что с не меньшим удовольствием провел бы всю жизнь на диване с книгой.

— И иногда забегая на кухню поесть помидоров.

— Юлия говорит, что ее дядя всю жизнь сидел в своей библиотеке и читал. И, должно быть, писал распоряжения банку о том, какие акции покупать.

— Интересно, сколько у Юлии денег?

— Спрошу у нее при случае.

Летний покой был нарушен одним неприятным происшествием. Однажды вечером, когда Фрэнсис уже легла, Эндрю открыл дверь двум парням-французам. Те объяснили, что они друзья Колина и что он сказал им, что по этому адресу они смогут найти ночлег. Один из них отлично говорил по-английски. Эндрю сносно понимал французский. Они просидели на кухне допоздна, попивая вино и поедая все, что сумели найти, и все это время с обеих сторон шла игра: каждый хотел попрактиковаться в языке другого. Тот француз, что не знал английского, в основном молчал и улыбался. Выяснилось, что с Колином они вместе трудились на сборе винограда, потом Колин ездил к ним в гости, в Дордонь, а затем отправился автостопом в Испанию. Он просил французских парней передать семье привет.

Ночевать они пошли в комнату Колина, расстелив на полу спальники, чтобы не утруждать хозяев с постельным бельем для кровати. Нельзя было и представить более воспитанных и приятных гостей, чем два эти брата-француза, но утром они по ошибке оказались в ванной комнате Юлии. Там оба изучали содержимое шкафчиков, жаловались на отсутствие душа, восхищались обилием горячей воды, пробовали соль для ванн и фиалковое мыло и производили при этом много шума. Было около восьми утра; гости планировали пораньше отправиться в путь. Юлия услышала плеск воды и юные голоса, постучала в дверь — никто не ответил, постучалась снова. Они ее не слышали. Тогда она открыла дверь и увидела двух обнаженных юношей: один растянулся в ее ванне и играет с мыльными пузырями, второй бреется. Последовал взрыв восклицаний, соответствующих ситуации, причем самым громким и частым словом было «*merde*».

[8] Застигнутые посреди утреннего туалета, гости увидели перед собой старую женщину с бигуди на голове, в розовом шифоновом пеньюаре; хозяйка дома обращалась к ним на французском, которому учили ее гувернантки пятьдесят лет назад. Один юноша выскочил из ванны, забыв прикрыться хотя бы полотенцем, а второй стоял, разинув рот, с бритвой в руке. Поскольку было очевидно, что оба незваных гостя слишком

ошеломлены, чтобы ответить ей, Юлия удалилась, они собрали свои вещи и скрылись двумя этажами ниже. Эндрю выслушал рассказ братьев и рассмеялся.

— Но откуда она выкопала свой французский? — спрашивали путешественники.

— Должно быть, остался с прошлого века.

— Нет, со времен Людовика Четырнадцатого.

Так они соревновались в остроумии, пока пили кофе, а потом братья отправились искать попутку, которая подвезла бы их в сторону Девона — в шестидесятых годах это было самое классное место после Свингующего Лондона.

Но Фрэнсис было отнюдь не весело. Она пошла к Юлии и застала старую даму не в гостиной, безупречно одетую и причесанную, а на постели и в слезах. Увидев невестку, она поднялась, но слегка пошатывалась. Руки Фрэнсис в очередной раз проявили своеволие, только теперь они не висели, а обняли Юлию, и то, что раньше казалось невозможным, теперь воспринималось как самый естественный жест в мире.

Хрупкая старушка положила голову на плечо более молодой женщины и сказала:

— Я не понимаю. Я сегодня узнала, что вообще ничего не понимаю.

И она завывала — вот уж чего Фрэнсис меньше всего ожидала от Юлии — и вырвалась из рук невестки, упала на свою кровать. И тогда Фрэнсис тоже прилегла рядом со свекровью и обняла ее; та всхлипывала и рыдала. Очевидно, дело было не только в оскверненной ванной комнате. Когда Юлия немного успокоилась, то выговорила:

— Вы впускаете в дом всех подряд.

И Фрэнсис ответила:

— Но Колин тоже останавливался в их доме.

Юлия возразила:

— Любой может так сказать. И в следующий раз на пороге появятся оборванцы из Америки и заявят, что они друзья Джеффри.

— Да, я не удивлюсь, если так и случится. Юлия, но разве вам не нравится то, как эти мальчишки и девчонки просто выходят из дома и бродят по миру — как трубадуры...

Но сравнение, должно быть, оказалось не совсем удачным, потому что Юлия сердито рассмеялась и сказала:

— Уверена, что трубадуры были воспитаны лучше. — И потом она снова заплакала и повторила: — Вы впускаете в дом всех подряд.

Фрэнсис предложила позвать Вильгельма Штайна, и Юлия согласилась.

Тем временем пришла миссис Филби и захотела узнать, совсем как в сказке про медведей:

— Кто спал в комнате Колина?

Ей рассказали. Она была из той же эпохи, что и Юлия, такая же элегантная и прямая, в бедных опрятных одеждах: черной шляпке, черной юбке и блузке; на лице застыло выражение, ясно говорившее: «Не желаю иметь ничего общего с этим миром, который появился и существует без моего участия».

— Да они просто свиньи, — сказала миссис Филби.

Эндрю взбежал в комнату Колина и обнаружил, что под кровать закатился апельсин и на полу рассыпаны крошки от круассанов. Если даже столь умеренное «свинство» привело миссис Филби в негодование (но неужели она до сих пор не привыкла?), то что она скажет, когда увидит ванную комнату, которую Юлия и Сильвия обычно оставляли практически в идеальном порядке?

— Господи! — воскликнул Эндрю и помчался проверить, что сделали с ванной французы. Он собрал раскиданные полотенца, расставил как мог флакончики и баночки и проинформировал миссис Филби, что она теперь может войти, там осталась только вода на полу.

Эндрю и Фрэнсис сидели за столом, когда появился Вильгельм Штайн, доктор философии и эксперт по антикварным книгам. Он сразу поднялся к Юлии, не заглядывая в кухню, потом спустился и встал в дверях с улыбкой, несколько церемонный, обаятельный пожилой джентльмен — такой же безупречный, как Юлия.

— Не думаю, что вам будет просто понять, какое воспитание получила Юлия. Теперь она стала его жертвой — да, именно жертвой, потому что, по моему мнению, именно воспитание сделало ее в значительной степени не приспособленной к тому миру, который ее окружает.

Он, как и Юлия, говорил на идеальном английском, и Эндрю сравнивал его хрестоматийные обороты речи с эмоциональным, обрывочным, богатым на восклицания французским языком, который слушал вчера полночи.

— Прошу вас, присаживайтесь, доктор Штайн, — сказала Фрэнсис.

— Разве мы знакомы не достаточно давно для того, чтобы называть друг друга Фрэнсис и Вильгельм? Думаю, что достаточно, Фрэнсис. Но я не присяду, поскольку должен привезти врача. Я на машине. — Он повернулся, чтобы уходить, но задержался, чувствуя, по-видимому, что не

сумел в полной мере донести свою мысль.

— Молодые люди в этом доме — я исключаю вас, Эндрю, — порой ведут себя весьма...

— Грубо, — подсказал Эндрю. — Шокирующие типы.

Он говорил с преувеличенной суровостью, и доктор Штайн легким кивком и улыбкой дал понять, что он принимает игру Эндрю.

— Должен сказать, что в ваши годы я тоже был шокирующим типом. Я был... беспутным. И грубым. — От воспоминаний Штайн поморщился. — Возможно, мой нынешний облик заставит вас сомневаться в этом. — И он снова улыбнулся, забавляясь тем, какой контраст являла нарисованная им картина и он сам, стоящий в раме дверного проема с одной рукой на серебряном набалдашнике трости, вторая вытянута вперед в призыве: «Да, смотрите на меня». — Да, в моем нынешнем облике трудно разглядеть то, что... Я вращался в среде берлинских коммунистов со всеми вытекающими отсюда последствиями. Со всеми вытекающими последствиями, — подчеркнул он. — Да, так и было. — Он вздохнул. — Мне представляется, что никто не станет спорить с тем, что немцы склонны впадать в крайности. Если только сами немцы возразят! Ну, во всяком случае Юлия фон Арне была одной крайностью, а я другой. Иногда я развлекаюсь, представляя, что бы я двадцатилетний сказал о юной Юлии. Мы вместе с ней над этим смеемся. Что ж, ключ от дома у меня имеется, и я сам открою дверь, когда привезу врача.

В августе в дом пришел некий Джейк Миллер, который прочитал шуточный очерк Фрэнсис, посвященный ставшим необыкновенно популярными в те годы восточным учениям: йога, «Книга перемен» Махариши и тому подобное. Главный редактор предложил в период летнего затишья напечатать что-нибудь забавное, а в результате в «Дефендер» позвонил Джейк Миллер и попросил Фрэнсис о личной встрече. Любопытство сказало за нее «да», и вот он оказался в гостиной — крупный, безостановочно улыбающийся мужчина с дарами — мистическими книгами. Улыбки безграничной любви, мира, доброй воли вскоре станут обязательным атрибутом всякого хорошего человека — или следует сказать «всякого молодого и хорошего человека»? — и Джек был предвестником, хотя и не молодым: разменял уже пятый десяток. Он прибыл в Лондон из Америки, чтобы протестовать против войны во Вьетнаме. Фрэнсис внутренне смирилась с тем, что ей предстоит выслушать лекцию, но Миллера привела к ней не политика. Он видел в ней единомышленника в области мистического опыта.

— Но я написала очерк в шутку, — возражала Фрэнсис, на что он улыбался и говорил:

— Я-то понимаю, что вы были вынуждены скрывать свои мысли за иронией, а на самом деле вы таким образом общались с теми, кто вас понимает.

Джейк также утверждал, что у него масса различных способностей, например, что он умеет взглядом разгонять облака. (Как ни странно, но когда Фрэнсис подошла к окну, то увидела, что быстро бегущие облака действительно истончаются и исчезают.)

— Это просто, — говорил Миллер, — даже для неразвитых людей.

Еще он понимает язык птиц, рассказывал американец, и общается с близкими по духу людьми при помощи экстрасенсорики. Фрэнсис хотела было объяснить, мол, из этого следует, что она не является близкой ему по духу, ведь Джейку пришлось звонить ей по телефону, вместо того чтобы просто направить мысленное послание, однако их беседа — которая и забавляла ее, и раздражала — была прервана появлением Сильвии. Она пришла с каким-то сообщением от Юлии, но Фрэнсис так и не суждено было получить его. На Сильвии был надет жакетик с рисунком в виде знаков зодиака, купленный только потому, что подходил ей по размеру (она была такой тщедушной, что найти одежду на нее было очень трудно; этот жакет ей купили в детском отделе). Улыбающееся лицо окаймляли два жидких хвостика. Его и ее улыбка встретились и слились, и через миг Сильвия весело болтала с этим новым добрым и приветливым человеком, а он просвещал девушку относительно ее гороскопа, гадания по «Ицзину» и рассказывал об ее вероятной ауре. Вскоре любезный американец уже сидел на полу и бросал для нее стебли тысячелистника, и прочтение результатов гадания произвели на Сильвию такое впечатление, что она пообещала Миллеру купить и изучить всю необходимую литературу. Перспективы и возможности, о которых она раньше и не подозревала, заполнили всю ее сущность, словно до этого там было пусто, и эта девочка, которая почти никогда не покидала дом без Юлии, теперь уверенно вышла в сопровождении Джейка из Иллинойса, чтобы купить просветительские трактаты. Вернулась Сильвия, по ее меркам, очень поздно. В одиннадцатом часу она взбежала по лестнице к Юлии, которая встретила ее с протянутыми для объятий руками, но руки упали и сама Юлия тяжело опустилась на стул при виде девочки, охваченной таким возбуждением, на которое, казалось, ее организм в принципе не был способен. Юлия слушала, как тараторит Сильвия, в молчании, и это молчание стало наконец таким тяжелым и осуждающим, что девушка остановилась.

— Сильвия, дитя мое, — сказала Юлия, — и откуда же ты набралась всей этой ерунды?

— Но, Юлия, это не ерунда, правда. Я объясню, послушайте...

— Это полная ерунда, — отрезала Юлия, поднимаясь и поворачиваясь к девочке спиной. Она собиралась сварить кофе.

Но Сильвия этого не знала. Она увидела только холодную, отвергающую ее спину и разрыдалась. Не знала бедняжка и того, что глаза старой дамы тоже полны слез. Юлия боролась с собой, чтобы не заплакать. Как же так, почему это дитя, ее дитя, предало ее? — вот что она чувствовала. Между ними двумя, между старой женщиной и ее юной подопечной, ребенком, которому она отдала все свое сердце без остатка, причем впервые в жизни (да, так казалось теперь Юлии), встали подозрения и обида.

— Но, Юлия... Но, Юлия...

Юлия не оборачивалась, и Сильвия убежала вниз, бросилась на свою кровать и рыдала так громко, что Эндрю услышал и пришел к ней. Она рассказала ему, что произошло, и он сказал:

— Хватит плакать. Все это и выеденного яйца не стоит. Я пойду и поговорю с бабушкой.

Он так и сделал.

— Кто вообще такой этот человек? Почему Фрэнсис впустила его?

— Ты говоришь так, будто он вор или шарлатан.

— Он и есть шарлатан. Бедняжке Сильвии совсем голову задурил.

— Знаешь, бабушка, все эти вещи — йога и все такое, — они сейчас повсюду. Ты ведешь несколько замкнутый образ жизни, а то бы тоже слышала о них. — Эндрю говорил с нарочитой веселостью, хотя удрученное лицо Юлии встревожило его. Он отлично понимал, какова истинная причина ее горя, но решил не затрагивать глубин, а оставаться на поверхности. — И Сильвия так или иначе столкнулась бы со всем этим в школе, ты не смогла бы спрятать ее от того, что происходит вокруг. — А про себя Эндрю думал, что ведь он и сам каждое утро читает свой гороскоп (хотя и не верит в него); у него даже была мысль сходить к ясновидящей и узнать свою судьбу. — Думаю, ты напрасно приняла это так близко к сердцу, — решился он выразить свое мнение и увидел, что Юлия наконец кивнула и потом вздохнула.

— Допустим, ты прав, — согласилась она. — Но как так вышло, что это... эта никчемная болтовня вдруг стала так популярна?

— Хороший вопрос, — сказал Эндрю, обнимая бабушку, но она осталась безучастна в его руках.

Юлия и Сильвия помирились. Сильвия так и объявила Эндрю: «Мы помирились», как будто возникшее тягостное чувство после этих слов могло превратиться в легкое и безвредное.

Они помирились, но Юлия отказывалась слушать о новых открытиях Сильвии, гадать на стеблях тысячелистника или говорить о буддизме, и вот так их идеальная близость, возможная только между взрослым и ребенком, доверительная и откровенная, естественная как дыхание, закончилась. Она должна была закончиться, чтобы ребенок в этой паре мог расти, но даже когда взрослый знает и ожидает этого, сердце его все равно кровоточит и болит. Но Юлия никогда раньше не испытывала подобной любви к ребенку, с Джонни такого точно не было, и поэтому не знала, что, взрослея (а в Сильвии процесс взросления с помощью Юлии пошел с удивительной скоростью), ребенок превращается в чужака. Внезапно Сильвия перестала быть девчушкой, радостно бегущей вслед за Юлией и боящейся потерять ее из виду даже на миг. Она настолько повзрослела, что смогла самостоятельно истолковать гексаграммы, получившиеся при гадании на стеблях тысячелистника (а именно к ним обратились за советом), как необходимость навестить мать. И Сильвия пошла к ней, одна. Ее встретила Филлида, не истеричная и вопящая, а спокойная, углубленная в себя и даже величественная. Она была дома одна — Джонни уехал на митинг.

Сильвия ожидала упреков и обвинений, которых ей будет не вынести. Она готовилась к тому, что ей придется бежать, но Филлида лишь сказала:

— Ты должна поступать так, как считаешь правильным. Я знаю, что тебе лучше жить там, с ровесниками. И твоя бабушка привязалась к тебе, как я понимаю.

— Да, я люблю ее, — сказала девочка просто и задрожала, испугавшись материнской ревности.

— Не трудно любить, когда ты богат, — изрекла Филлида, и это было самое критическое ее замечание за все время визита дочери. Она прилагала массу усилий, чтобы сдерживать демонов, которые рвали и металы внутри нее, и от этого казалась заторможенной и даже глупой. Филлида повторила:

— Тебе там лучше, я знаю. — И: — Решай за себя сама. — Как будто это не было уже решено давным-давно. Она не предложила девочке ни чаю, ни лимонаду, а продолжала сидеть, вцепившись в ручки кресла и глядя на дочь. Потом, когда кипевшие в ней страсти грозили вот-вот взорваться, Филлида торопливо сказала: — А теперь тебе пора идти, Тилли. Да, я слышала, что ты теперь Сильвия, но для меня ты всегда будешь Тилли.

И Сильвия ушла, понимая, что буквально чудом избежала криков.

Первым вернулся Колин. Он сказал, что провел лето шикарно, и

больше ничего. Почти все время он проводил в своей комнате, читая.

Заходила Софи, чтобы сообщить о том, что приступает к занятиям в школе актерского мастерства и что ездить туда она будет из своего дома, потому что мать еще нуждается в ней.

— Но, пожалуйста, можно мне приходиться к вам — я так люблю наши ужины, Фрэнсис, так люблю наши вечера.

Фрэнсис заверила Софи, что, разумеется, она может приходиться так часто, как захочет, обняла и через прикосновение почувствовала, что у девушки проблемы.

— Что случилось? — спросила она. — Это Роланд? Вы поссорились?

Софи ответила без намека на шутливость:

— Все-таки я недостаточно взрослая для него.

— А, понятно. Это он так сказал?

— Он говорит, что если бы у меня было больше опыта, то я бы поняла. Это так странно, Фрэнсис. Иногда мне кажется, что его нет — то есть он рядом со мной, но... Но все равно он любит меня, Фрэнсис, он сам так сказал, что любит...

— Ну вот видишь.

— Летом мы столько всего интересного делали: гуляли целыми днями, ходили в театр, познакомились с другими людьми, и вообще классно было.

У Джеффри начинались занятия в Лондонской школе экономики. Он заглянул, чтобы сказать, что ощущает себя теперь большим мальчиком и что настала пора ему жить самостоятельно. На демонстрациях протеста в Джорджии он подружился с несколькими американцами и договорился вместе с ними снять квартиру. Жаль, что Колин младше, а то он мог бы войти с ними в долю. Еще Джеффри сказал, что будет заходить иногда, «как в старые времена». Оставить дом Ленноксов, объяснил он, для него труднее, чем оставить родительский дом.

Дэниел, будучи на год младше Джеффри, с тоской готовился провести еще один год в школе — год без Джеффри.

Джеймс тоже приступал к учебе в Лондонской школе экономики.

Джил как была, так и оставалась темной лошадкой. Она не вернулась вместе с Роуз, которая, кстати, не рассказывала, где была, только обмолвилась, что Джил сейчас в Бристоле с любовником. Но она, мол, обещала вернуться.

Роуз вновь окопалась в цоколе и заявила, что будет учиться. Никто ей не поверил — и напрасно. Она в действительности была умна, знала это и была решительно настроена «показать им». Кому им? Первой в этом списке, конечно же, шла Фрэнсис, но имелись в виду все они. «Я покажу

им», — бормотала Роуз как мантру, когда надо было садиться за уроки или когда прогрессивность школы не оправдывала ее ожидания (например, когда ее просили не курить в классе).

Решимость Сильвии хорошо учиться была адресована не только Юлии, но и Эндрю, который продолжал относиться к сводной сестре как любящий старший брат — когда был дома, а не в Оксфорде.

Финансовые проблемы... Когда Фрэнсис поселилась в доме, то договоренность была следующая: Юлия платит все налоги на дом, а Фрэнсис будет отвечать за остальное — газ, электричество, воду, телефон. А также оплачивать услуги миссис Филби и ее помощницы, которую миссис Филби приводила, когда чувствовала, что не справляется с «детворой». «Детвора, говорите? Да они скорее свиньи». Еще Фрэнсис покупала продукты и обеспечивала дом всем необходимым. В итоге сумма выходила приличная, но у нее получалось заработать на все это. Несколько недель назад пришел счет из Кембриджа, и Юлия оплатила его. Она сказала, что годичный перерыв Эндрю в образовании оказался весьма кстати. За обучение Сильвии тоже заплатила Юлия. Потом пришел счет за Колина, и Фрэнсис, после долгих размышлений, отнесла конверт на маленький столик на верхней лестничной площадке дома, куда складывалась почта Юлии. Предчувствия Фрэнсис оправдались: вскоре к ней спустилась свекровь со счетом за Сент-Джозеф в руках. Барьер между женщинами исчез, и Юлия вела себя с невесткой более открыто, но и более критично.

— Прошу вас, Юлия, садитесь.

Юлия села, сначала сняв со стула пару колготок Фрэнсис.

— О, простите, — сказала та, и Юлия приняла извинение, сжав на мгновение губы в улыбке.

— Что это за новости? С какой стати Колина понадобился психоаналитик?

Этого-то и боялась Фрэнсис. Она уже беседовала и с преподавателями школы, и с самим Колином, да и Софи тоже была в курсе. «О, чудесно, Колин, это будет просто замечательно!»

— Классный руководитель Колина считает, что мальчику просто нужно поговорить с кем-нибудь.

— Можно называть это как угодно. Но стоить это будет тысячи, тысячи фунтов каждый год.

— Послушайте, Юлия, я знаю, что вы не одобряете все эти новомодные психотерапевтические течения. Но вы не думали, что таким образом Колин сможет поговорить по душам с мужчиной? То есть я

надеюсь, что это будет мужчина. У нас в доме одни женщины, и Джонни...

— У Колина есть старший брат. Эндрю.

— Но они не дружат.

— Не дружат? Что вы имеете в виду? — Наступила пауза, во время которой Юлия выпрямляла и сжимала в кулак пальцы у себя на коленях. — Мои старшие братья... они ссорились иногда. Это нормально для братьев — ссориться.

Фрэнсис знала, что у Юлии были братья, которые погибли на той давней войне. Сжимающиеся и разжимающиеся пальцы Юлии вернули мертвых братьев в эту комнату, вернули ее прошлое... В глазах Юлии стояли слезы, Фрэнсис могла бы поклясться в этом, хотя свекровь сидела спиной к окну.

— Я согласилась на то, чтобы Колин встречался с психоаналитиком, потому что... он так несчастен, Юлия.

Тем не менее Фрэнсис отнюдь не была уверена, согласится ли на это сам Колин. Пока он сказал только:

— Да, я знаю, Сэм говорил мне. — Сэмом они называли классного руководителя. — Я сказал ему, что это моему отцу нужно обращаться к психоаналитикам.

— Да, им было бы над чем поработать, — согласилась Фрэнсис.

— Да, кстати, а как насчет тебя самой? Тебе бы тоже не помешало выговориться. И вообще не думаю, что я более сумасшедший, чем остальные.

— Ты абсолютно прав, — сказала тогда Фрэнсис.

Прервав ее воспоминания, Юлия встала и произнесла:

— Это естественно, что есть моменты, по которым мы не сможем прийти к единому мнению. Но я хотела поговорить о другом. Даже без этого нелепого психоанализа я не смогу заплатить за Колина. Я думала, что он уже закончил школу, и тут вдруг узнаю, что он собирается учиться еще целый год.

— Он согласился еще раз попробовать сдать экзамены.

— Но я не могу платить и за него, и за Эндрю, и за Сильвию. Что касается Эндрю и Сильвии, то я буду оплачивать их учебу в университете, пока они не начнут обеспечивать себя самостоятельно. Но Колин — это выше моих возможностей. И вы теперь зарабатываете больше, надеюсь, что как-нибудь справитесь.

— Не беспокойтесь, Юлия. Мне так неловко, что все это свалилось на вас.

— Полагаю, что обращаться к Джонни бессмысленно. Хотя у него

должны быть деньги, ведь он всегда где-то путешествует.

— Ему все оплачивают.

— Но почему? Почему за него кто-то платит?

— О, ну ведь это же сам товарищ Джонни. Он, Юлия, в некотором роде звезда.

— Он глупец, — заявила мать Джонни. — Как так вышло? Я вроде бы не дура. И его отец был определенно неглуп. Но Джонни полный идиот.

Юлия стояла у двери и взглядом эксперта осматривала комнату, которая когда-то была ее личной гостиной. Она знала, что Фрэнсис не любит ни эту мебель — такая хорошая мебель! — ни занавеси на окнах, которые провисят еще полвека, если ухаживать за ними надлежащим образом... Хотя Юлия подозревала, что в шторах скопились залежи пыли и, возможно, завелась моль. Старый ковер, прибывший сюда аж из Германии, местами был вытерт до основания.

— Но вы, конечно же, оправдываете Джонни. Вы всегда его защищали.

— Я? Защищала Джонни? Когда это, интересно, было, чтобы я защищала его политику?

— Его политику! Это не политика, а просто... ерунда.

— Это политика половины мира, Юлия.

— И все равно полнейшая ерунда. Что ж, Фрэнсис, меня не радует тот факт, что на вас свалилась еще одна проблема, но ничем не могу помочь. Если же вам не удастся расплатиться за Колина, тогда заложим дом.

— Нет... нет, нет! Ни в коем случае!

— Посмотрим. Держите меня в курсе, если возникнут трудности. — Она ушла.

Конечно же, трудности возникнут. Школа Колина была очень дорогая, а он собрался заново повторить курс за целый год. И в свои почти девятнадцать лет он был уже слишком взрослым, чтобы ходить на уроки; он смущался. Затем счет из клиники Мэйсток, за возможность «поговорить» — это будут тысячи, тысячи фунтов. Придется Фрэнсис просить о прибавке к зарплате. Она знала, что благодаря ее статьям тираж «Дефендера» вырос. Она может писать не для одной газеты, а для нескольких, только псевдоним надо будет взять другой. Эти проблемы она обсуждала со своим коллегой Рупертом Боландом, когда они зашли в «Космо». У него тоже были финансовые затруднения, Фрэнсис не знала, какие именно — он не вдавался в подробности. Боланду хотелось бы уйти из «Дефендера» — по его словам, эта газета не для мужчины, но платили ему хорошо. Дополнительный приработок он находил на радио и телевидении, проводя журналистские расследования. Хм, она тоже могла

бы это делать. Но и в таком случае понадобится больше денег, гораздо больше. Джонни... не спросить ли у него еще раз? Юлия права: он ведет жизнь современного эквивалента раджи — ездит по всему миру с делегациями и миссиями, всегда останавливается в лучших гостиницах, все его расходы оплачиваются, тогда как его дело состоит всего лишь в передаче товарищеского привета с одного конца света на другой. Должно быть, у него есть какой-то источник получения денег: а иначе как он оплачивает аренду квартиры? Работы в обычном понимании этого слова у Джонни никогда не было.

Осень стала сценой для неожиданного поворота событий. Дважды в неделю Колин приезжал на поезде из Сент-Джозефа в клинику Мэйсток — для посещения сеансов доктора Дэвида. Мужчина! Фрэнсис была в восторге. Колин сможет поговорить с мужчиной, с мужчиной, не связанным с их семьей. («Если это действительно то, чего ему не хватает, то почему не Вильгельм? — недоумевала Юлия. — Он неплохо относится к Колину». — «Но, Юлия, разве вы не понимаете, он слишком близкий человек, он часть нашего мира». — «Нет, не понимаю».) Проблема была в том, что, следуя какой-то психоаналитической теории, доктор Дэвид не говорил — он только молчал. То есть он здоровался, после краткого рукопожатия усаживался в кресло и затем целый час не произносил ни слова. Ни единого слова.

— Он лишь улыбается, — рассказывал Колин. — Я скажу что-нибудь, а он улыбнется. И рот раскрывает только для того, чтобы сказать, что наше время истекло, до встречи в четверг.

После Мэйстока Колин ехал прямо домой и шел туда, где находилась в этот момент Фрэнсис. Там он изливал матери все, чего не смог сказать доктору Дэвиду. Из него рекой текли жалобы, обиды, разочарования, которые, как надеялась Фрэнсис, сын мог наконец переложить на профессиональные плечи психоаналитика. Но тот только молчал, поэтому Колин тоже молчал, раздраженный и злой. Он кричал матери, что, мол, доктор Дэвид издевается над ним и что во всем виновата школа, это из-за них ему приходится ходить к психоаналитику. А в том, что он в таком смятении, виновата Фрэнсис. «Зачем ты вышла замуж за Джонни?» — кричал он на мать. За этого коммуниста, все прекрасно знали, что такое коммунизм, но она все равно вышла за него. Джонни был настоящим фашистским комиссаром, а она, Фрэнсис, зачем-то вышла за него! И все их совместное дерьмо потом вылилось на него и на Эндрю. Так Колин кричал, стоя посреди ее комнаты, но на самом деле его речи предназначались доктору Дэвиду, потому что все эти мысли копились в душе молодого

человека и должны были найти выход. Всю дорогу до Лондона в тесном, едва ползущем поезде Колин репетировал обвинения в адрес отца, матери, чтобы рассказать о них психоаналитику, но доктор Дэвид только улыбался. Куда же деваться всему этому? И обвинения бесконтрольно, горячим потоком лавы изливались на мать. И только посмотри, кричал он раз за разом, посмотри на этот дом, тут полно людей, у которых нет ни малейшего права здесь находиться. Почему Сильвия живет у них? Она же не член семьи. А эта девица пользуется всем, они все пользуются всем, и Джеффри уже годами живет за их счет. Фрэнсис никогда не пробовала подсчитать, сколько денег было потрачено за это время на Джеффри? Да можно было бы купить еще один дом! Почему Джеффри все время у них ошивается? Все говорят, что Джеффри — его друг, но он-то никогда особо не любил Джеффри, это в школе решили, что они друзья. Сэм как-то сказал, что мальчики дополняют друг друга, другими словами, между ними ни хрена общего, но все равно было решено, что общение пойдет им на пользу. Так вот, лично ему, Колину, это на пользу не пошло! А Фрэнсис сговорилась со школой, она всегда была на их стороне, иногда ему кажется, что ее сын — Джеффри, а не он, и посмотрите на Эндрю, этот вообще целый год валялся на кровати и курил травку, и знает ли Фрэнсис, что братец пробовал кокаин? Неужели не в курсе? Если нет, то как это так получилось, что не знает? Фрэнсис никогда ни о чем не знает, просто разрешает, чтобы все шло само собой, и как насчет Роуз, что она вообще делает в их доме, живет за их счет, берет все, что захочет, он не желает, чтобы она здесь жила, он ненавидит Роуз, Фрэнсис знает хотя бы, что все ненавидят Роуз, а она тем не менее уже столько времени живет в цокольной квартире, считает ее своей и, если кто-нибудь хотя бы заглянет туда, сразу кричит, чтобы все убиралось прочь. И это все из-за Фрэнсис, а в результате в клинику Мэйсток, в лапы мучителя доктора Дэвида, почему-то отправляют его.

Так ораторствовал Колин, стоя в центре комнаты, то снимая очки в черной оправе, то снова надевая их, размахивая руками, топая ногами. Фрэнсис слушала его и слышала то, что никто на свете не должен слышать (за исключением, разумеется, доктора Дэвида и ему подобных) — сокровенные мысли другого человека. Эти мысли, вероятно, не сильно отличались от мыслей всех остальных людей, находящихся в ажитации. В общем-то, это хорошо, что мы не можем узнавать мысли друг друга, как теперь приходилось Фрэнсис слышать то, что думает о ней Колин. Тирады, описывающие его несчастья, длились около часа — столько же времени, сколько Колин должен был провести в беседах с доктором Дэвидом. А в конце он говорил дружелюбным, практически нормальным голосом:

— Ну, мне пора, я побегу на вокзал.

Или:

— Я вечером побуду тут, а в школу поеду утром.

И тогда к ней возвращался тот Колин, которого она знала, он даже улыбался, хотя улыбка эта была озадаченной. Должно быть, после таких излияний он был совершенно обессилен.

— Ты ведь знаешь, что никто не заставляет тебя ездить в Мэйсток, — напоминала сыну Фрэнсис. — Ты можешь отказаться. Хочешь, я сама скажу, что ты решил больше не ходить на сеансы?

Но Колин не хотел лишать себя возможности дважды в неделю приезжать в клинику, приезжать к ней самой, Фрэнсис понимала это, потому что без раздражения, накопленного за час безмолвия в кабинете психоаналитика, сын не мог бы кричать на нее, не мог бы сказать то, что думал так давно, но не решался произнести вслух, носил в себе.

После часа под прицелом критики Колина Фрэнсис чувствовала себя такой разбитой, что сразу шла в постель или просто сидела в кресле. Однажды вечером, когда она сидела так, не включая свет, в гостиную постучалась Юлия, приоткрыла дверь, увидела, что в комнате темно, и потом заметила Фрэнсис. Юлия щелкнула выключателем. Она слышала, как кричит на мать Колин, и была обеспокоена, но не это привело ее в гостиную.

— Вы знаете, что Сильвия до сих пор не вернулась домой?

— Сейчас не больше десяти.

— Я могу присесть? — И Юлия села. Ее руки терзали маленький вышитый носовой платок. — Она слишком юна, чтобы ходить где-то допоздна, да еще с такими плохими людьми.

После школы Сильвия иногда посещала некую квартиру в Кэмден-тауне, где Джейк и его друзья встречались почти каждый день. Все они занимались предсказанием будущего (один или два человека — профессионально), составляли для газет и журналов гороскопы, проводили ритуалы посвящения друг для друга и новичков, увлекались верчением стола, призывали духов, пили загадочные жидкости под названием «Душевный бальзам», или «Коктейль мышления», или «Эссенция истины» (по сути являющиеся настоями трав и специй) и в целом жили в мире символов и смыслов, не доступных большинству людей. Сильвия пользовалась среди них большой популярностью. Она была их питомицей, неопитом, о котором мечтает всякий, носящий в себе знание, поэтому постепенно ей доверили секреты высшего значения. Сильвии же все эти люди нравились потому, что они любили ее и всегда были рады ее приходу.

Она всегда вела себя ответственно, звонила Юлии, чтобы предупредить о том, что придет позже, и, если задерживалась дольше, чем обещала, звонила снова.

— Раз ты не в силах покинуть этих людей, как я могу возражать?

Фрэнсис тоже не была в восторге от увлечения Сильвии, но считала, что со временем девочка перерастет его.

Для Юлии это было трагедией. Ее маленький ягненок бросил ее, завлеченный сладкими голосами больных лунатиков.

— Они ненормальные, Фрэнсис, — сказала она этим вечером, несчастная и готовая заплакать.

Фрэнсис не стала иронизировать: «А кто нормальный?» — Юлия захотела бы уточнить формулировки. К тому же Фрэнсис подозревала, что Юлия пришла к ней не только поделиться тревогами о Сильвии, и ждала продолжения.

— По-моему, абсолютно недопустимо, чтобы сын говорил с матерью так, как Колин говорит с вами!

— Он должен кому-то высказать все это.

— Но это смешно, то, что Колин говорит... Мне слышно почти все, да всему дому слышно.

— Джонни он этого не скажет, поэтому говорит мне.

— У меня в голове не укладывается, — сказала Юлия, — почему им позволено вести себя так? Почему они такие?

— Они все во власти комплексов, — ответила Фрэнсис. — Не странно ли, Юлия? Вам не кажется?

— Их поведение, несомненно, странное, — поджала губы Юлия.

— Нет, послушайте, что я думаю. Им так повезло с рождения, у них столько привилегий, у них есть все, им дано больше, чем кому-либо из нас... возможно, для вас все было несколько иначе.

— Нет, я не имела возможности покупать новое платье каждую неделю. И я не воровала. — Голос Юлии зазвучал громче. — Вы кормите воров, Фрэнсис, они все воры и не знают, что такое мораль. Если им что-то нужно, они просто идут и крадут это.

— Эндрю не ворует. И Колин тоже нет. По-моему, Сильвия ни разу этого не делала.

— Дом полон всяких... Вы пускаете их сюда, они пользуются вашей добротой, а сами обманщики и воры. Это был уважаемый дом. Нашу семью уважали.

— Да, я тоже пытаюсь понять, почему они такие. У них столько всего, ни одно поколение не было таким обеспеченным, и все-таки они...

— Они закомплексованные, — закончила Юлия, поднимаясь, чтобы уходить. — Точное выражение: «закомплексованные». И, наверное, я знаю, в чем дело. Вы говорите, что у Колина нестабильная психика? Да это просто потому, что все они — дети войны, вот почему. Случились две ужасные войны, одна за другой, и вот результат. Неужели кто-то мог предположить, что такие войны, ужасные, ужасные войны, могут пройти бесследно? «Ну ладно, война закончилась, теперь все возвращается в нормальное русло». Как бы не так! У нас нет ничего нормального. И дети не могут быть нормальными. И вы тоже... — Но тут Юлия остановилась, так что Фрэнсис не довелось услышать, что же думает о ней свекровь. — И вот теперь Сильвия со своими «спиритуалистами». Вы знаете, что они так себя называют? Они выключают свет и сидят в темноте, держась за руки, а какая-то сумасшедшая женщина делает вид, будто разговаривает с привидениями. Вы слышали об этом?

— Да, слышала.

— Да? И после этого спокойно сидите здесь и ничего не предпринимаете? Вы всегда только слушаете, но не останавливаете их.

Фрэнсис произнесла в спину уходящей Юлии:

— Мы не можем их остановить.

— Сильвию я остановлю. Я скажу ей, что она может возвращаться домой к матери, если хочет общаться с этими людьми.

Дверь захлопнулась, и Фрэнсис сказала вслух, обращаясь к пустой комнате:

— Нет, Юлия, вы ничего подобного не сделаете, вы просто выпускаете пар этими угрозами.

В тот же вечер, когда фраза Юлии «Это был уважаемый дом» все еще звучала в ушах Фрэнсис, в дверь позвонили. Было уже поздно. Фрэнсис спустилась. На крыльце стояли две девушки, обе лет пятнадцати, и их враждебные и требовательные лица дали Фрэнсис возможность подготовиться к тому, что она услышит.

— Впустите нас. Мы к Роуз. Она нас ждет.

— А я вас не жду. Кто вы такие?

— Роуз сказала, что мы можем пожить здесь, — ответила одна из девушек и попыталась протиснуться мимо Фрэнсис в дом.

— Между прочим, здесь не Роуз принимает решения о том, кто может жить в доме, а кто нет, — заявила Фрэнсис, удивленная тем, что сумела дать отпор. Поскольку гости все еще переминались на крыльце в нерешительности, она добавила: — Если вы хотите увидеться с Роуз, то приходите завтра в более приличный для визитов час. Думаю, что сейчас

она уже спит.

— Нет, не спит!

И Фрэнсис взглянула вниз на окна цокольной квартиры и увидела, как Роуз энергично жестикулирует, обращаясь к подругам. Через стекло донеслось:

— Я же говорила вам, что она старая корова.

Девицы ушли, выразительно пожав плечами и обменявшись с Роуз понимающими взглядами: «Чего еще от нее ожидать». Одна из них даже крикнула:

— Ты еще пожалеешь об этом, когда наша Революция победит!

Фрэнсис пошла прямо к Роуз, которая уже ждала ее, дрожа от злости. Черные волосы, больше не усмиренные умелыми руками миссис Эвански, топорщились, лицо горело, и она чуть не бросилась на Фрэнсис с кулаками.

— Какого черта ты говоришь людям, что они могут жить здесь?

— Это моя квартира! Я могу делать с ней все, что захочу.

— Нет, квартира не твоя. Мы позволили тебе пожить здесь, пока ты не закончишь школу. Если кому-то еще понадобится здесь остановиться, то они займут вторую комнату.

— Нет, эту комнату я собираюсь сдавать, — заявила Роуз.

От неожиданности Фрэнсис потеряла дар речи — это просто невероятно, хотя от Роуз ничего другого и нельзя было ожидать. Потом она заметила триумф в глазах девушки, ведь ей не нашли что возразить, и тогда сказала:

— Мы не берем с тебя плату за проживание здесь. Ты живешь здесь абсолютно бесплатно, так с чего это ты вдруг взяла, что можешь зарабатывать, сдавая в аренду вторую комнату?

— Мне приходится! — выкрикнула Роуз. — Не могу же я существовать на то, что дают мне родители. Эти скряги!

— А зачем тебе больше? Ты же не платишь ни за жилье, ни за питание, ни за школу!

Но Роуз уже унеслась на волне неистовства туда, где логика не имела над ней власти.

— Дерьмо, вы все дерьмо! И вам наплевать на моих друзей. А им идти некуда! Они спят на вокзале, на скамейке! Наверное, вы и меня хотите туда отправить.

— Если тебе этого хочется, то пожалуйста, держать не стану, — сказала Фрэнсис.

Роуз взвилась:

— Ваш драгоценный Эндрю затаскивает меня в постель, а после этого

вы выбрасываете меня на улицу как собаку!

Фрэнсис была ошарашена таким заявлением, но напредила себе, что все это может оказаться неправдой... и что с абортм Джил дети разобрались самостоятелно, не говоря ей ни слова. Эти внутренние колебания дали Роуз преимущество, и она завопила:

— И что вы сделали с Джил? Заставили ее сделать аборт, хотя она не хотела!

— Я даже не знала, что она беременна. Я вообще ничего об этом не знала, — сказала Фрэнсис и поняла, что спорит с Роуз. Ни один человек в здравом уме не стал бы этого делать.

— А обо мне вы что, тоже ничего не знали? Разве все ваши «уси-пуси, будьте милы с Роуз» не для того, чтобы прикрыть Эндрю?

Фрэнсис не выдержала:

— Ты лжешь. Я отлично вижу, когда ты говоришь неправду.

И снова онемела, вспомнив слова Колина: он обвинял мать в том, что она никогда ни о чем не знала. Что, если и Роуз беременна? Но нет, Эндрю рассказал бы ей.

— И я не собираюсь больше жить здесь, раз вы со мной так гадко обращаетесь. Я могу отличить, когда мне рады, а когда нет.

Абсурдность последнего заявления Роуз заставила Фрэнсис рассмеяться, но смех был вызван еще и мыслью о том, что наконец-то Роуз избавит их от своего присутствия. Облегчение от этого было настолько ощутимым и сильным, что Фрэнсис впервые в полной мере осознала, каким тяжким бременем была для нее эта девушка.

— Отлично, — сказала она. — Я согласна с тобой, Роуз. Очевидно, что тебе лучше уйти, раз ты так чувствуешь себя здесь.

И она пошла наверх, в неестественной тишине — такая, должно быть, стоит в эпицентре шторма. Затем взглянула вниз: лицо Роуз застыло будто в молитвенном экстазе, но в следующий миг она завывала.

Фрэнсис захлопнула дверь, отгораживаясь от воя, и бросилась на кровать. О, господи, избавиться от Роуз, наконец-то избавиться от Роуз... Но здравый смысл не желал молчать на задворках ума, он подкрадывался, нашептывая: «Ну, разумеется, она никуда не денется».

Фрэнсис слышала, как мимо ее двери Роуз протопала вверх по лестнице. Потом наступила тишина.

А чуть позже раздался стук в дверь. Это был Эндрю, бледный от усталости.

— Можно я посижу с тобой? — Он сел. — Ты не представляешь, какое забавное зрелище являешь собой в этих декорациях не от мира сего, —

сказал он, ироничный несмотря ни на что.

Фрэнсис увидела себя со стороны — в потертых джинсах, старом свитере, босиком посреди старинной мебели Юлии, которой место, скорее всего, в музее. Она нашла в себе силы улыбнуться и покачать головой, имея в виду: «Уму непостижимо, что происходит».

— Роуз утверждает, будто ты выгоняешь ее из дома.

— Ох, если бы это только было возможно! Но она сама сказала, что уходит.

— Боюсь, на это надеяться не приходится.

— И еще она говорит, что беременна от тебя.

— Что?

— Так она только что мне сказала.

— Проникновение не имело места быть, — сказал Энрю. — Мы целовались-обнимались... скорее случайно, чем по зову души. Удивительно, как в этих летних лагерях с коммунистической ориентацией... — Он напел: — «Даже ветерок, казалось, нам шептал: секса, пожалуйста, секса, секса».

— Что нам делать? И почему мы не можем просто выставить ее за дверь? Господи, почему?

— Но тогда Роуз окажется на улице. Домой же она не вернется.

— Пожалуй.

— Это всего лишь на один год. Стиснем зубы и продержимся.

— Колин очень злится на то, что она живет здесь.

— Знаю. Ты забываешь, что мы все слышим, как он жалуется тебе на жизнь. И на Сильвию. И, должно быть, на меня.

— В основном на меня.

— Я сейчас схожу к Роуз и предупрежу, что если она еще хоть раз скажет, будто забеременела от меня... погоди-ка, наверное, она говорит, что я еще заставил ее и аборт сделать?

— Пока нет, но вполне возможно, что и до аборта дойдет очередь.

— Бог мой, что за дрянь.

— Однако как удобно быть дрянью. С ней никто ничего не может поделать.

— Ну нет. Я больше не стану терпеть.

— И что же ты сделаешь? Вызовешь полицию? И кстати, где Джил? Давно ее не видала.

— Они с Роуз поссорились. Думаю, Роуз просто велела ей исчезнуть.

— И где Джил теперь? Кто-нибудь в курсе? Предполагается, что я теперь отвечаю за нее, вместо родителей.

— Делай акцент на слове «вместо». — И Эндрю ушел.

Фрэнсис узнала, что она далеко не единственная, оказавшаяся в положении *in loco parentis*. Когда лето закончилось, из Испании пришло письмо — от англичанки, живущей в Севилье. Она писала о том, как понравился ей Колин, обаятельный сын Фрэнсис. (Колин обаятельный? Ну, во всяком случае, дома он таким никогда не был). *«У нас летом собралась отличная компания. Не всегда складывается так удачно. Иногда у них возникает столько проблем! Я восхищаюсь тем, с какой легкостью нынешние подростки оказываются в чужих домах. Моя дочь использует любой предлог, лишь бы не прийти домой. У нее появилась альтернативная семья в Хэмпшире — семья ее бойфренда. Полагаю, нам остается только признать этот факт».*

Письмо из Северной Каролины: *«Привет, Фрэнсис Леннокс! Мне кажется, что я давно с вами знакома. Ваш Джефффри Боун провел у нас не одну неделю, как и другая молодежь из разных стран, собравшаяся, чтобы принять участие в Борьбе за Гражданские Права. Они стучат в мою дверь, эти перекати-поле и бродяги со всех концов света — нет-нет, я не имею в виду вашего Джефффри, никогда не встречала более славного парня, чем он. Но я собираю их под свое крыло, как, похоже, и вы, и моя сестра Фран в Калифорнии. Мой сын Пит будущим летом собирается в Британию, и я уверена, что он зайдет к вам».*

Из Шотландии, из Ирландии. Из Франции... письма, которые после прочтения попадали в папку, где лежали схожие с ними послания, пришедшие еще в те годы, когда Фрэнсис почти не видела Эндрю.

Это явление — матери, пригревающие у себя отбившихся от домов детей, — в шестидесятые годы распространилось повсюду. И постепенно «всеобщие матери» узнавали о том, что они часть явления: это снова был в действии *Geist*. Они общались и, общаясь, создавали сеть. Они стали Сетью кормилиц. Сетью, которая питала психически. Как объясняла это себе «детвора», Фрэнсис искупала таким образом какую-то вину из прошлых лет. (Фрэнсис сказала на это, что такое в принципе вероятно.) Что касается Сильвии, то у нее была своя «линия» (это слово было позаимствовано у Партии). Она узнала от своих увлекавшихся мистикой друзей, что Фрэнсис, оказывается, улучшала свою карму, поврежденную в прошлых жизнях.

Колин продолжал приезжать домой, чтобы выкричатся на мать, и один раз привез с собой Франклина Тичафу, родом из Цимлии — британской колонии, которая, как сказал Джонни, вот-вот пойдет по стопам Кении. Все газеты писали примерно то же самое. Франклин был круглолицым, улыбающимся чернокожим мальчиком. Колин сказал матери,

что слово «мальчик» нельзя употреблять — из-за существующих негативных коннотаций английского «boy», но Фрэнсис возразила:

— Его же нельзя назвать еще молодым человеком. Если шестнадцатилетнего парня нельзя называть мальчиком, то кого можно?

— Она специально это делает, — сказал Эндрю. — Она говорит это назло.

В этом была правда. Еще Джонни, в далеком прошлом, жаловался на то, что Фрэнсис притворяется глупой, когда речь заходит о политике, — чтобы выставить его дураком перед товарищами. Ну да, иногда она делала это намеренно — и тогда, и сейчас.

Франклин понравился всем. Его назвали так в честь Франклина Рузвельта. Он изучал в Сент-Джозефе литературу, чтобы сделать приятное родителям, но в университете собирался заняться экономикой и политикой.

— Вы все только ими и хотите заниматься, — сказала Фрэнсис, — экономикой и политикой. А мне странно, что вообще кто-то хочет их изучать, потому что обе эти науки постоянно ошибаются, особенно экономика.

Это замечание настолько опередило время, что его оставили без комментариев, возможно, даже не услышали.

В тот вечер, когда Франклин впервые появился в доме, Колин не зашел к Фрэнсис, как обычно, для ставшего привычным сеанса обвинений — потому что он не ездил в Мэйсток. Франклин остался на ночь, устроился на полу в комнате Колина, в спальном мешке. Фрэнсис слышала их голоса у нее над головой — говорят, смеются... и ее изболевшееся сердце забилося спокойнее. Ей казалось, что на самом деле Колину нужен был только хороший друг, такой, который умеет и любит смеяться. А тем временем этажом выше, как это часто бывает между молодыми людьми — мальчишками, конечно же, — затевалась возня, шуточная борьба и беготня.

Франклин пришел снова, и снова, и Колин решил, что сыт Мэйстоком по горло. Парень заметил, что доктор Дэвид во время сеанса заснул, пока он сам ерзал к креслу пациента, нервничая и надеясь, что великий ученый соизволит сказать ему хоть слово.

— Сколько мы платим ему? — спросил он.

Фрэнсис назвала сумму.

— Отличная работа, не отказался бы от такой, — сказал Колин.

Но не стал ли он снова копить свои горести внутри? Успел ли сын выплеснуть накопившееся, когда обвинял ее? Фрэнсис не знала. А вот в Сент-Джозефе дела у него по-прежнему шли неважно, и он хотел бросить школу.

Но именно Франклин сказал Колину, что бросать школу глупо.

— С твоей стороны это будет непродуманно, — заявил он за ужином. — И ты сам об этом пожалеешь, когда вырастешь.

Последняя фраза была цитатой. В любой компании молодых людей порой звучат советы, предупреждения, наставления, подслушанные ими у родителей и повторяемые либо в насмешку, либо в шутку, либо всерьез. «Ты сам об этом пожалеешь, когда вырастешь», — говаривала бабушка Франклина, сидя в отсветах пламени очага — бревна, горящего посреди хижины, — в деревне, где в любую дверь могла ткнуться коза в надежде найти что-то съедобное. Хлопотливая чернокожая женщина, которой Франклин признался, что не хочет ехать в Сент-Джозеф (он был труслив), сказала внуку: «Ты об этом сам пожалеешь, когда вырастешь».

— Я уже вырос, — отмахнулся Колин.

И снова ноябрь с его беспросветной моросью. Поскольку была суббота, за кухонным столом почти не оставалось свободных мест. Слева от Фрэнсис сидела Сильвия, и все делали вид, будто не замечают, как она борется со своим нежеланием есть. Девушка рассталась с кружком посвященных в высшие таинства людей, которые слова не могли сказать без многозначительных взглядов и подчеркнутых интонаций. Этот шаг Сильвия никак не объяснила, обронив только, совсем как могла бы это сделать Юлия: «Они не такие добрые, какими кажутся». В дом после этого явился Джейк и попросил разрешения поговорить с Фрэнсис. Он заметно нервничал.

— У нас возникла проблема, Фрэнсис. Это культурологический вопрос. Наверное, мы в Штатах куда более раскованны, чем вы.

— Боюсь, я не знаю, о чем идет речь, — сказала Фрэнсис. — Сильвия ничего мне не говорила о том, почему она...

— В том-то и дело, говорить нечего, поверьте.

Сильвия затем призналась Эндрю, что «расстроили» ее не шутки «детворы» о разнузданных сатанинских обрядах, в которых она якобы принимает участие в своем кружке (она много раз за ужинами просила не выдумывать глупости), и не сеансы, которые закончились не так, как ожидалось, или как раз наоборот — как кое-кем втайне задумывалось: появлением шумных назойливых призраков с некоей страшно важной информацией — например, что Сильвия непременно должна носить сине-бирюзовый амулет. Дело в том, что Джейк поцеловал ее и сказал, что она слишком взрослая, чтобы оставаться девственницей. Сильвия залепила ему пощечину и назвала его грязным стариком. Эндрю было очевидно, что Джейк имел в виду сакральные сексуальные утехы, но Сильвия сказала:

— Он по возрасту мне в дедушки годится.

И это было правдой. С небольшой натяжкой. Эндрю тоже приехал домой на выходные, потому что ему позвонил Колин с известием, что Сильвии стало хуже.

Да-да, ему звонил не кто иной, как Колин. Так к чему тогда было все его негодование по поводу Сильвии?

— Ты должен приехать, Эндрю. Ты всегда знаешь, что в таких случаях делать.

А Юлия? Разве она не знала всегда, что делать? По-видимому, теперь уже больше нет. Юлия, услышав, что вечерами Сильвия снова сидит у себя в комнате и не убегает никуда до полуночи, произнесла тяжелым печальным голосом, который, казалось, стал неотъемлемой ее чертой:

— Что ж, Сильвия. От таких людей ничего другого и нельзя было ожидать.

— Но ничего же не случилось, Юлия, — прошептала девушка и попыталась обнять старую женщину.

Руки Юлии, которые совсем еще недавно с легкостью обнимали девочку в ответ, легли ей на плечи, но не так, как раньше, и Сильвия плакала у себя из-за этих старых негнущихся рук, которые были ей упреком.

Сейчас Сильвия сидела с вилкой в руке и возила по тарелке кусок картофелины, запеченной в сливках. Блюдо было приготовлено потому, что она любила его.

Соседом Сильвии за столом был Эндрю. Дальше сидел Колин, а рядом с ним Роуз. Последние двое не обменялись ни словом, ни взглядом за весь ужин. Приехал из своей школы Джеймс; ночь он собирался провести в гостиной на полу. Напротив Роуз сидел Франклин, который в этот вечер явно перебрал алкоголя. На столе тут и там стояли бутылки вина — принесенные Джонни. Он занимал свой пост у окна. Рядом с Франклином устроился Джеффри, успешно поступивший в Лондонскую школу экономики. В куртке и штанах милитаристского покроя он был похож на бойца партизанского отряда. В этот вечер он зашел к Фрэнсис потому, что столкнулся в «Космо» с Джонни и услышал, что тот будет здесь. Из завсегдагаев не было, пожалуй, только Софи, которая, однако, уже забегала днем — навестить «дорогую Фрэнсис». Жилось ей в эти месяцы нелегко, но не из-за театрального училища — там она была среди лучших студентов, — а из-за Роланда Шаттока. Этим вечером они вместе отправились на дискотеку. Рядом с Фрэнсис сидела Джил, которая появилась в дверях буквально несколько часов назад. Она смиренно

спросила, нельзя ли ей остаться на ужин. Левое запястье у нее было перевязано бинтом, и выглядела она нездоровой. Роуз встретила ее с откровенной враждебностью: «Хм, а ты чего здесь делаешь?» Джил дождалась, когда за столом станет шумно от разговоров, и тихонько спросила у Фрэнсис:

— Можно мне пожить у вас в нижнем этаже, в свободной комнате? Ведь это вы решаете, кто там может жить?

Проблема была в том, что Колин уже попросил у матери, чтобы в той комнате остановился на время рождественских каникул Франклин. Кроме того, Роуз и Джил вряд ли уживутся вместе, как прежде.

— Ты собираешься вернуться в школу? — спросила Фрэнсис.

— Не знаю, разрешат ли мне вернуться, — сказала Джил, кинув робкий, умоляющий взгляд на Фрэнсис, который означал: «Вы попросите, чтобы меня взяли обратно?»

Но где она, интересно, собирается жить?

— Ты лежала в больнице?

Девушка кивнула. Потом добавила все так же шепотом:

— Я провела там целый месяц. — Это уточнение указывало на то, что Джил лежала в психиатрическом отделении. — Но хотя бы в гостиной можно мне поспать?

Эндрю был как будто полностью занят разговором с Сильвией, подбадривал ее, смеялся с ней, когда она пыталась шутить над своими проблемами, но оказалось, что он прислушивался и к диалогу между матерью и Джил. И при последних словах Джил он поймал взгляд Фрэнсис и мотнул головой. Всего лишь краткое «нет», но нельзя было бы высказаться яснее, и, хотя Эндрю старался вести себя осторожно, Джил заметила этот обмен взглядами. Она замолчала, опустила глаза. У нее дрожали губы.

— Нам действительно некуда положить тебя, — сказала Фрэнсис.

К тому же Джил, по всей видимости, была не в состоянии браться за учебу, даже если Фрэнсис и удастся уговорить администрацию школы. Что же с ней делать?

Эта небольшая драма разыгрывалась на том конце стола, где сидела Фрэнсис, а напротив царил веселое оживление. Джонни рассказывал о своей поездке с делегацией библиотекарей в Советский Союз и вышучивал тех ее членов, которые не состояли в Партии: они якобы совершали одну глупость за другой. Например, один потребовал подтвердить его слова — на встрече с Союзом писателей — о том, что в Советском Союзе нет цензуры. Второй хотел знать, существует ли в СССР («как в Ватикане»)

перечень запрещенных книг.

— Как хотите, — говорил Джонни, — но это непростительная политическая наивность.

Затем подняли тему недавних выборов, выигранных лейбористами. Джонни принимал в них активное участие, хотя дело это было непростое. С одной стороны, лейбористы представляли собой еще большую угрозу рабочим массам, чем тори (потому что запутывали умы неточными формулировками). С другой, соображения тактики призывали к сотрудничеству с ними. Джеймс слушал все эти тонкости политической игры как любимую музыку. Джонни встретил его товарищеским кивком и похлопыванием по плечу, но теперь все внимание оратора было направлено на новичка, которого еще только предстояло завоевать, — на Франклина. В связи с этим Джонни ознакомил всех присутствующих с историей колониальной политики применительно к Цимлии и перечислил основные преступления все той же колониальной политики в Кении, делая особый акцент на случаях, когда Британия вела себя совсем уж некрасиво. А потом он стал призывать Франклина подняться на борьбу за освобождение Цимлии.

— Национальные движения Цимлии не так развиты, как Кенийское повстанческое движение Мау-мау, но это дело таких вот молодых людей, как вы, взять освобождение своего народа от чужеземного ига в свои руки.

Джонни наклонялся к Франклину, не сводя с юноши глаз; в левой руке он держал стакан с вином, а указательным пальцем правой целился ему в лицо как револьвером. Франклин ерзал, смущенно улыбался и потом пробормотал:

— Прошу меня извинить. — И вышел.

Ему нужно было в туалет, но выглядело это как бегство, и когда парнишка вернулся, то сразу же понес свою тарелку Фрэнсис, с улыбкой прося добавки, а на Джонни упорно не смотрел. А тот ждал его возвращения:

— На ваше поколение возложено больше ответственности, чем на какое-либо другое за всю историю Африки. Хотел бы я снова стать молодым, хотел бы я, чтобы передо мной стояли такие же грандиозные задачи, как перед вами!

Редкий случай: обычно суровые черты лица Джонни сложились в этот момент в более мягкое выражение мечтательности. Годы не проходили для него бесследно, он превращался в старого бойца, и, думала Фрэнсис, ему это должно страшно не нравиться. Каждый день, наверное, приходили известия о новых молодых вождах Революции. Бедный Джонни оказался на

полке.

В этот момент Франклин поднял стакан резким движением, которое выглядело как пародия, и произнес:

— За Революцию в Африке! — после чего упал лицом на стол, потеряв сознание.

Одновременно с этим из-за стола поднялась Джил и сказала:

— Простите, пожалуйста, но мне надо идти.

— Может, переночуешь сегодня у нас? В гостиной, вместе с Джеймсом? Вдвоем вам не будет скучно.

Джил тряхнула головой, оперлась рукой — так вышло — о плечо Фрэнсис и потом медленно осела на пол, в обмороке.

— Ну и дела! — добродушно воскликнул Джонни и с интересом стал следить за тем, как Джеффри и Колин поднимают Франклина и подносят к его губам стакан с водой, пока Фрэнсис пытается привести в чувство Джил.

Роуз на протяжении всей сцены с аппетитом ела, словно ничего не случилось. Сильвия прошептала, что хочет лечь спать, и Эндрю повел ее наверх.

Франклину помогли добраться до пустующей комнаты в цоколе, а Джил уложили в спальнике на полу гостиной. Джеймс сказал, что присмотрит за ней, но мгновенно уснул. Ночью Фрэнсис спускалась, чтобы взглянуть на Джил. Оба гостя спали. В свете неяркой лампы на лестничной площадке Джил выглядела ужасно. Ей явно нужен был уход. Очевидно, придется позвонить родителям девушки и посвятить их в происходящее — вряд ли они в курсе. И утром надо будет попросить Джил уехать домой.

Но утром Джил и след простыл. Она исчезла в бурном и полном опасностей Лондоне. А когда у Роуз поинтересовались, куда, по ее мнению, могла направиться Джил, заявила, что она ей не нянька.

Определенная нервозность существовала и в отношении Франклина, ведь ему предстояло некоторое время делить цокольную квартиру с Роуз. Ленноксы опасались, что девушке могут быть присущи расовые предрассудки («учитывая ее происхождение» — так выразился Эндрю, не желая углубляться в межклассовые отношения). Но ожидания не оправдались, совсем наоборот: Роуз была «мила» с Франклином.

— Она ведет себя с ним очень мило, — докладывал Колин. — А он считает, что она классная.

Франклин в самом деле так думал. И Роуз в самом деле так себя вела. Росла невозможная на первый взгляд дружба между добродушным, улыбчивым чернокожим юношей и озлобленной на жизнь девушкой, в которой ярость кипела и шипела жарче красных пятен на Юпитере.

Фрэнсис и ее сыновья просто диву давались. Вряд ли существовало двое более несхожих людей. Однако Роуз и Франклин населяли один и тот же моральный ландшафт — и никогда они не узнают, сколь много между ними общего.

С тех самых пор как Роуз впервые появилась в доме Ленноксов, ею завладела тихая ярость: почему эти люди называют эти вещи своими, откуда у них такое право? Огромный дом, старинная обстановка, словно из фильма, их деньги... Все это стало топливом для неизбывного жжения в ее душе, но что было первопричиной ее злобы, так это то, как легко они со всем этим обращались, принимали как должное все, чем обладали и что знали. Ни разу не сумела Роуз назвать книгу (а у нее был период, когда она проверяла их, упоминая книги, которые ни один здравомыслящий человек не взял бы в руки), которой они не читали или о которой хотя бы не слышали. Она вставала посреди гостиной, где две стены были от пола до потолка заняты книжными полками, окидывала горящим взглядом бесчисленные корешки и знала, что они прочитали их все до одной. Однажды Фрэнсис застала ее там, и Роуз, подбоченившись, спросила ее:

— Фрэнсис, вы что, вправду их все читали?

— Э-э... да... Да. Думаю, все.

— Когда? Или у вас книги были еще в детстве, у ваших родителей?

— Да, у нас имелась практически вся классика. Но в те годы она была у всех.

— Все, все... Кто эти все?

— Средний класс, — ответила Фрэнсис. Она старалась не реагировать на вызывающий тон девушки. — И большая часть рабочего класса.

— Хм! С чего вы взяли?

— Сама проверь, — сказала Фрэнсис. — Такого рода факты не трудно узнать.

— Ну и когда же у вас было время читать?

— Дай-ка подумать... — Фрэнсис вспоминала себя в прошлом, по большей части проводящей время с двумя маленькими детьми. Тогда скуку она могла развеять только чтением. И еще она вспомнила, как наставлял ее Джонни: прочитай это, прочитай то... — Джонни оказал на меня хорошее влияние, — сказала она Роуз, потому что считала, что нужно быть справедливой ко всем без исключений. — Он ведь весьма начитан, знаешь ли. Коммунисты обычно все начитаны, странно, да? Но это так. Он заставлял меня читать.

— Столько книг... — произнесла Роуз. — Ну, а у нас книг не было.

— Читать никогда не поздно, — сказала Фрэнсис. — Если хочешь,

бери любые книги, какие понравятся.

У Роуз сжимались в бессильной ярости кулаки: как просто было сделано это предложение. Что ни упомянешь, они это знают: идея, фрагмент истории... В их распоряжении был какой-то банк знаний. На любой вопрос они знают ответ.

Роуз стала брать книги с полок и читала их, но без удовольствия. Дело было не в том, что читала она медленно (а она действительно читала медленно): если уж она что-то решит, то ни за что не отступится. Читать Роуз мешал гнев, который переполнял ее и вставал между ней и фактами, которые она пыталась воспринять. Все из-за того, что эти люди владели огромным богатством с рождения, в то время как она, Роуз...

Когда Франклин приехал в Лондон и оказался посреди многообразного изобилия столицы, то несколько дней был охвачен паникой: зря он согласился на стипендию, от него ожидают слишком многого. Его отец был учителем младших классов в школе при католической миссии. Священники, заметив способного мальчика, поощряли Франклина и помогали ему, и наконец настал момент, когда они обратились к одному богачу (его имя навсегда осталось мальчику неизвестным) с просьбой включить и этого ученика в его список благодетельствованных. Дорогостоящее предприятие: два года в Сент-Джозефе и потом, если все сложится, университет.

Еще в детские годы Франклин, возвращаясь из миссии на каникулы домой, стыдился происхождения своих родителей. Он до сих пор этого стыдился. Что такое его родная деревня? Несколько тростниковых хижин посреди буша, ни электричества, ни телефона, ни водопровода, ни канализации. Ближайший магазин в пяти милях. По сравнению с деревней миссия, где основные удобства имелись, казалась вершиной цивилизации. Теперь, в Лондоне, Франклину пришлось испытать глубокое потрясение: его окружали такое богатство, такие чудеса, что миссия стала выглядеть убогим, нищим уголком. Первые дни в Лондоне он жил у одного добросердечного священника, знакомого его учителей-миссионеров, который понимал, что мальчик будет в состоянии шока, и возил его на автобусах и в подземке, водил в парки, на рынки, в большие магазины, супермаркеты, в банки, кормил в ресторанах — чтобы Франклин привыкал. Но потом настало время ехать в Сент-Джозеф, и школа показалась ему небесами обетованными. Он был очарован ее рассыпанными посреди зеленых полей зданиями, будто сошедшими со страниц волшебной книги, ее учениками — мальчиками и девочками, которые все были белыми за исключением двух нигерийцев, столь же непривычными Франклину, как и

британцы, и ее преподавателями, такими непохожими на католических отцов из миссии, такими дружелюбными, такими добрыми... Франклин до тех пор не видел от белых добра вне стен миссии. Комната Колина находилась в том же коридоре, где поселили Франклина. Юному африканцу его комната казалась дворцом, там имелось все, о чем можно было только мечтать, включая телефон. Для него это был маленький рай, но он слышал, как Колин жалуется на тесноту. А еда? Ее разнообразие, ее количество, каждый завтрак, обед или ужин — настоящее пиршество, но студенты ворчали, что меню однообразно. В миссии Франклина кормили в основном кукурузной кашей и маринованными овощами.

Постепенно во ФранкLINE росло и ширилось чувство, которое затем грозило выплеснуться из него оскорблениями и обвинениями, хотя внешне он был все тот же улыбочивый, любезный и уступчивый юноша: то несправедливо, это неправильно, почему у вас столько всего, а вы принимаете это как должное? Вот что сидело в нем, болело, жгло: эти люди не понимают, как им всем повезло. И когда Колин пригласил Франклина в гости и он оказался в огромном доме, набитом прекрасными вещами, то подумал, что это дворец. Он молча сидел, пока вокруг него все шутили и смеялись. Он наблюдал за старшим братом — Эндрю — и его бережным отношением к девушке, которая была больна, и мысленно ставил себя на ее место, представлял, что это он сидит на ее месте, между Фрэнсис и Эндрю, такими заботливыми и ласковыми. После того первого визита Франклина охватила та же паника, что и после получения стипендии. Он не справится, у него не хватит сил, в половине случаев он даже не знал, для чего предназначена та или иная вещь, будь то кухонная утварь или мебель. Но тем не менее он приезжал к Ленноксам снова и снова. Там к нему относились как к сыну. Поначалу трудновато было с Джонни. Франклин уже был знаком с доктринами, которые проповедовал Джонни, слышал подобные разговоры и решил для себя, что он не хочет иметь ничего общего с политикой. Она пугала его. Политические активисты призывали его убивать белых, но все хорошее, что случалось в его жизни, было связано с белыми священниками в миссии (несмотря на их строгость) и с неизвестным белым благодетелем, а в последнее время с добрыми людьми в новой школе и в этом доме. И все же он мучился и страдал — это была зависть, и она отравляла его. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу...

Франклин знал, что вслух не скажет и половины того, о чем думает. Мысли, теснящиеся в его голове, были опасны, их нельзя было выпускать наружу. И Роуз он также не открыл душу. Ни Роуз, ни Франклин не пустили друг друга в мрачные, ядовитые глубины своих мыслей. Но им

нравилось быть вместе.

Прошло много времени, прежде чем Франклин смог разобраться, кем приходится друг другу все эти люди, какие между ними существуют родственные связи и отношения. Его не удивляло, что за столом собиралось столько народу, чтобы поесть. Правда, в крохотном доме родителей при миссии он не видел такого: для гостеприимства там попросту не было места. Но, возвращаясь мысленно в деревню, мальчик вспоминал, что там люди как само собой разумеющееся ожидали, что в любом доме их накормят и уложат спать. Когда Франклин приезжал к бабушке на каникулы, то вокруг огромного бревна, всю ночь тлевшего посреди хижины, укладывались на ночь люди, которых он не знал и больше, возможно, никогда не увидит, — дальние родственники и просто путники. Такое щедрое тепло было присуще бедности, которой он стыдился и, что еще хуже, которую больше не понимал. «Как я смогу вернуться в деревню после учебы?» — думал Франклин, глядя на одежду Роуз, горой сваленную на ее кровати, видя то, что имеют ученики Сент-Джозефа: конца не было тому, что у них уже имелось и что они ожидали получить. А у него всего несколько предметов одежды, за которыми он бережно ухаживал, ведь его родителям пришлось так дорого за них заплатить.

И еще книги на втором этаже. В миссии у них были Библия, молитвенник и «Путь паломника», который он читал и перечитывал бесчисленное количество раз. Франклин читал газеты многомесячной давности, отложенные монахами, чтобы выстлать ими полки в кладовой миссии. Настоящим сокровищем считал он экземпляр «Детской энциклопедии», который ему посчастливилось найти в мусорной куче — выброшенный семьей белых за ненадобностью. И теперь ему казалось, будто мечты, жившие в нем с детства, воплотились в жизнь среди стен гостиной Ленноксов. Он снимал со стеллажа книгу, раскрывал ее на первых страницах, и бесценное творение пульсировало в его руках. Франклин носил книги к себе в комнату — украдкой, чтобы Роуз не заметила, потому что она как-то шокировала его замечанием: «Они только притворяются, что читают эти книги. Тут все делается напоказ». Франклину хватило выдержки, чтобы не уставиться на нее в ужасе. Он рассмеялся, так как понимал: Роуз ждет от него именно этого. Она же была его другом. Франклин сказал ей, что относится к ней как к своей сестре: он скучал по сестрам.

В этом году Рождество обещало быть настоящим, так как и Колин, и Эндрю собирались провести его дома.

Мать Софи сказала, что не хочет портить дочери праздник и что сама она отправится к сестре. Она стала жизнерадостнее, больше не плакала сутками напролет и ходила на курсы по управлению скорбью.

Поскольку у Джонни образовался перерыв между поездками, он был в Лондоне, и, значит, за Филлидой будет кому присмотреть помимо Эндрю.

Когда Фрэнсис объявила «детворе», что в доме будет отмечаться Рождество, предпраздничная веселость тут же загорелась в лицах, глазах и шутках, высмеивающих эту традицию — но высмеивающих осторожно, из уважения к детской радости Франклина. А тот дождаться не мог, когда же настанет великий день, о котором он столько читал в газетах и видел столько заманчивых сюжетов по телевизору, день, который наполнил магазины ярким многоцветьем. Но в глубине души Франклин беспокоился, потому что Рождество подразумевает подарки, а у него так мало денег. Фрэнсис заметила, что его куртка из тонкой ткани, что у него нет теплого свитера, и дала ему деньги на то, чтобы приодеться, — в качестве рождественского подарка. Франклин держал деньги в тумбочке и часто сидел на кровати, вертя в руках банкноты, как наседка на яйцах. Такая сумма была у него в руках, в его руках, и это казалось ему частью рождественского волшебства. Но однажды к нему в комнату по какому-то делу заглянула Роуз, увидела, как Франклин склоняется над тумбочкой, подскочила, выхватила деньги и пересчитала их.

— У кого ты их украл?

Ее слова настолько соответствовали тому, что Франклин с детства ожидал услышать от белого человека, что он забормотал, заикаясь:

— Но, миссус, миссус...

Роуз не знала этого слова и настаивала на ответе:

— Где ты это взял?

— Мне Фрэнсис дала, чтобы купить одежду.

Лицо девушки исказилось злобой. Ей Фрэнсис дала гораздо меньше, только на одно платье и поход к миссис Эвански. Потом она сказала:

— На одежду тебе не нужны деньги.

С деньгами в руке она сидела на краю кровати рядом с Франклином, так близко, что все подозрения юноши о том, что Роуз имеет предрассудки, рассеялись. Ни один белый человек во всей колонии, даже из числа святых отцов, не сел бы так близко к чернокожему человеку.

— Эти деньги можно потратить на другие, более интересные вещи, — сказала Роуз и с неохотой отдала купюры Франклину. Она внимательно проследила за тем, как он убирает их в глубины ящика тумбочки.

В тот же вечер к ним заглянул Джефффри и присоединился к плану Роуз

обеспечить Франклина одеждой. Когда он влился в ряды Лондонской экономической школы, то был в восторге оттого, что там считалось само собой разумеющимся воровать книги, одежду, все что угодно — в этом видели способ подорвать капиталистическую систему. Платить за что-либо? Что вы, разве можно быть таким наивным? Нет, вещи нужно не покупать, а «освободить» (это старое слово, оставшееся со времен Второй мировой, получило новый смысл).

Джефффри собирался приехать к Ленноксам на Рождество. Он заявил, что «этот праздник нужно отмечать дома», и, похоже, сам не отдал себе отчета в том, что сказал.

Джеймс сообщил, что его родители не станут возражать, если в Рождество его не будет дома, — он обещал провести с ними Новый год.

Люси из Дартингтона тоже приедет: ее родители уехали в Китай с какой-то религиозной миссией.

Дэниел сказал, что ему придется быть на Рождество дома, и попросил, чтобы ему оставили кусок пирога.

Грустное короткое письмецо пришло от Джил. Она думает о них. Они — ее единственные друзья. *«Пожалуйста, напишите мне. Пожалуйста, пришлите мне немного денег»*. Обратного адреса не указано.

Фрэнсис написала родителям Джил, спрашивая, не видели ли они ее. Она уже писала им несколькими неделями раньше, признаваясь в том, что ей не удалось удержать девочку в школе. В ответ она тогда получила следующее послание: *«Не вините себя ни в чем, миссис Леннокс. Мы тоже никогда не могли ничего с ней поделаться»*. На этот раз в их письме говорилось: *«Нет, она не сочла нужным связаться с нами. Просим известить нас в случае, если Джил появится у вас, будем признательны. В Сент-Джозефе о ней ничего не слышали. Никто ничего о ней не знает»*.

Писала Фрэнсис и родителям Роуз, чтобы сообщить об успехах их дочери в первом семестре. Они ответили: *«Вероятно, Вы этого не знали, но мы давно не получали весточки от Роуз, поэтому очень благодарны Вам за новости о ней. Из школы нам прислали копию ее оценок за первое полугодие — должно быть, вторая копия была отправлена Вам. Мы были удивлены. Раньше она гордилась (или нам так казалось) тем, что получала худшие отметки в классе»*.

Сильвия тоже хорошо успевала. Частично за это следовало благодарить Юлию, которая много занималась со своей подопечной, но в последний год эти занятия стали гораздо реже. Сильвия снова поднялась к Юлии и дрожащим от любви и слез голосом сказала:

— Пожалуйста, Юлия, не сердитесь на меня. Я не вынесу этого.

Двое растаяли в объятиях друг друга, и былая степень близости была восстановлена — почти. В меде Юлии была крошечная капелька дегтя: Сильвия сказала, что «хочет быть религиозной». Рассказ Франклина о том, как отцы-иезуиты спасли его, затронул какие-то глубинные струны ее души, и девушка решила пройти необходимое обучение и войти в лоно римско-католической церкви. Юлия сказала, что по воскресеньям ее водили к мессе, «но дальше этого не заходило». Она полагала, что в принципе может называть себя католичкой.

Сильвия, Софи и Люси провели сочельник, украшая маленькую елочку и помогая Фрэнсис готовить. На несколько часов они превратились в девочек. Фрэнсис могла бы поклясться, что эти хихикающие счастливые создания были не старше десяти-двенадцати лет. Обычно обременительный процесс приготовления еды обернулся веселым и, да, приятным делом. К ним поднялся Франклин, привлеченный веселым гомоном. Джеффри, Джеймс (они собирались спать в гостиной), потом Колин и Эндрю с готовностью чистили каштаны и замешивали фарш. И вот наконец огромная птица была обмазана маслом и водружена на противень, при всеобщем ликовании.

Так прошел день, было уже поздно, и Софи сказала, что ей нет необходимости возвращаться домой, платье для завтрашнего праздника она взяла с собой, а ее мать вполне здорова. Когда Фрэнсис укладывалась у себя в комнате спать, то слышала, что молодежь, не дожидаясь Рождества, устроила в гостиной вечеринку без взрослых. Ей подумалось о Юлии, сидящей сейчас двумя этажами выше, одинокой и знающей, что ее Сильвия с другими, а не с ней... Юлия сказала, что не спустится к праздничному обеду, но зато пригласила всех на чаепитие с настоящим рождественским пирогом, которое планировала провести в гостиной — там, где сейчас шумела и напивалась «детвора».

Утром в Рождество Фрэнсис, подобно миллионам женщин по всей земле, спустилась в кухню в одиночестве. Дверь в гостиную, заметила она по пути, была распахнута — очевидно, в целях вентиляции, — и в полумраке виднелись многочисленные силуэты на полу.

Фрэнсис села за стол с сигаретой в руках и чашкой крепкого чая, истекающего ароматами далеких холмов, где низкооплачиваемые женщины вручную собирали листочки для экзотического Запада. В доме стояла тишина... но нет, послышались чьи-то шаги, и снизу в кухню вошел Франклин, сияющий, как солнце. Юноша был одет в новую куртку, толстый свитер, и он поднял одну за другой ноги, демонстрируя новые ботинки; также он приподнял свитер, чтобы показать рубашку в клетку, а потом

поднял и рубашку, под которой обнаружилась ярко-синяя майка. Они обнялись. Фрэнсис казалось, будто перед ней воплощение Рождества, потому что Франклин был так счастлив, что начал пританцовывать и хлопать в ладоши, напевая:

— Фрэнсис, Фрэнсис, матушка Фрэнсис, вы — наша матушка, вы мне как мать.

Но все-таки Фрэнсис ощутила, что к этим бурным изъяснениям счастья примешивается чувство вины. Значит, вся новая одежда Франклина была «освобождена».

Она налила ему чаю, предложила ему тост, но юноша берег место для праздничного пира, и, когда он уселся, все еще улыбаясь, на противоположном конце стола, Фрэнсис решила, что должна немного омрачить его счастье, даже несмотря на Рождество.

— Франклин, — начала она, — я хочу, чтобы ты знал: в этой стране не все люди воры.

Тут же его лицо посерьезнело, потом лоб наморщился сомнениями, и он стал бросать косые взгляды по сторонам, будто там сидели его обвинители.

— Ничего не говори, — сказала она, — не надо. Я не виню тебя, ты понимаешь? Я просто хочу, чтобы ты знал, что мы не все ворует то, что нам понравится.

— Я верну все обратно, — выдавил Франклин. Вся его радость испарилась.

— Нет, ни в коем случае. Ты же не хочешь сесть в тюрьму? Ты только запомни то, что я говорю тебе, вот и все. Не думай, что все такие же, как... — Фрэнсис не хотелось называть имена истинных преступников, и она закончила фразу шуткой: — Не все «освобождают» товары в магазинах.

Франклин сидел, опустив глаза и кусая губы. То была восхитительная экспедиция за богатствами Оксфорд-стрит, они были втроем, объединенные духом товарищества. Теплые одежды, яркие цвета, вещи, в которых он так нуждался... Они оказывались в руках Роуз или в руках Джеффри как по волшебству и прятались в большую сумку. Сам Франклин не занимался «освобождением», только наблюдал за необыкновенной ловкостью своих компаньонов. Да, это было как путешествие в страну безграничных возможностей. Так же, как вчера Люси, Сильвия и Софи превратились в маленьких девочек, в «девчушек-хохотушек», как назвал их Колин, так и Франклин превратился в маленького мальчика и вспомнил, как далеко он от дома, как он одинок — чужак, подавленный изобилием и богатством, которых у него никогда не было.

В кухне появилась Сильвия с алыми лентами в золотистых косах — она решила, что прическа от Эвански не для нее. Она вошла и на ходу обняла Франклина, и он был так признателен ей за этот жест, воспринятый им как прощение, что снова заулыбался. Он был все еще расстроен, бросал на Фрэнсис покаянные взгляды, но благодаря Сильвии, благодаря ее легкости, ее доброте его душевное равновесие вскоре было восстановлено — ну, или почти восстановлено.

Кухня заполнялась подростками, уже страдающими от похмелья и нуждающимися в дозе алкоголя, и к тому времени, когда все расселись вокруг стола и огромная птица заняла свое место в центре, готовая пойти под нож, компания уже достигла того состояния, в котором сон неминуем. И действительно, Джеймс клевал носом над тарелкой, его пришлось будить. Франклин, опять с сияющей улыбкой, посмотрел на гору еды перед собой, подумал о своей нищей деревне, произнес про себя благодарственную молитву и начал есть. Он ел и ел. Девушки, и Сильвия в их числе, тоже налегали на угощение. Шум стоял невообразимый, потому что праздник вернул взрослеющую молодежь в детство, только Эндрю, самый старший в своем поколении, вел себя соответственно возрасту, как, впрочем, и Колин, хотя последний из всех сил старался проникнуться царящим за столом духом беззаботности и веселья. Но Колин всегда будет стоять как бы в стороне, отдельно от всех, и никакие его клоунские выходки не помогут, и он знал это.

Объятый ромовым пламенем рождественский пудинг прибыл в затемненную ради этого кухню, на часах уже было четыре, и Фрэнсис сказала, что надо проветрить гостиную наверху и прибраться там перед чаепитием у Юлии. Чаепитие? Да после такого обеда даже подумать о еде страшно! Под аккомпанемент ленивых стонов руки тянулись к блюдам, чтобы подобрать ну еще пару крошечек пудинга, обмакнуть палец в заварной крем, отломить кусок пирога.

Девушки поднялись в гостиную и сложили разбросанные по полу спальники в один угол. Они распахнули все окна, так как комната буквально провоняла. Затем они снесли вниз пустые бутылки, которые провели ночь под стульями или в углах, и выдвинули предложение: нельзя ли убедить Юлию перенести чаепитие хотя бы на один час позже? Но нет, об этом не могло быть и речи.

Джеймс не мог больше бороться со сном и чуть не падал на стол, и Джефффри сказал, что если не приляжет немедленно на полчаса, то умрет. В ответ Роуз и Франклин пригласили всех желающих спуститься к ним в цоколь и воспользоваться их кроватями, и компания распалась бы, но тут с

улицы в дом постучали.

Через минуту дверь в кухню распахнулась, и перед всеми предстал Джонни, позволивший себе ради праздника сменить суровое выражение лица на более легкомысленное, с охапкой винных бутылок в руках и в компании своего приятеля, недавно прибывшего в Лондон сценариста пролетарского происхождения — некоего Дерек Кери из Халла. Дерек был радостен, как Санта-Клаус, и имел на это полное основание, так как все еще был одурманен Лондоном, этим рогом изобилия. Блаженство началось две недели назад, в первый же день после приезда. На вечеринке после театрального представления зачарованный Дерек наблюдал издали за двумя роскошными женщинами — блондинками с аристократическим акцентом, который он сначала принял за поддельный. Он посчитал их проститутками. Но нет, это были действительно представительницы высшего света, сбегавшие отсюда ради мятых простыней и пикантных утех Свингующего Лондона. «О, мой бог, — запинаясь, обратился он к одной из них, — если бы я мог оказаться с тобой в постели, если бы ты согласилась переспать со мной, то для меня это был бы рай на земле». Он застенчиво умолк, ожидая заслуженной кары, физической ли, словесной, но вместо этого услышал: «Так и будет, дорогуша, так и будет». Потом вторая женщина одарила его французским поцелуем — у себя на родине ему пришлось бы трудиться неделями, месяцами, чтобы добиться такого. Дальше — больше, и закончилось тем, что они пошли в постель втроем. И в каждом новом месте, куда попадал Дерек, он ожидал найти и находил новые наслаждения. Сегодня вечером он был пьян (в эти сумасшедшие две недели он не успевал трезветь). Подойдя к оголившемуся скелету индейки, он присоединился к Джонни, который энергично отковыривал и глотал лоскутки мяса.

— Как я понимаю, вы не отказались бы от индейки? — сказала мужчинам Фрэнсис и вручила им по тарелке.

Дерек тут же ответил:

— О да, с огромным удовольствием.

Он наполнил свою тарелку, Джонни — свою, и они сели за стол. Колин и Эндрю ушли наверх. Бессмысленность расспросов о Филлиде («С кем она? Есть ли у нее еда?») была очевидна.

Присутствие двух мужчин положило конец веселью, и молодежь переместилась в гостиную, где Юлия уже расстелила белую кружевную скатерть и накрыла стол: изящнейший фарфор, тарелки с немецким штолленом и традиционным английским рождественским пирогом.

С гостями осталась Фрэнсис. Она сидела и смотрела, как они едят.

— Фрэнсис, мне нужно поговорить с тобой о Филлиде.

— Не обращайтесь на меня внимания, — сказал сценарист. — Я не буду слушать. Но поверьте мне, с супружескими проблемами я знаком не понаслышке. За мои грехи!

Джонни доел индейку, положил себе кусок пудинга, полил его кремом и с тарелкой в руках встал и отошел к окну, на свое обычное место.

— Так я сразу перейду к делу.

— Прощу.

— Ну-ну, не ссорьтесь, детки мои, — сказал сценарист. — Вы давно уже не муж и жена. Не нужно грубить. — Он налил себе еще вина.

— У нас с Филлидой все кончено, — объявил Джонни. — Так я сразу перейду к делу... — повторился он, — я хочу снова жениться. А возможно, мы обойдемся и без формальностей, всех этих буржуазных условностей. Я нашел настоящего товарища, это Стелла Линч, ты, наверное, помнишь ее с прошлых времен — война в Корее, те годы.

— Нет, — сказала Фрэнсис. — И что же будет с Филлидой? Только не говори, будто хочешь, чтобы она переехала сюда!

— Как раз этого я и хочу. Хочу, чтобы она поселилась в цоколе. В доме полно места. И это мой дом, о чем ты, похоже, предпочитаешь забывать.

— Не Юлии?

— По моральному праву он мой.

— Но здесь уже живет одна брошенная тобой семья.

— Ну-ну, не надо ссориться, — опять принялся увещевать их сценарист. И икнул. — Будь здоров! Извиняюсь.

— Мой ответ: нет, Джонни. Дом полон и без Филлиды, и ты, похоже, забываешь кое о чем. Если здесь появится Филлида, то Сильвия тут же уйдет.

— Тилли поступит так, как ей будет велено.

— Между прочим, ей уже исполнилось шестнадцать.

— Значит, она уже достаточно взрослая, чтобы хоть иногда навестить мать. А я что-то не вижу ее рядом с Филлидой.

— Ты знаешь не хуже меня, что Филлида начнет кричать на нее. В любом случае, сначала тебе стоит узнать, что думает по этому поводу Юлия.

— Старая ведьма. Она свихнулась.

— Нет, Джонни, она не свихнулась. И тебе лучше поторопиться, потому что скоро начнется чаепитие.

— Чаепитие? — переспросил товарищ из Халла. — О, чудненько. Чудненько, славненько. — Он посидел, раскачиваясь из стороны в сторону,

долил себе вина в недопитый еще стакан, после чего сказал: — Простите... — И заснул прямо на стуле, с раскрытым ртом.

Фрэнсис слышала у себя над головой голоса — Джонни, его матери. «Ты круглый дурак», — разобрала она слова Юлии, и вскоре Джонни скатился с лестницы, перепрыгивая по две-три ступеньки зараз. Он вернулся в кухню взъерошенный, утратив свою неизменную самоуверенность.

— У меня есть право быть с женщиной, которая станет мне настоящим товарищем, — заявил он Фрэнсис. — Впервые в жизни у меня появилась подруга, равная мне во всем.

— Ты то же самое говорил про Морин, помнишь? И, само собой, про Филлиду.

— Абсурд, — отмахнулся Джонни. — Я не мог говорить ничего подобного.

Тут сценарист очнулся, пробормотал:

— Только что разорвал брачные узы. — И снова уснул. Забежала Софи — сообщить, что чаепитие начинается.

— Оставлю вас двоих сражаться с грехами мира, — сказала Фрэнсис и вышла из кухни.

Перед тем как присоединиться к приему у Юлии, она сходила к себе, чтобы надеть новое платье и причесаться. Свершившаяся трансформация заставила Фрэнсис вспомнить, что в свое время ее считали симпатичной блондинкой. А на сцене она порой была прекрасна. И с Гарольдом Холманом в тот уикенд, кажущийся теперь невероятно далеким, она определенно могла называться красавицей.

В начале декабря на половину невестки спустилась Юлия и произнесла, смущаясь, что было совсем ей несвойственно:

— Фрэнсис, меньше всего мне хочется обидеть вас... — Она держала в руке плотный белый конверт, на котором ее каллиграфическим почерком было выведено «Фрэнсис». В конверте лежали банкноты. — Не знаю, есть ли какой-то деликатный способ сделать это... но мне было бы очень приятно... Сходите в парикмахерскую и купите к Рождеству новое платье.

Фрэнсис предпочитала носить волосы разделенными на прямой пробор, но парикмахерша (разумеется, не Эвански и не Видал Сассун, которые признавали только супермодные стрижки) сумела эту простую прическу превратить в шикарную. И никогда Фрэнсис не платила за платье столько, сколько смогла позволить себе в этот раз. Надевать его к рождественскому обеду было бы бессмысленно, ведь ей нужно было накормить дюжину человек, но теперь она нарядилась и вошла в гостиную

застенчиво, как юная девушка. Тут же посыпались комплименты и даже небольшой поклон — от Колина, который поднялся, чтобы уступить матери стул. Да, одежда определяет манеры. И еще кое-кто приложил особые усилия, чтобы выразить ей свое восхищение, — почтенный поклонник Юлии Вильгельм встал, согнулся над рукой Фрэнсис (ой, кожа еще наверное пахнет кухней!) и поцеловал воздух в миллиметре от нее.

Юлия кивнула и одобрительно улыбнулась.

— Вы балуете меня, Юлия, — сказала Фрэнсис.

Ее свекровь ответила:

— Моя дорогая, как бы я хотела, чтобы вы в самом деле узнали, что значит быть любимой и избалованной.

Затем Юлия разливала чай из серебряного чайника, а Сильвия, ее помощница, передавала куски штоллена и тяжелого рождественского пирога. Джеффри и Джеймс, Колин и Эндрю едва не падали со стульев, так им хотелось спать. Франклин наблюдал, как порхает вокруг стола Сильвия. Разговор поддерживали Вильгельм, Фрэнсис, Юлия и три девушки — Софи, Люси, Сильвия.

Возникла проблема: окна все еще стояли нараспашку, а ведь была середина зимы. Холодная свежая тьма лежала за пределами душной, пропахшей ночным буйством комнаты, где, вспоминала Юлия, она принимала послов и политиков. «И даже однажды премьер-министра». В углу темнела гора спальников, поблескивала у стены забытая бутылка.

Юлия надела к чаепитию серый бархатистый костюм с кружевами, украсила мочки ушей и шею драгоценностями, которые укоризненно вспыхивали в свете лампы. Она рассказывала о давнишних рождественских празднествах, устраиваемых в ее родительском доме в Германии, когда она была девочкой. То был четкий, суховатый рассказ, как будто Юлия не вспоминала, а читала старинную книгу, а Вильгельм Штайн слушал и кивал, подтверждая ее слова.

— Да, — произнес он, когда она закончила. — Да, да. Что ж, Юлия, дорогая моя, приходится согласиться с тем, что времена изменились.

Снизу слышался голос Джонни, ожесточенно спорящего о чем-то со сценаристом. Джеффри, который чуть было не свалился во сне со стула, поднялся и с извинениями вышел из комнаты; за ним последовал Джеймс. Фрэнсис переполнял стыд, но все же она была довольна тем, что они ушли. По крайней мере, за девочек можно было не волноваться: они не клевали носами, а сидели и держали в руках тонкие фарфоровые чашки так, будто всю жизнь только этим занимались. Но только не Роуз, нет, она забилась в угол и молча сидела там.

Юлия сказала:

— Мне кажется, окна...

Сильвия тут же поспешила закрыть их, затянула плотные гардины из расшитой парчи — за шестьдесят лет они приобрели благородный зеленовато-синий оттенок, на фоне которого синий цвет платья Фрэнсис выглядел крикливым. Как-то Роуз пригрозила, что снимет гардины и сошьет себе из них платье «как Скарлет О'Хара», и, когда Сильвия воскликнула: «Но, Роуз, Юлии это наверняка не понравится», — та сказала: «Шуток не понимаешь? У тебя что, совсем нет чувства юмора?» И была права.

Эндрю в качестве извинения за оставленное почти не тронутым угощение сказал, что да, все они — бестолковые варвары, но если бы Юлия только видела, какое количество еды они только что съели, то простила бы их.

Куски штоллена и рождественского пирога сиротливо лежали на крошечных зеленых блюдцах с розовыми бутонами по краям.

Из кухни послышался взрыв смеха. Юлия усмехнулась с иронией. В глазах ее, несмотря на улыбку, стояли слезы.

— О, Юлия, — заворковала Сильвия, подошла к ней, обняла старуху за плечи, так что ее щека легла на волны серебряных кудряшек. — Нам очень понравилось ваше чаепитие, правда, но если бы вы знали...

— Да, да, да, — сказала Юлия. — Да, я все знаю.

Она поднялась. Вильгельм Штайн тоже встал, обнял Юлию за талию, другой рукой ласково погладил ее пальцы. Они, эти двое почтенных, благовоспитанных стариков, стояли посреди гостиной, как картина в раме. Потом Юлия сказала:

— Что же, дети мои, думаю, на сегодня достаточно.

Она проследовала к выходу, опираясь на руку Вильгельма.

Никто не двинулся с места. Наконец Эндрю и Колин потянулись, зевнули. Сильвия и Софи стали собирать посуду. Роуз, Франклин и Люси пошли на кухню узнать, почему там такое веселье. Фрэнсис продолжала сидеть.

А внизу Джонни и Дерек заняли противоположные концы стола и проводили нечто вроде семинара. Джонни читал отрывки из «Пособия по Революции», которое он написал и напечатал в одном уважаемом издательстве. Книга приносила ему кое-какие деньги. Один из рецензентов выразился так: «В этом пособии есть все, чтобы оно стало бестселлером».

Вклад Дерек Кери в благополучие народов состоял в том, что на

митингах он призывал молодежь намеренно делать ошибки в анкетах во время переписи населения, уничтожать любые официальные бумаги, которые попадались им на глаза, устраиваться на работы в почтовые отделения и выбрасывать письма, а также воровать в магазинах как можно чаще. Каждый такой поступок приближал момент, когда рухнет британская государственная структура, подавляющая свободу людей. В ходе последних выборов Дерек советовал портить бюллетени и писать на них оскорбления, например: «Фашисты!» Роуз и Джеффри, испытывая потребность выделиться в глазах этого замечательного человека, рассказали о своих недавних подвигах в магазинах. Потом Роуз сбегала в цоколь и вернулась с сумками, полными украденных подарков, и стала раздавать их всем: по большей части мягкие игрушки — плюшевые тигры, панды и медведи, но была и бутылка бренди — для Джонни, и бутылка «Арманьяка» — для Дерека.

— Вот это дело, товарищ, — сказал Дерек и подмигнул по-приятельски Роуз, и этот мимолетный жест стал долгожданным дождем для ее иссушенной души, медалью за подвиги. И Джонни тоже отсалютовал ей сжатым кулаком. Никогда не видели Роуз такой счастливой, как в это Рождество.

Франклин же был подавлен, потому что он очень хотел сделать Фрэнсис какой-нибудь подарок и рассчитывал, что хотя бы одна из «освобожденных» игрушек достанется и ему, однако этого не случилось. Роуз объявила:

— А это для Фрэнсис, — и подняла в руках кенгуру с детенышем в сумке.

Она показывала ее всем, оглядываясь с довольной ухмылкой, ожидая аплодисментов, но Джеффри забрал у нее игрушку, возмущенный насмешкой над Фрэнсис. А вот Франклину кенгуру понравилась, он думал, что она стала бы прекрасным комплиментом щедрости Фрэнсис, которая была им всем как мать. Он не понял, чему так возмутился Джеффри, и потихоньку протянул руку к кенгуру. Джеффри отдал игрушку ему. После этого Франклин молча сидел за столом, доставая из сумки кенгуру детеныша и снова засовывая его обратно.

— Можно было бы завезти кенгуру в Цимлию, — сказал ему Джонни. Он поднял стакан: — За освобождение Цимлии!

Франклин отыскал на заставленном посудой столе пустой стакан, протянул его Роуз, чтобы та наполнила его, и выпил со всеми за освобождение Цимлии.

Такого рода высказывания восхищали и одновременно пугали

Франклина. Он знал о подробностях кровопролитной войны в Кении — проходил это в школе — и не понимал, почему Джонни (да и учителя в Сент-Джозефе) так настойчиво хотят, чтобы Цимлия прошла через такой же кошмар. Но сейчас, радуясь вкусной еде, выпивке и кенгуру, он благосклонно воспринял и следующий тост, провозглашенный Дерекком: «За Революцию!» — не имея понятия, правда, что это за Революция и где она происходит. Потом он сказал:

— Пойду подарю это Фрэнсис.

Лишь на полпути в гостиную Франклин вспомнил, что кенгуру была украдена и что Фрэнсис только этим утром ясно дала ему понять, как она относится к воровству. Возвращаться на кухню с игрушкой он не хотел, и вот так получилось, что в конце концов кенгуру оказалась у Сильвии, несущей в комнаты Юлии большой поднос с чайными принадлежностями.

— О, как мило, — произнесла она, когда Франклин сунул кенгуру ей под мышку, ведь руки у девушки были заняты. Однако она опустила поднос на площадку и рассмотрела подарок. — О, Франклин, кенгуру такая забавная. — И Сильвия поцеловала его и приобняла, отчего на сердце у юноши стало тепло и спокойно.

В гостиной он застал Эндрю, который спал прямо на стуле — вытянув ноги, сложив руки на животе, и Колин с Софи — эти двое устроились в обнимку на диване и тоже спали.

Франклин постоял, разглядывая их, и его настроение снова упало. Он вспомнил, каким странным казалось ему все в этой стране. Он знал, что Колин и Софи раньше «дружили», но больше не «дружат» и что у Софи есть новый «друг», который на Рождество уехал навестить родителей. Тогда почему они лежат друг у друга в объятьях, почему голова Софи покоится на плече Колина? Франклин еще ни разу не спал с девушкой. В миссии девочек не было вообще, а за мальчиками неусыпно следили святые отцы. Дома было примерно то же самое — взрослые знали о каждом его шаге. Во время визитов к бабушке и дедушке Франклин получал возможность поддразнить девушек, но не более того.

Подобно другим гостям Британии, Франклин с самого начала не мог разобраться в том, что происходит. На первый взгляд, морали в островном государстве не существовало вовсе, однако вскоре становилось понятно, что какие-то правила все же существуют, но какие? В Сент-Джозефе юноши и девушки спали друг с другом, в этом Франклин не сомневался, по крайней мере вели себя они именно так. На лугу за зданием школы в траве лежали парочки, и Франклин в одиночестве прислушивался к их смеху и, что еще хуже, к их молчанию. Ему казалось, что женщины на этом острове

доступны всем и каждому, в том числе и ему, нужно только найти правильные слова. Но однажды он наблюдал за тем, как юноша из Нигерии, только что прибывший в Сент-Джозеф, подошел к однокласснице и сказал: «Ты пустишь меня к себе в кровать, если я сделаю тебе подарок?» Она залепила ему такую затрещину, что он упал. Между прочим, Франклин, готовясь испытать удачу, перебирал в уме сходные фразы. И вот что странно: та же самая девушка лежала в обнимку с парнем из другого класса, и дверь в комнату они оставили открытой, так что все могли видеть, что между ними происходит. Никто не обратил на них внимания.

Франклин пошел к себе, остановившись на секунду у двери кухни и послушав, как Джонни наставляет молодежь относительно тактики партизанской войны, направленной на разрушение империализма. Суть лекции была близка тому, о чем недавно говорил Дерек: из их слов выходило, что основным оружием в этой борьбе было воровство в магазинах. В своей комнате Франклин сразу направился к тумбочке, в ящике которой лежали деньги. Ему показалось, что их стало меньше. Он пересчитал: да, осталось меньше половины. Стоя и заново пересчитывая купюры, он услышал, как за его спиной появилась Роуз.

— Половина денег пропала, — выпалил он.

— Это я взяла. Разве я не заслужила их? Ты бесплатно получил новую одежду. Если бы ты покупал ее за деньги, то тебе хватило бы только на дешевку. То есть ты в прибыли, верно? У тебя шикарная новая одежда и половина денег.

Франклин смотрел на нее насупившись, сердито и с подозрением. Для него эти деньги были не просто подарком от Фрэнсис, которую он считал своей второй матерью. Он воспринимал их как символ принятия его в члены семьи. Символ того, что он — часть этой семьи. Роуз была холодна и полна презрения.

— Ты ничего не понимаешь, — сказала она. — Эти деньги принадлежат мне по праву, ясно?

Франклин беспомощно пожал плечами, и она постояла еще немного, меряя его взглядом, а потом ушла.

Франклин искал место, куда бы положить оставшиеся деньги, но в этой комнате не нашлось ни одного укромного уголка. Дома он засунул бы секретный предмет между стеблей тростника, из которых сплетена крыша, или закопал бы его в земляном полу, или спрятал бы в буше. В родительском доме из стены можно было вытащить отдельные кирпичи, а потом вставить обратно. В конце концов он опять положил деньги в тумбочку. Сев на край кровати, Франклин расплакался — от тоски по

родине, от стыда перед Фрэнсис и оттого, что по-прежнему чувствовал себя неловко в обществе тех революционеров, что заседали сейчас на кухне, хотя они-то обращались к нему как к своему. Выплакавшись, он заснул ненадолго, а потом поднялся на кухню, где после ухода мужчин вся молодежь занялась уборкой и мытьем посуды. Франклин включился в процесс — с облегчением и счастливый тем, что может участвовать в общем деле. Похоже, намечался ужин, несмотря на то что все шутливо стонали при любом упоминании еды. Уже поздним вечером, часов в десять, на столе вновь появился каркас индейки в сопровождении всевозможных начинок и гарниров, а также большое блюдо жареного картофеля. Все расселись с бокалами вина, усталые, довольные собой и Рождеством, но в дверь снова постучали. Фрэнсис выглянула в окно и увидела на тротуаре женщину, явно колеблющуюся, постучать ли ей еще раз или уйти восвояси. Колин встал рядом с матерью. Они оба опасались того, что это может быть Филлида.

— Я схожу, — вызвался Колин и ушел.

Фрэнсис наблюдала за тем, как сын разговаривает с гостьей, которая слегка покачивалась. Он положил руку ей на плечо, чтобы поддержать ее, и так обнимая, провел ее в дом.

Женщина, по-видимому, долго бродила по темным улицам и теперь мигала в ярко освещенной прихожей. Из кухни пришла Фрэнсис. Незнакомка спросила у нее:

— Ты ли это, свет моей души?

Незнакомка была средних лет, но точнее определить ее возраст не удавалось, потому что лицо ее было измазано, как и прекрасной формы белые руки, которыми она вцепилась в Колина. Выглядела она как человек, только что спасшийся после пожара или катастрофы. Лицо Колина морщилось от боли, мягкосердечная юность не могла сдержать слез.

— Мама, — произнес он призывно, и Фрэнсис подошла к знакомке с другой стороны, и вместе с Колином они повели бедную бродяжку по лестнице в гостиную, где в этот момент было пусто и чисто.

— Какая чудесная комната, — сказала женщина и едва не упала на пол.

Колин и Фрэнсис уложили ее на широкий диван, и она тут же запела и стала размахивать грязными руками в такт мелодии... что это за песня? Да, точно, из какого-то старинного мюзикла:

— Я бродила и гуляла, я гуляла и бродила, и... да, шла куда глаза глядят, мои дорогие, и оказалась далеко от дома. — У нее был высокий чистый голос. Одета женщина была не бедно и на нищую не походила,

однако явно была больна. Алкоголем от нее не пахло. Она запела другую песню: — Салли... Салли... — Сладкий голосок взял высокую ноту и без усилий держал ее. — Да, дорогой, да, — сказала она Колину, — у тебя доброе сердце, я вижу. — Большие голубые глаза, невинные, даже какие-то младенчески невинные, были обращены на Колина. Ночная гостья игнорировала Фрэнсис. — Доброе, но будь осторожен. Добрые сердца приносят нам одни беды, и кто знает об этом лучше, чем Марлен?

— Вас так зовут — Марлен? — спросила Фрэнсис, взяв женщину за руку. Замызганная ладонь была холодна и безжизненна, она неподвижно лежала в ладони Фрэнсис, только изредка подрагивала.

— Мое имя потеряно, дорогая. Оно потеряно, утрачено навсегда. Но сойдет и Марлен. — И она неожиданно заговорила на немецком — какие-то уменьшительные имена, отдельные слова. Потом снова пение, обрывки песен. Песни времен Второй мировой. Среди них повторялась одна, «Лили Марлен»; песни перемежались немецкими фразами. — *Ich liebe dich*, ^[9] — сказала она им, — да, люблю.

Фрэнсис решила:

— Я схожу за Юлией.

Она поднялась на верхний этаж. Оказалось, что Юлия ужинает с Вильгельмом — за маленьким столиком, уставленным серебряной посудой и бокалами. Фрэнсис объяснила, что привело ее к свекрови в столь неурочный час, и Юлия ответила шуткой, хотя прозвучала она как обвинение:

— Еще одна бесприютная душа нашла здесь кров. У гостеприимства должны быть границы, Фрэнсис. Кто эта леди?

— Она точно не леди, — ответила Фрэнсис, — зато полностью подпадает под определение «бесприютная душа».

Когда она вернулась в гостиную, там уже появился Эндрю со стаканом воды. Он как раз подносил его к губам незнакомки.

— Я не из тех, кто любит воду, — проговорила гостья и откинулась на подушки.

Она исполнила отрывок из песенки, в которой говорилось о том, что еще один глоток не причинит ей никакого вреда. А потом снова полились немецкие фразы. Юлия внимательно слушала. Она жестом указала Вильгельму на стул, и они оба сели, бок о бок, готовые вынести суждение.

Вильгельм спросил:

— Могу я называть вас Марлен?

— Зовите меня, как вам будет угодно, дорогой мой, называйте, как вам заблагорассудится. Не словом бьют, а палкой. Меня били однажды, но это

было давно. — Гостья неожиданно всплакнула, всхлипывая как ребенок. — Было больно, — поведала она собравшимся вокруг дивана. — Было больно, но немцы были настоящими джентльменами. Они неплохие парни.

— Марлен, вы пришли к нам из больницы? — спросила Юлия.

— Да, дорогая. Я сбежала из больницы, можно сказать и так, но они примут меня обратно, примут бедняжку Молли снова. — И она запела: — Нет никого красивей Салли. Она — свет моей души... — И потом тонко и нежно: — Салли... Салли...

Юлия поднялась, движением руки разрешила Вильгельму не вставать и так же молча велела Фрэнсис следовать за ней на лестничную площадку. Колин пошел с ними. Он сказал:

— Я думаю, мы должны оставить ее у нас. Она больна, ведь так?

— Больна и безумна, — ответила Юлия. Потом добавила более деликатно, смягчая свою суровость: — Ты знаешь, кто она... кем она была?

— Даже не представляю.

— Эта женщина развлекала немецких солдат в Париже во время последней войны. Она проститутка.

Колин простонал:

— Но это же не ее вина!

Дух Шестидесятых со страстным взглядом, дрожащим голосом и протянутыми в мольбе руками противостоял сейчас прошлому человечеству, ответственному за все несправедливости мира, и воплощением человеческой расы сейчас в его глазах была Юлия, которая воскликнула:

— О, глупый мальчик! Ее вина, наша вина, их вина — какая разница? Кто будет ухаживать за ней?

Фрэнсис подумала вслух:

— Как это, интересно, англичанка оказалась в Париже, оккупированном немцами?

Совершенно неожиданно для всех Юлия отчеканила тоном, которого от нее прежде не доводилось слышать:

— Шлюхам паспорт не нужен, им всегда рады.

Фрэнсис с Колином переглянулись: в чем дело? Но со стариками такое случается: изменившийся голос, болезненная гримаса, резкость (как сейчас) — то, что осталось от былой обиды или разочарования... а потом — ничего. Все прошло, исчезло. Никто никогда не узнает...

— Нужно позвонить в клинику «Фриерн Барнет», — сказала Юлия.

— Нет, пожалуйста, не надо, — взмолился Колин.

Юлия вернулась в гостиную, перебила гостью, распевавшую «Салли»,

и наклонилась над ней с вопросом:

— Молли? Вас ведь Молли зовут? Скажите, вы из клиники «Фриерн Барнет»?

— Да. Я сбежала на Рождество. Я сбежала, чтобы повидаться с друзьями, но не знаю, где они. Что ж, Фриерн добряк, и Барнет тоже, они возьмут бедняжку Молли обратно.

— Иди и позвони, — приказала Юлия Эндрю.

Он вышел из гостиной.

— Я никого из вас не прощу, — поклялся Колин — неистовый, одинокий и отвергнутый.

— Бедный мой мальчик, — сказал Вильгельм.

— Отправить ее туда... в эту...

— В психушку, ты хочешь сказать, дорогой мой? Но это ничего, не переживай. И не сходи с ума, — со смехом закончила Молли.

Вернулся Эндрю, завершив разговор по телефону. Все уселись и стали ждать, Колин — с мокрыми глазами, и слушали, как сумасшедшая женщина на диване поет свою «Салли» снова и снова, и ее чистый голосок разбивал сердце не только у Колина.

Это печальное происшествие притушило веселье, царившее за кухонным столом. Мнения присутствующих разделились, и в конце концов компания развалилась.

Звонок в дверь. Эндрю спустился в прихожую. Вернулся он в сопровождении усталой женщины средних лет в невзрачном сером комбинезоне, а через локоть у нее была перекинута — да, смирительная рубашка.

— Ай-яй-яй, Молли, — укорила она беглянку. — Убежать от нас в такой день. Ты же знаешь, что в Рождество у нас всегда не хватает людей.

— Плохая Молли, — сказала больная женщина, поднимаясь с дивана при помощи Фрэнсис. — Противная Молли Марлен. — И она ударила себя по руке.

Сотрудница клиники оглядела свою подопечную и решила, что применять силу нет необходимости. Она обняла Молли (Марлен) за плечи и повела ее к двери, а оттуда вниз по лестнице. Все, кроме Юлии, следовали за ними.

— Прощайте-е-е... Не плачьте-е-е... — Молли обернулась лицом к тем, кто принял ее на время. — Тогда было хорошее время, — сказала она. — Самые счастливые для меня годы. Меня все любили. Они называли меня Марлен... И всегда просили спеть «Салли». — И она, напевая свою «Салли», почти повиснув на руке сотрудницы клиники, пошла к выходу.

— Это все из-за Рождества, — пояснила, уходя, женщина в сером комбинезоне. — На Рождество у них всегда плохое настроение.

Колин, заливаясь слезами, сказал матери:

— Как мы могли? Как такое возможно? В такую ночь никто не выгнал бы на улицу даже собаку.

Он взбежал по лестнице на третий этаж. Софи, услышавшая его шаги из кухни, последовала за ним, готовая утешать и успокаивать. В общем-то, ночь выдалась погожая, но дело, разумеется, было не в погоде.

На следующий день Колин поехал на автобусе в психиатрическую клинику. О заведении этом он знал только то, что оно обслуживает север Лондона. Большое, широко раскинувшееся здание могло служить декорацией к готическому роману. Колина впустили в бесконечный коридор (длиной чуть ли не в четверть мили), выкрашенный до самого потолка масляной краской тошнотворного зеленого оттенка. В конце коридора обнаружилась лестница, на ступенях которой Колин встретил ту самую женщину, что прошлой ночью приезжала за Молли-Марлен. Она сообщила ему, что Молли Смит сейчас находится в двадцать третьей палате и что Колин не должен расстраиваться, если больная не узнает его. Сегодня на сотруднице клиники вместо серого комбинезона был полиэтиленовый халат, в руках она держала стопку полотенец и сильно пахнущее мыло. Двадцать третья палата оказалась большой, с широкими окнами, светлой и полной воздуха, только нуждалась в покраске. На стенах с помощью скотча были развешаны веточки остролиста. Мужчины и женщины самых разных возрастов сидели на стульях. Одни из них смотрели в никуда, другие, судя по порывистым движениям, занимались чем-то в своей, неведомой другим людям реальности, а группка из примерно десяти человек как будто проводила чаепитие: они держали в руках кружки, передавали друг другу печенье и разговаривали. Среди них Колин нашел Молли, или Марлен. Неуклюжий и смущенный, беспомощный, как ребенок в комнате, полной взрослых, он сказал:

— Здравствуйте, вы помните меня? Вы вчера были у нас дома.

— У вас дома? Батюшки, я и не помню. Значит, я опять отправилась гулять? Иногда я хожу гулять, и тогда... но что же ты стоишь, садись. Как тебя зовут?

Колин сел на свободный стул рядом с Молли, ощущая, что все до единого пациенты смотрят на него — в надежде, что случится что-нибудь интересное. Он мучительно пытался придумать, что бы сказать, когда в палату заглянула все та же работница клиники — то ли медсестра, то ли нянечка — и объявила:

— Ванна освободилась.

Один из пациентов встал и вышел.

— Я следующая, — сказала Молли и улыбнулась Колину. В ее глазах горел слабый, но неподдельный интерес.

Колин выпалил:

— Сколько времени... то есть... вы уже давно здесь находитесь?

— О да, дорогой мой, очень давно.

Нянечка, нагруженная полотенцами и мылом, все еще стояла в дверях, как часовой на посту.

— Молли живет с нами, — сказала она. — Здесь ее дом.

— Ну да, другого дома у меня нет, — залилась веселым смехом Молли. — Иногда я убегаю побродить по свету, а потом возвращаюсь.

— Да, ты убегаешь, но вот возвращаешься не всегда, и нам приходится искать тебя, — поправила ее нянечка, тоже посмеиваясь.

Колин заставил себя высиживать целый час, и, когда решил, что уже можно уходить, что больше он не выдержит ни минуты, в палату вошла девушка — такая же смущенная, как и он. Выяснилось, что Молли стучалась и к ним в дом, только днем ранее, чем к Ленноксам.

Девушка — симпатичная, свежая как цветок, снедаемая той же неловкостью, что и Колин, — села возле него и рассказала всем о школе, в которой училась (это была одна из приличных школ для девочек из хороших семей), и ее рассказ был выслушан Молли и ее друзьями, словно это были новости из далекой Тмутаракани. Потом нянечка сказала, что настала очередь Молли мыться.

Всеобщее облегчение. Молли встала и ушла в ванную, нянечка (или медсестра?) — за ней, приговаривая:

— Ну, Молли, а теперь веди себя хорошо.

Те, кто остался, стали препираться по поводу того, кто пойдет мыться следующим: никто не хотел, потому что Молли после себя оставляла в ванной комнате настоящее болото.

— После нее там ну прям болото, — горячо заверила молодых визитеров старая, безумного вида женщина. — Можно подумать, что там гиппопотам плескался.

— А тебе откуда известно, как плещутся гиппопотамы? — осадил ее такого же безумного вида старик, вероятно, давнишний противник старухи в местных стачках. — Вечно ты суешься со своими замечаниями некстати.

— А вот и нет, я все знаю про гиппопотамов, — вскинулась сердитая старуха. — Я смотрела на них с веранды нашего дома, когда мы жили на берегу Лимпопо.

— Любой может заявить, что жил на берегах Лимпопо или там, голубого Дуная, — огрызнулся старик, — а где доказательства?

Колин и девушка, которую, как выяснилось, звали Мэнди, покинули стены лечебницы, и Колин пригласил ее домой, на ужин. За столом всем хотелось послушать о пугающей психбольнице и ее обитателях.

— Они такие же, как мы, — сказал Колин, и Мэнди горячо поддержала его:

— Да, не знаю, почему их там держат.

Позднее Колин принялся за Юлию и затем перекинулся на мать. Для взрослых и пожилых людей, побитых уже жизнью, трудно, очень трудно бывает отражать напор юных идеалистов, которые требуют от них объяснений, почему в мире так грустно жить. «Почему? Но почему же?» — хотел знать Колин. И этим история не закончилась, потому что он еще раз поехал в клинику, однако потерпел полное поражение: Молли не помнила его предыдущего визита. В конце концов он оставил ей свой адрес и номер телефона: «Если тебе что-нибудь понадобится» — и это человеку, которому нужно все и прежде всего собственный разум. Мэнди сделала то же самое.

— С твоей стороны это было глупостью, — высказалась Юлия.

— Ты хорошо поступил, — сказала Фрэнсис.

На время Мэнди влилась в компанию «детворы», собиравшейся за кухонным столом по вечерам. Никаких возражений со стороны ее родителей это не вызвало, так как оба они работали допоздна. Мэнди не заявляла, что ее родители дерьмо, только говорила, что они стараются как могут. Она была единственным ребенком. Через некоторое время родители увезли Мэнди в Нью-Йорк. Они с Колином переписывались еще много лет.

И целых двадцать лет прошло, прежде чем они снова встретились.

В восьмидесятые годы под влиянием новых идеологических веяний все психиатрические лечебницы и приюты были закрыты, а их обитатели выброшены в жизнь — учитеесь плавать или тоните. Колину пришло письмо: только «Колин» корявым неуверенным почерком и еще адрес. Он поехал в Брайтон, где и нашел Молли в одном из пансионатов, которые содержат филантропы особого рода: они предоставляют бывшим психическим пациентам жилье, отбирая у них все пособие до пенни и обеспечивая им такие условия проживания, для описания которых потребовалось бы перо Диккенса.

Молли превратилась в большую старуху — Колин ее не узнал. А вот она, казалось, помнила его.

— У него было такое доброе лицо, — сказала Молли-Марлен Смит (если только Смит было ее настоящей фамилией). — Так и скажи ему, что у

него доброе лицо, у того мальчика. Ты знаешь Колина?

Она умирала от алкоголизма. Ну да, от чего же еще? И, навещая ее снова, Колин столкнулся в пансионе с Мэнди, ставшей к тому времени энергичной американской матроной; она обзавелась ребенком или двумя и мужем — или двумя. И еще один раз они встретились — на похоронах, после чего Мэнди улетела к себе в Вашингтон, теперь уже навсегда исчезнув из жизни Колина.

В ту рождественскую ночь произошло еще одно событие.

Совсем поздно, уже далеко за полночь, Франклин прислушался к дыханию Роуз (спит ли она?) и прокрался на лестницу. В кухне было темно. Он пошел выше, мимо гостиной, на полу которой в спальниках лежали Джеффри и Джеймс. Франклин шел дальше, на следующий этаж, где, как он слышал, находилась комната Сильвии. На площадке горел свет. Он постучал — поскребся, не громче, чем кот лапой. Ни звука в ответ. Он попробовал еще раз, снова тихо-тихо. Громче он не смел. И вдруг над его головой раздался голос Эндрю:

— Что ты делаешь? Заблудился? Это комната Сильвии.

— О, о, извини. Я думал...

— Уже поздно, — перебил его бормотание Эндрю. — Ложись спать.

Франклин скатился вниз по лестнице туда, где Эндрю не мог его видеть, но не дальше, и там рухнул, сложился пополам, уткнулся головой в колени. Он плакал, но беззвучно, чтобы его никто не услышал.

Потом он почувствовал, как ему на спину легла чья-то рука, и Колин сказал:

— Бедный старина Франклин. Не обращай на Эндрю внимания. И не расстраивайся ты так из-за него. Он с рождения любит всеми командовать.

— Я люблю ее, — всхлипывал Франклин. — Я люблю Сильвию.

Колин крепче обнял Франклина и прижался щекой к его голове. Он потерся об упругую подушку волос, словно испускающих энергию здоровья и силы, как вереск.

— На самом деле ты ее не любишь, — сказал Колин. — Сильвия всего лишь маленькая девочка, понимаешь? Да, ей уже шестнадцать или семнадцать, но все равно, она... она не зрелая, понимаешь? В этом виноваты только ее родители. Все ее комплексы из-за них. — Тут он к собственному удивлению почувствовал, как в нем закипает смех, — это до него стала доходить абсурдность происходящего. Но Колин сдержался. — Все они дерьмо, — поведал он Франклину и скрыл смех притворным приступом кашля.

Франклин был озадачен как никогда:

— По-моему, твоя мать замечательная. Она так добра ко мне.

— А, это да, наверное. Но все это без толку, с Сильвией, я имею в виду. Тебе лучше влюбиться в кого-нибудь другого. Как насчет... — И Колин стал перечислять девушек из школы, рифмуя имена и складывая из них песенку: — Может быть, Джилли, а может быть, Джолли? Может быть, Милли, а может быть Молли? Может, Элизабет, а может, Маргарет? Есть и Кэролин, есть и Роберта. — Он закончил обычным своим тоном и неприятным смешком: — Про них никто не скажет, что они незрелые!

«Но я люблю Сильвию», — думал про себя Франклин. Ах, эта хрупкая, бледная девочка, с золотистыми волосами-пушинками, она очаровала его, вот если бы заключить ее в свои объятия... Он отвернул лицо от Колина и молчал. Колин ощущал под ладонью горячие и горестно вздрагивающие плечи. О, как он понимает это несчастье, как хорошо он знает, что никакие слова не утешат его товарища. Колин стал мягко покачиваться и качать вместе с собой Франклина. А Франклин думал о том, что сейчас ему больше всего хочется вернуться в Африку, немедленно, навсегда, все это для него слишком... И в то же время он понимал, что Колин искренне сочувствует ему. И Франклин нравилось сидеть вот так, пока этот добрый мальчик обнимает его.

— А не хочешь перенести ко мне свой спальный мешок, а? Уж всяко лучше, чем рядом с Роуз. И мы можем спать утром, сколько захотим.

— Да... нет, нет, я в порядке. Пойду к себе. Спасибо, Колин. «Все равно я люблю ее», — твердил он про себя.

— Тогда ладно, — сказал Колин. Он поднялся и пошел к себе, наверх.

И Франклин тоже пошел к себе — вниз. Он думал: «Утром я все выясню», — имея в виду Эндрю. Но тот ни разу не упомянул о ночном происшествии. И Сильвия так и не узнала, что однажды желания Франклина заставили его постучаться в ее дверь.

Когда Франклин добрался до цокольного этажа, там его поджидала Роуз — руки на бедрах, лицо искажено подозрениями.

— Если ты надеешься переспать с Софи, то выкини это из головы. Даже если не считать Роланда Шаттока, по ней уже сохнет Колин.

— С Софи? — выговорил удивленный Франклин.

— Хм, конечно, все вы втюрились в нее.

— Ничего подобного, — сказал Франклин. — Ты ошибаешься.

— Да неужели? — хмыкнула Роуз. — Так я тебе и поверила. — Она развернулась к юноше спиной и ушла к себе.

Роуз вовсе не была влюблена во Франклина, тут уж никаких сомнений, он ей даже не нравился, однако она была бы не против, если бы он увлекся

ею. Сестра, так он сказал. Она показала бы ему такую сестру... Не может же она отказать чернокожему парню, это ранило бы его чувства.

А Франклин забрался в постель, свернулся, сжался в комок и горько зарыдал.

Богатый на события 1968 год в доме Ленноксов, напротив, выдался очень спокойным. На смену «детворе», обитавшей в его стенах, пришли почти взрослые, серьезные люди.

Четыре года — это много... для тех, кто молод, разумеется.

Сильвия проявляла почти гениальные способности, за год выполняла двухлетний объем работы, ходила на экзамены так, будто они были приятным развлечением, друзей, по-видимому, не имела. Зато она приняла католичество, часто виделась с харизматичным иезуитом по имени отец Джек и ходила по воскресеньям в Вестминстерский собор. Она уверенно приближалась к своей цели: стать врачом.

У Эндрю тоже все было в порядке. Он часто приезжал из Кембриджа домой погостить. Его мать беспокоилась о том, почему у сына до сих пор нет подружки. Но он сказал, что многолетние наблюдения за «всеми вами» отбили у него всякую охоту заводить близкие отношения.

Колин согласился было сдать выпускные экзамены, но вдруг бросил учебу. Неделями напролет он лежал в постели и кричал «Уходите прочь!» всем, кто решался постучаться к нему. Но наступил день, когда он встал, словно ничего не случилось, и заявил, что отправляется посмотреть мир.

— Пора мне своими глазами увидеть, что делается в мире, мама.

И уехал. Открытки прилетали из Италии, Германии, Соединенных Штатов, с Кубы («*Передайте от меня Джонни, что он чокнутый. Отвратная страна*»), из Бразилии, Эквадора. Между поездками Колин заглядывал домой, был вежлив, но неразговорчив.

Софи закончила школу актерского мастерства и уже получала небольшие роли. Она приходила к Фрэнсис, чтобы пожаловаться на то, что роли ей дают за внешность. Фрэнсис не стала ей говорить, что время исправит эту несправедливость. Жила Софи с Роландом Шаттоком, который к тому времени сделал себе имя и играл Гамлета. Софи рассказывала Фрэнсис, что несчастлива с ним и что им нужно расстаться.

Фрэнсис чуть не вернулась в театр. Она фактически сказала «да» в ответ на предложение сыграть одну соблазнительную роль, но потом ей пришлось отказаться. Деньги, снова дело было в деньгах. Конечно, больше не нужно было платить за образование Колина, и Юлия сказала, что справится с расходами на университеты Сильвии и Эндрю, но однажды к

Фрэнсис пришла Сильвия с неожиданной просьбой: нельзя ли Филлиде пожить в цокольной квартире?

Вот как было дело. Джонни позвонил Сильвии и сказал, что она могла хотя бы изредка навещать свою мать.

— И простого «нет», Тилли, я от тебя не приму. Этого больше недостаточно.

Сильвия пришла к матери, которая, как оказалось, ждала ее, одетая с целью произвести впечатление уравновешенного, независимого человека, но выглядела она все равно больной. В доме нечего было есть, не было даже буханки хлеба. Джонни съехал, он жил теперь со Стеллой Линч и не давал Филлиде ни пенни и не платил за аренду квартиры. «Найди работу», — сказал он ей.

— Какую работу, Тилли? — воззвала Филлида к дочери. — Я же нездорова.

Это было очевидно.

— Почему ты не называешь меня Сильвией?

— О, я не могу. Я так и слышу, как говорила моя малышка: «Я Тилли». Ты всегда будешь для меня маленькой Тилли.

— Ты же сама дала мне имя Сильвия.

— О, Тилли, ну хорошо, я постараюсь. — И не успели они перейти к сути дела, а Филлида уже промокала глаза салфеткой. — Если бы мне можно было жить с вами, в нижнем этаже, то я бы справилась. И иногда мне дает деньги твой отец.

— Я не хочу слышать об этом человеке, — заявила Сильвия. — Он никогда не был мне отцом. Я даже не помню, как он выглядит.

Ее отцом был товарищ Алан Джонсон, не менее известный коммунист, чем Джонни. Он сражался в Испании — на самом деле — и был там ранен. Юлия, которая знала Алана в период его превращения в партийную звезду, отзывалась о нем так: «Его высочество красный бродяга — вылитый Джонни».

— Джонни думает, что я получаю от Алана больше денег, чем на самом деле. А за последние два года он мне вообще ничего не давал.

— Я же сказала, что не хочу ничего слышать о нем.

Они сидели в комнате, где почти не было мебели, так как Джонни забрал все для своей новой жизни со Стеллой. Остались маленький стол, два стула, древняя кушетка.

— У меня была такая трудная жизнь, — завела Филлида литанию на такой знакомой ноте, что Сильвия встала — это не было ни угрозой, ни тактическим ходом: ее гнал от матери страх. Она уже ощущала

зарождающуюся дрожь в груди, которая в прошлом приводила ее в беспомощное, истерическое состояние.

— Я в этом не виновата, — сказала Сильвия.

— И я тоже не виновата, — ответила Филлида тягучим голосом, который пилой вгрызался в нервы Сильвии. — Я ничего не сделала, чтобы заслужить такое отношение к себе. — Она заметила, что дочь переместилась в противоположный угол комнаты, как можно дальше от нее, поднесла руку ко рту и выглядит так, будто от ужаса ее сейчас вырвет. — Прости, — сказала Филлида. — Пожалуйста, не уходи. Сядь, Тилли... Сильвия.

Девушка вернулась, отодвинула свой стул подальше от матери, села и с холодным лицом стала ждать.

— Если бы мне разрешили поселиться в той квартире, все бы наладилось. Юлию я могу попросить, но вот Фрэнсис я боюсь, она откажет мне. Пожалуйста, попроси ты за меня.

— Откажет и будет права, — отрезала Сильвия. Люди, которые знали и любили эту очаровательную девушку, которая, как говорила Юлия, «приносит в старый дом свет и радость», сейчас не узнали бы ее.

— Но я же не виновата... — снова заняла Филлида и потом, увидев, что Сильвия подскочила и двигается к выходу, спохватилась: — Стой, стой, я не буду, прости.

— Я не вынесу, если ты будешь жаловаться и обвинять меня, — сказала Сильвия. — Как ты не понимаешь? Я не вынесу этого, мама.

Филлида попыталась улыбнуться:

— Я больше не буду, обещаю.

— Ты правда обещаешь? Я хочу закончить учебу и стать врачом. Если ты поселишься в доме и все время будешь доставать меня, то я просто сбегу. Потому что не вынесу этого, — повторила она.

Филлиду потрясла страстность, с которой это было сказано. Она вздохнула:

— Боже мой, неужели я в самом деле так ужасна?

— Да. И даже когда я была маленькой, ты постоянно твердила мне, что все твои проблемы из-за меня, что без меня ты бы делала то-то и то-то. Однажды ты сказала, что заставишь меня засунуть голову в духовку — вместе с тобой — и умереть.

— Я так сказала? Наверное, у меня были на это причины.

— Мама. — Сильвия встала. — Я ухожу. Я поговорю с Юлией и Фрэнсис. Но заботиться о тебе я не собираюсь. Не рассчитывай на меня. Потому что ты только будешь доставать меня все время.

И как раз в тот момент, когда Фрэнсис радостно решила, что навсегда бросит журналистику и тетушку Веру, а также серьезные социологические статьи, не говоря уже о приработках на стороне, которыми снабжал ее Руперт Боланд, Юлия сообщила невестке, что собирается выдавать Филлиде месячное содержание и будет «...в целом приглядывать за ней. Она не такая, как вы, Фрэнсис. Она не может жить одна. Но я предупредила Филлиду, чтобы она не беспокоила вас».

— Самое главное, чтобы она не беспокоила Сильвию.

— Сильвия считает, что справится.

— Очень на это надеюсь.

— Но если я возьму на содержание Филлиду... вы сможете платить за университет Эндрю? Вы достаточно зарабатываете?

— Конечно, достаточно.

И от театра вновь пришлось отказаться. Все это случилось летом 1964 года, а кроме того, было вот еще что: уехала Роуз. Сдав экзамены, она не стала дожидаться результатов: она и так знала, что прекрасно справилась. Роуз выбрала момент, когда Фрэнсис, Эндрю и Колин были вместе, и сделала объявление:

— У меня для вас суперновость: я уезжаю. Наконец-то вы от меня избавитесь. Обрато меня не ждите. Я поступаю в университет.

И она сбежала по лестнице. Внезапно ее не стало в доме. Они ждали, что Роуз позвонит, напишет — ничего. Квартира в цоколе была оставлена в беспорядке: на полу валяется одежда, объедки бутерброда на стуле, в ванной висят стиранные колготки. Но это было в стиле «детворы» и никакого ообого смысла в себе не несло.

Фрэнсис позвонила родителям Роуз. Нет, они ничего не зают.

— Роуз сказала, что собирается поступать в университет.

— Вот как? Что ж, наверное, когда-нибудь она найдет мнутку, чтобы поделиться с нами новостями.

Сообщать ли в полицию? В отношении Роуз это не казалось уместным. Необходимость заявлять в полицию об исчезновении Роуз, Джил и даже Дэниела, который тоже однажды пропал на несколько недель, обсуждалась долго и исключительно на базе прогрессивных принципов шестидесятых и была отвергнута. Невозможно искать помощи у этих копов, фараонов, свиней, опоры фашистской тирании (Британии). Прошел июль... август... Джеффри услышал по сарафанному радио, которое объединяло в те годы молодежь разных континентов, что Роуз якобы видели в Греции в компании с американцем-революционером.

В августе попросила крова Филлида и, будучи услышанной, заняла

цокольную квартиру. А в сентябре в доме появилась Роуз с большим черным мешком за плечами, который она сбросила на пол кухни.

— Я вернулась, — сообщила она, — со всем своим имуществом.

— Надеюсь, ты хорошо провела время, — сказала Фрэнсис.

— Отвратительно, — заявила Роуз. — Все греки дерьмо. Ладно, пойду устраюсь внизу.

— Это невозможно. Что же ты не предупредила нас? Там уже живет другой человек.

Роуз упала на стул, впервые на памяти Фрэнсис не зная, что сказать.

— Но... почему? Я же говорила... Это несправедливо!

— Ты сказала нам только, что уезжаешь. Мы подумали, что навсегда.

И ты не попыталась связаться с нами и уведомить о своих планах.

— Но это моя квартира.

— Нет, Роуз. Мне очень жаль, что так вышло.

— Тогда я поночую в гостинной.

— Нет.

— Я получила результаты экзаменов. Все сдано на «отлично».

— Поздравляю.

— Я поступлю в университет. Я пойду в Лондонскую школу экономики.

— Ты подавала заявление? Тебя уже приняли?

— О, черт.

— Твои родители ничего не знали о тебе.

— Ага, вы сговорились против меня.

Роуз сидела сторбившись, с потерянным выражением лица — редчайший случай. До нее доходило (вероятно, в первый раз, но ни в коем случае не в последний), что это ее характер привел к такому плачевному результату.

— Дерьмо, — повторила она. — Дерьмо. — Потом: — Я все сдала на «отлично».

— Мой тебе совет: спроси родителей, не согласятся ли они заплатить за обучение. Если согласятся, то обратись в школу, может, они замолвят за тебя словечко, потом уже иди в Лондонскую школу экономики. Но боюсь, в этом году ты уже опоздала.

— Пошли вы все к черту! — крикнула Роуз.

Она поднялась с трудом — как раненая птица, — подобрала свой черный мешок, дотащила себя и его до двери, вышла. Затем наступила долгая тишина. Интересно, Роуз оправляется от неожиданного удара? Что-то придумала? Но вот с грохотом захлопнулась входная дверь. Роуз не

пошла ни в школу, ни к родителям. Ее стали видеть в лондонских клубах, на демонстрациях, на политических митингах.

Не успела Филлида как следует обжиться в своем новом жилище, как появилась Джил. Это было в выходные, и Эндрю был дома. Они с Фрэнсис ужинали и пригласили Джил присоединиться к ним.

Никто не спрашивал, что она делала все это время. У нее появился шрам и на втором запястье, и выглядела она опухшей. Раньше Джил была аккуратной стройной блондиночкой, а теперь вылезала из одежды, стала бесформенной. Итак, они не расспрашивали ее, однако Джил сама рассказала. Ее поместили в психиатрическую больницу, она сбежала, потом добровольно вернулась и через некоторое время как-то незаметно для себя стала помогать персоналу с другими больными. Она решила, что излечилась, и врачи согласились.

— Как вы думаете, меня возьмут обратно в школу? Если бы мне разрешили сдать экзамены на аттестат... У меня получится, я знаю. Я даже в психушке немного занималась.

Вновь Фрэнсис пришлось говорить, что учебный год начался и уже поздно.

— Но может, вы попробуете уговорить их? — попросила Джил, и Фрэнсис попробовала, и для Джил было сделано исключение: преподаватели считали, что ей по силам сдать экзамены, если только она будет работать.

Где же ей жить? Спросили Филлиду, нельзя ли Джил занять ту комнату, где раньше жил Франклин, и Филлида сказала:

— Попрошайки не выбирают.

Но стоило Джил спуститься в цоколь, как Филлида принялась за старое: она стала изливать на нее свою неудовлетворенность жизнью. Сидя в кухне, Леннокосы слышали, как внизу раскачивается тяжелый голос Филлиды — ноет и ноет, час за часом. Уже на следующий день Джил воззвала к Сильвии, и вместе они пошли к Фрэнсис и Эндрю.

— Это невыносимо, я знаю, — сказала Сильвия. — Джил не виновата.

— Я ее не виню, — вздохнула Фрэнсис.

— Мы ее не виним, — подтвердил Эндрю.

— Я могла бы ночевать в гостиной, — сказала Джил.

— Можешь пользоваться нашей ванной, — предложил Эндрю.

Джил получила то, в чем было отказано Роуз, которая имела склонность заполнять весь дом мрачными тучами злобы и подозрений. И Юлия так отозвалась о переменах:

— Я знала. Я так и знала. Теперь мой прекрасный дом окончательно

превратился в ночлежку. Странно, что этого не случилось раньше.

— Но гостиной мы почти не пользовались, — сказал Эндрю.

— Дело не в гостиной, Эндрю.

— Понимаю, бабушка.

Вот таким было положение дел с осени шестьдесят четвертого. Эндрю периодически приезжал из Кембриджа.

Джил усердно училась, почувствовав ответственность за свою судьбу. Сильвия занималась так много, что Юлия плакала и говорила, что девочка доведет себя до истощения. Колин иногда был дома, но чаще где-то путешествовал. Фрэнсис работала у себя в комнате или в «Космо», все чаще получая (при содействии Руперта Боланда) интересные и выгодные задания. Филлида обреталась в нижнем этаже, вела себя хорошо, не мучила Сильвию, которая на всякий случай все же держалась подальше от матери.

В шестьдесят пятом году Джил помирилась с родителями и поступила в Лондонскую школу экономики, «чтобы быть со своими друзьями». Она сказала, что никогда не забудет, как доброта Ленноксов спасла ей жизнь.

— Без вас я бы пропала.

Впоследствии о Джил доходили сведения, что она погрузилась в гущу новой волны в политике; ее часто видели с Джонни и его товарищами.

Так и прошло четыре года. Наступило лето 1968 года.

Была суббота. Ни Эндрю, ни Сильвия никуда не поехали на каникулы — они занимались. Колин приехал домой и объявил, что собирается писать роман. Юлия сказала (в его отсутствие, но ему передали ее слова):

— Конечно! Любимое занятие всех неудачников!

Таким образом, первое необходимое условие для начинающих писателей — скептицизм со стороны родных и близких — было выполнено. Фрэнсис, однако, старалась держать свое мнение при себе, а Эндрю отшучивался.

Позвонил Джонни — сообщить, что заглянет.

— Готовить нам ничего не нужно, мы будем не голодны.

От такой наглости у Фрэнсис подскочило давление, однако, пока оно приходило в норму, она догадалась, что на самом деле Джонни просто хотел подольститься. Ее заинтриговало это «мы». Он не мог иметь в виду Стеллу, потому что та была в Штатах. Она уехала, чтобы присоединиться к великой битве против последнего оплота дискриминации чернокожего населения на Юге, и прославилась храбростью и организаторскими способностями. Когда срок действия ее визы подошел к концу, американские власти не горели желанием продлевать ее, и поэтому Стелле пришлось срочно выйти замуж за американца. Она позвонила Джонни

сказать, что сделала это только из соображений необходимости и что он должен понять: таков ее революционный долг. А как только битва будет выиграна, она вернется. Но потом через Атлантику потекли слухи о том, что этот брак «из соображений необходимости» складывается куда удачнее, чем союз Стеллы с Джонни. По правде говоря, их собственный брак обернулся настоящей катастрофой. Будучи гораздо младше Джонни, Стелла поначалу преклонялась перед ним, но скоро прозрела. И у нее было предостаточно времени на размышления, так как она часто оставалась одна, пока Джонни ораторствовал на митингах или уезжал с делегациями в братские страны.

Джонни и сам бы с удовольствием влился в большую американскую битву, он стремился в Америку как ребенок на праздник, куда его не пригласили. Однако ему отказывали в визе. Джонни давал окружающим понять, что причиной тому его участие в гражданской войне в Испании. Но вскоре закипела и Франция, и он появлялся на всех фронтах, которые упоминались в новостях. И все же события шестьдесят восьмого стали для него холодным душем. Повсюду уже появились новые герои, и их библии тоже были новыми. Джонни пришлось много читать. Он оказался единственным из «старой гвардии», кто вынужден был освежить в памяти содержание «Манифеста Коммунистической партии». «Да, вот это настоящий революционный труд», — бормотал он, перелистывая страницы.

Во Франции каждого героя сопровождала группа девушек, которые служили ему и спали с ним — все вместе, благодаря новому кирпичику в революционной платформе — сексуальной свободе. При Джонни не состояло ни одной девушки, и дело было не только в том, что он англичанин, но и в его возрасте: он считался стариком. Сотни тысяч активистов, которые принимали участие в уличных сражениях, стычках с полицией, бросании камней, строительстве баррикад, в сексуальных развлечениях, позднее воспринимали 1968 год как блестящую вершину достижений их молодости, но только не Джонни. Он предпочитал вообще не вспоминать о нем.

Видя, что Стелла не собирается к нему возвращаться, Джонни поселился в квартире, которую освободила Филлида, и устроил там нечто вроде коммуны. Там жили революционеры со всего света, молодые мужчины, уклоняющиеся от войны во Вьетнаме, многочисленные гости из Южной Америки. Все африканские политики тоже останавливались у Джонни.

Когда появился Джонни с компанией, то в кухне сразу стало тесно, и

те четверо, что ужинали там, почувствовали себя скучными и бесцветными по сравнению с оживленными и жизнерадостными гостями, которые только что побывали на очередном митинге. Товарищ Мо и Джонни смеялись шутке, услышанной там, и товарищ Мо пояснил Фрэнсис, обнимая ее:

— Дэнни Кон-Бендит сказал, что мы не построим социализм до тех пор, пока последний капиталист не будет повешен на кишках последнего бюрократа.

Франклин (Фрэнсис не сразу узнала этого крупного молодого человека в хорошем костюме) сказал чернокожему товарищу, пришедшему с ними:

— Это Фрэнсис, я рассказывал вам о ней, она была мне матерью. Это товарищ Мэтью, Фрэнсис. Он наш лидер.

— Считаю за честь познакомиться с вами, — произнес товарищ Мэтью без улыбки, формально, в манере прошлых лет, когда была в моде ленинская суровость (и снова будет, весьма скоро).

Было очевидно, что он смущен и что ему не нравится находиться здесь. Товарищ Мэтью хмуро стоял у стены и даже поглядывал на часы, пока Франклин здоровался с повзрослевшей «детворой». Он встал перед Сильвией, которая поднялась, замялась, но потом раскрыла руки, чтобы обнять его, и он, в ее объятиях, закрыл глаза, а когда открыл, в них стояли слезы.

— Садитесь, — пригласил всех Эндрю и придвинул к столу стулья, составленные вдоль дальней стены.

Товарищ Мэтью сел, все такой же недовольный, и опять посмотрел на часы.

Товарищ Мо, который со времени своего последнего визита к Ленноксам успел съездить в Китай и благословить Культурную революцию, теперь читал лекции в университетах мира, рассказывая о ее пользе для Китая и всего человечества. Он тоже сел и потянулся к хлебу.

Франклин пояснил Фрэнсис:

— Товарищ Мэтью мой кузен.

— Мы из одного племени, — поправил его старший товарищ.

— Да, но это звучит несколько отстало, — сказал Франклин, явно напуганный тем, что противоречит самому вождю.

— Я понимаю, что кузен — наиболее близкий по значению английский термин для описания наших родственных отношений.

Все гости расселись, за исключением Джонни. Он обратился к сыновьям:

— Вы слышали, как Дэнни Кон-Бендит только что сказал...

Его слова чуть было не вызвали у товарища Мо новый приступ хохота,

и Фрэнсис решила вмешаться:

— Спасибо, мы это поняли с первого раза. Бедный мальчик, у него было такое тяжелое детство. Отец немец, мать француженка... отсутствие денег... он был ребенком военного времени... мать растила детей одна.

Да, Фрэнсис определенно делала это намеренно, пусть и с самой невинной улыбкой, и сначала Эндрю, потом Колин засмеялись, а Джонни недовольно заметил:

— Боюсь, моя жена никогда не могла даже приблизиться к пониманию политики.

— Твоя бывшая жена, — уточнила Фрэнсис, — причем не единственная.

— А это мои сыновья, — пояснил Джонни товарищу Мэтью.

Эндрю взял свой стакан с вином и опустошил его, а Колин сказал:

— Да, выпала нам такая честь.

Трое чернокожих гостей смутились, но затем товарищ Мо, который путешествовал по миру уже лет десять или около того, добродушно засмеялся:

— Моя жена тоже винит меня во всех грехах. Она не понимает, что общее дело должно быть превыше семейных обязательств.

— Интересно, она хоть иногда видит вас? — спросила Фрэнсис.

— И рада ли она, если все-таки видит? — добавил Колин.

Товарищ Мо пристально взгляделся в Колина, но увидел лишь улыбающееся лицо.

— Все дело в моих детях, — покачал головой товарищ Мо. — Это так тяжело для меня... когда я приезжаю, то едва узнаю их.

Тем временем Сильвия варила кофе и ставила на стол кекс и печенье. По лицам гостей было видно, что они рассчитывали на большее. И, как приходилось ей делать до этого десятки раз, Фрэнсис достала из холодильника все, что там было, включая остатки ужина, и выставила на стол.

— Да садись же, — сказала она Джонни.

Он с достоинством уселся и стал накладывать себе еду.

— Ты не спрашиваешь, как дела у Филлиды, — сказала Сильвия. — Не интересуешься, как дела у моей матери.

— Да, — поддержала ее Фрэнсис, — я тоже обратила внимание.

— Как раз собирался спросить об этом, — нашелся Джонни.

Франклин перевел разговор на другую тему:

— Когда Джонни сказал, что сегодня вечером собирается к вам, я не мог упустить такой случай. Я никогда не забуду, как вы были добры ко мне.

— Ты ездил домой? — спросила Фрэнсис. — В университет ты, как я понимаю, не поступал.

— Я поступил в университет жизни, — ответил Франклин.

Джонни сказал:

— Фрэнсис, у чернокожих политических лидеров не спрашивают, чем они занимаются. Даже ты должна понимать это.

— Да, — согласился товарищ Мэтью, — сейчас такое время, что подобные вопросы лучше не задавать. — Потом он сказал: — Товарищ Джонни, не забывайте, через час я выступаю на митинге.

Товарищи Джонни, Франклин и Мо принялись за еду, глотая торопливо куски, но товарищ Мэтью отодвинул тарелку: он ел только, чтобы не умереть с голоду, пища не привлекала его.

Джонни сказал:

— Пока мы не ушли, хочу передать послание от Джеффри. Он был со мной в Париже, на баррикадах. Вам всем от него привет.

— Боже праведный, — хмыкнул Колин, — наш малыш Джеффри с его чистеньким личиком — на баррикадах!

— Он очень серьезный, стоящий товарищ, — поджал губы Джонни. — Джеффри снимает у меня угол.

— Так говорили в старинных русских романах, — сказал Эндрю. — Снимать угол — разве это по-английски?

— И он, и Дэниел. Они часто ночуют у меня. Я держу для них пару спальников. Ну что ж, нам пора, и я хочу все-таки спросить: что это затеяла Филлида?

— И что же такое она затеяла? — поинтересовалась ее дочь с такой неприязнью, что всем стала видна та, другая Сильвия. Всеобщий шок. Франклин от нервозности засмеялся. Джонни нашел в себе силы противостоять ей:

— Твоя мать занимается предсказанием судьбы. Она рекламирует свой бизнес в газетах и указывает этот адрес.

Эндрю расхохотался. Колин тоже. А потом и Фрэнсис.

— Что тут смешного? — остановил их холодный голос Сильвии.

Товарищ Мо счел, что беседа выходит за рамки светской, и попытался исправить ситуацию:

— Я как-нибудь загляну к ней, чтобы она предсказала мне будущее.

Франклин сказал:

— Если у Филлиды действительно есть дар, то, должно быть, предки хорошо к ней относятся. Моя бабушка была мудрой женщиной. Вы здесь называете таких ведьмами. Она была н'ганга.

— Шаманом, — просветил всех Джонни.

Товарищ Мэтью кивнул:

— Согласен с товарищем Джонни. Предрассудки подобного рода реакционны и должны быть запрещены. — Он встал, чтобы уйти.

— Если Филлида зарабатывает этим деньги, то я буду только рада, уж не обессудь, Джонни, — сказала Фрэнсис.

Джонни тоже встал из-за стола.

— Пойдемте, товарищи, — призвал он своих спутников. — Нам пора.

Но перед уходом он на секунду задержался и, желая, чтобы последнее слово осталось за ним, распорядился:

— Скажи Юлии, чтобы она поговорила с Филлидой и запретила ей заниматься этой ерундой.

Но Фрэнсис не рассердилась, ей было жаль Джонни. Он выглядел постаревшим — ну да, и ему, и ей уже почти по полвека. Военного кроя френч сидел на Джонни слишком свободно. По его поникшему виду Фрэнсис догадывалась, что в Париже для него не все сложилось удачно. «Для него все кончено, — подумала она. — И для меня тоже».

Как же она ошибалась насчет них обоих.

Совсем близко уже были семидесятые, которые породили целую расу клонов Че Гевары с одного конца мира (некоммунистического) до другого и превратили университеты, особенно лондонские, в почти непрерывное торжество Революции с демонстрациями, бунтами, сидячими забастовками, всевозможного рода сражениями. Повсюду, куда ни глянь, были новые герои, а Джонни стал величественным стариком, и тот факт, что он на протяжении всей своей карьеры оставался сталинистом, придавал ему особый шик среди тех молодых, которые почти верили в то, что если бы Троцкий выиграл у Сталина борьбу за власть, то коммунизм сохранил бы лицо. И был у него еще один недостаток, из-за которого его антураж состоял исключительно из юношей, а не из обожающих его девушек: его стиль не соответствовал духу времени. Вот как надо было вести себя: товарищ Томми, или Билли, или Джимми призывает девицу небрежным движением пальца и заявляет ей: «Ты — буржуазное отродье». Откуда следовало: оставь все, что имеешь, и иди со мной (а точнее: отдай все, что имеешь, мне). И так по сей день. Неотразимо. И есть кое-что похуже. Если раньше добродетелью считалась чистота, то теперь грязь и запах ценятся наравне с партийным билетом. Чего от Джонни нельзя было ждать, так это дурно пахнущих объятий, ведь воспитан он был Юлией, а точнее — ее слугами. Лексикон — да, тут он мог шагать в ногу со временем. «Дерьмо» и «трахать», «продажные» и «фашист» — добрая часть любой

политической речи должна была состоять из этих слов.

Но до всех этих сомнительных удовольствий надо было еще дожить.

Вильгельм Штайн, который так часто поднимался по лестнице на пути к Юлии, церемонно кланяясь всем, кто ему встречался, этим вечером постучался в дверь кухни, дождался, когда ему ответили: «Входите», и вошел с элегантным кивком-приветствием. Серебристо-белые волосы и борода, трость с серебряным набалдашником, его костюм, даже оправа его очков — весь его вид до кончиков ботинок был укором кухне и тем троим, что сидели за столом, ужинали.

Получив приглашение садиться от Фрэнсис, Эндрю и Колина, Штайн опустил на стул и поставил трость вертикально сбоку от себя, придерживая ее безупречно ухоженной правой рукой, на которой поблескивало кольцо с темно-синим камнем.

— Я взял на себя смелость обратиться к вам, и подтолкнула меня к этому обеспокоенность состоянием Юлии, — начал он, оглядывая их одного за другим, дабы донести до каждого важность темы. Все трое ждали продолжения. — Ваша бабушка нездорова, — сказал он младшему поколению Ленноксов и потом Фрэнсис: — Я прекрасно осознаю, как трудно убедить Юлию делать то, что необходимо для ее же пользы.

Три пары глаз взирали на гостя с выражением, которое говорило Вильгельму, что напрасно он возлагал на этот разговор какие-либо надежды. Он вздохнул, чуть привстал уже, но передумал и кашлянул.

— Разумеется, мои слова ни в коем случае не означают, будто я считаю, что вы невнимательны к Юлии.

Отвечать ему стал Колин. Он вырос и превратился в высокого полного юношу, но лицо его оставалось по-детски круглым. Казалось, что только очки в тяжелой черной оправе удерживают Колина от того, чтобы он не разразился сардоническим смехом, как это часто бывало.

— Мне известно, что бабушка несчастлива, — сказал он. — Нам всем это известно.

— Лично мне кажется, что она больна.

Горе Юлии состояло в том, что она потеряла Сильвию. Да, девушка по-прежнему жила в доме, это был ее дом, но ряд событий заставил Юлию прийти к выводу, что на этот раз их отдаление друг от друга необратимо. Не может быть, чтобы Вильгельм не понимал этого!

Эндрю сказал:

— Юлия горюет из-за Сильвии. Только и всего.

— Я не настолько глуп, чтобы не заметить переживаний Юлии. Но это

далеко не все.

Разочарованный, Штайн поднялся, на этот раз без колебаний.

— Что вы хотели нам сказать? — спросила Фрэнсис.

— Юлии нельзя подолгу быть одной. Она должна чаще гулять. В последнее время она очень редко выходит из дома, а я настаиваю, что дело отнюдь не в ее возрасте. Я на десять лет старше нее, но я же не сдался. А вот Юлия, боюсь, сдалась.

Фрэнсис думала о том, что все эти годы Юлия ни разу не сказала «да» на все их приглашения поужинать вместе, погулять или сходить на спектакль, на выставку. «Благодарю вас, Фрэнсис, вы так добры» — таков был неизменный ответ.

— Я хочу попросить вашего разрешения подарить Юлии собаку. Нет-нет, не какого-нибудь огромного пса, а маленькую собачку. Тогда Юлии придется водить ее на прогулку и заботиться о ней.

Обведя взглядом лица всех троих, Вильгельм вновь убедился в том, что его собеседники не откроют ему своих истинных мыслей.

(Неужели пожилой джентльмен на самом деле полагает, что какая-то собачонка заполнит пустоту, образовавшуюся в жизни Юлии? Надо же предложить такую замену: Сильвию на собаку!)

— Конечно же, подарите Юлии собаку, — согласилась Фрэнсис, — если вы считаете, что ей это понравится.

Тогда Вильгельм, который только что признался им в том, о чем они никогда бы сами не догадались, а именно: что ему за восемьдесят, сказал:

— Вопрос не в том, что я считаю полезным для Юлии, а что нет. Должен сказать вам... Я в полном отчаянии. — Вдруг вся важность, вся серьезность его манер, его стиля пропала, и Ленноксы увидели перед собой смиренного старика в слезах, исчезающих в бороде. — Для вас не является, конечно же, секретом, что я весьма привязан к Юлии. Мне невыносимо видеть ее в таком... в таком... — И он вышел. — Простите... вы должны извинить меня.

Фрэнсис проговорила задумчиво:

— Интересно, кто первый откажется присматривать за этой собакой?

В следующий свой визит Вильгельм прибыл с крошечным терьером, которого он уже назвал Штукшель — «ключок», «мелочь» — и которому повязал на шею в качестве шутки голубую ленточку. Поначалу Юлия инстинктивно отпрянула от животного, которое суетилось вокруг ее юбки, но потом, видя, как хочет ее старый друг убедиться, что его подарок причелся по душе, она заставила себя погладить собаку и попыталась успокоить ее. Ее притворства хватило на то, чтобы Вильгельм поверил: она

сможет научиться любить это создание, но когда он ушел, предоставив ей заниматься едой для собаки и устраивать ей туалет, Юлия села дрожа в кресло и подумала: «Это самый близкий мне человек, и он так плохо знает меня, что решил, будто я хочу завести собаку».

Последовали полные неприятных забот дни: кормление, загаженные полы, запахи и беспокойное, надоедливое существо, которое скулило и тявкало, доводя Юлию до слез. «Как он мог?» — срывалось с ее губ не раз и не два, и, когда Вильгельм навестил Юлию, желая посмотреть, как идут дела, ее чрезмерная любезность открыла Штайну глаза на то, какую большую ошибку он совершил.

— Но, дорогая моя, это будет так полезно для тебя — ходить с ним каждый день на прогулку. Как ты его назвала? Тявка? Понятно. — И Вильгельм ушел, страшно разобидевшись, так что теперь Юлии придется тревожиться еще и о нем.

Терьер, чувствуя, что хозяйка ненавидит его, нашел дорогу к Колину, а тот полюбил забавную собачонку — она смешила его. Тявка был переименован в Злюку, потому что этот миниатюрный зверек рычал и подпрыгивал, защищая себя, и скалил угрожающе челюсти величиной со щипчики для сахара из сервиза Юлии. У него были лапки как комочки ваты, глаза как блестящие семечки папайи и хвостик — завиток серебристого шелка. Злюка повсюду ходил за Колином. Вот так собака, которая изначально предназначалась Юлии, стала полезной для Колина, который не умел заводить друзей, ходил гулять в одиночку и слишком много пил. Не то чтобы пьянствовал, но все же Фрэнсис рискнула сказать сыну, что ее это беспокоит. Он вскинулся: «Мне не нравится, когда за мной шпионят». На самом же деле Колина угнетало осознание того, что ему приходится жить за счет бабушки и матери. Он написал два романа, которые, как он сам понимал, ничего из себя не представляли, и работал над третьим, имея в качестве ментора Вильгельма Штайна. Колина порадовал тот факт, что старший брат тоже вернулся на положение иждивенца. Хорошо сдал экзамены, Эндрю снял жилье вместе с несколькими начинающими юристами, но потом решил, что хочет заняться международным правом, и вернулся домой, чтобы пройти двухгодичный курс обучения в Оксфорде.

Сильвия стала ординатором — гораздо раньше, чем большинство ее сверстников, — и работала сутками. Когда она все-таки добиралась домой, то в состоянии транса поднималась по лестнице, не видя никого и ничего, и засыпала, еще не дойдя до кровати. Она могла проспать десять-двенадцать часов, потом принимала ванну и снова уходила. Зачастую она даже не

заходила поздороваться с Юлией, что уж говорить о поцелуе на ночь.

Но было и кое-что еще. Отец Сильвии, ее родной отец, товарищ Алан Джонсон, умер и оставил дочери деньги, довольно большую сумму. Об этом сообщалось в официальном извещении от юриста, которое сопровождало предсмертное письмо отца, написанное, судя по всему, в состоянии опьянения. Джонсон писал, что под конец жизни понял, что единственным его достижением является она, Тилли. «Ты — мое наследие миру». Собственно наследство он, очевидно, считал лишь презренным материальным довеском. Сильвия не могла припомнить, чтобы виделась с отцом хоть раз.

Она забежала к Юлии, чтобы сообщить новость и сказать: «Вы были очень добры ко мне, но больше я не нуждаюсь в подачках». Юлия только сжала руки и вздрогнула, как будто Сильвия ударила ее. Бестактность была вызвана усталостью, Сильвия была сама не своя. Ее организм не был создан для длительного перенапряжения и физических нагрузок, она все еще оставалась очень худенькой, большие голубые глаза почти всегда были красноватыми от недосыпа. И ее мучил кашель.

Вильгельм встретил как-то на лестнице Сильвию, которая поднималась к себе после недели в больнице, и попросил врачебного совета насчет Юлии, но девушка ответила: «Извините, гериатрией я еще не занималась», — и протиснулась мимо него, стремясь поскорее очутиться в кровати.

Юлия слышала их краткий разговор, потому что стояла в этот момент на верхней площадке. Гериатрия. Она вспоминала, думала, страдала; в ее параноидальном состоянии (по-иному ее состояние не назвать) все воспринималось как враждебность. Ей казалось, что Сильвия настроена против нее.

Сильвия прочитала письмо юриста в тот самый момент, когда хотела спать как пленник, которого пытали лишением сна, или как мать, измученная беспокойным младенцем. Она спустилась к Филлиде с письмом в руке. Мать встретила ее в кимоно, расшитом астральными знаками, и саркастическим:

— Чем обязана чести видеть...

— Мама, он тебе оставил денег? — перебила Сильвия Филлиду.

— Кто? О чем ты говоришь?

— Мой отец. Он оставил мне деньги.

Тут же лицо Филлиды взорвалось яростью, и Сильвия поморщилась:

— Ты только выслушай меня, это все, о чем я тебя прошу, только выслушай.

Но Филлиду уже несло, ее голос нарастал, накатывал и опадал в жалостливом речитативе:

— Так значит, я для него ничто, конечно, кто со мной станет считаться, он оставил деньги тебе...

Сильвия дотащилась до стула, упала на него и провалилась в сон. Она так и сидела там, обмякшая, покинувшая на время суету этого мира.

Филлида заподозрила, что это обман или какая-то ловушка. Она взгляделась в дочь, даже приподняла и уронила вялую руку Сильвии. Потом тяжело осела — удивленная, даже потрясенная — настолько, что умолкла. Она знала, как много работает Сильвия, всем известно, каково приходится молодым врачам... но чтобы заснуть вот так, посреди фразы...

Филлида подобрала письмо, упавшее на пол, прочитала его и, с листком в руке, задумалась. У нее не было возможности спокойно посмотреть — по-настоящему посмотреть — на дочь уже бог знает сколько лет. Зато сейчас она увидела все. Тилли так бледна, так худа, измождена просто — ужас что требуют от начинающих медиков, за такие нагрузки должны платить...

Все эти новые для Филлиды мысли текли в тишине. Плотные занавеси на окнах задернуты, в доме ни звука. Может, нужно разбудить Тилли? Не опоздает ли она на работу? Это лицо — оно совсем не похоже на ее лицо, лицо матери. Губы у Тилли — копия отцовских, розовые и нежные. Да, розовый и нежный — отличные эпитеты для описания товарища Алана, и пусть все называют его героем. Она дважды выходила замуж, и оба раза за коммунистов-героев. Спрашивается, и где была ее голова, а? (Эта до сей поры не свойственная Филлиде самокритика вскоре приведет ее в психотерапию и затем в новую жизнь.)

Зачем Тилли пришла к ней рассказать про отцовское наследство — похвастаться? Поиздеваться? Однако в глубине души Филлида понимала, что это не так. У Сильвии полно странных идей и причуд, и она ненавидит свою мать, но Филлида никогда не замечала в ней мстительности или зловредности.

Сильвия внезапно проснулась и подумала, что ей снится кошмар. Лицо матери — грубое, красное, с безумным обвиняющим взглядом — висело над ней в паре дюймов, и через миг зазвучит этот голос, как всегда, он будет зудеть, бить ей по нервам. «Ты разрушила мою жизнь. Если бы тебя не было, моя жизнь была бы... Ты — мое проклятие, камень на моей шее...»

Она вскрикнула и оттолкнула мать, потом привстала. Увидела письмо в руке Филлиды и выхватила его.

— А теперь послушай меня, мама, — сказала Сильвия, выпрямившись. — Только не говори ничего, ни слова, прошу тебя, это несправедливо, что все деньги он оставил мне, я отдам тебе половину. С юристом я сама поговорю. — И девушка выбежала из комнаты, зажимая уши ладонями.

Посоветовавшись с Эндрю, Сильвия отдала распоряжения юристам, и все было сделано, как она обещала матери. Филлида получила половину денег Джонсона, и для Сильвии это означало, что приличное состояние превратилось в полезную сумму, достаточную, чтобы купить дом. Это давало уверенность. Эндрю сказал, что ей следует обратиться к консультанту по финансам.

Внезапно осталась лишь одна статья расхода на образование — плата за учебу Эндрю. Фрэнсис пообещала себе, что, если ей еще раз предложат роль, она согласится.

Вновь в дверь кухни постучался Вильгельм, но на этот раз доктор Штайн был улыбочив и самодоволен как мальчишка. Случилось это все так же воскресным вечером, когда Фрэнсис с двумя сыновьями ужинали — по-семейному.

— У меня новость, — объявил Вильгельм, обращаясь к Фрэнсис. — Вернее, у нас с Колином новость. — Он достал письмо и помахал им. — Колин, хочешь сам зачитать это вслух?.. Нет? Тогда я сам.

И он прочитал вслух письмо от уважаемого издательства, в котором говорилось, что роман Колина «Пасынок» будет в ближайшем будущем напечатан и что на него возлагаются большие надежды.

Поцелуи, объятия, поздравления. Колин был так счастлив, что не мог внятно объяснить, что и как. А дело обстояло следующим образом: Вильгельм прочитал и раскритиковал две первые пробы пера Колина, но третий роман получил его одобрение, и он нашел издателя — своего друга. Так что они уже давно ждали письма. Так долгое ученичество Колина у собственного терпения и упрямства закончилось. Пока все целовались и восклицали, и обнимались, маленькая собачонка прыгала у людей между ног и оголтело тявкала, доходя до истерики от желания принять участие во всеобщем ликовании. Наконец она умудрилась взобраться Колину на плечо и стояла там, размахивая своим хвостом-закорючкой, едва не сбрасывая с хозяина очки.

— Злюка, брысь! — прикрикнул на терьера Колин, и наконец эмоции захлестнули его, со смехом и слезами он вскочил, закричал: — Злюка, Злюка... — И бросился по лестнице к себе, прижимая собачку к груди.

— Замечательно, — заключил Вильгельм Штайн, — замечательно, — и, поцеловав воздух над рукой Фрэнсис, удалился с улыбкой к Юлии, которая, услышав принесенную другом новость, посидела молча некоторое время и потом сказала:

— Значит, я ошибалась. Я очень сильно ошибалась.

И Вильгельм, зная, как не нравится Юлии ошибаться, отвернулся, чтобы не видеть следы самопорицания в ее глазах. Он налил два стакана мадеры, потратив на это как можно больше времени, и заметил:

— У Колина талант, Юлия. Но что еще важнее, он умеет трудиться.

— Тогда мне следует извиниться перед ним за мои нелюбезные слова.

— Возможно, ты согласишься пойти со мной завтра в «Космо»? Небольшая прогулка, Юлия, не повредит тебе.

Юлия на следующий же день попросила у Колина прощения, и внук, видя ее смятение и огорчение, не пожалел времени и стараний, чтобы заверить бабушку в том, что ее извинения приняты. Затем, продев руку в перчатке под локоть Вильгельма, Юлия прошествовала с холма в «Космо», где старый друг осыпал ее пирожными и комплиментами, пока вокруг них пылало пламя политических дебатов.

Фрэнсис прочтала «Пасынка» и передала книгу Эндрю, который позднее так отозвался о романе:

— Интересно. Весьма интересно.

Много лет назад Фрэнсис приходилось сидеть и выслушивать обвинения Колина в адрес ее самой и его отца, неистовые и безжалостные, после чего она чувствовала себя словно обожженной потоками лавы. Роман сына был эссенцией того гнева. По сюжету мать маленького мальчика вторично выходит замуж за жулика, пройдоху с ловко подвешенным языком, который прячет свои преступления за завесой убедительной лжи, сулящей всевозможные райские наслаждения. По отношению к пасынку он ведет себя или равнодушно, или неприязненно. Каждый раз, когда мальчик начинает верить, что его мучитель исчез навсегда, тот появляется снова, и мать снова подпадает под чары его слов. Потому что да, этот жулик был по своему обаятелен. Повествование, построенное в форме разговоров мальчика с его воображаемым другом, единственным компаньоном одинокого ребенка, было печально и иногда забавно благодаря тому, что своеобразное видение ребенка в глазах взрослого читателя интерпретируется как гротеск или искажение — почти кошмарные сцены на самом деле были обыденны и даже безвкусны (вроде театра теней). Рецензент в издательстве назвал роман небольшим шедевром, и, вероятно, так оно и было. Но мать и старший брат находили в книге больше, чем

сотрудники издательства: они видели горькое несчастье, от которого рассказчик сумел дистанцироваться магией своего мастерства. Своей книгой Колин показал, что он повзрослел, и Эндрю заметил матери:

— Ты знаешь, мой младший братишка перерос меня. Не думаю, что смог бы достичь такой степени беспристрастности.

— Неужели все было так плохо? — спрашивала Фрэнсис у Колина и боялась услышать ответ. А ответом было:

— Да, было ужасно, вряд ли ты поймешь... Хуже, чем он, отцов, наверное, не бывает.

— Он же не бил вас, — слабо возражала Фрэнсис, пытаясь отыскать в прошлом светлые краски.

Эндрю ответил, что есть вещи похуже битья.

Но когда было решено, что издание «Пасынка» следует отметить праздничным ужином, Колин сам добавил отца к списку гостей.

Итак, большой стол снова соберет «всех» вокруг себя.

— Я позвал всех, — сказал Колин.

Софи была первой, кого пригласили и кто принял приглашение. Джеффри, Дэниел и Джеймс, все обитавшие в квартире-коммуне у Джонни, сказали, что придут, но позже назначенного часа — митинг. Джонни сказал то же самое. Джил, с которой Колин столкнулся на улице, обещала зайти. Юлия заявила, что никто не захочет видеть за столом скучную старуху, и Вильгельм пожурил ее:

— Моя дражайшая Юлия, ты знаешь, что это не так.

Стол накрыли на одиннадцать человек. Вильгельм принес удивительный и абсолютно неанглийский торт: в форме пухлой спирали с поверхностью, похожей на хрупкий блестящий тюль, — из крема и меренг. Сверху торт был усыпан золотыми блестками. Софи сказала, что такой торт нужно носить, а не есть.

Сели ужинать, когда половина мест еще пустовала, и потом влетела Софи, в сопровождении Роланда. Красивый молодой актер, источая волны обаяния на каждого из присутствующих, сказал:

— Нет, я не буду садиться, забежал только поздравить тебя, Колин. Как тебе известно, я неисправимый честолюбец, и если ты собираешься стать великим писателем, то мне необходимо быть с тобой на дружеской ноге. — Он поцеловал Фрэнсис, потом Эндрю (который был насмешлив), потряс руку Колину, склонился над рукой Юлии и отвесил пышный поклон Вильгельму. — До вечера, дорогая, — сказал он Софи и потом: — Через двадцать минут я должен быть на сцене.

Все услышали, как за окном взревел автомобиль и умчался вдаль.

Софи и Колин сели рядом. Они целовались, обнимались, терлись щеками, и, глядя на них, нельзя было не помечтать о том, как Софи наконец оставит Роланда, который сделал ее такой несчастной, и тогда они с Колином могли бы...

Были провозглашены тосты, подана еда. Ужин был в самом разгаре, когда вошла Сильвия. Как всегда, она была едва жива от усталости — вот-вот упадет, и все понимали, что скоро ее нужно отпустить спать. Она привела с собой молодого коллегу, которого представила как еще одну жертву системы. Оба сели, приняли стаканы с вином, позволили, чтобы им на тарелку положили еды, но было заметно, что глаза у них закрывались.

Фрэнсис сказала:

— Шли бы вы спать. — И они поднялись как привидения и побрели наверх.

— Очень странная система, — раздался резкий голос Юлии, в котором в те дни все сильнее звучали грусть и недовольство. — Разве можно доводить молодых людей до такого состояния?

Джил пришла поздно с обилием извинений. Она теперь стала полной женщиной с ореолом желтых кудряшек на голове и одевалась с намерением произвести впечатление компетентного и публичного человека — причины этого прояснились, когда она сказала, что на следующий год собирается выставить свою кандидатуру на муниципальных выборах. Джил была многословна, все повторяла, как замечательно снова оказаться в этой кухне (жила она в четверти мили от Ленноксов). Никто не спрашивал, но тем не менее она рассказала о том, что Роуз работает журналисткой и «очень активна политически».

Юлия поинтересовалась:

— Могу я узнать, какая тема является для нее основной?

Не понимая вопроса, поскольку тема могла быть только одна — Революция, Джил сказала, что Роуз занимается «всем».

Ужин проходил под оживленную беседу. Уже к десерту появился Джонни — еще более суровый и не улыбочивый. Он был одет в камуфляжную военную куртку с плотной черной водолазкой и черные джинсы; седые волосы подстрижены коротким «бобриком». Джонни протянул (как выстрелил) руку Колину, кивнул, сказал:

— Поздравляю. — И своей матери: — Мутти, надеюсь, здорова?

— Здорова, — ответила Юлия.

Джонни — Вильгельму:

— А, и вы здесь? Прекрасно.

Он кивнул Фрэнсис. Эндрю он сказал:

— Рад был узнать, что ты взялся за международное право. Это может оказаться весьма полезным.

Он узнал Софи и кивнул ей, а Джил, с которой был хорошо знаком, поприветствовал товарищеским салютом.

Он сел за стол, и Фрэнсис наполнила его тарелку. Вильгельм налил ему вина, и товарищ Джонни поднял свой бокал за рабочих всего мира и затем продолжил речью, которую только что произнес на митинге. Сначала, однако, он передал извинения от Джеффри, Джеймса и Дэниела, которые уверены, что все поймут: интересы революционной борьбы превыше всего. Американский империализм... военно-промышленный комплекс... лакейская роль Британии... война во Вьетнаме...

Тут его перебила Юлия, которая переживала из-за вьетнамской войны:

— Джонни, нельзя ли поподробнее об этом... Какие-нибудь детали... Мне бы очень хотелось понять: ради чего вообще ведется война?

— Ради чего? Разумеется, ты и сама прекрасно знаешь, Мутти. Ради прибыли. — И он продолжал ораторствовать, делая паузы лишь для того, чтобы забросить одну-две ложки в рот.

Конец лекции положил Колин:

— Подожди с этим. Остановись хоть на минуту. Ты читал мою книгу? Ты ничего не сказал.

Джонни отложил нож и вилку и сурово взглянул на сына.

— Да, читал.

— Ну, так что ты думаешь о ней?

Прямолинейность вопроса напугала Фрэнсис, и Эндрю, и Юлию. Им казалось, что Колин решил ткнуть палкой в относительно мирно настроенного льва. И то, чего они опасались, произошло. Джонни сказал:

— Колин, если ты действительно желаешь услышать мое мнение, я выскажу его, но прежде всего вот моя принципиальная позиция: меня не интересуют побочные продукты догнивающей системы, а твой роман — не что иное, как такой продукт. Это субъективная, сугубо личная книга, в которой не сделано даже попытки выстроить события в политической перспективе. Все подобные произведения, так называемая литература — мусор капитализма, и все писатели вроде тебя — буржуазные лакеи.

— Ох, да заткнись же, — не выдержала Фрэнсис. — Хоть раз мог бы вести себя как человек.

— Да? В этой фразе вся ты, Фрэнсис: «Как человек». А для чего, потвоему, мы с товарищами трудимся, как не ради блага всего человечества?

— Отец, — сказал Колин, который уже был бледен и растроен. — Я просто хочу знать, что ты думаешь о моей книге, только без всей этой

пропаганды.

Отец и сын склонились друг к другу через стол. Колин выглядел как человек, которому угрожают физической расправой, а его отец — торжествующим и правым. Узнал ли он себя в книге? Скорее всего, нет.

— Я же сказал. Я читал книгу. И я как раз объяснял тебе, что о ней думаю. Если есть одна группа людей, которых я презираю, так это либералы. А ты — либерал, все вы либералы. Наемные писаки, порожденные тухлой капиталистической системой.

Колин встал и вышел из кухни. Слышно было, как он, спотыкаясь, бросился вверх по ступеням. Юлия заявила:

— А теперь уходи, Джонни. Немедленно.

Джонни сел, задумавшись. Неужели ему в голову пришла мысль, что, возможно, нужно было вести себя как-то иначе? Он быстро побросал в рот то, что оставалось на тарелке, выпил залпом вино и сказал:

— Отлично, Мутти. Ты выгоняешь меня из моего собственного дома.

Он поднялся, и через секунду хлопнула входная дверь.

Софи была в слезах. Она выскочила, чтобы найти Колика, со словами:

— О, это было ужасно.

Джил произнесла посреди всеобщего молчания:

— Но он такой необыкновенный человек, он такой замечательный... — Она огляделась, не увидела ничего, кроме подавленности и негодования, и сказала: — Я, пожалуй, пойду. — Никто ее не останавливал. Джил добавила: — Большое спасибо за то, что пригласили меня.

Фрэнсис изобразила попытку нарезать торт, но Юлия уже вставала, Вильгельм помогал ей.

— Мне так стыдно, — говорила она. — Мне так стыдно. — И, плача, она в сопровождении Вильгельма ушла к себе.

За столом остались только Эндрю и мать. Фрэнсис внезапно стала стучать по столу кулаками, лицо искажено, слезы ручьями.

— Я убью его, — сказала она. — Когда-нибудь я убью его. Как он мог? Я не понимаю, как он мог?

Эндрю начал было:

— Мама, послушай...

Но Фрэнсис продолжала, она буквально рвала у себя на голове волосы:

— Нет, я убью его. Нельзя же так обижать родного ребенка. Колин был бы рад одному доброму слову.

— Мама, послушай меня. Остановись, дай мне сказать.

Фрэнсис уронила руки на стол и сделала над собой усилие, чтобы

замолчать.

— Ты знаешь, чего ты никогда не понимала? Не знаю почему, но ты этого не понимала. Джонни глуп. Он непроходимо глуп. Разве это не очевидно?

Фрэнсис повторила:

— Он глупый. — В ее голове что-то сдвигалось, перестраивалось. Ну да, конечно, Джонни глупый человек. Но она никогда не признавала этого. Это все из-за их великой мечты. Фрэнсис за годы совместной жизни пропиталась этими их идеалами, всем этим дерьмом, вот почему ей было трудно сказать даже себе самой, что Джонни просто глуп.

Она сопротивлялась:

— Нет, это не глупость, а бессердечие. Это было так жестоко...

— Но, мама, конечно, они жестоки. Разве они могли бы проповедовать все это, не будучи жестокими?

И потом, сама от себя этого не ожидая, Фрэнсис положила голову на руки, прямо посреди грязных тарелок на столе, и зарыдала. Эндрю терпеливо ждал, но каждый раз, когда он думал, что мать успокаивается, появлялись новые ручейки слез. Он тоже был бледен, потрясен. Никогда еще Эндрю не видел, чтобы его мать плакала, никогда не слышал, чтобы она так резко критиковала отца. Он понимал, что ее сдержанность в отношении Джонни была вызвана желанием защитить их с Колином от худшего, но понятия не имел, какой океан злых слез оставался невыплаканным. С ее стороны было очень правильно, думал теперь Эндрю, не плакать и не бушевать перед ним и Колином. Ему было тошно. В конце концов, Джонни — его отец... и Эндрю прекрасно понимал, что во многих отношениях он и сам был похож на отца. Хотя Джонни никогда не обретет ни зерна того умения разбираться в себе, которым обладал его сын. Эндрю же был обречен жить с критическим взглядом, неизменно направленным на себя — добродушный, даже шутливый, но тем не менее суд.

— Мама, не трогай тут ничего. Мы уберем все утром. И ложись спать. Все это бессмысленно. Он всегда будет таким.

И Эндрю ушел из кухни. Он постучал в комнаты бабушки, дверь открыл Вильгельм и громко сказал:

— Юлия приняла валиум. Она очень расстроена.

Эндрю постоял у двери Колина, колеблясь. Услышал пение Софи — она пела Колину.

Потом он заглянул к Сильвии. Она заснула на своей кровати, не успев раздеться, а ее спутник лежал на полу, с одной лишь подушкой. Должно быть, спать так очень неудобно, но молодому врачу явно было не до таких

мелочей.

Эндрю пошел в свою комнату и свернул себя косяк — в минуты душевных потрясений он прибегал к травке и слушал традиционный джаз, обычно блюзы. Классическая музыка тоже помогала. Или он читал наизусть все стихи подряд, которые знал (а знал он их великое множество), чтобы убедиться, что все выученное находится в его памяти в целостности и сохранности. Или же он читал Монтеня, но это Эндрю держал в тайне, считая, что Монтень годится только для стариков, никак не для молодежи.

Вильгельм оставил Юлию в большом кресле, укутанную пледом. Она настаивала, что спать не хочет. Но все же задремала, потом проснулась: расстройство пересилило валиум. Она раздраженно стряхнула с себя плед, прислушалась к собаке, которая тьякала где-то этажом ниже. Услышала Юлия и пение Софи, но подумала, что это играет радио. Она вышла на лестницу. Из-под двери Эндрю пробивался свет. Юлия сомневалась, допустимо ли будет постучать к нему в столь поздний час, но потом спустилась на еще один пролет и оказалась перед комнатой Сильвии. Полоска света говорила, что Фрэнсис, по соседству, еще не спит. Старая женщина чувствовала, что нужно бы пойти к Фрэнсис, сказать ей что-то, найти правильные слова... какие слова? посидеть с ней, сделать что-нибудь...

Юлия медленно повернула ручку гостиной и шагнула в комнату. Луч лунного света пересекал постель Сильвии и едва дотягивался до молодого человека на полу. Юлия совсем позабыла про него, и теперь ее сердце с новой силой наполнилось безысходным горем. Вильгельм говорил ей не так давно, что Сильвия когда-нибудь выйдет замуж и что она, Юлия, не должна огорчаться из-за этого. Так вот что он обо мне думает, жаловалась Юлия — про себя, но знала, что он прав. Сильвия, несомненно, должна выйти замуж, но, вероятно, не за этого юношу. Ведь иначе он бы лежал не на полу, а рядом с ней? Юлии казалось отвратительным, что любой молодой мужчина, «коллега», может прийти вот так к Сильвии и лечь спать в ее комнате. Они как щенки в одной корзинке, думала Юлия, они лижутся, возятся и засыпают где попало. Но нельзя же не помнить, что мужчина находится не где-нибудь, а в комнате молодой женщины. Должно же это значить что-то. Юлия присела осторожно на стул — тот самый, сидя на котором она некогда уговаривала Сильвию поесть, только было это бесконечно давно. Со стула она хорошо видела лицо девушки. Луна передвинулась и осветила теперь и молодого человека. Что ж, если это будет не он (кстати, весьма симпатичный юноша), значит, кто-то другой.

Юлии казалось, что никогда не любила она никого, кроме Сильвии,

что девочка была великой страстью всей ее жизни — о да, она знала, что полюбила Сильвию потому, что ей не позволили любить Джонни. Ах нет, все это чепуха, ведь она же всю войну (ту, первую войну) ждала Филиппа, и потом, она же так любила его. Лучи света падали на постель и на пол так же произвольно, как память выхватывала куски из темноты прошлого — немного того, немного этого. Когда Юлия оглядывалась назад, на пройденный ею путь, то целые связки лет, которые когда-то обладали особым значением и выделялись среди прочих, сокращались до бездушной формулы: это пять лет Первой мировой войны; этот отрезок — Вторая мировая. Но если погрузиться в эти пять лет, когда она была преданна в мыслях и чувствах солдату вражеской армии, то они окажутся бесконечными. Вторая мировая, зависшая в ее памяти как тревожная черная тень, когда муж скрылся от нее за своей усталостью и невозможностью рассказывать о том, что делал, была тяжелым временем, и Юлия часто удивлялась, как она пережила ее. Ночами она лежала рядом с человеком, который думал только о том, как разрушить ее родину, и она должна была радоваться ее разрушению — Юлия и радовалась, только иногда ей казалось, что бомбы разрываются прямо в ее сердце. И тем не менее теперь она могла сказать Вильгельму (бежавшему от того чудовищного режима, который она отказывалась называть немецким): «Это было во время войны — во время последней войны». Словно это были пункты в списке, который нужно поддерживать в порядке, раскладывать все события одно за другим. Или же память все-таки похожа на лунный свет и тени, которые он бросает на тропу: каждая тень резко очерчена, когда ты минуешь ее, но потом, оглядываясь, видишь лишь темную полосу леса с пятнами жидкого света кое-где. «*Ich have gelebt und geliebt*», — пришла Юлии на ум строчка из Шиллера, всплывшая в ее памяти через шестьдесят пять лет, но на самом деле это был вопрос: жила ли я, любила ли?

Квадрат лунного света подполз к ногам Юлии. Значит, она уже давно здесь сидит. Ни разу Сильвия не шелохнулась. Она и ее коллега, казалось, не дышали; запросто можно было подумать, что оба они мертвы. Юлии подумалось: «Если бы ты умерла, Сильвия, то не много бы потеряла. Мало радости закончить свои дни как я — старухой, у которой вся жизнь позади и которая копается в спутанном клубке воспоминаний, причиняющих только боль». Юлия задремала. Валиум наконец-то погрузил ее в сон, такой глубокий, что Сильвия потом едва смогла растолкать ее.

Сильвия проснулась от сухости во рту, потянулась за водой и увидела маленькое привидение, сидящее посреди залитой лунным светом комнаты.

Девушка ожидала, что оно пропадет, когда она стряхнет с себя сон. Но «привидение» не исчезло. Сильвия подошла к Юлии, обняла, стала укачивать, когда старуха жалобно заскулила во сне — душераздирающий стон.

— Юлия, Юлия, — шептала Сильвия, помня о молодом враче, которому нужно было поспать. — Проснитесь, это я.

— О Сильвия. Я не знаю, что мне делать, я сама не своя.

— Поднимайтесь, дорогая, прошу вас, вам нужно лечь.

Юлия неуверенно встала, и Сильвия, тоже шатаясь, потому что все еще была во власти сна, отвела ее из гостиной на верхний этаж. Теперь из-под двери Фрэнсис свет не пробивался, и из-под двери Эндрю тоже, но вот Колин — да, Колин еще не погасил лампу.

Сильвия уложила Юлию на постель и накрыла одеялом.

— Наверное, я больна, Сильвия. Должно быть, я больна.

Этот едва слышный крик души был услышан Сильвией-врачом, и она ответила:

— Я позабочусь о вас. Пожалуйста, не надо так расстраиваться.

Юлия заснула. Сильвия, со слипающимися глазами, поковыляла к себе, опираясь о спинки стульев и стены, чтобы не упасть. Не помня как, она добралась наконец до своей постели. Ее коллега подскочил:

— Уже утро?

— Нет-нет, спи.

— Слава богу.

Он уронил голову на подушку, и сама Сильвия тут же уснула.

Весь дом теперь погрузился в сон, кроме Колина, который лежал, обнимая спящую Софи. Маленький песик устроился у нее на бедре и тоже дремал, только хвостик его время от времени подрагивал.

Колин думал не о прекрасной Софи, такой близкой. Подобно матери и не зная этого, он безумно повторял:

— Я убью его. Клянусь, я его убью.

Но вот в чем противоречие! Если бы Джонни узнал себя в сладкоречивом злодее, то тогда от него требовалось взойти на невероятные высоты беспристрастного суждения, отринуть все чувства, за исключением соображений литературного мастерства: «Хороший это роман или нет?» Вспомнить, возможно, те книги, что он читал, когда был еще хорошо начитанным человеком, пока не поддался примитивным чарам социалистического реализма. Что же он, жертва жестокой карикатуры, от которой ожидают услышать: «Отличная работа, какой у вас большой талант!»? Короче говоря, от товарища Джонни требовали поведения, на

которое он был неспособен, как давным-давно согласилась вся семья. С другой стороны, если Джонни себя все-таки не узнал, то его вина том, что он и понятия не имеет, что думают о нем сыновья, по крайней мере один из них.

Юлия, тоскующая, тоскующая, хотя она сама бы не могла сказать о чем, если не о Сильвии и не обо всей своей жизни, вчитывалась в газеты, отбрасывала их, пыталась читать снова и, когда Вильгельм выводил ее в «Космо», старательно прислушивалась ко всему, о чем говорили вокруг. Война во Вьетнаме, вот о чем все говорили. Иногда в кафе заходил Джонни со своим антуражем почитателей, драматичный, волевой, и он порой кивал матери или даже салютовал сжатым кулаком. Часто с ним был Джеффри, которого Юлия хорошо знала, красивый молодой человек — Лохинвар с Востока, как сказала она скорбно Вильгельму. И Дэниел с его пылающими волосами — маячок. Или Джеймс, который подошел к ней со словами:

— Я Джеймс, вы помните меня?

Юлия не помнила никого, кто говорил бы с акцентом кокни.

— Сейчас так положено, — объяснил ей Вильгельм. — Все сейчас говорят как кокни.

— Но ради чего, ведь это так некрасиво?

— Чтобы получить работу. Они оппортунисты. Если ты хочешь получить работу на телевидении или в кино, то должен немедленно избавиться от своей манеры говорить как образованный человек.

Вокруг сигаретный дым и — часто — бурные споры.

— Почему это когда говорят о политике, то обязательно нужно спорить?

— О, моя дорогая, если бы мы могли понять...

— Это напоминает мне о давних временах, когда я ездила домой к родителям. Тогда они тоже спорили, нацисты...

— И коммунисты.

Юлия помнила драки, крики, брошенные камни, топот бегущих ног — да, ночами она просыпалась от топота, кто-то куда-то бежал, бежал. Совершив что-то страшное, они с криками бежали по улицам.

Юлия часами сидела в своем кресле, обложившись газетами, пока мысли не заставляли ее подняться и отправиться в обход ее комнат, неодобрительно качая головой, когда находила деталь интерьера не на месте или платье, перекинутое через спинку стула («И куда смотрит миссис Филби?»). Все ее печали сосредоточились на вьетнамской войне. Это было невыносимо. Разве не достаточно было той давней войны, первой, такой

ужасной, и потом второй, чего еще им было нужно, убийства, убийства, и теперь эта война. А американцы, они что, сошли с ума — посылать туда своих молодых мужчин, они никому не нужны; когда где-то воюют, их сбивают в кучу и посылают туда на смерть. Как будто они больше ни на что не годны. Снова и снова. Никто ничему не учится, это ложь, будто люди учатся на своей истории, если бы хоть один урок был усвоен, бомбы не падали бы на Вьетнам, а молодые парнишки... Юлии снова стали сниться ее братья, впервые за много лет. Ее мучили кошмары, связанные с этой войной. По телевизору Юлия видела стычки американцев с полицией — тех американцев, которые не хотели войны, и она тоже не хочет войны, она на стороне тех американцев, которые бастуют в Чикаго или в университетах, и тем не менее, когда она уехала из Германии, чтобы выйти замуж за Филиппа, она выбрала Америку, то есть она на другой стороне. Филипп хотел, чтобы Эндрю ехал учиться в Штаты, и если бы так случилось, то сейчас он, вероятно, был бы частью той Америки, что направляет водометы и слезоточивый газ на тех американцев, которые протестуют. (Юлия знала, что Эндрю консервативен от природы или, лучше будет сказать, стоит на стороне власти.) Новая женщина Джонни, которая, судя по всему, бросила его, сейчас сражается на улицах против войны. Юлия ненавидела и боялась уличных сражений, до сих пор ей снились страшные сны о том, что она видела в тридцатые годы, когда возвращалась в Германию навестить родителей, — страну уничтожали банды, которые дрались, били стекла, орали и бегали по ночам по улицам. Сердце и мозг Юлии разрывались между противоречивыми картинками, мыслями, эмоциями.

И ее сын Джонни постоянно упоминался в газетах — он выступал против войны, и Юлия чувствовала, что он прав. Но ведь Джонни никогда не был прав, она знала это лучше, чем кто-либо, но предположим, что на этот раз он все же прав.

И Юлия, не сказав Вильгельму ни слова, надела шляпку (ту, что максимально скрывала ее лицо и с самой плотной вуалью), выбрала немаркие перчатки (политика у нее подсознательно ассоциировалась с грязью) и отправилась послушать речь Джонни на митинге, посвященном войне во Вьетнаме.

Митинг проходил в зале, который Юлии показался коммунистическим. Все улицы вокруг заполняла молодежь. Такси высадило ее перед главным входом, и, пока она шла внутрь, на нее глазели одетые как цыгане или бродяги молодые люди. Те, кто видел ее прибытие на такси, говорили друг другу, что она, должно быть, шпионка ЦРУ, в то время как другие при виде

пожилой дамы (здесь не было никого старше пятидесяти лет) высказывали предположение, что она заблудилась. А третьи принимали Юлию за уборщицу — из-за ее шляпки.

В зале яблоку было некуда упасть. Человеческая масса в нем вздымалась, опадала, качалась. Запах стоял отвратительный. Прямо перед собой Юлия увидела две головы с жирными невымытыми волосами — неужели у девушек напрочь отсутствует самоуважение? Потом она поняла, что это не девушки, а мужчины. И от них воняло. Шум стоял такой, что она не сразу услышала, что выступления уже начались. На сцене стоял Джонни и с ним Джеффри, чье чистое добронравное лицо было ей так знакомо, но и он отрастил волосы и стоял, широко расставив ноги, и бил правой рукой воздух, словно рубил, и всячески выражал свое согласие с тем, что говорил Джонни, а говорил он все то, что Юлия уже много раз слышала: американский империализм — рев согласия; военно-промышленный комплекс — свист и крики; лакеи, шакалы, капиталистические эксплуататоры, продажные твари, фашисты. Все так бурно выражали согласие, что почти ничего не было слышно. И потом на сцене появился Джеймс, как легко он держится на публике, такой большой и учтивый, но вот превратился в кокни; а рядом с Джонни стоит чернокожий мужчина — она наверняка его тоже видела раньше.

На платформе уже собралось много ораторов. Лица у каждого светились чванством, чувством собственной правоты и триумфом. Как хорошо ей все это было известно, как боялась она этого. Они с важностью расхаживали взад и вперед под яркими прожекторами, выкрикивали свои фразы, которые она угадывала, все до одной, по первому слову. И слушатели были единым целым, толпой, они могли убивать, могли восстать, и они все пылали... ненавистью, да, вот что это было. Но если ободрать с митинга все дурацкие клише, то сама Юлия согласится с ними, она на их стороне; как так, ведь они отвратительны, это же грязь; но больше всего она ненавидит жестокость войны. Юлии трудно было стоять — она прислонилась к стене, вокруг нее грубияны и задиры, кто знает, может, у них есть дубинки. Юлия еще раз посмотрела на платформу сцены, увидела, что сын узнал ее и что его взгляд был одновременно торжествующим и враждебным. Если она не уйдет отсюда, то вполне может стать мишенью его обвинительных речей. Юлия протиснулась через толпу к двери; к счастью, далеко она не отходила. Ее шляпу сбили набок — она не сомневалась, что намеренно (и была права). Вслед пожилой женщине неслись предположения, что она из ЦРУ. Она пыталась придерживать шляпку. У дверей Юлия заметила высокую молодую

женщину с широким лицом, покрасневшимся от возбуждения и алкоголя, и с беджиком распорядителя на лацкане. Узнав Юлию, та громко воскликнула, чтобы слышали ее коллеги:

— Ого, кто бы мог подумать? Да это же мамаша Джонни Леннокса.

— Разрешите мне пройти, — сказала Юлия, которая уже начала слегка паниковать. — Выпустите меня.

— Что, не нравится? Колется правда? — фыркнул юноша, от запаха которого Юлию едва не стошнило. Она прижала к носу ладонь.

— Юлия, — сказала Роуз, — а Джонни знает, что вы здесь? И что вы здесь делаете? Приглядываете за сыночком? — Она оглянулась с ухмылкой, ожидая одобрения.

Юлия пробралась за дверь, но помещение снаружи было полно теми, кто не попал внутрь.

— Дорогу матери Джонни Леннокса! — крикнула Роуз, и толпа разделилась надвое. Здесь, где речи не звучали, а передавались из уст в уста, не было той атмосферы толпы, неизбежности насилия. Молодые люди тарасились на Юлию, на ее помятую шляпу, на ее перепуганное лицо. Она дошла до выхода. Там, почувствовав слабость, она вцепилась в косяк.

Роуз спросила:

— Вызвать вам такси, Юлия?

— Не помню, чтобы я разрешала вам называть меня Юлией, — сказала старая дама.

— О, простите, миссис Леннокс! — притворно воскликнула Роуз, снова оглядываясь посмотреть, одобрили ли ее окружающие. И потом добавила со смешком: — Ну и дерьмо!

— Должно быть, *ancien régime*, [\[10\]](#) — сказал кто-то с американским акцентом.

Юлия встала посреди тротуара. Дурнота одолевала ее. Роуз осталась на ступеньках позади нее и громко объявила своим приятелям:

— Мамаша Джонни Леннокса. Она пьяна.

Показалось такси, и Юлия взмахнула рукой, но оно не собиралось останавливаться для такой взлохмаченной, явно ненормальной старухи. Роуз сбежала с лестницы, догнала такси, и тогда оно притормозило.

— Спасибо, — выговорила Юлия, забираясь в автомашину. Она все еще прижимала к лицу платок.

— О, не стоит благодарности, прошу вас, — язвительно процедила Роуз и повернулась к входу, ожидая смеха, и получила его.

Уезжая, Юлия слышала, как из окон зала вырываются всплески аплодисментов, криков, скандирования: «Покончим с американским

империализмом! Покончим с...»

Когда Джонни покидал митинг, Роуз воспользовалась удачным случаем и пробилась к звезде коммунистов, чтобы сказать ему как равному:

— Ваша мать была здесь.

— Я знаю, — ответил Джонни, не глядя на нее. Он всегда игнорировал ее.

— Она была пьяна, — рискнула продолжить Роуз, но он обошел ее и удалился, не сказав больше ни слова.

Сильвия не забыла своего обещания. Она договорилась с неким доктором Лехманом, чтобы он посмотрел Юлию. Вильгельм знал его и знал, что он занимается проблемами здоровья в пожилом возрасте.

— Нашими проблемами, дорогая Юлия.

— Гериатрия, — сказала она.

— Слово — это всего лишь слово. Договорись, пожалуйста, чтобы он и меня проконсультировал.

Юлия вошла в кабинет и села на стул перед доктором Лехманом. Весьма приятный мужчина, подумала она, хотя и молодой. На самом деле он был средних лет. Немец, как и она? С такой фамилией? Тогда, может, еврей? Беженец, спасшийся от таких, как она? Примечательно, как часто она стала думать о таких вещах.

У Лехмана был безупречный английский: по-видимому, врачам не нужно было говорить на кокни, чтобы получить работу.

Юлия догадывалась, что он многое понял о пациентке уже по тому, как она подходила к стулу, и, разумеется, с ним предварительно говорила Сильвия, а уж изучив результаты анализа ее мочи, измерив давление и выслушав сердце, врач знал о ней больше, чем она сама.

Он сказал с улыбкой:

— Миссис Леннокс, вам посоветовали обратиться ко мне в связи с проблемами, имеющими отношение к старости.

— Такое складывается впечатление, — ответила она и увидела, что доктор уловил ее неприязнь к теме.

— Вам семьдесят пять лет.

— Верно.

— В наши дни это не слишком преклонный возраст.

Юлия решила открыться:

— Доктор, иногда я чувствую себя так, будто мне все сто.

— Вы позволяете себе думать, что вам столько лет.

Юлия ожидала услышать нечто совсем иное и, приободрившись,

улыбнулась этому человеку, который не собирался давить на нее ее же возрастом.

— С вами все в порядке — с точки зрения физического здоровья. Поздравляю. Хотел бы я быть в такой хорошей форме. Но увы, все знают, что врачи не следуют собственным рекомендациям.

Теперь Юлия позволила себе усмехнуться и кивнуть, словно говоря: очень хорошо, перейдем к делу.

— Я часто сталкиваюсь со случаями, подобными вашему, миссис Леннокс. С людьми, которых убедили, что они состарились, хотя это еще не так.

«Вильгельм? — подумала Юлия. — Неужели он...»

— Или они сами себя в этом убедили.

— И я тоже? Ну... возможно, так и есть.

— Я собираюсь сказать кое-что, что может вас шокировать.

— Ну, доктор, меня непросто шокировать.

— Хорошо. Вы сами можете решить, когда стать старой. Сейчас вы на перекрестке, миссис Леннокс. Вы можете сказать себе, что вы старая, и тогда вы умрете. Но можете сказать себе, что вы еще не состарились.

Юлия подумала над его словами и кивнула.

— Полагаю, вы пережили какое-то потрясение. Смерть? Но это не важно, что именно случилось. Я замечаю в вас признаки скорби.

— Вы очень умный молодой человек.

— Благодарю вас, но я уже не молод. Мне пятьдесят пять.

— Вы могли бы быть моим сыном.

— Да, мог бы. Миссис Леннокс, я хочу, чтобы вы встали с этого стула и ушли от... вашей нынешней ситуации. Вы можете принять такое решение. Вы не старая женщина. Вам не нужен врач. Я пропишу вам витамины и минеральные добавки.

— Витамины!

— Почему бы и нет. Я сам их принимаю. И приходите еще раз через пять лет, и тогда мы обсудим, пора ли вам стареть.

Золотистые облака сеяли на землю бриллианты, которые ударяли по такси, взрываясь крошечными кристаллами, или скользили по стеклам окон, и их тени создавали рисунок из точек и пятнышек — такой же, как на маленькой вуали Юлии, скрепленной на голове крупной заколкой. Апрельское небо из солнечного света и дождика на самом деле было обманом, потому что на календаре сентябрь. Юлия оделась как всегда. Вильгельм сказал ей: «Моя дорогая , *lieblich*,draжайшая Юлия, я хочу

купить тебе новое платье». С протестами и ворчанием, но довольная в душе, Юлия объехала с ним лучшие магазины, где Вильгельм привлек к процессу молодых женщин — поначалу высокомерных, но быстро поддавшихся его обаянию, и в конце концов стала обладательницей бархатного костюма цвета кларета, ничем не отличающегося от тех, что она носила на протяжении десятков лет. Облаченная в него, Юлия с удовлетворением думала о деликатной шелковой строчке по краю воротника и манжет, а также об идеальной розовой шелковой подкладке — это была ее защита против варварского мира. На сиденье рядом с ней Фрэнсис согнулась вдвое, занятая сменой чулок и каждодневных полуботинок на низком каблуке на выходные туфли и черные блестящие чулки. А в остальном ее рабочая одежда (Юлия заехала за Фрэнсис в издательство) была сочтена вполне адекватной случаю. Эндрю сказал, что хочет отметить кое-что, но что наряжаться не нужно. Что он имел в виду? По какому поводу торжество?

Пока такси медленно пробиралось среди машин и автобусов к дому Эндрю, они сидели бок о бок в дружеском и чуть настороженном молчании. Фрэнсис думала, что за все годы жизни в доме Юлии она так редко ездила со свекровью в такси, что могла перечислить все такие случаи. А Юлия думала, что между ними нет интимной близости, но тем не менее молодая женщина (ну же, Юлия, она уже давно не молода!) ни на миг не задумалась перед тем, как снять в ее присутствии чулки, показывая белые плотные ноги. Вероятно, никто не видел обнаженных ног Юлии за исключением ее мужа и врачей с тех самых пор, как она стала взрослой. Видел ли Вильгельм? Никто не знал.

Они согласились в том, что Эндрю, скорее всего, хочет отпраздновать получение места в одной из тех огромных международных организаций, которые вдыхают и выдыхают деньги и управляют делами мира. Когда он получил свою вторую степень в юриспруденции (степень с отличием), то снова покинул бабушкин дом и поселился в съемной квартире с другими молодыми людьми, но вряд ли надолго.

К тому времени, когда они подъехали к Гордон-сквер, свет растаял. Крупные капли падали с темного неба и шлепались, невидимые, о землю. Дом был приличным, такого не стыдятся: Юлия гадала, не это ли было причиной того, что Эндрю не пригласил их раньше, — стыдился своего адреса или условий, но если так, то зачем вообще уезжать из дома? Ей не приходило в голову, что Эндрю задыхался под прессом их с Фрэнсис власти и опыта. «Что — я? Да ты шутишь! — говорят родители, когда эта ситуация повторяется из поколения в поколение. — Я — угроза? Да это

такая крохотная жалкая вещь, мое я, всегда едва цепляющаяся за краешек жизни». Эндрю должен был уехать из дома, чтоб выжить, но однако его пребывание там во время получения второй степени не было таким тягостным, как раньше, поскольку он обнаружил, что больше не боится неодобрения категоричной Юлии и не мучается мыслями о несложившейся жизни матери.

Лифта не было, но Юлия резво взошла по крутым ступеням, покрытым ковром, который был когда-то хорошим. Квартира, куда их впустил Эндрю, продолжала тему, поскольку она оказалась большой и заставленной разнообразной мебелью, причем некоторые предметы были великолепны, но доживали свои последние дни. Десятки лет здесь обитали студенты или молодые люди, только начинающие трудовую жизнь, и следующим этапом для большинства обстановки станет свалка. Эндрю провел их не в просторную общую гостиную, а в маленькую комнатку, отделенную от нее стеклянной перегородкой. В большой гостиной двое мужчин читали, девушка смотрела телевизор, а в малой гостиной стоял красиво накрытый стол — белая скатерть, бокалы, цветы, серебро и плотные салфетки. Приборы на четверых. Эндрю сказал:

— Предлагаю выпить аперитив здесь, за столом, а иначе мы не сможем разговаривать — там слишком шумно.

И они расселись, пока втроем; пустующее место ждало четвертого приглашенного.

Эндрю кажется усталым, отметила его мать. Темные круги под глазами, бледность, одутловатость, прыщи и то хрупкое самообладание на краю коллапса, которое свидетельствует об эмоциональном истощении, — все это признаки, свойственные вступающим в жизнь подросткам с более тонкой внутренней организацией, но когда так выглядит взрослый мужчина, начинаешь думать: жизнь так трудна сейчас, так жестока... Эндрю улыбался, он был само очарование, хорошо одет в честь загадочного события, но от него исходила аура тревоги. Его мать твердо решила ни о чем не расспрашивать, но Юлия сразу сказала:

— Неизвестность не дает нам расслабиться. Что у тебя за новости?

Эндрю позволил себе короткий смешок — приятнейший звук, музыка для ушей матери — и сказал:

— Приготовьтесь к сюрпризу.

Тут со стороны кухни появилась молодая женщина с напитками на подносе. Она улыбалась, вела себя свободно и сказала Эндрю:

— Энди, у нас с алкоголем небольшие проблемы. Это последнее приличное шерри.

— Познакомьтесь, это Розмари, — представил ее Эндрю. — Сегодня она для нас готовит.

— Я подрабатываю поваром, — пояснила Розмари.

— Она учится в Лондонском университете, на юридическом.

Розмари сделала шутливый книксен:

— Дайте мне знать, когда пора подавать суп.

— Я собрал вас не по поводу работы, — сказал Эндрю. — Пока я еще не получил подтверждения. — Он заколебался при этих словах. Что-то пока не определенное или некий туманный фантом вот-вот могли стать реальностью. Если сообщить семье, то обратного пути не будет, фантом станет фактом. — Софи, — наконец решился он. — Софи и я... мы...

Женщины потрясенно молчали. Софи и Эндрю! Столько лет Фрэнсис прикидывала, не сойдутся ли вновь Софи и Колин... но они ходили вместе гулять, он всегда сидел в первом ряду на ее премьеры, а она приходила поплакать у него на плече, когда Роланд вновь вел себя невыносимо. Друзья. Брат и сестра. Так они говорили.

В головах обеих женщин зарождались схожие практические соображения. Эндрю собирается работать за границей, вероятно — в Нью-Йорке, а Софи становится признанной актрисой в лондонских театрах. Неужели она готова бросить ради него карьеру? Женщины поступают так, причем слишком часто и даже когда этого не следует делать. И еще обе думали о том, что Софи не подходит на роль спутницы жизни для публичного человека, она ведь так эмоциональна и драматична в выражении чувств.

— Что ж, спасибо, — наконец произнес Эндрю.

— Извини, — сказала его мать. — Просто это так неожиданно.

Юлия вспоминала о тех годах, что она провела в разлуке со своей любовью, пока ждала Филиппа. Стоило ли? Эта крамольная мысль все чаще посещала ее, отказывалась уходить и требовала обдумывания. Дело в том (и Юлия готова была признать это), что Филиппу следовало жениться на той англичанке, она была бы ему отличной парой. А ей самой... Но ее мозг запаниковал, когда Юлия попыталась представить, что было бы с ней, если бы она не вышла за Филиппа, что бы она делала в Германии посреди такой разрухи, такого хаоса, и потом эта политика, и Вторая мировая война. Нет. Юлия пришла к заключению, пришла уже некоторое время назад, что она поступила правильно, выбрав в мужа Филиппа, но что для него лучше было бы на ней не жениться. Помолчав, она сказала:

— Ты понимаешь, конечно, что для нас это шок. Софи ведь так близка с Колином.

— Знаю, — ответил Эндрю. — Но они друг для друга — брат и сестра. Они никогда... — И тут он крикнул в сторону кухни: — Розы, настал момент для шампанского. — Не глядя на мать и бабушку, он сказал: — Думаю, нам стоит начать — она опаздывает.

— Возможно, что-то задерживает ее — театр или еще что-то... — предположила Фрэнсис, желая найти слова, которые изгнали бы тревогу — а это была тревога — с лица ее сына.

— Нет. Это Роланд. Он не замечает Софи, когда она с ним, но ревнив. Он не хочет, чтобы она уходила от него.

— Так она еще не оставила его?

— Еще нет.

У Фрэнсис сразу отлегло от сердца. Она знала, что Софи будет не так-то легко расстаться с этим волшебником Роландом. «Он — мой крест, — плакалась Софи Колину. — Мой рок». В конце концов, она уже столько раз пробовала. И если она придет к Эндрю... Достаточно одного взгляда на него, чтобы понять: в плане накала чувств он не соперник Роланду. С ним спокойнее, да, но ему нечего противопоставить всем этим сценам, крикам, швырянию посуды (однажды тяжелая ваза сломала Софи мизинец), слезам, мольбам о прощении. Что может предложить вежливый и ироничный Эндрю Софи, которой, вне всякого сомнения, будет не доставать высокой драмы? «Но я могу и ошибаться, — остановила себя Фрэнсис. — Слишком уж я тороплюсь предсказать конец истории, когда она еще толком и не началась». Заговорила Юлия:

— Эндрю, будет очень неправильно просить Софи уйти из театра.

— Никогда даже не думал этого делать, бабушка.

— Но ты будешь жить очень далеко.

— Как-нибудь справимся с этим, — сказал Эндрю и пошел открыть дверь для Розмари, которая вносила суп.

По взаимному согласию шампанское все же не распечатали. Съели первое. Следующее блюдо откладывали сколько возможно, но Розмари сказала, что оно испортится, поэтому съели и второе. Эндрю не столько ел, сколько прислушивался, не зазвонит ли телефон, не хлопнет ли дверь. Наконец телефон все-таки зазвонил, и Эндрю ушел в другую часть квартиры, чтобы поговорить с Софи.

Две женщины сидели, объединенные дурным предчувствием.

Юлия сказала:

— Возможно, Софи из тех девушек, которые нуждаются в страданиях.

— Но Эндрю не такой, я надеюсь.

— И потом встает вопрос о детях.

— О внуках, Юлия. — Фрэнсис не придавала особого значения своему замечанию и не видела, что свекровь улыбается, потому что ей вспомнился запах вымытых младенческих волосиков и где-то рядом с ней возникло видение... кого? Юного существа... девочки.

— Да, — согласилась она. — Внуки. Мне представляется, что Эндрю будет хорошо ладить с детьми.

Вернувшийся Эндрю услышал последнюю фразу.

— Да, я бы хотел иметь детей. Но Софи передает извинения. Она... не сможет прийти. — Он был на грани слез.

— Почему? Роланд запер ее? — спросила Фрэнсис.

— Он... применяет давление, — ответил Эндрю.

Все это было так ужасно, хуже быть не могло, и женщины понимали это. Эндрю произнес сдавленно, и прозвучало это как прощание:

— Я не могу жить без Софи. Она такая... — И он, не выдержав, бросился прочь из комнаты.

— Этого не случится, — подытожила Фрэнсис.

— Надеюсь.

— Думаю, нам нужно возвращаться домой.

— Подождем, пока он не вернется.

Прошло добрых полчаса, прежде чем Эндрю вернулся, и молодые люди в общей гостиной, заметив через стеклянную перегородку, что женщины сидят одни, позвали их присоединиться к ним. Юлия и Фрэнсис были рады принять это приглашение. Иначе они и сами могли бы расплакаться.

В гостиной юноши и девушки делились тем, как они провели летние каникулы (все они еще учились в университете). Из их рассказов выходило, что сообщая они побывали почти во всех странах мира. Они говорили о том, как обстоят дела в Никарагуа, Испании, Мексике, Германии, Финляндии, Кении. Все они отлично провели время, но не только развлекались, а и искали информацию, были основательными путешественниками. Фрэнсис вспомнила, что происходило в доме Юлии лет десять-двенадцать назад. Эти студенты казались ей куда более счастливыми... правильное ли это слово? Она оглядывалась в прошлое — напряжение, проблемы, трудные подростки. Здесь все не так. Да, они старше... но все равно. Юлия, разумеется, сказала бы, что ни один из этих умных мальчиков и девочек не был военным ребенком: война уже не могла бросить на них свою тень.

Эти полчаса можно было бы назвать приятными, если бы их не отравляло беспокойство об Эндрю. Он зашел на минуту, чтобы сообщить, что заказал такси. Он просит у них прощения. По тому, как остальные

смотрели на него — удивленно, непонимающе, — гости сделали вывод, что соседи по квартире не привыкли видеть сдержанно-ироничного Эндрю в расстроенных чувствах. На улице он поцеловал обеих, обнял бабушку, затем — мать, придержал для них дверцу, но мысли его были далеко. Он кивнул и бегом вернулся в дом.

— Хотелось бы знать, догадывается ли нынешняя молодежь, как им повезло, — сказала Юлия.

— Да уж, им повезло куда больше, чем кому-либо из нас.

— Бедная Фрэнсис, у вас не было шанса посмотреть мир.

— Тогда и Юлия бедная тоже.

Согретые взаимной теплотой, женщины закончили путь в молчании.

— Этого не случится, — сказала на прощание Юлия.

— Да, знаю.

— Тогда нам не стоит лежать всю ночь без сна и понапрасну переживать.

Сидя в одиночестве за кухонным столом, который теперь стоял сложенный вполювину, Фрэнсис пила чай и надеялась, что к ней заглянет Колин. Сильвия почти никогда не заходила. Она уже не ординатор, а настоящий врач, поэтому больше не засыпала на ходу, но все равно работала очень много, и комната на площадке напротив комнат Фрэнсис редко видела свою обительницу. Сильвия прибегала, только чтобы принять ванну и переодеться, изредка ночевала, порой находила минутку, чтобы подняться бегом наверх и обнять Юлию, вот и все. Так что из всей многочисленной «детворы» Фрэнсис виделась теперь только с Колином.

О жизни младшего сына вне дома она почти ничего не знала. Однажды в дверь постучал разбойничьего вида парень с огромной черной дворнягой и потребовал позвать Колина, и тот сбежал с лестницы, чтобы договориться о встрече в соседнем парке. И у Фрэнсис немедленно зародились подозрения: уж не гомосексуалист ли Колин? Нет, вряд ли, не может такого быть, но она уже принялась обдумывать грамотное и тактичное поведение на этот случай... Хорошо, что вскоре на крыльце появилась томного вида девица, а за ней почти сразу же еще одна, и обеим пришлось сказать, что Колина нет дома. «Но если он не дома, то почему не со мной?» — Фрэнсис примерно представляла ход их мыслей, потому что ставила на их место себя. Эти визитеры были единственными намеками на то, что происходит в жизни Колина. Он обычно бродил по парку в компании со Злюкой, разговаривал с людьми на скамейках, знакомился с собаководами, иногда забредал в паб. Юлия как-то заметила:

— Колин, молодые мужчины должны иметь сексуальную жизнь, в противном случае страдает их здоровье.

Ответом ей было полушутливое-полусерьезное:

— Бабушка, я веду темную и опасную тайную жизнь, в которой полно сумасшедших романтических приключений, так что, пожалуйста, не волнуйся обо мне.

Вечером он появился, как всегда — с собакой, увидел Фрэнсис и сказал:

— Я сделаю себе чашку чая.

Собака вспрыгнула на стол.

— Убери же отсюда эту непоседу.

— Эй, Злюка, ты слышал? — Он подхватил собаку и отнес ее на стул, велел ей сидеть там, и она послушалась, мотая хвостом и наблюдая за людьми черными любопытными глазками.

— Знаю, ты хочешь поговорить об Эндрю, — сказал Колин, усаживаясь со своим чаем.

— Конечно. Это было бы катастрофой.

— А в нашей семье катастрофы — дело неслыханное.

Увидев его улыбку, мать догадалась, что он был в воинственном настроении. Она внутренне собралась, думая, что могла сказать все что угодно Эндрю, но с Колином всегда есть этот момент оценки, когда она пытается понять, в каком настроении младший сын. Она чуть не сказала: «Забудь, поговорим об этом в другой раз», но он уже продолжал:

— Юлия уже тоже ко мне с этим приходила. Но что вы хотите от меня? Чтобы я отправился к Эндрю и предложил ему, чтобы он не вел себя как глупец, а потом пошел бы к Софи и предложил ей, чтобы она не вела себя как безумная? А дело в том, что Эндрю нужен ей, чтобы освободиться от Роланда.

На этом Колин замолчал и с улыбкой ждал, что скажет мать. Он вырос в полного мужчину с черными курчавыми волосами, и очки в неизменно черной оправе придавали ему ученый вид. Он всегда был готов броситься в атаку, в значительной степени потому, что все еще был финансово зависим. Юлия некоторое время назад сказала Фрэнсис: «Лучше я буду давать Колину на расходы, чем вы, — это предпочтительнее с психологической точки зрения». Она была права, но свою неудовлетворенность ситуацией Колин выплескивал на мать.

Фрэнсис тоже ждала. Вот-вот начнется битва.

— Если тебе нужен хрустальный шар, то обратись к нашей Филлиде, благо к ней недалеко идти, но мое знание человеческой природы (многие

говорят, что я им обладаю) подсказывает, что Софи останется с Эндрю до тех пор, пока Роланд не остынет, и тогда она бросит Эндрю ради кого-то третьего.

— Бедный Эндрю.

— Бедная Софи. Ничего не попишешь, она мазохистка. Ты должна бы это понимать.

— Потому что я тоже такая?

— Во всяком случае у тебя есть склонность к долготерпению, ты согласна?

— Больше нет. Давно уже нет.

Колин помолчал. И сцена могла бы на этом и закончиться, но он подскочил, бросил в чашку еще один пакетик чая, налил воды, которая не кипела, увидел свою ошибку, выудил пакетик и вышвырнул его в раковину, выругался, подобрал его из раковины, чтобы выкинуть в мусорное ведро, включил чайник, вынул еще один чайный пакет, залил его кипящей водой — все это в неуклюжей спешке, которая подсказывала Фрэнсис, что Колин не испытывает удовольствия от их беседы. Сын вернулся к столу, поставил чашку, потянулся к собаке, погладил ее разок и наконец уселся.

— Это не личное, — сказал он. — Но я тут думал: все ваше поколение такое. Все вы.

— А-а, — протянула Фрэнсис с облегчением: они перебрались на знакомую почву абстрактных принципов.

— Вы спасаете мир. В каждой новой идее — обещание рая.

— Ты путаешь меня со своим отцом. — Потом Фрэнсис решила, что и сама может перейти в наступление. — Мне это начинает серьезно надоедать. Меня всегда считают замешанной в преступлениях Джонни. — Она поразмыслила над словом. — Да, в преступлениях. Теперь уже понятно, что это так.

— А когда это было непонятно? И знаешь что? Буквально вчера я прочитал в «Таймс» его слова о том, что «да, были сделаны определенные ошибки».

— Да. Но я ни участвовала в этих преступлениях, ни сочувствовала им.

— Нет, но ты же спаситель мира, в любом случае. Так же, как и он. Все вы такие. Меня поражает, откуда такая самоуверенность? Должно быть, вы самое чванливое, самовлюбленное поколение за всю историю человечества. — Колин по-прежнему улыбался: значит, считает, что его нападение удалось, но есть в триумфе и толика чувства вины. — Джонни без конца выступает с речами, а ты набиваешь дом сиротками и

бродяжками.

А, вот они и добрались до сути. Фрэнсис сказала:

— Прости, но я не понимаю, как одно связано с другим. Что-то не могу припомнить, чтобы Джонни хоть раз кому-то помог.

— Помог? Вот как ты это называешь. Что ж, его квартира сейчас полна американцами, скрывающимися от призыва в армию, — не то чтобы я имел что-то против них — и товарищами со всего мира.

— Это совсем не одно и то же.

— Тебе никогда не приходило в голову спросить себя о том, что бы ты делала, если бы не приютила всю лондонскую беспризорщину?

— В числе этой «беспризорщины» была, между прочим, и твоя Софи.

— Она никогда не жила здесь в буквальном смысле этого слова.

— Тем не менее она у нас дневала и ночевала. И как насчет Франклина? Он провел у нас больше года. А ведь он был твоим другом.

— Ага, и чертов Джеффри. Мало того что в школе мне от него спасения не было, так и на каникулах приходилось терпеть его, год за годом.

— Но я никогда не знала, что ты так его не любил. Почему же ты ничего не сказал? Почему дети не говорят, когда им что-то не нравится?

— Вот видишь — ты даже этого не могла разглядеть.

— О Колин. Еще скажи, что не нужно было и Сильвии разрешать селиться у нас.

— Этого я никогда не скажу.

— Может, теперь и не скажешь, но раньше только об этом я от тебя и слышала. Своими жалобами ты превратил мою жизнь в ад. И вообще, хватит это обсуждать. Сколько времени уже прошло.

— А результаты видны и по сей день. Ты слышала, что та мелкая сучка Роуз болтает повсюду, будто Юлия — алкоголичка, а ты — нимфоманка?

Фрэнсис засмеялась. Это был смех возмущения, но искренний. Колин его ненавидел и вперил в мать обвиняющий взгляд.

— Колин, если бы ты только знал, какую целомудренную жизнь я вела... — Но нет, времена же изменились! Она поправилась: — Даже если бы у меня каждый уикенд был новый мужчина, то почему бы и нет? Имела бы полное право. И ты не смел бы и слова сказать против!

Колин побледнел и молчал.

— Колин, ради бога, ты же прекрасно знаешь...

Ее перебила собака.

— Тяв, тяв, — надрывалась она. — Тяв, тяв!

До Фрэнсис дошла абсурдность ситуации, и она расхохоталась. Колин

лишь горько улыбнулся.

Однако главное его обвинение осталось лежать между ними на столе ядовитым грузом.

— Откуда вы брали вашу уверенность? Отец спасает мир, несколько миллионов мертвых там, несколько миллионов мертвых тут, а ты: «Заходите, почувствуйте себя как дома, я сейчас поцелую больные места, и все будет хорошо». — Колин казался совершенно разбитым годами своего несчастливого детства и даже стал похож на маленького мальчика: глаза полны слез, губы дрожат. И Злюка, покинув предписанный ему стул, бросился к своему хозяину, забрался к нему на колени и стал лизать ему лицо. Колин уткнулся лицом в спину собачонки, спрятался — насколько возможно было спрятаться за этой крохой. Потом он поднял голову, чтобы сказать: — Нет, откуда у вас это? Кто, черт возьми, вы такие — все до одного спасители мира, да еще десерты готовите... Ты понимаешь? Мы все закомплексованы. Ты знала, что Софи видит сны про газовые камеры, хотя никто из ее родни даже рядом там не был? — И он поднялся, прижимая к себе терьера.

— Подожди минутку, Колин...

— Мы разобрались с главным вопросом повестки дня — Софи. Она несчастлива. Она и дальше будет несчастлива. Она сделает несчастным и Эндрю. Потом она найдет кого-нибудь еще и продолжит быть несчастной.

Он выбежал из кухни и понесся вверх по лестнице, а собака все лаяла и лаяла у него на руках: «Тяв, тяв, тяв».

В доме Юлии происходило нечто такое, о чем не знал никто из представителей младших поколений. Вильгельм и Юлия хотели пожениться или, как минимум, чтобы Вильгельм переехал к ней. Он жаловался, поначалу с юмором, что принужден существовать как подросток — на скудной диете встреч со своей возлюбленной в «Космо» или совместных походов в ресторан. Иногда он проводил с ней день и вечер, но затем должен был возвращаться к себе. Юлия отгораживалась от ситуации, отшучивалась в том духе, что, в отличие от подростков, они хотя бы не стремятся так в постель. На что Вильгельм отвечал, что общая постель не сводится только к сексу. Похоже, он имел в виду былые ласки и разговоры в темноте — обо всем на свете. Юлия все же не готова была разделить с ним постель — после стольких-то лет вдовства! — однако постепенно стала понимать справедливость жалоб Вильгельма. Она всегда чувствовала себя неловко, когда оставалась в тепле и комфорте своих комнат, а он должен был ехать домой, какой бы ни была погода. Домом

Штайну была просторная квартира, где когда-то он жил с женой, давно почившей, и двумя детьми, переехавшими со своими семьями в Америку. В общем-то, он почти там не бывал. Бедным Вильгельма назвать было нельзя, но как-то неразумно содержать квартиру с привратником и маленьким садиком, когда у Юлии такой большой дом. Они обсуждали, потом спорили, потом препирались относительно того, как можно было бы все устроить.

Чтобы Вильгельм жил вместе с Юлией в ее четырех комнатах, которых хватало для нее одной, — такой вариант отмечается сразу и без разговоров. И что делать с его книгами? У него их тысячи, целая коллекция, Вильгельм был специалистом по редким книгам. Весь этаж под Юлией занял Колин, колонизировав в том числе комнату Эндрю. Попросить его переехать — невозможно, с чего бы ему переезжать? Из всех обитателей дома, за исключением самой Юлии, он больше всех нуждался в безопасном, спокойном месте, укрытом от треволнений внешнего мира. Под Колином в двух просторных комнатах и одной маленькой размещалась Фрэнсис. И на этом же этаже находилась комната Сильвии, даже если появлялась она там раз в месяц. Это был ее дом, и так и должно оставаться.

«Но почему бы не попросить переехать Фрэнсис?» — задавался вопросом Вильгельм. Она давно уже зарабатывает приличные деньги, не так ли? Но Юлия отказалась это сделать. Она считала, что семья Ленноксов использовала Фрэнсис, чтобы вырастить двух сыновей, и что теперь — вон? Юлия никогда не забудет, как после смерти Филиппа Джонни потребовал, чтобы она, его мать, съехала на съемную квартиру или куда угодно еще.

Ниже владений Фрэнсис находилась большая гостиная, растянувшаяся через весь дом, от стены до стены. Не встанут ли там дополнительные шкафы для книг Вильгельма? Но Вильгельм знал, что Юлия не захочет жертвовать именно этой комнатой. Значит, оставалась Филлида. Теперь она вполне могла оплачивать себе жилье. Она получила деньги, которые выделила ей из отцовского наследства Сильвия, и имела постоянный приработок как экстрасенс и гадалка, а также как психотерапевт. Когда семья узнала, что Филлида стала еще и психотерапевтом, то шуткам не было конца, в основном типа «вот только себя она не сможет исцелить». Но пациенты шли к ней. Избавиться от Филлиды и неиссякаемого потока ее клиентов — против этого никто не стал бы возражать. Хотя нет, один человек все же был против — Сильвия. Ее отношение к Филлиде стало материнским. Дочь беспокоилась о матери. И какой толк будет от того, что она съедет? Только если одновременно с ней съедет Фрэнсис или Колин.

Но зачем им уезжать? И было еще одно соображение, весьма сильное, о котором Вильгельм мог только догадываться. Юлия мечтала о том, что когда Сильвия выйдет замуж или найдет «партнера» (глупое выражение, по мнению Юлии), то будет жить с семьей в этом доме. Где? Ну, если Филлида освободит цоколь, то тогда...

Вильгельм стал говорить, что наконец-то он понял: на самом деле Юлия не хочет, чтобы он жил с ней.

— Я всегда любил тебя сильнее, чем ты меня.

Юлия никогда не думала о любви в таких терминах: «больше — меньше». Она просто полагалась на свое чувство. Вильгельм был ее поддержкой и опорой, а теперь она стареет (Юлия чувствовала, что стареет, несмотря на слова доктора Лехмана) и без помощи Вильгельма просто не справится. Так любила ли она его? Если сравнивать с ее любовью к Филиппу, то нет. Как неприятна была эта последовательность мыслей, и Юлия не хотела идти за ней, не желала слушать упреки Вильгельма. Она бы хотела, чтобы он переехал к ней, хотя бы потому, чтобы она не переживала из-за того, что Вильгельм содержит такую большую и ненужную в общем-то квартиру, но сразу возникает столько трудностей. Юлия была готова даже всерьез задуматься о ласках и разговорах на ночь в ее когда-то супружеской постели. Но за всю свою долгую жизнь она делила постель только с одним человеком. Не слишком ли многого от нее ждут? Упреки Вильгельма переросли в обвинения, и Юлия плакала, а Вильгельм был угрюм.

А Фрэнсис тем временем планировала покинуть дом Юлии. Наконец-то у нее будет собственное жилье. Теперь, когда не нужно было платить ни за школы, ни за университеты, у нее оставались свободные деньги. Подумать только: ее личное жилье! Не Джонни, не Юлии. Оно должно будет вместить все материалы ее исследований и книги, пока разделенные между редакцией «Дефендера» и домом Юлии. Значит, это будет большая квартира. Вообще-то, ежемесячная зарплата — замечательная вещь: только тот, кто не всегда ее получал, может оценить это в полной мере. Фрэнсис помнила работу на заказ и ненадежные заработки в театре. Но как только она накопит достаточно денег для приличного первого взноса, то сразу откажется от своей фальшивой, как ей казалось, позиции в «Дефендере», и это будет конец регулярным пополнениям ее банковского счета.

Фрэнсис всегда большую часть работы делала дома, никогда не чувствовала себя частью газеты. То, что она приходила и уходила, ее коллегам не нравилось: они рассматривали такое ее поведение как критику

в адрес «Дефендера». Так оно и было. Фрэнсис была сторонним человеком в организации, считающей себя бастионом, который осаждали враждебные реакционные орды, — словно ничего не изменилось с великих дней прошлого столетия, когда «Дефендер» практически в одиночку защищал здоровые, чистые ценности (не было такой честной или доброй цели, за которую он не боролся). Почти век спустя газета стояла на стороне униженных и оскорбленных, но вела себя так, как будто речь шла о социальной несправедливости, а не о частных случаях.

Фрэнсис давно отказалась от колонки тетушки Веры («*Мой маленький сын писается в постель, что мне делать?*») и вместо этого сочиняла большие, тщательно подготовленные статьи на такие темы, как несоответствие в оплате труда женщин и мужчин, неравные возможности при трудоустройстве, детские сады. Практически все, о чем она писала, имело отношение к разнице в положении женщин и мужчин.

В некоторых кругах, особенно среди мужчин (которые тоже все чаще чувствовали себя осажденными враждебными ордами женщин), женская часть журналистов «Дефендера» считалась настоящей мафией — тяжелой, мрачной, одержимой, но реальной силой. Фрэнсис точно была реальной силой: все ее статьи обрели вторую жизнь в качестве памфлетов и даже книг, третью — в качестве радио- или телепередач. В душе она соглашалась с точкой зрения, что ее подруги по перу тяжеловесны, но подозревала, что в том же можно обвинить и ее саму. Во всяком случае, тяжесть в ее мироощущении присутствовала: на Фрэнсис давила несправедливость жизни. Да, обвинения Колина не беспочвенны: она действительно верит в прогресс и в то, что упорство в борьбе с каждым проявлением несправедливости в конце концов приведет к лучшему устройству мира. Разве не так? По крайней мере иногда? У нее были свои маленькие триумфы. Но зато Фрэнсис никогда не уносила в штормовые небеса столь модного феминизма — она не была способна, как Джули Хэкетт, впадать в ярость, когда по радио упоминали самку комара как разносчицу малярии. «Дерьмо! Поганое фашистское дерьмо!» Когда Фрэнсис удалось убедить Джули, что на самом деле это факт, а не клевета, выдуманная злонамеренным ученым-мужчиной, чтобы принизить женский пол, та сменила ярость на истерические слезы: «Это же так несправедливо». Джули Хэкетт продолжала быть верной «Дефендеру». Дома она надевала фартук с логотипом «Дефендера», пила чай из кружек с логотипом «Дефендера», пользовалась полотенцами с логотипом «Дефендера». Она могла разразиться гневными слезами, если кто-то нелестно отзывался при ней о «ее» газете. Джули догадывалась, что Фрэнсис не «преданна газете»

(ей нравилась эта формулировка) так, как она, и часто устраивала небольшие нравоучительные беседы, призванные исправить этот недочет. Фрэнсис находила Джули утомительной. Любители шаловливых фокусов, которые устраивает нам жизнь, уже признали эту фигуру, которая так часто сопровождает нас, возникает везде и всегда, тень, без которой мы прекрасно обошлись бы, однако вот она, или он, карикатура на самого себя, но — о да, такое полезное напоминание. Ведь Фрэнсис попала на пустопорожнюю риторику Джонни, была зачарована великой мечтой до потери рассудка и выстроила в соответствии с ней всю свою дальнейшую жизнь. Она больше так и не сумела освободиться. И теперь Фрэнсис два или три дня в неделю работала с женщиной, для которой «Дефендер» играл ту же роль, что Партия — для ее родителей, которые по сию пору оставались ортодоксальными коммунистами и гордились этим.

Некоторые люди приходят к выводу, что наша — человеческого рода — величайшая потребность состоит в том, чтобы иметь объект для ненависти. Десятилетиями высшие классы, средние классы исполняли эту крайне полезную функцию, получая в обмен (в коммунистических странах) смерть, пытки и тюремное заключение, а в более уравновешенных странах, вроде Британии, — всего лишь поношение или неприятные обязанности, как, например, усвоение просторечного жаргона. Но теперь данное мировоззрение поизносилось. Новый враг — мужчины — был еще более удобен, поскольку он охватывал половину населения Земли. Из конца в конец планеты женщины устраивали судилища над мужчинами, и пока Фрэнсис была с «Дефендером», она чувствовала себя одной из присяжных, которые единогласно выносят приговор: «Виновны». В моменты отдохновения женщины с непоколебимым чувством собственной правоты — рассказывали друг другу анекдоты о грубости или тупости мужчин, обменивались сатирическими комментариями, поджимали губы и выгибали брови, а в присутствии мужчин они выискивали свидетельства неправильных суждений, бросались на них, как кошки на воробьев. Никогда земля не знала более самодовольных, самовлюбленных, несамокритичных людей. Но все это была лишь одна определенная стадия в женском движении. Начало нового феминизма в шестидесятых больше всего напоминало девчущку на взрослой вечеринке: ошалевшая от возбуждения, щеки горят, глазенки блестят, вертится в танце и голосит: «А я без трусов, видите мою попу?» От роду три года, и взрослые притворяются, что ничего не видят: вырастет и успокоится. И она выросла и успокоилась. «Кто — я? Никогда я не делала ничего подобного... а, ну да, так я была еще совсем маленькой».

Вскоре благоразумие вступило в свои права, и если и пришлось на первом этапе заплатить цену раздражающего самодовольства, то это небольшая цена за сухой остаток: за серьезное, тщательное исследование, основанное на бесконечном сборе и анализе фактов, цифр, правительственных отчетов, истории — в общем, за работу, которая меняет законы и мнения и восстанавливает справедливость.

Но и эта стадия, как заведено природой вещей, сменится следующей.

Тем временем Фрэнсис пришла к выводу, что работа в «Дефендере» не сильно отличалась от брака с Джонни: ей предлагалось заткнуться и держать свои мысли при себе. Вот почему она предпочитала всю работу делать дома. Ведь держать свое мнение при себе утомительно. Гораздо дольше времени потребовалось Фрэнсис на то, чтобы понять, что многие из журналистов, работающих в «Дефендере», были отпрысками товарищей. Нужно было достичь определенной стадии близости, чтобы этот факт выявился. Те, кто воспитывался в духе «красных» идеалов, предпочитали помалкивать об этом — слишком долго объяснять. Но если и другие сидят в той же лодке? И так было не только в «Дефендере». Поразительно, как часто можно было услышать: «Мои родители были в Партии, знаете ли». Поколение «веривших», теперь дискредитированное, дало жизнь детям, которые отказались от веры родителей, но продолжали восхищаться их преданностью — сначала тайно, а потом и открыто. Вот это была вера! Какая страсть! Какой идеализм! Но как они могли проглотить всю эту ложь? Что касается их, отпрысков, то они обладают свободными и пытливыми умами, не зараженными пропагандой.

Но факт оставался фактом: атмосфера в «Дефендере» и в других либеральных печатных органах была еще той, «партийной». И первым, самым очевидным доказательством этого является враждебность к несогласным. Левые или либеральные дети называют своих родителей фанатиками, но не осознают, что полностью унаследовали их склад ума. «Тот, кто не с нами, тот против нас». Привычка поляризации: «Раз ты думаешь не так, как мы, значит, ты фашист».

И, подобно Партии в былые дни, имелась в обществе когорта обожаемых людей, героев и героинь — конечно, не коммунистов, но товарищ Джонни был выдающимся деятелем, величественным старцем, одним из «старой гвардии» и виделся многим как памятник самому себе, вечно стоящий на трибуне и потрясающий кулаком на реакционные небеса. Советский Союз по-прежнему притягивал если не умы, то сердца. Да, да, ошибки были, и эти ошибки признали, но все равно эту великую силу защищали — по привычке, укоренившейся слишком глубоко.

В редакции газеты были люди, о которых шептались: должно быть, они шпионы ЦРУ. То, что шпионы ЦРУ повсюду, не вызывало сомнений; тогда почему не здесь тоже? Но никто не говорил, что в этот пирог запустил свои советские пальцы и КГБ, манипулируя и воздействуя, хотя такова была правда, не признаваемая двадцать лет подряд. Главным врагом были Соединенные Штаты — то было неписаное положение и зачастую об этом громко заявляли. Америка — фашистское милитаристское государство, и недостаток свободы и истинной демократии в ней подвергался постоянным нападкам в статьях и речах тех людей, которые ездили туда в отпуск, посылали детей в американские университеты и предпринимали поездки через «пруд», чтобы принять участие в демонстрациях, забастовках, маршах и митингах.

Некий наивный юнец, присоединившийся к «Дефендеру» из чувства восхищения перед его великой и почетной историей свободной и справедливой мысли, задиристо утверждал, что было ошибкой называть Стивена Спендера фашистом за его кампанию против Советского Союза и попытки заставить людей принять «правду», каковое слово означало полную противоположность того, что под ним понимали коммунисты. Этот молодой человек доказывал, что поскольку все знают о фальсифицированных выборах, показательных судах, концентрационных лагерях, использовании труда заключенных и о том, что Сталин был гораздо хуже Гитлера, то можно так прямо и заявить. Последовали крики, вопли, слезы, чуть не дошло до драки. Юнец исчез из редакции и был признан «подсадной уткой» ЦРУ.

Фрэнсис была не единственной, кто мечтал оставить это лицемерное, лживое гнездо. Руперт Боланд, ее хороший друг, был вторым таким человеком. Тайная неприязнь к учреждению, в котором они работали, объединила их, и потом, когда оба они могли бы уйти, найдя работу в других газетах, они остались — в силу взаимной симпатии. О чем ни один из них не догадывался, поскольку признались они друг другу в этом уже позже. Фрэнсис давно чувствовала, что рискует влюбиться в этого мужчину, и потом, когда решила, что уже слишком поздно, это случилось. Ну, а почему бы и нет? События развивались неторопливо, но в целом удовлетворительно. Руперт хотел жить вместе с ней.

— Не хочешь ли переехать ко мне? — спросил он.

Руперт имел квартиру в Мэрилебоуне. Фрэнсис ответила, что не прочь иметь собственный дом, хотя бы на старости лет. У нее будет достаточно денег через год или два. Он сказал:

— Давай я одолжу тебе денег, которых не хватает.

Фрэнсис уклонялась от прямого ответа и находила причины отказаться от его предложения. Ведь в таком случае это будет не совсем ее дом, а ей хотелось иметь такой уголок на Земле, про который она могла бы сказать: «Это мое». Но Руперт этого не понимал и обижался. Несмотря на эти разногласия, их любовь цвела. Фрэнсис приходила к нему ночевать, нечасто, потому что не желала огорчить Юлию и боялась Колина. Руперт спрашивал:

— Но почему? Ты ведь уже давно совершеннолетняя.

При сближении с другим человеком порой возникают такие моменты, когда целые куски кровоточащей и мучительной истории вдруг сворачиваются и закрываются. Фрэнсис не верила, что сможет объяснить ему. И не хотела. Не стоит ворошить прошлое. Баста. Финиш. Руперт все равно не поймет. Он был женат и имел двух детей, которые жили с матерью. Он виделся с ними регулярно, теперь вместе с Фрэнсис. Но Руперт еще не прошел через беспощадные притязания подросткового возраста. Он сказал, совсем как Вильгельм:

— Но мы же не тинейджеры, которые прячутся от взрослых.

— Насчет этого не знаю. Но в любом случае пока мне это нравится.

Был еще один момент, который мог бы создать проблему, но не создал. Руперт был десятью годами младше Фрэнсис. Ей было почти шестьдесят, а ему — всего пятьдесят! Но после определенного возраста десять лет в одну или другую сторону уже не имеют особого значения. Помимо секса, про который Фрэнсис вспоминала, что то было приятное времяпровождение, Руперт был для нее идеальным компаньоном. Он заставлял ее смеяться, чего, Фрэнсис знала, ей сильно не доставало всю жизнь. Как легко быть счастливыми, обнаружили они, и, не веря самим себе, оба признались в чувствах.

И это было так легко сделать — почему? Память подсказывала, что это сложное, трудное, болезненное дело.

Но пока не было места для их любви, которая носила обыденный, спокойный характер — совсем не похожая на подростковый флирт.

Толпы, собравшиеся для празднования независимости Цимлии, выплеснулись из зала на ступени крыльца и дальше на тротуары, они грозили застопорить движение на улицах, как случилось ранее на гуляниях в честь Кении, Танзании, Уганды, Северной Цимлии. Вероятно, во всех этих мероприятиях принимала участие большая часть тех, кто предавался сейчас веселью. Здесь были представлены все разновидности победных

эмоций: от тихого удовлетворения людей, трудившихся годами, до неистового экстаза тех, кого толпа опьяняет так же, как любовь, или ненависть, или футбол. Фрэнсис пришла, потому что ей позвонил Франклин.

— Очень прошу вас, приходите. Нет, без вас для меня не будет праздника. Я зову всех своих старых друзей. — Ей это было лестно слышать. — А где мисс Сильвия? Она тоже должна прийти, пожалуйста, попросите ее.

Вот почему с Фрэнсис сегодня была Сильвия. Они протискивались через толпу, хотя девушка постоянно твердила:

— Фрэнсис, мне нужно поговорить с вами кое о чем. Это очень важно.

Кто-то потянул Фрэнсис за рукав.

— Миссис Леннокс? Вы миссис Леннокс? — вопрошала настойчивая молодая женщина с рыжими волосами и выражением растерянности на лице. — Мне нужна ваша помощь.

Фрэнсис остановилась, и Сильвия тоже, сразу позади нее.

— В чем дело? — прокричала Фрэнсис.

— Вы так помогли моей сестре. Она обязана вам жизнью. Можно и мне к вам прийти? — Незнакомка тоже пыталась перекричать общий гам.

Озарение пришло, но не сразу.

— А, понятно. Должно быть, вы имеете в виду другую миссис Леннокс — Филлиду.

Безумные подозрения, раздражение, затем неприязнь исказили черты лица знакомки.

— Так вы отказываетесь? Не можете? Не хотите?

— Я не та миссис Леннокс, что вам нужна. — И Фрэнсис пошла вперед. Сильвия успела взять ее под руку. То, что Филлиду видят в таком свете... нужно время, чтобы это уложилось в голове. — Она говорила о Филлиде, — пояснила Фрэнсис.

— Да, я поняла, — сказала Сильвия.

Еще от двери было видно, что зал набит до отказа и что нет ни малейшей возможности пробраться внутрь, но на входе распоряжались Роуз и Джил, обе с розетками размером с тарелку, одетые в цвета цимлийского флага. При виде Фрэнсис Роуз с энтузиазмом замахала ей и прокричала в склоненное к ней ухо:

— Тут как будто большой семейный вечер, все пришли. — Но потом она заметила Сильвию, и ее лицо скривилось негодующей гримасой. — Что-то я тебя ни разу не видела на наших демонстрациях.

— Меня ты тоже не видела, — сказала Фрэнсис. — Но надеюсь, это не

значит, что я тут белая ворона.

Роуз хмыкнула, но отошла в сторону, пропуская Фрэнсис и, следовательно, Сильвию внутрь.

— Фрэнсис, мне нужно поговорить с Франклином.

— Тогда, может быть, тебе лучше обратиться к Джонни?

— Джонни, похоже, меня не помнит, но ведь я же сто лет была частью семьи — правда же?

Зал взревел. На платформу пробивались ораторы, человек двадцать, и Джонни среди них, с Франклином и другими чернокожими товарищами. Франклин увидел Фрэнсис, которая сумела как-то пробраться в первые ряды, и спрыгнул с платформы, смеясь, почти плача, потирая ладони: он таял от счастья. Африканец обнял Фрэнсис, а потом огляделся вокруг и спросил:

— А где Сильвия?

Франклин смотрел на худую молодую женщину с прямыми волосами, убранными от бледного лица в хвост, в черном свитере с высоким воротником. Его взгляд оставил ее, побродил вокруг, вернулся — очевидно, были какие-то сомнения.

— Но вот же Сильвия! — крикнула ему Сильвия.

Зал ревел и аплодировал. На платформе, прямо над ними, стояли ораторы, махали знакомым, стискивали руки над головой в приветствии, пронзали воздух кулаками в салюте, адресованном, по-видимому, какому-то существу над головами зрителей. Они улыбались и смеялись, впитывали обожание толпы и посылали его обратно горячими, почти что видимыми лучами.

— Да вот же я. Ты забыл меня, Франклин.

Никогда еще ни один мужчина не выглядел более разочарованным, чем Франклин в этот миг. Много лет жила в его памяти маленькая девочка с пушистыми волосами, похожая на цыпленка, славная, как Дева Мария и другие женщины-святые на священных изображениях в миссии. А эта суровая сухая женщина причиняла ему боль, он не хотел смотреть на нее. Но она вышла из-за спины Фрэнсис и обняла его, и улыбнулась, и на мгновение он готов был поверить: «Да, это Сильвия...»

— Франклин! — закричали ему с платформы.

В этот момент подошла Роуз, и ему не удалось уклониться от ее объятий.

— Франклин. Это я. Роуз. Ты меня помнишь?

— Да, да, да, — закивал Франклин, чьи воспоминания о Роуз были, честно говоря, смутными.

— Мне нужно поговорить с тобой, — сказала она.

— Хорошо, но мне нужно возвращаться на сцену.

— Я подожду тебя после митинга. Помни, это для твоей же пользы.

Франклин взобрался на платформу и превратился в блестящее, улыбающееся черное лицо среди других таких же.

Он стоял рядом с Джонни, который был как состарившийся, но величественный лев и приветствовал своих последователей в толпе зрителей внизу, потрясая кулаком. Но взгляд Франклина все еще бродил по залу, словно где-то там была та, давнишняя Сильвия, и когда глаза его остановились безутешно на том месте, где сидела в первом ряду нынешняя Сильвия, она улыбнулась ему и помахала. Его лицо снова взорвалось счастьем, и Франклин раскрыл руки, обнимая толпу, но на самом деле объятие предназначалось только Сильвии.

На праздновании победы после войны обычно уделяют не много времени мертвым солдатам — вернее, о них говорят и даже поют с излишком, в том ключе, что «погибшие товарищи сделали эту победу возможной», но все эти лозунги и шумные заверения направлены как раз на то, чтобы поскорее забыть о костях, лежащих в скалистой расщелине или в могиле, настолько неглубокой, что туда добрались шакалы, раскидали ребра, пальцы, череп. За шумом скрывается обвиняющее молчание, которое вскоре сменяется забвением. В зале в тот вечер было мало людей (почти все были белыми), кто потерял бы сыновей и дочерей в эту войну или сам сражался там, но мужчины на платформе — часть из них — служили в армии или приезжали на фронты. Также там были мужчины, которые обучались вести политические или партизанские войны в СССР или в лагерях, организованных Советским Союзом в Африке. И еще среди зрителей находилось приличное количество людей, знавших различные «кусочки» Африки в старые времена. Между ними и активистами пролегла пропасть, но все были охвачены единым победным восторгом.

Двадцать лет войны, начавшейся с изолированных вспышек «общественных беспорядков», «непослушания», или забастовок, или угрюмого недовольства, прорывающегося убийствами и поджогами, но все эти ручейки слились в наводнение, которое стало войной, продолжавшейся целых двадцать лет, а скоро о ней забудут и вспоминать будут только по праздникам. Оглушительный шум в зале не стихал. Люди кричали, и плакали, и обнимали друг друга, и целовались с незнакомыми, а на платформе ораторы сменяли один другого, черные и белые. Выступил Франклин, потом еще раз. Толпе он нравился, этот круглолицый жизнерадостный человек, который — так говорили — вот-вот войдет в

правительство, формируемое товарищем Мэтью Мунгози: тот неожиданно получил большинство голосов на только что состоявшихся президентских выборах. Да, президент Мунгози, а ведь недавно это было всего лишь имя среди полудюжины других потенциальных лидеров. Позже других на митинге появился товарищ Мо. Этот возбужденно смеялся, запрыгнул на платформу, чтобы рассказать о том, как он вернулся сию минуту с передовой линии свободы, где борцы откладывают оружие и строят планы, как сделать реальностью те заветные мечты, что вели их вперед десятки лет. Товарищ Мо, жестикулируя, захлебываясь, плача, рассказывал зрителям об этих мечтах — все были так поглощены новостями с театра военных действий, что не имели минутки подумать о том, как скоро придется им услышать: «А теперь мы все вместе будем строить будущее». Товарищ Мо на самом деле не был цимлийцем, но это не важно, больше никто в последнее время не виделся с борцами за свободу, даже товарищ Мэтью, слишком занятый переговорами с Белым домом и другими встречами на высшем уровне. Большинство мировых лидеров уже заявили о своей поддержке нового президента Цимлии. За ночь он вырос в фигуру международного масштаба.

У Фрэнсис и Сильвии не было возможности покинуть зал, а ликование, и слезы, и речи продолжались до тех пор, пока администраторы не пришли предупредить, что осталось десять минут оплаченного времени. Недовольные возгласы, свист, крики «Фашисты!». Все двинулись к выходу. Фрэнсис задержалась, глядя на Джонни, думая, что должен он хотя бы показать, что знает о ее присутствии, и он действительно сухо кивнул бывшей жене. На платформу вскарабкалась Роуз, чтобы поздороваться с Джонни, который и ей всего лишь кивнул. Потом Роуз встала перед Франклином, закрыв доступ всем остальным, кто хотел пожать ему руку, обнять или даже вынести из зала на плечах.

Фрэнсис и Сильвия добрались до фойе, где их догнала Роуз, лопаясь от гордости. Франклин пообещал устроить ей интервью с товарищем Мэтью. Да, сразу же. Да, да, да, он твердо пообещал, что поговорит с товарищем Мэтью, который будет в Лондоне всю следующую неделю, и Роуз получит свое интервью.

— Вот видите? — воскликнула она, обращаясь исключительно к Фрэнсис и игнорируя Сильвию. — Так что я на пути к цели.

От Фрэнсис ожидали вопроса: «К какой цели?» — и она задала его.

— Увидите, — сказала Роуз. — Мне нужен был только толчок, и все.

Она удалилась, чтобы заняться обязанностями распорядителя.

Фрэнсис и Сильвия стояли на тротуаре, окруженные счастливыми

людьми, которые никак не хотели расходиться.

— Мне нужно увидеться с вами, Фрэнсис, — сказала Сильвия. — Это важно. И не только с вами — со всеми.

— Со всеми!

— Да. Вы поймете почему.

Они договорились собрать всех через неделю, и Сильвия придет домой на весь вечер, она обещает.

Роуз прочитала все статьи, в которых упоминался товарищ Мэтью, президент Мунгози. Про Цимлию писали мало. О президенте же отзывались в основном одобрительно, в том числе люди, которые известны критическим настроем. Прежде всего, он коммунист. Спрашивалось: что это будет означать в контексте Цимлии? Роуз не планировала задавать подобных вопросов, конфронтация ей ни к чему. Перед встречей она составила примерный список вопросов африканскому лидеру, взяв их все из уже данных им интервью. В качестве журналиста Роуз обычно писала небольшие очерки в местных новостях, используя сведения, полученные от Джил, которая теперь состояла в нескольких комитетах при муниципальном совете. В своих статьях Роуз просто повторяла эту информацию (или статьи других людей), так что задача, которую ей предстояло выполнить на встрече с президентом Мунгози, ничем не отличалась от прежней работы, только была значительнее по объему и (она надеялась) последствиям. В наброске интервью Роуз не упомянула ни единого критического замечания в адрес товарища Мэтью и закончила парой абзацев оптимистичных эвфемизмов, которые так часто можно было слышать в исполнении товарища Джонни.

На свою встречу с цимлийским вождем она взяла этот набросок. Товарищ Мэтью не был общителен, по крайней мере поначалу, но когда он прочитал ее проект интервью, то все его подозрения рассеялись, и он даже подсказал Роуз несколько полезных цитат: «Как сказал мне президент Мунгози...»

Прошла неделя. Фрэнсис разложила кухонный стол до его первоначального состояния, надеясь, что гости скажут: «Как в старые времена». Она приготовила рагу и сделала пудинг. Кто собирался прийти? Узнав, что будет Сильвия, пообещала спуститься Юлия и привести с собой Вильгельма. Когда Колин услышал, по какому поводу созывает Сильвия этот «митинг», сказал, что обязательно придет. Эндрю, утверждающий, что у них с Софи медовый месяц (хотя они еще не расписывались), тоже сказал, что они придут вдвоем.

Юлия и Фрэнсис ждали вместе. Первым прибыл Эндрю, но один. Достаточно было взгляда, чтобы все понять: он выглядел опустошенным, даже измученным, и в нем не осталось ни следа от шутника Эндрю. Он был грустен, с красными глазами.

— Софи, возможно, подойдет попозже, — объявил он и налил себе один стакан красного вина и затем, проглотив его одним махом, сразу же второй. — Да-да, знаю, мама, — сказал он. — Но мне пришлось нелегко.

— Софи вернулась к Роланду?

— Не знаю. Может быть. Узы любви трудно разрушить, но если это любовь, то дайте мне что-нибудь другое. — Эндрю уже запинаясь, от алкоголя. — А пришел я на самом деле потому, что почти не вижусь с Сильвией. Сильвия — кто она такая? Может, на самом деле я люблю ее. Но знаешь что, Фрэнсис, мне кажется, что в душе она монахиня. — И так Эндрю продолжал, поток слов замедлился только тогда, когда он встал, прошел к раковине и ополоснул лицо холодной водой. — Существует такой предрассудок... — Эндрю едва выговаривал слова, — что холодная вода гасит пары алкоголя. Неправда. — Едва сев, он тут же уронил голову на стол, а затем снова встал и сказал: — Наверное, мне лучше прилечь ненадолго.

— Твою комнату занял Колин.

— Пойду тогда в гостиную. — Его продвижение по лестнице сопровождалось грохотом.

Пришла Сильвия и обняла Юлию, которая не удержалась от упрека:

— Я совсем тебя не вижу в последнее время.

Сильвия улыбнулась и села напротив Фрэнсис, положив перед собой бумаги.

— Ты разве не будешь с нами ужинать? — спросила Юлия, и Сильвия сказала:

— Конечно. Извините. — И отодвинула бумаги в сторону.

Широкими прыжками спустился в кухню Колин. Бледное лицо Сильвии потеплело при виде него, и она протянула ему навстречу руки. Они обнялись.

Постучался в дверь Вильгельм, как всегда это делал, спросил, можно ли ему присоединиться к ним, сел рядом с Юлией, сначала поцеловав ей руку и окинув ее внимательным взглядом. Он беспокоится о ней? Выглядит она по-прежнему, они оба не меняются уже много лет. Хотя Вильгельм уже близок к девяностолетию, но при этом крепок, деятелен.

Услышав, что Эндрю пьян и спит в гостиной, Колин сказал:

— *La belle dame sans merci.* [11] Я же говорил тебе, Фрэнсис, помнишь?

В этот момент появилась и сама Софи, на ходу извиняясь за опоздание. Она была в свободном белом платье, поверх которого лились каскады черных волос. Ее лицо не несло на себе следов ни любви, ни боли, а вот глаза — глаза совсем другое дело.

Фрэнсис подавала еду, поэтому руки у нее были заняты. Она подставила щеку, чтобы Софи могла поцеловать ее. Затем Софи скользнула на стул напротив Колина и увидела, что он с серьезным видом изучает ее.

— Милый Колин, — сказала Софи.

— Твоя жертва наверху, в отключке, — сообщил ей Колин.

— Нехорошо так говорить, — заметила Фрэнсис.

— Не хотел никого обидеть, — сказал Колин.

Глаза Софи наполнились слезами. Вильгельм обратился к Колину:

— Прекрасных женщин нельзя упрекать за тот вред, что они причиняют. Господь даровал им разрешение мучить нас. — Он взял руку Юлии, поцеловал ее раз, другой, вздохнул, положил морщинистую руку обратно и похлопал ее ласково.

Пришел Руперт. Без каких-либо объяснений, которых никто, впрочем, и не потребовал, он стал данностью в их доме и, надеясь Фрэнсис, был принят. Колин посмотрел на него долгим взглядом, и хотя враждебности в нем не было, зато чувствовалось какое-то уныние, словно подтвердился приговор одиночества. Руперт сел на стул возле Фрэнсис и всем кивнул.

— Ты говорила — митинг. Но еще и ужин, как я посмотрю, — сказал он.

Фрэнсис поставила перед каждым полные тарелки — в семейном стиле — и бутылки с вином посреди стола.

— Это волшебно, Фрэнсис, это так восхитительно, совсем как в старые времена, о, я так часто вспоминаю о них, как мы все сидели за этим столом, чудные вечера, — щебетала Софи. Но она едва не плакала и тонкими белыми пальцами, созданными для перстней, уничтожала кусок хлеба.

Тут в кухню вбежала маленькая собачка, вырвавшаяся из заточения, куда ее поместили на время ужина, и моментально взобралась Колину на колени, где и осталась сидеть, энергично мотая хвостиком-перышком.

— Слезь, Злюка, — велел песику Колин. — Сейчас же.

Но зверюшка поудобнее устроилась у хозяина на коленях и попыталась лизнуть его в лицо.

— Нехорошо позволять собакам так себя вести, — заметила Сильвия.

— Знаю, — ответил Колин.

— Ах, эта собака, — сказала Юлия. — Почему ты не придумал ей

более приличное имя? Каждый раз, когда я слышу «Злюка», мне становится смешно.

— Смех — лучшее лекарство, — парировал Колин. — Что ты на это скажешь, Сильвия?

— Скажу, что мы совсем позабыли о еде. — Сама она едва притронулась к тому, что лежало на ее тарелке.

— Божественно вкусно! — воскликнула Софи, которая ела так, будто голодала неделю.

Наконец появился и Эндрю, нездоровый на вид, но трезвый. Они с Софи обменялись горестными взглядами. Фрэнсис поставила перед Эндрю тарелку, и он сказал:

— Может, сразу перейдем к делу? Нам с Софи скоро нужно будет уходить. — Во взгляде, который он кинул на Софи, чувствовался робкий вопрос, но она казалась смущенной.

— Нужно ли мне еще раз все повторить? — поинтересовалась Сильвия, с облегчением отодвигая тарелку и вновь раскладывая перед собой бумаги. — Я разослала всем общую информацию.

— Очень полезная информация, — сказал Эндрю, — спасибо.

А дело было вот в чем. Группа молодых врачей хотела заставить правительство строить убежища на случай выпадения радиоактивных осадков и, в дальнейшем, на случай полномасштабной ядерной атаки. Этой инициативе противостояла шумная, активная, действенная организация под названием «Кампания за одностороннее ядерное разоружение». Эти люди не желали ничего слышать о строительстве каких бы то ни было убежищ и всячески мешали обучению населения элементарным мерам безопасности. Тон полемики был негативный, яростный, вплоть до истеричного. Юлия сказала:

— Прошу объяснить мне кое-что. Почему эти люди так недовольны, что правительство готовит укрытия для себя и королевской семьи? — Расхожей фразой по этому поводу было: «Правительство все делает, чтобы защитить себя, а на нас ему наплевать». — Я просто не понимаю, — продолжала Юлия. — Если начнется война, то стране как никогда будет нужно правительство, разве это не логично?

— Здоровые рассуждения вряд ли применимы в этой кампании, — вставил Вильгельм. — Эти люди не знают, что такое война, а иначе не говорили бы подобные глупости.

— Вот как они рассуждают, — сказал Колин. — Упадет бомба, и все в мире погибнут. Следовательно, нет никакой необходимости строить убежища.

— Но это нелогично, — возразила Юлия. — Это непоследовательно.

Фрэнсис и Руперт посмотрели на пачку газетных вырезок — из «Дефендера» — и невесело переглянулись. «Дефендер» поддерживал кампанию. Сотрудники редакции заседали в комитетах кампании. Журналисты редакции писали от имени кампании статьи.

— Их аргумент таков, — попытался просветить бабушку Колин, — мол, если правительство будет уверено в своей безопасности, то с большей готовностью пойдет на то, чтобы сбросить бомбу.

— Какую бомбу? — спросила Юлия. — Почему всего одну бомбу? Что это за бомба, о которой все говорят? На войне много бомбят.

— В том-то и дело, Юлия, — сказала Сильвия. — Именно это нам и нужно донести.

— Может, Джонни сумеет нас просветить, — внес предложение Вильгельм. — Он же состоит у них в комитете.

— Есть ли такой комитет, в котором он не состоит? — хмыкнул Колин.

— А давайте позвоним ему и попросим прийти и обосновать свою позицию, — предложил Руперт.

Идея произвела впечатление — членам семьи такое в голову не пришло. Эндрю подошел к телефону. Он набрал номер, Джонни ответил. Услышав, что здесь проходит митинг, он согласился подъехать.

Дождаясь Джонни, все читали вырезки Сильвии, и Юлия сказала:

— Какие они странные, право слово. Эти люди как дети.

— Верно подмечено, — кивнула Сильвия.

лагодарная за эту крошку, Юлия взяла руку Сильвии и прижала к груди.

— Ах, моя бедная девочка, ты не ешь, ты не бережешь себя.

— Я в порядке, — ответила Сильвия. — Мы все слишком много едим.

Осужденное этими словами рагу Фрэнсис тем не менее пользовалось успехом. Присутствующие не возражали против добавки.

Прибыл Джонни, но не один, а вместе с Джеймсом. Оба мужчины традиционно были в полувоенных куртках и сапогах из армейского магазина. Джонни, который недавно побывал на Кубе, у Фиделя, намотал на шею шарф цветов кубинского флага. Джеймс, высокий, плотный, улыбался всем дружелюбно. Не рады видеть Джеймса? Не может такого быть! Он обнял Фрэнсис, похлопал Эндрю и Колина по плечу, поцеловал Софи, прижал к себе костяную Сильвию, отсалютовал Юлии, вскинув сжатый кулак до уровня плеча — модифицированный таким образом приветственный жест для использования вне Партии.

— Хорошо снова оказаться здесь, — объявил он.

Он сел на свободный стул и выжидательно посмотрел на Джонни. Тогда тот тоже опустился на стул рядом с Джеймсом, однако, почувствовав себя на одном уровне с остальными, встал и снова принял свою обычную позу — спиной к окну, руки опираются о подоконник.

— Я поел, — заявил он. — Как ты, Мутти?

— Как видишь.

Джеймс с аппетитом налег на еду.

— Вы не знаете, от какой вкуснотищи отказываетесь, — сказал он своему кумиру и наставнику. Он говорил с просторечным акцентом, и Юлия недовольно поморщилась.

Джонни помялся, потом сдался и сел. Перед ним тут же появилась тарелка, так как Фрэнсис знала, чем все это закончится.

Сильвия сказала:

— У нас серьезный разговор. Джонни, Джеймс, мы обсуждаем важные вопросы.

— Разве бывают несерьезные разговоры? — отозвался Джонни. Он кивнул сыновьям, когда пришел, а сейчас сказал Эндрю: — Передай хлеб.

— Жизнь, — вставил Колин, — вообще очень серьезная штука, как всем нам хорошо известно.

— И становится все серьезнее и серьезнее, — подхватил Эндрю.

— Хватит, — сказала Сильвия. — Мы пригласили сюда Джонни не просто так.

— Выкладывай! — велел Джонни.

— Наша группа состоит из молодых врачей. У нас есть комитет. Мы уже некоторое время назад испытывали озабоченность, но поводом к действию стало письмо, вывезенное из Советского Союза...

Джонни театральным жестом отложил нож и вилку и поднял ладонь, останавливая Сильвию. Но та продолжила:

— Оно написано группой советских врачей. Те сообщают, что на ядерных предприятиях были аварии, там много погибших, и люди до сих пор умирают. Большие зоны в стране заражены радиоактивными осадками...

— Мне не интересно выслушивать антисоветскую пропаганду, — заявил Джонни. Он вернулся на свое место у окна, оставив тарелку. Джеймс с неохотой тоже оторвался от еды и встал рядом с Джонни — капитан и его лейтенант. Сильвия сказала:

— Это письмо привезено человеком, который был в Советском Союзе с делегацией. Тайно привезено. Оно дошло до нас. Оно подлинное.

— Прежде всего, — заговорил Джонни еще более отрывисто, чем

обычно, — товарищи в Советском Союзе — ответственные люди и не допустят никаких аварий на ядерных установках. И во-вторых, я не готов тратить свое время на то, чтобы обсуждать сведения, полученные из очевидно фашистских источников.

— О, господи! — в раздражении воскликнула Сильвия. — Да вам самому-то не стыдно, Джонни? Сколько можно повторять одно и то же, когда всем уже известно?..

— Кому это всем? — фыркнул Джонни.

Их диалог прервала Юлия:

— Я хочу знать, почему ваша... ваша клика утверждает, будто это преступление — обезопасить правительство и королевскую семью в случае войны? Я не понимаю вас.

— Но это же просто, — пояснил Эндрю. — Это люди, которые ненавидят власть — безо всяких почему и зачем.

Джеймс кивнул со смехом:

— Ну да, правильно.

— Дети, — сказала Юлия, — глупые дети. И при этом они обладают таким влиянием. Если бы вы пережили войну, то не говорили бы подобной чепухи.

— Вы забываете, — заметил ей Джеймс, — что товарищ Джонни сражался в Испании.

Воцарилась тишина. Молодежь практически не слышала о подвигах Джонни, а старшее поколение давно устало от попыток эти подвиги забыть. А сам Джонни только скромно опустил глаза и потом кивнул, вновь беря нить разговора в свои руки.

— Если бомба упадет, то это будет конец, конец для всех на Земле.

— Какая бомба? — спросила Юлия. — Почему вы все говорите о какой-то бомбе?

— И не о Советском Союзе тут надо говорить. Бомба будет американской.

Сильвия сказала:

— О Джонни, прошу тебя, будь серьезен. Ты всегда говоришь такую ерунду.

Жалящие нападки этого ничтожества, этой пигалицы медленно выводили Джонни из себя.

— Должен заметить, что нечасто мне приходится слышать, будто я говорю ерунду.

— Это потому, что ты общаешься только с такими людьми, которые сами говорят ерунду, — пояснил отцу Колин.

Фрэнсис, которая сидела молча с момента появления Джонни, так как знала, что ничего толкового из разговора с ним не выйдет, стала убирать тарелки и расставлять стеклянные миски с лимонным кремом, абрикосовым муссом и взбитыми сливками. Джеймс, видя это, буквально застонал от жадности и вернулся на свое место за столом.

— Кто в наше время делает пудинги? — холодно заметил Джонни.

— Только милая Фрэнсис, — сказала Софи, принимаясь за свою порцию пудинга.

— И то изредка, — добавила Фрэнсис.

Сильвия вернулась к главной теме созванного ею «митинга»:

— Очень хорошо, Джонни, давайте допустим, что этих ужасных аварий в Советском Союзе никогда не было...

— Конечно не было.

— Тогда почему вы возражаете против того, чтобы население нашей страны было защищено от радиации? Вы даже не соглашаетесь информировать людей о том, как подготовить свое жилище на случай выпадения зараженных осадков. Вы отвергаете любые защитные меры. Я не понимаю. Никто из нас не может этого понять. Стоит только упомянуть слово «защита», как вы все встаете на дыбы.

— Потому что, соглашаясь строить убежища, вы соглашаетесь с неизбежностью войны.

— Но ведь в этом нет никакой логики, — заявила Юлия.

— Во всяком случае, простым людям она не доступна, — поддержал ее Руперт.

Сильвия сказала:

— Вот к чему все сводится, Джонни. В этой стране ни одно правительство не сможет предпринять или даже предложить никаких мер по защите населения, даже элементарных укрытий на случай радиоактивных осадков — и это только из-за вас. «Кампания по одностороннему ядерному разоружению» — это такая сила, с которой правительство вынуждено считаться.

— Верно, — сказал Джеймс на своем кокни. — Абсолютно верно.

— Почему вы считаете необходимым говорить с таким гадким произношением? — окончательно возмутилась Юлия. — Это неграмотно.

— Если ты не коверкаешь язык, значит, ты из аристократов, — произнес Колин, утрируя аристократическое произношение. — А если ты аристократ, то в этой стране ты работы не получишь. Еще одна тирания.

Джонни и Джеймс явно собрались уходить.

— Я возвращаюсь в больницу, — сказала Сильвия. — Там я хотя бы

могу поговорить с разумными людьми.

— Можно взглянуть на письмо, о котором ты говорила? — попросил Джонни.

— Зачем тратить свое время, — язвительно поинтересовалась Сильвия, — на фальшивки, сфабрикованные фашистами?

— Понятно зачем, — вставил Эндрю. — Товарищ Джонни хочет сообщить в советское посольство о его содержании. Чтобы найти его авторов и послать в трудовой лагерь или сразу расстрелять.

— Трудовых лагерей в Советском Союзе нет, — сказал Джонни. — А если и существовали когда-то — в определенном виде, у нас все это сильно преувеличивали, — то они давно уже упразднены.

— Боже мой, — протянул Эндрю. — Какой же ты зануда, Джонни.

— Зануды не опасны, — возразила Юлия. — А Джонни и ему подобные опасны.

— Как это верно подмечено, — согласился Вильгельм и вежливо, как всегда, обратился к Джонни: — Вы очень опасные люди. Осознаете ли вы, что если здесь, в этой стране, произойдет ядерная катастрофа или если какой-нибудь сумасшедший сбросит бомбу, про войну я даже не говорю, то из-за вас погибнут миллионы людей?

— Что ж, хорошо было перекусить тут у вас, — сказал Джонни.

— Ничего хорошего! — воскликнула Сильвия со слезами в голосе. — С чего я взяла, будто с вами можно о чем-то серьезно говорить?

Двое мужчин ушли. Эндрю и Софи тоже ушли, обняв друг друга за талию. Сардоническая улыбка Колина при виде этого проявления близости не осталась незамеченной ни сладкой парочкой, ни остальными.

Сильвия продолжила собрание:

— Возвращаясь к теме: у нас создан комитет. Пока там только врачи, но мы планируем расширяться.

— Запиши туда нас всех, — сказал Колин, — но будь готова найти стекло в своем вине или лягушек в почтовом ящике.

Сильвия на ходу приобняла Юлию и ушла.

— Вам не кажется странным, что глупые люди обладают такой властью? — спросила Юлия чуть не плача — из-за того, что Сильвия с ней так равнодушно попрощалась.

— Нет, — ответил Колин.

— Нет, — сказала Фрэнсис.

— Нет, — сказал Вильгельм Штайн.

— Нет, — сказал и Руперт.

— Но это же Англия, это — Англия... — недоумевала Юлия.

Вильгельм положил ей на плечи руку и повел Юлию из кухни наверх.

Теперь на кухне сидели Фрэнсис и Руперт, Колин и собака. Небольшой нюанс: Руперт хотел остаться на ночь, и Фрэнсис хотела, чтобы он остался, но боялась — ничего не могла поделать с собой — реакции Колина.

— Ну что ж, — вздохнул Колин, и было видно, что он говорит с усилием. — Пора спать, пожалуй. — То есть дал им разрешение. Он начал дразнить собаку, пока та не залаяла. — Конечно, последнее слово всегда за тобой, — сказал он Злюке.

Через пару недель Фрэнсис с Рупертом, Юлия и Вильгельм, а также Колин присутствовали на митинге, созванном молодыми врачами. Всего собралось человек двести. Встречу открыла Сильвия; она хорошо говорила. Затем выступали другие люди. О митинге прослышала оппозиция и прислала группу из тридцати человек, которые не переставая свистели, топали, кричали: «Фашисты! Поборники войны! ЦРУ!» Среди них были и сотрудники «Дефендера». Когда наши герои покидали митинг, какие-то юнцы на выходе ухватили Вильгельма Штайна за пальто и толкнули его на перила. Колин тут же бросился на них, завязалась драка. Вильгельм был потрясен, сперва думали, что этим дело и ограничилось, но оказалось, что у него сломаны ребра. Его привезли в дом Юлии и уложили в постель.

— Итак, моя дорогая, — сказал он вдруг постаревшим голосом. — Итак, моя дорогая Юлия, я добился недостижимого: наконец-то я живу вместе с тобой.

В тот раз остальные Ленноксы впервые услышали о его желании переехать к ним в дом.

Его поместили в комнату, которую когда-то занимал Эндрю, и Юлия показала себя преданной, хотя и строгой сиделкой. Вильгельму все это было глубоко неприятно, поскольку он всегда считал себя кавалером Юлии, ее поклонником. И Колин тоже, этот колючий молодой человек, удивил всех и себя в том числе, продемонстрировав заботливое внимание по отношению к старику. Он сидел с Вильгельмом и рассказывал ему истории из своей «опасной жизни в соседнем парке и ближайших пабах», в которых Злюка фигурировал в роли чуть ли не собаки Баскервилей. Вильгельм смеялся и умолял Колина прекратить, потому что у него болели ребра.

Пришел доктор Лехман и сказал Фрэнсис, Юлии и Колину, что старик вряд ли протянет долго.

— Такие падения в его возрасте не проходят бесследно.

Он предписал Вильгельму успокоительное и несколько видов таблеток для Юлии, которой он наконец разрешил считать себя старой.

Фрэнсис и Руперт потребовали в «Дефендере» права высказать свою точку зрения на движение за одностороннее разоружение и написали статью, которая вызвала ответный поток писем, почти все из которых были негодующими. В редакции «Дефендера» атмосфера накалилась до предела, Фрэнсис с Рупертом стали находить на своих рабочих столах гневные записки, иногда анонимные. Они поняли, что обращенная на них ярость слишком глубоко укоренилась в какой-то части коллективного подсознания, чтобы пытаться урезонить недовольных. Дело было вовсе не в том, защищать население или нет: почти никто из противников Фрэнсис и Руперта в сути вопроса не разбирался. В общем, в «Дефендере» стало очень неудобно. Они решили уйти — уйти гораздо раньше, чем их обоих это устраивало. Но просто они оказались не в том месте. Фрэнсис решила, что с самого начала эта газета была не для нее. И все эти длинные рассудительные статьи на социальные темы? Да любой другой журналист мог бы написать их, Фрэнсис была в этом уверена. Руперт почти сразу же нашел работу в другой газете, которую типичный последователь «Дефендера» назвал бы фашистской, но население причисляло ее к тори.

— Полагаю, я смог бы быть тори, — сказал Руперт, — если можно еще всерьез относиться к старым ярлыкам.

Через неделю после их увольнения в почтовый ящик дома Юлии подсунули коробку с фекалиями, но не в парадной двери, а в двери цокольной квартиры. Затем Фрэнсис прислали угрожающее письмо. И Руперт тоже получил такое же и вдобавок фотографии Хиросимы после бомбежки. В дом поднялась из своей квартиры Филлида — впервые за долгие месяцы — и заявила, что она отказывается быть вовлеченной в этот «нелепый спор». Она не чувствует себя готовой заниматься дерьмом — во всех смыслах этого слова, а особенно в буквальном. Она переезжает. Она будет снимать квартиру вместе с еще одной женщиной. И все. Она покинула дом.

Что касается ядовитых дебатов о защите населения от радиации, то вскоре возобладает мнение, что войну удавалось предотвращать так долго только благодаря тому, что ее возможные участники имели ядерное оружие и не использовали его. Но оставались, однако, вопросы, на которые это допущение не давало ответов. На ядерных установках могли случиться аварии, и они случались, только всячески замалчивались. В Советском Союзе даже имели место серьезные происшествия, в результате которых зараженными оказывались целые регионы. И в мире было немало безумцев, которые не задумываясь бы сбросили «бомбу» или несколько (Юлия была права как минимум в одном: не было никаких оснований

говорить о бомбе в единственном числе). Население оставалось незащищенным, но в спорах по этому поводу больше не было ни ярости, ни яда, ни пыла. Если ядерная угроза существовала, то она никуда не делась. А вот истерия испарилась.

— Странно, — сказала Юлия своим новым голосом — печальным и медлительным.

Вильгельм все еще жил в доме Юлии, а его большая роскошная квартира пустовала. Старик все повторял, что собирается перевезти к Юлии все свои книги и положить конец этой «удивительно бессмысленной ситуации», когда он жил ни с Юлией, ни отдельно от нее. Вильгельм назначал все новые даты кампании по перевозке вещей и сам же их отменял. Он был сам не свой. Юлия тоже. Они оба превратились в двух больных, которые хотят нести ответственность друг за друга, но этому мешает их собственная слабость. У Юлии началась пневмония, и некоторое время два инвалида лежали на разных этажах и обменивались записками. Потом Вильгельм настоял на визите к Юлии. Она увидела старика, который вошел в ее комнату, шаркая и держась за стены, двери, спинки стульев, и подумала, что ее друг похож на древнюю черепаху. Вильгельм был в темной домашней куртке, в темной шапочке, потому что у него постоянно мерзла макушка, и приобрел манеру вытягивать голову вперед. А Юлия... Он был потрясен при встрече с ней: на лице выдаются кости черепа, руки как палки.

Оба были так печальны, так подавлены. Как люди, пребывающие в жестокой депрессии, они воспринимали серый ландшафт, окружающий их, как единственную правду.

— Похоже, я совсем стал стариком, Юлия, — бодрился Вильгельм, пытаюсь возродить в себе того вежливого джентльмена, который целовал ей руку и был преградой между ней и всеми проблемами. Так они оба считали. Но на самом деле никакой преградой он не был, приходил к выводу Вильгельм, а был он старой развалиной, во всем — что уж там греха таить, да, во всем — зависящий от Юлии. И она, благовоспитанная, щедрая дама, в чьем доме столько людей нашли приют (хоть она и ворчала), без него стала бы эмоционально нищей старой дурой, сходящей с ума из-за девочки, которая даже внучкой ей не приходилась. Все чаще случались дни, когда они казались себе и другим тенью, которую отбрасывают на землю голые ветки, тонким и пустым пунктиром, нет больше теплой плоти, и поцелуи и объятия неуверенны — будто привидения пытаются встретиться.

Джонни узнал, что Вильгельм живет в доме Юлии, и приехал выразить

надежду, что мать не собирается оставить деньги этому «чужому старику».

— Тебя это совершенно не касается, — заявила Юлия. — Я не собираюсь обсуждать это. И поскольку ты здесь, я скажу тебе, что мне пришлось поддерживать материально двух брошенных тобой жен и их детей, поэтому я тебе ничего не оставлю. Если тебе нужны деньги, обратись к своей драгоценной Коммунистической партии, может, тебе дадут пенсию.

Дом был отписан Колину и Эндрю, а Филлиде и Фрэнсис назначены приличные, если не сказать щедрые, пенсии. Сильвия говорила:

— О Юлия, пожалуйста, не надо, мне не нужны деньги.

Но Юлия оставила имя Сильвии в своем завещании. Может, Сильвии это и не нужно, зато нужно Юлии.

Сильвия вот-вот должна была покинуть Британию, вероятно, надолго. Она уезжала в Африку, в католическую миссию в буше — в Цимлии. Узнав об этом, Юлия сказала:

— Значит, больше я ее не увижу.

Сильвия решила зайти к матери, чтобы попрощаться, и предварительно позвонила.

— Мило с твоей стороны, — сказала Филлида.

Ее квартира находилась в большом доме в Хайгейте, и табличка на двери сообщала, что по данному адресу проживают доктор Филлида Леннокс и Мэри Констебль, терапевты. Узкий как птичья клетка лифт прогрохотал через нижние этажи. Сильвия позвонила, кто-то откликнулся из-за двери, потом она была впущена — не Филлидой, а полной и жизнерадостной дамой, как раз покидающей квартиру.

— Оставлю вас вдвоем, — сказала Мэри Констебль, обнаружив тем самым, что между женщинами имели место откровенные разговоры.

Маленькая прихожая чем-то напоминала церковь, и Сильвия, оглядевшись, поняла, что это впечатление складывается благодаря большому витражу, выполненному в карамельных тонах, изображающему святого Франциска с его птицами. Витраж стоял на стуле — как указатель на духовность. За дверью открылась большая комната, главными предметами в которой были вместительное кресло, покрытое восточным ковром, и кушетка — подражание кушетке, стоящей в лондонском музее Фрейда, жесткая и неудобная. Филлида была теперь статной матроной с седеющими волосами, заплетенными в косы, и дородным лицом. Одета она была в разноцветный кафтан и увешана многочисленными бусами, серьгами, браслетами. Сильвии, которая носила в памяти образ вялой, плаксивой, обрюзглой женщины, пришлось перестраиваться при виде этой

энергичной и самоуверенной дамы.

— Садись, — сказала Филлида, указывая на стул в части комнаты, не предназначавшейся для приема посетителей.

Сильвия осторожно присела на краешек. Пряный, пикантный аромат... неужели Филлида стала пользоваться духами? Нет, это благовония, истекающие из соседней комнаты, куда вела приоткрытая дверь. Сильвия чихнула. Филлида закрыла дверь и села сама в свое кресло исповедника.

— Так что там, Тилли, ты говорила, будто едешь обращать язычников?

— Я еду работать в больницу, врачом. Это больница при миссии. Я буду единственным врачом в том районе.

Большая крепкая женщина и худенькая девчушка (такой все еще казалась Сильвия) обе обратили внимание на то, как по-разному они выглядят.

Филлида сказала:

— Какой у тебя бледный вид! Ты совсем как твой отец, он вечно был полупрозрачный. Я называла его товарищ Лилия. Его второе имя было Лилли, в честь какого-то революционера времен Кромвеля. Что ж, должна же я была хоть чем-то ответить, когда он принимался за свои комиссарские штучки. Он был еще хуже, чем Джонни, поверишь ли. Все зудел, зудел, зудел. Эта их чертова Революция была просто предлогом, чтобы доставать людей. Твой отец заставлял меня учить наизусть революционные тексты. Я еще до сих пор помню «Манифест». Но ты, как я посмотрю, вернулась к Библии.

— Почему вернулась?

— Мой отец был священнослужителем. В Бетнал-Грин.

— Какие они были, мои бабушка и дедушка?

— Не знаю. Почти не видела родителей после того, как они отослали меня из дома. Я и не хотела их видеть. Меня отправили жить к тете. Очевидно, мать с отцом тоже не горели желанием видеть меня, раз услали на пять лет, так с чего бы мне искать с ними встречи?

— У тебя есть их фотографии?

— Все, что были, порвала.

— А я хотела бы взглянуть на них.

— Тебе-то какое до них дело? И теперь ты вообще уезжаешь. Что, выбрала самое далекое из всех возможных мест? И ты такая худющая. Да они в своем уме, те, кто тебя посылает туда?

— Думай что хочешь. Я пришла сказать тебе кое-что важное. Но что это за табличка на твоей двери? С каких это пор ты стала доктором?

— Я доктор философии, между прочим. Закончила философский

факультет университета.

— Но у нас в стране не принято присоединять это звание к фамилии. Только немцы так делают.

— Никто не может сказать, что я не доктор.

— У тебя будут проблемы.

— Пока никто не жаловался.

— Так вот с чем я пришла к тебе... послушай, мама, то, чем ты сейчас занимаешься. Я знаю, что для этого не требуется проходить особое обучение, но...

— Я учусь в процессе работы. Поверь мне, это лучшая школа.

— Знаю. Многие люди говорили, что ты сумела помочь им.

Филлида в один миг превратилась в другого человека: она вспыхнула, наклонилась вперед, стиснув руки, заулыбалась и засмузилась от удовольствия.

— Ты слышала? Правда?

— Да. Но я подумала, может, тебе в самом деле пойти на какие-нибудь курсы? Сейчас есть очень хорошие курсы.

— Я и так отлично справляюсь.

— Чай и сочувствие — все это очень хорошо...

— Знаешь что? Были времена, когда мне очень не хватало именно чая и сочувствия... — Ее голос соскользнул в жалостливую октаву. Но, заметив, что Сильвия уже поднимается со стула, Филлида спохватилась: — Нет-нет, сиди, Тилли.

Сильвия села и вытащила из портфеля несколько листков, которые вручила матери.

— Я составила список тех курсов, что получше. Подумай сама. Вдруг к тебе придет человек с жалобами на боль в животе или еще что, ты скажешь, что это психосоматическое, а на самом деле это рак или другая опухоль. Тогда ты сама пожалеешь, что не училась.

Филлида помолчала, глядя на листки. В комнату вошла Мэри Констебль, лучась доверительной улыбкой.

— Познакомься с Тилли, — сказала Филлида.

— Рада познакомиться, Тилли. — Мэри сочла необходимым обнять Сильвию, которая пошла на это проявление близости неохотно.

— Вы тоже психотерапевт?

— Нет, я физиотерапевт, — ответила компаньонка Филлиды... или любовница? Кто мог сказать, в те-то годы? — Вдвоем мы решим любые проблемы посетителя, — заявила жизнерадостная Мэри, источая назойливую интимность и слабый запах ладана.

— Мне пора, — встала Сильвия.

— Но ты же только что пришла, — сказала Филлида с удовлетворением в голосе: дочь вела себя так, как она и предполагала.

— Спешу на митинг, — пояснила девушка.

— Прямо как товарищ Джонни.

— Надеюсь, нет, — сухо сказала Сильвия.

— Ну, тогда до свидания. Пришли мне открытку из своего тропического рая.

— Там только что закончилась кровопролитная война.

Сильвия позвонила Эндрю в Нью-Йорк, ей сообщили, что он в Париже, а там в свою очередь сказали, что он уже в Кении. Из Найроби до нее донесся его голос, слабый и трескучий.

— Эндрю, это я.

— Кто я? Будь проклята здешняя связь. Другой-то нет. Третий мир! — кричал он в трубку.

— Это Сильвия.

Даже сквозь треск она услышала, как изменился его голос.

— О милая Сильвия, где ты?

— Я вспоминала о тебе, Эндрю.

Да, она вспоминала о нем, нуждаясь в его спокойном, уверенном голосе, но сейчас этот далекий голос только сильнее растревожил ее. Он был свидетельством того, как мало на самом деле мог сделать для нее Эндрю. Но чего она ожидала?

— Я думал, ты в Цимлии! — крикнул он.

— На следующей неделе поеду. О Эндрю, мне кажется, что я прыгаю в пропасть.

Сильвии пришло письмо от отца Кевина Макгвайра из миссии Святого Луки, заставившее ее задуматься наконец о своем будущем — до того момента она предпочитала этого не делать. К письму прилагался список вещей, которые Сильвия должна привезти с собой в миссию. Медикаменты, что само собой разумеется, но самые элементарные: шприцы, аспирин, антибиотики, антисептики, иглы для наложения швов, стетоскоп и так далее, и так далее. *«И определенные предметы личной гигиены для дам, потому что здесь их не так просто найти».* Маникюрные ножницы, вязальные спицы, крючки для вышивания, мотки шерсти. *«И порадуите меня, старика, я так люблю оксфордский мармелад».* Батарейки для радио. Маленький радиоприемник. Хороший вязаный свитер, размер десять, для Ребекки. *«Она наша прислуга. У нее кашель».* Свежий выпуск «Айриш

таймс». Один выпуск «Обсервера». Несколько банок сардин. *«Если сможете сунуть их куда-нибудь»*. С наилучшими пожеланиями, Кевин Макгвайр. *«P. S. И не забудьте книги. Столько, сколько сможете. Здесь они очень нужны»*.

«Там жизнь довольна сурова», — говорили ей.

— Эндрю, я в панике... кажется.

— Да нет, все не так уж плохо. В Найроби, по крайней мере.

— Я буду в сотне миль от Сенги.

— Послушай, Сильвия. Я заеду в Лондон на обратном пути и увижусь с тобой.

— Что ты там делаешь?

— Распределяю богатство.

— О да. Ты же в «Глобал Мани».

— Я финансирую дамбу, силосную башню, ирригационные сооружения... все что угодно.

— Ты?

— Ага. Взмахиваю волшебной палочкой, и в пустыне распускаются цветы.

Значит, он пьян. Для Сильвии ничего не могло быть хуже, чем хвастливая болтовня ниоткуда. Эндрю, ее поддержка, ее друг, ее брат — ну, почти — ведет себя так глупо, так недостойно. Она прокричала:

— Прощай! — положила трубку и заплакала.

Это был самый ужасный момент в ее жизни — другого такого же не будет. Уверенная, что Эндрю забыл о ее звонке, она не ждала его, но через два дня он позвонил ей из аэропорта Хитроу.

— Вот я и приехал, малышка Сильвия. Где мы можем с тобой поговорить?

Тут же, в аэропорту, Эндрю набрал номер Юлии и спросил, можно ли им с Сильвией прийти и поговорить в доме. Свою квартиру он сдавал, а Сильвия жила в крохотной каморке вместе с еще одним врачом.

Юлия помолчала, потом сказала:

— Я не понимаю. Ты спрашиваешь для себя и Сильвии разрешения прийти в наш дом? Что ты хочешь этим сказать?

— Я думаю, тебе не понравилось бы, если бы мы пришли не спросясь. Молчание.

— У тебя остался ключ, я полагаю. — На этом Юлия закончила разговор.

Приехав в дом, они первым делом пошли к ней. Юлия сидела одна, строгая, и раскладывала на столе пасьянс. Она подставила щеку Эндрю,

хотела ограничиться тем же и с Сильвией, но не выдержала напускной суровости и встала, чтобы обнять молодую женщину.

— Я думала, что ты уже уехала в Цимлию, — сказала Юлия.

— Разве могу я уехать, не попрощавшись.

— А сейчас ты пришла прощаться?

— Нет, вылет через неделю.

Старые пронизательные глаза изучили Эндрю и Сильвию с головы до ног. Юлия хотела сказать, что Сильвия слишком худа и что ей не нравится, как выглядит Эндрю. Что с ним происходит?

— Идите и поговорите, — велела она молодежи, беря в руки карты.

Оба виновато пробрались в большую гостиную, полную воспоминаний, и опустились на старинный красный диван, обнявшись.

— О Эндрю, только с тобой мне бывает так комфортно.

— И мне с тобой.

— А как же Софи?

Сердитый смех.

— С Софи — комфортно? С ней у меня все кончено.

— Бедный Эндрю. Она вернулась к Роланду?

— Он прислал ей красивый букет, и этого было достаточно.

— А что за букет?

— Ноготки — тоска. Анемоны — покинутый. И конечно же, тысячу роз. Что значит любовь. Да, ему достаточно просто послать цветы. Но надолго букета не хватило. Роланд снова стал вести себя как обычно, и тогда уже Софи послала ему букет, который говорил «Война»: чертополох.

— Она сейчас с кем-то другим?

— Да, но никто не знает с кем.

— Бедная Софи.

— Давай сначала займемся бедной Сильвией. Почему мы ничего не слышим о тебе и каком-то фантастически везучем парне?

Она бы выскользнула из-под его руки, но он удержал ее.

— Мне как-то... не везет.

— Ты влюблена в отца Джека?

И тут уж Сильвия отстранилась, выпрямилась, оттолкнула Эндрю.

— Нет, как ты можешь... — Но увидела его лицо, полное сочувствия, и сказала: — Да, я его любила.

— Монахини всегда любят своего священника, — проговорил он.

Сильвия не знала, была ли это намеренная жестокость с его стороны.

— Я не монашка.

— Иди сюда. — И Эндрю снова притянул ее к себе. Тогда она сказала

тоненьким голоском, который он помнил по первым дням своего общения с Сильвией:

— Мне кажется, что со мной что-то не так. Я спала с одним человеком, с врачом из нашей больницы, и... в этом-то вся проблема, понимаешь, Эндрю. Мне не нравится секс.

Она всхлипывала, а он обнимал ее.

— Что ж, должен признаться, что я не столь продвинут в этом отношении, как мог бы. Софи не оставила места для сомнений в том, что по сравнению с Роландом я ничто.

— О, бедняжка Эндрю.

— И бедняжка Сильвия.

Так они плакали, пока не уснули, как дети.

Пока они спали, их навещали. Сначала Колин, поскольку Злюка забеспокоился, и это подсказало ему, что в доме есть кто-то посторонний. В комнате было темно. Колин постоял, глядя на двух спящих, сжимая пальцами пасть собаки, чтобы та не лаяла.

— Хорошая собачка, — сказал он, спускаясь по лестнице, Злюке, который к тому времени уже превратился в старого лысеющего пса.

Позже приходила Фрэнсис. Уже стемнело. Она включила ночник, который когда-то купили для Сильвии, потому что девочка боялась темноты, и постояла, как Колин, глядя на то, что можно было разглядеть — только их головы и лица. «Сильвия и Эндрю — о нет, нет!» — думала Фрэнсис, думала как мать и внутренне скрещивала пальцы, чтобы отвратить несчастье.

А это будет несчастье. Оба они нуждались в чем-то более... крепком?... устойчивом? Ну когда же ее сыновья устроят свою личную жизнь, остепенятся (да, она определенно думала как мать, очевидно, этого не избежать), ведь обоим им уже за тридцать. «Это все наша вина, — Фрэнсис имела в виду всех, все старшее поколение. Потом, чтобы утешить себя: — А может, им просто потребуется дольше времени, чтобы найти счастье, как мне. Так что не нужно терять надежду».

И еще позднее спустилась в гостиную Юлия. Она подумала, что в комнате никого нет, хотя часом ранее Фрэнсис говорила ей, что двое гостей все еще там, потерянные для мира. Потом, в тусклом сиянии ночника, она разглядела два лица: личико Сильвии чуть ниже узкого овала лица Эндрю. Такие бледные, такие усталые — это было видно даже в таком свете. Их обступала глубокая чернота, потому что красный диван только усиливал темноту (художники знают, что красная оторочка по подолу придаст мощи черному цвету пальто). Два окна впускали в комнату достаточно света,

чтобы чуть разжигать мрак, не более того. Ночь опустилась облачная, без луны, без звезд. Юлия думала: «Они слишком юны, чтобы выглядеть такими измученными». Два лица были как пепел, рассыпанный во тьме.

Она долго так стояла, глядя на Сильвию, запечатлевая в памяти ее черты. На самом деле Юлия никогда больше не увидит ее. Время вылета несколько раз переносилось, возникла путаница, и был звонок от Сильвии:

— Юлия, о Юлия, мне так жаль. Но я скоро вернусь в Лондон, вот увидите.

Умер Вильгельм. На похороны собралось сотни две человек. Все, кто хоть раз заходил в «Космо» на чашку кофе, не могли не прийти, так они говорили. Колин и Эндрю вместе с Фрэнсис стояли плотной группой, поддерживали Юлию, которая была нема и бесслезна и казалась словно вырезанной из бумаги.

— Боже праведный, да тут собрался весь книжный рынок, — слышали они со всех сторон. Они и не представляли, что Вильгельм Штайн был так популярен и уважаем в кругу своих сверстников и коллег. У скорбящих возникало ощущение, что, хороня этого учтливового, доброго и эрудированного знатока книг, они прощаются с добрым старым временем, такого уже не будет.

— Конец эпохи, — шептали люди, и некоторые плакали.

Два сына Штайна, которые прилетели тем утром из Америки, вежливо поблагодарили Ленноксов за все хлопоты с устройством похорон и сказали, что дальше они поведут все дела сами. Вильгельм оставил приличное состояние.

Юлия слегла, и, конечно, все говорили, что это смерть Вильгельма сломила ее, но было и кое-что еще, гадкое происшествие, настоящий удар по ее хрупкому сердцу, чего никто из родственников не понимал до конца.

Когда вышел второй роман Колина «Больная смерть», сразу было очевидно, что он не повторит успеха первого. Да и был он не так хорош, поскольку являл собой почти трактат о преступно безответственном правительстве, которое не принимает никаких мер для защиты населения от радиоактивных осадков, бомб и тому подобного. Сюжет сводился к тому, как эффективная пропагандистская кампания, развернутая агентами заграничных враждебных сил, создала атмосферу истерии, что и заставило правительство, озабоченное собственной популярностью, пренебречь своими обязанностями. Роман вызвал бурю негодования со стороны различных движений, так или иначе озабоченных «Бомбой». Некоторые отзывы были откровенно злобными, и среди них — очерк Роуз Тримбл.

Интервью с президентом Мэтью Мунгози вывело ее в большую журналистику, открыло перед ней целый ряд новых возможностей, но теперь Роуз работала в «Дейли пост», известной своей ядовитостью, и чувствовала себя там как дома. Роман Колина она использовала в качестве отправной точки для атаки на тех, кто хотел строить убежища, в частности — на молодых врачей, в том числе и на Сильвию Леннокс. Что касается Колина, отмечала журналистка, «то следует знать, что в его семье были нацисты: его бабушка Юлия Леннокс состояла в Гитлерюгенде». Роуз была уверена, что не подвергает себя риску. С одной стороны, «Дейли пост» — это такая газета, которая готова платить — и часто платит — компенсацию за клевету, а с другой, журналистка предполагала, что Юлия не снизойдет до того, чтобы реагировать на подобный выпад. «Мерзкая старуха», — бормотала Роуз, строча свою статью.

Эту статью показал Штайну один его приятель по «Космо». И Вильгельм долго обдумывал, говорить ли Юлии, но потом решил, что да, нужно сказать. Что, в общем-то, уже не имело особого значения, поскольку анонимный доброжелатель прислал статью Юлии.

— Не обращай внимания, — сказала она Вильгельму. — Они сами ничто иное, как дерьмо. Думаю, у меня есть основания употребить их любимое словечко.

— Моя дорогая Юлия! — только и вымолвил Вильгельм, позабавленный, но и шокированный тем, что услышал из ее уст такое выражение.

Юлия сидела обложенная подушками, под присмотром сменяющихся медсестер, не надеясь на сон, с газетной вырезкой на прикроватном столике. Дошло до того, что теперь ее, Юлию фон Арне, объявили нацисткой. Больше всего ее ранила бездумность этих слов. Конечно, та женщина (Юлия помнила неприятную девушку в своем доме) не понимает, что делает. Они бросались словами вроде «фашист» направо и налево, любой человек, вызвавший чье-то неудовольствие, немедленно провозглашался фашистом. Они были так необразованны, что не знали: фашисты существовали на самом деле, они сумели завладеть Италией. А нацисты... сколько было газетных публикаций, радиопрограмм, телепередач — о них, об их делах, и сама Юлия смотрела их все, потому что чувствовала себя причастной, но похоже, молодежь ничего этого не восприняла. Они как будто не знают, что «фашисты», «нацисты» — эти слова означали, что людей бросали в тюрьму, пытали, убивали миллионами в той войне. Это безграмотность и бездумность нового поколения наполняли глаза Юлии слезами возмущения. Ей казалось, что тем самым ее

вычеркивают, обрекают на забвение. История ее и Филиппа сведена к набору эпитетов, к которым прибегают журналисты в бульварных газетах. Юлия сидела без сна (она выкидывала снотворное, когда медсестры не смотрели), подавленная собственной беспомощностью. Конечно, подавать в суд она не станет и даже не напишет письмо в газету: много чести обращать внимание на эту *canaille*. Вильгельм принес Юлии набросок письма, в котором говорилось, что фон Арне — старинный немецкий род, который никогда не имел никаких связей с нацистами. Она просила его забыть об этом, не посылать письмо. Юлия ошибалась: письмо нужно было отправить, хотя бы для того, чтобы ей стало легче. И насчет Роуз Тримбл она тоже заблуждалась. Бездумность и равнодушие к истории — да, в этом Роуз ничем не отличалась от своих сверстников, но двигала ей острая ненависть к Ленноксам, потребность «отомстить им за все». Она забыла, что привело ее в их дом, и свои вымыслы насчет того, будто она была беременна от Эндрю. Нет, помнила Роуз только сам дом, легкость существования Ленноксов: они воспринимали свою привилегированность как должное и как они заботились друг о друге. Сильвия, эта чопорная сучка; Фрэнсис, мерзкая, старая пчеломатка; Юлия, вечно указывающая всем, что и как делать. И мужчины, самодовольные ублюдки. Пером журналистки водили желчь и злоба, которые ни на миг не переставали кипеть в душе Роуз, и покой она находила лишь временный, когда была способна писать слова, направленные прямо в сердца ее жертв. Пока Роуз писала, то воображала, как они заламывают руки и бледнеют, читая. Она представляла, как они рыдают от боли. Вот почему Юлия сейчас умирала прежде своего часа. Удар, нанесенный ненавистью, достиг ее, она ощутила всю его силу. Юлия сидела в подушках, и свет падал в комнату через окна и двигался от пола к кровати и на стену, а потом через стены обратно уходил в окно, такой жалкий ответ мраку, который нисходил от невидимых враждебных сил и окружал старую женщину. Она всю свою жизнь, так ей казалось, бежала от них, но теперь ее наконец настигал это монстр тупости, уродства и вульгарности. Все искажено, испорчено. И поэтому она оставалась в кровати и возвращалась мысленно в свое детство, когда все было прекрасно, так *shän, shän, shän*, но в тот далекий рай пришла война, и мир наполнился военной формой. По ночам, когда зажигали маленький ночник, который раньше стоял в комнате Сильвии, и он был единственным пятнышком света в темноте, вокруг постели Юлии вставали ее братья и Филипп, красивые смелые молодые мужчины, такие статные в униформе — ни пылинки на ней, ни складочки. Юлия плакала, умоляя их остаться с ней, не уходить, не покидать ее.

Она тихо говорила что-то по-немецки и по-английски, иногда — на своем *comme-il-faut* французском, и Колин сидел с бабушкой часами, держал в ладони горстку косточек, которая раньше была ее рукой. Он был печален, угрюм, думал о том, что никогда не слышал ничего ни об Эрнсте, ни о Фридрихе, ни о Максе; что он почти ничего не знал о своем дедушке. У него за спиной зиял провал, в который рухнул нормальный строй жизни, была пропасть, в которую рухнула семья в традиционном ее понимании, и вот он сидит, внук, но ему не довелось увидеть деда или германских родственников Юлии. А они ведь и его родственники...

Колин склонился ближе к Юлии и попросил:

— Пожалуйста, расскажи мне о своих братьях, об отце и матери. У тебя были бабушка и дедушка? Расскажи мне о них.

Юлия очнулась от своих мыслей и сказала:

— О ком? О ком ты говоришь? Они все умерли. Их убили. Больше нет семьи. Больше нет дома. Ничего не осталось. Это ужасно, ужасно...

Юлии не нравилось, когда ее отрывали от воспоминаний или от снов. Ей не нравилось настоящее, не нравились лекарства, процедуры и медсестры, и она ненавидела древнее желтое тело, которое открывалось взору, когда ее мыли. Но сильнее всего она ненавидела непрекращающуюся диарею — сколько бы ни перестилали постельное белье и ни меняли ей сорочку, сколько бы ни мыли ее, в комнате пахло фекалиями. Юлия требовала, чтобы в воздухе разбрызгивали одеколон, она натирала им свои руки и лицо, но запах не исчезал, и ей было стыдно.

— Ужасно, ужасно, ужасно, — бормотала она, злобная старая карга, и иногда плакала горькими злыми слезами.

Когда Юлия умерла, Фрэнсис нашла на ее столике статью — ту самую, где свекровь называли нацисткой. Она показала вырезку Колину, и они оба были поражены абсурдностью обвинения. Колин сказал, что при встрече даст пощечину Роуз Тримбл, но Фрэнсис, совсем как Юлия, сказала, что они, эти люди, не стоят того, чтобы обращать на них внимание.

В похоронах Юлии не было ничего согревающего душу, как в похоронах Вильгельма.

Считалось, что Юлия придерживалась одной из разновидностей католической веры, но во время последней болезни она не просила позвать священника, и в завещании не говорилось ни слова о похоронах. Остановились на межконфессиональной службе, но было это как-то безлико. Тогда вспомнили о том, что Юлия любила поэзию. Нужно почитать стихи. Но какие? Эндрю просмотрел книги в ее комнате и нашел

все на том же прикроватном столике сборник стихов Джерарда Мэнли Хопкинса. Томик был зачитан, и некоторые стихи подчеркнуты. Это были «ужасные» стихи — из позднего периода жизни Юлии. Эндрю заявил, что читать их будет слишком тяжело.

Нет, худшего уже не может быть.
Нет черного чернее той тоски...

Нет.

Он выбрал «Жаворонка в клетке» — Юлии это стихотворение нравилось, судя по пометке карандашом на полях, а еще поэму «Весна и осень», посвященную девочке и начинающуюся словами:

Маргарет, ты все еще печальна,
Поскольку Гольденгроув не уходит?

Напротив этой поэмы тоже шла карандашная линия, но только мрачные стихи были подчеркнуты дважды, трижды, жирными линиями, отмечены восклицательными знаками.

Поэтому родственники чувствовали, что предают Юлию, выбрав более светлые произведения. И еще они вынуждены были признать, что не знали ее. Они никогда не могли бы догадаться, что Юлия станет подчеркивать такие строки:

Я просыпаюсь, и на меня спускается тьма, а не день.
О, какие часы, о, до чего же они все черны...

Можно было бы подобрать и какую-нибудь поэзию на немецком, но Вильгельма, чтобы подсказать, с ними не было.

Стихи читал Эндрю. Он обладал негромким, но достаточно сильным голосом: на похороны кроме родственников пришло всего несколько человек. Миссис Филби держалась в стороне, в самом черном из возможных черных нарядов; всем своим видом, от шляпы, купленной специально для похорон, до начищенных ботинок, она порицала их, продолжая исполнять роль обличителя неопрятности и небрежности семьи Ленноксов. Никто из них не надел черного, только она. На лице миссис

Филби чувство собственной правоты было неотличимо от мстительности. Хотя к концу церемонии она расплакалась.

— Миссис Леннокс была моим самым старым другом, — сказала она Фрэнсис укоризненно. — Больше я не буду работать у вас. Я приходила только из-за нее.

Посреди службы вдруг появилась сухопарая фигура и неуверенно проследовала к группке провожающих Юлию. Белые космы и свободные одежды развевались на сквозняке, дующем между надгробий. Это был Джонни, серьезный, печальный и выглядящий куда старше своих лет. Он встал в отдалении и как-то боком, словно готовый в любой миг сбежать. Слова службы оскорбляли его, это было очевидно. В конце сыновья и Фрэнсис приблизились к Джонни, желая предложить ему вернуться в дом, но он только кивнул и пошел прочь. У выхода с кладбища он обернулся и послал им прощальный салют, вытянув правую руку вперед на уровне плеча.

Сильвия на похороны не приехала. Телефонная связь в миссии Святого Луки была нарушена из-за сильной бури.

Тем временем жизнь у Фрэнсис и Руперта шла не совсем так, как им хотелось бы. Она практически жила у него, хотя ее книги и бумаги оставались в доме Ленноксов. Квартира Руперта была небольшой. Гостиная, где они также ели, и соединенная с ней аркой крохотная кухня размером с треть кухни Юлии. Большая спальня была вполне приемлемой. Две маленькие комнатки раньше были детскими, и до сих пор в них жили дети, Маргарет и Уильям, когда приезжали на выходные. Когда Мэриел бросила мужа и ушла к Джасперу, стали строить планы о том, чтобы купить что-нибудь побольше. Фрэнсис неплохо относилась к детям и верила, что и они не имеют ничего против нее: оба вели себя вежливо и послушно. Во время учебного года они жили у матери и на каникулы ездили с ней и Джаспером. Однажды, приехав к отцу как обычно на выходной, дети были молчаливы, напряжены и сказали, что их мать нездорова. И нет, Джаспер не дома. Дети не смотрели друг на друга, сообщая это. Было видно, что они в ужасе.

В этот момент реальность вновь поймала Фрэнсис в свои цепкие объятия — так ей казалось. За те месяцы — нет, уже годы, что она провела с Рупертом, она превратилась в другого человека, медленно привыкающего к мысли, что счастье в жизни бывает. Господи, если бы не Руперт, то она так бы и жила в скучной, натужной рутине долга и без любви, секса, близости.

Руперт повез детей обратно к матери и обнаружил там то, чего боялся. Давным-давно, после рождения Маргарет, у Мэриел случилась депрессия, настоящая. Он пробыл тогда с женой все время болезни, ей стало лучше, но она жила в постоянном страхе, что болезнь вернется. Она вернулась. Мэриел сидела в углу дивана, свернувшись в клубок, и смотрела в никуда — в грязном халате, с немойтой нечесаной головой. Дети стояли по обе стороны отца, глядя на мать, затем прижались к нему, чтобы он обнял их.

— Где Джаспер? — спросил Руперт молчащую женщину, и она ответила, донельзя раздраженная:

— Ушел.

— Он вернется?

— Нет.

Казалось, что большего от Мэриел не добиться, но потом она сказала безразличной скороговоркой:

— Лучше заberi детей. Здесь им нечего делать.

Под руководством Маргарет и Уильяма Руперт собрал книги, игрушки, одежду, школьные вещи и затем вернулся к Мэриел.

— Что ты собираешься делать? — спросил он.

Долгое молчание. Она затрясла головой, что означало: «Оставь меня в покое». Но когда все трое были уже у двери, она произнесла тем же монотонным голосом:

— Отвези меня в больницу. В любую. Мне все равно.

Детей, притихших и перепуганных, обустроили в их старых детских, и сразу же их вещи заполонили всю квартиру.

Руперт позвонил врачу, чтобы договориться насчет помещения Мэриел в психиатрическую клинику. Он пытался дозвониться Джасперу, но безуспешно.

Фрэнсис посещали холодные, жесткие мысли. Она знала, что Джаспер вряд ли вернется к Мэриел, раз бросил ее при первом же наступлении депрессии. Он был гораздо младше ее и являлся звездой в мире моды — зарабатывал большие деньги дизайном спортивной одежды. Его имя часто мелькало в газетах. Зачем он связал свою жизнь с женщиной старше себя да еще с двумя маленькими детьми? Руперт говорил, что молодому человеку нравилось воображать себя зрелым и ответственным мужчиной, так он самоутверждался. До этого у него была репутация человека, чрезмерно увлеченного излишествами гламурного общества — наркотики, безумные вечеринки, все такое. Похоже, он снова с головой окунулся в тот образ жизни. И это значит, что Мэриел осталась без мужчины и захочет вернуть мужа обратно. Плюс еще двое детей в состоянии эмоционального

шока на руках у нее, выполняющей функции матери. И да, она испытывала то пугающее и неприятное чувство, которое возникает, когда события жизни повторяются. Фрэнсис думала: «На меня вот-вот повесят этих детей... нет, их уже на меня повесили. Хочу ли я этого?»

Маргарет было двенадцать лет, Уильяму — десять. Вскоре они станут подростками. Фрэнсис боялась не того, что Руперт может подвести ее, скинуть всю ответственность на нее, нет, но их близость не только будет страдать (от этого никуда не денешься), она может вовсе исчезнуть, вытесненная неумными требованиями тинейджеров. Но Руперт ей нравится, он так сильно ей нравится... она любит его. Фрэнсис могла бы сказать со всей серьезностью, что не любила до сих пор — то есть она скажет «да» всему, что возникнет на их общем пути. И в конце концов, депрессии же заканчиваются когда-нибудь, и тогда дети захотят воссоединиться с матерью.

Из больницы, куда положили Мэриел, приходили неразборчивые каракули — назвать письмами их было нельзя. *«Руперт, не приводи сюда детей. Им это будет вредно. Фрэнсис, у Маргарет астма, ей нужен новый рецепт для лекарств».*

Врачи, которым звонил Руперт, говорили, что Мэриел очень больна, но поправится. Предыдущий приступ длился два года.

Фрэнсис и Руперт лежали в темноте бок о бок, ее голова на его правом плече, его правая рука на ее правой груди. Ее рука лежит на его бедре, костяшки прижаты к яичкам, к этим нежным, но полным достоинства органам, которые и ей придавали уверенности. Независимо от того, имело место занятие любовью или нет, эта супружеская, освященная временем сцена повторялась каждый вечер перед тем, как они погружались в сон. Настал момент обсудить то, о чем оба избегали говорить уже столько дней.

— Где была Мэриел, когда болела в прошлый раз, все те два года?

— По большей части дома, лежала в постели. Она практически ничего не могла делать.

— В больнице ее не будут держать два года.

— Нет, но ей потребуется уход.

— Вряд ли можно рассчитывать на то, что этим займется Джаспер.

— Да уж.

Руперт говорил спокойно, почти шутливо, но Фрэнсис слышала в его голосе одинокую смелость, и у нее таяло сердце.

— Послушай, Фрэнсис, для тебя тоже все обернулось хуже некуда. Не думай, будто я не понимаю. — Она не собиралась разуверить Руперта, поэтому помедлила с ответом, и он быстро добавил: — Я не буду винить

тебя, если ты уйдешь... — У него сорвался голос.

— Я не собираюсь тебя бросать. Я просто думаю.

Руперт поцеловал Фрэнсис в щеку: и лицо у него было мокрое от слез.

— Если ты продашь эту квартиру и мы сложим наши деньги вместе и купим квартиру побольше, то даже в таком случае останется проблема — первая жена и вторая будут проживать в соседних комнатах, как в каком-то африканском полигамном племени.

Они засмеялись. Они еще могли смеяться.

— У нас достаточно денег на дом? — спросила Фрэнсис.

— Если только на небольшой и не в престижном районе.

— Полагаю, Мэриел не будет зарабатывать?

— Карьера никогда не привлекала ее. — Слова зазвучали сухо — тут была своя история, поняла Фрэнсис. — Мэриел, она весьма старомодна. Или напротив, последнее слово феминизма. И конечно же, она не работала, пока была с Джаспером, наслаждалась светской жизнью. Так что да, можно принять как данность, что ее придется взять на содержание. — Пауза. — Они еще сказали... врачи сказали, что нужно ожидать рецидивов.

— Я тут подумала, Руперт. Если у нас будет дом, то две жены хотя бы не будут жить на одном и том же этаже.

— Ну да, ты ведь это уже проходила?

— Ага. Собаку на этом съела.

— Ты планируешь выйти за меня замуж, Фрэнсис?

— Для детей это определено будет лучше. Сам подумай — жена или любовница. Консерватизм детей нельзя недооценивать.

Фрэнсис позвонила Колину, спросила, могут ли они поговорить, и он предложил, чтобы она пришла в старый дом, а он что-нибудь приготовит. И вот Фрэнсис снова оказалась в доме Юлии, на кухне, за столом, который она никогда не видела сложеным до такого маленького размера. Рядом стояли два стула. Колин встретил ее, источая энергичное гостеприимство.

Они обнялись.

Фрэнсис спросила:

— Где же твоя любимая псина?

Колин замялся, отвернулся от матери, доставая из холодильника блюда — так же и она делала (часто), когда хотела избежать ответа или обдумать свои слова. Он поставил перед Фрэнсис тарелку супа, сел напротив.

— Злюка с Софи. В нижней квартире.

Фрэнсис — в шоке — отложила ложку.

— Вы с Софи теперь вместе?

— Она больна. У нее что-то вроде нервного срыва. Тот мужчина после Эндрю — ничего хорошего у них не вышло. Она попросила меня о помощи.

Фрэнсис попыталась воспринять всю эту информацию и приступила к супу. Колин умел готовить.

— Тогда все меняется, — сказала она.

— Что?

Фрэнсис рассказала, с чем пришла, и сын сразу ухватил суть, как было ясно из его замечания:

— Ма, ты не умеешь жить не мучаясь.

— Дело в том, что мне на самом деле... — Фрэнсис хотела сказать «мне нравится», но сказала: — Я на самом деле люблю этого человека. По-настоящему.

— Он хороший мужик, — кивнул сын.

— Ты уже занимался комнатами Юлии?

— Там такая удивительная обстановка, что у меня рука не поднимается что-то трогать. Но да, конечно, мы будем их использовать.

— А что, если мы поселим в цоколе жену Руперта?

— Совсем как бедную Филлиду.

— Но я надеюсь, что это будет не навсегда. Руперт говорит, что Мэриел терпеть его не может. Как глупо с ее стороны.

— Значит, договорились: Мэриел в цоколе; мы с Софи на верхнем этаже; и еще мы будем пользоваться старой комнатой Сильвии, а я буду по-прежнему работать в гостиной. Тогда вам с Рупертом и двумя детьми останется шесть комнат на нашем с Эндрю этаже и все твои комнаты. И разумеется, у нас есть еще старая добрая кухня.

— Я бы никогда не предложила этого, если бы не знала, что дом практически пустует. И мы смогли бы немного перевести дух после всего...

— Мысль неплохая.

С энергией, которую он прилагал ко всему, что делал, Колин убрал суповые тарелки и выставил обжаренную в гриле рыбу. Он налил вина, отпил из своего стакана, снова долил доверху.

— Что у вас с Софи?

— Эндрю ей не подходил. Она говорит, что Роланд был как черная дыра, когда дело доходило до разрыва, а Эндрю — ну... одни добрые намерения, но в нем нет того накала, ты согласна? Он не заводит, — объяснял ей сын и глядел на мать улыбочиво, рассчитывая на понимание. — Тогда как я, — продолжал он, — захватываю, вцепляюсь в людей. В моем прошлом есть жертвы, способные доказать это, потрепанные и покусанные.

Нет, ты о них не слышала. В общем, я вцепился в Софи.

— Две истерички в одном доме, — задумчиво произнесла Фрэнсис.

— Красиво сказано.

— И не в первый уже раз. Но ничего, детям уже десять и двенадцать, они скоро повзрослеют, да?

— Прежде всего, что-то я не заметил, чтобы Эндрю, я или Сильвия перестали нуждаться в семейном очаге, даже когда стали взрослыми. И во вторых — знаешь, я только недавно стал понимать твое легкое обращение со временем. Что такое четыре года? Шесть лет? Десять? Да совсем ничего. Моргнуть не успеешь. Ничто так не помогает понять это, как смерть... И вот еще что. Тебе не приходило в голову, что дети могут предпочесть тебя своей негодной матери?

— Негодной? Она больна.

— Она же ушла к этому своему демоническому любовнику, так? Она бросила их?

— Нет, она взяла их с собой. Но теперь они... да, брошены.

— Надеюсь, они не слишком... докучливы, а?

— Пока что они вели себя как примерные дети. Что там на самом деле, даже не знаю.

— Тебе ничего не напоминает вся эта ситуация?

— Еще как напоминает. И даже больше того: Мэриел — дочь Себастьяна Хита. Ты, может, не помнишь этого имени? Помнишь? Он был известным коммунистом, такой же, как Джонни. Его арестовали товарищи в Советском Союзе, и после этого он пропал.

— М-да, отец, которого застрелили в затылок его же друзья-товарищи, — достаточный повод для некоторой эмоциональной нестабильности.

— А потом ее мать покончила с собой. Тоже была коммунисткой. Мэриел воспитывалась в чужой семье, где тоже все были коммунистами, но теперь вроде вышли из Партии.

— То есть можно смело сказать, что у нее было трудное детство.

— Да. Видишь, Колин, ситуация не просто знакомая, а повторяется чуть ли не один в один. Мне кажется, что я застряла в прошлом.

— Бедная моя мама! — жизнерадостно сказал Колин. — Не переживай, все устроится. Да, только не думай, будто с переездом сюда твои жилищные проблемы будут решены раз и навсегда. Я намерен жениться.

— На Софи?!

— Господи, нет. Я не совсем еще сошел с ума. Мы с ней просто

друзья. Но я определенно присматриваю себе жену. Я женюсь и заведу детей — четверых, а не жалких два с половиной ребенка, как все вы. И тогда мне понадобится весь дом.

— Что ж, — признала Фрэнсис. — Справедливо.

После ужина Фрэнсис заметила, что уже поздно и что Маргарет и Уильяму пора ложиться спать. Девочка встала и повернулась к ней лицом, наклонив беленький лоб в едва заметных веснушках, как бычок, готовый броситься в атаку.

— Почему это? Ты не можешь нас заставить. Ты нам не мать.

И потом то же самое сказал Уильям. Очевидно, что дети обсудили ситуацию и составили план действий. Два упрямых лица, два напряженных тела. Руперт, наблюдая за ними, побледнел, как и они.

— Да, я вам не мать, но пока я забочусь о вас, вам придется делать так, как я скажу.

— А я не буду, — заявила Маргарет.

— И я не буду, — поддержал сестру Уильям.

У Маргарет было круглое детское личико, еще не сложившееся в определенность характерных черт. С расстояния в несколько ярдов оно сливалось в бледный овал, на котором выделялся только маленький розовый рот. Сейчас губы были враждебно поджаты.

— Мы тебя ненавидим, — выговорил Уильям медленно фразу, отрепетированную заранее с Маргарет.

Фрэнсис охватил иррациональный, несоразмерный ситуации гнев.

— Сядьте! — рявкнула она, и дети, удивленные, опустились на свои стулья.

— А теперь слушайте. Я не ожидала, что мне придется заботиться о вас. Я этого совсем не хотела. — Тут она глянула на Руперта, которого эта сцена больно ранила. Фрэнсис продолжила чуть мягче: — Я не против того, чтобы присматривать за вами. Я согласна готовить, стирать для вас и все остальное — но такого поведения не потерплю. Можете сразу забыть о капризах, надутых лицах, потому что я этого не потерплю! — Она распалась, и два бледных неприязненных лица не могли уже остановить ее. — Вы не знаете этого, но я вам скажу: я уже проходила все это хлопанье дверьми, подростковые бунты и весь этот инфантильный вздор. — Фрэнсис кричала на них. Никогда, ни разу не повышала она голос на ребенка до этого момента. — Слышите вы меня? И если вы собираетесь устраивать мне тут сцены, я просто уйду. Так что считайте, что это было предупреждение. — Она задохнулась и только поэтому остановилась.

Брови Руперта, обычно готовые взлететь ироничными арками, сигналили Фрэнсис, что онахватила через край.

— Прошу прощения, — сказала она ему. И детям: — Это я не вам говорю. Запомните все, что было только что сказано, и подумайте как следует.

Не говоря ни слова, дети встали и тихо разошлись по комнатам. Но они скоро опомнятся и начнут обсуждать между собой Фрэнсис.

— Все правильно, — сказал Руперт.

— Ты думаешь? — спросила Фрэнсис. Она чувствовала себя разбитой и была недовольна собой. Она уронила голову на сложенные на столе руки.

— Да, конечно. Конфронтация должна была возникнуть, раньше или позже. И кстати, не думай, что я не понимаю, какой груз ты взваливаешь на себя. И буду не в претензии, если ты, как сказала, просто уйдешь.

— Я не собираюсь уходить. — И Фрэнсис потянулась к его руке, которая, почувствовала она, дрожала. — О, боже, — сказала она, — все это так...

Руперт потянулся к ней, Фрэнсис подвинула свой стул к нему, и они обнялись, объединенные огорчением.

Неделю спустя выступление «Ты не наша мама, и мы не будем...» повторилось.

Весь тот день Фрэнсис пыталась поработать над сложной книгой по социологии, которую писала, но ее отрывали телефонные звонки: сначала из школы по поводу детей, потом из больницы насчет Мэриел, и Руперт позвонил из редакции, где работал, с вопросом, что купить к ужину. Ее нервы были на пределе, они дрожали и гудели. Проблемы последних дней сложились в одну, навалились на нее... Что она здесь делает? В какую ловушку снова угодила? Ей хотя бы симпатичны эти дети? Эта девочка с ее упрямо поджатыми губами, этот мальчик (бедный малыш), настолько напуганный тем, что происходит, что едва может поднять глаза на нее или на отца, он даже ходит как во сне, с паникой в глазах, которую пытался замаскировать неумелым сарказмом.

— Хватит, — сказала Фрэнсис, — все, с меня хватит! — И встала со своего места из-за стола, отодвинув тарелку. Она не смотрела на Руперта, потому что совершала непростительное — била его, когда тот был беззащитен.

— Чего хватит? — спросила маленькая девочка — да, она всего лишь маленькая девочка.

— А ты сама как думаешь? Я ухожу. Ухожу, как обещала.

И Фрэнсис пошла в спальню, которую делила с Рупертом, медленно,

потому что ноги не двигались, но не из-за нерешительности, а из-за того, что она приказывала им уводить ее от Руперта. Там она вынула из шкафов свою одежду, сложила ее на кровати, нашла чемоданы и стала методично паковать. Направление ее мыслей вдруг изменилось кардинально, ничего подобного Фрэнсис не чувствовала в последние недели. Сейчас она сравнивала себя с невестой, которую несло потоком событий куда-то, не давая ей ни минуты, чтобы подумать, и вот уже канун свадьбы, и она сидит в растерянности, гадая, не сошли ли все с ума. Так и Фрэнсис: ситуация, которая казалась ей довольно разумной, пусть и трудной, вдруг открылась с другой стороны — как будто ее, со связанными руками и ногами, тащат в тюрьму. Как ей такое могло вообще в голову прийти: согласиться на то, чтобы взять на себя заботу об этих детях, даже временно? И откуда ей знать, временно это будет или навсегда? Нужно бежать отсюда, бежать как можно скорее, пока еще не слишком поздно. Только одна ее мысль сохранилась в неизменном виде — мысль о Руперте. Фрэнсис не могла отдать его. Ну, да это и не нужно. Она в конце концов соберется с силами и купит жилье, свое жилье, и тогда... Дверь приоткрылась, едва заметно, потом еще немного, и показался мальчик.

— Маргарет спрашивает, что ты делаешь.

— Я ухожу, — ответила Фрэнсис. — Закрой дверь.

Дверь закрылась серией неуверенных подергиваний, как будто сужение проема на каждый дюйм прерывалось вопросом: может, еще раз войти?

Чемоданы были упакованы и стояли в ряд, когда в дверь проскользнула Маргарет: глаза опущены, рот полуоткрыт, тот самый недовольный ротик, но теперь он опух от слез.

— Ты правда уходишь от нас?

— Да, правда. — И Фрэнсис, убежденная в том, что уходит, велела: — Закрой дверь — аккуратно.

Позже она вышла на кухню и нашла там Руперта, который так и сидел за столом, где стояла не убранная после ужина посуда. Она сказала:

— У меня не получилось, прости.

Руперт мотнул головой, не глядя на нее. Боль, согнувшая его одинокую и храбрую фигуру, разгородила их. Фрэнсис не могла этого вынести. Она поняла, что не уйдет, по крайней мере не так. Она думала в последний миг своего краткого бунта: «Я куплю жилье, а Руперт сам будет разгребать проблемы Мэриел и детей, а потом будет приходить ко мне, и...»

— Конечно же, никуда я не ухожу, — сказала она. — Разве я могу?

Руперт не шевелился, но потом медленно протянул к ней руку.

Фрэнсис села на стул рядом с ним, пригнулась, чтобы его рука легла ей на плечи. Они склонили друг к другу головы.

— Что ж, как минимум, они больше не будут портить тебе нервы, — сказал он. — То есть если ты и вправду остаешься.

Тягостность происшедшего требовала, чтобы они укрепили ослабевшие душевные силы физической близостью. Руперт отправился в спальню, и Фрэнсис готовилась последовать за ним, только хотела выключить в доме свет. Она подошла к двери девочки, желая только заглянуть и сказать «Спокойной ночи, не волнуйся, я не ухожу». Но в коридоре Фрэнсис услышала всхлипы, душераздирающие беспомощные всхлипы, сильные оттого, что не прекращаются уже давно. Фрэнсис взялась за дверную ручку, потом прижалась к двери лбом: «О нет, нет, я не могу, не могу...» — но детское горе было сильнее ее. Она сделала вдох и вошла в комнату. Девочка оторвалась от подушки и в один миг оказалась в ее объятиях:

— Фрэнсис, Фрэнсис, прости меня, я не хотела!

— Все хорошо, тише, тише. Я не ухожу. Я хотела уйти, но теперь передумала.

Поцелуи, объятия, и теперь начнем новую жизнь.

С мальчиком все окажется сложнее. Травмированный ребенок, поддерживающий себя лишь коконом гордости, он отказывался от слез, отвергал утешающие руки, в том числе и отцовские; он не доверял им. Он видел, как его мать, такая больная и немая, уходила внутрь себя так глубоко, что не слышала, как сын зовет ее. Эта картина стояла в его голове, пока Уильям послушно делал то, что ему было велено: ходил в школу, учил уроки, помогал убрать со стола, заправлял кровать. Если бы Фрэнсис и Руперт знали, что происходит в душе Уильяма, поняли бы его горькое, одинокое несчастье — но что они могли бы поделать? Его послушность даже внушала им некоторую уверенность в будущем: ну, уж с ним-то будет попроще, чем с Маргарет.

Сильвия стояла в аэропорту Сенги, в зале прибытий, где разместились багажная карусель, иммиграционный контроль и таможенные службы. Все люди, сошедшие вместе с ней с самолета, находились тут же. Они однозначно делились на две группы: черные в плотных костюмах-тройках и белые в джинсах и футболках, с завязанными на бедрах свитерами, в которых они вылетели из Лондона. Чернокожие пассажиры в радостном возбуждении двигали холодильники, плиты, телевизоры и мебель туда, где их можно будет предъявить таможенникам для получения разрешения на

ввоз, которое безотлагательно и давалось, так как служащие аэропорта были благодушно настроены, счастливы за своих соотечественников и щедро ставили красным мелом каракули на каждый деревянный ящик, появляющийся перед ними. У Сильвии были сумка с личными вещами и два больших чемодана с медикаментами и припасами, о которых просил отец Макгвайр: списки прибывали в Лондон один за другим, каждый с припиской: «Не считайте себя обязанной привозить это, если вам трудно». В самолете Сильвия услышала беседу двух белых, которые обсуждали цимлийскую таможенную, ее непредсказуемость, ее явную пристрастность к чернокожим пассажирам, которым позволялось ввозить мебель контейнерами. Соседом Сильвии был молчаливый мужчина, одетый в джинсы и футболку, но с серебряным крестом на цепочке. Опасаясь, что крест может быть всего лишь данью моде, Сильвия робко спросила, не священник ли он, и получила ответ, что да, он — брат Джуд из миссии такой-то (названия она не расслышала — незнакомое название пролетело мимо ушей). Тогда Сильвия поинтересовалась, следует ли ей ожидать проблем на таможне с таким количеством багажа. Выслушав ее историю и заметив, что знаком с отцом Макгвайром, миссионер пообещал помочь Сильвии с прохождением таможни.

Она отыскала его взглядом — он уже занял место в очереди и поманил девушку, чтобы она встала перед ним. Когда их очередь была уже близка, священник стал пропускать вперед себя людей, потому что хотел дожидаться, когда освободится знакомый ему таможенник, молодой негр, который поздоровался с ним по имени, спросил, для миссии ли груз, и быстро все оформил. Затем ему была представлена Сильвия с ее чемоданами.

— Это друг отца Макгвайра. Эта девушка врач. Она везет припасы для больницы в Квадере.

— О, друг отца Макгвайра! — воскликнул юноша, весь — дружелюбие и улыбки. — Пожалуйста, передайте ему привет от меня, большой привет!

И он нацарапал загадочные знаки на двух чемоданах.

Иммиграционный контроль Сильвия прошла без заминки, все нужные бумаги оказались при ней, и вот она с братом Джудом уже стоит на ступенях здания аэропорта. Вокруг полыхало ясное жаркое утро. К Сильвии подошла молодая женщина в мешковатых синих шортах, цветастой футболке и с большим серебряным крестом.

— А, — произнес спаситель Сильвии, — я вижу, вы в надежных руках. Рад видеть вас, сестра Молли. — И он ушел в направлении группы людей,

которые явно его ждали.

Сестра Молли должна была отвезти ее в миссию Святого Луки. Она сказала, что нет никакого смысла болтаться по Сенге и что им следует немедленно отправляться в путь. И они отправились в старом грузовичке, прямо в просторы той Африки, которую Сильвия готова была полюбить — когда привыкнет. А пока для нее все это было чужим. Стояла чудовищная жара. Ветер, продувающий кабину грузовика, бросал ей в лицо пригоршни пыли. Сильвия держалась за дверцу и слушала Молли, а та говорила без умолку, в основном о мужской половине ее религиозной обители, называя их всех шовинистическими свиньями. В Лондоне эта фраза уже потеряла обаяние новизны, но с улыбающихся губ Молли она слетала как вновь изобретенная. Что касается папы римского, то он реакционер, нетерпим, буржуазен, слишком стар и ненавидит женщин, и какая жалость, что он до сих пор пребывает в добром здравии, да простит ее господь за такие слова.

Совсем не это ожидала услышать Сильвия в первый день своего прибытия в Африку. Сильвия не очень-то интересовалась папой, хотя, подозревала она, ей следовало бы как католичке, и еще она никогда не находила соответствия между языком экстремального феминизма и своим жизненным опытом. Сестра Молли вела машину очень быстро — сначала по относительно неплохой дороге, потом по все более плохим, пока, через час или около того, не остановилась перед группой строений, похожих на ферму. Там сестра Молли выгрузила Сильвию и ее чемоданы, сказав:

— Тут я вас покину. И не позволяйте отцу Макгвайру понукать вами. Он душка, ничего не могу сказать, но эти старомодные священники все одинаковы. — Она умчалась, помахав Сильвии и всем тем, кто мог ее видеть.

Затем Сильвия получила приглашение к чаю от некой Эдны Пайн, чей голос состоял сплошь из незнакомых гласных, чье морщинистое лицо недовольно хмурилось и чьей любимой темой были жалобы на судьбу (о, как это было знакомо Сильвии). Долговязые, обгорелые на солнце ноги Седрика Пайна были одеты в самые короткие шорты, которые когда-либо видела Сильвия, а его голубые, как и у жены, глаза покрывала сетка лопнувших сосудов. Вокруг веранды, где они сидели, полыхал такой ослепительный желтый свет, что Сильвия не могла смотреть никуда, кроме как на лица хозяев, и поэтому в свой первый визит на ферму не заметила практически ничего, кроме них. Очевидно, выгрузка людей и грузов на ферме Пайнов была частью регулярного движения, потому что когда она снова оказалась в машине, на этот раз в джипе, то весь салон был завален связками газет и письмами отцу Макгвайру. Также там уже сидели два

чернокожих подростка, один из которых, сразу определила Сильвия, был очень болен.

— Я еду в больницу, — сообщил Сильвии больной мальчик, и она ответила:

— Я тоже.

Двое ехали на заднем сиденье, а Сильвия впереди рядом с Седриком, который вел автомобиль так же быстро, как сестра Молли, словно на спор. Миль десять машина преодолевала разбитую грунтовку посреди пустыни, потом появились запыленные деревья, впереди показалось низкое здание, крытое гофрированным металлом, а за ним на холмах — еще здания, рассыпанные среди все такой же запыленной растительности.

— Передайте Кевину, что мне некогда его ждать, — сказал Седрик Пайн. — Заезжайте к нам в гости в любое время.

И с этими словами он уехал, оставив после себя клубы поднятой пыли.

У Сильвии раскалывалась голова. За всю жизнь она почти не выезжала из Лондона, что раньше ей казалось вполне нормальным, но теперь она стала подозревать, что из-за этого многого была лишена. Двое чернокожих подростка направились в больницу, сказав ей:

— До свидания, — что было простой формальностью, но лицо больного мальчика молило о том, чтобы они и впрямь вскоре свиделись.

Сильвия втащила чемоданы на небольшую веранду из полированного зеленого цемента. Оттуда она прошла в тесную столовую, в которой находились стол из замасленных досок, стулья, крытые шкурами, полки с книгами вдоль одной стены и несколько картин. Все картины, кроме одного пейзажа с туманным закатом в гористой местности, изображали Иисуса.

Появилась худенькая невысокая негритянка, сияя гостеприимной улыбкой, сказала, что ее зовут Ребекка и что она покажет Сильвии ее комнату.

Эта комната, в которую вела дверь из столовой, вмещала узкую железную кровать, небольшой стол, пару жестких стульев и пару настенных полок для книг. В стены было вбито несколько гвоздей — вешать одежду. Каким-то чудом сюда занесло маленький комод из тех, которыми раньше меблировались все без исключения гостиницы. Над кроватью висело распятие. Стены были сделаны из кирпича, пол — тоже из кирпича, потолок — из тростника. Ребекка сказала, что принесет чаю, и вышла. Сильвия опустилась на стул, переполняемая чувством, которое никак не могла идентифицировать. Да, новые впечатления; да, она ожидала их, знала, что почувствует себя одинокой, чужой. Но что с ней происходит? Волны горькой пустоты захлестывали ее, и когда она направила взгляд на

распятие, чтобы немного прийти в себя, то подумала только, что даже Христос был бы удивлен, оказавшись в этом месте. Но хотя бы она сама, Сильвия, не удивляется тому, что нашла Христа среди такой нищеты? Прислушалась к себе: нет. Тогда что с ней? За окном ворковали голуби, кудахтали о чем-то своем куры. «Я просто избалованная дрянь, — отругала себя Сильвия, подняв это выражение откуда-то из глубин памяти. — Вестминстерский собор меня устраивает, а вот хижина из кирпича и тростника, значит, нет». За окном летела пыль. С улицы казалось, что в доме не больше трех-четырёх комнат. Где же тогда комната отца Макгвайра? Где спит Ребекка? Сильвия ничего не понимала и, когда пришла с чаем Ребекка, сказала, что у нее болит голова и она бы прилегла.

— Да, доктор, вы ложитесь, и вам скоро станет лучше, — кивнула Ребекка с типично христианской бодростью: дети Христа улыбаются и готовы ко всему (как и «дети цветов»). Ребекка задернула занавески из черно-белого матрасного тика, которые, подумалось Сильвии, в каком-нибудь лондонском салоне стали бы последним шиком. — Я позову вас к обеду.

Обед. Сильвия думала, что дело уже к вечеру, день тянулся бесконечно. А всего только одиннадцать часов.

Она легла, прикрыв глаза ладонью, заснула и через полчаса была разбужена Ребеккой, прибывшей с новой порцией чая и извинениями от отца Макгвайра, который передавал, что задерживается в школе и встретится с Сильвией только за обедом, а также что до завтра ей лучше не нагружать себя делами, а отдохнуть после долгой дороги.

Добросовестно передав это пожелание священника, Ребекка заметила, что доктора ждет больной с фермы Пайнов и что там пришли еще и другие люди и, возможно, доктор смогла бы... Сильвия стала надевать белый халат, и Ребекка наблюдала за этим действием с таким видом, что врач спросила:

— А что мне тогда надеть?

Ребекка тут же сказала, что халат недолго останется белым. Не найдется ли у доктора какого-нибудь старого платья?

Сильвия не носила платьев. На ней были самые старые ее джинсы, надетые в дорогу. Она повязала волосы косынкой. Перед тем как удалиться в кухню, Ребекка показала Сильвии тропу, ведущую в больницу. Вдоль тропы росли гибискус, кусты олеандра, свинчатка, все покрытые пылью, но выглядевшие при этом так, будто для них не существует более приятных условий, чем сухой зной и солнце в небе без единого облачка. Тропа спустилась по каменистому склону и привела Сильвию к тростниковым

навесам на жердях, воткнутых в красноватую землю, и к сараю с распахнутой дверью. Оттуда вышла курица. Остальные куры лежали под кустами, тяжело дыша, раскрыв клювы. Под большим деревом сидели те два подростка, которые приехали с ней в джипе. Один из них поднялся и сказал:

— Мой друг болен. Он очень болен.

Сильвия и сама это видела.

— Где больница?

— Вот она.

Только тогда Сильвия заметила, что под кустами, между деревьями, под укрытиями из травы повсюду лежали люди. Часть из них были калеками.

— Долго нет доктора, — сказал подросток. — Теперь у нас опять есть доктор.

— Что случилось с вашим доктором?

— Он пил очень-очень много. И тогда отец Макгвайр сказал, чтобы он уходил. И поэтому мы ждали вас, доктор.

Сильвия стала оглядываться в поисках места, где могли бы храниться инструменты, лекарства — орудия ее ремесла, и подошла к сараю. Ну конечно, там было три ряда полков, а на них одна большая банка из-под аспирина — пустая; несколько бутылок с таблетками от малярии — пустые; большой тюбик для мази — без надписи и пустой. С обратной стороны двери висел стетоскоп — сломанный. Приятель больного мальчика стоял рядом с Сильвией и улыбался.

— Все лекарства закончились, — поведал он ей.

— Как тебя зовут?

— Аарон.

— Ты разве не с фермы Пайнов?

— Нет, я живу здесь. Я пришел к своему другу, когда узнал, что поедет машина.

— А как ты туда добрался?

— Пешком.

— Но... туда же далеко идти?

— Нет, не очень.

Она вернулась с ним к больному, который до этого был вялым и безжизненным, но теперь его била дрожь. Сильвии не нужен был стетоскоп, чтобы поставить диагноз.

— Он принимал какие-нибудь лекарства? У него малярия, — сказала она.

— Да, ему давал лекарство мистер Пайн, но потом оно закончилось.

— Прежде всего, ему нужно питье.

В сарае она нашла три большие пластмассовые канистры с завинчивающимися крышками. В них была вода, но, судя по запаху, несвежая. Сильвия велела Аарону отнести больному мальчику воды. Однако под рукой не оказалось ничего — ни кружки, ни стакана.

— Когда другой доктор уехал, боюсь, тут воровали.

— Понятно.

— Да, боюсь, это так.

Сильвия понимала, что она слышит это «боюсь» в его новом для Африки значении — вежливого извинения. Давным-давно, говоря «боюсь», не ожидали ли здешние люди удара или порицания?

Как удачно, что она привезла с собой новый стетоскоп и кое-какие инструменты.

— Где замок для этой двери?

— Боюсь, я не знаю. — Аарон изобразил поиски замка, как будто он мог оказаться спрятанным в придорожной пыли. — А, вот он! — воскликнул мальчик, потому что замок и в самом деле нашелся в щели между досками.

— А ключ?

Он возобновил странные для Сильвии поиски, но ключ так и не обнаружил.

Она не собиралась доверить свои драгоценные запасы сараю без замка. Пока врач стояла в нерешительности, думая о том, что ничего здесь не понимает, что ей нужен ключ, не говоря уже о приличном хранилище, Аарон сказал:

— И посмотрите, доктор, боюсь, здесь все нехорошо.

Он ткнул один из кирпичей в задней стене, и тот провалился внутрь, а вместе с ним целая заплатка кирпичей, выломанных кем-то из-за раствора и затем составленных обратно. Другими словами, в стене сарая существовала огромная дыра, через которую внутрь мог забраться кто угодно.

Сильвия произвела быстрый обход своих пациентов, лежащих тут и там, но иногда их трудно было отличить от друзей или родственников, которые пришли с ними. Вывихнутое плечо. Она тут же вправила его обратно и велела молодому негру полежать и отдохнуть, не нагружать руку некоторое время, но он поднялся и побрел в буш. Несколько порезов — гноящихся. Еще один случай малярии, по крайней мере так ей показалось. Нога, распухшая как шар, так что кожа чуть не лопалась. Сильвия сходила в дом, вернулась с ланцетом, мылом, бинтами, тазом, позаимствованным у

Ребекки, и, присев, вскрыла рану, из которой потекли потоки гноя прямо в песок — создавая, без сомнения, новый очаг инфекции. Пациентка благодарно стонала. Она была совсем молодой женщиной, двое ее детей сидели с ней, один сосал грудь, хотя на вид ему было года четыре, а второй обнимал мать за шею. Ребекка перебинтовала ногу, надеясь, что в рану попало не много пыли, опять порекомендовала не напрягаться первое время, но уже понимая абсурдность этого, а потом обследовала беременную женщину на последнем сроке. Ребенок лежал неправильно.

Сильвия собрала инструменты и таз и сказала, что ей нужно поговорить с отцом Макгвайром. Она спросила Аарона, что он и его больной друг собираются есть. Он сказал, что, возможно, Ребекка будет добра к ним и даст немного садзы.

Сильвия нашла отца Макгвайра за столом, приступающим к обеду. Он был крупным мужчиной в поношенной рясе, с пышной седой шевелюрой и темными добрыми глазами. Священник искренне обрадовался ее приезду.

Он настоял, чтобы девушка присоединилась к нему и отведала немного консервированной селедки, которую она же и привезла, и Сильвия послушно поела. Потом, также по настоянию священника, она съела апельсин.

Ребекка стояла в дверях и наблюдала за обедом, а потом сообщила, что в деревне говорят, будто Сильвия не может быть настоящим доктором — слишком уже она худая и маленькая.

— Показать им мое свидетельство? — предложила Сильвия.

— Я им покажу, какая тяжелая у меня рука! — сказал отец Макгвайр. — Что за дерзость я слышу?

— Мне нужен сарай, который запирается на замок, — сказала Сильвия. — Я не смогу носить все необходимое туда и обратно по нескольку раз в день.

— Я скажу нашему мастеровому, чтобы он заделал дыру в стене.

— А замок? И ключ?

— С этим не так все просто. Я посмотрю, нет ли у меня где-нибудь замка. Или пошлю Аарона к Пайнам попросить у них замок с ключом.

Священник закурил и предложил сигарету Сильвии. Она почти не курила, но сейчас приняла сигарету с благодарностью.

— Ах да, — сказал отец Макгвайр. — Вы очень устали. Это всегда так в первый день после приезда. Мы здесь обычно встаем в половине шестого и ложимся — по крайней мере, я ложусь — в девять. И вы тоже будете готовы уснуть к тому времени, что бы сейчас ни думали со своими лондонскими привычками.

— Я уже готова лечь, — сказала Сильвия.

— Тогда вам нужно немного поспать днем, как я это обычно делаю.

— Но что будет со всеми теми, кто ждет меня в больнице? Можно мне взять кружку, чтобы поить их водой?

— Конечно. Это меньшее, что мы можем для них сделать. Кружки у нас есть.

Сильвия поспала полчаса и была разбужена Ребеккой, принесшей чай. А сама Ребекка спит когда-нибудь? Она только улыбнулась, когда Сильвия спросила. Аарон с приятелем что-нибудь ели? Доктор Сильвия не должна о них беспокоиться, был ответ, опять сопровождаемый улыбкой.

Сильвия вернулась снова к навесам и тенистым деревьям, где лежали ее пациенты. Прибыло много новых, прослышав о том, что в больнице появился новый доктор. Среди них было много калек — кто без руки, кто без ноги, старые раны не зашиты как следует, не заживают. По большей части это раненые с войны, которая закончилась ведь совсем недавно. Сильвия думала, что они дошли, доползли до «больницы», потому что хотя бы здесь их статус был определен и закреплен. Они были ранены и потому имеют право на лекарства: обезболивающие, аспирин, мази, в общем — все равно какие; эти молодые парни, мальчики в сущности, совершали подвиги на войне, они — герои, и это должно что-то значить. Но лекарств у Сильвии имелось так мало, что приходилось быть бережливой. Поэтому героям доставались кружки с водой и сочувственные расспросы.

— Как ты потерял ногу?

— Бомба разорвалась, когда я сел.

— Мне так жаль. Тебе не повезло.

— Да, мне сильно не повезло.

— А что случилось с твоей стопой?

— Камень упал с холма прямо на мину, а я как раз был рядом.

— Сочувствую. Было больно, должно быть.

— Да, я кричал, и мои товарищи, они заставили меня замолчать, потому что враги были рядом.

Позже в тот же день, когда солнце опустилось и пожелтело, появился очень высокий, очень худой, сердитый и сутулый мужчина, который заявил, что его зовут Джошуа и что его работа состоит в том, чтобы помочь ей.

— Ты медбрат? Ты учился медицине?

— Нет, я не учился. Но я всегда здесь работаю.

— Тогда где ты был раньше? — спросила Сильвия, желая получить информацию, а не упрекнуть.

Но он сказал с умышленной дерзостью:

— Зачем мне сюда приходиться, раз доктора нет?

Он говорил будто пьяный. Нет, алкоголем не пахнет. Тогда что? Да, она различила запах марихуаны.

— Что ты курил?

— Даггу.

— Она растет здесь?

— Да, везде.

— Если хочешь работать со мной, тогда больше не кури даггу.

Переминаясь с ноги на ногу, болтая руками, Джошуа протянул:

— Я не знал, что сегодня будет работа.

— Когда уехал ваш врач?

— Давно. Год назад.

— А как выходят из положения больные, когда идет дождь?

— Если им не хватает места под навесом, они мокнут. Они чернокожие, им и так хорошо.

— У вас же теперь чернокожее правительство, так что все скоро изменится.

— Да, — сказал, а точнее прорычал он. — Да, все изменится, и у нас тоже будут хорошие вещи.

— Джошуа, — сказала она с улыбкой, — раз мы будем работать вместе, нам надо постараться стать друзьями.

Наконец-то на лице тощего негра появилось некое подобие улыбки.

— Да, это будет хорошо — стать друзьями.

— Я так поняла, что со старым доктором вы не очень-то ладили. Да, кстати, он был белый доктор или черный?

— Черный. Только он был не настоящий доктор. И слишком много пил. Он был скеллум.

— Что?

— Плохой человек. Не как вы.

— Надеюсь, я уж во всяком случае не пьяница.

— И я надеюсь, доктор.

— Меня зовут Сильвия.

— Доктор Сильвия.

Джошуа все еще сутулился и раскачивался и вдруг снова оскалился: как будто решил про себя, что пора проявить антагонизм.

— Доктор Сильвия сейчас пойдет к отцу Макгвайру, — сказала она. — Он сказал, чтобы я возвращалась, когда станет темно, у нас будет ужин.

— Надеюсь, доктор Сильвия хорошо поужинает.

И парень сошел с тропы в буш, смеясь. Потом она услышала, как он

запел. Боевая песня, подумала Сильвия. Должно быть, революционная, со времен войны, проклинаящая всех белых.

Отец Макгвайр сидел за столом при свете шипящей парафиновой лампы, пил апельсиновый сок. Второй полный стакан ждал Сильвию.

— Вообще у нас есть электричество, но сейчас отключили.

Появилась Ребекка с подносом и сообщила, что Аарон не придет, он переночует сегодня в больнице со своим другом.

— А что? Он разве здесь живет?

Священник, не глядя на Сильвию, сказал, что у Аарона есть семья в деревне, но что некоторое время он будет ночевать в этом доме.

По лицам его и Ребекки чувствовалось, что во всей этой ситуации их что-то смущает, поэтому Сильвия стала расспрашивать. Да глупости, сказал отец Макгвайр, говорить-то не о чем, и ему остается только извиниться перед Сильвией, но молодой человек будет жить в доме ради соблюдения приличий. Сильвия не поняла. Священник пришел в раздражение, даже обиделся на нее за то, что ему приходится называть вещи своими именами.

— Это считается неприличным, — сказал он, — если священнослужитель живет в одном доме с женщиной.

— Что? — воскликнула Сильвия, столь же возмущенная, как и он.

Ребекка высказалась в том духе, что люди всегда будут сплетничать и надо быть к этому готовыми.

Сильвия произнесла чопорно, что у людей грязные мысли, и отец Макгвайр сказал просто, что да, так и есть.

Затем отец Макгвайр, после паузы, рассказал о том, что изначально предполагалось, что Сильвия будет жить на холме с монахинями.

— Какими монахинями?

— С нашими добрыми сестрами. У них обитель на холме. Но поскольку вы не религиозны, я решил, что тут вам будет лучше.

О стольком умалчивалось, что Сильвия не знала даже, с чего начать расспросы, и сидела, переводя взгляд с Ребекки на священника.

— Считается, что наши добрые сестры должны помогать в больнице, но не все созданы для тяжелой работы сиделок.

— Они сиделки?

— Нет, я бы так не сказал. Они прошли краткий курс ухода за больными, вот и все. Но я бы посоветовал вам договориться с ними о том, чтобы они стирали бинты и постельное белье. У вас, я полагаю, не имеется больших запасов одноразовых бинтов? Нет. Значит, вы сообщайте Джошуа, что должно быть выстирано, а он будет передавать это каждое утро монахиням. А я наставлю их, объясню, что они должны выполнять эту

работу как часть служения Богу.

— Джошуа не захочет этого делать, святой отец, — сказала Ребекка.

— И ты, Ребекка, тоже не захочешь этого делать, так что у нас, боюсь, возникнет небольшая проблема.

— Это работа Джошуа, я не моя.

— Значит, решать эту проблему придется вам, Сильвия, и я с интересом буду наблюдать, как это у вас получится.

Отец Макгвайр поднялся, пожелал спокойной ночи и отправился спать; и Ребекка, не глядя на Сильвию, тоже попрощалась и ушла.

Прошел месяц. Дыру в стене сарая заделали, нашелся замок с ключом. Вокруг двух навесов из тростника соорудили загородки из дерюги, которой раньше перевязывали тюки табака, в надежде, что больные будут хоть как-то укрыты если не от дождя, то от ветра и пыли. В больнице появилась новая хижина со стенами и крышей из тростника, большая, с отверстиями, прорезанными в стенах, чтобы внутрь проникал свет. Внутри было прохладно и свежо. Пол был земляной. Здесь пациенты действительно были защищены от стихий. Сильвия успела за эти недели излечить несколько случаев давней глухоты, причиной которой были всего лишь застарелые серные пробки. Она вылечивала катаракты. Из Сенги прибыли медикаменты, и она смогла помочь малярным больным, но в большинстве случаев болезнь была слишком запущена. Она вправляла кости, прочищала и зашивала раны, выдавала лекарства от боли в горле и кашля, прибегая порой, когда лекарств не хватало, к «бабкиным» методам, которые запомнил отец Макгвайр со времен своей жизни в Ирландии. У Сильвии имелось и родильное отделение, и она принимала роды. Все это приносило определенное удовлетворение, но она часто приходила в отчаяние: она не была хирургом. А это так нужно здесь. Тяжелых и срочных больных приходилось отвозить в больницу в двадцати милях, но иногда любая отсрочка могла стать роковой. Ей нужно уметь самостоятельно проводить кесарево сечение, удалять аппендикс, ампутировать руку или оперировать раздробленное колено. И еще ряд процедур, с которыми непонятно было, правильно Сильвия поступает или нет: зачастую нужно было надрезать руку, чтобы добраться до язвы, вскрыть гноящуюся рану, чтобы очистить ее, — все с помощью хирургических инструментов. Ах, если бы она знала в былые годы, как нужна будет ей хирургия! А она записывалась на десятки курсов, от которых сейчас нет никакой пользы...

Еще Сильвия выполняла работу, которая нечасто выпадает на долю

врачей в Европе. Она обходила окрестные деревни и инспектировала источники воды. В качестве таковых она обычно находила грязные речки и протухшие колодцы. В этом году уровень воды был низкий, и от многих водоемов остались лишь застойные лужи, где с удовольствием размножались гельминты. Сильвия учила деревенских женщин, как определить некоторые болезни и в каких случаях нужно немедленно идти в больницу. Все больше и больше людей обращались к ней за помощью, потому что ее считали чуть ли не волшебницей, в основном — благодаря прочищенным ушам. Ее репутацию всячески поддерживал Джошуа, так как это помогало улучшить и его собственную, запятнанную по ассоциации с плохим доктором. Они с Сильвией «ладили», но ей приходилось закрывать глаза на его зачастую яростные обвинения в адрес белых людей. Иногда она не выдерживала:

— Но, Джошуа, меня здесь не было, как ты можешь винить меня в этом?

— Такая у вас плохая удача, доктор Сильвия. Вы виноваты, раз я так говорю. Теперь у нас черное правительство, и то, что я говорю, правильно. Потом наша больница станет очень хорошей, и у нас будут свои чернокожие доктора.

— Очень на это надеюсь.

— И тогда вы можете ехать обратно в Англию и лечить своих больных людей. В Англии есть больные люди?

— Конечно есть.

— А бедные люди?

— И бедные есть.

— Такие же бедные, как мы?

— Нет, ничего похожего.

— Это потому, что вы украли у нас все, что было.

— Раз ты так говоришь, Джошуа, значит, так и есть.

— А почему вы не у себя дома, не лечите своих больных?

— Очень хороший вопрос. Я часто сама его себе задаю.

— Но пока еще не уезжайте. Вы нужны нам, пока у нас нет своих докторов.

— Да, но ваши врачи не приедут сюда и не будут работать в таких бедных деревнях, как эта. Они все хотят остаться в Сенге.

— А у нас скоро будет богатая деревня. Богатая и красивая, как Англия.

Отец Макгвайр говорил ей:

— Сильвия, дитя мое, послушайте меня, я собираюсь побеседовать с

вами серьезно, как ваш исповедник и наставник.

— Да, отец.

Тут нужно сделать небольшое отступление. Утверждать, что Сильвия утратила свою католическую веру, было нельзя, но ей пришлось в значительной степени пересмотреть убеждения. Католичкой она стала из-за отца Джека — поджарого строгого человека, который истязал себя аскетизмом, к стати не идущим ему. Его глаза обвиняли мир вокруг него, и каждое его движение было направлено против греха и ошибок. Сильвия любила этого человека и считала, что и он не равнодушен к ней. Пока он был самой большой любовью ее жизни. Отец Джек стоял за церковь, за Веру, за ее религию, а теперь Сильвия живет посреди буша в доме отца Макгвайра, добродушного пожилого человека, который любит поесть. Казалось бы, на диете из каши, говядины, помидоров и консервированных, изредка свежих фруктов невозможно быть гурманом. Чепуха. Отец Кевин кричал на Ребекку, если каша получалась недостаточно густой или слишком жидкой, и говядина для него должна была быть приготовлена в строгом соответствии с его требованиями и никак иначе, а картофель... Сильвия привязалась к Кевину Макгвайру, он был хорошим человеком, как говорила сестра Молли, но ее душа рвалась к страстному воздержанию того, другого священника, к красотам Вестминстерского собора и собора Парижской Богоматери, который она однажды посетила и навсегда запечатлела в памяти. Раз в неделю по воскресеньям в маленькой церкви, сложенной из грубого кирпича и обставленной табуретами и стульями местного производства, жители окрестных деревень собирались на мессу, и проводилась она на местном наречии и с плясками: женщины вставали с сидений и мощным танцем выражали свою веру и пели — о, прекрасно пели, да и в целом это было шумное, веселое мероприятие, как вечеринка. Сильвия сомневалась, была ли она хоть когда-то истинной католичкой, была ли она ею сейчас, хотя отец Макгвайр, в роли наставника, уверял ее, что да, конечно же. Сильвия спрашивала себя: вот если бы в маленькой церкви, заметаемой пылью, службы велись на латыни и если бы верующие стояли, и преклоняли колена, и хором отвечали, как положено, то не больше ли понравилась бы ей такая месса? Да, понравилась бы куда больше, Сильвия ненавидела мессу в том виде, в котором проводил ее отец Кевин Макгвайр, она ненавидела плотские танцы и безудержное пение, через которые (она понимала, разумеется) ослаблялись на время путы, стягивающие их жалкие трудные жизни. И еще Сильвии определенно не нравились монахини в их сине-белых рясах, напоминающих школьную форму. Отец Макгвайр сказал ей:

— Сильвия, вы должны научиться не принимать все так близко к сердцу.

Она взорвалась:

— Мне не вынести этого, святой отец. Я не вынесу того, что вижу. Девять десятых страданий беспричинны.

— Да, да, да. Но так уж здесь заведено. Да, так. Такие они. Они изменятся, я уверен. Да, само собой, они изменятся. Но, Сильвия, я различаю в вас задатки мученика, и это нехорошо. Вы взошли бы на костер с улыбкой, да, Сильвия? Я думаю, что с улыбкой. А пока вы сжигаете себя сами. Теперь я собираюсь прописать вам лечение, как вы прописываете лечение этим беднякам. Вы должны есть три раза в день. Вы должны больше спать — я вижу свет под вашей дверью и в одиннадцать часов, и в двенадцать, и позже. И вы должны каждый вечер гулять — хотя бы в буш. Или ходить в гости. Можете взять мою машину и съездить к Пайнам. Они хорошие люди.

— Но у нас с ними нет ничего общего.

— Сильвия, неужели вы думаете, что они недостаточно хороши для вас? Вы слышали, что Пайны всю войну просидели в этом доме — они были в осаде? Их дом поджигали. Они — смелые люди.

— Но они оказались не на той стороне.

— Да, это так, несомненно, это так, но при этом Пайны не дьяволы, какими рисуют эти новые газеты всех белых фермеров.

— Я постараюсь стать лучше. Надо научиться проще относиться к... ко всему.

— Вы с Ребеккой как пара маленьких горных кроликов в засушливый год. Но в ее случае причина в шестерых маленьких детях, которым не хватает еды. Вы же отказываетесь есть из каких-то...

— Я никогда много не ела. Мне не очень нравится еда.

— Жаль, что по некоторым моментам у нас с вами есть расхождения. Я вот люблю поесть, прости Господи, ох как люблю.

Жизнь Сильвии пошла по кругу: ее маленькая спальня, стол в общей комнате, потом больница, потом обратно — и так раз за разом, день за днем. Она практически не заглядывала в кухню — царство Ребекки, никогда не заходила в комнату отца Макгвайра и знала, что Аарон спит где-то в задней части дома. Когда отец Макгвайр не вышел однажды к ужину и Ребекка сказала, что он болен, Сильвия впервые оказалась в его спальне. Там стоял сильный запах свежего и старого пота, кислый запах тошноты. Он лежал, подпертый подушками, но соскальзывал в сторону. Священник

лежал неподвижно, только грудь его вздымалась. Малярия. Бессимптомная стадия.

Маленькие окна, одно из которых с трещиной, раскрыты над влажной землей, и через них втекает свежий воздух, чтобы бороться с запахами. Отец Макгвайр замерз, он весь мокрый, потная сорочка прилипла к телу, волосы слиплись. Хоть здесь и Африка, но он может простыть. Сильвия позвала Ребекку, и вдвоем женщины перетащили протестующего мужчину на плетеный стул, который прогибался под его весом. Ребекка сказала:

— Я хочу менять белье, когда святой отец болеет, но он всегда говорит: «Нет, нет, оставь меня в покое».

— Ну, а я собираюсь поменять белье.

Постель застлана чистыми простынями, и пациент уложен обратно, и потом, пока он жаловался на головную боль, Сильвия обтирала его тело полотенцем. Ребекка же отводила глаза от мужского достоинства священника и все извинялась:

— Простите меня, святой отец, простите меня.

Свежая сорочка. Лимонад. Начался новый этап болезни — с дикой дрожью и малярийным потом, и отец Макгвайр сжимал зубы и цеплялся за железные прутья изголовья. Болотная лихорадка, четырехдневная лихорадка, трехдневная лихорадка, горячка, трясучка, приступы дрожи — эту болезнь, которая столь недавно плодилась в лондонских болотах, в итальянских болотах и привозилась домой со всех концов мира, где только были топкие места, Сильвия не наблюдала своими глазами до тех пор, пока не приехала сюда, хотя читала о ней по дороге в самолете. И теперь практически не было дня, чтобы очередной истощенный человек не рухнул на травяной матрас под тростниковым навесом и не забился в жестком ознобе.

— Вы принимаете лекарство? — крикнула Сильвия, потому что от малярии или от лекарства против нее глохнешь.

Отец Макгвайр с трудом выговорил, что он принимал таблетки, но, поскольку приступы у него повторяются три-четыре раза в год, он решил, что ему лекарства уже не помогут.

Когда лихорадочная дрожь стихла, он снова был весь мокрый, и белье поменяли еще раз. Ребекка выказала усталость, вынося простыни. Сильвия спросила, нет ли в деревне женщины, которая могла бы помочь со стиркой? Ребекка ответила, что все заняты.

— Может, обратится к сестрам? — предложила вариант Сильвия.

Больной священник сказал:

— Не думаю, что Ребекке это понравится.

Ребекка ревниво относилась к своему положению и не желала делить его ни с кем. Сильвия уже не надеялась понять все эти сложные отношения, поэтому предложила кандидатуру Аарона. Священник попытался шутить, заметив, что Аарон теперь интеллеktуал и его больше нельзя просить о такой низкой работе: он начинал заниматься с отцом Макгвайром с тем, чтобы стать священником.

Не согласится ли тогда ученый Аарон походить среди окрестных деревьев и кустов и поискать личинки комаров?

— Думаю, что вряд ли.

— Тогда почему не сестры? — Сильвия едва удержалась от выпада в адрес монашек о том, что не очень-то они утруждают себя.

Отец Макгвайр возразил, что даже если сестер можно будет уговорить, толку в поисках личинок от них будет мало.

— Наши добрые сестры — не большие любительницы буша.

Комары откладывали яйца в любую воду, какую только могли найти. Черных куколок, не менее энергичных в этой фазе, чем станут позднее, в период поиска жертв, можно было приметить в сухом листе папайи или в ржавой жестянке из-под печенья, валяющейся под кустом. Только днем ранее Сильвия видела личинок в крошечном углублении, выкопанном в земле струйкой воды под корнями маиса. Прямо на ее глазах солнце высушивало воду, поэтому она не стала уничтожать куколок; но двумя часами позже прошел ливень, и если их не вынесло потоками на землю умирать, то они триумфально завершили свой цикл.

Отец Макгвайр впал в полубессознательное состояние. Сильвия думала, что дело хуже, чем сам он полагал — в долговременной перспективе. Что касается этого конкретного приступа, то он скоро пройдет. Поскольку ирландец был краснолиц, то болезненная бледность, даже желтизна не бросались в глаза. На самом же деле у него развилась настоящая анемия. Это из-за малярии. Ему нужно принимать препараты железа. Ему нужно взять отпуск. Ему нужно...

На улице в ночной темноте ветер, сулящий скорый дождь, колыхал белые силуэты — это белье, выстиранное Ребеккой под вечер. Сильвия сидела возле дремлющего священника, ждала следующего пароксизма и, не будучи занята, разглядывала комнату.

Кирпичные стены, как в ее спальне, тот же тростник вместо потолка, кирпичный пол. В углу — статуэтка Девы Марии. На стенах снова образы Пресвятой Девы, вдохновленные (отдаленно) итальянским Ренессансом, но в рамках канона: голубые, белые тона, опущенные долу глаза... и в общем как-то не к месту здесь, посреди буша. Но погодите-ка, вон на табурете из

темного дерева — местная Мария, сделанная из того же дерева: крепкая молодая женщина, кормящая младенца. Это уже лучше. На гвозде, вбитом в стену возле кровати, чтобы священнику можно было дотянуться, висели четки из эбенового дерева.

Идеологические потрясения, охватившие мир в шестидесятых, в католической церкви приняли форму бунта, который попытался свергнуть Деву Марию с трона. Богородицу — прочь, и вместе с ней были изгнаны четки. Детство Сильвии проходило вне католицизма, она никогда не обмакивала пальцы в чашу со святой водой, не оплетала их четками, не крестилась и не обменивалась карточками святых с подружками («Я дам тебе три святых Джерома за одну Деву Марию»). Она никогда не молилась богородице, только Иисусу. Следовательно, придя в лоно Церкви, Сильвия не тосковала о том, чего никогда не знала, и только постепенно, встречая старых священников, или монахинь, или верующих, узнавала она о произошедшей революции, которая оставила многих в скорби, особенно по Деве. (Она будет восстановлена в правах через несколько десятилетий.) А в тех укромных уголках мира, докуда не достигали взгляды борцов с ересью и отсталостью, священнослужители и монахини сохранили свои четки и святую воду, свои статуэтки и изображения Девы Марии, надеясь, что никто не заметит.

И человеку вроде Ребекки, которая прикрепила картинку с ликом Богородицы на центральную стойку своей хижины, вышеописанный идеологический момент показался бы лишенным всякого смысла; но она о нем и не слышала.

На стене своей комнаты, прямо на кирпич, Сильвия повесила большую репродукцию «Мадонны в скалах» Леонардо и несколько Пресвятых Дев поменьше. Глядя на стену, легко было заключить, что эта религия заключалась в поклонении женщинам. Распятие по сравнению с этими образами казалось незначительным. Ребекка иногда садилась на краешек кровати Сильвии, складывала руки на груди и смотрела на картину Леонардо, вздыхала, лила слезы. «О, как красиво!» Можно сказать, что Дева проскользнула через пустоты догмы посредством Искусства. Сильвия не задумывалась над тем, насколько дорога ей богородица, но она твердо знала, что не может жить без репродукций своих любимых картин. Края репродукции уже погрызли чешуйницы. Надо будет попросить кого-нибудь привезти ей новую.

Сильвия заснула на стуле, глядя на скучную статуэтку отца Макгвайра и недоумевая, как тому в голову пришло выбрать эту поделку, когда можно иметь настоящую статую, настоящую картину. Но она, конечно, не посмеет

сказать этого священнику, который вырос в Донегаде, в маленьком доме, полном детей, и прибыл в Цимлию сразу после окончания теологического колледжа. Неужели Леонардо ему не понравился? Макгвайр долго стоял в дверях ее спальни, потому что Ребекка сказала ему: «Отец, отец, пойдите посмотрите, что привезла нам доктор Сильвия». Сложив руки, оплетенные четками, на животе, который вздымался и опадал, он стоял и смотрел.

— Это лица ангелов, — провозгласил он наконец, — и, должно быть, художнику было видение. Ни одна земная женщина так не может выглядеть.

На следующее утро, когда выстиранное Ребеккой белье заново сохло после ночного дождя, Сильвия попросила Аарона поискать в буше комариные куколки, но он сказал:

— Боюсь, мне нужно читать книги, которые я изучаю с отцом Макгвайром.

Сильвия пошла в деревню, нашла несколько ребятишек — которые вообще-то должны были бы сидеть в школе — и сказала, что заплатит им, если они обыщут буш на предмет куколок.

— Сколько?

— Дам вам денег на всех, а вы сами между собой поделите.

— Сколько?

Через минуту ребятишки стали требовать от нее велосипеда, учебники, новые футболки. Это потому, что любого белого человека они считали богачом и источником всевозможных благ для себя. Сильвия засмеялась, потом они тоже засмеялись, и сошлись в конце концов на нескольких цимлийских долларах, что были зажаты в ее руке, — их хватит на горсть сладостей в местной лавке. И дети побежали со смехом в буш, они дурачились и играли: экспедиция будет безрезультатной. Затем Сильвия направилась в больницу, где застала Джошуа зашивающим довольно глубокую рану.

— Вас здесь не было, доктор Сильвия.

— Я бы пришла через пять минут.

— Откуда мне было знать?

Это давно уже стало предметом их разногласий. Джошуа научился зашивать простые раны и делал это неплохо. Но, осмелев, парень пытался самостоятельно заниматься ранами, которые требовали больших знаний, чем у него, и Сильвия запрещала ему это делать. Они оба посмотрели на мальчика, который уставился на свою руку и на иглу, пронзающую плоть. Он держался молодцом, закусил только губу. Джошуа неоправданно закончил шов — Сильвия забрала у него иглу и переделала последний отрезок

заново. Потом она пошла к своей аптеке — к сараю, чтобы отмерить лекарства перед обходом. Джошуа последовал за ней, распространяя вокруг себя запах дагги.

— Товарищ Сильвия, я хочу стать доктором. Всю свою жизнь я хотел этого.

— Никто не станет обучать на врача человека, который курит даггу.

— Если бы я начал учиться, то бросил бы курить.

— А кто будет платить за твое обучение?

— Вы можете платить за него. Да, вы должны заплатить за меня.

Этот парень знал (как знали все вокруг), что Сильвия сама оплачивала новые строения в больнице, поставки медикаментов и зарплату Джошуа. Предполагалось, что за ней стоит одна из мощных международных компаний-доноров, из системы гуманитарной помощи. Она говорила Джошуа, что ничего подобного, это были ее личные деньги, но он не хотел ей верить.

На старом кухонном подносе, пожертвованном Ребеккой, Сильвия расставила стаканчики с лекарством, разложила кучки таблеток — по большей части витаминов. С этим набором она пошла к деревьям, среди которых лежали или сидели большинство ее пациентов, и стала раздавать им приготовленное.

— Я хочу быть доктором, — грубо повторил Джошуа.

— Ты знаешь, сколько это стоит — обучить одного человека на врача? — спросила она его через плечо. — Послушай, объясни этому мальчику, как проглотить микстуру. Я знаю, она невкусная.

Джошуа заговорил, мальчик что-то возразил ему, но микстуру выпил. Худосочный двенадцатилетний ребенок страдал от сразу нескольких разновидностей гельминтов.

— Тогда скажите мне, сколько это стоит?

— Ну, если приблизительно, включая жилье и питание, то это будет около ста тысяч фунтов.

— Вот и заплатите.

— У меня нет таких денег.

— А кто же за вас платил? Может, правительство? Или это была гуманитарная помощь?

— За меня платила моя бабушка.

— Вы должны сказать нашему правительству, чтобы мне позволили стать доктором. Скажите им, что из меня получится хороший доктор.

— Разве станет ваше черное правительство слушать такую ужасную белую женщину, как я?

— Президент Мэтью сказал, что мы все сможем получить образование. Я хочу получить такое образование, чтобы стать врачом. Он обещал нам, когда товарищи еще сражались в буше, наш товарищ президент пообещал всем нам среднее образование и потом право обучиться любой профессии. Так что вы должны пойти к президенту и сказать ему, чтобы он выполнил то, что обещал.

— Я вижу, ты до сих пор веришь тому, что говорят политики, — заметила Сильвия, опускаясь на колени, чтобы приподнять женщину, ослабевшую после родов и потерявшую ребенка. Черная кожа, обычно теплая и гладкая, была шершавой и холодной.

— Политики? — переспросил Джошуа. — Вы называете их политиками?

Она поняла, что в голове этого парня товарищ президент и чернокожее правительство (его правительство) занимали отличное место от того, которое отводилось «настоящим» политикам — белым.

— Если составить список всех обещаний вашего товарища Мунгози, которые он давал, пока товарищи сражались в буше, то будет очень смешно, — сказала Сильвия.

Она осторожно опустила голову женщины на сложенную вдвое тряпку, прикрывающую грязную после дождя землю, и спросила:

— У этой женщины есть родственники? Кто-нибудь кормит ее?

— Нет. Она живет одна. Ее муж умер.

— Отчего он умер?

СПИД тогда только входил в общественное сознание, и Сильвия подозревала, что некоторые из смертей, случавшихся вокруг, были не тем, чем казались.

— У него появились язвы, и он стал худой и потом умер.

— Нужно покормить ее, — сказала Сильвия.

— Может, Ребекка принесет ей супа, который готовит для святого отца.

Сильвия промолчала. Это была худшая из всех проблем. В ее понимании больницы обязаны кормить своих пациентов, но здесь если у больного не было родственников, то не было и еды. И если Ребекка принесет с кухни священника суп или что-то еще одному из пациентов, то остальные будут недовольны. И вряд ли Ребекка согласится на это: между ней и Джошуа шла борьба из-за того, кто что должен делать. И, думала Сильвия, эта женщина умирает. В приличной больнице она бы наверняка выжила. Если погрузить пациентку в машину и отвезти в больницу, что в двадцати милях отсюда, то она даже не доедет туда живой. Среди запасов

Сильвии была пищевая добавка, которую она применяла не как еду, а как лекарство. Она попросила Джошуа пойти и развести для женщины немного порошка, думая при этом: «Я трачу драгоценные запасы на умирающую».

— Зачем? — нахмурился недовольно Джошуа. — Все равно она скоро умрет.

Сильвия, ни слова не говоря, пошла к сараю, который она по невнимательности оставила незапертым, и увидела, что к бутылкам с лекарствами тянется какая-то старуха.

— Что тебе здесь нужно?

— Мне нужно мути, доктор. Мне нужно мути.

Сильвия слышала эти слова чаще, чем любые другие. «Я хочу лекарство. Я хочу лекарство».

— Тогда иди туда, где ждут все остальные, и я осматриву тебя.

— О, спасибо, доктор, спасибо! — захихикала старуха и убежала из сарая в буш.

— Она — плохой скеллум, — сказал Джошуа. — Она хочет продать лекарство в деревне.

— Я не закрыла аптеку. — Сильвия называла так этот сарай, внутренне посмеиваясь над собой.

— Почему вы плачете? Жалуете, что я не могу стать доктором?

— И поэтому тоже, — сказала Сильвия.

— Я знаю все, что знаете вы. Я смотрю, что вы делаете, и учусь делать это сам. Мне уже не нужно долго учиться.

Сильвия размешала в стакане воды питательный порошок и отнесла его женщине, но той уже ничего не было нужно: она была почти мертва. Слабое дыхание вырывалось редкими толчками.

Джошуа заговорил с мальчиком, сидящим рядом со своей больной матерью:

— Возвращайся в деревню и передай Умнику, чтобы он выкопал могилу для этой женщины. Доктор ему заплатит.

Ребенок убежал. Сильвии Джошуа сказал:

— Я хочу, чтобы вы научили моего сына Умника, научите его, он может.

— Умник? Так его зовут?

— Когда он родился, его мать сказала, что ему нужно дать имя Умник, чтобы он был умным. И мальчик в самом деле умный, она была права.

— Сколько ему лет?

— Шесть.

— Ему нужно ходить в школу.

— Какая польза ходить в школу, если учителя нет и учебников тоже нет?

— Скоро пришлют нового учителя.

— Но книг в школе все равно не будет.

Это было правдой. Один миг нерешительности со стороны Сильвии, и Джошуа продолжил атаку:

— Умник будет приходить сюда и учиться тому, что знаете вы. И я могу научить его тому, что знаю. Мы оба можем стать докторами.

— Джошуа, ты не понимаешь. Здесь я не использую большую часть того, чему меня учили. Ты же сам должен видеть, у нас не настоящая больница. В настоящей больнице есть... — Сильвия пришла в отчаяние, отвернулась и, подавленная необъятностью проблем, замотала головой — так сделал бы и Джошуа, это был африканский жест. Потом она присела на корточки, взяла прутик и стала рисовать здание на мягкой, влажной грязи. Где-то на заднем плане родилась мысль: «Что бы сказала Юлия, если бы увидела меня сейчас?» Она сидела, раздвинув колени, напротив Джошуа, который тоже опустился на корточки, но для его мышц это было легкой и естественной задачей, тогда как Сильвии пришлось балансировать и опираться одной рукой о землю. Другой рукой она нарисовала многоэтажное здание, посмотрела на Джошуа и сказала: — Вот так должна выглядеть больница. Вот тут рентген... Ты знаешь, что такое рентген? — Она вспоминала больницы, в которых проходила практику и работала, а взгляд ее тем временем наткнулся на тростниковые навесы, травяные матрасы, сарай, приспособленный под аптеку, хижину, где рожали женщины — рожали на все тех же подстилках из травы. Она снова заплакала.

— Вы плачете, потому что у нас плохая больница, но это я должен плакать, Джошуа должен плакать.

— Да, ты прав.

— И вы должны сказать Умнику, что он может приходить сюда.

— Но ему нужно учиться в школе. Мальчик никогда не станет доктором и даже сиделкой не станет, если не сдаст экзамены.

— Я не могу платить за школу.

Сильвия платила за школьное обучение четырех его детей и трех детей Ребекки. Отец Макгвайр платил за еще двух детей Ребекки, но он, будучи священником, получал совсем немного.

— Умник один из тех, за кого я уже плачу?

— Нет, за него вы еще не платили.

В теории школьное обучение было бесплатным. И вначале так оно и

было в действительности. По всей стране родители, которым пообещали образование для их детей, помогали строить учебные заведения, отдавая свой труд бесплатно, и благодаря их энтузиазму и вере новые школы возникли там, где их не было никогда. Но теперь за обучение брали плату, и с каждым семестром она росла.

— Надеюсь, Джошуа, вы не собираетесь заводить еще детей. Это же так неразумно.

— Мы знаем, это заговор белых, чтобы мы не рожали детей, тогда мы станем слабыми, и вы сможете делать, что хотите.

— Какая ерунда. Почему ты веришь всяким глупостям?

— Я верю тому, что видят мои глаза.

— Точно так же вы верите в заговор белых, направленный на то, чтобы убить вас СПИДом.

Джошуа называл эту болезнь «худоба». «У него худоба», — говорили про человека, то есть у него или у нее болезнь, от которой теряют вес. Джошуа воспринял от Сильвии все, что она сама знала о СПИДе, и, вероятно, был более осведомлен в этом вопросе, чем члены правительства, которые упорно отрицали существование болезни. Но при этом Джошуа был уверен, что СПИД намеренно завезен в Африку белыми, из какой-то лаборатории в Штатах; он говорил, что эта болезнь создана специально, чтобы ослабить африканцев.

Гостиница «Селус» в Сенге была межрасовой задолго до Освобождения, за что ее раньше многие поносили, зато теперь она превратилась в уютный старомодный отель, где любили проводить сентиментальные встречи люди, которые при белых были посажены в тюрьму (белые белыми), или которым запретили въезд, или которых преследовали и которым осложнили жизнь. Это был один из лучших отелей, но уже возникали вокруг новые, соответствовавшие международным стандартам, «выстреливали в небо, как стрелы в будущее» — так выразился президент Мэтью, и фразу тут же взяли на вооружение рекламные буклеты.

В этот вечер посреди ресторана был накрыт стол на двадцать человек, и менее значительные гости говорили друг другу: «Смотрите, это "Глобал Мани", а это люди из "Кэринг Интернэшнл"». Во главе стола восседал Сайрус Б. Джонсон, который руководил африканским сектором «Глобал Мани»: серебряный, холеный человек с властными манерами. Рядом с ним сидел Эндрю Леннокс, а с другой стороны Джеффри Боун — «Глобал Мани» и «Кэринг Интернэшнл» соответственно. Джеффри уже несколько

лет считался экспертом по Африке. Его компания содействовала тому, чтобы сотни тракторов новейших модификаций были подарены одной из бывших колоний на севере материка, где они нынче успешно гнили и ржавели по обочинам полей: запчастей, специалистов и топлива не хватало. С мнением местных жителей, которые хотели чего-нибудь менее грандиозного, не посчитались. Также Джефффри стоял у истоков инициативы по высадке кофейных деревьев в различных частях Цимлии, где они мгновенно погибли. В Кении он распределил миллионы фунтов, и они исчезли в жадных карманах. Он распределял миллионы и здесь, в Цимлии, примерно с тем же результатом. Эти ошибки ни в коей мере не повредили его карьере, как могло бы случиться в иные времена. Он был заместителем главы «Кэринг Интернэшнл», постоянно соперничающей с «Глобал Мани». По соседству с ним сидел его преданный обожатель Дэниел; факел его рыжих волос горел так же ярко, как десять лет назад. В качестве награды за преданность он получил звездную должность секретаря Джефффри. Джеймс Паттон, теперь — член парламента от лейбористов, находился здесь якобы с целью сбора фактов, но на самом деле потому, что товарищ Мо, посещая Лондон, встретился с ним у Джонни и сказал: «Почему бы вам не приехать к нам?» Это не означало, что товарищ Мо был теперь в большей степени гражданином Цимлии, чем любой другой африканской страны. Но он знал товарища Мэтью (разумеется, ведь он, похоже, знал всех новых президентов) и, бывая у Джонни, направо и налево раздавал приглашения от имени некой обобщенной Африки — щедрого процветающего места — с неумным гостеприимством. Это благодаря товарищу Мо и его связям Джефффри достиг высот своего нынешнего положения; поскольку товарищ Мо обмолвился в разговоре с какой-то важной персоной о том, что знал Эндрю Леннокса еще мальчиком и что это умный, подающий надежды юрист, «Глобал Мани» переманило Эндрю из конкурирующей компании. Многие из тех, что собрались вокруг стола, были завсегдатаями квартиры Джонни: гуманитарная помощь стала законной наследницей товарищей. На противоположном конце стола от Сайруса Би, как любовно называла его половина мира, сидел товарищ Франклин Тичафа, министр здравоохранения, большой публичный человек с объемным животом и парой лишних подбородков, всегда любезный, всегда улыбающийся, но в эти дни появилась у него тенденция незаметно уклоняться от прямых вопросов. Он и Сайрус Би были самые шикарно одетые люди за столом, но сказать, что остальные собравшиеся были менее их довольны своей судьбой, было нельзя. Эти люди — ассорти представителей различных

благотворительных организаций — провели некое количество дней, разъезжая по всей Цимлии, останавливаясь в городах, где имелись гостиницы попроще, и втискивая в расписание посещение местных красот и охотничьих заповедников. Во время обедов, ужинов и приемов (только там и принимаются решения, влияющие на судьбу страны) они все приходили к согласию, что Цимлии в первую очередь необходимо развивать обрабатывающую промышленность, основы которой уже заложены, пусть и в зачаточном состоянии. Но все упиралось в президента Мэтью, который все еще находился в стадии марксизма и подавлял любые попытки сделать из Цимлии современное государство. А тем временем огромное количество людей маневрировали, пробираясь к местам, где и они могли бы припасть к живительному потоку заграничных денег.

Назавтра намечалось празднование Дня памяти героев Освобождения, и товарищ Франклин хотел, чтобы все они пришли.

— Вы доставите удовольствие товарищу президенту, — говорил он. — И я каждому из вас устрою лучшие места.

— Завтра утром я улетаю в Мозамбик, — сказал Сайрус Би.

— Отмените полет! Я достану вам место на рейс днем позже.

— Очень жаль. У меня встреча с президентом.

— Но ты ведь не скажешь «нет»! — воззвал Франклин к Эндрю с неожиданной для себя резкостью — было что-то неприятное между ними, но что — он никак не мог вспомнить.

— Я вынужден отказаться от приглашения. Завтра я еду навестить Сильвию — ты помнишь Сильвию?

Франклин умолк. Его глаза скользнули в сторону.

— Кажется, припоминаю. Да, вроде бы это какая-то твоя родственница?

— И она работает сейчас врачом в Квадере. Надеюсь, я правильно произношу это название.

Франклин сел, улыбаясь.

— В Квадере? Не знал, что там уже есть больница. Это неразвитая часть Цимлии.

— Я собираюсь съездить к Сильвии, поэтому не смогу присутствовать на вашем замечательном празднике.

Задумчивость пригасила сияние любезности во ФранкLINE, он молчал, сведя брови. Потом разом сбросил задумчивость и воскликнул:

— Но я уверен, что наш добрый друг Джеффри будет с нами в этот великий день!

Джеффри теперь стал плотным импозантным мужчиной,

притягивающим взгляды, как и когда он был мальчиком, и миллионы, которыми он распорядился, придавали ему почти видимый серебристый блеск, сияние самодовольства.

— Я непременно буду там, министр, ни за что не пропущу такого события.

— Такой старый друг не должен называть меня министром, — сказал Франклин, давая Джеффри разрешение снисходительной улыбкой.

— Спасибо, — ответил тот с небольшим поклоном. — Может, министр Франклин?

Франклин засмеялся — густой довольный смех.

— И прежде чем ты уедешь, Джеффри, я бы хотел, чтобы ты пришел ко мне в министерство, я покажу тебе, как у нас все устроено.

— Я надеялся, что ты познакомишь меня со своей женой и детьми. Я слышал, их у тебя уже шестеро?

— Да, шестеро, и на подходе седьмой. Ох уж эти дети и финансовые проблемы, — вздохнул притворно Франклин, пристально глядя на Джеффри. Но к себе домой так и не пригласил.

Смех, понимающий смех. Требовалось еще вина. Но Сайрус Би сказал, что им, старикам, нужно пораньше ложиться спать, и ушел, заметив на прощание, что ожидает увидеть их всех снова через месяц на конференции на Бермудах.

— Похоже, что у нашего старого друга Роуз Тримбл все идет отлично. Президенту очень нравится ее работа, — сказал Франклин.

— Да, у Роуз действительно все прекрасно! — воскликнул Эндрю с веселой улыбкой, которую Франклин неверно понял.

— И вы все так дружны! — воскликнул он. — Очень рад это слышать. Когда ты увидишься с Роуз, пожалуйста, передай привет от меня.

— Разумеется, передам — когда увижусь, — ответил Эндрю еще более радостно.

— Так значит, вскоре мы можем ожидать щедрой помощи, — сказал Франклин, уже слегка опьяневший. — Щедрой, щедрой помощи для нашей бедной, измученной эксплуатацией страны.

Тут товарищ Мо, который до сих пор не участвовал в беседе, заметил:

— По-моему, нам не нужна никакая помощь. Африка должна стоять на своих собственных ногах.

Эффект был такой, будто он бросил на стол бомбу. Товарищ Мо посидел, моргая, показывая зубы в сконфуженной ухмылке, отражая удивленные взоры. Он и все его соратники закрывали глаза на то, что происходит в Советском Союзе, или аплодировали каждой малой новости

оттуда; он и часть его братьев по оружию приветствовали каждую новую резню в Китае; он вкупе с совсем уж немногими разрушил сельское хозяйство страны, загоняя несчастных фермеров в коммуны, а тех, кто сопротивлялся, избивали и разоряли бандиты от власти. Мало какие из поставленных им задач привели к чему-либо полезному, в основном заканчивались скандальным провалом, но здесь, в этот миг, за этим столом, в этой компании, то, что он говорил, было вдохновением, было истиной, и за одни только эти слова ему, разумеется, можно простить все остальное.

— Нам это не принесет пользы, — сказал товарищ Мо. — Во всяком случае никакой долгосрочной пользы. Вы в курсе, что Цимлия на момент Освобождения находилась на том же уровне развития, что и Франция перед революцией?

Смех повсюду, смех облегчения. Ну, хотя бы Франция была упомянута и Революция, значит, они вернулись в русло безопасных тем.

— Нет, французская революция произошла из-за плохих урожаев, из-за плохой погоды, страна же по сути процветала. И эта страна тоже — по крайней мере, пока не был предпринят ряд неудачных мер.

Установилось молчание, граничащее с паникой.

— Что это вы хотите сказать? — спросил Дэниел горячо и обиженно, так и пылая из-под рыжей шевелюры. — Что этой стране было лучше под белыми?

— Нет, — ответил Мо. — Этого я не говорил. Когда я такое говорил? — Его голос стал тягуч, слова сливались: все догадались с облегчением, что он пьян. — Я только хочу сказать, что Цимлия — самое развитое государство на континенте, если не считать Южной Африки.

— Так к чему вы ведете? — потребовал ясности министр Франклин — вежливо, но с подспудным гневом.

— Я пытаюсь сказать, что вы должны строить экономику на ваших собственных, очень прочных основах и стоять на двух своих ногах. А иначе «Глобал Мани», и «Кэринг Интернэшнл», и тот фонд, и этот фонд... За исключением присутствующих, — вставил он неуклюже и поднял бокал в круговом салюте, — они все станут говорить вам, что делать. А ведь эта страна — не зона гуманитарной катастрофы, как некоторые другие. У вас имеются надежная экономика и приличная инфраструктура.

— Если бы я не знал вас столько лет, — заявил товарищ министр Франклин и нервно оглянулся вокруг, не слышал ли кто эти опасные разглагольствования, — то решил бы, что вы на довольствии у южноафриканцев. Что вы агент нашего большого соседа.

— Ладно, ладно, — сказал товарищ Мо. — Пока можно не звать

полицию, службу безопасности. — Буквально на днях были арестованы и посажены в тюрьму журналисты, посмеявшие высказать собственное мнение. — Я среди друзей. Просто поделился своими соображениями. Я говорю то, что думаю. Только и всего.

Молчание. Джеффри поглядывал на часы. Дэниел послушно смотрел на босса. Из-за стола стали подниматься гости, не глядя на товарища Мо, который продолжал сидеть, частью из упрямства, а частью из-за того, что не смог бы ровно стоять.

— Может, мы подробнее обсудим эту тему? — спросил он Франклина. Он говорил легко, доверительно. В конце концов, разве они не знакомы уже целую вечность, разве не обсуждали Африку, шумно, но дружески, при каждой встрече?

— Нет, — отрезал товарищ Франклин. — Нет, товарищ, не думаю, что когда-либо вернусь к этой теме.

Он поднялся. Пара до сих пор безмолвных чернокожих крепышей за соседним столом тоже встали, проявив себя как его помощники или охрана. Он выбросил в салюте сжатый кулак — на уровень плеча — в адрес Джеффри и Дэниела и других многочисленных щедрых представителей международных фондов и вышел, с каждой стороны от него по тяжеловесу.

— Я отправляюсь спать, — сказал Эндрю. — Мне завтра рано вставать.

— Кажется, товарищ Франклин забыл, что обещал нам места на завтрашний праздник, — недовольно сказал Джеффри. Это был упрек в адрес товарища Мо.

— Я решу этот вопрос, — пообещал товарищ Мо. — Просто назовите мое имя. Для вас будут заказаны места в VIP-ложе.

— Но я тоже хочу прийти.

— О, не беспокойтесь! — воскликнул товарищ Мо, размахивая руками, словно раздавал блага, приглашения, билеты. — Не о чем волноваться. Все пройдет, все посмотрите. — Его момент истины минул, загубленный этим демоном, которого психологи называют давление со стороны сверстников.

День, когда ждали Эндрю, начался с неприятности. Утром Сильвия шла через кустарник, вновь покрытый пылью. Она увидела кур, лежащих в песке с раскрытыми клювами, тяжело дышащих, и на этот раз дело было не в защитных мерах против жары. В их жестянках не было ни капли воды. В корыте — ни зернышка. Джошуа она застигла, когда он навис, покачиваясь из стороны в сторону, с ножом в руке над молодой женщиной, которая

отползала от него в ужасе, отгораживаясь обеими руками. От Джошуа воняло даггой. Выглядел он так, будто собирался убить женщину. У той, заметила Сильвия, одна рука распухла и побагровела. Она отобрала у Джошуа нож и сказала:

— Я говорила тебе, что если еще раз прикоснешься к дагге, то это будет конец. Так что это конец, Джошуа. Ты понял?

Сердитое лицо, красные глаза, высоченная фигура — он грозно раскачивался перед ней. Сильвия продолжала:

— И куры умирают. У них нет воды.

— Это работа Ребекки.

— Вы с ней договорились, что ты будешь их поить.

— Нет, она должна это делать.

— Тогда уходи. Сейчас же.

Он доплелся до дерева в двадцати ярдах, сполз по стволу вниз и то ли заснул, то ли потерял сознание. За всем наблюдал его маленький сын, Умник. Мальчик пристрастился приходить каждый день в больницу, ходил следом за Сильвией, бросался выполнять любое задание, полученное от нее. Теперь Сильвия сказала:

— Умник, ты покормишь кур? Дашь им воды?

— Да, доктор Сильвия.

— Ты посмотри, как я это буду делать, и повторяй.

— Я знаю, как это делать.

Она проследила за тем, как мальчик принес воды, разлил по жестянкам, насыпал курам зерна. Несчастные птицы утоляли жажду, они пили и пили, но для одной было уже слишком поздно. Сильвия велела мальчику отнести ее Ребекке.

Эндрю никак не мог получить в агентстве по прокату автомобилей такую машину, к которой привык. Те, что имелись в наличии, были древними и убогими.

— У вас нет ничего получше? — Он знал, что все новые машины, импортируемые в страну, немедленно попадали к элите, но, с другой стороны, Цимлия усиленно зазывала туристов. Он сказал молодой чернокожей девушке за стойкой: — Вам нужно предлагать хорошие автомобили, если хотите, чтобы к вам в страну приезжали.

Ее лицо говорило Эндрю, что она согласна с ним, но какой смысл критиковать ее начальство. Поэтому он взял выдавший виды «вольво», уточнил, есть ли запаска, узнал, что да, есть, но не очень хорошая, и, поскольку время шло, решил рискнуть. От Сильвии он получил подробнейшие инструкции: «Сверни на дорогу к дамбе в Коодоо-крик,

проезжай через перевал Черного быка, потом увидишь большую деревню, за которой нужно свернуть на грунтовку — она изгибается немного вправо, проедешь примерно пять миль, там у большого баобаба повернешь направо, езжай еще десять миль, увидишь указатель на миссию Святого Луки на том же столбе, что и указатель на ферму Пайнов».

Местный ландшафт Эндрю находил величественным, но при этом враждебным — все иссушено, и воздух наполовину состоит из пыли, хотя он знал, что недавно прошли дожди. Эндрю бывал в Цимлии уже много раз, но никогда еще ему не приходилось самому искать дорогу. Он заблудился, но в конце концов отыскал столб с указателями на ферму и в миссию. Перед столбом стоял высокий белый человек, который махал руками. Эндрю остановился, и незнакомец сказал:

— Меня зовут Седрик Пайн. Вы не захватите кое-что в миссию? Мы слышали, что будет машина сегодня.

Большой мешок был заброшен в багажник, и фермер зашагал по склону вниз — к дому, который виднелся в паре сотен ярдов. Эндрю предположил, что Седрик или кто-то еще все утро поглядывал на дорогу: не клубится ли пыль, поднятая машиной. Миссии все не было видно.

Наконец среди эвкалиптов показался низкий кирпичный дом, а за ним еще приземистые строения, похожие на бараки: школа, догадался Эндрю. Он остановил машину. На веранде появилась улыбающаяся чернокожая женщина и сказала, что отец Макгвайр в школе и что доктор Сильвия вот-вот придет.

Он прошел вслед за ней через веранду в столовую, где ему было предложено садиться.

До сих пор Эндрю имел опыт общения с другой Африкой — президентов и правительств, официальных лиц и лучших гостиниц, но никогда он еще не опускался в Африку, которую видел сейчас. Жалкая, убогая комнатка оскорбляла его — и не столько своей убогостью, сколько тем, что была вызовом ему лично. Когда Эндрю говорил о «глобальных деньгах», когда он распределял их, когда воплощал собой источник неистощимого богатства, это же все было ради бедной Африки? Но эта миссия, господи! Это же римско-католическая церковь, так ведь? Они должны в деньгах купаться, разве нет? В занавеске из набивной ткани, которая пыталась защитить дом от слепящего солнца, зияла дыра. На полу копошились мелкие черные муравьи. Негритянка принесла ему стакан апельсинового сока — теплого. Нету льда?

Кухня, куда ушла чернокожая женщина, находилась справа от входа. Слева была еще одна дверь, раскрытая. На вбитом в дверь гвозде висел

халатик — Эндрю узнал его, у Сильвии был такой. Он вошел в комнату. Голый кирпичный пол, кирпичные стены, бледные стебли тростника вместо потолка — все это стало для Сильвии второй кожей, а Эндрю казалось оскорбительно нищим. Такая узкая эта комната, такая бедная. На маленькой тумбочке стоят фотографии в серебряных рамках. Вот Юлия, а вот — Фрэнсис. И вот он сам, в возрасте примерно двадцати пяти лет, изящный, ироничный, улыбается себе повзрослевшему. Было больно смотреть на свою молодость, и Эндрю отвернулся, неосознанно проведя рукой по лицу, словно хотел восстановить то уверенное, не отмеченное жизнью, невинное выражение. Он подумал, что в том возрасте еще не вкусил плода с дерева познания добра и зла. С долей издевки он разглядывал враждебную ему обстановку. Его взгляд остановился на маленьком распятии: оно говорило о Сильвии, которой Эндрю совсем не знал, и он пытался принять распятие, принять ее. По стенам на гвоздях была развешена ее одежда. Ее обувь, в основном сандалии, стояли в ряд около двери. Он обернулся и увидел Леонардо на стене. Остальные изображения Девы и младенцев он проигнорировал. Что ж, хоть одна приличная вещь в комнате.

Эндрю услышал чьи-то шаги, подошел к окну, которое выходило на веранду, и увидел, как по тропе к дому приближается Сильвия: одетая в джинсы и свободную майку, похожую на ту, что была на чернокожей служанке; ее волосы, выжженные солнцем, стягивает на затылке резинка; между бровями пролегла морщинка озабоченности; кожа сухая, темно-коричневая от загара. Сильвия похудела еще сильнее, чем раньше. Эндрю вышел, она увидела его, бросилась навстречу, и последовали долгие объятия, полные любви и воспоминаний.

Эндрю хотел посмотреть ее больницу; Сильвия не хотела вести его туда, зная, что он не поймет того, что увидит.

Да и как ему понять, ведь ей самой понадобилось столько времени. Но они все-таки зашагали по тропе, и Сильвия показала гостю сарай, который называла аптекой, несколько навесов и большую хижину, которой особенно гордилась. Повсюду на циновках, под деревьями лежали чернокожие больные. Пара мужчин вышли из буша, подняли женщину, которую Эндрю принял за спящую, на носилки из веток и листвы и вместе с ней снова исчезли в зарослях.

— Умерла, — пояснила Сильвия. — При родах. Но она была больна. Я уверена, это был СПИД.

Эндрю не знал, какой реакции она ожидает от него на свои слова — если вообще ожидает. В ее голосе он слышал... что — гнев? стоицизм?

Вернувшись в дом, они застали там отца Макгвайра. Эндрю

невзлюбил священника еще по письмам Сильвии и тотчас начал говорить, как привык делать в трудных ситуациях. Большую часть своей жизни он проводил на заседаниях комитетов, на конференциях или конгрессах, всегда в президиуме и держа под контролем людей из сотен стран, представляющих конфликтующие интересы и требования. Наверное, не существует человека, более достойного, чем Эндрю, носить техническое звание фасилитатор: вот кем он был, вот что делал — сглаживал дороги, открывал перспективы. Некоторые фасилитаторы используют молчание — сидят с ничего не выражающими лицами до тех пор, пока наконец не остановят схватку заключительными словами. Но другие фасилитаторы говорят, и выдержанные и обходительные речи Эндрю растворяли противоречия, и он привычен был видеть, как сердитые или подозрительные лица смягчаются улыбками согласия.

Он рассказывал о вчерашнем ужине, который в его описании превращался в умеренно забавную социальную комедию и заставил бы слушателей смеяться — таких слушателей, кто был бы хоть немного знаком с подоплекой. Но эти двое — и та черная женщина, стоящая у стены — не улыбались, и Эндрю думал: «Конечно же, они ничуть не лучше крестьян, они не привыкли...» И почему-то Сильвия и священник стояли возле своих стульев, хотя он уже сидел, готовый вести беседу, и ждал, когда они все-таки улыбнутся. Но нет, ему никак не удавалось завоевать их, и взгляд, промелькнувший между ними, внезапно просветил Эндрю: они хотят помолиться перед едой. От злости на себя он покраснел.

— О, простите меня, — сказал он и встал.

Отец Макгвайр произнес несколько фраз на латыни, которые Эндрю не понял, и Сильвия сказала «аминь» тем чистым звонким голосом, который запомнился Эндрю с тех давних времен.

И все трое сели. Эндрю находился в таком смятении из-за того, что так непростительно оконфузился, что не мог говорить.

Чернокожая служанка, про которую он догадался, что это Ребекка, подала еду. На обед была курица, та самая, что сдохла этим утром от обезвоживания. Мясо было жестким. Священник сказал Ребекке, что бессмысленно готовить только что умершую курицу, но она возразила, что хотела сделать что-нибудь вкусное в честь гостя. Еще она подала желе, и отец Макгвайр, уплетая его за обе щеки, пожалел, что нечасто у них бывают гости.

Сильвия знала, что Эндрю наблюдает, и поэтому пыталась есть курицу и глотала желе словно это было лекарство.

Он хотел узнать историю больницы. Эта больница шокировала его, как

шокировало то, что посреди этой нищеты оказалась Сильвия. Как можно называть больницей эту никудышную горстку навесов? Его неприязнь к месту, его подозрения проявлялись, они ощущались Сильвией, священником и Ребеккой, которая так и стояла спиной к кухне, руки на груди, и слушала. Ребекка Эндрю тоже не нравилась. И еще сильнее ему не нравилось то, что Сильвия становится похожей на нее — и этой затрапезной майкой в местном стиле, и этими ее новыми манерами, движениями лица, глаз, в которых Сильвия не давала себе отчета. Почти все свое время Эндрю проводил с «цветными людьми» — а как еще назовешь Сильвию, почти такую же темнокожую, как Ребекка? Он знал, что не страдает расовыми предрассудками. Но нет, это были предрассудки классовые, которые часто путают с расовыми. О чем только думала Сильвия, опускаясь до такого состояния?

Эти мысли, отражающиеся на лице Эндрю, несмотря на все его улыбки и светскую общительность, настраивали трех его собеседников против него. Трио, в котором два человека были ему в высшей степени неприятны, объединялось критикой в его адрес.

Эмоции отца Макгвайра дали о себе знать таким образом:

— Этот ваш белый костюм, да как вам вообще в голову пришло надевать его, когда ехали к нам, в наши пыльные края?

Эндрю и сам понимал, что сгруппил. У него имелось около дюжины белых и кремовых прохладных льняных костюмов, в которых он курсировал по Африке, сохраняя свежесть. Но сегодня костюм весь покрылся рыжей пылью, и Эндрю поймал критичный взгляд Сильвии: она изучала его и воспринимала костюм как симптом.

— Это и к лучшему, что ты не видел больницу, какой она была в то время, когда я только приехала сюда, — сказала Сильвия.

— Она права, — подтвердил священник. — Если вы шокированы тем, что видите сейчас, то что бы вы сказали тогда?

— Я не говорил, что шокирован.

— Думаю, мы научились различать определенные выражения на лицах наших гостей, — заметил отец Макгвайр, — но если вы хотите понять нашу больницу, то спросите людей в деревне, что они о ней думают.

— Мы думаем, что доктор Сильвия послана нам с небес, — заявила Ребекка.

Это заставило Эндрю замолчать. Они продолжали сидеть за столом, пили слабый кофе, за что священник извинился — приличный кофе не найти, все, что импортируется, страшно дорого, не хватает самого основного, и все из-за некомпетентности, дело только в... Он разошелся,

повторяя набор привычных жалоб, но потом спохватился, вздохнул и сказал:

— Да простит меня Господь. Что это я, жалуясь на такие мелочи, как плохой кофе.

А что касается истории больницы, то Эндрю видел, что ее не расскажут ему, и знал, что сам в этом виноват. Он хотел уехать, но еще ранее был запланирован визит в школу. Им придется выйти в слепящее жаркое сияние, видимое за окнами. Отец Макгвайр сказал, что пойдет соснет минуток сорок, и ушел к себе. Сильвия и Эндрю остались сидеть, оба хотели спать, но боролись с собой. Потом вошла Ребекка, чтобы забрать грязную посуду.

— Вы привезли книги? — задала она прямой вопрос Эндрю.

По тому, как Сильвия опустила глаза и не поднимала их, гость догадался, что она тоже хотела спросить его об этом, но боялась. Когда Эндрю позвонил, сообщив о скором приезде, она послала ему список книг, которые просила привезти. Он начисто забыл о книгах, хотя Сильвия приписала: «Пожалуйста, Эндрю. Пожалуйста». Он сказал Ребекке:

— Я забыл. Простите.

Ее лицо застыло: нет! — потом негритянка разрыдалась и выбежала из комнаты, оставив поднос. Сильвия сама собрала тарелки и чашки, по-прежнему не глядя на Эндрю.

— Для нас это так много значит, — сказала она. — Я знаю, тебе не понять.

— Я пришлю тебе книги.

— Скорее всего, их украдут по дороге. Не важно, забудь.

— Нет, больше я не забуду.

Теперь Эндрю вспомнил, что когда был в ее комнате, то видел на стене полки, а над ними листок с надписью «Библиотека».

— Подожди, — сказал он и пошел в ее спальню, Сильвия последовала за ним.

На полках стояло всего две книги — словарь и «Джен Эйр», обе рассыпающиеся на части. Рядом был прикреплен еще листок: «Библиотечные книги. Выдано. Получено». И ниже столбиком с датами и именами: «Путь паломника», «Властелин колец», «Христос остановился в Эболи», «Гроздья гнева», «Плачь, любимая страна», «Мэр Кэстербриджа», Библия, «Идиот», «Маленькие женщины», «Повелитель мух», «Скотный двор», «Святая Тереза Авила́ская». Это были книги, которые Сильвия привезла с собой, дополненные книгами приезжавших гостей — книгами, вымоленными и подаренными этим полкам.

— Забавное собрание, — промолвил Эндрю. Он был пристыжен и тронут до слез.

— Видишь ли, — сказала Сильвия, — нам нужны книги. Они любят читать, а книг здесь не достать. А те, что есть, совсем зачитаны.

— Я пришлю тебе то, что ты просила, обязательно, — пообещал Эндрю.

Сильвия не отвечала. Она не отвечала в той новой своей манере, которую приобрела здесь. Эндрю даже подозревал, что она молится про себя о терпении.

— Понимаешь, — все же попыталась она объяснить ему, — тебе невозможно понять, что значит книга. Если бы ты видел, как в хижине при свече читает кто-то, едва грамотный... как старается... — Голос Сильвии задрожал.

— О Сильвия, прости меня.

— Ничего.

Список, который она посылала Эндрю, лежал в его портфеле, который он привез с собой — почему? Да потому, что он всегда носил портфель с собой.

«Цветник Марии». «Теория и практика земледелия в Африке к югу от Сахары». «Как правильно писать по-английски». Трагедии Шекспира. «Нагие и мертвые». «Гавейн и Зеленый Рыцарь». «Секретный сад». «Сделай сам: механика». «Маугли». «Болезни скота в Южной Африке». «Шака Зулу». «Джуд Незаметный». «Грозовой перевал». «Тарзан». И так далее.

Эндрю вернулся в столовую, где уже вновь появился отец Макгвайр, восстановивший силы после сна. Двое мужчин вышли в жаркий свет, а Сильвия упала на кровать. Она плакала.

Она обещала всем тем людям, которые приходили, приходили и приходили в миссию, прося книги, что скоро придет новая партия. Она чувствовала, что ее предали. В ее мыслях Эндрю был идеалом внимательности, доброты, он был ласковым старшим братом, которому она могла сказать все, которого она могла попросить обо всем, — но он стал чужаком. Этот блистательный белый костюм! Спрашивается: при чем тут белый лен, когда ты едешь в миссию Святого Луки? Белый лен, который как густые сливки, когда трешь его между пальцами. Сильвии казалось, что в каком-то неуловимом смысле этот костюм был оскорбителен для нее, для отца Макгвайра, для Ребекки. Когда-то, в далеком прошлом, она могла бы поделиться всем этим с Эндрю, и они бы вместе посмеялись.

Сильвия поспала, прснулась, приготовила чай — Ребекка вернется

только к ужину, еще с вечера она испекла для гостя печенье.

Мужчины вернулись. Эндрю улыбался, но плотно сжатыми губами, и выглядел измученным. Ну да, он же не поспал после обеда.

— А, вот и мой чай, — сказал отец Макгвайр. — Говорю тебе, дитя мое, это то, что мне сейчас нужно больше всего, да, больше всего.

— Ну? — обратилась Сильвия к Эндрю. В ее голосе звучала агрессия, поскольку она знала, что он видел.

Шесть зданий, в каждом из которых четыре класса, переполненных учениками — от малышей до почти взрослых мужчин и женщин. Они восторженно приветствовали посетителя и все жаловались этому представителю высших сфер власти, что им нужны учебники, у них совсем нет учебников. Иногда у них на целый класс был всего один учебник.

— Как нам делать домашнее задание, сэр? Как нам учиться?

Во всей школе не было ни атласа, ни глобуса. Когда Эндрю спросил, оказалось, что дети даже не знали, что это такое. Измотанные и отчаявшиеся молодые учителя отводили его в сторону и умоляли достать им книг, по которым можно научиться учить. Этим учителям было по восемнадцать-двадцать лет, профессионального образования у них не было, во всяком случае педагогике их никто не учил.

Эндрю не приходилось видеть ничего столь угнетающего, как эта школа. Нет, это нельзя назвать школой. Отец Макгвайр водил его от здания к зданию, выбирая тенистые участки, чтобы избежать палящего солнца, и представлял гостя как друга Цимлии. О его причастности к «Глобал Мани» (хотя отец Макгвайр не упоминал о ней) знала вся школа. Эндрю встречали криками радости и песнями, и куда бы он ни повернулся, на него глядели полные ожиданий лица.

Священник сказал:

— Я расскажу вам историю школы. С момента основания здесь миссии мы, священники, организовали школу. И это была хорошая школа. У нас было не более пятидесяти учеников. Некоторые из них сейчас в правительстве. Вам известно, что большинство африканских лидеров получали образование в школах при миссиях? Во время войны товарищ президент Мэтью обещал каждому ребенку в стране хорошее среднее образование. Повсюду стали строить школы, их число до сих пор растет. Но учителей не было, книг не было, тетрадей не было. Когда нашей школой стало заниматься правительство, это был конец. Не думаю, что дети, которых вы сегодня видели, когда-нибудь окажутся в кабинетах или где-либо еще, где требуются образованные люди.

Затем, попив чаю, он сказал:

— Но ситуация изменится к лучшему, и скоро. Вы сейчас видите худший момент. И это бедный район.

— А много таких школ, как эта?

— Да, — спокойно кивнул отец Макгвайр. — Много, очень много.

— И что же станет с этими детьми? Хотя там были и взрослые люди.

— Они станут безработными, — ответил отец Макгвайр. — Да они станут безработными.

— Наверное, мне пора ехать, — сказал Эндрю. — Сегодня в девять у меня самолет.

— Тогда позволю себе такую смелость и спрошу у вас: есть ли основания надеяться, что вы сможете что-то сделать для нас? Для школы? Для больницы? Вспомните ли вы о нас, когда вернетесь к легкой и приятной жизни в... — где, вы сказали, вы живете?

— В Нью-Йорке. И боюсь, вы не совсем меня поняли. Мы направим деньги — большую сумму — в Цимлию, но не в...

— То есть мы не достойны вашего внимания?

— Я говорю не от своего имени, — с улыбкой возразил Эндрю. — Что касается «Глобал Мани», то компания ориентируется на верхний эшелон... Но я поговорю кое с кем. Я поговорю с человеком из «Кэринг Интернэшнл».

— Мы будем вам крайне признательны, — произнес отец Макгвайр.

Сильвия ничего не сказала. Морщинка между бровями делала ее похожей на маленькую хмурую ведьму.

— Сильвия, не хочешь ли навестить меня в Нью-Йорке?

— Да, ей нужно отдохнуть, обязательно, — сказал священник и Сильвии: — И не спорь, дитя мое.

— Спасибо. Я подумаю. — Она упорно не желала смотреть на Эндрю.

— А вы не забросите кое-какие вещи к Пайнам? Просто оставьте мешок возле фермы, не нужно будет заходить, раз вы торопитесь.

Они подошли к «вольво», и в багажник был уложен мешок для Пайнов.

— Я пришлю тебе книги, милая, — пообещал Эндрю Сильвии.

Через пару недель прибыла коробка — со специальным курьером из Сенги, на мопеде. Это были книги из Нью-Йорка, отправленные в Сенгу самолетом, полученные службой «ИнтерГлоуб», которая оформила их в таможене и организовала доставку до самой миссии.

— Во сколько же обошлась доставка? — спросил отец Макгвайр, предлагая чай посланнику ярких огней Сенги.

— Вы имеете в виду общую сумму? — уточнил тот, молодцеватый

чернокожий парень в униформе. — Тут все указано. — Он вытащил из сумки бумаги. — Отправитель заплатил где-то около ста фунтов, — сообщил он, восхищаясь суммой.

— Мы могли бы построить читальный зал на эти деньги или ясли, — сказала Сильвия.

— Дареному коню в зубы не смотрят, — заметил священник.

Сильвия проглядывала заголовки книг. Эндрю отдал ее список своей секретарше, а та потеряла его. Потому она отправилась в ближайший книжный магазин и заказала все самые свежие бестселлеры с чувством выполненного долга и даже самодовольства, как будто сама их все прочитала (в душе она пообещала себе вскоре заняться чтением). Для библиотеки Сильвии эти романы совсем не подходили и через некоторое время были отданы Эдне Пайн, которая постоянно жаловалась на то, что перечитала все свои книги по сто раз. «Ибо кто имеет, тому отдано будет».

А история больницы, которую не довелось услышать Эндрю, была такой.

Во время войны за Освобождение весь этот район, на многие мили в обе стороны, был полон бойцов, потому что местность тут холмистая, с пещерами и оврагами, идеальная для партизанских действий. Однажды ночью отец Макгвайр проснулся оттого, что над ним стоял парень и тыкал в него ружьем:

— Вставай, руки вверх.

И в нормальных-то условиях священник спросонья был неловок и медлителен, поэтому юнец разозлился и заорал на него, пригрозив, что пристрелит старика, если тот не поторопится. Однако был он совсем молод, лет восемнадцати, а то и младше, и сам боялся отца Макгвайра еще сильнее — ружье в его руках тряслось.

— Сейчас, сейчас, — сказал отец Макгвайр, неуклюже выбираясь из кровати, но рук поднять он не мог, потому что они нужны были ему для опоры. — Не спеши, уже встаю. — Он надел на себя халат под пляшущим дулом ружья и потом спросил: — В чем дело?

— Нам нужно лекарство, нам нужно мути. Один из нас очень болен.

— Тогда пойдем в ванную. — В настенной аптечке были только таблетки от малярии, аспирина и бинты. — Бери, что хочешь.

— Это все? Я тебе не верю, — заявил юнец. Но он взял все, что имелось в аптечке, и добавил: — И нам нужен доктор, чтобы идти с нами.

— Пошли на кухню, — предложил священник. Там он сказал: — Садись.

Он заварил чаю, поставил на стол печенье и проследил, как все это

исчезло. Тогда он достал две буханки испеченного Ребеккой хлеба и отдал их партизану вместе с куском вареного мяса. Эти продукты тоже исчезли, но не в голодном рту, а в заплечном мешке.

— Как я найду врача? Что мне сказать? Ваши люди охраняют дорогу.

— Скажи, что ты болен и тебе нужен доктор. Когда скажут, что он придет, привяжи к окну тряпку. Мы будем следить и пришлем нашего товарища. Он ранен.

— Хорошо, попробую, — ответил священник.

Когда парнишка уже уходил, из ночного мрака донесся его голос:

— Не говори Ребекке, что мы здесь были.

— Ты знаешь Ребекку?

— Мы знаем все.

Отец Макгвайр подумал, потом написал своему коллеге в Сенге, что ему нужен врач для одного необычного случая. И что врач этот должен ехать в дневное время, ни при каких условиях не останавливать машину и иметь при себе ружье. «И постараться не встревожить наших добрых сестер». Последовал телефонный звонок: обмен малозначащими фразами, в основном о погоде и о прогнозах на урожай. Потом: «Я навещу вас с отцом Патриком. Он обучался медицине».

Священник привязал к окну тряпку и надеялся, что Ребекка не заметит. Она ничего не говорила, но он знал, что она понимает куда больше, чем показывает. Прибыла машина с двумя священнослужителями. Той же ночью в дом постучали два партизана. Они сказали, что их товарищ слишком болен, чтобы передвигать его. Им нужны были антибиотики. Святые отцы привезли и антибиотики, и целый ряд других медикаментов, и все это было отдано ночным гостям с объяснениями отца Патрика о том, в каких случаях и в каких количествах принимать лекарства. Вновь кладовка была опустошена, пока двое изголодавшихся юношей ели, торопясь проглотить как можно больше.

Отец Макгвайр продолжал жить в этом доме, куда в любой момент мог войти кто угодно. Монахини жили за возведенным на время военных действий охранным ограждением, но он ненавидел этот забор: говорил, что чувствует себя как в тюрьме, даже когда ненадолго заходит к сестрам. В своем доме священник был беззащитен, и он знал, что за ним наблюдают. Он ожидал, что его убьют — неподалеку были случаи расправы над белыми. Потом война закончилась. У дома появились двое молодых мужчин и сказали, что хотели бы поблагодарить священника. Ребекка накормила их, но только после прямого указания отца Макгвайра. Она сказал ему: «Это плохие люди». Когда он поинтересовался судьбой

раненого, то ему сказали, что тот умер.

С тех пор священник часто видел тех двух парней в округе. Они были безработными и сердились, так как верили в то, что Освобождение даст им хорошую работу и хорошие дома. Отец Макгвайр нанял одного из них подсобным рабочим в школу. Другой оказался старшим сыном Джошуа. Тот пошел учиться и попал в один класс с малышами, потому что, владея разговорным английским, не умел ни читать, ни писать. А теперь он был болен, исхудал и покрылся язвами.

Отец Макгвайр никому не рассказывал об этих событиях, только Сильвии. Ребекка предпочитала не упоминать о них. Монахини ни о чем так и не узнали.

Священнику пришлось держать в доме все разрастающийся запас лекарств, потому что к нему шли люди, прося о помощи. Затем он построил сарай и навесы ниже по склону холма и отправил в Сенгу просьбу прислать врача: сам товарищ президент Мэтью обещал каждому бесплатное медицинское обслуживание. Ему прислали молодого человека, который не успел закончить медицинское училище из-за войны, а вообще он работал санитаром. Отец Макгвайр этого не знал, но однажды, напившись, молодой человек сказал ему, что он хочет учиться дальше, не поможет ли ему святой отец? Отец Макгвайр пообещал: «Если перестанешь пить, я напишу тебе рекомендательное письмо». Но война навсегда повредила дух бойца, которому было двадцать, когда она началась; бросить пить он не мог. Это и был тот «доктор», о котором рассказывал Сильвии Джошуа. Отец Макгвайр в многословных письмах в Сенгу жаловался, что у них на двадцать миль нет ни одной больницы, ни одного врача. Так случилось, что его знакомый в Сенге приехал в Лондон и отец Джек свел его с Сильвией. Такая вот история.

Но теперь в десяти милях от миссии строилась новая больница, и когда ее откроют, это «постыдное» место (так выразилась Сильвия) может прекратить свое существование.

— Почему постыдное? — спросил священник. — Оно приносит много добра. Когда ты приехала сюда, наша жизнь изменилась. Ты стала для нас благословением.

Почему же сестры на холме не стали таким благословением?

Те четверо женщин, которые пережили здесь войну, не всегда сидели за забором. Они преподавали в школе, когда ее еще содержала миссия. Война закончилась, и они уехали. Они были белыми, а сменили их чернокожие монахини — молодые девушки, сбежавшие от бедности, беспросветности и опасности в сине-белую форму, выделяющую их из

других негритянок. Они не имели образования и не могли преподавать. Ужасное место, в котором они оказались, стало для них не спасением от бедности, а напоминанием о ней. Их было четверо: сестра Перпетуя, сестра Грейс, сестра Урсула, сестра Бонифация. «Больница» только называлась так, настоящей больницей она не была, и когда Джошуа приказал монахиням приходить туда каждый день, они вернулись туда, откуда бежали: под власть чернокожего мужчины, который ожидал, что они будут прислуживать ему. Они изыскивали причины не приходить, и отец Макгвайр не настаивал: в общем-то, толку от них было мало. Благородный образ жизни — вот что они выбрали, а не гноящиеся раны. Ко времени появления Сильвии вражда между сестрами и Джошуа не прекратилась: каждый раз, когда они встречали его, то говорили, что будут молиться за спасение его души, он же в ответ издевался над ними, осыпал оскорблениями и руганью.

Но монахини все же стирали бинты, хотя непрестанно жаловались на их неприятный запах и вид. В остальном вся их энергия была направлена на церковь, которую они поддерживали в чистоте и порядке — как те церкви, что привлекали их еще с детских лет. Тогда это были самые красивые здания на мили вокруг, и теперь церквушка в миссии Святого Луки тоже сияла чистотой, ни пылинки в ней, ни пятнышка, потому что убирались в ней несколько раз в день и полировали статуи Девы Марии и Христа так, что смотреть на них было больно, а если поднимался ветер, то монахини бросались закрывать окна и двери и сметали пыль еще до того, как она осядет. Добрые сестры служили церкви и отцу Макгвайру, а еще, как говорил Джошуа, передразнивая их, они кудахтали как куры при его приближении.

Они часто болели, потому что в таких случаях им можно было вернуться в Сенгу, в родной дом.

Джошуа целыми днями сидел под большой акацией, в кружевной тени, и наблюдал за тем, что делалось в больнице, но зачастую его глаза искажали то, что он видел. Он беспрерывно курил даггу. Его маленький сын Умник всегда находился при Сильвии; более того, теперь у нее было два мальчика, Умник и Зебедей. Ничто в них не напоминало тот столь любимый на Западе образ очаровательного негритенка с длинными ресницами. Оба были худыми, с костлявыми лицами, с огромными глазами, в которых горела жажда знаний — и голод, это было видно. Они появлялись в больнице около семи утра, некормленные, и Сильвия приводила мальчиков в дом, где отрезала им ломти хлеба и намазывала на

хлеб джем под сумрачным взглядом Ребекки, которая однажды заметила, что ее детям не достается хлеба с джемом, только холодная каша, да и то не всегда. Отец Макгвайр сказал, что Сильвия стала матерью двух детей, и выразил надежду, что она знает, что делает.

— Но у них же нет матери, — сказала Сильвия, и он подтвердил, что да, их мать погибла на одной из опасных дорог Цимлии, а их отец умер от малярии, так они оказались в доме Джошуа и стали называть его отцом.

Сильвия испытала огромное облегчение, когда услышала эту историю. Джошуа уже потерял двух детей — одного совсем недавно, и она знала, что было реальной причиной их смерти — не пневмония, как было указано в свидетельствах о смерти. Значит, эти двое — не родные дети Джошуа. О, как пригосудилось, как уместно оказалось здесь это избитое выражение. Они оба были умны, то есть слова Джошуа о сообразительности Умника оправдались вдвойне. Мальчишки следили за каждым движением Сильвии, и копировали ее, и вглядывались в ее лицо и глаза, когда она говорила, так что догадывались о том, что доктор попросит, еще до того, как прозвучит просьба. Они ухаживали за цыплятами и наседками, они собирали яйца и ни разу не разбили ни одного, они бегали с кружками воды и лекарствами, раздавая их пациентам. Мальчишки садились на корточки по обе стороны от Сильвии, пока она вправляла суставы и вскрывала нарывы, и ей приходилось напоминать себе, что им всего шесть и четыре года, а не хотя бы дважды по столько. Оба как губки впитывали знания. Но в школу они не ходили. Тогда Сильвия заставила ребятшек приходить к дому священника в четыре часа, когда она заканчивала работу в больнице, и стала давать им уроки. К мальчикам захотели присоединиться другие дети, в частности — дети Ребекки. И вот уже у Сильвии образовалась маленькая начальная школа на дому. Однако когда ее ученики захотели, как Умник и Зебедей, приходить в больницу и помогать доктору, она сказала: нет. А почему тем двоим можно, разве это справедливо? Сильвия оправдывалась, говоря, что они сироты. Но в деревне полно было сирот.

— Что ж, дитя мое, — сказал священник, — теперь и ты начинаешь понимать, почему в Африке разбиваются сердца. Слышала ли ты историю человека, которого спросили: зачем он ходит по берегу после каждого шторма и бросает обратно в воду морских звезд, которых вынесло на сушу, ведь всех он не спасет, тысячи звезд все равно погибнут? Он ответил, что те несколько, которых он все-таки спасет, окажутся снова в море и будут счастливы.

— До следующего шторма — вы это хотели сказать, отец?

— Нет, но думал я приблизительно так. И мне было интересно узнать,

что в том же направлении думаешь и ты.

— Вы имеете в виду, что я стала смотреть на мир более реалистично?

— Да, именно так. Я же говорил тебе не раз, что у тебя в глазах слишком много звезд, чтобы ты сама могла быть счастливой.

Древний разбитый «студебекер», пожертвованный миссии Пайнами взамен грузовичка, который в конце концов все-таки не вынес страданий, стоял наготове. Сильвия велела Ребекке сообщить в деревне, что она едет в «точку роста» и что может взять в кузов шестерых. Туда уже набилось человек двадцать. Рядом с Сильвией стояла Ребекка с двумя своими детьми — она настояла, что поедут ее сыновья, а не дети Джошуа, теперь их очередь.

Сильвия сказала людям в кузове, что шины очень старые и могут лопнуть. Никто не шевельнулся. Миссия давно послала заявку на шины — не обязательно новые, любые, но надежд никто не питал. Тогда заговорила Ребекка — на одном местном наречии, потом на втором и на английском. Опять никто не двинулся, только одна женщина сказала:

— Поезжайте медленно, и все будет хорошо.

Сильвия и Ребекка сели на переднее сиденье с двумя детьми. Грузовик тронулся в путь, пополз. У поворота на ферму их остановил повар Пайнов, который сказал, что ему нужно в «точку роста», в его доме нет ни крошки, а его жена... Ребекка рассмеялась, и сзади вспыхнул смех, повар вскарабкался наверх, каким-то образом втиснулся в забитый кузов. Ребекка развернулась на сиденье рядом с Сильвией, чтобы видеть, что происходит в кузове, где все продолжали смеяться и поддразнивать повара. Очевидно, существовала некая предыстория, о которой Сильвия никогда не узнает.

Так называемая «точка роста» находилась в пяти милях от миссии. Еще белое правительство выдвинуло концепцию системы поселков-ядер, вокруг которых росли бы города, и эти ядра — «точки роста» — поначалу состояли из магазина, администрации, полиции, церкви, гаража. Идея оказалась удачной, и черное правительство присвоило ее себе. Никто не спорил. Эта «точка роста» была еще в зародышевом состоянии, но развивалась: тут уже появились с полдюжины небольших домов, новый продуктовый магазин. Сильвия припарковалась перед административным зданием — небольшим строением, торчащим посреди бледной пыли и спящих собак. Все пассажиры выгрузились, остались только сыновья Ребекки — кто-то должен был остаться, иначе со «студебекера» снимут все, включая шины. Мальчикам дали «пепси» и по булочке и велели выслать к матери гонца, как только будет замечено какое-либо злоумышление.

Две женщины вместе вошли в контору. В приемной уже сидело человек двенадцать. Сильвия с Ребеккой тоже устроились на конце скамьи. Сильвия была здесь единственной белой женщиной, но с обгоревшей кожей и в платке на голове она была почти неотличима от Ребекки: две худенькие невысокие женщины с озабоченными лицами, замершие в извечной сцене — просители в ожидании, убаюкиваемые скукой.

Изнутри, из-за двери, на которой выцветшей белой краской было выведено «Господин М. Мандизи», раздался громкий, грубый голос. Сильвия поморщилась, и Ребекка тоже. Шло время. Внезапно дверь распахнулась, и появилась чернокожая девушка, в слезах.

— Срам, — произнес старый негр, который сидел в самом конце очереди. Он пощелкал языком и потряс головой и повторил громко: — Срам, — как раз когда в дверном проеме появился крупный импозантный мужчина в обязательном костюме-тройке.

— Следующий, — объявил он, постояв некоторое время, чтобы произвести на посетителей должное впечатление, и ушел, захлопнув за собой дверь, так что следующему просителю пришлось стучаться и дожидаться начальственного «войдите».

Прошло еще сколько-то времени. Этому просителю повезло больше — по крайней мере он не плакал. И он негромко хлопнул ладонями, не глядя ни на кого, то есть аплодисменты предназначались ему самому.

Громкий голос изнутри:

— Следующий.

Сильвия послала Ребекку с кое-какими деньгами купить детям еды и питья и проверить, на месте ли они. Они были на месте, спали. Ребекка вернулась с баночкой «Фанты», и женщины вдвоем выпили ее.

Прошла еще пара часов.

Наступила их очередь. Чиновник, увидев, что поднимается белая женщина, собрался вызвать мужчину, сидящего за ней, но старый негр сказал:

— Срам. Белая женщина ждала, как и все мы.

— Здесь я решаю, кто следующий, — возразил господин Мандизи.

— Может быть, — заявил старик, — но это неправильно, то, что вы делаете. Нам это не нравится.

Господин Мандизи помедлил, но потом ткнул пальцем в сторону Сильвии и скрылся в кабинете.

Сильвия улыбнулась благодарно старику, и Ребекка сказала ему что-то на их языке. Смех повсюду. В чем заключалась шутка? Вновь Сильвия говорила себе, что, видимо, никогда не узнает этого. Но Ребекка успела

шепнуть ей, пока они входили в кабинет:

— Я сказала ему, что он как старый бык, который знает, как держать молодых в порядке.

Перед чиновником они появились, все еще улыбаясь. Тот оторвал взгляд от бумаг, нахмурился, увидел, что с белой женщиной вошла и негритянка, и хотел сказать ей что-то резкое, но она опередила его, заведя ритуал приветствия:

— Доброе утро... нет, я вижу уже день. Тогда доброго вам дня.

— Добрый день, — ответил он.

— Надеюсь, вы здоровы.

— Я здоров, если вы здоровы...

И так далее, и даже в сокращенном виде этот ритуал стал впечатляющим напоминанием о хороших манерах. Потом Сильвии:

— Какое у вас дело?

— Господин Мандизи, я из миссии Святого Луки и приехала узнать, почему нам не прислали партию презервативов. Она должна была прибыть от вас еще в прошлом месяце.

Чиновник будто увеличился в размерах, он привстал из-за стола, и выражение удивления на его лице сменилось негодованием.

— С чего вы взяли, что я стану разговаривать с женщиной о презервативах? Неужели это и есть то дело, с которым вы пришли ко мне?

— Я врач больницы при миссии. В прошлом году правительство издало указ о том, чтобы все больницы, расположенные в буше, обеспечивались презервативами.

Очевидно, господин Мандизи ничего не слышал о таком указе, но теперь он дал себе время подумать, промокая лоб, блестящий от пота, очень большим белым платком. Лицо его было из тех, что с трудом усваивают авторитетное выражение. Оно было от природы приветливое, желающее угодить, и хмурая гримаса, которую Мандизи старательно строил, не шла ему.

— Господин Мандизи, должно быть, вы слышали, что появилась плохая болезнь... это новая, очень плохая болезнь, и она передается половым путем.

Чиновник выглядел так, будто его заставили проглотить что-то невкусное.

— Да, да, — сказал он, — и нам известно, что эту болезнь изобрели белые, чтобы заставить нас надевать презервативы. Тогда мы не будем рожать детей и станем слабым народом.

— Простите меня, господин Мандизи, но это устаревшее мнение. Это

правда, что раньше ваше правительство отрицало существование СПИДа, но теперь оно говорит, что, возможно, СПИД все-таки есть и что людям нужно пользоваться презервативами.

Хмурую гримасу на приятном широком, черном лице чиновника сменила тень издевки. Тогда заговорила Ребекка, обращаясь непосредственно к нему, на их языке, и у нее получалось лучше, потому что господин Мандизи слушал ее, повернулся к ней лицом, к этой женщине, с которой он не мог, так диктовала ему его культура, обсуждать подобные темы, во всяком случае — не на публике.

Затем он спросил у Сильвии:

— Вы думаете, что эта болезнь уже здесь, в нашем районе, с нами? Худоба здесь?

— Да, я знаю это наверняка. Я знаю, господин Мандизи. От этой болезни умирают люди. Видите ли, проблема в диагностике. Кажется, что люди умирают от пневмонии, или от туберкулеза, или от кожных болезней, от язв, но на самом деле у них СПИД. Здесь его называют худоба. И уже очень много больных. Гораздо больше, чем когда я только приехала сюда.

Потом заговорила Ребекка, и господин Мандизи слушал — не глядя, углубленный в свои мысли, но кивал.

— И вы хотите, чтобы я позвонил в главное управление и попросил присылать нам презервативы?

— И еще у нас не осталось таблеток от малярии. У нас вообще почти не осталось медикаментов.

— Доктор Сильвия покупала для больницы лекарства на свои деньги, — сказала Ребекка.

Господин Мандизи кивнул, посидел в задумчивости. Потом, разом сменив образ начальника на противоположный — просителя, наклонился через стол к Сильвии и поинтересовался:

— А вы можете посмотреть на человека и сказать: болен он худобой или нет?

— Нет. Для этого нужно сделать анализы.

— Моя жена больна. Она все время кашляет.

— Это не обязательно СПИД. Она потеряла вес в последнее время?

— Она худая. Она слишком-слишком худая.

— Вам нужно отвезти ее в большую больницу.

— Я возил. Ей дали мути, но она все равно болеет.

— Иногда я посылаю образцы крови на анализ в Сенгу — если человек не слишком болен.

— То есть если человек уже очень болен, то вы не делаете анализ?

— Иногда люди обращаются ко мне, когда болезнь зашла так далеко, что я вижу: они умрут. И нет никакого смысла тратить деньги на анализы.

— В нашей культуре, — произнес господин Мандизи и благодаря этой часто повторяемой формуле вновь настроился на начальственный лад, — в нашей культуре имеются очень хорошие лекарства, но вы, белые, презираете их.

— Я вовсе не презираю их. Я дружу с нашим местным н'ганга. Иногда даже прошу его помочь. Но он говорит, что ничего не может поделать со СПИДом.

— Может, поэтому его лекарство не помогло моей жене?

Услышав собственные слова, Мандизи перепугался. Все его тело будто застыло в панике, и он сидел неподвижно, уставившись в пространство, потом встал и сказал:

— Вы должны пойти со мной — да, сейчас-сейчас, жена там, в моем доме, тут ходу всего пять минут.

Он буквально вытолкнул обеих женщин из кабинета и бегом промчался мимо очереди просителей:

— Я вернусь через десять минут. Ждите.

Он провел Сильвию и Ребекку через пыльное слепящее сияние к одному из десятка новых домов — стоящих в один ряд коробок (точных копий таких же коробок, что в Сенге, только уменьшенных пропорционально значимости «точки роста» в Квадере). Над домами полыхали алые, пурпурные, розовые бугенвиллеи — в знак того, что здесь живет местная элита.

— Заходите, заходите, — торопил их господин Мандизи, и они сначала оказались в маленькой комнате, заставленной мебелью: мягкий гарнитур из трех предметов, буфет, холодильник, пуфик, — а затем в спальне, где все пространство занимала большая кровать, на которой кто-то спал. Рядом с кроватью сидела симпатичная пухлая негритянка и обмахивала спящего охапкой эвкалиптовых листьев, аромат которых пытался подавить тошнотворные запахи болезни. Но спит ли этот человек — женщина — на кровати? Сильвия встала над ней и увидела сразу же, что жена чиновника больна, очень больна — она умирает. Ее кожа должна была сиять здоровым черным блеском, а была серой, покрытой язвами. И женщина была худа — настолько, что голова на подушке казалась черепом. Пульса почти не чувствовалось. Дыхание едва прослеживалось. Глаза полуприкрыты. От прикосновения к женщине у Сильвии заledenели пальцы. Она обернулась к несчастному мужу, не в силах сказать ни слова, и Ребекка сбоку от нее начала тихонько выть. Пухлая негритянка смотрела прямо перед собой и

продолжала обмахивать больную.

Сильвия выбралась из спальни и в коридоре оперлась о стену, без сил.

— Господин Мандизи, — позвала она, — господин Мандизи.

Тот подошел к ней, взял ее за руку, вперился в ее лицо ищущим взглядом и прошептал:

— Она очень больна? Моя жена...

— Господин Мандизи...

Он уронил свое тело вперед, упав головой на руку, прижатую к стене. Он стоял так близко от Сильвии, что она протянула руку и обняла его за плечи. Бедняга плакал.

— Я боюсь, что она умирает, — прошептал он.

— Да. Мне очень жаль. Думаю, она умирает.

— Что мне делать? Что мне делать?

— Господин Мандизи, у вас есть дети?

— У нас была девочка, но она умерла.

Слезы капали на бетонный пол.

— Господин Мандизи, — так же шепотом проговорила Сильвия — она думала о той пышущей здоровьем женщине в соседней комнате. — Вы должны выслушать меня, вы должны: пожалуйста, не занимайтесь сексом без презерватива. — Сказать такое в столь ужасный момент было непростительно, недопустимо, но Сильвию побудила к этому смертельная опасность, нависшая над этими людьми. — Прошу вас. Я знаю, мои слова кажутся неуместными, не сердитесь на меня. — Она по-прежнему говорила шепотом.

— Да, да, да. Я слышал, что вы сказали. Я не сержусь.

— Если вы хотите, чтобы я пришла попозже, когда вы... Я могу вернуться и объяснить вам.

— Не надо, я все понимаю. Но вот вы кое-чего не понимаете. — Мандизи отодвинулся от стены, послужившей ему опорой в минуту слабости, и выпрямился. Теперь он говорил нормальным голосом: — Моя жена умирает. Мой ребенок мертв. И я знаю, кто несет за это ответственность. Я еще раз проконсультируюсь с нашим добрым н'ганга.

— Господин Мандизи, неужели вы хотите сказать...

— Да, именно это я и хочу сказать. Именно это я и говорю. Враги наслали на меня проклятье. Это дело рук ведьмы.

— О, господин Мандизи, ведь вы образованный человек...

— Я знаю, что вы думаете. Я знаю, что все вы думаете. — Он стоял перед ней с лицом, искаженным злобой и подозрением. — Я разберусь в этом деле. — Потом скомандовал: — Скажите в приемной, что я вернулся

через полчаса.

Сильвия и Ребекка пошли к выходу. Вслед им донеслось:

— И эта ваша так называемая больница при миссии. Мы знаем о ней. Хорошо, что скоро откроется наша новая больница, тогда в нашем районе наконец появится настоящая медицина.

Сильвия сказала:

— Ребекка, только не говори мне, что ты согласна с его словами. Это же смешно.

Ребекка помолчала, прежде чем ответить.

— Понимаете, Сильвия, в нашей культуре это не смешно.

— Но это же болезнь. Каждый день мы узнаем что-то новое. Это страшная болезнь.

— Но почему некоторые люди болеют ей, а другие нет? Вы можете это объяснить? И в этом-то и дело, вы понимаете? Может, есть какой-то белый человек, который хотел навредить господину Мандизи или даже избавиться от его жены? Вы видели ту женщину в спальне с госпожой Мандизи? Может, она захотела стать госпожой Мандизи сама?

— Ох, Ребекка, я вижу, нам не прийти к согласию.

— Нет, Сильвия, к согласию нам не прийти.

Возле грузовика уже собрались жители деревни, готовясь забраться в кузов и ехать домой, но Сильвия сказала:

— Я пока еду в другое место. И могу взять с собой только шесть человек — понятно? Только шесть. Мы поедем посмотреть на новую больницу, а туда ведет очень плохая дорога. — Она уже видела ее начало — узкую колею, уходящую в буш.

Ребекка отдала несколько коротких распоряжений. В кузов залезли шесть женщин.

— Через полчаса я вас заберу, — пообещала Сильвия оставшимся.

Примерно с милю грузовик грохотал, прыгал, буксовал по корням, камням, ямам. Вокруг стояли высокие, большие деревья: это был старый буш, слегка запыленный, но густой и зеленый. Они прибыли к вырубке, посреди которой угадывались очертания будущих зданий.

Две женщины с детьми выбрались из кабины на землю, их примеру последовали шесть женщин, ехавших в кузове. Все вместе они встали перед тем, что называлось новой больницей.

Кто же им помогал? Шведы? Датчане? Американцы? Немцы? Правительство какой-то страны, тронутое бедами Африки, выделило и направило большую сумму денег сюда, на эту вырубку, и вот результат. Подобно тому, когда видишь план на бумаге, здесь тоже приходилось

достраивать в уме форму будущих строений, которые вырастут на этих фундаментах, на стенах, начатых и незавершенных, а все потому, что задерживалось финансирование, давно уже не было обещанного второго поступления, и кабинеты, палаты, коридоры, операционные и аптечные киоски покрывались бледной пылью. Некоторые стены достигали высоты по пояс, другие вообще только начали строить, бетонные плиты были изъязвлены водой. Женщины из деревни, увидев, что здесь можно отыскать что-нибудь полезное, зашли подалее на заброшенную стройплощадку и извлекли пару бутылок, полдюжины жестянок — все это они отряхнули от пыли и уложили аккуратно в объемистые заплечные мешки. Должно быть, кто-то устраивал здесь пикник или бродяга остановился на ночлег и распалил огонь, чтобы отогнать лесных зверей. Женщины переглядывались с выражением, столь часто встречающимся в наше время: мы не будем ничего говорить, но кто-то здесь явно напортачил. Кто же это? И почему? Ходили слухи, что деньги, предназначенные для больницы, были разворованы по пути в Квадере; другие говорили, что правительство-благодетель просто истощило свои средства.

В дальнем конце вырубки под деревьями валялись большие деревянные ящики. Шесть женщин пошли посмотреть, и Сильвия с Ребеккой последовали за ними. Один ящик был уже вскрыт. Внутри находилось стоматологическое оборудование: зубохирургическое кресло.

— Жаль, что я не дантист, — сказала Сильвия. — Нам бы в деревне дантист пригодился.

Обследован был еще один ящик, который треснул сбоку. Там обнаружилось инвалидное кресло.

— О, доктор! — воскликнула одна из женщин. — Мы не должны брать это кресло. Вдруг эту больницу когда-нибудь достроят. — Как ни странно, с этими словами она принялась вытаскивать кресло из ящика.

— Нам нужно такое кресло, — сказала Ребекка.

— Но потом захотят узнать, откуда оно взялось у нас, а наша больница никогда не смогла бы купить такое сама.

— Нужно взять его, — решила Ребекка.

— Но оно сломано, — заметила женщина. И точно, кто-то уже пытался вытащить кресло, и одно колесо отломилось.

Оставалось еще четыре ящика. Две женщины приблизились к первому и стали отрывать полусгнившие доски. Внутри оказались подкладные судна. Ребекка, не глядя на Сильвию, отнесла с десятков суден в грузовик и вернулась. Другая женщина нашла одеяла, но их съели насекомые, а в том, что осталось, гнездились мыши, и птицы растаскивали клочки, чтобы

выкладывать свои гнезда.

— Хорошая же тут будет больница, — сказала одна женщина со смехом.

— Да уж, в Квадере будет отличная больница, — подхватила другая.

Деревенские женщины хохотали, довольные собой, и потом к ним присоединились и Сильвия с Ребеккой. Посреди буша, в десятках миль от филантропов Сенги (и, если уж на то пошло, Лондона, Берлина, Нью-Йорка), стояли и смеялись женщины.

Они вернулись обратно в «точку роста», забрали остальных пассажиров и медленно поехали в миссию, прислушиваясь, не лопнула ли шина. Но судьба была благосклонна. Ребекка с Сильвией отнесли судна в больницу. Тяжелобольные, находящиеся на излечении в большой новой хижине, пользовались бутылками, банками, старыми кухонными принадлежностями.

— Что это за штуки? — спросили Зебедей и Умник и, когда поняли, пришли в восторг и долго бегали по больнице, показывая чудо медицинской техники всем, у кого хватало здоровья, чтобы проявить интерес.

В ответ на робкий звонок дверь открыл Колин. Перед собой он увидел то ли девочку-попрошайку, то ли цыганку, но потом с ревом: «Это же Сильвия, малышка Сильвия» — подхватил гостью и внес на руках в дом. Там он обнял ее, и она роняла на него слезы и терлась об него щеками, как кошка.

На кухне Колин усадил Сильвию за стол — тот самый стол, вновь раскрытый во всю его длину. Он щедро налил в большой стакан вина и сел напротив нее, полный радости и гостеприимства.

— Почему ты не сообщила, что приедешь? Хотя это не важно, не могу выразить, как я счастлив видеть тебя.

Сильвия пыталась соответствовать настрою Колина, но на самом деле она была угнетена: Лондон иногда оказывает такой эффект на тех, кто покидал его на некоторое время и кто, пока жил здесь, представления не имел о его весе, его многочисленных и многообразных дарах и возможностях. Возвращение после миссии в Лондон было для Сильвии подобно удару в солнечное сплетение. Это ошибка — приезжать сразу из, скажем, Квадере, в Лондон: нужен переходный период, что-то вроде декомпрессионной камеры.

Сильвия сидела и улыбалась, прихлебывала мелкими глоточками вино, боясь, что ей станет плохо от алкоголя (она отвыкла от него за это время), и

ощущала дом как живое существо вокруг себя, под собой и над собой, ее дом, тот, который она воспринимала как дом, пока жила в нем и когда уехала из него; тут она всегда знала, что и где происходит, чувствовала атмосферу и дух каждой комнаты, каждого лестничного пролета. Дом по-прежнему был населен, он был полон людей, но все они были чужими, незнакомыми, и она была благодарна за то, что рядом с ней сидел улыбающийся Колин. Было десять часов вечера. Этажом выше кто-то выводил мелодию, которую Сильвия вроде бы знала, что-то известное, но она никак не могла вспомнить, что именно.

— Малютка Сильвия. Похоже, тебя нужно хорошенько подкормить — как обычно, впрочем. Хочешь перекусить?

— Я ела в самолете.

Но Колин уже поднялся, раскрыл холодильник, воззрился на полки, и опять Сильвия ощутила удар в сердце, да, это было сердце, оно болело, потому что она вспомнила о Ребекке, хлопчущей в кухоньке миссии, с ее маленьким холодильником и узким буфетом, который ее семье представлялся хранилищем небывалого богатства. А сейчас Сильвия смотрела на яйца, заполнявшие половину дверцы холодильника, на сияющее чистым блеском молоко, на заполненные едой контейнеры. Какое изобилие...

— Вообще-то это не моя территория, а Фрэнсис, но я уверен...

Колин достал буханку хлеба, тарелку холодной курятины. Сильвия соблазнилась: ведь это Фрэнсис готовила, та самая, которая кормила ее; ведь именно благодаря поддержке Фрэнсис и Эндрю она сумела выжить в юные годы.

— А где твоя территория? — спросила Сильвия, принимаясь за сэндвич.

— Я обитаю наверху, на последнем этаже.

— В комнатах Юлии?

— Да, я и Софи.

Эта новость настолько поразила Сильвию, что она опустила сэндвич.

— Ты и Софи?

— Ну конечно, ты же не в курсе. Она приехала к нам, чтобы прийти в себя, а потом... она была больна, понимаешь.

— А что с ней такое?

— Софи беременна, — сказал он, — и поэтому мы скоро поженимся.

— Бедный Колин, — произвольно вырвалось у Сильвии, и она покраснела от стыда — в конце концов, она ведь не знает, как обстоят дела, что на самом деле...

— Я бы не назвал себя таким уж бедным. Не забывай, я всегда очень любил Софи.

Сильвия вернулась к сэндвичу, но тотчас отложила его: от известия о переменах в жизни Колина ее желудок сжался.

— Ну, продолжай. Я вижу: ты несчастен.

— Какая пронизательная. Да, ты всегда была такой, хотя делала вид, что вообще не отсюда.

Это было обидно, и Колин намеренно причинил ей боль. Но тут же спохватился:

— Нет-нет, извини. Извини меня, я сам не свой. Ты застала меня в... Хотя нет, я всегда теперь такой.

Он подлил вина.

— Не пей, пока я все не услышу.

Колин отставил свой стакан.

— Софи сорок три года. В таком возрасте родить уже не просто.

— Да, но довольно часто старые первородящие... — Она заметила, что Колин поморщился от этого термина.

— Именно так. Она и есть старая первородящая. Но хочешь верь, хочешь не верь, а младенцы с синдромом Дауна — это те такие веселенькие, верно? — и прочие ужасы — еще далеко не худшее. Софи убеждена, будто я убежден в том, что она хитростью заманила ребенка в свое чрево, чтобы использовать меня, потому что детородный возраст у нее заканчивается. Я знаю, что она ничего такого не замышляла, это не в ее характере. Но Софи никак не оставляет эту идею. Днем и ночью я слушаю ее покаянный плач: «О, я знаю, что ты думаешь...» — Колин провыл эти слова, получилось похоже на Софи и эффектно. — И знаешь... конечно же, ты знаешь. Ничем мы так не наслаждаемся, как чувством вины. Она буквально катается в нем, купается, моя Софи, ничего лучшего с ней не случалось. До чего же приятно знать, что я ненавижу ее за то, что она устроила мне ловушку, и что бы я ни говорил, ее не переубедить, потому что это так приятно — чувствовать себя виноватым.

Это было самое беспощадное выступление, когда-либо слышанное Сильвией от беспощадного Колина. Он поднял свой бокал и осушил его одним махом.

— О Колин, ты опьянеешь, а я так редко с тобой вижушь.

— Сильвия, ты права. — Он налил себе еще вина. — Но я женюсь на Софи, она уже на седьмом месяце, и мы будем жить наверху, в бывших комнатах Юлии — в четырех комнатах, а работать я буду в самом низу, в цоколе — когда он освободится. — Тут его лицо, раскрасневшееся и

сердитое, осветилось тем удовольствием, которое мы испытываем каждый раз, когда сталкиваемся с очередным свидетельством бесконечной драмы жизни. — Ты слышала, что Фрэнсис взяла к себе двух детей своего нового приятеля?

— Да, она мне писала.

— Она писала тебе, что имеется еще и бывшая жена, причем в депрессии? Эта жена и живет сейчас внизу, в той квартире, где раньше была Филлида.

— Но...

— Никаких «но». Все устроилось как нельзя лучше. Депрессия у нее закончилась. Двоих детей устроили наверху, где раньше жили мы с Эндрю. Фрэнсис и Руперт поселились в комнатах Фрэнсис.

— То есть все хорошо?

— Да, только эти дети рассудили весьма разумно, что раз их мать порвала со своим шикарным любовником, то почему бы матери и отцу не сойтись снова, а Фрэнсис может просто исчезнуть.

— И они плохо ведут себя с Фрэнсис?

— Вовсе нет, что еще хуже. Они очень вежливы и логичны. Достоинства их плана обсуждаются каждый раз, когда они собираются за столом. Девочка, настоящая дрянь, между прочим, выдает такие перлы: «Но ведь для нас будет гораздо лучше, если ты уедешь, ты разве не согласна, Фрэнсис?» Заводила в этой паре девчонка, мальчик больше молчит. Руперт цепляется за Фрэнсис изо всех сил. И это понятно, стоит только взглянуть на Мэриел.

Сильвия думала о Ребекке, родившей шестерых детей, двое из которых умерли — вероятно, от СПИДа, но возможно, и нет, — и почти не видящей мужа, который работает по восемнадцать часов в сутки. И Ребекка никогда не жалуется.

Она вздохнула, и Колин взглянул на нее:

— Как повезло тебе, Сильвия, что ты уехала подальше от наших бесконечных проблем.

— Да, иногда я радуюсь, что не замужем... прости. Продолжай. Мэриел...

— Мэриел — ну, это тот еще подарок. Холодная, эгоистичная, любит манипулировать людьми, и она всегда ужасно относилась к Руперту. Она феминистка — знаешь, из тех, отъявленных? Всегда внушала Руперту, что это его обязанность — содержать ее, и заставляла мужа платить за ее обучение на каких-то бессмысленных курсах — высшая критика или что-то в этом роде. За всю жизнь ни пенни не заработала. И теперь пытается

получить такой развод, по условиям которого ему пришлось бы содержать ее до бесконечности. Мэриел принадлежит к группе женщин, к тайному обществу сестер — ты не веришь мне? — цель которого — отобрать у мужчин все, что можно.

— Ты все это придумал.

— Милая Сильвия, да, кажется, я припоминаю: ты никогда не хотела верить в темные стороны человеческой натуры. Но теперь дело взяла в свои руки Судьба, и ты никогда не догадаешься... Мэриел прошла курс психотерапии у Филлиды. За лечение платила Фрэнсис. Потом Фрэнсис попросила Филлиду, которая превратилась во вполне разумную даму — ты удивлена?

— Еще бы.

— Так вот, Фрэнсис попросила Филлиду взять Мэриел в ученицы, чтобы та потом сама стала консультантом, пообещав заплатить за обучение.

И тут Сильвия начала смеяться.

— О, Колин! О, Колин...

— Ага, вот именно. Потому что, видишь ли, Мэриел ничего не умеет делать. Она даже курсы свои не закончила. Но как консультант-психотерапевт вполне сможет зарабатывать себе на жизнь. Работа консультантом стала спасением для всех необразованных женщин — она заменила швейную машинку, кормившую прошлые поколения.

— В Цимлии швейная машинка по-прежнему жива и здорова и содержит целые семейства. — И Сильвия снова засмеялась.

— Ну слава Богу, что я все-таки тебя развеселил, — сказал Колин. И он налил ей еще вина. Оказалось, что она уже выпила первый бокал. Себе он тоже подлил. — Ну вот. Мэриел собирается переехать к Филлиде, потому что партнерша Филлиды решила открыть собственную консультацию, и наша нижняя квартира будет свободна, так что я смогу там писать. И скрываться от своих отцовских обязанностей, разумеется.

— Что не решает проблему Фрэнсис, которой навязывают роль злой мачехи. Если не считать детей, она счастлива?

— Она без ума от счастья. Во-первых, Фрэнсис действительно любит своего Руперта, и тут ее можно понять. Но ты не слышала еще? Она же вернулась в театр!

— Что значит вернулась? Я не знала, что Фрэнсис вообще имела какое-то отношение к театру.

— Как мало мы знаем о своих родителях. Представь, выяснилось, что театр всегда был первой любовью моей матери. Сейчас она играет в пьесе вместе с Софи. В этот самый момент их обеих провожают со сцены

аплодисментами. — На последней фразе язык у Колина начал заплетаться, и он нахмурился. — Проклятье, — сказал он. — Я пьян.

— Пожалуйста, милый Колин, не пей, прошу тебя.

— Ты сказала точь-в-точь как Соня.

— А, Чехов. Да. Понимаю. Но, кстати, я полностью на ее стороне. — Сильвия рассмеялась, но уже не весело. — В миссии есть один мужчина... — Но разве можно рассказать про жизнь Джошуа Колину? — Чернокожий. Если он не обкурился, значит, пьян. Но если бы ты знал, как он живет...

— Ты хочешь сказать, что моя жизнь не дает основания для пьянства?

— Вот именно. Так вернемся к Софи. Ты бы предпочел, чтобы это была не она...

— Я бы предпочел, чтобы это была не сорокатрехлетняя женщина. — И из его горла вырвался вой, который таился там все это время. — Понимаешь, Сильвия, я знаю, что это смешно, знаю, что я жалкий несчастный дурак, но я хотел счастливую семью: мамочка, папочка и четверо детишек. Вот чего я хотел, но с моей Софи ничего этого не получу.

— Не получишь, — согласилась Сильвия.

— Не получу. — Колин старался не расплакаться, тер кулаками лицо, как ребенок. — И если ты не хочешь быть здесь, когда после спектакля сюда вернутся счастливая Софи и моя триумфальная мать, обе в экстазе от «Ромео и Джульетты»...

— Что, неужели Софи играет Джульетту?

— Выглядит она на восемнадцать. Выглядит она прекрасно. Софи красавица. Беременность ей к лицу. Можно даже не заметить, что она ждет ребенка. Газеты, конечно, не дадут не заметить. Они раздули из этого целое дело. Ну, знаешь, в духе: Сара Бернар играла Джульетту в возрасте ста одного года и с деревянной ногой. Но надо признать, беременная Джульетта придает-таки новое очарование пьесе. И зрители Софи обожают. Никогда ей столько не аплодировали. Одевается она в белые летящие робы, волосы убирает белыми цветами. Сильвия, ты помнишь ее волосы? — И Колин все-таки расплакался.

Сильвия подошла к нему, уговорила его подняться со стула, повела вверх по лестнице, и там, где когда-то ее утешал Эндрю, теперь она сама утешала Колина, пока тот не утомился и не заснул.

Сильвия не знала, найдется ли ей в доме где переночевать, поэтому оставила записку для Колина. Она хотела, чтобы он «написал правду о Цимлии». Кто-то должен это сделать.

Выйдя на улицу, Сильвия шла до тех пор, пока не увидела гостиницу,

где и остановилась на ночлег.

В записке Сильвия обещала прийти к обеду. Утром она отправилась по книжным магазинам и покупала, покупала, покупала. Два больших контейнера книг прибыли с ней к дому Юлии (она по-прежнему называла так этот дом). Дверь ей открыла Фрэнсис, которая, как и Колин днем ранее, провела гостью в кухню, обняла как давно потерянную дочь и усадила на ее старое место, рядом с собой.

— Только не говорите, что мне нужно как следует питаться, — сразу попросила Сильвия.

Фрэнсис поставила на стол корзинку с нарезанным хлебом. Сильвия смотрела на ломти и думала о том, что отец Макгвайр обожает хороший английский хлеб; надо будет захватить для него буханку. Тарелка, полная завитков лучисто-желтого масла, — увы, этого в Африку не возьмешь. Сильвия смотрела на еду и вспоминала Квадере, пока Фрэнсис двигалась по кухне, накрывая на стол. Она была статной привлекательной женщиной, с желтыми волосами — крашеными и со стрижкой, которая стоила полцарства. И она была очень хорошо одета — Юлия наконец-то одобрила бы ее стиль.

Четыре прибора... кто еще? Вошел высокий мальчик, который остановился, чтобы рассмотреть Сильвию — незнакомку.

— Это Уильям, — сказала Фрэнсис. — А это Сильвия, она раньше жила здесь. Сильвия — дочь подруги Мэриел, Филлиды.

— Э-э, здравствуйте, — сказал Уильям вежливо и сел: красивый мальчик, сдвигающий светлые бровки и пытающийся разобраться в хитросплетениях родства и отношений. Не получилось, и он отмел все проблемы, обратившись к Фрэнсис:

— У меня плавание в два часа. Можно я быстро поем?

— А мне нужно на репетицию. Тебя покормлю первого.

То, что появлялось на тарелках, ничем не походило на сытную, обильную домашнюю еду, подаваемую в прошлом. Фрэнсис давно перешла на готовую еду и полуфабрикаты. Она сунула в микроволновку пиццу и через минуту поставила ее перед Уильямом. Он тут же стал есть.

— Салат, — скомандовала Фрэнсис.

С видом героя-мученика мальчик подцепил вилкой два листка латука и редиску и проглотил так, словно это была отравка.

— Молодец, — похвалила его Фрэнсис. — Сильвия, полагаю, Колин рассказал тебе все наши новости?

— Наверное, да. — Две женщины обменялись взглядами, и из этого беззвучного диалога Сильвия поняла, что Фрэнсис сказала бы больше, если

бы не ребенок за столом. — Кажется, я пропущу свадьбу, — добавила она.

— Я бы не назвала это свадьбой. Дюжина родственников в бюро регистрации.

— Все же я хотела бы быть там.

— Но не сможешь. Тебе не хочется надолго оставлять свою... больницу?

Эта заминка рассказала Сильвии, что Эндрю нелестно описал Фрэнсис свой приезд в миссию.

— Нельзя судить то, что там, по нашим стандартам.

— Я и не сужу. Мы просто думаем, что в Цимлии твоя квалификация пропадает зря. Ведь в Лондоне у тебя была серьезная работа.

В этот миг появилась Софи. Она была одета в нечто похожее на старинное платье или пеньюар — белого цвета с большими черными цветами — и плыла в нем Офелией, словно по воде; длинные черные волосы с драматичными прожилками седины распущены; прекрасные глаза все те же. Ее беременность имела вид элегантного бугорка.

— Семь месяцев, — сказала Сильвия. — Как тебе это удастся?

Она потерялась в объятиях Софи. Обе плакали, и хотя от Софи и нельзя было ожидать ничего иного, в этом была вся она, для Сильвии такое выражение чувств было редкостью.

— Черт, — пробормотала она, вытирая глаза.

Фрэнсис тоже прослезилась. Из-за пиццы за всем этим с отстраненной серьезностью наблюдал мальчик. Софи откинулась на большом стуле в конце стола; ее выразительные руки обняли маленький животик.

— Сильвия, — произнесла она трагически, — мне сорок три года.

— Знаю. Все будет нормально. Ты уже сдавала анализы?

— Да.

— Вот видишь.

— Но Колин... — И Софи снова заплакала. — Простит ли он меня когда-нибудь?

— Ах, какая чушь! — воскликнула Фрэнсис раздраженно, уже наслушавшись этих причитаний.

— Из того, что он вчера говорил мне, — сказала Сильвия, — у меня сложилось впечатление, что о прощении речь вообще не идет.

— О Сильвия, ты так добра. Все добры ко мне. И оказаться в этом доме, в этом самом доме, который я всегда воспринимала как свой, и Фрэнсис... вы были мне такой же матерью, как моя родная мать, но теперь ее нет с нами, бедняжки.

— Я не столько мать, сколько нянька, — заметила Фрэнсис.

— Да, ты слышала, она играет Няню — о, играет превосходно, — сказала Софи. — Но скоро в доме появится настоящая няня, потому что я буду продолжать играть и, конечно же, Фрэнсис тоже.

— Да, не думаю, что я готова взять на себя заботу о младенце, — подтвердила Фрэнсис.

— Разумеется, — кивнула Софи, но было видно, что на самом деле она надеялась на обратное.

— И кроме того, — продолжала Фрэнсис, — не забывай, скоро мы с Рупертом и детьми переедем.

— О, нет, — опечалилась Софи, — пожалуйста, останьтесь. Пожалуйста. Тут хватит места всем.

Мальчик выпрямился на стуле, уставился на взрослых испуганными глазами:

— Почему? Куда мы переедем? Зачем, Фрэнсис?

— Ну, это дом Колина и Софи, и у них скоро появится ребенок.

— Но здесь много комнат, — сказал Уильям громко, будто старался перекричать кого-то. — Нам не нужно никуда уезжать.

— Тише, — произнесла Софи неуверенно и посмотрела на Фрэнсис, чтобы та успокоила встревоженного мальчика.

— Мне нравится этот дом, — настаивал Уильям. — Я не хочу отсюда уезжать. Зачем?

Он заплакал трудными, болезненными слезами ребенка, который плачет много, но в одиночестве, надеясь, что никто не услышит. Он поднялся и выбежал. Все молчали.

Потом Софи сказала:

— Фрэнсис, Колин ведь не говорил, что вы должны уехать отсюда, верно?

— Нет, не говорил.

— И я тоже не хочу, чтобы вы уезжали.

— Мы забываем об Эндрю. У него могут быть свои соображения насчет того, как поступить с этим домом.

Сильвия заметила:

— Тебе не стоит перетруждать себя, Софи. Ты же не собираешься играть до последнего?

Теперь, когда Софи не пылала восторгом от встречи, стало заметно, что она напряжена, бледна и явно переутомлена. Софи согнулась над своим животом.

— Ну... Я думала... но, возможно...

— Постарайся вести себя разумно, — сказала Фрэнсис, — плохо уже

то, что...

— Что я так стара, о да, я знаю.

— Что ж, — сказала Сильвия, — пойду поищу Колина.

— Он сейчас работает, — ответила Софи. — И никому не позволено мешать ему, когда он за работой.

— Ничего не поделаешь, потому что мне нужно с ним поговорить.

Когда Софи по пути из кухни проходила мимо Фрэнсис, то обняла ее быстрым движением и сказала:

— Не покидайте нас, Фрэнсис. Прошу вас. Я уверена, никто не хочет, чтобы вы уехали из этого дома.

Фрэнсис тоже вышла из кухни. Уильяма она нашла в его комнате, мальчик скорчился на кровати, как зверек, почуявший опасность. Он повторял вслух:

— Я не хочу уезжать. Я не хочу уезжать.

Фрэнсис положила руки ему на плечи и сказала:

— Не нужно плакать. Может, этого еще и не случится. Скорее всего, не случится.

— Тогда пообещай.

— Я не могу. Нельзя давать обещания, если ты не уверен.

— Но ты почти уверена, да, правда?

— Да. Думаю, да.

Фрэнсис подождала, пока Уильям собирал вещи для бассейна, и потом спросила:

— Мне кажется, что Маргарет не очень хочется оставаться здесь.

— Да. Она хочет жить с мамой. А я не хочу. Мэриел ненавидит меня, потому что я мужчина. Я хочу жить с тобой и с папой.

Фрэнсис пошла готовиться к репетиции, думая о том, что давно уже даже не вспоминала о своей мечте: о том, чтобы занять когда-нибудь свой собственный дом и жить в нем, ни от кого не завися. Деньги, которые она откладывала на его покупку, катастрофически таяли. Приличная сумма ушла на то, чтобы заплатить за курс психотерапии для Мэриел. Также она выплачивала Мэриел ежемесячное содержание. Руперт продал квартиру в Мэрилебоуне и две трети вырученного отдал бывшей жене. Руперт и Фрэнсис совместно платили арендную плату за проживание здесь, в этом доме — за себя обоих и двоих детей. Еще он оплачивал образование детей. Фрэнсис получала деньги за различные книги, памфлеты, переиздания, но когда сводила баланс, то оказывалось, что чуть ли не половина денег уходила Мэриел. В наше время многие женщины оказываются в подобной ситуации, когда им приходится содержать первую жену своего партнера.

Фрэнсис вошла в супружескую спальню, где стояло две кровати — одна, на которой она столько лет спала в одиночестве, и вторая, большая, ставшая эмоциональным центром ее жизни. Она села на свою стародевичью постель и посмотрела на пижаму Руперта, аккуратно сложенную на его подушке. Это была зеленовато-голубая пижама из поплина, серьезная такая пижама, но на ощупь нежная и шелковистая. Руперт при встрече, должно быть, производил впечатление прочности, силы, но стоило заметить деликатность его взгляда, его чуткие руки... Фрэнсис пересела на большую кровать со стороны Руперта и погладила пижаму.

Сожалела ли Фрэнсис, что сказала «да» Руперту, его детям, всей этой ситуации — не ее ситуации? Нет, никогда, ни на мгновение. Ей казалось, что уже на закате жизни она случайно вышла в сказочную долину, залитую солнечным светом — ей даже снились сны про это, и она знала, что эти сны — про Руперта. Они оба уже имели опыт семейной жизни, оба думали, что их глубоко неприятные партнеры передают суть брака в целом, но нашли счастье, которого не ожидали и в которое даже не верили. Оба вели активную жизнь вне семьи, он — в газете, она — в театре, оба знали сотни людей, но все это было внешнее, а то, что в центре, это их большая кровать, где все понятно и где не нужны слова. Фрэнсис пробуждалась и говорила себе, а потом и Руперту, что видела во сне счастье. Пусть смеются те, кто хочет, а таких людей немало, но есть на свете такая вещь, как счастье, и вот оно, и вот они, оба довольные, как коты на солнышке. Но два человека среднего возраста (так следует называть их по правилам хорошего тона) берегут свой секрет, зная, что, раскрытый, он съежится, иссохнет. И они не единственные, кто так себя ведет: идеология объявила их состояние невозможным, а раз так, то лучше молчать.

Вернуться в дом, который любил тебя, принял тебя, хранил тебя, в дом, который обнимал тебя, который ты натягивал на себя, как одеяло, и в который зарывался, как зарывается в щель маленькое испуганное животное... — только теперь это не твой дом, он принадлежит другим людям...

Сильвия поднималась по лестнице, и ее ноги узнавали каждую ступеньку, каждый поворот: здесь она замирала, прислушиваясь к шуму и смеху в кухне, думая, что никогда ее там не примут; здесь Эндрю нашел ее и отнес наверх, в постель, накрыл одеялом, дал из своего кармана конфету. Тут находилась ее комната, но сейчас она должна пройти мимо двери. Здесь была комната Эндрю, а тут — комната Колина. И вот Сильвия поднялась на

верхний этаж — к Юлии — и не знала, в какую дверь на площадке стучать, но угадала верно, потому что голос Колина отозвался: «Войдите», и она оказалась в старой гостиной Юлии, где Колин сидел за... нет, это был не маленький столик Юлии, а большой, который заполнял собой всю стену. Было бы легче, если бы все вещи, когда-то принадлежавшие Юлии, исчезли, а на их месте появились бы новые, но вот Сильвия заметила стул Юлии и низкую скамеечку для ног... Комната одновременно и привечала ее, и отвергала. Колин выглядел нехорошо: заплывшее лицо, полная фигура — скоро он превратится в форменного толстяка, если не...

— Сильвия, — прервал он ее мысли, — почему ты вчера так убежала? Когда мне утром сказали...

— Это не важно. Правда, забудь. Мне очень нужно поговорить с тобой.

— И еще мне так стыдно. Забудь о том, что я наговорил вечером. Ты застала меня в дурном настроении. Если я критиковал Софи, забудь это. Я люблю Софи и всегда любил. Ты помнишь — мы всегда были... парой?

Сильвия села на стул Юлии, отдавая себе отчет в том, что если не будет осторожна, то у нее заболит душа — из-за Юлии, а она не хотела этого, она не хотела тратить время на... Колин сидел напротив нее, спиной к своему широкому столу, на вращающемся кресле. Он раскинулся в нем, вытянул ноги и потом ухмыльнулся в жесткой насмешке над собственным пьянством.

— И вот еще одно. Какое право мы имеем требовать какой бы то ни было нормальности? С такой историей семьи? Со всеми войнами, волнениями, товарищами? Какая ерунда! — Он засмеялся, и от него пахло алкоголем.

— Тебе придется бросить пить, если у вас будет ребенок. Ты можешь уронить его или...

— Что, Сильвия? Что я могу?

Она вздохнула и сказала мягко, обрисовывая ситуацию так, словно показывала ему картинку в книге:

— Джошуа, тот человек, о котором я тебе говорила — чернокожий, разумеется... он уронил своего двухлетнего ребенка в огонь. Ожоги были страшные, и... конечно, если бы это случилось в этой стране, то малыша могли бы спасти.

— Ну-у, Сильвия, все-таки вряд ли я дойду до того, чтобы уронить своего ребенка в огонь. Я прекрасно осознаю, что я... что я могу быть лучше. — Это прозвучало так комично, что Сильвия не удержалась от смеха, и Колин тоже засмеялся, только не сразу. — Я запутался. Но чего ты ожидаешь от отпрыска Джонни? И знаешь что? До тех пор, пока я жил

медведем в своей берлоге, лишь изредка вылезая в паб или чтобы завести там романчик, тут отношения (чудное, кстати, словечко — обозначает как раз отсутствие отношений), — тогда я не считал себя запутавшимся. Но как только въехала Софи и у нас образовалась счастливая семья, о которой я мечтал, тут же я понял, что я — медведь, который не обучен жить с людьми. Уж не знаю, почему Софи живет со мной.

— Колин, мне нужно поговорить с тобой на очень важную тему.

— Я говорю Софи, мол, если помучаешься со мной еще некоторое время, то в конце концов сделаешь из меня нормального мужа.

— Колин, прошу тебя.

— Да. Что ты хочешь?

— Я хочу, чтобы ты поехал в Цимлию, увидел все своими глазами и написал правду.

Молчание. На его губах заиграла ироничная улыбка.

— Я как будто оказался в прошлом! Сильвия, помнишь, как товарищи то и дело отправлялись в Советский Союз или иной коммунистический рай, чтобы вернуться и рассказать правду? На самом деле, мы можем заключить, получив, как все потомки, счастливую возможность оглянуться назад, что нет лучшего способа не найти правду, чем поехать куда-нибудь и посмотреть на все собственными глазами.

— То есть ты не хочешь этого делать?

— Не хочу. Я ничего не знаю об Африке.

— Я расскажу тебе. Понимаешь, то, что пишут в газетах, не имеет ничего общего с тем, что происходит там на самом деле.

— Погоди-ка. — Колин крутанулся на кресле, раскрыл ящик, нашел там газетную вырезку и спросил: — Ты видела это? — Он протянул ей листок.

Фамилия автора в подзаголовке: Джонни Леннокс.

— Да, видела. Фрэнсис присылала мне. Это такая чушь. Товарищ Вождь совсем не такой, как его описывают в газете.

— Ну кто бы мог подумать!

— Когда я увидела имя Джонни, то глазам своим не поверила. Это что ж, теперь он превратился в эксперта по Африке?

— А почему нет? У всех их идолов обнаружили глиняные ноги, но не надо унывать! У нас же есть Африка, этот неиссякаемый источник вождей, головорезов, убийц и воров, так что все несчастные, которым так необходимо любить вождя, могут любить чернокожих вождей.

— А когда случается резня, или племенная война, или еще почему-либо перебьют несколько миллионов, достаточно лишь опустить глаза и

пробормотать: «У них другая культура», — сказала Сильвия, поддаваясь соблазну злословия.

— И бедному Джонни ведь надо же что-то есть. А так он всегда в гостях у того или иного диктатора.

— Или на конференции, обсуждающей природу Свободы.

— Или на симпозиуме по бедности.

— Или на семинаре, созванном Всемирным банком.

— Вообще-то в этом часть проблемы — то, что старые красные не имеют права разглагольствовать о свободе и демократии, а сейчас только об этом и речь. Джонни теперь уже не так популярен, как раньше. Знаешь, Сильвия, я скучал по тебе. Тебе обязательно жить так далеко? Почему мы не можем жить все вместе в этом доме и забыть о том, что происходит за его стенами? — Колин оживился, его похмельная бледность прошла, он смеялся.

— Если я предоставлю тебе все факты, все материалы, ты мог бы написать несколько статей.

— А почему ты не обратишься к Руперту? Он — серьезный журналист. — Колин добавил: — Один из лучших. Он молодец.

— Но когда человек обретает известность, то уже не очень хочет идти на риск. Все ведь пишут, что Цимлия замечательная. Руперт окажется в одиночестве, против всех.

— Я думал, журналисты хотят стать первыми.

— Тогда почему он еще не первый? Смотри, я могу попросить отца Макгвайра набросать примерный план статьи, и ты использовал бы его как основу.

— А, да, отец Макгвайр. Эндрю говорит, что впервые понял, что означает выражение «откормленный каплун». — Сильвия была возмущена. — Извини.

— Он хороший человек.

— И ты тоже очень хорошая. Мы не достойны тебя — прости, прости, но, малышка Сильвия, разве ты не видишь, что я завидую тебе? Эта твоя ясноглазая, прямодушная убежденность — откуда она у тебя? О да, конечно, ты католичка. — Колин потянулся, посадил Сильвию себе на колено и уткнулся лицом в ее шею. — Клянусь, ты пахнешь солнечным светом. Еще вечером, когда ты была так добра ко мне, я думал: «Она пахнет солнцем».

Сильвии было неудобно. И Колину было неудобно. Она была нелепой, эта поза, для них обоих. Сильвия скользнула обратно на стул.

— И ты попытаешься не пить много?

- Да.
- Обещаешь?
- Да, Сильвия, да, Соня, я обещаю.
- Я пришлю тебе материалы.
- Сделаю все, что смогу.

Сильвия постучалась в дверь цокольной квартиры, услышала резкое «Кто там?», просунула голову в дверь и столкнулась взглядом с худощавой женщиной в элегантных коричневых брюках, в коричневой блузке, с коротко остриженными медными волосами. Женщина-нож.

— Я раньше жила в этом доме, — пояснила Сильвия. — И я слышала, что вы собираетесь жить вместе с моей матерью.

Изучающий взгляд Мэриел не скрывал враждебности. Потом она повернулась спиной к Сильвии, закурила сигарету и сказала в облако дыма:

- На сегодняшний день план таков, да.
- Меня зовут Сильвия.
- Я так и подумала.

Комнаты, которые видела Сильвия, были такими же, какими она помнила их, похожими на студенческое жилище, только сейчас в них царил порядок. Мэриел занималась упаковкой вещей. Она обернулась, чтобы сказать:

— Им нужна эта квартира. Ваша мать любезно предложила мне место, где я могла бы приклонить голову, пока ищу себе новое жилье.

- И вы будете работать с ней?
- Когда я закончу обучение, то стану работать самостоятельно.
- Понятно.

— И когда у меня будет свой дом, я заберу детей себе.

— О, понятно. Полагаю, все сложится наилучшим образом. Простите, что побеспокоила вас. Я просто хотела... взглянуть, в память о прошлом.

— Не хлопайте дверью, когда будете уходить. Это очень шумный дом. Дети ведут себя как хотят.

Сильвия взяла такси и поехала к матери. Не много изменилось в ее салоне. Благовония, мистические знаки на подушках и занавесках и ее мать — полная и сердитая, но с приветственной улыбкой на губах.

- Спасибо, что нашла время навестить меня.
- Сегодня вечером я улетаю обратно в Цимлию.
- Филлида медленно и тщательно разглядывала дочь.

— Да, Тилли, ты совершенно высохла. Почему ты не пользуешься

кремами?

— Я буду, ты права. Мама, я только что познакомилась с Мэриел.

— Да?

— А что случилось с Мэри Констебль?

— Мы обменялись парой слов.

Эта фраза вызвала в памяти Сильвии целый поток образов: они с матерью в одном пансионе, в другом, в съемной комнате, всегда на чемоданах, уезжающие, не заплатив аренду, хозяйки — сначала лучшие подруги, потом враги, и фраза: «Мы обменялись парой слов». Столько слов, так часто. А потом Филлида вышла замуж за Джонни.

— Очень жаль.

— Нечего жалеть. Свет не сошелся на ней клином. По крайней мере у Мэриел есть дети. Она знает, что значит быть лишенной родного ребенка.

— Ну, мне пора, я только на минутку заглянула.

— Я и не предполагала, будто ты присядешь и выпьешь чашку чаю.

— Я выпью чаю.

— Да, дети Мэриел... С ними хлопот не оберешься.

— Тогда, может, это и к лучшему, что они не с ней?

— Здесь их ноги не будет, так что пусть даже не думает.

— Если мы будем пить чай, то лучше прямо сейчас. Мне уже скоро ехать в аэропорт.

— Тогда какой чай, поезжай.

Сильвия снова стояла в аэропорту Сенги — так же теснятся пассажиры, как в прошлый раз, и так же разделяются они на две группы — по цвету кожи, но также и по статусу. Однако есть и перемена. Четыре — нет, пять лет назад это была жизнерадостная уверенная толпа, да, но только что закончившаяся война давала о себе знать привычной настороженностью в лицах, в жестах, словно новость о мире еще не до конца осознавалась людьми. Нервы все еще были настроены на дурные вести. Но теперь толпа кипела, бурлила после успешного шопинга в Лондоне, и багажная карусель скрипела, перегруженная, так что счастливые приобретатели со смехом должны были снимать с нее огромные чемоданы, холодильники, мебель, пока все это не посыпалось на пол. Наверное, не было в мире более открытых в своем выражении восторга путешественников, чем цимлийцы; на самолете среди белых циркулировало выражение «новая номенклатура».

По-прежнему налицо четкое разделение в одежде: новая черная элита в костюмах-тройках утирает с сияющих лиц обильный пот, а белые в

обычных джинсах и футболках разъезжаются по сотням скромных местоположений в буше или деревьях. Вскоре обе эти такие разные категории сосредоточили свое внимание в одной точке: на чернокожей девушке лет восемнадцати, очень красивой, в модном костюме явно от какого-то модельера, на высоких каблуках и со своенравной гримасой избалованной юности. Она распорядилась двумя носильщиками. С багажной карусели был снят один, два, три, четыре... — это все? — нет, семь, восемь кожаных чемоданов.

— Бой, отнеси это туда, — сказала девушка носильщикам высоким повелительным голосом, которому она научилась у белых мадам прошлого — сейчас никто бы не посмел говорить таким тоном.

— Бой, быстрее.

Она направилась к началу очереди.

— Бой, покажи мои вещи офицеру.

Большой чернокожий мужчина в очереди сказал ей что-то, фамильярно, собственнически, чтобы сообщить толпе о своем знакомстве с этой звездой, и красotka мотнула головой и улыбнулась ему, наполовину довольно, наполовину с презрением. («А ты кто такой, чтобы указывать мне, что делать?») Все чернокожие пассажиры с гордостью наблюдали за этим воплощением их Независимости, в то время как второсортные белые лица оставались невозмутимыми, хотя обмен взглядами имел место. Они обсудят инцидент позже, когда окажутся за стенами своих домов.

На таможне девица сказала:

— Я дочь такого-то и такого-то, старшего министра, — и носильщикам: — Бой... бой, иди за мной.

И она прошла мимо таможенников и затем мимо иммиграционного контроля, словно их не существовало.

У Сильвии были с собой четыре больших ящика и небольшая сумка с личными вещами. Она следила за тем, как целые хозяйства пропускались через таможню без единого слова, понимая, что не следует ожидать того же отношения к себе. На этот раз ей не повезло с соседом по креслу самолета. Она выискивала среди таможенников того молодого, искреннего, дружелюбного служащего, который пропустил ее в прошлый раз, но это была не его смена или же он превратился с годами в одного из этих корректных чиновников. Когда подошла очередь Сильвии, ее спросили хмуро:

— И что это тут у вас?

— Две швейные машинки.

— И для чего же вам швейные машинки? У вас здесь швейное дело?

— Нет, это подарок для женщин в миссии Квадере.

— Подарок. А что они заплатят за него?

— Ничего, — сказала Сильвия с улыбкой. Она видела, что швейные машинки тронули сердце чиновника, возможно, он видел, как его мать или сестра шьют вечерами. Но чувство долга взяло верх.

— Машинки будут отправлены в таможенное депо. И вам сообщат, сколько вы должны будете уплатить за них.

Два ящика были подняты и отставлены в сторону. Сильвия знала, что вряд ли еще когда-нибудь увидит их. Они «потеряются».

— Что тут? — Таможенник постучал по двум оставшимся ящикам, как будто это были двери.

— Книги. Для миссии.

Тут же на лице таможенника появилось выражение, которое Сильвия хорошо знала: голод. Он взял ломик, вскрыл крышку одного ящика — книги. Он взял в руки одну, перевернул несколько страниц неторопливо и вздохнул. Сунув книгу обратно, он тем же ломиком заколотил крышку обратно и в нерешительности замер.

— Пожалуйста — они очень нужны в миссии, эти книги.

Все висело на волоске.

— Хорошо, — сказал таможенник.

Сильвия обменяла две швейные машинки на книги, но она знала, что предпочли бы женщины в миссии.

Без проблем она прошла иммиграционный контроль, и вот ей уже улыбается сестра Молли, ее фигура четко очерчена в кристально-прозрачном воздухе — верный признак того, что недавно прошел дождь. Значит, наступил сезон дождей. Поздно, но все-таки наступил. Однако возникает новый вопрос: надолго ли? В последние три-четыре года дожди прерывали долгую засуху, но тут же уходили дальше. В регионе была официально объявлена засуха, но сегодня этого не скажешь: повсюду лужи, и в небе плывут нежные белые облачка. Солнечный свет разбегался зайчиками от креста сестры Молли, отражался от ее загорелых ног. Здоровая — вот что хотелось сказать, глядя на нее. И здоровым был весь пейзаж, все в нем сильное и полное жизни, деревья и кусты свежевывиты, добродушная толпа усаживается по служебным лимузинам и — в случае с простыми смертными — по автобусам. Сильвия почувствовала себя дома. Ее поездка в Лондон не увенчалась успехом, если не считать ящиков с книгами. Но это уже в прошлом, пройдено и забыто. Лондон уже кажется ей нереальным. Реальность — вот она.

Заднее сиденье старой машины Молли просело под весом тяжелых

ящиков. Монахиня тут же начала говорить, и главные ее новости были связаны со скандалами. Министров обвиняли во взяточничестве и воровстве. Она говорила с удовлетворением человека, чьи ожидания подтвердились.

— Да, отец Макгвайр сказал, что в миссии тоже какие-то проблемы. Вроде бы кого-то обвиняют в краже.

— Это чушь.

— Порой чушь бывает очень могущественна.

И Сильвия подумала, что взгляд этой монахини слишком уж многозначителен — что это, предупреждение? Что-то случилось. Стоит внимательнее прислушаться ко всему, что она говорит. Молли, хоть и всего лишь монахиня, на самом деле весьма умный человек. Она самостоятельно разработала схему, по которой из Америки и Европы в Цимлию приезжали на год или два белые преподаватели, и умудрилась получить поддержку черного правительства. Она убедила их, что местных учителей не хватает и (и это был решающий довод) что с помощью ее схемы можно сэкономить на зарплатах. Некоторые приезжие преподаватели отправлялись в отдаленные районы, и сестра Молли почти постоянно была в разъездах, навещая своих подопечных и помогая им. «Некоторые из них выросли в обеспеченных семьях и понятия не имеют, куда едут и на что соглашаются, и потом, оказавшись в школе вроде той, что в Квадере, падают духом». Срывы, приступы депрессии, всевозможные коллапсы — со всем этим деловито и компетентно справлялась молодая женщина, утешала и поддерживала, и нередко отпрыски знатных семейств из Филадельфии или Лос-Анджелеса глотали слезы, укачиваемые на груди, в объятиях этой Молли, которая начала свой жизненный путь в бедном доме в Галуэе.

— И я слышала, что в школе опять неприятность: директор скрылся, прихватив деньги, так что отец Макгвайр снова трудится за двоих. И знаете, что удивительно? Все эти беглые директора и ловкие воры, они что, думают, весь остальной мир их не видит? Что только творится в их бедных головах, а?

Но получить ответ на свой вопрос Молли не хотела, она хотела говорить и чтобы Сильвия слушала. Вскоре она вернулась к истинному центру своих интересов, то есть папе римскому и его недостаткам, потому что помимо принадлежности к мужскому полу он еще и «вкладывал идеи» в головы священников, работающих в разных частях света. Услышать данную последовательность слов, в данном контексте (так как белые без конца переживали, что миссии «вкладывают идеи» в головы чернокожего населения) было странно и забавно. Да, наша жизнь богата на самые

удивительные совпадения, и Колин использовал их в качестве топлива для своих книг. Незадолго до поездки в Лондон Сильвия слышала от Эдны Пайн, что недееспособность негров вызвана как раз тем, что в их головы заронили идеи, преждевременные на их этапе эволюционного развития.

Сильвия сумела отвлечься на время, и от размышлений ее оторвали только излюбленные заявления Молли о том, что папа — сексист и что он не понимает трудностей женской доли. Контрацепция, утверждала сестра Молли, вот ключ к решению проблем. И пусть говорят, что папа римский держит в своих руках ключи от неба, она не станет с этим спорить, но в земных делах он вовсе не разбирается. Вот если бы он рос в компании с девятью сорванцами, ни одному из которых не удавалось наесться досыта, тогда он запел бы по-другому. И в состоянии умеренного и приятного негодования сестра Молли доехала до миссии Святого Луки, где она выгрузила Сильвию и ее ящики.

— Нет, заходить я не буду. А то придется мне тогда и сестер навещать. — Сестра Молли, как и Джошуа, называла монахинь за глаза курицами.

Дом священника, стоящий в пыли, корявые эвкалипты, солнце, окрасившее жилище монахинь и полдюжины крыш на склоне холма в оранжевый цвет, — как убого все это выглядит, сколь неглубокий след оставил человек на этом древнем ландшафте! — но Сильвия снова дома, да, здесь теперь ее дом — и его может разрушить одно лишь дыхание. Она стояла, вдыхая ноздрями аромат влажной земли, впитывая тепло, поднимающееся от почвы по ее ногам. Потом появилась Ребекка с криком:

— Сильвия, ой, Сильвия!

Две женщины обнялись.

— О Сильвия, как я по вам соскучилась.

Но Сильвия, обнимаясь, не могла избавиться от мыслей о непрочности, преходящести бытия в Африке. Тело Ребекки было как кулек хрупких костей, и когда Сильвия взяла ее за плечи, взгляделась в ее лицо, то увидела, что глаза Ребекки под старым выцветшим платком провалились глубоко в череп.

— Что случилось, Ребекка?

— О'кей, — сказала Ребекка, понимая под этим: хорошо, я расскажу тебе.

Но сначала она взяла Сильвию за руку и привела ее в дом, усадила за стол и сама села напротив.

— Мой Тендерай заболел.

Две пары глаз, молчание, но ничего не осталось невысказанным. Двое

детей Ребекки умерли, еще один болел уже давно, и вот теперь Тендерай. Источником болезни был муж Ребекки, сам, по-видимому, пребывавший в добром здравии, несмотря на худобу и пьянство. Все говорило о том, что Ребекка носит в себе ВИЧ, но без анализов кто может сказать наверняка? И если да, то что можно сделать? Во всяком случае, не похоже было, что она спит с кем попало, распространяя смертельную заразу.

Сильвия отсутствовала всего одну неделю.

— О'кей, — в свою очередь сказала Сильвия, пользуясь этой новой идиомой, с которой теперь начиналась чуть ли не каждая фраза. Она хотела этим сказать, что восприняла информацию и разделяет страхи Ребекки. Она добавила: — Я посмотрю его. Может, все не так уж страшно.

— Надеюсь, — ответила Ребекка и потом, откладывая на второй план семейные тревоги, сказала: — И отец Макгвайр работает слишком-слишком много.

— Да, я слышала. И что это за дело с кражей?

— Да ну, глупости. Все из-за того оборудования в ящиках, что валялись возле новой больницы. Говорят, будто вы его украли.

Сильвия, пока была в Лондоне, могла думать только о миссии и придумала, что нужно съездить к недостроенной больнице еще раз и забрать оттуда все, что могло бы пригодиться, — извлечь хоть какую-то пользу из напрасно потраченных средств. Однако дело было не только в нескольких подкладных суднах, она догадывалась, что Ребекка говорит не все. Негритянка смотрела в сторону, и ее лицо напряглось от смущения и предчувствия беды.

— Пожалуйста, скажи мне, Ребекка, что еще?

Ребекка все не решалась посмотреть Сильвии в глаза, но сумела сказать, что все это одна большая глупость. На ящики было наложено заклятье — она произнесла это слово по-английски и потом добавила:

— Н'ганга говорит, что те, кто возьмет хоть одну вещь из той больницы, навлекут на себя несчастье.

Тут Ребекка поднялась, сказала, что пора звать отца Макгвайра обедать и что она надеется, что Сильвия проголодалась, ведь сегодня на обед приготовлен рисовый пудинг.

Пока Ребекка и Сильвия сидели друг напротив друга и все их мысли были о Тендереае и других детях, живых и мертвых, между двумя женщинами царил полная открытость и доверие. Но теперь Сильвия видела, что Ребекка не скажет ей больше ничего, так как по этому предмету они никогда не сойдутся во мнении.

Сильвия села на свою кровать, окруженную кирпичными стенами, и

посмотрела на женщин Леонардо — они как будто приветствовали ее возвращение. Потом она обернулась к распятию с намерением утвердить в голове кое-какие идеи, пошатнувшиеся под напором жизни. Человек, подписавшийся на чудеса римской католической церкви, не может обвинять других людей в суеверии — таков был ход ее мыслей, и они были далеки от критики религии. По воскресеньям, когда чернокожая паства собирался на причастие, отец Макгвайр говорил им, что они пьют кровь и едят плоть Христа. Медленно Сильвия приходила к пониманию того, насколько глубоко жизнь африканцев, среди которых она жила, пронизана суевериями, и ей хотелось понять их все, а не высказывать «умные интеллектуальные замечания». Такого рода, что могли бы исходить из уст Колина или Эндрю. Так или иначе, факт оставался фактом: в любом чернокожем человеке есть область, куда она, Сильвия, не может войти и которую она не должна порицать — даже с Ребеккой, своей хорошей подругой.

Если отец Макгвайр не поможет, ей придется обратиться к Пайнам. За обедом Сильвия подняла эту тему. Ребекка стояла у буфета и слушала. Когда святой отец обратился к ней за подтверждением, она сказала:

— О'кей. Это правда. И теперь люди, которые взяли вещи в той больнице, болеют, так что в деревне думают, что это потому, что н'ганга так сказал.

Отец Макгвайр выглядел больным. Его кожа пожелтела, и только на широких ирландских скулах горели два лихорадочных красных пятна. Он был нетерпелив и сердит. Уже во второй раз за пять лет ему приходится учить в два раза больше классов, чем раньше. И школа разваливается на глазах, а господин Мандизи только повторил, что он известил власти в Сенге о ситуации. Священник пошел обратно в школу, не поспав после обеда, как обычно. Сильвия и Ребекка распаковали книги и сделали полки из досок и кирпичей — и вскоре вся стена, по обе стороны от маленького комода, была заставлена книгами. Ребекка плакала, услышав, что таможня арестовала швейные машинки: она надеялась заработать немного денег на своей. Но ее слезы, когда она смотрела на книги и трогала их, были вызваны радостью. Она даже поцеловала книги.

— О, Сильвия, как это замечательно, что вы подумали о нас и привезли столько книг.

Сильвия отправилась в больницу. Под своим излюбленным деревом дремал Джошуа — казалось, что за время отсутствия Сильвии он не сходил с места. Маленькие мальчишки шумно обрадовались ей. Она занялась больными. Было много пациентов с кашлем и простудой из-за внезапного

перепада температуры с приходом сезона дождей. Потом Сильвия взяла машину и поехала к Пайнам, которые заняли в ее жизни строго определенное место: когда ей нужна информация, она едет к ним.

Пайны купили ферму после Второй мировой войны, в пятидесятых, приехали в Африку с последней волной белой эмиграции. Выращивали они в основном табак и преуспевали. Дом стоял на высоком месте, откуда открывался вид на крутые холмы, покрытые в сухой сезон то дымкой, то дымом, но сейчас ярко-зеленые (где была растительность) — и серые (где обнажался гранит). Веранда с колоннами была достаточно широка, чтобы проводить на ней вечеринки, и до Освобождения таких вечеринок было много, но теперь, когда основная масса белых уехала, здесь редко собиралось больше десяти человек. На красном отполированном полу рассыпались низкие столики, сидели собаки и несколько кошек. Седрик Пайн пил большими глотками чай, поглаживая морду своей любимой собаки по кличке Лусака. Эдна Пайн, нарядная в узких брюках и блузке, с блестящей от крема кожей, сидела рядом с чайным подносом. Ее собака — сестра Лусаки по кличке Шеба — устроилась так близко к хозяйке, как только позволял стул. Эдна слушала, как ее муж рассуждает о недостатках черного правительства. Сильвия пила чай и тоже слушала.

Как приходилось ей выслушивать мнение сестры Молли о папе римском и его злостной мужской природе, как приходилось ежедневно сидеть за столом, пока отец Макгвайр жаловался на то, что он уже стар и не в силах отвечать за миссию и школу, и грозился уехать в Ирландию, как приходилось ей слушать сетования Колина по поводу ситуации с Софи, так и теперь должна была она дать собеседникам выговориться, прежде чем получить право слова самой.

Понять суть проблем белых фермеров нетрудно. Они, фермеры, являются первоочередной мишенью ненависти чернокожего населения, Вождь, стоит ему раскрыть рот, осыпает их обвинениями, но: они зарабатывают валюту, которая только и удерживает страну на плаву, позволяя выплачивать проценты по кредитам, навязанным... в голове Сильвии возник Эндрю, улыбающийся и любезный, который держит в одной руке большой чек с длинным рядом нулей на нем, а другой тянется за другим чеком с таким же количеством нулей. Такова была упрощенная картинка, которую Сильвия изобрела, чтобы объяснить Ребекке механизм действия «Глобал Мани». Та хмыкнула, вздохнула и сказала: «О'кей».

Поскольку Лидер пришел к социализму относительно поздно и относился к нему со всем пылом недавно обращенного, проводимая им политика приобретала нерушимость библейских заповедей. Одним из

установленных им правил было то, что работника нельзя уволить. Результат вылился в следующее: каждый работодатель в стране тащил на себе мертвый груз рабочих, которые, осознавая свою неприкосновенность, пили, не выполняли служебных обязанностей, полеживали на солнышке целыми днями и тащили все, что попадется под руку, — совсем как стоящие выше их по положению. Это был первый пункт в литании жалоб, которые часто выслушивала Сильвия. Вторым пунктом состоял в том, что невозможно ни приобрести запчасти для сломавшихся машин и механизмов, ни купить новое оборудование. То немногое, что импортировалось в страну, направлялось напрямую министрам и их семьям. Такие жалобы, которые раздавались наиболее часто, обладали меньшей значимостью, чем главная, но о ней-то как раз, как часто бывает с основными, ключевыми, принципиальными фактами, не упоминали — просто потому, что она настолько важна, что и говорить ничего не нужно. Белые фермеры существовали под постоянной угрозой того, что их выгонят из страны, а их хозяйства заберет правительство, у них не было ни гарантий, ни уверенности в завтрашнем дне, они не знали, вкладывать им средства или нет, люди жили одним днем. Тут в монолог мужа вмешалась Эдна Пайн и сказала, что она сыта по горло, она хочет уехать.

— Пусть сами попробуют и тогда поймут, чего они лишились с нашим отъездом.

Эта ферма, купленная в виде девственных акров, где не было ни единого расчищенного участка, ни этого большого дома, теперь была оснащена всеми видами фермерских строений — хлевами, сараями, ангарами, колодцами и появившейся недавно большой дамбой. Весь капитал Пайнов был вложен в ферму. Когда они приехали, у них ничего не было.

Седрик возразил жене с жаром, которому Сильвия не раз уже была свидетелем:

— Я не сдамся. Им придется прийти сюда и вышвырнуть меня, но сам я ферму не брошу.

Тогда потекли жалобы Эдны. После Освобождения стало невозможно купить даже самое основное из продуктов, не говоря уже о приличном кофе или банке рыбных консервов. «Они» не могли обеспечить даже поставки кукурузной крупы для работников, так что Эдна вынуждена держать полную кладовую припасов на тот случай, когда к ней снова пожалует голодная толпа, умоляя о еде. Ей надоело терпеть оскорбления. Они — Пайны — платят за обучение двенадцати чернокожих детей, но никто из этих высокопоставленных черных ублюдков не пожелал выдать им кредит

на развитие или что-либо еще. Все они — сплошное высокомерие и некомпетентность, они ничего не умеют и думают только о том, как бы отхватить побольше для себя, с нее хватит...

Ее муж знал, что она должна выговориться, так же как она позволяла выговориться ему каждый раз, когда на веранде появлялось новое лицо, и Седрик сидел молча, поглядывая на табачные плантации — пышные, зеленые — и на дождевые облака, собирающиеся на горизонте и обещающие пролиться к вечеру ливнем.

— Ты сошел с ума, Седрик, — обратилась к нему жена, очевидно продолжая их многочисленные разговоры с глазу на глаз. — Нам нужно спасти, что возможно, и уехать в Австралию, как Фриманы и Ватлеры.

— Мы уже не так молоды, как раньше, — сказал Седрик. — Ты всегда забываешь об этом.

Но ее было не остановить:

— И этот бред, с которым мы должны мириться! Жена повара больна, потому что ее, видите ли, сглазили. Да у нее приступ малярии, потому что она не принимала таблетки. Я говорю им, я все время говорю им: если не будете принимать лекарства, то будете болеть. Но вот что я вам скажу. Этот их н'ганга имеет больше веса в местных делах, чем любой чиновник из правительства.

Сильвия рискнула войти в бурный поток ее красноречия:

— Как раз об этом я и хотела поговорить с вами. Мне нужен ваш совет.

Две пары бледно-голубых глаз уставились на гостью с вниманием: давать советы — это то, что они умеют делать лучше всего. Сильвия обрисовала в общих чертах ситуацию.

— И теперь меня считают воровкой. И что это за заклятье, наложенное на новую больницу?

Эдна издала короткий, злой смешок:

— Ну вот, опять. Понимаете? Глупость чистой воды. Когда деньги на новую больницу закончились...

— Почему они закончились? И я слышала сначала, что их дали шведы, потом — что немцы.

— Какая разница? Шведы, датчане, янки, кто угодно — только деньги, переведенные ими в Сенгу, пропали со счета, и они отказались от дальнейшего участия. Сейчас Всемирный банк, или «Глобал Мани», или «Кэринг Интернэшнл», их сотни, этих благодетелей-идиотов, пытаются найти новый источник средств, но пока не нашли. Мы не знаем, что там у них происходит. А тем временем ящики с оборудованием просто гниют, так говорят черные...

— Да, я видела их. Но зачем посылать оборудование, когда больница еще не достроена?

— Обычное дело, — пожалала плечами Эдна Пайн, довольная тем, что ее правота в который раз доказана жизнью. — Не спрашивайте меня почему; если дело в их проклятой некомпетентности, то даже не спрашивайте. Говорили, что больницу построят и откроют за шесть месяцев, ну подумать только, что за чушь, но чего еще ожидать от этих идиотов в Сенге? Я думаю, что здешний Большой босс, господин Мандизи, как он себя называет, пошел к н'ганга и попросил распустить слухи, будто бы на больницу и все ящики наложено заклятье и все, кто хотя бы пальцем их тронет, навлекут на свою голову всевозможные беды.

Седрик Пайн коротко хохотнул.

— Отличная идея, — сказал он. — Очень умно, Эдна.

— Я рада, что ты оценил, дорогой. В общем, это сработало. Но потом, похоже, вы поехали туда и что-то взяли.

— Полдюжины «уток». У нас в больнице их совсем не было.

— Полдюжины — это слишком много, — вставил Седрик.

— Но почему мне никто ничего не сказал? Помимо нас с Ребеккой было еще шесть женщин из деревни. Они просто... вскрывали ящики и брали, что хотели. И ничего не сказали мне.

— Ну, а разве они могли что-то возразить? Вы же в их глазах — миссия, Бог-отец и Церковь, да и отец Макгвайр вечно ругает их за суеверия. И к тому же они, наверное, решили, что мути Бога сильнее, чем мути их шамана.

— Оказалось, что нет. Потому что люди начали болеть и умирать, и это из-за того, что они украли вещи из ящиков. Так говорит Ребекка. Но на самом деле это СПИД.

— А, СПИД.

— Почему вы произнесли это так? СПИД — это доказанный факт.

— Да просто это последняя соломинка, — объяснила Эдна Пайн, — вот почему. Они приходят из своих хижин и просят мути. Я говорю им, что от СПИДа мути не существует, а они, конечно же, думают, что мути у меня есть, только я не хочу им давать его.

— Я знакома с деревенским н'ганга, — сказала Сильвия. — Иногда я прошу его помочь мне.

— Хм, — заметил Седрик Пайн, — это называется невинность, шагающая в клетку со львами.

— Не буди лиха... — произнесла Эдна раздраженно, едва сдерживаясь и не скрывая этого.

— Когда я сталкиваюсь со случаями, где наши лекарства бессильны — те лекарства, что есть у меня, — и Ребекка начинает говорить, что этих людей сглазили, то я прошу н'ганга прийти в больницу. Я прошу его убедить больных, что это не сглаз, что их не... прокляли, что угодно... И я говорю ему: «Я не хочу выведывать ваши секреты, только помогите мне». Прощлый раз, когда н'ганга приходил, он подошел к каждому из тех, кто там лежал — я думала, что они не выживут. Не знаю, что он им сказал, но некоторые из них просто встали и пошли — они излечились.

— А другие?

— Местные н'ганга знают про СПИД — про худобу. Они знают больше, чем люди в правительстве. Наш н'ганга говорит, что не может вылечить СПИД. Он может лечить симптомы — кашель, например. Поймите же, я рада его помощи, ведь у меня так мало возможностей здесь. У меня даже элементарных антибиотиков нет. Вот только сегодня, вернувшись из Лондона, я зашла в свою аптеку, а там почти пусто, все украдено. — Ее голос звенел, под конец в нем зазвучали слезы.

Пайны переглянулись, и Эдна сказала:

— Эти проблемы берут над вами верх. Не надо принимать все так близко к сердцу.

— Уж кто бы говорил! — вздохнул Седрик.

— Ну да, ты прав, — согласилась Эдна. И Сильвии: — Я знаю, каково это. Возвращаешься из Англии и впрягаешься в работу на адреналине, ты просто пашешь и пашешь, а потом вдруг: бамс, ты валишься без сил и два дня ни рукой, ни ногой пошевелить не можешь. Так что вот: пойдите-ка и полежите часок. Я позвоню в миссию, скажу, что вы задержитесь.

— Подождите, — сказала Сильвия, вспомнив, что еще не упомянула о самом важном для себя. За обедом она услышала, что ее, Сильвию, считают шпионкой ЮАР.

Плача, потому что, раз полившись, слезы отказывались останавливаться, она рассказала фермерам об этом, и Эдна засмеялась и сказала:

— Да не обращайтесь внимания. Не тратьте на это слез. Нас вот тоже принимают за шпионов. Дай собаке дурное имя и повесь ее. У южноафриканских шпионов фермы можно отбирать с кристально чистой совестью.

— Не говори ерунды, Эдна, — возразил Седрик. — Им не требуется никаких поводов. Они и так могут забрать у нас все в любой момент.

В кольце сильной руки Эдны Сильвия перебралась с веранды в комнату в глубине дома. Там Эдна уложила гостью на кровать, задержала

занавески на окнах и ушла. По тонкому хлопку занавесок бежали быстрые тени облаков, потом вернулся желтый предвечерний свет, потом вдруг стало темно, грянул гром, и началось светопреставление — по железной крыше забарабанил дождь. Сильвия заснула. Разбудил ее улыбающийся негр с чашкой чая. Во время войны доверенный повар Пайнов тайком провел в дом партизан, а потом сбежал с ними. «У него не было выбора, — говорил отец Макгвайр. — Он не плохой человек. Работает сейчас у Финли в Коодоо-крик. Нет, конечно, Финли не знают его историю, зачем?» Вообще же о прошедших событиях святой отец говорил с отстраненностью историка, а вот о личных тяготах и лишениях рассуждал долго и со страстью. Интересно: если судить по тону говорящего, то вчерашнее несварение желудка священника обладало той же значимостью, что и неодобрительное отношение сестры Молли к папе римскому, жалобы Пайнов на черное правительство или слезы Сильвии, огорченной пропажей лекарств.

Закат на веранде: гроза умчалась дальше, буш и цветы, все в каплях дождя, сверкают, наперебой заливаются птицы. Рай. Если бы это она, Сильвия, создала эту ферму, построила этот дом, трудилась на этой земле с такой самоотдачей, разве не чувствовала бы она то же, что и Пайны? А их жизнь сейчас отравляло горькое чувство несправедливости. Разлиты по бокалам напитки, брошены кусочки лакомств Лусаке и Шебе, чьи когти клацают и царапают по бетонному полу, когда собаки подпрыгивают с раскрытыми пастьями, Сильвия слушает — а Пайны говорят и говорят, одержимые и ожесточенные. Когда-то давно она сказала на этой веранде (но тогда она была совсем еще неофитом):

— Если бы вы, белые, учили негритянское население, то сейчас не было бы столько проблем, верно? Они бы уже умели сами все делать.

— Что вы хотите сказать? Мы же учили их.

— Да, но в иерархии должностей существовал потолок, — пояснила Сильвия. — Они не могли подняться выше определенного, весьма низкого уровня.

— Чепуха.

— Нет, это не чепуха, — признал Седрик. — Да, мы совершили некоторые ошибки.

— Кто это мы? — вскинулась Эдна. — Нас здесь даже еще не было.

Но если «ошибки» вписаны в ландшафт, в страну, в историю, тогда... Сто лет назад белые прибыли в страну размером с Испанию, огромную территорию которой населяло всего четверть миллиона негров. Вы могли бы предположить («вы» в данном случае — это Глаз истории, смотрящий

из будущего), что при таком количестве земли нет необходимости занимать чужие владения. Но в таком случае наш Глаз не учитывал бы помпу и жадность Империи. Кроме того, если оставить в стороне вопрос дележа земли (белые хотели получить участки в собственность, оградить их аккуратными заборами и закрепить границы, тогда как чернокожее население воспринимало землю как мать, которой нельзя владеть по отдельности), остается проблема дешевого труда. Когда Пайны прибыли сюда в пятидесятых, здесь проживало всего лишь полтора миллиона коренных жителей и менее двухсот тысяч белых. Безлюдные просторы, с точки зрения перенаселенной Европы. Национально-освободительные движения Цимлии еще не родились, когда Пайны заложили основание своей фермы. Невинные, если не сказать невежественные, души, они приехали в Африку из заштатного городка в Девоне, готовые трудиться ради процветания.

Теперь они сидели, наблюдали за тем, как птицы пикируют с пуансеттий, сверкающих каплями дождя, на землю, смотрели на холмы, неожиданно близкие — благодаря чистоте свежeweымытого воздуха, и один из них говорил, что ничто на свете не заставит его уехать, а другая повторяла, что она больше не желает слушать, как ее называют злодейкой, что с нее хватит.

Сильвия поблагодарила хозяев за доброту — от всего сердца, так как знала, что они считают ее странной и излишне сентиментальной идеалисткой, и вернулась через сгущающиеся сумерки в миссию. Там, за ужином, она снова подняла тему, волнующую ее, — о том, что ее называют южноафриканской шпионкой, и отец Макгвайр сказал, что его тоже в этом обвиняли. Это было в ту пору, когда он требовал от господина Мандизи школьные учебники: эта школа — вообще позор для цивилизованной страны.

— Тут каждый второй страдает паранойей, дитя мое, — сказал он. — Будет лучше, если ты пересташь изводить себя этими пустяками.

На следующее утро, в пять часов, когда солнце было еще узкой полоской желтого сияния за эвкалиптами, Сильвия вышла на маленькую веранду и увидела в предрассветной дымке трагическую фигуру — руки сжаты перед грудью, голова понурилась от боли или скорби... она узнала Аарона.

— Что случилось?

— Ох, доктор Сильвия. Ох, доктор Сильвия... — Парнишка приблизился к ней боком, спотыкаясь от обуревавших его чувств. Слезы

текли по его обычно жизнерадостному лицу. — Я не хотел. Ох, мне так-так-так жаль! Простите меня, мисс Сильвия. Дьявол попутал меня. Это точно, поэтому я так поступил.

— Аарон, я не понимаю, о чем ты говоришь.

— Я украл вашу картинку, и святой отец побил меня.

— Аарон, прошу тебя...

Он рухнул на кирпичный пол веранды, прижался головой к ограждению и зарыдал в голос. Сильвия присела возле паренька и ничего не говорила, просто была рядом. Какое-то время спустя их нашел в такой позе отец Макгвайр, вышедший вкушать утренней свежести.

— И что это такое? Я же велел тебе не говорить доктору Сильвии.

— Но мне так стыдно. И, пожалуйста, попросите ее простить меня.

— Где ты был эти три дня?

— Я боялся. Я прятался в буше.

Этим объяснялась его дрожь — Аарон мерз от голода, а не от холода, потому что с востока уже накатывало тепло.

— Иди на кухню, приготовь себе кружку крепкого чая с молоком и сахаром и сделай бутерброд с джемом.

— Да, святой отец. Простите меня, святой отец.

Аарон поплелся на кухню, все оглядываясь через плечо на Сильвию. Даже мысль о еде не могла заглушить в парне раскаяния за содеянное, хотя он, должно быть, был отчаянно голоден.

— Да что случилось?

— Он украл одну из твоих фотографий в серебряной рамке.

— Но...

— Нет, Сильвия, ты не можешь подарить ее Аарону. Она вновь стоит на своем прежнем месте. Он сказал, что ему понравилось лицо старой дамы. Он хотел посмотреть на него. Думаю, о ценности серебра этот парень не имеет понятия.

— Тогда и говорить больше не о чем.

— Но я ударил его, ударил сильно и не один раз. До крови. На старости лет стал уже не так мудр, как раньше. — Солнце вышло из-за деревьев, жаркое и желтое. Завела трещотку одна цикада, потом другая, закурлыкала голубка. — Гореть мне за это в чистилище лишнее время.

— Вы принимаете витамины?

— В свою защиту должен заметить, что эти люди прекрасно понимают старую истину: пожалеешь розгу — испортишь ребенка. Но... это не оправдание. И предполагается, что я должен выучить Аарона на слугу Бога! И для него воровство должно быть недопустимо!

— Вам нужен витамин В, святой отец. У вас расшатались нервы. Я привезла из Лондона.

Из кухни послышались недовольные голоса — Ребекки и Аарона. Священник крикнул:

— Ребекка, Аарона нужно накормить.

Голоса стихли.

— Становится жарко, пойдем в дом.

Он покинул веранду первым, за ним Сильвия. Ребекка ставила на стол поднос с утренним чаем.

— Он съел весь хлеб, который я испекла вчера.

— Значит, придется тебе испечь еще.

— Да, святой отец. — Она помялась в нерешительности. — Мне кажется, Аарон и сам собирался вернуть фотографию. Он только хотел посмотреть на нее, пока Сильвия в отъезде.

— Знаю. Я напрасно так сильно избил его.

— О'кей.

— Да.

— Сильвия, кто эта старая леди? — спросила Ребекка. — У нее красивое лицо.

— Это Юлия. Ее так звали. Она умерла. Она была моей... Думаю, она спасла мне жизнь, когда я была молодой.

— О'кей.

Человек может быть аскетом по природе своей, а не в результате решения наказать плоть. Вождь не относился к числу тех людей, которые способны изучать свою жизнь с целью измениться в лучшую сторону; он считал, что обучение у иезуитов и так гарантировало ему место на небесах. Когда же ему приходило в голову, что умеренность считается добродетелью, он вспоминал свое раннее детство, когда часто не хватало еды и всего остального. В некоторых частях света воздержание приходит как-то само собой. Его отец работал в иезуитской миссии разнорабочим и часто бывал пьян. Его мать, молчаливая женщина, почти все время болела. Он был единственным ребенком. Когда отец напивался, то бил сына, а иногда и жену — за то, что она неспособна была произвести больше детей. Мальчику не исполнилось и десяти лет, когда он встал на защиту матери, и удары пьяного отца, предназначавшиеся жене, посыпались на его руки и ноги. Шрамы остались на всю жизнь.

Мэтью был умным мальчиком, иезуиты заметили это и решили дать ему образование. Тощий, как бродячий пес (так описывал его отец Пол),

невысокий, неуклюжий в движениях, он не умел играть в игры и часто становился объектом издевок, особенно со стороны отца Пола, который невзлюбил его. Были и другие отцы, учителя и целители душ, но детское впечатление о белых сконцентрировалось для мальчика в отце Поле, никчемном человечике из Ливерпуля, сформированном несчастным детством, преисполненным презрения к чернокожим: все черные — дикари, животные, ничем не лучше обезьян. Иезуиты были строги, но отец Пол чаще других прибегал к розгам. Он порол Мэтью за упрямство, за дерзость, за грех гордыни, за разговор на родном языке и за перевод местной поговорки на английский для написания сочинения: «Не ссорься с соседом, если он сильнее тебя».

Отец Пол видел свой первейший долг в том, чтобы искоренить в учениках эту отсталость. Мэтью ненавидел в отце Поле все, а особенно его запах: священник обильно потел, редко мылся, и его черные одежды распространяли кислую звериную вонь. Мэтью ненавидел его рыжеватые волосы, торчащие из ушей и ноздрей и покрывающие тощие белые руки. Физическое отвращение порой достигало в мальчике такой степени, что он, дрожа и с горящими глазами, едва сдерживал поднимающееся в нем желание убить священника.

Он был тихим подростком и все больше читал религиозные книги. Но однажды из соседней миссии прибыл на каникулы ученик, и Мэтью подпал под очарование его кипучей, деятельной природы и, даже в большей степени, его суждений. Этот мальчик, чуть старше него, уже имел политические взгляды — незрелые, как было свойственно тому времени, еще до зарождения национального движения, — и давал Мэтью книги чернокожих авторов из Америки: Ричарда Райта, Ральфа Эллисона, Джеймса Болдуина, и памфлеты негритянских религиозных сект, которые проповедовали убийство всех белых, этого дьявольского отродья. Мэтью, безусловно способный, все еще молчаливый, поступил в колледж, оставив отца Пола в прошлом. Уже позднее, когда этот человек стал Лидером, его так описывали в бытность его студентом: «немногословный наблюдательный юноша, аскет, увлеченный чтением политической литературы, умный, не умеющий заводить друзей, одиночка».

Когда по всей стране вспыхнуло национально-освободительное движение, Мэтью быстро нашел свое место в качестве лидера местной группы. Поскольку он не умел вливаться в споры и дискуссии, то по большей части отмалчивался, в душе мечтая быть как все, таким же раскованным и общительным, но зато его молчание принесло ему репутацию хладнокровного и зрелого политика; ну и, конечно, он был

прекрасно информирован, поскольку много читал. Потом, после короткой, но грязной борьбы он возглавил Партию. Цель оправдывает средства — это был его любимый афоризм. Началась Освободительная война, и Мэтью руководил одной из повстанческих армий. Как свойственно политикам, он раздавал обещания всевозможного толка, и самым вредоносным по результатам было обещание, что каждый негр получит землю. Нелепости низшего порядка, вроде утверждения, что дезинфекция овец — это происки белого человека, были пустяками по сравнению с его главным заблуждением — что земля будет дана каждому. Но ведь он не знал тогда, что станет вождем целой страны. Когда же его Партия стала первой после Освобождения, он в душе никак не мог поверить, будто его могли выбрать из целой толпы куда более харизматичных кандидатов на власть. Мэтью не верил, что его можно любить, ненавидеть, бояться. Но: о, как же он нуждался в этом, бродячий пес нуждался в этом и будет нуждаться до конца дней своих. Затем его снова обратили (и снова благодаря влиянию сильного и убедительного характера) в марксизм, и он выступал с риторическими речами, копируя выступления других коммунистических лидеров. До глубины души восхищался Мэтью властными и жестокими вождями. Будучи главой нации, он все время путешествовал, как положено вождям, всегда в Америке, или в Эфиопии, или в Гане, или в Бурме, лишь изредка выбирая общество белых, так как он не любил их. Ему приходилось соблюдать видимость просвещенного государственного лидера, и он скрывал свои чувства, но он ненавидел белых, предпочитал даже не находиться с ними в одном помещении. За границей он инстинктивно тянулся к диктаторам, часть из которых в ближайшем будущем низвергнут, как низвергнут в бывшем Советском Союзе статуи Ленина. А вот Китай он любил, восхищался Великим прыжком вперед, культурной революцией, ездил туда неоднократно и всегда брал в числе своей свиты товарища Мо, который наставлял его в науке властвования еще до того, как Мэтью получил власть.

Но как только он получил власть, тут же стал пленником своей боязни людей. Он ни с кем не встречался, за исключением избранных соратников и одной женщиной из его деревни — с ней он спал. Он никогда не выходил из резиденции без вооруженной охраны. У него был пуленепробиваемый автомобиль — подарок одного диктатора. И у него имелся личный телохранитель, предложенный ему одним из самых жутких деспотов в Азии. Каждый вечер, когда заходило солнце, улицы вокруг его резиденции перекрывались для движения, так что гражданам приходилось искать пути объезда. И пока Мэтью был замурован стенами, возведенными его

собственными руками, во всей Африки не нашлось бы вождя, столь любимого своим народом и от которого столь много ждали. Он мог бы сделать что угодно с населением — и доброе, и плохое; как крестьяне в былые времена, они взирали на него с колен, словно на короля, который сумеет исправить все дурное, что есть в мире. Куда бы он ни повел, они пошли бы за ним. Но он никуда никого не вел. Испуганный человек прятался в самодельной тюрьме.

А тем временем так называемое «прогрессивное мнение» мира обожало его, и все джонни ленноксы, все бывшие сталинисты, либералы, которые хоть раз любили сильного человека, говорили: «А он крепкий парень, скажу я вам. Умный человек этот товарищ президент Мэтью Мунгози». Люди, лишившиеся убаюкивающей риторики коммунизма, нашли ее вновь в Цимлии.

И вполне могло бы случиться, что в эту крепость, сцементированную страхом, никто и никогда не проник бы, но кое-кому это удалось — женщине. Мэтью увидел ее на приеме в честь Организации африканского единства, эту роскошную чернокожую Глорию, вокруг которой вились все присутствующие мужского пола, а она флиртовала вовсю и щедро одаряла их улыбками, но на самом деле ее внимание было направлено на одинокого мужчину, стоящего поодаль от всех, следящего за каждым ее шагом, как голодная собака следит за пищей, подносимой не к ее пасти. Она знала, кто он такой, знала еще до приема и выстроила план. Глория предполагала, что победа будет легкой, и не ошибалась. Вблизи она очаровывала, каждый ее жест и движение восхищали Мэтью. Ее губы обладали способностью складываться так, будто она давила ими мягкий сочный плод, а глаза ее сияли лаской и смеялись — не над ним, он проверял, потому что всегда был убежден, что люди над ним смеются. И Глория была такой раскованной, каким ему никогда не быть, так свободна в своем теле, в своей волшебной плоти, в движениях и в удовольствии от движения, и от еды, и от собственной красоты. Мэтью казалось, что, просто стоя рядом с ней, он освобождается от внутренних своих оков. Глория сказала, что ему нужна женщина вроде нее, и Мэтью знал, что это так. Помимо физической красоты, он был потрясен ее интеллектом. Она училась в американском и европейском университетах, она имела друзей среди известных людей — благодаря не политике, а своему характеру. О политике Глория говорила с насмешливым цинизмом, и это шокировало Мунгози, хотя он старался не отставать от нее. Короче говоря, блистательная свадьба в скором будущем была неизбежна, и он растворился в наслаждениях. Все, что раньше было трудным или даже невозможным, вдруг стало легким. Глория сказала, что

он сексуально подавлен, и излечила его от этого недуга — насколько позволила его натура. Она сказала, что ему нужно больше развлекаться, что он никогда не умел жить. Когда он рассказал ей о своем нищем, щедром только на наказания детстве, Глория покрыла его чмокающими поцелуями и прижала его голову к своей массивной груди.

Она смеялась над всем, что он делал.

И вот еще что: с самого начала своего правления Мэтью порицал жадность, не разрешал соратникам, чиновникам, власть имущим обогащаться. Это говорило в нем последнее, что осталось от детства и воспитания у иезуитов, которые внушали ему, что бедность стоит рядом со святостью. Какими бы отцы-иезуиты ни страдали пороками, но все как один они были бедны и не потворствовали своим слабостям. Однако Глория заявила, что Мэтью сумасшедший и что она все равно купит вот этот большой дом, ту ферму, потом еще одну ферму, а потом несколько отелей, которые появились на рынке в большом количестве из-за массового отъезда белых. Она говорила ему, что нужно открыть счет в швейцарском банке и следить за тем, чтобы туда постоянно поступали деньги. Какие деньги, хотел он знать, и она высмеяла его наивность. Но когда Глория говорила о деньгах, он все еще видел худые руки матери, сжимавшие жалкую горстку банкнот и монет, приносимых отцом в конце месяца, и сначала, когда голосовали за размер его зарплаты, настоял на том, чтобы она не превышала зарплату чиновника высшего звена. Все это Глория изменила, отмела все возражения Мэтью презрением, смехом, ласками и практичностью, потому что она взяла в свои руки контроль над всей его жизнью, а будучи Матерью страны, легко сумела добиться, чтобы деньги текли в нужном ей направлении. Это она с ловкостью жонглера переправляла большие суммы, поступавшие от благотворителей и благодетелей, на свои счета. «Ох, ну и оставайся дураком, — восклицала она раздраженно, когда Мэтью пытался протестовать. — Все счета на мое имя. Ты тут ни при чем».

Битвы за человеческую душу редко бывают столь очевидными — и столь короткими, — как та, в которой дьявол боролся за душу товарища Мэтью. И Цимлия, до этого дурно управляемая на принципах дурно усвоенного марксизма, обрывках догмы и непонятых фраз, вырванных из контекста учебников по экономике, теперь с огромной скоростью погрузилась в коррупцию. Национальная валюта стала неуклонно девальвироваться. В Сенге богачи продолжали богатеть, а в провинции, в местах вроде Квадере, жалкие ручейки денег пересохли вовсе.

Глория меж тем цвела, становилась все очаровательнее, красивее и

богаче, приобретая еще одну ферму, лес, все новые гостиницы, рестораны — и нося их как ожерелье. И с тех пор, когда товарищ президент Мэтью ехал за границу на встречу с милыми его сердцу людьми в новой Африке и новой Азии, он сидел молча, пока они обсуждали свое богатство и кичились своей алчностью. Теперь он тоже мог похвастаться тем и этим, и когда эти люди выказывали ему в ответ свое восхищение, осыпали его подарками и лестью, одинокое место в его душе, где неприкаянно трусил тощий бродячий пес с поджатым хвостом, наполнялось теплом и светом, хотя бы на время, а Глория ласкала, и гладила, и терлась, и лизала, и прижимала его к своим великолепным грудям, и целовала старые шрамы на его ногах. «Бедный Мэтью, мой бедный, бедный мальчик».

За день до того, как отправиться в Лондон, Сильвия стояла на тропе — там, где заканчивались олеандры, гибискус и кусты свинчатки, и смотрела вниз на больницу с простительной гордостью. Теперь всякий без колебаний мог назвать больницей это скопление зданий. От товарища Мандизи денег не поступало уже очень давно, но обвал цимлийской валюты означал, что небольшие суммы в Лондоне превращались здесь в большие. Десяти фунтов (это стоимость пакета продуктов в Лондоне) здесь хватало на строительство тростниковой хижины или на пополнение запаса антибиотиков и таблеток от малярии.

Теперь у нее было две «палаты» — так она называла длинные сараи с тростниковой крышей, причем с той стороны, с которой чаще приходил дождь, крыша свисала почти донизу. В каждой палате имелось по дюжине тюфяков с настоящими одеялами и подушками. Сильвия планировала возведение еще одного сарая, потому что два существующих были заполнены жертвами СПИДа, или худобы. Правительство наконец решило признать эту болезнь и призвало зарубежных доноров оказать помощь. Сильвия знала, что ее палаты в деревне называют «умирающими хижинами», и поэтому она хотела построить новую палату — для пациентов, у которых всего лишь малярия или сложные роды, то есть обычные недомогания. Еще она возвела настоящий кирпичный домик, который называла своим кабинетом, и в нем стояла высокая кровать, сделанная деревенскими умельцами из шестов и кожаных ремней, а на ней лежал хороший матрас. Здесь Сильвия обследовала пациентов, ставила диагноз, назначала лечение, вправляла руки и ноги, перевязывала раны. Во всем этом ей помогали Умник и Зебедей. За новые строения, за лекарства, за все платила она сама. Сильвия слышала, как в деревне говорили: «Ну да, она и должна платить. Ведь сначала она все это украла у нас».

Инициатором подобных разговоров был Джошуа. Ребекка ее защищала, говорила всем, что без Сильвии не было бы никакой больницы.

В день своего возвращения из Лондона Сильвия пришла на то же самое место, посмотрела на свою больницу, и отчаяние охватило ее: подобное часто случается с теми, кто только что вернулся из Европы. То, что она видит ниже по склону, — это всего лишь жалкая кучка лачуг, и терпимо относиться к ним можно, только забыв о Лондоне, забыв о доме Юлии, его прочности, надежности, постоянстве, о его комнатах, наполненных вещами, каждая — с определенным предназначением, обслуживает конкретную потребность из множества других потребностей, так что каждый день любой человек, находящийся в доме, был поддерживаем словно армией немых слугителей с утварью, инструментами, приспособлениями, механизмами, поверхностями, чтобы сидеть или класть, — хитросплетением вечно размножающихся вещей.

Рано утром Джошуа откатывался от своего места возле бревна, которое горело по центру хижины, дотягивался до горшка с вчерашней кашей, выковыривал щепкой несколько застывших кусков, быстро проглатывал их, утоляя потребность желудка, пил воду из жестянки, что стояла на полке, оббегающей хижину по всему периметру, потом делал несколько шагов в буш, мочился, иногда присаживался, чтобы испражниться, брал свой посох, сделанный из толстой ветки, и преодолевал милю или около того до больницы, где опускался на землю спиной к стволу дерева — чтобы просидеть так весь день.

Наверное, ей, «религиозной», как называла Сильвию Ребекка («Я сказала в деревне, что вы религиозная»), следовало бы восхищаться этим доказательством такой бедности посреди богатства и, вероятно, силой духа, хотя она не считала себя вправе судить о таких вещах. Тот огромный, бьющий через край город, заполняющий собой столько квадратных миль, такой богатый (какой же он богатый!), — и эта группка хибарок и лачуг: Африка, прекрасная Африка, которая подавляет дух своей нуждой, где не хватает всего и где повсюду люди, черные и белые, работают так тяжело, чтобы... чтобы что? Чтобы наклеить кусок пластыря на старую незаживающую рану. И она занята тем же самым.

Сильвии казалось, будто она сама, ее сущность, материя ее веры утекает сквозь землю, пока она стоит там. Закат, и сезон дождей выталкивает солнце с неба черной низкой тучей, зависшей над горизонтом и осиянной толстыми золотыми лучами, которые расходятся над ней как над головой святого. Сильвии казалось, что над ней издеваются, что какой-то ловкий вор крадет у нее что-то и при этом смеется над ней. Что она

здесь делает? И что хорошего она сумела сделать? И прежде всего, где та невинность веры, которая поддерживала ее в первые месяцы после приезда сюда? И во что же она верила? В Бога — да, можно сказать так, если не требуется давать точных дефиниций. Она перенесла, с симптомами столь же классическими, как симптомы приступа малярии, обращение в Веру — так называл это отец Макгвайр, и она понимала, что началось все благодаря аскетичному отцу Джеку, в которого она была влюблена, хотя в то время думала, что влюблена в Бога. Ничего не осталось от той бесстрашной определенности, и Сильвия знала только, что просто должна выполнять свой долг здесь, в этой больнице, так как сюда ее привела Судьба.

Состояние ее ума можно еще описать и в клинических терминах — и оно описано в сотнях религиозных текстов. Врачи ее Веры сказали бы: «Не думаю об этом, это ничто, сезоны засухи приходят ко всем нам».

Но Сильвия не нуждалась в этих экспертах человеческой души, не нуждалась в помощи отца Макгвайра, чтобы поставить себе диагноз. Тогда зачем ей духовный наставник, ведь она не собирается ничего рассказывать ему, заранее зная, что он скажет?

Но главный вопрос был вот в чем: почему отцу Макгвайру так легко сказать «сезон засухи», а для нее это как приговор самоизоляции? К обращению ее привели голодная душа и еще гнев, хотя поняла она это только недавно. Сильвия узнавала себя такой, какой она была тогда, в Джошуа, в котором беспрерывно кипел гнев, выплескиваясь наружу горькими обвинениями и требованиями. Так кто она такая, чтобы критиковать Джошуа? Она ведь тоже знала, что значит воспаленный гнев, он и ей отравлял душу, хотя в то время она думала, что ей просто не хватало чьих-то нежных объятий — объятий Юлии. И неужели теперь она критикует Юлию за то, что ее любви не хватило, чтобы удовлетворить ту потребность юного сердца, и Сильвии пришлось идти к отцу Джеку? А что же утолило ее потребность? Работа, всегда и только работа. Вот поэтому она и стоит здесь сейчас, на сухом холме посреди Африки, с ощущением, что все, сделанное ею, и все, что она еще сможет сделать, принесет не больше пользы, чем полив песка из жестяной кружки в жаркий день.

Сильвия думала: «Ни один человек в Европе (если только он не приезжал сюда и не видел все сам) не сможет осознать глубину этой абсолютной нужды, полное отсутствие всего у людей, которым их правители обещали все». Вот отчего охватывал ее холодный, немой ужас — точно такой ужас испытывала она перед СПИДом, таинственной, скрытной болезнью, которая пришла ниоткуда (от обезьян, говорят, возможно, от тех самых, что иногда играют в буше неподалеку). Вор, приходящий ночью, —

так она представляла себе СПИД.

Сердце разрывалось... Нужно будет велеть Зебедею и Умнику сообщить строителям о том, что будет строиться еще одно прочное кирпичное здание. И она согласится на просьбу деревенских жителей о дополнительных уроках.

Отец Макгвайр, услышав о дополнительных уроках, заметил, что Сильвия выглядит утомленной, ей нужно больше отдыхать.

Вот когда она могла бы упомянуть про сезон засухи и даже пошутить на этот счет, но вместо этого она спросила, принимает ли священник витамины и почему он не поспал после обеда? Он выслушивал ее наставления терпеливо, с улыбкой — так же, как выслушивала его она.

Сильвия призвала Колина «сделать что-нибудь для Африки» — он осознал, в каких словах описывает ситуацию, и посмеялся — над собой. «Африка»! Как будто он не знает. Где-то за океаном лежит континент, который для большинства людей представляется ребенком, протягивающим руку. Но Сильвия говорила не об Африке, а о Цимлии. Помочь Сильвии — его долг. Не сам ли он говаривал со смехом, что Диккенс уже давно вывел в образе миссис Джеллаби тех людей, которые, вместо того чтобы обратить внимание на то, что творится у них в доме, все рвутся помогать Африке. Почему именно Африке? Почему не Ливерпулю? Левые в Европе, привычно занимаясь событиями, далекими от их страны, встали на сторону Советского Союза — и чуть не похоронили себя вместе с ним. Если не Советский Союз, то есть еще Африка, Индия, Китай, что угодно, но особенной популярностью пользовалась Африка. Он должен что-то сделать в связи с этим, это его долг. Ложь — Сильвия утверждает, что об Африке говорят много лжи. Да разве это новость? Чего еще ожидать? Так бормотал и ворчал Колин, бродящий, как медведь в клетке, по комнатам, которые стали слишком тесны после рождения ребенка, слегка нетрезвый (но только слегка, потому что он послушался Сильвию). Да, и почему она решила, что он способен писать об Африке? Или что он знаком с людьми, которых эта тема не оставит равнодушными? Никого он не знает в этом мире: ни в газетах, ни в журналах, ни на телевидении; он практически носа не высовывает из дома, пишет книги... хотя нет, у него есть один друг, да-да, и это то, что надо.

В тот затянувшийся период своей жизни, когда Колин в компании со смешным песиком все время проводил в пабах или за разговорами с незнакомцами на парковых скамьях, он завел приятеля, веселого собутыльника. Семидесятые: Фред Коуп жил в молодости так, как было в

те годы принято: ходил на демонстрации, нападал на полицейских, выкрикивал лозунги и вообще всячески привлекал к себе внимание. Но в обществе Колина, который отрицал подобное времяпровождение, Фред иногда склонялся к его критике. Оба молодых человека догадывались, что каждый из них являл собой скрытые черты другого. В конце концов, ведь если бы не его убеждения, Колин с удовольствием ввязался бы в шумную конфронтацию. Что касается Фреда Коупа, то к восьмидесятым он открыл в себе чувство ответственности и серьезность. Он женился. Он обзавелся домом. Десятью годами ранее он подшучивал над Колином за то, что тот жил в Хэмпстеде. Это слово носило уничижительный характер и бралось на вооружение всяким, кто хотел идти в ногу со временем. Хэмпстедские социалисты, хэмпстедский роман, Хэмпстед как место жительства — все это были отличные мишени для насмешки, но как только критики Хэмпстеда могли себе это позволить, они немедленно покупали дом не где-нибудь, а в Хэмпстеде. И в том числе Фред Коуп. Он был теперь редактором одной газеты, «Монитор», и иногда два старых приятеля встречались, чтобы пропустить по стаканчику.

Было ли хоть одно поколение, которое не взирало бы с удивлением (хотя давно уже пора было привыкнуть) на то, как тунеядцы, правонарушители и бунтари их молодости превращаются с годами в рупор взвешенных суждений? Колин, когда набирал номер Фреда, напоминал себе, что зачастую носители взвешенных суждений не в силах припомнить бывшие безрассудства. Двое друзей встретились в пабе в воскресенье, и Колин сразу взял быка за рога.

— У меня есть сестра... то есть почти сестра. Она работает в Цимлии и недавно приезжала ко мне, говорила, что тут у нас совершенно неверно представляют дорогого товарища президента Мэтью. На самом-то деле он тот еще плут.

— Да все они одного поля ягоды, — отозвался Фред Коуп, на миг вернувшись к своей бывшей роли скептика во всем, что касалось власти, но добавил: — Но вроде он получше остальных, нет?

— Я нахожусь в двойственном положении, — сказал Колин. — Помни, что слышишь ты голос Колина, но слова принадлежат Сильвии. Это про нее я рассказываю. Так вот, она была очень расстроена. Думаю, тебе может оказаться полезно ознакомиться с иной точкой зрения.

Редактор улыбнулся.

— Дело в том, что нельзя судить их по нашим стандартам. Они там испытывают огромные трудности. И у них совершенно иная культура.

— А почему нельзя? Ты не находишь, что с нашей стороны это чистое

высокомерие? И разве уже не наелись мы этим «несуждением по нашим стандартам»?

— Мм... да-а-а... — протянул редактор. — Я понимаю, о чем ты. Ладно, я займусь этим.

Преодолев то, что оба собеседника восприняли как неловкость, они постарались вернуться к славной безответственности их молодости, когда взгляды Колина были таковы, что он не решался озвучить их вне стен своего дома, а Фреду его молодые годы казались теперь непрекращающимся праздником распущенности и анархии. Но у них ничего не получилось. У Фреда скоро должен был родиться второй ребенок. Колин, как обычно, мог думать только о книге, которую писал. Он подозревал, что, вероятно, должен был с большим прилежанием отнестись к просьбе Сильвии, но у него же было лучшее оправдание из всех — он как раз начал писать новый роман. Кроме того, он почему-то всегда чувствовал себя виноватым перед Сильвией и не понимал в чем именно. Да, Колин забыл, как сердился он, когда она поселилась в доме Юлии, как изливал свою ярость на мать. Сейчас он оглядывался на то время с гордостью: он, и Софи, и любой из тех, кто тогда приходил и уходил из дома, любили поговорить о том, как замечательно они все вместе там жили. Но зато Колин четко знал, что всегда завидовал тому, как близок с Сильвией был его старший брат. Теперь же ее религия и то, что ему казалось невротической потребностью в самопожертвовании, вызывали в Колине раздражение. И этот последний ее визит, который закончился тем, что он посадил Сильвию к себе на колени — о, как все это было неловко! Но, несмотря ни на что, он любил ее — как сестру, — да, любил, и был обязан сделать что-нибудь для Африки, и сделал.

Но погодите, есть же еще Руперт, который выслушал его и сказал точно так же, как Фред Коуп, что их (кого их — всю Африку, что ли?) нельзя судить по нашим стандартам.

— А как же правда? — спросил Колин, зная по долгому и болезненному опыту, что правда всегда была и останется бедной родственницей. Нет, Руперт не относится к числу духовных наследников товарища Джонни, а если и был в их числе раньше, то, вероятно, обнаружил, что призывы содействовать правде и говорить только правду на поверку оказались всего лишь призывами, словами. Хотя из Советского Союза «правда» поступала каплями и фрагментами, а не солидными порциями, которые станут доступными через ближайшие десять лет; хотя эта великая империя все еще существовала (но, разумеется, ни один человек, хотя бы отдаленно ассоциирующий себя с левыми, никогда бы не

назвал ее империей), выяснилось и выявлялось достаточно, чтобы все уяснили: правда должна быть у всех на повестке дня. Но что касается Руперта, он всегда был всего лишь хорошим, честным либералом, и теперь он сказал:

— Не кажется ли вам, что правда порой приносит больше вреда, чем пользы?

— Нет, мне так не кажется, — категорично ответил Колин.

Потом Колин позабыл о просьбе Сильвии — он обустроивал свой кабинет в цокольной квартире, так как Мэриел наконец съехала. Ему нужно было завершать роман: Юлия оставила не столько денег, чтобы можно было расслабиться, сесть сложа руки.

Фред Коуп запросил из архивов газеты и других источников все статьи, что писались про Цимлию, прочитал их и пришел к выводу, что эта страна всегда пользовалась значительным кредитом доверия со стороны мировой общественности. Одним из экспертов, чье имя чаще других стояло под статьями о Цимлии, была Роуз Тримбл. Похоже, она вообще не находила в этом африканском государстве поводов для критики, тогда кто у нас остается еще? У «Монитора» в Сенге имелся внештатный корреспондент, ему-то и дали задание написать очерк под заголовком «Первое десятилетие Цимлии». Редакция получила от него наиболее критическую статью из всех, в то же время корреспондент напоминал читателям, что Африку нельзя судить по европейским стандартам. Фред Коуп послал Колину вырезку: «Надеюсь, ты ожидал что-то в этом роде?» И постскриптом: «А ты сам не хотел бы написать заметку с рассуждениями о том, что афоризм Прудона "Собственность есть кража" мог послужить причиной коррупции и коллапса современного общества? Лично я все чаще склоняюсь к такому мнению, тем более что наш дом за последние два года обворовывали трижды».

На очерк в «Мониторе» обратил внимание редактор той газеты, в которой регулярно печатались статьи Роуз Тримбл о Цимлии и товарище президенте Мэтью, и поручил ей вернуться в Цимлию и посмотреть, соответствует ли нынешняя ситуация в стране тому, о чем пишет корреспондент «Монитора».

Роуз к тому времени уже сделала себе имя в газетном мире. Этим она была обязана своевременному восхвалению Цимлии, но то было только начало. Дальше у нее все сложилось как надо. «Возблагодарим же Бога, который назначил нам наш час» — эту стихотворную строчку Роуз могла бы произнести с полным на то основанием, только за всю жизнь она не прочла ни одного стихотворения и не упоминала бога без ухмылки. Живя в

доме Юлии, она чувствовала себя неполноценной, но, покинув его, избавилась от этого ощущения; наоборот, теперь Ленноксы казались ей существами второго сорта. Восемидесятые поистине были ее временем. Как раз те качества, которыми обладала Роуз, и требовались в эпоху, когда аплодисменты доставались тем, кто преуспевает, богатеет, идет по головам других. Она была безжалостной, корыстной, она инстинктивно презирала людей. Хотя Роуз поддерживала отношения с относительно серьезной газетой, для которой писала свои очерки о Цимлии, свою нишу она нашла в «Уорлд скандалс», где ее задача состояла в том, чтобы выслеживать слабости, вынюхивать сплетни, а потом охотиться за избранной жертвой день и ночь, пока у нее на руках не окажется убийственное разоблачение. Чем выше в обществе вращалась несчастная жертва, тем лучше. Роуз ночевала под дверьми чужих домов, копалась в мусорных баках, подкупала родственников и друзей, чтобы найти или изобрести дискредитирующие факты: она хорошо выполняла эту работу стервятника, и ее боялись. Особенную известность она приобрела за свои «портреты», вознесшие журнализм на новые высоты мстительности. И все это давалось Роуз легко, потому что она искренне не видела в людях ничего хорошего. Она изначально была уверена в том, что правда о них окажется позорной и что истинную сущность человека всегда составляют неприятные качества. Глумление, презрение, издевка шли из глубины ее души, и таких, как она, было целое поколение. словно что-то некрасивое и жестокое, что раньше пряталось, вдруг вылезло в Англии на поверхность: так нищий калека на площади поднимает рубище, обнажая страшные язвы. То, что раньше почиталось, теперь подвергается осмеянию; порядочность, уважение к другим считается ныне нелепостью. Читателям показывали мир через грубый экран, отсеивающий все приятное и симпатичное, и тон задавали Роуз Тримбл и ей подобные, кто неспособен был поверить в бескорыстность. Особенно Роуз ненавидела людей, которые читают книги, а точнее, которые притворяются, что их читают — ну конечно же, все это лишь притворство; она презирала искусство и с особым удовольствием издевалась над театром; сама она любила смотреть жестокие и кровожадные фильмы. Общалась она только с такими же, как она, ходила в одни и те же пабы и клубы. Роуз и близкие ей по духу люди понятия не имели, что представляют собой новый феномен, нечто такое, от чего предыдущие поколения отвернулись бы, назвали бы бульварной прессой, годной лишь для низших слоев населения. Однако даже сама эта фраза показалась бы Роуз чуть ли не комплиментом, подтверждением ее смелости в погоне за правдой. Да, откуда же им было знать? Они насмеялись над

историей, потому что не знали ее. Только два раза в жизни писала она с одобрением и восхищением — о товарище президенте Мэтью Мунгози и затем, позднее, о товарище Глории, которую обожала за бессердечность. Только тогда ее перо не сочилось ядом. Статья же в «Мониторе» вызвала у Роуз приступ ярости и... что-то похожее на страх.

Встретившись с журналистом, который работал на «Монитор», она выведала, что за статьей стоял Колин Леннокс. И кто он такой, черт возьми, чтобы говорить об Африке?

Колина она ненавидела. Роуз всегда считала писателей и поэтов какими-то шарлатанами, которые делают что-то из ничего и при этом остаются совершенно безнаказанными. На момент выхода его первого романа сама Роуз еще только вступала на журналистское поприще, но зато вторую книгу Колина она от души полила грязью, а заодно и всех остальных Ленноксов; третий роман заставил ее трястись в пароксизме злости. Там рассказывалось о двух людях, очень непохожих друг на друга, которые испытывали взаимное чувство — нежную и странную любовь. То, что она длилась, казалось им обоим злой шуткой судьбы. Каждый из них имел партнера, вел свою жизнь, но все равно они тайно встречались, чтобы разделить связывающее их чувство: что они понимают друг друга так, как никто больше не мог их понять. В целом отзывы о романе были положительные, критики говорили, что он поэтичен и выразителен. Кто-то назвал роман «эллиптическим», и это слово окончательно взбесило Роуз — ей пришлось искать его в словаре. Она читала роман, то есть пыталась: на самом деле она не могла читать ничего сложнее газетной статьи. Конечно, роман был о Софи, об этой зазнавшейся сучке. Ладно, они еще узнают. Роуз вела досье на Ленноксов, куда вносила всякую всячину, в том числе и то, что украдал давным-давно, пока бродила по дому, вынюхивая что можно. Она собиралась «показать им». Она любила перелистывать свои папки, эта уже довольно тучная женщина с неизменной злорадной ухмылкой, которая превращалась в издевательский смех каждый раз, когда Роуз удавалось найти особенно едкое слово или фразу.

На самолете в Сенгу ей досталось место рядом с грузным мужчиной. Роуз просила пересадить ее, но самолет был полон. В любом движении соседа она видела агрессию, направленную против нее, и его взгляды искоса расценивала как надменные. Он положил руку на подлокотник, разделяющий кресла, не оставив места ей. Тем не менее Роуз пристроила руку рядом с его рукой, чтобы заявить о своих правах, но мужчина пошевелился, а ей приходилось концентрировать все свое внимание на том, чтобы рука не соскальзывала. Подлокотник освободился только тогда,

когда сосед потребовал от разносившей напитки стюардессы виски. Он одним махом вылил порцию себе в горло и потребовал еще. Роуз восхитилась его властным обращением со стюардессой, чьи улыбки были насквозь фальшивыми, уж Роуз не проведешь. Она тоже попросила виски и тоже выпила его одним глотком — ее не переплюнешь, и села со стаканом в руке, ожидая добавки.

— Чертовы халтурщики, — сказал этот мужчина, в котором Роуз как женщина видела своего заклятого врага. — Думают, что им все сойдет с рук.

Роуз не знала, на что он жалуется, и поэтому ответила фразой, годной для любого случая:

— Все они одинаковы.

— Точно. Выбирай не выбирай, все дерьмо.

Потом и Роуз увидела, как стюардесса приглашает пройти в салон то ли первого, то ли бизнес-класса двух чернокожих пассажиров, которые сидели в хвосте самолета.

— Ну, посмотрите на них! Выделяются, как обычно.

Идеология требовала, чтобы Роуз возразила, но она сдержалась: да, рядом с ней сидит один из неисправимых белых, но им предстояло провести бок о бок девять часов.

— Если бы они поменьше важничали да побольше времени уделяли управлению страной, может, еще и вышел бы какой-то толк.

Его рука и плечо грозили задавить Роуз.

— Простите, но кресла такие маленькие. — И она демонстративно вытолкнула соседа плечом со своей половины. Он скосил на нее полуприкрытый глаз. — Вы занимаете слишком много места.

— Да вы и сами не из худеньких. — Но руку убрал.

Подали ужин, но он отказался от подноса с коробочками:

— Я избалован едой со своей фермы.

Роуз приняла свою порцию и стала есть. Значит, она сидит рядом с белым фермером. Понятно, почему он сразу ей так не понравился. Нет, надо воспользоваться возможностью, посмотреть, не выйдет ли из этого статьи. Сосед неприкрыто наблюдал за тем, как она ест. Роуз знала за собой привычку есть жадно и много и решила воздержаться от пудинга.

— Давайте я съем его, раз вы не хотите, — сказал он, протягивая руку к стаканчику с кремовой массой. И проглотил все залпом. — Что ел, что не ел, — заявил он. (И к тому же еще невежа.) — Я привык к хорошей жратве. Моя жена шикарно готовит. И мой повар тоже.

Повар!

— Так, значит, дома вас хорошо обслуживают, — сказала Роуз, используя принятый на тот момент политический жаргон.

— Что? — Сосед догадывался, что она критикует его, но не понимал за что. Роуз решила не вдаваться в объяснения. — А вы что делаете, когда дома? И, кстати, где ваш дом? Вы уезжаете из него или возвращаетесь?

— Я журналист.

— О, господи, вы как раз тот человек, который мне нужен. Вы, я полагаю, собираетесь написать очередной панегирик о прелестях черного правительства?

У Роуз включился профессионализм, и она сказала:

— Ладно, говорите. Я слушаю.

И он заговорил. Он говорил и говорил. Вокруг них продолжалась суета с едой, напитками, беспощинной торговлей, потом выключили на ночь освещение, а сосед Роуз все не мог остановиться. Его зовут Барри Энглтон. Он фермерствовал в Цимлии всю свою жизнь, а до него — его отец. У них столько же прав, сколько... и так далее. Роуз перестала вслушиваться в его слова, потому что ей стало ясно: ее влечет к этому мужчине, хотя он ей вовсе не симпатичен, и его жаркий ворчливый голос уносил ее туда, где она таяла, таяла...

Отношения Роуз с мужчинами были обречены на неудачу — такие времена. Она, разумеется, относилась к ярким феминисткам. Замуж она вышла в конце семидесятых за товарища, с которым познакомилась во время демонстрации перед американским посольством. Он соглашался со всем, что она говорила о феминизме, мужчинах, женской доле; он, улыбаясь, стремился не отставать от нее в прогрессивных формулировках; однако Роуз видела, что все это лишь поверхностная уступчивость, а на самом деле муж не понимает женщин и свою фатальную наследственность. Она критиковала его за все, и он только поддакивал, что да, тысячи лет преступного ущемления в правах невозможно исправить за один день. «Я бы сказал, что ты очень здраво тут рассуждаешь, Роузи», — говорил он добродушно, с задумчивым видом, когда она заканчивала длинную тираду, где упоминалось все — от выкупа за невесту до женского обрезания. И улыбался. Он вечно улыбался. Его розовое, пухлое, желающее угодить лицо выводило ее из себя. Роуз ненавидела мужа, хотя повторяла себе, что в принципе он — неплохой материал. Ее сбивало с толку то, что, поскольку ей вообще почти ничего не нравилось, она не считала, что нелюбовь к мужу может стать основанием для анализа ее собственного поведения. Правда, иногда Роуз приходило в голову, уж не ее ли привычка раздраженно комментировать его действия, когда они занимались сексом,

довела мужа до импотенции. Чем больше он соглашался с ней, чем больше улыбался, и кивал, и ловил каждое слово из ее рта, тем сильнее Роуз его презирала. И когда она потребовала развод, он сказал: «Что ж, это справедливо. Я всегда говорил, что ты для меня слишком хороша, Роузи».

А этот мужчина, Барри, — совсем другое дело.

Со ступеней аэропорта Роуз следила за тем, как он расплачивается с носильщиком — повелительно, барственно, она аж вскипела от негодования. А он, заметив, как она стоит со своим большим чемоданом и оглядывается в поисках заказанного такси, подошел к ней вразвалочку и сказал:

— Я подвезу вас до города.

Барри поставил свой чемодан рядом с ее и ушел на стоянку. Через мгновение перед Роуз вырулил большой «бьюик», передняя дверь распахнулась. Она села. Материализовался негр и сложил их вещи в багажник. Барри снова дал денег.

— Я заказывала такси.

— Не велико горе, шофер найдет себе другого пассажира.

Еще в самолете Барри закончил свои излияния своеобразным приглашением:

— Почему бы вам не приехать ко мне на ферму и не посмотреть на все своими глазами?

Роуз отказалась, а теперь жалела об этом. Но недолго.

— Поехали на ферму, позавтракаем, — предложил Барри.

Роуз была знакома с тем, что мог предложить ей город Сенга; она находила его скучным захолустьем с высоким самомнением. На самом деле о Цимлии она думала совсем не то, что писала о ней, а прямо противоположное. Только товарищ президент Мэтью искупал недостатки страны, а теперь... Она пожала плечами и сказала:

— Почему бы и нет?

Они не поехали через город, а объехали его вокруг и скоро углубились в буш. Не каждый может полюбить Африку, и Роуз в том числе, хотя она знала, что есть те, кто любит, да и как было не знать о них, ведь обожатели континента так громогласны. (И почему они ходят с таким видом, будто эта их любовь является доказательством их внутреннего благородства?) Прежде всего, Африка слишком велика. Потом эта диспропорция между городскими и культивированными территориями и нетронутыми землями. Сплошные заросли проклятого буша и беспорядочные холмы, и всегда риск каких-то волнений и нарушений порядка. Роуз не выезжала обычно за пределы городов, максимум, на что могла согласиться, это пятиминутная

прогулка по заповеднику. Ей нравились тротуары, и пабы, и залы заседаний, где произносились речи, и рестораны. Но сейчас она сказала себе, что было бы неплохо познакомиться с белой фермой и белым фермером, хотя, само собой, о его жалобах она писать не станет, ведь вся его критика сплошь касается чернокожих, а нынче политика совсем другая. Ладно, назовем этот визит расширением кругозора — с небольшой натяжкой.

Когда они остановились перед большим зданием из кирпича-сырца в окружении горстки эвкалиптов (Роуз оно показалось уродливым), Барри велел госте обойти дом и зайти с парадного входа, а ему нужно еще заглянуть на кухню, распорядиться насчет завтрака. Еще не было и восьми, при обычных обстоятельствах Роуз спала бы еще час. Солнце стояло высоко, было жарко, яркие цвета резали глаз — сплошь алое, пурпурное и насыщенная зелень, и повсюду розоватая пыль. Ее обувь почти исчезала в ней. Уходя, он ворчливо заметил:

— Моя жена на этой неделе в отъезде. Приходится самому заниматься этой чертовой кухней.

Это не прозвучало как предложение немедленно проследовать в кровать и не тратить время на общепринятые условности. Роуз медленно обогнула дом, взошла по ступенькам крыльца, оказалась на веранде, открытой с трех сторон, которую сначала приняла за недостроенную комнату. Показался на миг Барри, чтобы сообщить:

— В хлеву что-то стряслось, чтоб их. Заходите в дом, бой подаст вам завтрак. Я скоро буду.

Роуз обычно не завтракала. И сейчас не хотела есть. Но она прошла через одну просторную комнату, показавшуюся ей какой-то неуютной (подушек добавить, что ли?), и очутилась в другой, где стоял большой стол, рядом с которым ее ожидал улыбающийся старый негр.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал слуга, и она села, оглядывая блюда с яйцами, беконом, помидорами, колбасой.

— У вас есть кофе? — спросила Роуз негра, и это было первое ее обращение в жизни к прислуге — чернокожей, разумеется.

— О, да, конечно, кофе. У меня есть кофе для миссус, — с готовностью подтвердил старик и налил ей кофе.

Роуз с удовлетворением отметила, что струйка, льющаяся из серебряного носика, достаточно густая.

Она положила себе яйцо и завиток бекона. Тем временем вернулся хозяин дома. Он швырнул в угол какую-то железяку, отодвинул со скрежетом стул и сел.

— Это что, все? — спросил Барри, недовольно глядя на ее полупустую тарелку и наваливая на свою гору всего. — Давайте-ка, поднажмите.

Роуз взяла еще одно яйцо и спросила (правда, вопрос не прозвучал так равнодушно, как ей того хотелось):

— Так где ваша жена, вы сказали?

— Шляется без дела. Женщины любят шлаться без дела, вы не знали?

Роуз вежливо улыбнулась. Уже много часов назад ей стало ясно, что феминистская революция победила еще не во всех уголках мира.

Барри подкладывал себе яйца и бекон, пил кофе чашку за чашкой, потом сказал, что ему надо объехать ферму, проверить, что тут без него понаделали эти негры. Она тоже может поехать посмотреть. Сначала Роуз отказалась, но под его хмурым взглядом согласилась.

— С вами не так-то просто сладить, — прокомментировал он, но, по-видимому, ничего такого под этим не подразумевая.

Роуз предпочла бы услышать от него примерно следующее: «Иди в ту комнату, там кровать, ложись и жди меня». Вместо этого она почти три часа подряд тряслась в старом грузовике от одной точки бескрайней фермы до другой, где Барри ждали группа чернокожих работников, или механик, или еще какой-то человек в комбинезоне и где он раздавал указания, спорил, не соглашался, сдавался: «О'кей, о'кей, может, ты и прав, сделаем по-твоему» или кричал: «Ради бога, посмотри, что ты наделал, я же говорил тебе, говорил! Теперь сделай снова, но на этот раз как следует». Она не имела ни малейшего представления о том, что видит, что делают все эти люди, и хотя дурно пахнущие коровы тоже появились в какой-то момент, оправдав тем самым ожидания Роуз, все же она ничего здесь не понимала. И у нее дико болела голова. По их возвращении на ферму Барри хлопнул в ладони, и возник поднос с чаем. Барри весь вспотел, покраснелся, вымазал рукав рубашки в смазке — в общем, был неотразим в глазах Роуз, но он пробурчал, что ему, черт побери, нужно заняться несносными бумагами, это правительство убьет его когда-нибудь своими писульками, и не займет ли Роуз себя чем-нибудь до обеда? Она отправилась на веранду, зажатую со всех сторон слепящим блеском, уселась в кресло с обивкой из приятно знакомой ткани и листала южноафриканские журналы. Вероятно, это мир его жены — значит, и ее тоже.

Прошел час. Обед. Мясо, горы мяса. Роуз знала, что есть мясо не политкорректно, но она обожала все мясное и с аппетитом пообедала.

Потом ее стало клонить в сон. Барри поглядывал на гостью искоса, и она могла бы истолковать его взгляды как «Давай?..», но, наверное, ничего такого он не имел в виду, так как сказал:

— Мне надо соснуть. Ваша комната вон там.

С этими словами он удалился в одном направлении, а Роуз пошла в другом. Свой чемодан она обнаружила на каменном полу рядом с кроватью, на которую повалилась и тут же уснула. Разбудил ее хлопок и громкий крик: «Чаю!» Роуз слезла с кровати и на веранде встретила Барри. Тот сидел в кресле, вытянув перед собой длиннющие загорелые ноги. Стол был накрыт к чаю.

— Я бы неделю проспала, — сказала Роуз.

— Да ладно, вы не слишком-то мучились бессонницей в самолете. Всю ночь прохрапели на моем плече.

— Я не храпела...

— Еще как храпела. Ладно, разливайте чай. Побудете мамашей.

Вокруг простирался африканский день — желтое сияние и пение птиц. Пыль покрывала ее руки, лежала на полу веранды.

— Чертова засуха. На этой ферме уже три года нормального дождя не было. Скотина не протянет долго, если не начнутся дожди.

— Дождя не было только на этой ферме?

— Здесь область дождевой тени. Я не знал об этом, когда покупал землю.

— А-а.

— Ну, надеюсь, вы понемногу знакомитесь с нашими делами. По крайней мере, если вы вернетесь и напишите, что всем мы здесь ничуть не лучше Саймона Легри, то заслужите одобрение хотя бы за то, что потрудились приехать.

Роуз не знала, кто такой Саймон Легри. Ей оставалось догадываться по контексту, что это какой-то белый расист.

— Я стараюсь быть объективной.

— Большого никто и не требует.

Барри снова забеспокоился, заерзал и в конце концов вскочил:

— Мне надо бы взглянуть на телят. Хотите пойти со мной?

Понимая, что от нее ждут «согласия», Роуз все-таки сказала, что лучше останется и посидит на веранде.

— Жаль, что моя вторая половина уехала. А то бы у вас была компания посплетничать.

И он ушел и вернулся, когда уже стемнело. Ужин. После ужина они слушали по радио новости, и Барри обругал чернокожего диктора, когда тот неверно произнес слово, а потом объявил:

— У меня глаза слипаются. Намотался сегодня, пойду лягу. — И отправился к себе в спальню.

Так и прошли все пять дней, что Роуз гостила на ферме Барри Энглтона. По ночам она лежала без сна и с надеждой прислушивалась к звукам: не шаги ли это хозяина дома, идущего к ней. Но так и не дождалась этого. А днем ездила с Барри на ферму и пыталась вникнуть в то, что он говорил. Из их разговоров, которые всегда казались такими короткими и постоянно обрывались на полуслове очередным происшествием в хозяйстве (неужели и вправду это так срочно, так драматично, все эти поломки трактора, пожар в буше, поранившаяся корова?), Роуз вынесла, что ее старый знакомый Франклин был чуть ли не худшим «из этой банды рвачей» и что ее идол товарищ Мэтью такой же жадный до богатства, как все остальные, и имел не больше представления о том, как управлять страной, чем он, Барри Энглтон, об управлении банком Англии. Роуз обронила при случае имя Сильвии Леннокс: оказалось, Барри слышал о ней, но знал только то, что эта женщина работает при миссии где-то в Квадере. Он добавил, что когда-то, в годы его детства, все ругали миссионеров за то, что из-за их школ негры начинают мнить о себе невесть что, но теперь люди сожалеют (и он, Барри, склонен согласиться с этим), что негры не могли учиться и дальше, потому что сейчас стране совсем не помешали бы несколько местных профессионалов. Да, век живи — век учись.

Жены Барри Роуз так и не застала, хотя поговорила с ней однажды по телефону.

— Хорошо, что вы согласились приехать, — сказала благодушно отсутствующая хозяйка дома. — Барри хоть немного отвлечется от себя и фермы. Ну, мужчины все таковы.

Это замечание, сходное по форме с претензиями феминисток, но куда менее изощренное, чем заявления женского кружка Роуз, позволило ей ответить, что да, мужчины во всем мире одинаковы.

— Вы передайте ему, пожалуйста, что я сегодня поеду к Бетти и привезу от нее одного из щенков. — Она добавила: — И прошу вас, будьте справедливы, напишите о нас что-нибудь хорошее хотя бы раз.

Барри выслушал сообщение лишь с одним комментарием:

— Пусть только не надеется, что эта собака будет спать на нашей постели, как предыдущая.

Следующим пунктом в программе Роуз (вообще-то он шел первым, но вмешались судьба и Барри Энглтон) был визит к старому приятелю Джонни Леннокса, Биллу Кейзу. Он был коммунистом в Южной Африке, попал в тюрьму, бежал в Цимлию, где продолжил свою карьеру в юриспруденции, защищая неимущих и бесправных, а при черном правительстве это

оказывались по большей части все те же люди, что были при белом. Билл Кейз знаменит, он герой. Роуз с нетерпением ждала встречи с ним: наконец-то она услышит «правду» о Цимлии.

Что касается Барри, для которого Роуз мгновенно развела бы ноги, хватило бы и одного намека с его стороны, то с ним она далеко не продвинулась. Разве что его замечание, что не будь он женат, то пригласил бы ее в ресторан, можно было расценить как выражение его чувств, но, во-первых, сказано это было, когда он провожал гостью до города, а во-вторых, Роуз хватило честности признать, что с его стороны это была дежурная галантность, не более двусмысленная, чем его прощальное: «Пока, еще увидимся».

Билл Кейз... О коммунистах, действовавших в Южной Африке при апартеиде, перво-наперво нужно сказать, что мало кто сравнится с ними в смелости, мало кто сражался с тиранией с такой самоотверженностью, как они... Но как же, примерно в то же время диссиденты в Советском Союзе противостояли коммунистическому угнетению не менее отважно. Проблему Советского Союза, который оказывался не таким, каким его представляли, Роуз научилась решать просто: она не думала об этом. Она же тут ни при чем, верно? Проведя в доме Билла Кейза не более часа, она поняла, что он придерживается того же метода. Многие годы он доказывал, что Советский Союз — это новая цивилизация, которая навсегда уничтожила бывшее неравенство и, что особенно им подчеркивалось, расовые предрассудки. Но теперь даже в провинции (а Сенга, несомненно, провинция, хоть и называется гордо столицей) всеми признавалось, что Советский Союз декларировал одно, а делал совсем другое. Признавалось всеми, но, конечно, за исключением черного правительства, преданного славному делу коммунизма до последнего. Что касается Билла, то он говорил не о великой несбывшейся мечте, а о местных делах: Роуз слышала от него то же самое, что целыми днями внушал ей Барри Энглтон. Сначала она решила, что Билл так шутит, пародируя то, что она, по его мнению, наслушалась от фермера, но нет, его жалобы были столь же страстны, обстоятельны и яростны, как жалобы Барри. К белым фермерам относятся несправедливо, их делают «козлами отпущения» при каждой ошибке властей и при этом требуют, чтобы они приносили стране валюту, их обладывают неподъемными налогами, как жаль, что это государство предпочло не работать, а лизать задницу Всемирному банку, «Глобал Мани» и им подобным!

В эти дни Роуз наконец пришла к очень болезненному выводу: восхваляя товарища Мэтью, она поставила не на ту лошадь. Ей придется

слезть, вернуться назад и предпринять какие-то меры для восстановления своей репутации. Пока было слишком рано описывать товарища Вождя таким, каков он есть на самом деле, ведь ее последний панегирик в его честь опубликован всего каких-то три месяца назад. Нет, нужно взять паузу, найти другую тему, выбрать другую мишень.

Из дома Билла Кейза она перебралась к знакомому Билла — Фрэнку Дидди, добродушному редактору газеты «Цимлия пост». Легкое гостеприимство Африки начинало нравиться Роуз: в Лондоне зима, скукота, а здесь новое общество, к тому же она живет бесплатно. «Пост», как ей было известно, в среде более или менее интеллигентных граждан считалась самой презируемой газетой. Ее передовицы обычно выдерживались в таком тоне: «Наша великая страна успешно преодолела очередную незначительную проблему. На прошлой неделе на электростанции произошел сбой из-за потребностей нашей бурно развивающейся экономики и, как нам стало известно, вследствие происков шпионов Южной Африки. Мы ни на миг не должны расслабляться. Мы не должны забывать, что на Цимлии сфокусированы сейчас попытки дестабилизировать ситуацию в нашей процветающей социалистической стране. Да здравствует Цимлия!»

Фрэнк Дидди, узнала Роуз, рассматривал подобные статьи как кость, брошенную для успокоения правительственных псов, которые подозревают редактора газеты и его коллег в «распространении лжи» о положении в стране. Журналисты «Пост» со времени Освобождения жили как на пороховой бочке. Их арестовывали, держали в заключении без предъявления обвинений, выпускали, арестовывали снова, подвергали угрозам, а мордовороты полиции, известные в редакции «Пост» просто как «мальчишки», захаживали и в помещения газеты, и в дома сотрудников, угрожая арестами и тюрьмой при малейшем признаке непослушания. Что касается остального, то есть правды о Цимлии, Роуз услышала ровно то же самое, что у Барри Энглтона и у Билла Кейза.

Она добивалась интервью у Франклина, планируя сказать ему примерно следующее: «Говорят, ты владеешь четырьмя отелями, пятью фермами и участком леса, который незаконно вырубает. Это так?» Роуз полагала, что червь правды найдет так или иначе дырочку в наслоениях укрывательства и обмана. Задать подобный вопрос Франклину она не боялась. Она равна с ним. Они же друзья.

Роуз продолжала хвастать своей дружбой с Франклином, хотя уже много лет не виделась с ним. В дни всеобщего братства сразу после победы Освободительной войны она приезжала в Цимлию, звонила ему и получала

приглашение встретиться с ним, но Франклин никогда не был один — всегда присутствовали еще друзья, коллеги, секретари и однажды его жена — застенчивая женщина, которая только улыбалась и ни разу не открыла рта. Франклин представлял Роуз как своего «лучшего лондонского друга». Шли годы, и теперь, когда она дозванивалась ему из Лондона или уже прилетев в Сенгу, то слышала неизменно, что он на совещании. То, что от нее, Роуз, отделиваются такой грубой уловкой, было оскорбительно. Что он о себе думает, черт возьми? Да Франклин должен быть благодарен Ленноксам, которые были так добры к нему. Мы были добры к нему.

Она удивилась, когда на этот раз звонок в приемную товарища министра Франклина принес неожиданно быстрый и желаемый результат. Ее соединили с ним сразу же, и она услышала его сердечное:

— О, Роуз Тримбл, давненько мы не виделись, ты как раз тот человек, который мне нужен.

И они с Франклином встретились снова, но не в официальной обстановке, а в фойе новой гостиницы «Батлерс» — модного заведения, оформленного так, чтобы высокопоставленные визитеры не смогли найти ни единого различия между цимлийской столицей и любой другой. Франклин непомерно растолстел, он не вмещался в кресло, его большое лицо изливалось подбородками и черными блестящими щеками. А глаза стали узкими щелками, хотя Роуз помнила их большими, располагающими к себе, трогательными.

— Так вот, Роуз, нам нужна твоя помощь. Как раз вчера президент Мэтью говорил, что без твоей помощи нам не обойтись.

Профессиональное чутье подсказало Роуз, что эта фраза близка по духу ее собственным заверениям о том, что «мы с товарищем Франклином старые друзья». Товарищ Мэтью вообще упоминался в каждом втором предложении — либо хвалебно, либо с проклятиями. Должно быть, слова «товарищ Мэтью» звенят и журчат в небесном эфире как музыкальная заставка популярной радиопрограммы.

— Да, Роуз, это хорошо, что ты приехала как раз сейчас, — говорил Франклин, улыбаясь и бросая на нее подозрительные взгляды.

Они тут все параноики, слышала Роуз от Барри, от Фрэнка, от Билла и от их гостей, которые текли через дома Сенги в непринужденном колониальном — ой, ошибка! — постколониальном стиле.

— Да, Франклин, я слышала, у вас проблемы?

— Проблемы! На этой неделе наш доллар снова упал. Сейчас за него дают в тридцать раз меньше, чем после Освобождения. И знаешь, кто в этом виноват? — Франклин наклонился к Роуз, потрясая перед ее лицом

пухлым пальцем: — Это все международное сообщество.

Она ожидала услышать обвинение в адрес южноафриканских шпионов.

— Но в стране вроде все идет неплохо. Я только вчера читала в «Пост».

Франклин с неожиданной энергией выпрямился — чтобы увереннее себя чувствовать в противостоянии ей, — оперся ладонями о ручки кресла.

— Да, мы преуспеваем в наших начинаниях. Но враги Цимлии говорят иное. Вот тут-то ты нам и пригодишься.

— Всего три месяца назад вышла моя большая статья о Вожде.

— Прекрасная статья, прекрасная. — Он не читал ее, это было видно. — Но появляются и другие публикации, которые пачкают доброе имя страны и обвиняют товарища президента во всех грехах.

— Франклин, говорят, что все цимлийские лидеры очень богаты, что вы скупаете фермы, гостиницы, все подряд.

— Кто такое говорит? Это ложь. — Он помахал в воздухе рукой, разгоняя докучливые стайки лжи, и снова откинулся в кресле.

Роуз молчала. Фрэнклин всмотрелся в собеседницу, даже приподнял голову, потом уронил ее обратно.

— Я бедный человек, — заныл он. — Очень бедный человек. И у меня много детей. И все мои родственники... ты же понимаешь, я знаю, ты понимаешь, что в нашей культуре человек, который добился чего-то в жизни, должен обеспечивать не только свою семью, но и всех многочисленных родственников, помогать им всем.

— И это замечательная культура, — сказала Роуз, которой эта концепция действительно грела душу. Только посмотрите на нее саму! Когда она, еще совсем девочка, была такой беспомощной, где были ее родные? А потом еще сынок из богатой семьи капиталистов-эксплуататоров воспользовался ею...

— Да, мы гордимся нашими традициями. Старики в нашей стране не умирают в одиночестве в приюте для престарелых, и у нас нет сирот.

Ну, даже Роуз знала, что это неправда. Она слышала о последствиях СПИДа — когда взрослые умирали, дети оставались брошенными на произвол судьбы, без средств к существованию, хорошо, если жива древняя бабушка, которая возьмет их к себе.

— Мы хотим, чтобы ты написала о нас. Рассказала о нас правду. Я прошу тебя описать то, что ты видишь здесь, в Цимлии, чтобы остановить наконец это вранье. — Франклин оглянулся на элегантное фойе, на улыбающихся официантов в ливреях. — Ты же сама все видишь, Роуз.

Посмотри вокруг.

— Я видела в одной из ваших газет список. Список всех министров и высокопоставленных чиновников и того, чем они — чем вы — владеете. У некоторых не одна, не две фермы, а целых двенадцать.

— А почему нам нельзя иметь ферму? Разве мне запрещено владеть землей, если я министр? Когда я выйду в отставку, на что я буду жить? Поверь мне, я бы предпочел быть простым фермером, жить со своей семьей на собственной земле. — Франклин нахмурился. — А тут еще эта засуха. У меня на ферме в долине Буву вся скотина передохла. Земля превратилась в пыль. Моя новая скважина высохла. — Слезы побежали по его необъятным щекам. — Ужасно видеть, как умирают твои бычки. Вот белые фермеры так не страдают. У них у всех есть дамбы, есть скважины.

Роуз почувствовала, что нащупала новую тему. Что, если подробно рассказать об этой засухе, от которой, похоже, всем приходится несладко, белым или черным — без разницы, а это значит, что ей не обязательно будет вставать на чью-то сторону. Конечно, о засухе она ничего не знает, но можно попросить Билла или Фрэнка просветить ее, и тогда у нее вполне может получиться нечто злободневное, и при этом она не заденет чувства правителей Цимлии (не хотелось бы преждевременно обрывать эти выгодные связи). Да, она могла бы стать борцом за экологию...

Вот какие мысли кружились в ее голове, пока Франклин воспевал нестигаемую позицию Цимлии на переднем фронте прогресса и строительства социализма. Закончил он южноафриканскими агентами и необходимостью сохранять бдительность.

— Агенты — в смысле шпионы?

— Да, шпионы. Это более точное слово, согласен. Они повсюду. Это они ответственны за ложь, распространяемую о Цимлии. У нашей службы безопасности есть доказательства. Их цель — дестабилизировать Цимлию, чтобы нас захватила Южная Африка и прибавила к своей империи. Ты слышала, они нападают на Мозамбик? Они расползаются по всему континенту. — Франклин уставился на Роуз, проверяя, какой эффект производят на нее его слова. — Ты ведь напишешь для нас несколько статей в английских газетах? Объяснишь правду?

Он начал выбираться из кресла, пыхтя и кряхтя.

— Моя жена все говорит мне, что я должен сесть на диету, но это так трудно, когда перед тобой ставят вкусное блюдо, а нам, министрам, постоянно приходится присутствовать на разных мероприятиях...

Момент прощания. Роуз колебалась. Вспышка теплых чувств к мальчику Франклину из прошлого, ведь как-никак она воровала для него

одежду — нет, даже больше того, учила его самого воровать, эта вспышка заставляла ее обнять его. А если он обнимет ее, то это дорогого будет стоить. Но он протянул ей руку, и она пожала ее.

— Нет, не так, Роуз. Ты должна научиться жать руку по-нашему, по-африкански, вот так, вот так. — Действительно, его рукопожатие вдохновляло, в нем выражалось, как трудно отпустить руку хорошего друга. — И я буду ждать от тебя добрых новостей. Пришли мне вырезки из газет со своими статьями. Буду ждать. — И он пошел к выходу из фойе, где его ждали два здоровых парня — охранники.

Когда Роуз рассказывала Фрэнку, что ей удалось договориться об интервью с министром Франклином, то отметила, что тот впечатлен. Результаты своей встречи она постаралась описать как достижение, но он лишь сказал:

— Ну-ну, может, попробуешь написать и для нас передовицу?

По зрелом размышлении Роуз решила, что о засухе писать не будет, это может каждый. Ей нужно что-то... В «Пост», которую она читала за завтраком с профессиональным презрением, Роуз наткнулась на следующее: «Полиция сообщает о краже, совершенной в новой больнице в Квадере. Исчезло оборудование стоимостью в тысячи долларов. Подозревают, что в деле замешаны местные жители».

Пульс Роуз участился. Она показала заметку Фрэнку Дидди, который поморщился и сказал:

— Да такие вещи здесь сплошь и рядом случаются.

— Где я могу узнать подробности?

— Да не трать время, не стоит.

Квадере. Барри говорил, что Сильвия работает именно там. И это еще не все... Когда Эндрю навещался в Лондон, об этом обычно сообщалось в газетах: Эндрю был большой шишкой или, по крайней мере, был почитаем как представитель «Глобал Мани». Несколько месяцев назад, прочитав, что он в городе, Роуз позвонила ему.

— Привет, Эндрю, это Роуз Тримбл.

— Привет, Роуз.

— Я сейчас работаю в «Уорлд скандалс».

— Не думаю, что моя деятельность может заинтересовать твое издание.

Но гораздо раньше, лет пять, а то и восемь назад, он как-то раз согласился встретиться с ней в кафе. Почему? Ее первой мыслью было, что это чувство вины, да, конечно же! Роуз совсем забыла, что когда-то обвиняла его в том, что якобы забеременела, у лжецов короткая память, она

только помнила, что в чем-то он перед ней виноват. И та встреча напомнила Роуз, что в юности Эндрю был так привлекателен, что она не могла отступить от него. Его привлекательность никуда не исчезла — все та же непринужденная элегантность, все то же обаяние. Она говорила себе, что он разбил ей сердце. Она уже была готова вознести его на позицию «Мужчины, которого я любила всю жизнь», но наконец поняла, что Эндрю встретился с ней, чтобы предупредить. Весь его улыбочивый вздор сводился к одному: оставь Ленноксов в покое. Да что он себе позволяет? Она журналистка, это ее работа — говорить людям правду! Эти аристократы такие наглецы! Он пытается извратить принцип свободной печати! Чашка кофе растянулась чуть ли не на час, пока Эндрю кружил вокруг да около со своими намеками, но Роуз не теряла времени даром, выудила из него новости о семье, например, то, что Сильвия уехала в Квадере, что она врач. Да, вот что сидело в ее голове занозой все это время. Значит, Сильвия, которую она до сих ненавидит всеми фибрами души, врач, она работает врачом в Квадере, как раз там, где разворовали больничное оборудование. Роуз Тримбл нашла свою тему.

Прошло несколько дней после того, как Сильвия и Ребекка расставили на полках привезенные из Лондона книги. И как-то утром Сильвию, выходящую из дома, чтобы идти в больницу, встретила группа деревенских жителей. От нее отделился молодой паренек и сказал, доверчиво улыбаясь:

— Доктор Сильвия, пожалуйста, дайте мне книгу. Ребекка сказала, что вы привезли нам книги.

— Мне сейчас нужно идти в больницу. Приходите вечером.

Как неохотно они отправились восвояси, как долго оборачивались на дом отца Макгвайра, где дожидаются их новые книги.

Весь день Сильвия работала, и ее помощники вместе с ней — Зебедей и Умник. Пока она была в Лондоне, больными занимались они. Такие быстрые, такие проворные, у нее сердце болело при взгляде на них: огромный потенциал у этих детей, но совсем мало возможностей. Она думала: где в Лондоне, нет, во всей Англии или даже во всей Европе найдутся столь жадные до знаний дети? Они самостоятельно научились читать по-английски, изучая надписи на упаковках. Оба, закончив работу в больнице, шли домой и там читали при свече все более сложные книги.

А их отец все так же сидел целыми днями под своим деревом — скелет, склонившийся над одним поднятым коленом, нет, не коленом, а костяной шишкой, соединенной двумя костями и покрытой сухой серой кожей. У Джошуа несколько раз была пневмония. Он умер от СПИДа.

На закате перед жилищем святого отца собралась толпа человек в сто. Священник вышел на крыльцо, когда услышал, что Сильвия вернулась из больницы.

— Дитя мое, ты должна что-то срочно делать.

Она повернулась к людям и сказала, что сегодня вечером вынуждена их огорчить, но устроит так, чтобы книги хранились в деревне.

Голос из толпы спросил:

— А кто будет следить за ними? Их украдут.

— Нет, их никто не украдет. Завтра я все сделаю.

Вместе со священником Сильвия смотрела, как вновь разочарованные люди уходят в темнеющий буш, по булыжникам, по траве, по невидимой уже в сумерках тропе. Отец Макгвайр сказал:

— Иногда мне кажется, что они умеют видеть ногами. А теперь ты пойдешь вместе со мной в дом, сядешь за стол, и мы поужинаем как следует, а потом будем слушать радио. Ты ведь привезла нам батарейки.

Ребекка не оставалась у них по вечерам. Она готовила им что-нибудь на ужин и оставляла еду на тарелках в холодильнике, а сама уходила домой часа в два или три дня. Но сегодня она пришла, когда они ужинали, и заявила:

— Я хочу поговорить с вами.

— Присаживайся, — сказал ей священник.

У них существовал своего рода кодекс, негласный, но строго соблюдаемый Ребеккой: она никогда не садилась за стол, когда находилась в доме в качестве прислуги, и никакие уговоры отца Макгвайра на Ребекку не действовали. Она считала, что это было бы неправильно. Но когда она приходила просто в гости, то соглашалась присесть и сейчас даже взяла с блюда предложенное ей печенье и положила его перед собой. Священник и Сильвия знали, что она отнесет его детям. Сильвия подтолкнула к ней блюдо, и тогда Ребекка отсчитала еще пять штук. Их вопросительные взгляды заставили ее пояснить: теперь, помимо своих детей, она кормит Зебедея и Умника.

— Нужно что-то делать с книгами. Я со всеми в деревне поговорила. У нас есть пустая хижина — Дэниела, вы знали его.

— Да, похоронили его в прошлую субботу.

— О'кей. А его дети умерли еще раньше. Никто не хочет занимать его дом. Говорят, что он приносит несчастье. — Ребекка употребила слово из местного наречия.

— Но Дэниел умер от СПИДа, а не из-за какого-то плохого мути. — Священник тоже назвал снадобья н'ганга на языке Ребекки.

За долгие годы общения у отца Макгвайра с Ребеккой происходило немало споров, и во всех них победителем выходил он, поскольку он священник, а она христианка. Но сейчас негритянка только улыбнулась и сказала:

— О'кей.

— Ребекка, а для книг эта хижина не окажется несчастливой?

— Нет, Сильвия, для книг это о'кей. Мы можем перенести полки и кирпичи из вашей комнаты и сделаем полки в хижине Дэниела, и мой Тендерай будет смотреть за ними.

Этот мальчик был очень болен, жить ему оставалось несколько месяцев; все считали, что на него кто-то наслал проклятье.

Все это Ребекка прочитала по их лицам и сказала тихо:

— Чтобы охранять книги, ему здоровья хватит. И Тендерай будет рад, что сможет читать, и не будет так несчастлив.

— Там недостаточно книг для всех.

— Нет, достаточно. Тендерай будет выдавать людям только по одной книге в неделю. Он обернет их газетной бумагой. Он будет брать деньги... — Увидев, что Сильвия хочет возразить, она заторопилась добавить: — Нет-нет, не много денег, может, по десять центов. Да, это ничто, но достаточно, чтобы все поняли: книги — дорогие, их нужно беречь.

Негритянка встала. Выглядела она больной. Сильвия отчитывала ее за то, что она слишком много работает. По ночам Ребекка не высыпалась: больные дети часто будили ее.

— Ребекка, нельзя столько работать, — в который уже раз пыталась образумить ее Сильвия.

— Я сильная. Я как вы, Сильвия. Я могу много работать, потому что я не толстая. Толстая собака лежит в тени и спит, пока по ней ползают мухи, а тощая собака не спит и ловит мух.

Эта поговорка насмешила священника:

— Я использую ее в своей воскресной проповеди, если ты не возражаешь.

— Буду рада, святой отец. — Ребекка присела в вежливом книксене, как учили ее в школе. Сжимая худые руки перед грудью, она улыбнулась им обоим, а потом сказала Сильвии: — Я пришлю нескольких мальчишек перенести книги из вашей комнаты в хижину Дэниела. И доски с кирпичами тоже. Отложите свои книги на кровать, чтобы они случайно не забрали их.

Она ушла.

— Какая жалость, что не Ребекка управляет этой несчастной страной, а горстка жадных глупцов.

— Вы действительно считаете, что каждая страна заслуживает свое правительство? Мне не кажется, что здешние бедняки хоть в чем-то виноваты.

Отец Макгвайр кивнул, подумал и сказал:

— А ты не думаешь, что причина, по которой этим бестолковым клоунам еще не перерезали горло, состоит в том, что бедняки знают: на их месте они поступали бы так же?

Сильвия спросила:

— Вы правда так думаете?

— Не зря же у нас есть молитва: «Не введи нас во искушение». И еще одна, что следует за первой: «Избави нас от лукавого».

— Правильно ли я вас понимаю, что добродетельным может быть лишь человек, у которого нет соблазнов?

— А, добродетель! Это слово вызывает у меня затруднения.

Сильвия готова была расплакаться, и священник заметил это. Он подошел к буфету, вернулся с двумя стаканами и бутылкой хорошего виски — это Сильвия привезла ему в подарок. Он налил щедрую порцию себе и ей, кивнул ей и опустошил свой стакан.

Сильвия посмотрела на золотистую и густую жидкость, играющую в свете лампы. Сделала глоток.

— Мне часто кажется, что я могла бы стать алкоголиком.

— Нет, Сильвия, ничего подобного.

— Я понимаю, почему раньше люди пили вечерами.

— Раньше? Пайны тоже любят выпить по бокалу на закате.

— Когда солнце садится, я часто думаю, что выпила бы целую бутылку. Это так грустно, когда солнце уходит.

— Это все цвет неба. Он напоминает нам о прекрасных садах Господа, откуда мы были изгнаны. — Сильвия удивилась: обычно отец Макгвайр не затрагивал подобных тем. — Нередко меня посещает мысль бросить все и уехать, но стоит мне только посмотреть на закатное небо, и я понимаю, что ни за что не покину Африку.

— Еще один день позади, и опять ничего не достигнуто, — сказала Сильвия. — Ничего не изменилось.

— А, так ты все-таки из тех, кто мечтает изменить мир.

Это задело Сильвию. Она подумала: «Может, риторика Джонни застряла где-то в памяти, испортила меня?»

— Разве можно не хотеть изменить его?

— Да, но хотеть изменить его в одиночку неправильно, это гордыня, это от лукавого.

— И кто не согласится с этим после всего, чему научила нас история?

— Ну, коли ты усвоила уроки истории, то ты в школе жизни преуспела больше, чем многие и многие. Но эта мечта — изменить мир — слишком захватывающая, чтобы от нее отказаться. Она не отпускает своих жертв.

— Святой отец, когда вы были молоды, неужели вы никогда не выкрикивали лозунгов на улицах, не бросали в британцев камней?

— Ты забываешь, я был очень беден. Я был так же беден, как жители нашей деревни. Для меня был открыт только один путь. Выбора у меня не было.

— Да, и я не представляю вас никем другим, только священником.

— Верно. Выбирать я не мог.

— Но когда я слышу ворчание сестры Молли, то, если бы не крест на ее груди, ни за что бы не догадалась, что она монахиня.

— Подумай сама. Что было делать бедным девушкам по всей Европе? Они становились монахинями, чтобы избавить семью от лишнего рта. Поэтому монастыри переполнялись молодыми женщинами, которым по характеру куда больше подошло бы завести семью, нарожать детей или выполнять любую мирскую работу. Пятьдесят лет назад сестра Молли сошла бы в монастыре с ума, потому что в те времена это место было совсем не для нее. Зато сейчас — ты знала об этом? — она сказала своему настоятелю, что хочет уйти из монастыря и стать монахиней в миру. И я думаю, что настанет день, когда она скажет себе самой: я не монахиня. И никогда ею не была. И просто оставит свой орден. Она была из бедной семьи и нашла выход. Только и всего. Да, и я знаю, о чем ты думаешь: для бедных черных сестер на холме оставить церковь будет не так просто, как для сестры Молли.

Каждый день после обеда Сильвия ходила в деревню. Там перед каждой хижинкой, или под деревьями, или на бревнах, на табуретах она видела людей, которые читали или, пристроив на коленях или на доске тетрадку, пытались научиться писать. Она сказала им, что будет приходить ежедневно с часу до половины третьего и давать уроки. Сильвия бы приходила к двенадцати, но знала, что отец Макгвайр не разрешит ей пропустить обед. А вот в дневном сне она точно не нуждалась. За пару недель шестьдесят с небольшим книг преобразили деревню, в которой дети ходили в школу, но ничему не учились, а у взрослых за плечами было не больше четырех-пяти классов образования. Сильвия съездила к Пайнам,

которые собирались в Сенгу, присоединилась к ним и накупила в столице тетрадей, книг, ручек, карандашей, приобрела атлас, небольшой глобус и несколько пособий для учителей.

Ведь она, по сути дела, не имела представления о том, как преподавать, и учителя в местной школе, где сейчас все замела пыль, тоже не проходили педагогической подготовки. А еще она зашла в таможенное управление разузнать о своих швейных машинах, но о них никто ничего не знал.

Перед домом Ребекки росло высокое дерево, и Сильвия усаживалась в его тени и учила, как могла, до полусотни человек, слушала, как они читают, давала письменные задания и показывала в атласе, где находятся другие страны. В качестве ее помощников выступали учителя из школы, которые и сами многому учились в процессе занятий.

На деревьях ворковали голуби. В это время суток всех клонило в сон, и Сильвия с трудом удерживала глаза открытыми, но она не заснет, нет. Ребекка подавала всем воду в металлических мисках, украденных из брошенной больницы. Воды было немного: засуха ощущалась все сильнее. Женщины поднимались в четыре часа утра, чтобы успеть дойти до дальней реки, поскольку ближайшая совсем обмелела и превратилась в тухлую лужу, и принести на головах канистры с водой к завтраку. Стирать практически перестали и почти не мылись — воды едва хватало на питье и готовку. От учеников исходил тяжелый запах. Для Сильвии теперь этот запах ассоциировался с терпением, с долгим страданием и с потаенным гневом. Делая глоток из миски с водой, поднесенной Ребеккой, Сильвия чувствовала то, что должна была, но не чувствовала во время причастия. Лица учеников — от детских до старческих — были полны рвения и внимания. Образование, это же образование, по которому многие из них изголодались, они мечтали о нем чуть ли не всю жизнь, веря словам нового правительства. В половине третьего Сильвия вызывала наиболее сообразительного ребенка и просила его почитать остальным несколько глав из Энид Блайтон (очень любимой среди деревенских жителей), «Тарзана» (тоже очень популярного), из «Книги джунглей», которая была труднее, но тоже нравилась, или из «Скотного двора», и это задание воспринималось всеми как подарок: люди говорили, что эта книга про них. Или по рукам пускали атлас, раскрытый на только что пройденной странице, чтобы все наверняка усвоилось.

Деревню Сильвия навещала и помимо уроков, по утрам, после первого за день обхода пациентов, Она брала с собой Умника или Зебедея, одного из мальчиков, а второй оставался приглядывать за больницей. В одном из

сараев — «палат» — лежали пациенты с медленно текущими болезнями, по поводу которых Сильвия и местный н'ганга обменивались взглядами, чтобы не говорить вслух того, что знали они оба. Лекарь из буша не хуже любого европейского врача понимал, помимо многого другого, как важно сохранять в больном надежду; и для Сильвии было очевидно, что большая часть его мути, заговоров и наставлений служили именно этой цели — поддерживать оптимистичный настрой. Но когда она и этот мудрый человек обменивались определенным взглядом, то это означало, что их пациент скоро будет лежать среди деревьев нового кладбища, где хоронили жертв СПИДа, то есть худобы. Расположено оно было далеко от деревни, и могилы копались там глубокие, так как все верили, что зло, убившее больных, могло выбраться наружу и наброситься на еще живых и здоровых.

Сильвия знала (со слов Умника, сама Ребекка об этом не говорила), что эта разумная, практичная женщина, на которую полагались и святой отец, и Сильвия, верила, будто трое ее детей умерли, а четвертый заболел из-за происков жены ее младшего брата — та всегда ненавидела Ребекку и, должно быть, наняла более сильного н'ганга, чтобы напустить на детей смертельную хворь. У коварной женщины не было своих детей, и она считала, будто это Ребекка заплатила за снадобья и проклятья, чтобы сделать ее бездетной.

Кое-кто говорил, якобы жена младшего брата Ребекки не могла понести оттого, что в ее хижине было больше похищенных из больницы вещей, чем в любой другой. Считалось, что самым опасным предметом среди украденного было зубоврачебное кресло. Оно долгое время стояло посреди деревни, и с ним играли детишки, но потом его откатали и выбросили в канаву, чтобы избавиться от его зловредного влияния. Так зубоврачебное кресло стало игрушкой для обезьян, и они забавлялись с ним безо всякого для себя вреда, и однажды Сильвия наблюдала, как в кресле сидел бабуин с листком в губах. Он оглядывался вокруг с задумчивым видом, как старик, досиживающий на крыльце последние свои деньки.

Эдна Пайн забралась в старый грузовик и отправилась в миссию, потому что ее опять преследовало то, что она называла своим черным псом. Она даже дала ему кличку. «Опять Плуту кусает меня за пятки», — говорила она и утверждала, что две их собаки, Шеба и Лусака, тоже чувствуют невидимое присутствие и рычат на него. Седрик не смеялся над этой маленькой фантазией, даже когда Эдна сама пыталась превратить все в

шутку, зато говорил, что она уже ничем не лучше чернокожих с их суевериями. Еще пять лет назад у Эдны были подруги на соседних фермах, они ездили друг к другу в гости, но теперь уже не осталось никого. Кто-то фермерствовал в Перте (Австралия), в Девоне, кто-то успел перебраться в Южную Африку — в общем, уехали все. Эдна тосковала по женской компании, ощущала себе среди мужчин как в пустыне, а вокруг действительно были только мужчины: ее муж, работники в доме и в саду, правительственные инспекторы, землемеры и всевозможные важничающие чиновники, придумывающие все новые и новые правила для белых фермеров. Все они были мужчинами. Эдна надеялась, что застанет Сильвию не слишком занятой и они смогут хоть немного поболтать, хотя она не любила докторшу так, как та того заслуживала: Эдна понимала, что этой женщиной можно восхищаться, но все-таки считала ее немного чокнутой.

Когда гостья вошла в дом отца Макгвайра, ей показалось, что там никого нет. Эдна тем не менее прошла в прохладный полумрак, и тогда из кухни вышла Ребекка с не очень чистой тряпкой в руках — засуха не позволяла соблюдать былую чистоту. Уровень воды в скважинах и реках продолжал опускаться.

— Доктор Сильвия дома?

— Она в больнице. Там молоденькая женщина рождает. А отец Макгвайр взял машину и поехал в гости к другому святому отцу в старой миссии.

Эдна села, ей показалось, будто у нее подогнулись колени. Она откинула голову на спинку стула и зажмурилась. Когда она открыла глаза, то увидела, что Ребекка так и стоит перед ней и ждет.

— Боже, — сказала Эдна. — Я больше не вынесу, правда.

— Я сделаю вам чаю, — предложила Ребекка и повернулась, чтобы уйти.

— Как ты думаешь, доктор скоро вернется?

— Не знаю. Роды трудные. Плод в тазовом предлежании.

Услышав от негритянки медицинский термин, Эдна широко раскрыла глаза. Подобно большинству старых белых в Африке, она неосознанно делила людей на разряды — то есть в большей степени, чем многие из нас. Она знала, что некоторые негры бывают не менее умными, чем белые, но это относится только к образованным неграм, а тут — кухарка?

Когда перед ней появился поднос с чаем и Ребекка уже собиралась вернуться к делам, Эдна неожиданно для себя попросила:

— Садись, Ребекка. — И добавила: — У тебя есть время?

У Ребекки времени не было. Весь день у нее был скомкан. Ее сын, обычно ходивший на реку за водой, сегодня присматривал за отцом, который прошлым вечером напился до состояния буйного помешательства. Чтобы домашние не остались без питья, ей, Ребекке, пришлось пять раз носить воду из этой кухни — с разрешения отца Макгвайра, конечно. Вода в здешнем колодце тоже стояла низко: она словно утекала куда-то в глубь земли, с каждым разом ее все труднее было достать. Но Ребекка видела, что белая женщина в расстроенных чувствах, что ей нужна помощь. Она села и стала ждать. В ее голове промелькнула мысль о том, что миссис Пайн приехала очень кстати на своем грузовике: отец Макгвайр забрал машину, а Сильвия говорила, что, возможно, придется везти роженицу в больницу — делать кесарево сечение.

Слова, которые копились и кипели внутри Эдны часами, днями, теперь вырвались жарким, злым, обвиняющим потоком, хотя Ребекка не совсем подходила на роль слушателя. Не подходила на эту роль и Сильвия, если уж на то пошло.

— Я не знаю, что мне делать, — говорила Эдна, уставившись синими глазами не на Ребекку, а на голубые бисеринки по краю салфетки, брошенной поверх чайного подноса. — Я дошла до ручки. Мой муж, он окончательно сошел с ума. Эти мужчины все сумасшедшие, да, ты согласна, все они психи?

Ребекка, которая всю ночь отбивалась от ударов и объятий ничего не соображающего мужа, улыбнулась и сказала, что да, с мужчинами иногда бывает трудно.

— Вот именно. Знаешь, что мой муж сделал? Он купил еще одну ферму! Говорит, что если бы не он, то ее забрал бы себе один из министров, так почему не он? То есть если бы она досталась кому-то из вас, обычных людей, то ладно, но муж говорит, что он может за нее заплатить, ферму, мол, предлагали правительству, они отказались, тогда он решил сам купить ее. И построит там дамбу, рядом с холмами.

— Дамба, — сказала Ребекка, возвращаясь от своих мыслей к белой женщине. — О'кей. Дамба... о'кей.

— Ну да, как только дамба будет закончена, кто-нибудь из этих черных свиней заберет ее у нас, они всегда так поступают: ждут, пока мы не сделаем что-нибудь полезное, а потом отбирают. И чего ради ты все это делаешь, говорю я ему, а он в ответ... — Эдна сидела с печеньем в одной руке и чашкой в другой. Слова лились из нее слишком быстро, чтобы успеть сделать хотя бы один глоток. — Я хочу уехать, Ребекка, что в этом дурного? Что, скажи? Это же не моя страна, ну да, вы все так говорите, и я

согласна с вами, но мой муж считает, что у него столько же прав на эту землю, как и у вас, и поэтому он купил... — Вой вырвался из ее груди. Она отставила чашку, положила на блюде печенье, достала из сумки платок и вытерла им лицо. Потом молча посидела, нагнулась над столом поближе к салфетке, потрогала пальцем край, обшитый бисером, и сказала: — Красивый бисер. Это ты делала?

— Да, я.

— Очень красиво. Тонкая работа. И вот еще что. Правительство то и дело критикует нас, как только не называет. Но в наших бараках сейчас живет в три раза больше людей, чем положено, они приходят каждый день с общественной земли, и мы кормим их, мы кормим их всех, потому что из-за засухи они голодают, ничего не растет на тех общественных землях, ты сама знаешь все это, да, Ребекка?

— О'кей. Да. Это правда. Они голодают. И отец Макгвайр организовал кухню при школе, потому что дети приходят на уроки такие голодные, что сидят и плачут.

— Вот видишь. А ваше правительство про нас слова доброго не скажет.

Она плакала — как переутомившийся ребенок. Ребекка понимала, что эта женщина плачет не из-за голодающих людей, а из-за того, что Ребекка называет «слишком много». «Это слишком много, — говорит она порой Сильвии, — слишком много для меня». И затем садится, закрывает лицо руками, и раскачивается, и начинает выть в полный голос, пока Сильвия не приносит ей успокоительное, которое Ребекка послушно глотает.

— Иногда мне кажется, что я не выдержу, — рыдала Эдна, но на самом деле ей уже полегчало. — И без засухи все было плохо, а тут еще неурожай, голод, и правительство, и все...

В дверях появился Умник с вестью от доктора Сильвии: она посылает его к Пайнам, чтобы попросить их прислать машину — у женщины очень тяжелые роды, и ее надо везти в больницу.

А Эдна Пайн уже здесь! Его лицо просияло, и он исполнил короткий радостный танец прямо на веранде.

— О'кей. Теперь она не умрет. Ребенок застрял, — сообщил он женщинам, — но если она вовремя приедет в больницу...

Умник метнулся обратно в больницу, и вскоре показалась Сильвия, ведущая по тропе женщину, укутанную одеялом.

— Похоже, от меня тоже может быть какая-то польза, — сказала Эдна и отправилась навстречу Сильвии, чтобы тоже помочь несчастной роженице, которая едва шла.

— Когда же наконец достроят новую больницу! — вздохнула Сильвия.

— Пустые надежды.

— Она боится делать кесарево сечение. Я все убеждаю ее, что это нестрашно.

— А почему вы сами не сделаете эту операцию?

— Иногда мы совершаем ошибки. Моя самая ужасная, самая дурацкая ошибка — это то, что я не прошла курс хирургии. — Ее голос был сух и невыразителен, но Эдна догадывалась, что с Сильвией происходит то же самое, что только что случилось с ней самой: она выпускает пар, и не нужно обращать внимания на ее слова. — Я пошлю с вами Умника. У меня там остался еще один тяжелый больной.

— Надеюсь, мне не придется принимать роды.

— Ну, если что, то у вас получится не хуже, чем у любого другого человека. И Умник вам поможет, он молодец. Я дала женщине лекарство, чтобы задержать роды. И с вами поедет ее сестра.

У машины их ждала женщина. Она протянула руки навстречу беременной, а та припала к ней и заголосила.

Сильвия бегом бросилась обратно в больницу. Грузовик тронулся. Дорога была плохой, поездка заняла почти час, потому что роженица вскрикивала, когда машина наезжала на кочку, и приходилось ехать очень аккуратно. Эдна проводила негритянок внутрь больницы, построенной еще при белых и рассчитанной на обслуживание нескольких тысяч человек, но теперь ставшей единственным лечебным заведением на полмиллиона окрестных жителей.

Эдна вернулась на водительское сиденье, Умник устроился рядом. Ему нельзя сидеть впереди, нужно бы отправить его назад, подумалось Эдне, но ничего предпринимать она не стала. А мальчик принялся болтать, и Эдна слушала про доктора Сильвию, и об уроках под большим деревом, и про книги, про учебники, про ручки, про то, что на занятиях у Сильвии было лучше, чем в школе. Эдне стало любопытно, и вместо того чтобы высадить мальчика на повороте, откуда он бы пешком добирался до миссии, она сама поехала туда.

Еще не было часа дня. Сильвия сидела за обеденным столом вместе со священником, они ели. Получив приглашение, Эдна тоже хотела сесть, но Сильвия сказала, что пусть Эдна не принимает это на свой счет, но ей самой уже пора идти в деревню. И тогда Эдна, которая очень любила поесть, согласилась на то, чтобы ей сделали в дорогу бутерброд (нарезанный помидор между двумя кусками хлеба — без масла, потому что из-за засухи масла было не достать), и пошла следом за Сильвией. Она не

знала, чего ожидать, и увиденное произвело на нее большое впечатление. Все, конечно, знали миссис Пайн и встретили ее приветливыми улыбками. Эдне принесли стул, на который она села, и забыли про нее. Бутерброд так и остался лежать у нее в сумке, потому что она подозревала, что многие из присутствующих голодны, невозможно же есть при них. Боже праведный, вот уж не думала Эдна, что когда-нибудь пара кусков сухого хлеба и помидор покажутся ей недопустимой роскошью.

Она слушала, как Сильвия читает на английском языке, медленно и четко выговаривая каждое слово, отрывок из книги какого-то африканского писателя, неизвестного Эдне (она вообще не знала ни одного африканского автора, хотя слышала, что черные тоже пишут романы), а деревенские жители внимали ей как... как будто в церкви. Потом Сильвия попросила юношу, а затем девочку рассказать остальным, о чем рассказывалось в отрывке. Они все поняли правильно, и Эдна испытала облегчение: ей хотелось, чтобы уроки Сильвии приносили пользу, и она была довольна тем, что ей этого хотелось.

Сильвия попросила одну старую негритянку описать засуху, которая случилась в давние времена, когда эта старуха была еще девочкой. На ломаном английском, запинаясь, старая женщина составила несколько фраз, и Сильвия вызвала другую свою ученицу, чтобы та повторила рассказ на более правильном английском. Та далекая засуха мало чем отличалась от нынешней. Старуха сказала, что белое правительство раздавало в засушливых районах маис, и некоторые ученики одобрительно хлопали в ладони, что можно было расценить и как критику в адрес нового, черного правительства. Когда рассказ был закончен, Сильвия велела тем, кто умел писать, записать то, что они запомнили, а тем, кто не умел, составить устный рассказ к завтрашнему дню.

И вот уже половина третьего. Сильвия похвалила старую женщину, рассказавшую о засухе, сказала спасибо остальным ученикам, которых было около сотни, и вместе с Эдной пошла обратно к дому. Сейчас они сядут за стол, чтобы выпить по чашке чаю, и у них будет время поговорить, наконец-то Эдна выскажет все, что у нее на душе... но, как ни странно, оказалось, что потребность выговориться и быть услышанной исчезла.

Сильвия сказала:

— Они такие хорошие люди. Невыносимо смотреть, как бездарно проходит их жизнь.

Они стояли перед домом, около машины.

— Да, — согласилась Эдна, — наверное, все мы могли бы стать лучше, будь у нас такая возможность.

По пристальному взгляду Сильвии она поняла, что люди не ожидают от нее высказываний подобного рода. А почему нет? Чем она хуже?

— Хотите, я помогу вам как-нибудь? С вашими уроками или в больнице?

— О да, конечно!

— Только скажите, когда вам что-нибудь понадобится. — Эдна села в кабину и уехала с ощущением, что ею сделан шаг в некое новое измерение.

Она не знала, что если бы спросила у Сильвии: «Можно мне начать прямо сейчас?» — то услышала бы: «Да, пожалуйста, пойдёмте, можете мне с тяжелым больным, у него малярия, и беднягу так трясет, что его надо все время держать». Но Сильвия решила, что Эдна предлагала помощь только из вежливости, и больше не вспоминала об этом разговоре.

Что же касается Эдны, то ей всю жизнь казалось, будто она упустила какой-то шанс, что перед ней была открыта дверь, но она не увидела или не захотела этого увидеть. Как-то неловко, конечно, она столько лет насмеялась над разного рода благодетелями и благодетельницами, и вдруг самой стать одной из них... И тем не менее она предложила помощь, и предложила искренне. На мгновение она перестала быть той Эдной Пайн, какой знала себя, и превратилась в кого-то очень отличного от нее. Она не рассказывала Седрику о том, что возила чернокожую женщину в больницу: муж, наверное, станет ворчать насчет бензина, который стало так трудно доставать. Но зато упомянула, что видела ту деревню, в которой встречаются вещи, украденные из недостроенной больницы.

— Вот и ладно, — отозвался Седрик. — Пусть люди пользуются, а так все сгнило бы без толку.

Господин Эдвард Пхири, школьный инспектор, написал директору средней школы в Квадере, что он прибудет в девять часов утра и разделит с ним и остальными сотрудниками школы обед. Его «мерседес», купленный из третьих рук (господин Пхири не являлся министром и, соответственно, не был достоин нового автомобиля), сломался недалеко от поворота на ферму Пайнов. Он бросил машину и в дурном расположении духа преодолел несколько сот ярдов до фермы. Там он застал Седрика и его жену за завтраком. Господин Пхири представился, сказал, что ему нужно позвонить господину Мандизи из «точки роста», попросить, чтобы за ним прислали машину и отвезли в школу, но в ответ услышал, что телефонная линия не работает уже месяц.

— Тогда почему ее не починили?

— Боюсь, этот вопрос вам следует адресовать министру связи.

Телефонные линии в нашем районе ломаются постоянно, а ремонт длится неделями, — сказала Эдна, но господин Пхири смотрел на мужа: вести беседу — дело мужчины. Седрик, по-видимому, не чувствовал за собой такой обязанности и молчал.

Господин Пхири осмотрел стол, накрытый для завтрака.

— Вы поздно завтракаете. Я свой завтрак съел уже несколько часов назад.

Эдна ответила тем же обвиняющим голосом:

— Седрик уехал в поле в самом начале шестого. Еще и не рассвело толком. Не желаете присесть? Выпить чаю или позавтракать второй раз?

Господин Пхири сел. Его настроение заметно улучшилось.

— Благодарю за приглашение, я бы не отказался перекусить. Но я с удивлением услышал, что вы начинаете работу так рано, — обратился он к Седрику. — У меня сложилось впечатление, что вы, белые фермеры, не слишком усердствуете.

— Ваше впечатление ошибочно, и, возможно, не оно единственное, — сказал Седрик. — Простите, я должен вас покинуть. Мне нужно возвращаться на дамбу.

— На дамбу? Какую дамбу? На карте не указано ни одной дамбы в этом районе.

Эдна и Седрик переглянулись. Они заподозрили этого чиновника в обмане: а не выдумал ли он сломанный автомобиль как предлог, чтобы осмотреть их ферму? Гость практически признался в этом, когда упомянул о карте.

— Вам заварить свежего чаю?

— Нет, спасибо, тот, что в заварочном чайнике, меня вполне устроит. И одно из яиц, что у вас остались, если можно. Жаль будет их выбрасывать.

— Мы не выбрасываем еду. То, что остается, мы отдаем нашему повару.

— Что вы говорите? А я вот против того, чтобы баловать прислугу. Мои работники едят садзу и уж во всяком случае не яйца с фермы.

Господин Пхири, очевидно, не осознавал некорректность своего высказывания и с улыбкой наблюдал за тем, как Эдна накладывает ему на тарелку яйца, бекон, сосиски. Начав есть, он сказал:

— Не позволите ли вы мне посетить вашу дамбу? Все равно мне явно не суждено добраться сегодня до школы.

— Почему нет? — пожала плечами Эдна. — Я отвезу вас туда на своей машине. А когда вы закончите, кто-нибудь из миссии подбросит вас до «точки роста».

— Но что же делать с моей машиной? Она стоит брошенная у дороги. Ее могут украсть.

— Это весьма вероятно, — сказал Седрик тем же сухим неприязненным тоном, который взял с момента появления чиновника и который так контрастировал с эмоциональными интонациями его жены.

— Тогда, может быть, вы пошлете одного из своих работников покараулить ее?

Вновь муж и жена обменялись взглядами. Эдна, у которой при виде возмущения супруга возобладала осторожность, без слов призывала его согласиться. Седрик поднялся, вышел из кухни, вернулся через несколько секунд и сообщил:

— Я попросил повара, чтобы тот послал садовника присмотреть за вашей машиной. Но не стоит ли нам предпринять какие-то шаги по ее починке?

— Отличная мысль, — одобрил господин Пхири. Он доел яйца и приступил к засахаренным фруктам. Они ему явно пришлись по вкусу. — И как же нам поступить?

Эдна чувствовала, что Седрик едва сдерживается, чтобы не выпалить что-нибудь вроде: «А мне-то какое дело?» — и сказала быстро:

— Седрик, может попробуем связаться по рации?

— А, так у вас есть рация?

— Да, но батарейки почти совсем сели. А в магазинах их сейчас не найти, но думаю, вы и сами это прекрасно знаете.

— Да, знаю, но, может, вы все-таки попробуете?

Седрик был очень недоволен тем, что гостю стало известно о наличии у них рации, и он не хотел тратить то, что осталось в батарейках, на господина Пхири.

— Попробую, но ничего не обещаю, — буркнул он и снова исчез.

— Что это за восхитительное лакомство? — поинтересовался господин Пхири, накладывая себе новую порцию.

— Цукаты из папайи.

— Вы должны поделиться со мной рецептом. Я хочу, чтобы моя жена тоже приготовила мне это.

— У нее наверняка есть этот рецепт. Я услышала его в радиопередаче «Лучшее из местных продуктов».

— Я удивлен, что вы слушаете передачи для бедных чернокожих женщин.

— Я, бедная белая женщина, слушаю передачи для женщин. И если ваша супруга считает, что эти передачи ниже ее достоинства, то она многое

теряет.

— Бедная... — Господин Пхири расхохотался, искренне, громко, но потом, вспомнив, что в целом-то замечание было язвительным, произнес с кислой миной: — Хорошая шутка, да.

— Я рада, что вам понравилось.

— О'кей. — В смысле: хватит об этом.

Но Эдна продолжала:

— Это очень хорошая передача. Я много из нее почерпнула. Все, что вы видите на столе, выращено на этой ферме.

Господин Пхири неторопливо осмотрел блюда перед собой, но он не хотел признаваться в том, что часть из них ему незнакома — рыбный паштет, печеночный паштет, вяленая рыба...

— А, джем, можно попробовать? — Он потянулся к банке. — Розелла... розелла... Но она же растет повсюду, это сорняк!

— Ну и что? Из нее получается отличный джем.

Господин Пхири оттолкнул банку, не притрагиваясь к содержимому.

— Я слышала, что монахини при миссии не едят превосходные персики, что растут в их саду, свежими, только в виде консервов, потому что не хотят показаться примитивными людьми. — Эдна злорадно засмеялась.

— Я слышал, что ваш муж купил ферму по соседству с этой.

— Да, она была выставлена на продажу. Никому из вас она была не нужна. Но я возражала против покупки, уверяю вас.

Тут они взглянули друг другу глаза — в первый раз за все время, однако и сейчас ни один из них не пытался сделать над собой усилие и найти в собеседнике хоть что-то хорошее.

Господину Пхири Эдна Пайн была глубоко несимпатична. Прежде всего, из принципиальных соображений: это жена белого фермера, а именно эти женщины, по мнению инспектора, взяли в руки оружие во время Освободительной войны, чтобы защитить усадьбы, дороги, склады с продуктами и боеприпасами. Да, он легко мог представить себе Эдну в боевом наряде с винтовкой, направленной, вполне такое может быть, на него. Правда, в годы войны он был еще мальчиком и жил в Сенге, в безопасности. Война никак не затронула его.

Эдна же не любила чернокожих чиновников как класс, называла их маленькими гитлерами и радостно повторяла все плохое, что слышала об этих людях. Они обращались с чернокожей прислугой как с грязью, хуже любого белого хозяина; негры не хотели работать на негров, искали место у белых людей. Эти чиновники злоупотребляли своей властью, они брали

взятки, они были — и это самый страшный грех — некомпетентны. А конкретно этого человека Эдна невзлюбила с первого взгляда.

Двое людей: измотанная, иссушенная белая женщина и большой самоуверенный чернокожий мужчина — сидели друг против друга и даже не пытались изобразить на лицах симпатию.

— О'кей, — сказал наконец господин Пхири.

К счастью, вернулся Седрик.

— Удалось получить ответ — как раз перед тем, как проклятая штуковина сдохла. Господин Мандизи подъедет за вами. Но он говорит, что сегодня плохо себя чувствует.

— Я уверен, что господин Мандизи приедет так скоро, как только возможно, но у нас все же будет время, чтобы осмотреть вашу новую дамбу.

Двое мужчин пошли к грузовику, припаркованному в тени дерева. Ни один из них не взглянул на женщину. Она молча улыбнулась, если можно назвать улыбкой горькое подергивание губ человека, который питается горечью.

Седрик вел машину быстро — по разбитым грунтовкам, по полям, холмистым участкам, через участки буша. Господин Пхири почти не выезжал за пределы Сенги и, подобно Роуз, не знал, как относиться к тому, что он здесь видел.

— И что это растет там?

— Табак. Между прочим, именно благодаря табаку экономика страны не развалилась окончательно.

— А, так это тот самый табак?

— Вы хотите сказать, что никогда не видели, как растет табак?

— Когда я покидаю Сенгу для проверки школ, то всегда так спешу. Я занятой человек. Вот почему я так доволен, что сегодня мне выпала возможность увидеть настоящую ферму с настоящим белым фермером.

— Некоторые из чернокожих фермеров тоже выращивают неплохой табак, вы не знали этого?

Господин Пхири умолк, потому что теперь они двигались вдоль основания крутого холма, а впереди виднелся большой участок, заваленный горами, уступами, хребтами сырой желтой земли, среди которых трудился экскаватор, балансируя на невероятно крутых склонах.

— Приехали, — сказал Седрик, выпрыгивая из кабины, и сразу пошел вперед, не глядя, идет за ним инспектор или нет.

Чернокожий рабочий, помощник экскаваторщика, приблизился к фермеру, и они стали совещаться над мятой картой, разложенной на краю

ямы в плотной желтой почве. Господин Пхири осторожно пробирался между огромных куч, безуспешно пытаясь не запачкать ботинки. Его деловой костюм уже весь покрылся пылью, сметаемой ветром с отвала.

— Ну вот, это и есть дамба, — сказал Седрик, закончив говорить с рабочим.

— Где?

— Вот, — указал Седрик на некую точку посреди куч.

— Но... когда дамба будет достроена, какой величины она будет?

Седрик снова стал показывать:

— Отсюда... вот досюда... от этих деревьев до этого холма, а оттуда вот до этого места, примерно где мы стоим.

— Значит, это будет большая дамба?

— Не такая уж и большая.

— О'кей, — сказал господин Пхири. Он был разочарован. Он ожидал увидеть озеро славной коричневой воды, с коровами, стоящими в нем по брюхо, и с деревьями по берегам, и с гнездами на деревьях. Он не мог бы сказать, откуда у него взялся этот образ, но дамба для него значила именно это. — Когда она заполнится водой?

— Может, вы сможете организовать нам хороший, сильный дождь? У нас уже третий сезон практически ни капли не выпадало.

Господин Пхири засмеялся, но чувствовал он себя как школьник, и ему это не нравилось. И он не мог поверить, что здесь, среди холмов, когда-нибудь будет простираться водная гладь.

— Если вы не хотите разминуться с Мандизи, то нам пора ехать обратно.

— О'кей. — Это «о'кей» имело свой первоначальный смысл: да, я согласен.

— Мы поедем по другой дороге, — сказал Седрик, хотя не в его интересах было производить впечатление на человека, который запросто может отобрать у него ферму.

Но он не мог не поделиться своей гордостью: смотрите, вот что я сумел сделать там, где рос буш.

В миле от дома расположилось стадо коров, кормящихся сухими початками маиса. Как и все животные, истощенные засухой, они имели жалкий вид. Но господин Пхири видел только то, что это скот, это коровы, а ему так хотелось иметь своих коров. Он загляделся на них как на чудо — чиновник не понимал, что они на грани смерти.

Седрик сказал:

— Я вынужден пристреливать новорожденных телят. — Его голос

звучал глухо.

Господин Пхири был шокирован. Заикаясь, он выговорил:

— Но... но... да, я читал в газетах... но это ужасно. — Он заметил, что по щеке белого фермера течет слеза. — Должно быть, для вас это ужасно, — сказал он со вздохом и тактично отвел глаза, чтобы не смущать Седрика. Он искренне сочувствовал этому белому человеку, но не представлял, что делать, если тот вдруг разрыдается. — Стрелять телят... но разве ничего... ничего...

— У коров нет молока, — пояснил Седрик. — А когда коровы так худы, как сейчас, то телята рождаются слабыми.

Они подъехали к ферме.

Господин Мандизи тоже только что прибыл, правда сначала Седрик решил, что это его заместитель: чиновник вдвое уменьшился в размере.

— Вы очень похудели, — сказал Седрик.

— Да, это так.

Он уже высадил механика возле «мерседеса» и теперь раскрыл заднюю дверцу своей машины, приглашая господина Пхири садиться:

— Прошу вас. — И Седрику официальным тоном: — Вы должны починить свою рацию. Я едва слышал вас.

— Сам бы этого хотел, — ответил Седрик.

— А теперь в школу, — сказал господин Пхири, который погрузился из-за телят. По дороге в миссию он больше не произнес ни слова.

— Вот дом священника, — объявил наконец господин Мандизи.

— Но мне нужен дом директора школы.

— Директора нет. Боюсь, он в тюрьме.

— Почему не прислали замену?

— Мы просили прислать нам другого человека, но, видите ли, это не самое привлекательное место. Все хотят работать в городе. Или как можно ближе к городу.

Гнев оказал живительное воздействие на господина Пхири, и он энергично прошагал в маленький домик. За ним по пятам следовал его подчиненный. Никого не было видно. Мандизи хлопнул в ладоши, и появилась Ребекка.

— Доложи святому отцу о моем приезде.

— Отец Макгвайр сейчас в школе. Вы легко найдете его, если пойдете вот по этой тропе.

— А почему ты сама не сходишь?

— У меня в духовке мясо. И к тому же отец Макгвайр ждет вас.

— Почему он тогда там, а не здесь?

— Он учит старших детей. Думаю, он учит в нескольких классах, потому что директора нет. — Ребекка повернулась, собираясь идти на кухню.

— Куда это ты пошла? Я не давал тебе позволения уходить.

Ребекка опустила в медленном, глубоком реверансе и замерла: сложив руки, опустив глаза.

Господин Пхири яростно взирал на кухарку, избегая глядеть на господина Мандизи. Оба понимали, что это издевка.

— Очень хорошо. Можешь идти.

— О'кей, — сказала Ребекка.

Мужчины в городских костюмах тронулись в путь по пыльной тропе. Солнце немилосердно палило им на плечи и головы.

С восьми часов утра в классных комнатах школы стоял шум и гам: дети в радостной тревоге ожидали прибытия большого начальника. Их учителя, которые были немногим старше своих учеников, находились в столь же восторженном состоянии. Но никто не приезжал, не слышно было гудения автомобильного двигателя, только бродили голуби по школьному двору да перекликались цикады в рощице деревьев возле водосборника — пустого. Все дети уже несколько недель не могли толком утолить жажду, а некоторые к тому же голодали и не ели ничего, кроме того, что выдавал на завтрак отец Макгвайр: кусок плотного сладкого хлеба и порошковое молоко. Девять часов, потом десять. Возобновилось нормальное течение уроков, и зазвенел хор из нескольких сотен голосов, нараспев повторяющих за учителем правила, факты, фразы — когда нет ни учебников, ни тетрадок, приходится полагаться только на повторение, на заучивание в классе. Этот хор, разносящийся на полмили вокруг школы, стих, только когда появились взмокшие чиновники.

— Что это такое? Где учитель?

— Я здесь, — пролепетал смущенный юноша и улыбнулся в агонии трепета перед начальством.

— Что это за класс? Почему такой шум? Устное разучивание в утвержденную программу не входит, насколько я помню. И где ваши учебники?

Ему ответили пятьдесят полных воодушевления детей:

— Товарищ инспектор, товарищ инспектор, у нас нет учебников, у нас нет тетрадок, пожалуйста, пришлите нам тетради. И карандаши тоже, да, хоть сколько-нибудь карандашей, не забудьте про нас, товарищ инспектор.

— А почему это у них нет тетрадей и учебников? — грозно спросил господин Пхири у господина Мандизи.

— Мы отправили соответствующий запрос, но пока нам не прислали ни книг, ни учебников. — Запрос был отправлен три года назад, но Мандизи боялся сказать об этом перед детьми и перед их учителем.

— Раз в Сенге задерживают отправку, поторопите их.

Никуда не деться.

— В последний раз эта школа получала школьные пособия три года назад.

Господин Пхири переводил взгляд со своего подчиненного на учителя, на детей. Юный учитель проговорил:

— Товарищ инспектор, господин, мы стараемся изо всех сил, но без книг нам очень трудно.

Товарищ инспектор чувствовал себя в ловушке. Он знал, что в некоторых школах — всего в нескольких школах — книг не хватает. Сказать по правде, он редко ездил в сельскую местность с проверками, всегда старался устроить так, чтобы инспектируемая школа находилась в городе. Там тоже не все было в порядке, но ничего ужасного: четверо или пятеро детей вполне могут обойтись одним букварем, а учиться писать можно и на старых газетах. Но здесь вообще нет книг, ни одной... Точка воспламенения была достигнута, и инспектор взорвался:

— И посмотрите на свои полы. Тут вообще когда-нибудь убирают?

— Но сейчас так пыльно, — промолвил учитель пристыженно и поэтому едва слышно. — Пыль...

— Говорите громче.

На помощь своему преподавателю пришли ученики:

— Земля очень сухая. Мы только подметем, как ветер снова несет пыль.

— Вы как разговариваете со мной? Встаньте!

Поскольку чиновники появились в школе без церемоний и предупреждений, молодой учитель не успел поднять класс из-за парт, но теперь он спохватился, и с треском и шарканьем дети встали.

— Что за безобразие? Почему эти дети не знают, как здороваться с представителями правительства?

— Доброе утро, товарищ инспектор, — пропели дети приветствие, которое так долго репетировали. Они все еще улыбались и радовались этому визиту, после которого наконец-то у них появятся учебники, карандаши и даже, возможно, новый директор.

— Немедленно займитесь уборкой, — велел господин Пхири учителю, который жалко улыбался, как нищий, которому отказали в милостыне.

— Господин Пхири, товарищ инспектор, господин... — Он засеменил

вслед за чиновниками, направляющимися в следующий класс.

— Что еще?

— Вы не могли бы попросить, чтобы нам прислали книги... — Теперь учитель был похож на посланца с важным сообщением, которое во что бы то ни стало нужно доставить по назначению, и тут уж любые претензии на достоинство побоку. Он стиснул руки и заплакал: — Товарищ инспектор, нам так трудно учить, ведь у нас ничего нет...

Но начальство уже вошло в другой класс, откуда почти сразу же донеслись крики и ругань разгневанного господина Пхири. Он пробыл там только минуту, зашел в следующий класс — опять буря негодования. Учитель из класса, с которого Пхири начал свой обход, постоял, прислушиваясь и давая себе время опомниться, потом вернулся к ожидающим его ученикам. Пятьдесят пар глаз засияли при его появлении надеждой: «О, пожалуйста, скажите, что все будет хорошо».

— О'кей, — сказал он, и сияние потухло.

Молодой учитель изо всех сил старался не заплакать снова. Сочувственно зацокали старшие из учеников, раздались негромкие «ай-ай-ай».

— Сейчас у нас будет урок письма. — Учитель повернулся к доске и кусочком мела написал крупным, по-детски округлым почерком: «Сегодня к нам в школу приезжал товарищ инспектор».

— А теперь Мэри.

Высокая девушка лет шестнадцати пробралась через тесно стоящие парты вперед, взяла мел и переписала предложение. Закончив, она присела в коротком реверансе перед учителем, который сам всего два года назад сидел в этом же классе, и вернулась на свое место. Все сидели тихо, вслушиваясь в то, что происходило в соседних помещениях. Каждый из учеников надеялся, что его тоже вызовут к доске и дадут шанс продемонстрировать свои знания. Проблема была в дефиците мела. У учителя имелись маленький кусочек и еще две целых палочки мела, которые он хранил в кармане рубашки: шкаф, предназначенный для хранения школьного имущества, все время взламывали, несмотря на то что он давно уже стоял пустой. Так что не могло быть и речи, чтобы все дети, один за другим, написали на доске предложение.

Гневные крики, сопровождающие передвижение господина Пхири и господина Мандизи по школе, вновь стали громче; вот уже они раздались прямо за дверью — чиновники возвращаются? По крайней мере, на доске у них написана хорошая фраза... Нет, прошли мимо. Дети бросились к окнам, чтобы напоследок еще раз взглянуть на товарища начальника. Две

спины исчезли на тропе к дому священника. Вслед за ними появилась третья — в пыльной черной сутане. Это отец Макгвайр побежал за чиновниками, он махал и кричал им, чтобы они подождали его.

Молча дети расселись по своим местам. Было уже почти двенадцать часов, время устроить перерыв на обед. Не все смогли принести из дома еду. Таким бедолагам оставалось только смотреть, как их одноклассники едят комок холодной каши или кусок печеной тыквы.

Учитель объявил:

— Следующим уроком у нас будет физкультура.

Радостные возгласы. Дети любили этот урок, который проходил на школьном дворе — пыльном пустыре между зданиями школы. Никаких перекладин, никаких мячей, никаких канатов, скакалок или матов. Учителя просто выводили по очереди свои классы в пустой двор.

Два чиновника ворвались в дом священника, и священник сразу вслед за ними.

— Я не видел вас в школе, — сказал господин Пхири.

— Наверное, это потому, что вы не заглянули в третий ряд классов, а я был там.

— Я слышал, что вы преподаете в этой школе. Кто вам разрешил?

— Не то чтобы преподаю... Я веду классы коррекции.

— Не знал, что в программе есть такие занятия.

— Я помогаю детям, которые из-за бедственного состояния школы отстали от программы на три или четыре года. И называю такие занятия классами коррекции. Это абсолютно добровольно. Я не получаю за это зарплату. Мои труды не стоят правительству ни доллара.

— А те монахини, которых я видел. Почему они не преподают?

— У них нет соответствующей квалификации, даже для такой школы, как эта.

Господин Пхири готов был разразиться бранью и криками — может, ударить что-нибудь... или кого-нибудь, — но вдруг почувствовал головокружение. Его врач советовал ему избегать волнений. Он сделал вдох, сосредоточился на столе, накрытом к обеду: куски холодного мяса, помидоры. От буханки свежее испеченного хлеба исходил чудесный аромат. Инспектор подумал о садзе. Вот что ему сейчас нужно. Если бы только его бедный желудок наполнился успокоительной тяжестью и теплом хорошо сваренной садзы...

— Не согласитесь ли вы разделить с нами нашу скромную трапезу? — спросил священник.

Вошла Ребекка с тарелкой вареного картофеля.

— Ты приготовила садзу?

— Нет, господин, я ведь не знала, что вас ожидают к обеду.

Отец Макгвайр быстро вмешался:

— К сожалению, как все мы знаем, хорошая садза готовится не менее получаса, а мы не оскорбим вас, предлагая недоваренную садзу. Но, может, вы согласитесь отведать говядины? Вынужден сказать, что нынче полно говядины. Несчастные создания не выдерживают засухи.

Желудок господина Пхири, только было начавший расслабляться в ожидании садзы, вновь сжался. Инспектор заорал на господина Мандизи:

— Пойдите и узнайте, починили ли мою машину! — Господин Мандизи не сразу смог отвести глаза от хлеба, но потом с возмущением посмотрел на своего начальника: ему положен обед. Он не двинулся с места. — А потом возвращайтесь, доложите мне, все ли в порядке, и если да, то отвезете меня к себе в контору.

— Я уверен, что ремонт завершен. У механика было целых три часа, — промямлил господин Мандизи.

— Что это, неужели вы спорите со мной, господин Мандизи? Что вы себе позволяете? Или я не ваш начальник? И это после того, как я убедился в вашей полной некомпетентности! Вы поставлены здесь для того, чтобы следить за местными школами и докладывать обо всех недочетах. — Господин Пхири кричал, но голос его был слаб и тонок. Слезы чуть не брызнули из его глаз — от бессилия, от злости и от стыда за то, что довелось ему сегодня увидеть.

Хорошо, что от этого проявления слабости его вовремя спас отец Макгвайр, движимый тем же импульсом, что заставил тем же утром самого господина Пхири отвести глаза от плачущего о своих телятах Седрика Пайна. Священник возобновил свою благодушную болтовню:

— А теперь, прошу вас, господин Пхири, присаживайтесь. И я так рад встретиться с вами, потому что я старый друг вашего отца — вы знали это? Он был моим учеником — да-да, вот на этот стул, и господин Мандизи...

— Он будет делать то, что ему приказано: пойдет и узнает, что с моей машиной.

Ребекка, ни разу не взглянув в сторону господина Пхири, подошла к столу, отрезала два весомых ломтя хлеба, положила между ними мяса и протянула бутерброд господину Мандизи с небольшим реверансом, в котором не было ни капли издевки.

— Вы нездоровы, — сказала она ему. — Да, я вижу, что вы нездоровы. Стоя с бутербродом в руках, он не ответил.

— У вас проблемы со слухом, господин Мандизи? — взвизгнул

инспектор.

Все так же молча господин Мандизи вышел на веранду. Там ему встретилась Сильвия, пришедшая из больницы.

Она взяла его под руку и стала убеждать его в чем-то тихим, настойчивым голосом.

До столовой донесся его ответ:

— Да, я болен, и моя жена тоже больна.

Сильвия, по-прежнему поддерживая господина Мандизи под руку (он не только похудел, но и ослаб), пошла с ним к автомобилю.

А отец Макгвайр говорил, говорил, говорил, не забывая подталкивать к гостю блюда с мясом, с картофелем, с помидорами.

— Да, да, вы должны как следует поесть, вы, должно быть, ужасно голодны, ведь завтрак был давно, и я тоже проголодался, да, а ваш отец — он здоров? Он был моим любимым учеником, когда я был учителем в Гути. Такой был умный мальчик.

Господин Пхири посидел с закрытыми глазами, приходя в себя. Когда он открыл их, то увидел напротив себя маленькую женщину с коричневой кожей. Негритянка? Нет, такого цвета белые становятся, когда оказываются в солнечной стране, да-да, это та самая женщина, что сейчас разговаривала с господином Мандизи. Она улыбнулась Ребекке. Они что, над ним смеются? Ярость, которая начала было покидать чиновника под благотворным влиянием вкусной говядины с картошкой, вернулась, и он сказал:

— А вы та женщина, которая, как мне говорили, пользуется принадлежностями из нашей школы для своих так называемых уроков?

Сильвия взглянула на священника, и тот сжал губы, сигнализируя ей: не говори ни слова.

— Доктор Леннокс купила тетради и атлас на свои личные деньги, вам не следует беспокоиться по этому поводу, никакой необходимости нет. А теперь, может, вы поделитесь новостями о вашей матери — она служила у меня одно время кухаркой, и могу искренне признаться в том, что завидую вам: иметь мать, которая так изумительно готовит!

— И что это за уроки, интересно, вы даете ученикам? Разве вы учитель? У вас есть диплом? Вы же врач, а не учитель.

И снова отец Макгвайр не дал Сильвии ответить:

— Да, это наш добрый доктор, она доктор, а не учитель, но для того, чтобы просто читать детям, чтобы учить их читать, учительский диплом не требуется.

— О'кей, — сказал господин Пхири. Он ел нервно и торопливо, как

едят люди, для которых еда является успокаивающим средством. Он подвинул к себе хлеб и отрезал толстый ломоть: пусть он остался без садзы, но если съесть достаточно хлеба, то будет почти так же хорошо.

Внезапно раздался голос Ребекки:

— Возможно, товарищ инспектор захочет пойти и посмотреть на урок доктора Сильвии, и тогда он убедится, как она всем нравится, как она помогает нам.

Отец Макгвайр с трудом подавил раздражение.

— Да, да, конечно, — сказал он. — Да-да-да. Но в такой жаркий день, я уверен, господин Пхири предпочтет остаться здесь, с нами, в прохладе, и выпьет чашку вкусного крепкого чаю. Ребекка, пожалуйста, сделай товарищу инспектору чаю.

Ребекка вышла. Сильвия намеревалась приступить к господину Пхири с расспросами о недостающих учебниках и тетрадках, и священник понял это и поспешил помешать ей:

— Сильвия, я думаю, товарищу инспектору будет очень любопытно узнать о библиотеке, которую ты подарила деревне.

— Да, — сказала Сильвия. — Теперь у нас почти сотня книг.

— И кто платил за них, позвольте спросить?

— Доктор любезно заплатила за книги сама.

— Надо же. Значит, все мы должны быть очень благодарны доктору. — Он вздохнул и сказал: — О'кей.

— Сильвия, ты ничего не ела.

— Пожалуй, я только выпью чаю.

Вошла с подносом Ребекка, расставила чашки, блюдца, все — очень медленно и демонстративно, накрыла молочник салфеткой с бисером по краям — от мух, подвинула большой чайник в сторону Сильвии. Обычно чай разливала Ребекка, но сейчас она вернулась на кухню. Инспектор проводил ее хмурым взглядом, догадываясь, что происходит нечто оскорбительное для него, но не зная, что именно.

Сильвия занялась чаем, не отрывая глаз от того, что делали ее руки. Она поставила перед инспектором чашку, подтолкнула к нему сахарницу и, закончив с этим, стала крошить свой кусочек хлеба. Тишина. Ребекка на кухне стала напевать какую-то мелодию — песню времен Освободительной войны. Это делалось, чтобы разозлить инспектора, но он, видимо, песню не узнал.

И тут, к счастью, послышался звук приближающегося автомобиля, вот он остановился под окном, подняв фонтаны пыли. Из него вылез механик в нарядном синем комбинезоне. Господин Пхири поднялся.

— Кажется, это моя машина, — сказал он рассеянно, как человек, который что-то потерял, но не помнит, что и где. У него было смутное ощущение, что вел он себя неподобающим образом... хотя нет, с чего бы это, ведь он все делал правильно.

— Я очень прошу вас рассказать родителям о нашей встрече. Скажите им, что я молюсь за них.

— Хорошо, скажу, когда увижу. Они живут в буше, около «точки роста» Памбили. Они уже старики.

Господин Пхири вышел на веранду. Над кустами гибискуса порхали бабочки. В кронах деревьев щебетали птицы. Чиновник сделал три шага к своей машине, сел на заднее сиденье, и автомобиль скрылся в клубах пыли.

В столовую вернулась Ребекка и, вопреки обычаю, села за стол. Сильвия налила ей чаю. Некоторое время все молчали. Потом Сильвия сказала:

— Я из больницы слышала, как орет этот идиот. Он докричится, что у него insult будет.

— Да, да, — сказал священник устало.

— Какой позор, — продолжала Сильвия. — Эти дети, они ждали товарища инспектора неделями. Инспектор сделает то, инспектор сделает это, инспектор привезет нам книги.

Отец Макгвайр перебил ее:

— Сильвия, но ничего же страшного не случилось.

— Что? Как вы можете говорить...

Ребекка проговорила будто про себя:

— Стыд, вот стыд-то какой.

— Как вы можете быть таким хладнокровным, Кевин? — Сильвия нечасто называла священника мирским именем. — Это же преступление. Этот человек — преступник.

— Да, да, да, — ответил священник. Наступила довольно долгая пауза. Потом он продолжил: — Тебе не кажется, что такова вся наша история? Сильные вырывают хлеб изо рта у слабых, а слабые перебиваются как могут.

— И неужели ничего нельзя сделать, неужели все так и будет продолжаться?

— Скорее всего, — вздохнул отец Макгвайр. — Но мне интересно, как ты воспринимаешь это. Ты всегда удивляешься, когда сталкиваешься с несправедливостью. Но так уж устроен этот мир: он несправедлив.

— Но им ведь столько всего обещали. Им обещали, что после Освобождения они получат... получат все.

— Так политики всегда дают обещания, а потом их нарушают.

— Я верила всему тому, что нам говорили, — сказала Ребекка. — Я была дура, когда радовалась Освобождению. Я думала, они хотят сделать то, что обещают.

— Они и хотели, разумеется, — сказал священник.

— Я думаю, что наши вожди стали плохими, потому что мы прокляты.

— О, Боже милостивый! — воскликнул священник, наконец не сдержавшись. — Я не собираюсь сидеть здесь и слушать эту чепуху. — Однако он не встал из-за стола и не ушел.

— Да, — стояла на своем Ребекка. — Это все из-за войны. Это из-за того, что мы не хоронили убитых на той войне. Вы слышали, что на тех холмах, в пещерах, до сих пор лежат скелеты? Слышали? Мне Аарон говорил. А если не похоронить мертвых так, как велят нам наши обычаи, то они вернуться и проклянут нас.

— Ребекка, ты же одна из самых умных женщин, каких я знаю...

— И теперь еще СПИД. И это тоже проклятье. Ничего другого не может быть.

Сильвия сказала:

— Это вирус, Ребекка, а не проклятье.

— У меня было шестеро детей, а теперь только трое, и скоро останутся двое. И каждый день на кладбище появляется новая могила.

— Ты когда-нибудь слышала про «Черную смерть»?

— Я бедная черная женщина, откуда мне знать? — Эта ее присказка означала, что на самом деле Ребекка прекрасно знает то, о чем ее спрашивают, но не желает подавать виду, а хочет, чтобы сказали за нее.

— Была эпидемия такой болезни в Азии, и в Европе, и в Северной Африке. Тогда погибла треть населения, — пояснила Сильвия.

— Инфекцию разносили крысы и клопы, — добавил священник.

— А кто говорил им, куда нести болезнь?

— Ребекка, это была эпидемия. Как СПИД. Как худоба.

— Это Господь рассердился на нас, — стояла на своем Ребекка.

— Да храни нас всех Господь, — сказал священник. — Я становлюсь слишком стар, я возвращаюсь в Ирландию. Я возвращаюсь домой.

Отец Макгвайр сделался брюзглив — брюзглив, как старик. И выглядел он тоже неважно — но это по крайней мере не от СПИДа. У него недавно вновь случился приступ малярии. Священник был изможден.

Сильвия тихо заплакала.

— Я собираюсь прилечь на несколько минут, — объявил отец Макгвайр. — И я знаю, что моему примеру ты все равно не последуешь,

бесполезно говорить что-либо.

Ребекка подошла к Сильвии, помогла ей встать, и вдвоем они пошли в комнату Сильвии. Черная женщина уложила белую на кровать, и та опустила голову на подушку, прикрыла глаза ладонью. Ребекка встала возле кровати на колени и обняла Сильвию за плечи.

— Бедная Сильвия, — проговорила она и запела детскую песенку — колыбельную.

Рукав платья Ребекки свободно висел вокруг ее плеча. Прямо перед глазами сквозь неплотно сжатые пальцы Сильвия видела эту худую черную руку, а на ней — язву. Эти язвы были ей слишком хорошо знакомы. Только этим утром она осматривала женщину с такими же. Плачущий ребенок, которым только что была Сильвия, исчез, на его место вернулся врач. У Ребекки СПИД. Теперь, когда перед ней было явное доказательство, она не могла больше таить от себя то, что знала, конечно, уже давно: у Ребекки СПИД, и поделаться с этим Сильвия ничего не может. Она закрыла глаза, притворилась, что засыпает, и вскоре услышала, как Ребекка тихо выходит из комнаты.

Сильвия неподвижно лежала на спине. Потрескивала раскаленная железная крыша. Сильвия глянула на распятие. Потом посмотрела на разнообразных дев в синих облачениях. Она сняла четки с крючка в изголовье кровати, подержала в пальцах. Стекло бусинок было теплым, как человеческая плоть. Сильвия повесила четки обратно.

Напротив нее женщины Леонардо заполняли половину стены. Насекомые уже добрались до прекрасных лиц, края репродукций превратились в кружева, пухлые детские конечности покрылись пятнами.

Сильвия заставила себя подняться с кровати и пошла в деревню, где ее дожидалось множество разочарованных людей.

«Внучка известной нацистки, дочь активного деятеля коммунистической партии, Сильвия Леннокс нашла укрытие в сельской Цимлии, где открыла частную клинику на средства, украденные из местной муниципальной больницы».

Проблема была в том, что до этой безграмотной страны еще не дошло, что коммунизм отныне не политкорректен, да и слово «нацист» не имело здесь того эффекта, как в Лондоне. Многим гражданам Цимлии нацисты даже нравились. Существовало только два эпитета, способных вызвать

однозначную реакцию. Это «расист» и «южноафриканский агент».

Роуз знала, что Сильвия не расистка, но, поскольку она была белой, большинство черных с готовностью наградило бы ее этим званием. Однако достаточно будет единственного письма в «Пост» от любого негра, утверждающего, что Сильвия — друг чернокожих, чтобы это опровергнуть. Значит, нет. А как насчет шпионки? Но и тут не все так гладко. В то время, незадолго до падения апартеида, шпионская лихорадка среди соседей Южной Африки достигла своего апогея. Всякий, кто родился в Южной Африке или когда-то жил там; кто недавно ездил туда в отпуск; у кого были там родственники; кто высказывал недовольство положением дел в Цимлии или предполагал, что можно было бы лучше управлять страной; кто занимался «саботажем» на предприятиях или в учреждениях, то есть терял или ломал оборудование (коробку с конвертами или полдюжины болтов); в общем, всякий, кто вызвал хотя бы малейшее неодобрение, мог быть назван и назывался агентом Южной Африки — которая, разумеется, делала все, что в ее силах, лишь бы только помешать своим соседям. В такой атмосфере Роуз не составило бы труда поверить самой и убедить других в том, что Сильвия работает на Южную Африку, но когда вокруг столько шпионов, этого будет недостаточно.

Потом Роуз повезло. Телефонный звонок из приемной Франклина обеспечил ее приглашением на прием в честь посла Китая, где собирался появиться и сам Вождь. Прием проходил в гостинице «Батлерс» — в самой лучшей гостинице. Роуз надела платье и пришла заранее. Всего несколько недель провела она в Цимлии, но на любом приеме или вечеринке она уже знала, по крайней мере в лицо, почти всех приглашенных. Вообще же ее знакомые делились на две группы. Первая — журналисты, редакторы, писатели, университетские сотрудники, экспаты, представители негосударственных организаций, то есть довольно смешанная публика, причем умная (Роуз не доверяла умным людям, так как подозревала, что они смеются над ней) и до сих пор по большей части белая. Это были простые, независимо мыслящие, трудолюбивые люди, и многие из них еще верили в будущее Цимлии, хотя кое-кто уже разочаровался. Вторая группа, та, которая соберется и на этот прием и с которой Роуз чувствовала себя как дома, состояла из правителей и боссов, вождей и министров, то есть людей, наделенных властью, в основном — чернокожих.

Роуз заняла место в углу просторного помещения, общий стиль и элегантность которого успокаивающе действовали на нее. Она ждала Франклина и старалась не пить много — пока. Она еще успеет напиться. Комната наполнялась, потом уже стало яблоку некуда упасть, а Франклина

все не было. Рядом с Роуз остановился мужчина, чье лицо она знала по фотографиям в «Пост». Сразу заявлять о том, что она журналистка из Англии, то есть относится к племени, столь ненавистному здешнему правительству, Роуз не собиралась и с улыбкой обратилась к нему:

— Товарищ министр, такая честь быть в вашей замечательной стране. Я здесь с визитом.

— О'кей, — сказал он, польщенный, но явно не готовый уделять время этой непривлекательной белой женщине, которая наверняка была чьей-то женой.

— Верна ли моя догадка, что вы — министр образования? — спросила Роуз, зная, что это не так, и он ответил вежливо, но равнодушно:

— Боюсь, вы ошибаетесь. Я заместитель министра здравоохранения. Да, мне оказана такая честь.

Он тянул голову и всматривался поверх голов, окружающих его: он хотел поймать взгляд Вождя, когда тот войдет. Президент Мэтью славился по всему миру как человек весьма демократичный, однако своим министрам он нечасто показывался на глаза. На тех редких совещаниях кабинета, на которых Вождь соизволял присутствовать, он лишь излагал свою точку зрения и удалялся: не очень-то он был общительный, этот товарищ президент Цимлии. Заместитель министра уже давно искал возможности обсудить кое-что с Вождем и надеялся, что в этот вечер сумеет сказать ему несколько слов. Кроме того, он был тайно влюблен в Глорию. А кто не был в нее влюблен? Эта большая, роскошная, неотразимая, сексуальная женщина с лицом, которое звало... где же она? Где они, товарищ президент и Мать нации?

— Скажите, а известно ли вам что-нибудь о больнице в Квадере? — спросила его Роуз — спросила уже второй раз, потому что в первый раз он ее даже не услышал.

Нет, ну это уже нарушение всяких приличий. Прежде всего, руководитель такого уровня, как он, не должен заниматься мелочами вроде конкретных больниц, а потом, сейчас ведь официальный прием, это не место и не время для подобных расспросов. Но так уж вышло, что про больницу в Квадере он знал. На его столе как раз сегодня лежали три папки — дела трех больниц, начатых и недостроенных, потому что средства были — нет смысла церемониться в выражениях — разворованы. Он не меньше других сожалеет о том, что так происходит, но ошибки случаются. В отношении двух из этих больниц разгневанные и уже несколько циничные инвесторы выдвинули план: они соберут половину недостающих средств, если правительство даст вторую половину. А иначе — очень жаль, но

ничего не попишешь, гуд-бай, больница. В Квадере инвестор послал свою делегацию на место стройки, узнал о том, в каком состоянии находится больница, и сказал: нет, мы не будем ее финансировать. Беда в том, что как раз в Квадере больница очень нужна. В районе есть некое подобие медицинского учреждения при миссии Святого Луки, но такое бедное и отсталое, что является позором для Цимлии. И потом, секретные службы донесли, что докторша из той больницы, возможно, работает на Южную Африку. Ее отец был известным коммунистом, приятельствовал с Советским Союзом. А в Цимлии не любят русских, которые отвернулись от товарища Мэтью, когда он (вернее, его войска) сражались в буше. Поддержали его тогда китайцы. И вот теперь здесь чествуют китайского посла. Вон он с женой, миниатюрной женщиной, оба улыбаются вовсю и жмут руки. Нужно двигаться: где посол Китая, там будет и Вождь.

— Простите, я покину вас, — сказал чиновник Роуз.

— Могу я попросить у вас о встрече — может, в вашем министерстве?

— Что вам нужно? — спросил он весьма грубо.

Роуз импровизировала:

— Врач больницы в Квадере — моя двоюродная сестра, и я слышала, что...

— Вы все правильно слышали. Ваша двоюродная сестра должна быть осторожнее в выборе друзей. У меня есть сведения из надежного источника о том, что она работает на... ну, не важно на кого именно.

— И... пожалуйста, еще одну минутку, а что там насчет кражи оборудования из недостроенной больницы?

Об этом он ничего не слышал и рассердился на своих помощников за то, что ему не доложили. И вообще все это дело было таким неприятным, он не хочет о нем думать. Он понятия не имеет, как решать проблему с больницей в Квадере.

— О чем это вы? — обернулся он к Роуз, хотя сам уже начал движение к эпицентру событий. — Если это правда, то ваша родственница будет наказана, можете не сомневаться. Сожалею, что это близкий вам человек.

И он ушел туда, где появилась блистательная Глория в алом шифоне и бриллиантовом колье. Где же Вождь? Выяснилось, что он не придет, его жена будет одна принимать гостей.

Роуз тихо покинула гостиницу и переместилась в кафе, всегда кипящее новостями и сплетнями. Там она доложила о приеме, об отсутствии Вождя, о красном шифоне Матери нации и ее бриллиантах, а также о замечании заместителя министра насчет больницы в Квадере. Среди посетителей кафе была женщина из Нигерии, приехавшая для участия в конференции

«Здоровье наций». Услышав о шпионке в Квадере, она воскликнула, что с момента прибытия в Цимлию не слышит ничего, кроме криков о вездесущих шпионах, а если исходить из опыта ее страны, то шпионы и войны как нельзя кстати в тех случаях, когда в экономике что-то не ладится. Эти слова вызвали оживленную дискуссию, в которой так или иначе все принимали участие. Один человек, журналист, был арестован по подозрению в шпионаже, но потом его отпустили. Другие знали людей, которых тоже считали агентами и... Роуз поняла, что в кафе весь вечер будут говорить только о южноафриканских агентах, и выскользнула на улицу. Ее следующей остановкой стал небольшой ресторан за углом. Двое мужчин, которые незаметно для Роуз следовали за ней из кафе, в ресторане подошли к ее столику и попросили разрешения угостить женщину ужином: больше свободных мест не было. Роуз была голодна, не имела привычки отказываться от угощения, и к тому же незнакомцы ей понравились — они ее чем-то впечатлили, только трудно было уловить, чем именно. Вероятно, во всей Цимлии только она одна не признала в них с первого взгляда тайную полицию, но, с другой стороны, Британию в последний раз так давно завоевывали, что ее граждане стали несколько наивными. Роуз объяснила себе неожиданное внимание мужчин тем, что, наверное, сегодня вечером она выглядит лучше обычного. В большинстве стран мира, то есть в тех странах, где спецслужбы действуют особенно энергично, никто не стал бы и рта раскрывать в присутствии подобных крепышей. Что же касается Роуз, то она привлекла их внимание тем, что быстро и потихоньку скрылась из кафе, как только разговор зашел о шпионах.

— Интересно, известно ли вам что-нибудь о больнице при миссии в Квадере? — тем временем тараторила журналистка. — У меня там работает двоюродная сестра, она врач. Я только что говорила с заместителем министра здравоохранения, и он сказал, что ее якобы подозревают в шпионаже.

Мужчины переглянулись. Они знали про женщину-врача в Квадере, потому что ее имя было в их списках. До сих пор они не относились к ней серьезно. Ну, сами подумайте, какой вред она может принести, забравшись в такую глушь? Но если уж заместитель министра...

Эти двое совсем недавно начали служить в тайной полиции. Они получили эту работу благодаря родственным связям с министром. Разумеется, к старым кадрам предвоенных времен оба не имели никакого отношения. Обычно вновь созданные государства с восторгом меняют все правительство, но секретные службы сохраняют нетронутыми. Это можно объяснить двумя причинами: во-первых, новые правители с уважением

относятся к осведомленности людей, которые совсем недавно шпионили за ними, а во-вторых, слишком уж много нежелательных секретов могут раскрыть эти осведомленные люди, если лишить их работы. Двум же собеседникам Роуз еще только предстояло заслужить себе имя, и они очень хотели произвести на начальство впечатление.

— А вы не знаете, из Цимлии кого-нибудь депортировали за шпионскую деятельность? — спросила Роуз.

— О да, таких случаев много.

Это было неправдой, но уж очень хотелось новоиспеченным полицейским почувствовать свою принадлежность к строгой и эффективной системе.

— Да что вы! — воскликнула Роуз, почуяв тему.

— Например, одного из них звали Матабеле Смит.

Второй уточнил:

— Матабеле Босман Смит.

Однажды вечером в том кафе, в которое заглядывала только что Роуз, несколько журналистов подшучивали над слухами про шпионов и выдумали персонаж, наделенный всеми возможными неприятными — для правительства — качествами. Этот персонаж был южноафриканцем, часто посещающим Цимлию с деловыми командировками, и ему приписали попытку взорвать угольную шахту в Хванге, Дом правительства, новый стадион и аэропорт. Несколько вечеров подряд он развлекал кафе, но потом шутка устарела, и понемногу про Матабеле Смита забыли, но его имя к тому времени уже оказалось в досье полиции. Однако сколько бы тайные агенты, посещавшие кафе, ни вслушивались, они так и не смогли разузнать про этого Смита ничего конкретного.

— Значит, его выслали из страны? — спросила Роуз.

Агенты помолчали, снова переглянулись, потом один из них сказал:

— Да, его выслали.

И другой:

— Мы депортировали его обратно в Южную Африку.

На следующий день Роуз закончила свою статью о Сильвии такими словами: *«Про Сильвию Леннокс также известно, что она была близким другом Матабеле Босмана Смита, которого депортировали из Цимлии как южноафриканского шпиона».*

Общий стиль и агрессивный тон статьи вполне соответствовали требованиям газет, которые Роуз использовала для обнародования своих опусов в Британии, но она решила все же сначала показать заметку Биллу Кейзу и потом Фрэнку Дидди. Оба они знали, кем был на самом деле

депортированный шпион, но Роуз ничего говорить не стали. Она им не нравилась и уже давно исчерпала запас их гостеприимства, к тому же обоим позабавило, что знаменитый Смит получил новую жизнь, подарив, таким образом, пару веселых вечеров завсегдатаям кафе.

Статью напечатали в «Пост», но ее трудно было заметить и выделить среди множества аналогичных творений. Тогда Роуз послала ее в «Уорлд скандалс», и вот так заметка попала к Колину — по неписаному правилу, которое гласит, что все неприятное, что печатается о тебе в газетах, так или иначе найдет тебя. Скорее всего, вырезку пришлет какой-нибудь доброжелатель. Колин тут же через суд обязал газету выплатить приличную компенсацию и принести извинения, но, как всегда бывает в подобных случаях, опровержение было напечатано мелким шрифтом в нижнем углу, где его почти никто и не заметил. Вновь Юлию назвали нацисткой. Ну, а предположение, будто Сильвия шпионит в пользу Южной Африки, было настолько смехотворным, что Колин только покачал головой.

Отец Макгвайр прочитал статью в «Пост», но Сильвии ее не показал. А господин Мандизи приложил вырезку к документам, касающимся миссии Святого Луки.

Случилось то, чего Сильвия боялась все те годы, что прожила в миссии. Зебедей и Умник принесли на руках из деревни девочку с острым аппендицитом. Машину в тот день забрал отец Макгвайр, поехавший навещать знакомого. Дозвониться до Пайнов Сильвия не сумела: не было связи то ли в миссии, то ли на ферме Пайнов. Девочка нуждалась в срочной операции. Сильвия часто воображала нечто вроде этого и заранее определила для себя, что оперировать не будет. Она не имела права. Простые (и успешные) операции — да, это могло сойти ей с рук, но более или менее серьезные случаи да еще с риском летального исхода, нет, на нее тут же набросятся все чиновники от Квадере до Сенги.

Два мальчика в белых рубашках (накрахмаленных и выглаженных Ребеккой), с идеально причесанными волосами, с вымытыми — дважды, как положено врачам, — руками, стояли на коленях по обе стороны девочки внутри хибарки из тростника, которая называлась больничной палатой, и смотрели на Сильвию. В их глазах блестели слезы.

— Она вся горит, Сильвия, — сказал Зебедей. — Потрогайте ее.

Сильвия вздохнула:

— Ну почему она не пришла ко мне раньше? Даже вчера еще не было бы поздно. Ну почему? Ведь это происходит снова и снова. — Ее голос срывался — от страха. — Вы понимаете, насколько серьезна ее болезнь?

— Мы говорили ей, что нужно пойти в больницу, мы говорили.

Если девочка умрет не прооперированная, то вины Сильвии в этом не будет, но если она, доктор Сильвия, сделает операцию, а девочка все-таки умрет, то тогда это будет считаться ее ошибкой. Два юных лица, омытых слезами, умоляли ее: пожалуйста, пожалуйста. Девочка приходилась им и Джошуа родственницей.

— Вы же знаете, что я не хирург, я вам объясняла, Умник, Зебедей, вы же понимаете, что это значит.

— Но вы должны помочь ей, — сказал Умник. — Должны, Сильвия, ну пожалуйста.

Девочка подтянула колени к животу и застонала.

— Что ж, ладно. Принесите самые острые наши ножи. И горячей воды. — Она нагнулась к уху девочки: — Молись, — сказала она. — Молись Деве Марии. — Сильвия знала, что девочка католичка: видела ее в церкви. Сейчас любая помощь пригодится.

Мальчики принесли инструменты. Девочка лежала не на «операционном столе», так как двигать ее было опасно, а на подстилке, совсем рядом с пыльным полом. Хуже условий для операции не придумать.

Сильвия велела Умнику прижать смоченную в хлороформе тряпку к лицу девочки, а самому отвернуться и дышать в сторону. Зебедея она попросила поднять таз с инструментами как можно выше от пола, а сама, как только стоны девочки стихли, приступила к операции. Она даже не пыталась произвести точечную операцию, о которой раньше рассказывала мальчикам.

— Я делаю разрез по-старому, — сказала Сильвия. — Но вы, когда будете учиться, узнаете, что такой большой разрез устарел и его уже давно не делают.

Как только она вскрыла брюшную полость, то поняла, что слишком поздно. Аппендикс уже лопнул, залив все гноем. Пенициллина у Сильвии не было. Тем не менее она убрала гной, промыла рану и потом зашила ее. Закончив, врач шепотом сказала мальчикам:

— Думаю, она не выживет.

Оба громко заплакали, Умник — опустив голову в колени, Зебедей — уткнувшись лицом в спину брата.

Сильвия сказала:

— Мне нужно сообщить о том, что я сделала.

Умник прошептал:

— Мы никому не расскажем. Никому-никому.

Зебедей схватил ее за руки, еще запачканные кровью, и воскликнул:

— О Сильвия, о доктор Сильвия, у вас будут неприятности?

— Если я не сообщу сейчас, а потом узнают, что вы все знали, то у вас тоже будут большие неприятности. Так что ничего не поделаешь, придется рассказать.

Сильвия расправила на девочке юбку и блузку. Бедняжка умерла. Ей было всего двенадцать лет.

— Скажите плотнику, что нам нужен будет гроб скоро-скоро.

Она отправилась в дом, нашла там отца Макгвайра, только что вернувшегося из поездки, и рассказала о том, что случилось.

— Я должна сообщить господину Мандизи.

— Да. Я думаю, это нужно сделать. Не говорил ли я тебе, что такое может произойти?

— Конечно говорили.

— Я позвоню господину Мандизи и попрошу, чтобы он сам приехал.

— Телефон не работает.

— Пошлю Аарона на велосипеде.

Сильвия вернулась в больницу, помогла уложить девочку в гроб, нашла Джошуа, который спал под своим деревом, сказала ему, что малышка умерла. Но Джошуа уже плохо соображал, ему требовалось время, чтобы воспринять то, что ему говорят. Сильвия не хотела слушать, как он станет проклинать ее (а он, несомненно, именно так и поступит), поэтому она ушла, не дожидаясь его ответа. Врач сказала Зебедею и Умнику, что сегодня она не придет в деревню на урок, и попросила их провести занятие вместо нее: надо просто послушать, как люди читают, и еще проверить письменное задание.

В доме священник пил чай.

— Сильвия, дорогая моя, я думаю, тебе стоит отправиться в небольшой отпуск.

— И что от этого изменится?

— Пусть все уляжется.

— Вы думаете, все уляжется?

Он промолчал.

— И куда я поеду, святой отец? У меня нет другого дома. И пока новая больница не достроена, я буду нужна этим людям.

— Подождем, что скажет господин Мандизи. Он уже скоро должен подъехать.

В эти дни господин Мандизи был их другом; давно прошли те времена, когда он вел себя грубо и подозрительно. Однако он, как и был, оставался чиновником, который должен выполнять свои обязанности.

Когда Мандизи приехал, его никто не узнал. От него оставалось только имя, остальное съела ужасная болезнь.

— Господин Мандизи, в таком состоянии вам нужно лежать в постели.

— Нет, доктор. Я еще могу работать. В постели лежит моя жена. Она очень больна. Вдвоем, бок о бок — нет, я не думаю, что мне это понравится.

— Вы сделали анализы?

Он помолчал, потом вздохнул, сказал:

— Да, доктор Сильвия, мы сделали анализы.

Ребекка внесла обед: мясо, хлеб, помидоры. Увидев чиновника, она ахнула:

— Ах, господин Мандизи, ай-ай-ай!

Поскольку Ребекка всегда была худой и невысокой, а костлявое лицо скрывал платок, он не мог видеть, что она тоже больна, и поэтому сел за стол, ощущая себя обреченным человеком среди здоровых счастливых.

— Мне так жаль, господин Мандизи, — сказала Ребекка и вышла из комнаты, плача.

— А теперь вы должны мне рассказать все как было, доктор Сильвия.

— Да.

— Был ли шанс спасти ее?

— Был, небольшой. Понимаете, у меня нет пенициллина, он закончился, и...

Мандизи сделал рукой жест, который она слишком хорошо знала: не обвиняйте меня за то, в чем я бессилён.

— Мне надо будет сообщить в большую больницу.

— Конечно.

— Вероятно, они захотят сделать вскрытие.

— Тогда им нужно поторопиться. Девочка уже в гробу. Почему бы вам просто не сказать, что это моя вина? Я не хирург.

— Это была трудная операция?

— Нет, одна из наиболее простых.

— Настоящий хирург смог бы что-нибудь сделать на вашем месте?

— Да нет, вряд ли. Нет, ничего.

— Не знаю, что вам сказать, доктор Сильвия.

Было очевидно, однако, что ему хотелось что-то сказать. Мандизи сидел, опустив глаза, затем взглянул на нее с сомнением, потом посмотрел на священника. Сильвия понимала, что он знает что-то, что ей и отцу Макгвайру пока неизвестно.

— В чем дело? — спросила она.

— Кто такой ваш друг Матабеле Босман Смит?

— Кто?

Господин Мандизи вздохнул. Тарелка с едой стояла перед ним нетронутая. Как и перед Сильвией. Священник ел размеренно, хмурый. Господин Мандизи сжал лоб рукой и сказал:

— Доктор Сильвия, знаю, что от моей болезни нет мути, но у меня так болит голова, так болит, я не знал, что бывает такая боль.

— У меня есть кое-что от головы. Я дам вам таблетки.

— Спасибо, доктор Сильвия. Но должен сказать еще... Есть еще кое-что... — Вновь он посмотрел на священника, и тот кивнул ему, подбадривая. — Вашу больницу собираются закрыть.

— Но этим людям нужна больница!

— Скоро откроют новую... — Лицо Сильвии просветлело, затем она увидела, что чиновник просто хочет утешить себя и ее. — Да, скоро у нас будет больница, я уверен, — повторил господин Мандизи. — Да, такова ситуация.

— О'кей, — сказала Сильвия.

— О'кей, — сказал господин Мандизи.

Неделю спустя пришло адресованное отцу Макгвайру машинописное распоряжение закрыть больницу «с момента получения данного письма». И в то же утро прибыл полицейский на мопеде. Это был молодой чернокожий парень, лет двадцати, и он, совсем недавно облеченный властью, пока еще неловко себя чувствовал. Отец Макгвайр пригласил полицейского сесть, и Ребекка налила ему чаю.

— Итак, сын мой, что я могу для тебя сделать? — поинтересовался священник.

— Я ищу похищенное имущество.

— Ага, понятно. Что ж, в этом доме ты его не найдешь.

Ребекка молча стояла у буфета. Полицейский обратился к ней:

— Тогда, может, ты проводишь меня к своему дому, и я поищу там.

Ребекка сказала:

— Мы ездили смотреть на новую больницу. Там сейчас живут дикие свиньи.

— Я там тоже был. Да, свиньи и, кажется, бабуины. — Полицейский засмеялся, но осекся и вздохнул. — Но здесь есть больница, говорят, и мне дан приказ осмотреть ее.

— Больница закрыта.

Священник подтолкнул к полицейскому письмо, тот прочитал его и

сказал:

— Ну, если она закрыта, тогда я не вижу никаких проблем.

— Таково и мое мнение.

— Думаю, мне нужно обсудить все с господином Мандизи.

— Это хорошая мысль.

— Только он нездоров. Господин Мандизи нездоров, и я думаю, что скоро нам пришлют вместо него другого человека.

Полицейский встал, не глядя на Ребекку, чей дом, он знал, ему следовало бы посетить. Тем не менее он сел на мопед и с ревом помчался обратно через буш.

А Сильвии тем временем нужно было закрывать больницу.

В палатах лежали пациенты, Умник и Зебедей раздавали лекарства.

Она сказала священнику:

— Я поеду в Сенгу, попробую встретиться с товарищем министром Франклином. Мы в юности были знакомы. Он приезжал в наш дом на каникулы. Он был другом Колина.

— Ах, нет ничего хуже, чем люди, которые знали тебя до того, как ты стал товарищем министром.

— Но все-таки я должна попытаться что-то сделать.

— Не будет ли лучше тогда надеть красивое чистое платье?

— Да, разумеется. — Сильвия ушла к себе в комнату и вскоре появилась вновь в костюме «на выход» из зеленого льна.

— И наверное, ты захочешь взять с собой ночные принадлежности и другие вещи для дороги?

И снова Сильвия скрылась в спальне, откуда вышла с сумкой.

— А теперь я позвоню Пайнам и спрошу, не планируют ли они поездку в Сенгу.

Эдна Пайн сказала, что будет только рада поводу сбежать на время с проклятой фермы, и через полчаса уже подъехала к миссии. Сильвия запрыгнула на сиденье рядом с ней, помахала отцу Макгвайру:

— До завтра.

И Сильвия уехала, но не на один день, а на долгие недели.

Всю дорогу до города Эдна жаловалась. Помимо прочего она поделилась новостью, возмутительной и о которой вообще-то не следовало бы рассказывать, но, сказала она, не рассказать невозможно. С Седриком связался один из этих пройдох и заявил, что если Пайны отдадут ему свои фермы «сейчас-сейчас», то на их счет в Лондоне поступит сумма, равная трети стоимости ферм.

Сильвия переварила услышанное и рассмеялась.

— Вот именно — смешно. Нам остается только смеяться. Я говорю Седрику: бери что дают и давай сматываться отсюда. А он отвечает, что не согласится на треть стоимости. Он хочет дождаться, пока ему не предложат нормальную цену. Говорит, что одна только новая дамба в два раза увеличила цену фермы. А мне лишь бы выбраться отсюда. Что я больше всего здесь ненавижу, так это лицемерие. Меня тошнит от него.

В таком ключе беседа продолжалась до самой Сенги, где Эдна высадила Сильвию перед зданием правительства.

Когда Франклину сообщили, что его хочет видеть Сильвия Леннокс, он запаниковал. Он предполагал, что Сильвия может «что-то такое предпринять», но не ожидал, что так скоро. Приказ о закрытии больницы он подписал неделю назад. Франклин попытался отложить пугающую его встречу: «Скажите ей, что я на совещании». Он сидел за столом, положив руки перед собой ладонями вниз, и жалобно смотрел на стену с портретом Вождя. Такие портреты украшали все кабинеты в Цимлии.

Когда Франклин вспоминал про тот дом на севере Лондона, куда приезжал на каникулы, то словно прикасался к благословенному месту, словно оказывался в тени дерева. Там он обрел свой дом, когда чувствовал себя бездомным, там он находил доброту, когда сильнее всего нуждался в ней. Что касается старой дамы, хозяйки, то Франклин почти не встречался с ней, лишь изредка видел, как она, похожая на благородного журавля, спускается или поднимается по лестнице. Надо же, кто бы мог подумать, что она окажется ужасной нацистской. Да и вообще в том доме он ни разу не слышал ничего о нацизме. И еще там была Сильвия с блестящими золотистыми волосами и личиком ангела. Ну, а Роуз Тримбл... при мысли о ней Франклин ухмыльнулся. Та еще мошенница, но не ему жаловаться, она ведь ему помогала. Только теперь вот написала ту грязную статейку... вроде бы она была таким же гостем в доме Ленноксов, как и он? Хотя прожила она там гораздо дольше, это верно, так что нельзя сбрасывать ее слова со счетов. Однако Франклин помнил только радушие, смех, вкусную еду и Фрэнсис, особенно Фрэнсис — его вторую мать. Потом он жил у Джонни, но там все было совсем иначе. У Джонни имелась небольшая квартира, ничего похожего на тот величественный дом, где Колин был к нему так добр, но там всегда было полно народу отовсюду — американцы, кубинцы, выходцы из других стран Южной Америки, из Африки... Она стала для Франклина настоящим университетом революции, та квартира Джонни. Там он познакомился с двумя своими соотечественниками, которые обучались в Москве методам партизанской войны. И партизанская война в Цимлии победила, и только благодаря той победе, благодаря тем

людям сидит он сейчас за министерским столом. До сих пор на митингах и демонстрациях Франклин вглядывался в лица, хотел найти тех двух партизан, но так и не находил. Наверное, они погибли. А вообще происходит что-то странное. Он знал о том, что говорят про Советский Союз, он сам был не из числа тех невинных людей, что никогда не выезжали за пределы Цимлии. Слово «коммунист» стало чем-то вроде проклятья — в других странах, но не здесь, где любой человек, упомянувший марксизм, рассчитывал на одобрение предков (хотя уж они-то здесь совсем ни при чем, казалось бы!). Забавно: тот дом в Лондоне чем-то напоминал Франклину хижину его бабушки и дедушки в деревне (расположенной, кстати, недалеко от миссии Святого Луки). Больше нигде ему не было так легко и тепло, как в двух этих таких непохожих жилищах. И надо же, такая неприятная статья на его столе. С каждой минутой раздражение Франклина росло — он был недоволен Сильвией. Зачем она совершила все эти плохие поступки? Украла вещи из новой больницы, сделала операцию, которую не имела права делать, убила пациента. И чего она теперь от него хочет? Чего она вообще хочет? А ее больница — да ее вообще никогда не должно было быть, это противозаконно. Миссия решает открыть больницу, привозит врача, а тут — никаких разрешений, никаких согласований с министерством... Эти белые люди, они приезжают сюда и делают что хотят, они не изменились, они все такие же...

На обед он не пошел, попросил принести ему бутербродов в кабинет — не хотел столкнуться с Сильвией, вдруг она подкарауливает его где-нибудь. Потом ему передали записку от нее, нацарапанную на старом конверте: «Пожалуйста, Франклин, мне нужно поговорить с тобой». Кем она себя считает, в конце концов? Как она смеет так к нему обращаться? Франклин распорядился, чтобы ей сообщили, будто его вызвали по срочному делу.

Он подошел к окну и раздвинул полоски жалюзи. По улице шла Сильвия. Обвинения, которые он должен был бы, по сути, адресовать самой Жизни, полетели в спину Сильвии с такой страстностью, что она могла бы почувствовать их. Малышка Сильвия, милый ангелочек, такой свежий и яркий в его памяти, словно только вчера виденный, — но теперь это женщина средних лет, с тусклыми волосами, перевязанными на затылке черной лентой, она ничем не отличается от сморщенных белых мадам, на которых Франклин избегает смотреть, настолько они ему противны. Ему казалось, что Сильвия предала его. Он даже всплакнул немного, глядя сквозь жалюзи, как зеленая фигурка сливается с пешеходами на тротуаре.

А Сильвия чуть не столкнулась с высоким представительным

джентльменом, который раскрыл навстречу ей руки и сказал:

— Сильвия! Вот так встреча!

Это был Эндрю, и не один, а с девушкой в темных очках с очень красными губами. Итальянка? Испанка?

— Познакомься, это Мона, — представил свою спутницу Эндрю. — Мы недавно поженились. И боюсь, обшарпанные улицы Сенги привели ее в состояние шока.

— Чепуха, милый. Здесь прелестно.

— Мона американка, — сказал Эндрю. — И известная модель. И прекрасна как день, но это ты и сама видишь.

— Только когда накрашусь, — вставила Мона и извинилась, мол, ей нужно прилечь, а им двоим наверняка надо о многом поговорить.

— Она плохо переносит высоту, — пояснил Эндрю, заботливо целуя жену и провожая взглядом, пока она не поднялась по ступеням гостиницы «Батлерс», находившейся всего в нескольких шагах.

Сильвия удивилась, услышав, что шесть тысяч футов кто-то считает высотой, но тут же выкинула это из головы: ведь перед ней Эндрю, и она сейчас сядет и станет с ним говорить, так он сказал, вон в том кафе. И они пошли туда, и держались за руки, пока не принесли их напитки. Эндрю потребовал, чтобы Сильвия все-все рассказала ему о себе.

Она уже открыла рот, чтобы начать рассказ. Она подумала, что напротив нее сидит один из самых важных людей в мире и одно слово его запросто может изменить ход дела — никто не закроет больницу при миссии Святого Луки. Но тут кафе наполнила толпа очень хорошо одетых людей, и Эндрю поздоровался с ними, а они с ним, и завязалась общая беседа о конференции в Сенге, в которой они все участвовали.

— Сенга — шикарное место для конференций, но все же здесь не так удобно, как на Бермудах, — сказал кто-то.

Сильвия слышала, что Сенгу усиленно рекламируют как новое престижное место для всевозможных международных мероприятий. Увидев этих веселых, умных, уверенных людей, она поняла, что настолько погрузилась в горький быт Квадере, что уже не сможет принять участие в светском обмене любезностями.

Эндрю продолжал держать Сильвию за руку, часто улыбался ей, потом сказал, что, возможно, это кафе — не лучшее место для разговора по душам. Прибыла новая партия делегатов, слышались шутки насчет того, что небольшой размер кафе соответствует недостаточному уровню развития Цимлии. И вдруг Сильвия заметила, что эти эксперты, разбирающиеся во всем, что ни назови, в данном случае — в «этике

международной гуманитарной помощи», судя по названию конференции, ведут себя как дети, сравнивающие достоинства приемов, устроенных их родителями. Шум, смех, веселье — Сильвия не могла больше этого выносить, она попросила у Эндрю разрешения уйти. Но он сказал, что тогда она должна прийти на торжественный ужин этим вечером:

— Будет настоящее пиршество в честь завершения конференции, обязательно приходи.

— У меня нет другого платья.

Эндрю оценивающе оглядел ее, прикинул что-то в уме и сказал:

— Это будет неофициальное мероприятие, твой костюм вполне сойдет.

И теперь Сильвии предстояло как-то решить проблему с ночлегом, где провести ночь. Она приехала почти без денег — приехала, как стало ей ясно, не подготовившись, не продумав свои действия. Утро прошло как в тумане; она помнила только, что все решения пришлось принимать отцу Макгвайру. Не заболела ли она? Ушла ли уже болезнь? Она не чувствовала себя самой собой, если можно так выразиться, потому что если больница закрыта и теперь она не доктор Сильвия, как все ее называли, то кто она?

Сильвия позвонила сестре Молли, которая оказалась дома, и попросилась к ней переночевать. На такси она приехала по названному адресу, была тепло встречена и выслушала пространное мнение сестры Молли о конференции по этике международной гуманитарной помощи в частности и обо всех таких конференциях в целом.

— Все, на что они способны, это говорить, — добродушно рассуждала сестра Молли. — Им платят за то, что они прилетают в какое-нибудь красивое место и потом переливают из пустого в порожнее.

— Вряд ли Сенгу можно назвать красивым местом.

— Ну да, но зато они каждый день ездят или морских львов смотреть, или жирафов, или милых обезьянок и даже не успевают заметить, что страна гибнет от засухи.

Сильвия рассказала ей о предстоящем ужине, упомянула, что у нее с собой нет никакой одежды, кроме той, что на ней, услышала в ответ сожаления о том, что Молли крупнее нее как минимум на четыре размера, а то бы добрая монахиня дала ей свое единственное выходное платье, но зато, продолжала Молли, она лично проследит за тем, чтобы костюм Сильвии был вычищен и выглажен к шести часам вечера. Позабывшая о том, что существуют такие блага цивилизации, как уют, Сильвия была до слез тронута предложением Молли. Она сняла костюм, легла на узкую железную койку (совсем как ее кровать в миссии) и мгновенно заснула. Сестра Молли постояла возле гостьи с зеленым костюмом, перекинутым

через локоть. На ее энергичном лице появилось выражение благожелательного суждения, основанного на здравомыслии и опыте — в конце концов, почти всю свою жизнь она тем и занимается, что оценивает людей и ситуации по всей Цимлии. Молли не понравилось то, что она увидела. Нагнувшись ближе к Сильвии, она один за другим проверила все признаки: потный лоб, сухие губы, румянец на лице. Она даже подняла руку Сильвии, чтобы взглянуть на ее запястье: видно было, что пульс неоправданно частый.

Когда Сильвия проснулась, костюм, аккуратно расправленный, висел на двери. На стуле у кровати лежали несколько пар нижнего белья и шелковая сорочка.

— Я давно уже не влезаю в них.

И на полу красивые туфли.

Сильвия смыла с волос пыль, оделась, примерила туфли — подошли, оставалось надеяться, что она устоит на каблуках. До гостиницы она доехала на такси. Сильвия никак не могла избавиться от ощущения, что у нее температура, но так как заболеть сейчас было бы совсем не вовремя, решила, что это ей только кажется.

Перед входом в «Батлерс» собралась интернациональная публика. Все болтали, махали приветственно руками, возобновляли разговоры, начатые, возможно, в Боготе или Бенаресе. Эндрю ждал Сильвию на ступенях крыльца. Рядом с ним стояла Мона в розовом развевающемся платье, которое делало ее похожей на тюльпан (на его разновидность с зубчатыми лепестками, такие цветы кажутся вырезанными из затвердевшего света). Сильвия знала, что Эндрю будет переживать относительно ее внешнего вида. Хоть вечернее платье не было обязательным, практически все женщины были не менее элегантны в своих нарядах, чем Мона. Но его улыбка сказала Сильвии: «Ты выглядишь хорошо», и Эндрю взял ее под руку. Они вошли в отель и втроем поднялись по величественной лестнице, достойной служить декорацией в любом фильме. Она привела их на террасу. Небольшие цветущие деревья и фонтан наполняли вечерние сумерки свежестью. Свет из внутренних помещений выхватывал лицо, руку, сияние белого костюма, искру ожерелья. Люди узнавали Эндрю: как он популярен, этот изящный и благородный седовласый джентльмен, и, очевидно, заслуживает того, чтобы его спутницей стала столь пленительная девушка, ну да, раз они заключили брачный союз.

Ужин подали в приватном помещении, но достаточно просторном, чтобы вместить около сотни гостей, и что за восхитительное помещение это было! Его дизайнеры добились поставленной цели: человек,

находящийся здесь, не мог бы определить, какой город остался снаружи, за стенами; Бенарес, или Богота, или Сенга.

Кое-какие лица Сильвия узнала сразу — этих людей она видела днем в кафе, но в другие ей приходилось всматриваться снова и снова... да, батюшки, это же Джеффри Боун, такой же красавец, как раньше, а рядом с ним огненная, правда, чуть потускневшая с годами, голова Дэниела, его вечной тени. А там сидит Джеймс Паттон. Есть такие люди: должны пройти десятки лет, чтобы понять, каков был замысел Природы относительно них. Вот и Джеймс достиг кульминации только после сорока, став человеком народа, приветливым и общительным, уютно округлым, с правой рукой наготове — в любой момент рад обменяться рукопожатием с тем, кто окажется перед ним. Таков он, член парламента от благоразумной либеральной партии, на данном мероприятии — гость «Кэринг Интернэшнл», по приглашению Джеффри. И Джил... да, Джил, полная сидящая женщина с прической, старший советник в одном из округов Лондона, прославившаяся бездарным распределением средств, хотя, конечно, слово «коррупцированная» никак нельзя отнести к этой почтенной гражданке Британии, чья бурная молодость, включавшая штурм американского посольства и драки с полицией, осталась в таком далеком прошлом, что сама Джил позабыла о ней или, в лучшем случае, могла пробормотать невнятно: «Ой, да, когда-то и я была... не красной, нет, красноватой».

Сильвию посадили не рядом с Эндрю, который восседал во главе стола с двумя важными персонами из Южной Америки по бокам, а чуть дальше, рядом с Моной. Сильвия понимала, что стала невидимой, как безымянная невзрачная птичка рядом с распустившим хвост павлином: люди не отводили глаз от Моны, чье имя было известно всем, кто хотя бы изредка интересовался модой. Что она здесь делает? Красавица-модель сообщила Сильвии, что приехала на конференцию в качестве персонального помощника Эндрю, и поздравила, хихикая, Сильвию с ее новым званием — секретаря персонального помощника Эндрю. После этого Сильвии оставалось только сидеть молча и наблюдать, а еще думать о том, как выглядели бы Умник и Зебедей в этих нарядных униформах, алого цвета с белым, таких ярких на фоне черной кожи улыбчивых официантов. Она очень хорошо знала, сколько им пришлось трудиться, интриговать, умолять, чтобы получить эту работу, и сколько жертв принесли их родители, чтобы их чада могли прислуживать заезжим международным звездам, подавая гостям еду, о которой сами официанты и не слышали даже до того, как надели эту униформу.

Сильвии были предложены крокодильи хвосты в розовом майонезе и сердцевина пальмы, импортированная из Южной Америки. Ее сердце рвалось от плача, да, в ее душе не смолкал тихий вой все то время, что она сидела подле прекрасной жены Эндрю. Он не продлится, этот брак, достаточно одного взгляда на то, как они ведут себя — с гладким самодовольством откормленных котов, — чтобы понять, что Мона сказала Эндрю «да» ради того только, чтобы иметь возможность обронить лениво: «Мне всегда нравились мужчины в возрасте», или чтобы досадить молодым ухажерам, а сам Эндрю, долго оставаясь холостым и вызывая толки известного рода, несмотря на то что считался «другом» дюжины хорошо известных дам, просто вынужден был наконец продемонстрировать свой флаг и четко заявить о своих сексуальных предпочтениях, и он это сделал, смотрите, вот она, его жена-ребенок.

Сильвия глядела вокруг и приходила в отчаяние. Она думала о своей закрытой больнице, а жители окрестных деревень тем временем болеют, получают травмы... В день ей приходилось оказывать помощь тридцати-сорока людям. Она думала о нехватке воды, о пыли, о СПИДе, она не могла воспрепятствовать этим старым, заезженным мыслям, которые приходили слишком часто и бесцельно. Сильвия мысленно представляла себе лица Зебедея и Умника, безутешные, потому что они так мечтали стать врачами... Как плохо она со всем справилась; должно быть, это ее вина, что все так закончилось.

Мона болтала с человеком, сидящим слева от нее, рассказывая, что родилась в одном из беднейших районов Кито. Ей повезло: красивую девушку заметил делегат конференции по костюмам народов мира и увез ее в Штаты. Мона признавалась своему соседу, что считает Цимлию «дырой», что на здешних улицах все ей напоминает о том, чего она избежала, счастливо покинув Эквадор.

— Вообще-то мне нравится Манхэтген. Там есть все, правда? Не понимаю, как человек может захотеть уехать оттуда.

За столом заговорили о ежегодной конференции, которая шла в календаре мероприятий следующей. На нее съедутся со всего света около двухсот участников и будут в течение недели обсуждать программную речь на тему «Перспективы и последствия бедности». Где ее провести? Делегат из Индии, симпатичная женщина в пурпурном сари, предложила Шри-Ланку, хотя там следует проявлять осторожность в связи с деятельностью террористов, но зато в мире нет более прекрасной страны. Джеффри Боун сказал, что он провел три дня в Рио на конференции, посвященной угрозе мировой экосистеме, и что там есть такой отель... Но, заметил японский

джентльмен, в прошлый раз ежегодная конференция проводилась в Южной Америке, и на Бали тоже есть отличный отель, той части света тоже следует оказать честь. Обсуждение гостиниц и их достоинств продолжалось большую часть ужина, и сошлись все на том, что настала пора осчастливить своим присутствием Европу, как насчет Италии, только нужно будет принять жесткие меры безопасности, ведь все делегаты конференции — такие соблазнительные мишени для негодяев, что похищают людей с целью выкупа.

В результате согласились на Кейптауне, потому что апартеид в Южной Африке вот-вот должен был рухнуть, а всем так хочется выразить свою поддержку Манделе.

Кофе подали в соседнем помещении, где Эндрю произнес речь, якобы прощаясь со всеми, но на самом деле он по большей части выражал надежду увидеть их всех через месяц в Нью-Йорке — на конференции. И потом Джеффри, Дэниел, Джил и Джеймс подошли к Сильвии, чтобы сказать, что сперва не узнали ее и как здорово встретиться с ней после стольких лет.

— Ты была такой прелестной девочкой, — призналась Джил. — Ой, нет, я не хотела этим сказать... Просто ты всегда казалась мне сказочной феей.

— А теперь только посмотрите на меня.

— Или на меня. Да, на конференциях хорошей фигуры не зарабатываешь.

— Не пробовала сесть на диету? — поинтересовался по-юношески худой Джеффри.

— Или съезди в санаторий, — посоветовал Джеймс. — Я каждый год езжу в санаторий. Иначе никак. В палате общин слишком уж много соблазнов.

— Наши буржуазные предки ездили в Баден-Баден или Мариенбад, чтобы сбросить жир, набранный за год переедания, — сказал Джеффри.

— Твои предки, — поправил его Джеймс. — Я — внук бакалейщика.

— Надо же, как повезло, — отозвался Джеффри.

— А мой дед был помощником землемера, — встала Джил.

— А второй мой дед был фермером в Дорсете, — сказал Джеймс.

— Поздравляю, — подвел итог Джеффри. — Ты победил. С этим никто из нас не сравнится. — И он ушел, помахав рукой Сильвии, Дэниел тенью следовал за ним.

— Он всегда был таким позером, — заметила Джил.

— Я бы сказал — воображалой, — хмыкнул Джеймс.

— Ну же, нельзя так, минимум, на что мы здесь можем рассчитывать, это политкорректность.

— Ты можешь рассчитывать на что угодно. Что касается меня, то я считаю эту пресловутую политкорректность очередным образчиком американского империализма, — заявил человек народа.

— Обсудим, — сказала Джил.

И, обсуждая, они удалились.

На ступенях гостиницы топталась Роуз Тримбл в костюме, купленном в надежде на то, что Эндрю пригласит ее на ужин, но он не ответил на ее сообщения.

Джил прошла мимо Роуз как мимо пустого места, потому что не так давно та отозвалась о ее муниципальном совете как о позорящем принципы и идеалы демократии.

— Я просто выполняла свою работу, — сказала Роуз ей в спину.

Затем ее увидел кузен Джеймс. Его лицо стало каменным.

— Что ты здесь делаешь? Мало тебе грязи в Лондоне? — И он оттолкнул Роуз в сторону.

Когда же Эндрю появился на крыльце в сопровождении Моны и Сильвии, то тут же воскликнул:

— О, Роуз, бесконечно рад встрече!

— Ты не получал мои сообщения?

— А ты посылала мне сообщения?

— Пару слов для статьи, Эндрю. Как прошла конференция?

— Уверен, завтра в газетах будут все подробности.

— А это же Мона Мун — о, прошу вас, мини-интервью. Как вам нравится семейная жизнь?

Мона не ответила и пошла вслед за Эндрю. Сильвию Роуз не узнала, только гораздо позднее ей подумалось, что та бесцветная мышь вроде бы напоминала Сильвию.

Оставленная всеми, Роуз горько выкрикнула в толпу делегатов, которая изливалась из гостиницы в ночную Сенгу:

— Чертовы Ленноксы! Мы же были одной семьей!

Сильвию обнял Эндрю, изящно поцеловала Мона, ее усадили в такси. Молодожены отправлялись на вечеринку.

Дом сестры Молли стоял темен и неприступен. Сильвии пришлось долго звонить. Наконец заскрежетал засов, звякнула цепочка, щелкнул замок, и перед Сильвией предстала Молли в нежно-голубой пижаме с серебряным крестом на груди.

— Извини. Такие времена, что приходится жить как в крепости.

Сильвия прошла в отведенную ей комнату — осторожно ступая, словно боясь расплескать себя. Ей казалось, будто она слишком много съела за ужином, к тому же она знала, что вино всегда плохо на нее действует. У нее кружилась голова, начинался озноб. Сестра Молли стояла в дверях и смотрела, как Сильвия медленно опускается на кровать и потом падает плашмя на одеяло.

— Надо бы раздеться. — И Молли сняла с Сильвии льняной костюм, туфли и чулки. — Ну вот, так-то лучше. Когда у тебя в последний раз была малярия?

— О... с год назад... кажется.

— Значит, опять приступ. Лежи спокойно. У тебя жар.

— Пройдет.

— Нет, само не пройдет.

И Сильвия отдалась на волю очередного приступа малярии, которая была у нее не худшего типа, не самая опасная — церебральная, но все же весьма тяжелая. Сильвия то дрожала, то покрывалась испариной, глотала таблетки (она лечилась по старинке хинином, потому что новые препараты ей не помогали), и, когда она наконец пришла в себя, сестра Молли сказала:

— Да, нелегко тебе пришлось. Но я вижу, ты снова с нами.

— Пожалуйста, позвоните отцу Макгвайру и скажите ему, что я приболела.

— За кого ты меня принимаешь? Разумеется, я ему позвонила, еще три недели назад.

— Недели?

— Я же говорю, тебя прихватило как следует. Кстати, одной малярией дело не обошлось, у тебя еще анемия. И ты совсем не ешь.

— Что сказал отец Макгвайр?

— Там все в порядке. Ни о чем не беспокойся.

А на самом деле в миссии было далеко не все в порядке. Умерла Ребекка. И умер ее больной сын Тендерай. Двух оставшихся без матери детей забрала к себе их родственница — та самая, которую Ребекка подозревала в кознях против себя. Но сообщать Сильвии дурные новости было еще рано.

Сильвия ела, пила, как ей казалось, галлоны воды, приняла ванну, наконец-то смыл с себя пот многодневной лихорадки. Она чувствовала слабость, но голова была ясная! Она лежала на узкой железной кровати и говорила себе, что лихорадка вытрясла из нее глупость, а это только к лучшему. Во-первых, отец Макгвайр. На протяжении долгих трудных лет

Сильвия говорила себя, что отец Макгвайр — святой, словно это все оправдывало, но теперь она думала: «Кем это я, Сильвия Леннокс, возомнила себя, чтобы определять, кто святой, а кто нет?»

Она сказала сестре Молли:

— Я поняла, что я не католичка, во всяком случае, не настоящая, и никогда ею не была, наверное.

— Да? Ну что ж, человек либо католик, либо нет. И что, значит, ты протестантка? Знаешь, что я тебе скажу: мне так кажется, что у Бога есть дела и поважнее, чем заниматься нашими мелкими склоками. Только не говори никому в Белфасте, что я так сказала, — не хотелось бы, чтобы мне переломали ноги, когда я приеду туда в отпуск.

— Я была во власти гордыни, я знаю.

— Вот как? Кто из нас безгрешен? Но странно, что отец Макгвайр никогда не говорил, что ты впала в гордыню, а уж он-то всегда такое замечал.

— Да, пожалуй.

— Вот видишь, не надо на себя наговаривать. Когда ты окрепнешь, подумай над тем, что собираешься делать дальше. У нас есть для тебя несколько предложений.

Вот так Сильвия узнала, что в миссии ее возвращения не ждут. И что будет с Умником и Зебедеем?

Она позвонила им. Их голоса — такие юные, такие отчаянные: помоги мне, помоги нам.

— Когда вы приедете? Пожалуйста, приезжайте.

— Скоро, как только смогу.

— Теперь, когда нет Ребекки, стало так трудно...

— Что?

И ей сообщили о том, что случилось. Сильвия легла на постель и даже плакать не могла, слишком плохо ей было.

День за днем Сильвия сидела, подпертая подушками, и поглощала питательные снадобья, а сестра Молли — руки на бедрах, неизменная улыбка на лице — стояла и неотступно следила, чтобы все было проглочено до последней капли. И с утра до самого позднего вечера, насколько это было возможно для встающей с рассветом Цимлии, в дом приходили люди того рода, с которыми ни Эндрю Леннокс, ни туристы, ни приезжающие в гости родственники никогда не встречались. И Сильвия тоже не встречалась с ними до сих пор.

Она постепенно начинала понимать, что, хотя места, подобные

Квадере, существуют в Цимлии и число их велико, все же ее собственный опыт был столь же узок, как и опыт людей, которым трудно поверить, что деревни вроде миссии Святого Луки в принципе возможны в современном мире. Ведь были же в стране школы, в которых дети действительно получали образование, в которых имелось достаточно книг и тетрадей, существовали и больницы, где было оборудование, и хирурги, и даже исследовательские лаборатории. Ничто иное как ее собственный характер привел Сильвию в беднейшее из бедных мест — она понимала это теперь так же отчетливо, как и абсурдность своих переживаний из-за глубины веры или ее отсутствия.

Абсолютно не соприкасаясь с миром посольств, или престижных гостиниц, или торговых ярмарок, или коррумпированных боссов на самом вершине власти (сестра Молли называла их «шоколадным пирогом»), в Цимлии действовали люди, создавая организации с крохотными бюджетами, иногда спонсируемые одним человеком, и достигали таких значительных результатов на свои деньги, о которых «Кэринг Интернэшнл» или «Глобал Мани» могли только мечтать. Их можно было найти повсюду, в том числе и в самых неблагополучных местах, где они ставили себе целью создать библиотеку, открыть приют для подвергшихся насилию женщин, помочь местному предпринимателю, предоставить небольшой кредит, на выделение которого обычный банк не стал бы тратить время. Это были люди белые и черные, граждане Цимлии и приезжие, именно они формировали прослойку энергичного оптимизма, которая разрасталась и вбирала в себя мелких чиновников и низшее звено власти, а судьба Цимлии, как никакой другой страны, зависела именно от того, смогут ли такие чиновники и правители избежать коррупции, стать компетентными и честными слугами народа. Этих людей не воспевали, их даже мало кто замечал. Но тот, кто понимал, спешил оказать помощь сравнительно мелкой организации, управляемой человеком, который, если бы существовала в мире справедливость, управлял бы страной, и на таких людях, по сути, держалось все. Сестра Молли и ее соратники по всей стране образовывали сеть разумных людей. Политика в их среде не обсуждалась — и не из принципа, а потому, что политика воспринималась ими как враг здравого смысла. Если товарищ Вождь или его продажные дружки упоминались, то упоминались так же, как погода — как внешнее обстоятельство, с которым приходится мириться. Он всех очень разочаровал, этот товарищ президент, но разве когда-то было иначе?

Сильвии предложили около дюжины вариантов ее будущего. Она врач, всем известно, что она создала больницу практически с нуля, посреди

буша. Она не в ладах с правительством, что ж, очень жаль, но Цимлия — не единственная страна в Африке.

Почти в любом учебнике по истории можно найти предложение вроде этого: «Со II половины XIX века и вплоть до начала Первой мировой войны великие державы дрались за Африку, как собаки за кость». Но гораздо реже упоминается тот факт, что Африка, рассматриваемая как кость, по-прежнему оставалась вожделенным объектом и поводом для драки, хотя собаки были уже другие.

Молодой врач, уроженец Цимлии (белый), недавно вернулся из воюющего Сомали. Он сажился на жесткий стул с прямой спинкой перед кроватью Сильвии и слушал, как она захлеб рассказывает (сестра Молли говорила, что так душа Сильвии лечит себя) о судьбе людей в миссии Святого Луки, несчастных умирающих от СПИДа и, очевидно, не существующих для правительства. Она говорила часами, и врач слушал. А потом он говорил, так же захлеб, и тогда слушала Сильвия.

Сомали входило в сферу влияния Советского Союза, и СССР создал там обычный для него аппарат тюрем, пыточных камер и расстрельных отрядов. Затем, с помощью хитроумного трюка, которыми славится международная политика, Сомали стало американским — его обменяли на другой кусок Африки. Местные жители надеялись, что американцы уничтожат аппарат службы безопасности и освободят их, однако сомалийцы не усвоили один очень важный в наши дни урок истории, а именно: нет в мире ничего прочнее, чем этот аппарат. Марксисты и коммунисты различных мастей, процветавшие при русских, пытавшие, мучившие и убивавшие своих врагов, теперь сами подвергались пыткам, попадали в застенки, погибали. Когда-то вполне уравновешенное государство, Сомали стало напоминать муравейник, куда опрокинули котел кипятка. Всякая нормальная жизнь стала невозможной. Военачальники и бандиты, вожди племен и главы семейных кланов, убийцы и воры правили страной. Международные гуманитарные организации напрягали силы до предела и все равно не справлялись, в основном потому, что значительные куски страны были закрыты для них из-за военных действий.

Врач сидел на жестком стуле часами и рассказывал о том, что он месяц за месяцем наблюдал за тем, как люди убивают друг друга. Перед самым отъездом из Сомали он оказался на обочине дороги посреди иссушенных в пыль полей, по которой брели беженцы, спасающиеся от голода и засухи. Одно дело — видеть это по телевизору, и совсем другое — быть там. Возможно, Сильвия лучше других могла представить себе то, о чем говорил врач, потому что ей достаточно было мысленно протянуть ту

пыльную дорогу в двух тысячах миль к северу до деревушки в Квадере. А еще этот врач видел людей, которые бежали от смертоносных банд Менгисту, многие уже раненые, истекающие кровью, они умирали прямо на дороге, кое-кто нес на руках убитых детей. Ему довелось видеть это не раз, а Сильвия ни с чем подобным не сталкивалась, и поэтому ей трудно было представить это. И к тому же в доме отца Макгвайра не имелось телевизора.

Этот молодой еще мужчина был врачом. И он, врач, беспомощно смотрел на людей, нуждающихся в медикаментах, отдыхе, операции, а все, что у него было, это несколько упаковок антибиотиков, которые закончились в считанные минуты.

В наши дни мир полон людей, которые пережили войну, геноцид, засуху, потоп, и ни один из них никогда не забудет то, что довелось пережить. Но есть еще и такие люди, которые смотрели. Каково это — стоять день за днем у дороги и видеть, как мимо тебя течет людской поток, тысячи, сотни тысяч, миллион человек, а ты ничем не можешь им помочь, у тебя пустые руки? Вот что выпало на долю этого врача, и теперь в его глазах застыл ужас, и он не мог не рассказывать о том, что было.

Женщина-врач из Штатов предлагала Сильвии отправиться работать в Заир, но хотела знать, готова ли к этому Сильвия — условия там довольно жесткие. Сильвия сказала, что готова ко всему, она очень сильная. И еще она призналась, что оперировала больного, не будучи хирургом. Оба врача не поняли, в чем проблема: в полевых условиях врачи делают все, что могут, ведь хирургов там почти не бывает. «Пожалуй, только пересадкой органов еще не занимаемся, а так все делаем».

В результате Сильвия согласилась поехать в Сомали в составе команды, финансируемой Францией. А пока ей нужно было вернуться в миссию, навестить Умника и Зебедея, чьи голоса в телефонной трубке звучали как крики птиц, застигнутых штормом. Она не знала, что делать. Она рассказала об этих двух мальчиках — уже не детях, а подростках — сестре Молли и врачам. Сестра Молли, имеющая дело с такими детьми каждый день, считала, что их обоих ждет безработное будущее. (Но она будет приглядывать за ними; может, удастся пристроить их в качестве прислуги куда-нибудь?) Ну, а врачи, в чьих глазах стоят тысячи голодающих и бездомных людей, нескончаемые потоки жертв войны, с трудом могли заставить себя задуматься о судьбе двух невезучих подростков, которые мечтали лечить людей, но... В мире все идет по-старому.

Сестра Молли возобновляла свою работу, прерванную болезнью Сильвии, и отправлялась в поселение в пятидесяти милях от Квадере. Договорились, что на повороте Сильвию будет ждать с машиной Аарон. Жалобы Молли на папу римского и мужскую иерархию церкви прервались, только когда у дороги показались шесть больших зернохранилищ. Женщины знали, что их содержимое — нынешний урожай маиса — было продано одним из министров другой африканской стране, пострадавшей от засухи, а всю выручку он прикарманил. Они ехали по голодающей местности — в обе стороны тянулся буш, иссушенный и истощенный из-за отсутствия дождя.

— Меня бы на месте этого министра просто совесть замучила, — заметила Сильвия, а сестра Молли сказала, что, похоже, не все еще понимают, что некоторые люди рождаются вообще без совести.

Эти слова побудили Сильвию произнести длинный монолог о деревне при миссии; сестра Молли слушала, приговаривая время от времени:

— Да, это так. — Или: — Тут ты абсолютно права.

На развилке уже стояла машина миссии. За рулем сидел Аарон. Сестра Молли сказала Сильвии:

— Ну, что же, приехали. Наверное, еще увидимся.

И Сильвия ответила:

— Да, увидимся. И я никогда не забуду, что вы для меня сделали.

— Не о чем и говорить.

И Молли уехала, и взмах ее руки на прощание был как захлопнувшаяся дверь.

Аарон был оживлен, разговорчив, ибо стоял на пороге новой жизни: он отправлялся в соседнюю миссию, чтобы продолжить обучение и в конце концов стать священником. Отец Макгвайр собирался уезжать. Все разъезжались. А как же библиотека?

— Боюсь, книг не много осталось, потому что, понимаете, Тендерай умер, Ребекка умерла, вас нет — кому было следить за ними?

— А Умник с Зебедеем?

Аарон никогда не любил этих ребят, как и они его, поэтому он только сказал:

— О'кей.

Он припарковал машину под эвкалиптами и ушел. День клонился к вечеру, свет быстро уходил из золотых и розовых облаков. На другой половине неба полумесяц — едва видимое беловатое пятнышко — дождался своего часа: свое величие он обретет с наступлением темноты.

Когда Сильвия вошла на веранду, навстречу ей бросились два

паренька. И остановились. Они смотрели на нее. Сильвия не знала, что с ней не так. А дело было в том, что за время болезни она утратила свой загар, стала белой, как молоко; волосы, обрезанные, чтобы не намокали от испарины, висели желтыми прядками. Мальчики же знали ее только в привычном дружелюбном коричневом цвете.

— Как я рада вас видеть!

И тогда оба ринулись к ней, и она обхватила мальчишек, прижала к себе. В их телах, ощутила она сразу, было гораздо меньше плоти, чем раньше.

— Вас кто-нибудь кормит?

— Да, да. Доктор Сильвия! — обнимали они ее и плакали.

Но Сильвия видела, что они голодали. И когда-то белые рубашки посерели от пыли, потому что не стало Ребекки, стиравшей их. Глаза мальчиков молили сквозь слезы: пожалуйста, пожалуйста.

Пришел отец Макгвайр, спросил, ели ли ребята, и они ответили, что да. Но он все равно достал из буфета буханку хлеба, и мальчишки разорвали ее пополам и съели жадно по дороге в деревню. На рассвете они вернутся.

Сильвия и священник сели на свои места ужинать. Голая лампочка над столом не скрывала, как тяжело болела она, как состарился он.

— Ты увидишь новые могилы на холме, и в деревне появились новые сироты. Я и отец Томас — это чернокожий священник из соседней миссии — хотим открыть приют для сирот СПИДа. Канадцы предлагают деньги на приют, да благословит их Господь, но, Сильвия, если так будет продолжаться, у нас скоро будет миллион детей, оставшихся без родителей!

— «Черная смерть» опустошила целые деревни. На фотографиях Англии с воздуха видны места, где эти деревни когда-то были.

— Здесь скоро тоже не останется деревни. Люди покидают это место, думая, что оно проклято.

— А вы говорите им, что на самом деле было причиной, святой отец?

— Говорю.

Внезапно погас свет. Священник зажег пару свечей, припасенных как раз на такой случай, и они поужинали в их неверном свете. Еду подавала племянница Ребекки, сильная и здоровая девушка — по крайней мере пока, — которая приехала помочь умирающей тете. Когда священник уедет, она вернется к себе домой.

— И я слышала, в школе наконец-то появился директор?

— Да, но, понимаешь, Сильвия, такие глухие места не нравятся образованным людям, сюда приезжают не самые лучшие. Вот и новый

директор уже замечен в пьянстве.

— Понятно.

— Но у него большая семья, и ему достанется этот дом.

Они оба знали, что главное еще предстоит обсудить. Наконец священник спросил:

— Так что ты собираешься делать с мальчиками?

— Нельзя было обнадеживать их, а я... Хотя я никогда ничего им не обещала.

— Да, но этот великий, богатый, замечательный мир и есть обещание.

— И что же мне делать?

— Ты должна забрать их в Лондон. Устроить их в настоящую школу. Дать им возможность выучиться на врачей. Видит Бог, этой стране нужны хорошие врачи.

Она молчала.

— Сильвия, они здоровы. Их отец умер до того, как сюда пришел СПИД. Родные дети Джошуа умрут, но не эти двое. Кстати, он хочет поговорить с тобой.

— Удивлена, что он еще жив.

— Он жив только потому, что ждал твоего возвращения. И будь готова к тяжелому разговору: Джошуа совсем потерял разум.

Подавая Сильвии свечу, чтобы она могла пойти с ней к себе в комнату, отец Макгвайр на секунду поднял огонь, чтобы разглядеть ее лицо.

— Сильвия, я знаю тебя очень хорошо. Я знаю, что ты во всем винишь себя.

— Да.

— Ты уже давно не просила, чтобы я исповедал тебя, но я и так догадываюсь, что бы ты сказала. В том состоянии, в котором ты сейчас находишься, после всех потрясений, после болезни, тебе не стоит доверять своим мыслям о себе.

— Туда, откуда ушли красные кровяные тельца, приходит дьявол.

— Дьявол приходит туда, где слабое здоровье. Надеюсь, ты принимаешь таблетки от дефицита железа.

— А я надеюсь, что и вы их не забываете принимать.

Они обнялись, едва сдерживая слезы, и разошлись по своим комнатам. Он уезжает рано утром, сказал священник, и, вероятно, уже не увидит Сильвию. Это означало, что ему не хочется повторять сцену расставания. Он не мог сказать, как сестра Молли: «Увидимся!»

И точно, на следующее утро отца Макгвайра уже не было: Аарон подкинул его до поворота, откуда его должен был забрать знакомый

священник.

Зебедей и Умник ждали Сильвию на тропе в деревню. Половина хижин пустовала. Тощая собака рылась в пыли. Дверь дома, где Тендерай хранил библиотеку, была распахнута. На полках не осталось ни одной книги.

— Мы старались сберечь их. Мы правда старались.

— Ничего страшного.

До отъезда Сильвии деревня была поражена болезнью, она была под угрозой, но еще жила — теперь ее не стало. Дух деревни умер вместе с Ребеккой. В учреждениях и деревнях, в больницах и школах зачастую есть один такой человек, в котором воплотился дух места, и при этом он или она могут быть кем угодно — уборщиком, директором или прислугой священника. Когда Ребекка умерла, умерла и вся деревня.

Втроем они прошли через буш к могилам. Их уже насчитывалось более полусотни. Среди самых свежих — могилы Ребекки и ее сына Тендерая, два овала красной пыли под высоким деревом. Сильвия остановилась возле них, и два мальчика, видя выражение на ее лице, подошли к ней, и она прижала их к себе. Наконец-то она сумела заплакать, уткнувшись в их плечи: да, мальчики уже стали выше нее.

— А теперь вы должны поговорить с нашим отцом.

— Да, знаю.

— Пожалуйста, не сердитесь на нас. Приходили полицейские, они забрали все лекарства и бинты. Мы говорили, что вы сами заплатили за все, своими деньгами.

— Это уже не важно.

— Мы сказали им, что они воруют, что это ваши лекарства.

— Правда, это не важно.

— И теперь бабушки приводят в наши палаты больных детей.

По всей Цимлии старухи и иногда старики, чьи взрослые дети умерли, пытались кормить и воспитывать маленьких сирот.

— Чем же они кормят их?

— Новый директор сказал, что будет давать им еду.

— Но детей слишком много, разве сможет он накормить всех?

Они стояли на небольшом холме и смотрели вниз, на больницу Сильвии. Три старые негрятки сидели в тени навеса, а вокруг них было около двадцати детишек. Негрятки были старыми по стандартам третьего мира; в более удачливых странах они бы сейчас экспериментировали с диетами и искали себе любовников.

Под большим деревом лежала то ли куча тряпок, то ли что-то похожее

на питона: Джошуа. Сильвия опустилась перед ним на колени и окликнула его по имени. Он не шевельнулся. Некоторые люди перед смертью выглядят так же, как будут выглядеть мертвыми, так близко их скелет расположен под кожей. Лицо Джошуа было сплошь кости; серая кожа западала в отверстия. Он приоткрыл глаза, облизал сухие губы потрескавшимся языком.

— Тут есть где-нибудь вода? — спросила Сильвия.

Зебедей помчался к старым женщинам, которые недовольно отвечали что-то на его просьбу, очевидно не желая тратить воду на умирающего человека. Но Зебедей зачерпнул пластиковой кружкой воды из канистры, открытой для пыли и сухих листьев, и прибежал к отцу, поднес кружку к его запекшимся губам. И внезапно древний старик (пожилой по другим стандартам) ожил и стал жадно пить воду, судорожно двигая горлом. Потом он вытянул свою тощую, как у скелета, руку и сжал запястье Сильвии. Его пальцы были как костяной браслет. Джошуа не мог сесть, но приподнял голову и стал бормотать что-то — проклятья и ругательства, догадалась Сильвия. Его глубоко запавшие глаза горели ненавистью.

— На самом деле он так не думает, — сказал Умник.

— Да, на самом деле все не так, — убеждал Сильвию и Зебедей.

Потом Джошуа выговорил:

— Увези моих детей. Увези их в Англию.

Запястье Сильвии онемело, стиснутое костяным кольцом.

— Джошуа, отпусти меня, ты делаешь мне больно.

Его хватка только усилилась.

— Ты должна обещать мне сейчас-сейчас, обещай мне. — Его голова на полумертвом теле тянулась вверх. Так поднимает голову змея с перебитой спиной.

— Джошуа, отпусти меня.

— Обещай... Ты должна... — И он продолжал бормотать проклятья, не спуская с Сильвии глаз. Потом его голова упала на землю, но он так и не закрыл глаза, не прекратил проклинать ее.

— Хорошо, Джошуа, я обещаю. А теперь убери руку. — Его пальцы не разомкнулись. Сильвия в панике думала, что он может умереть, а она окажется прикованной к трупу.

— Не верьте его словам, доктор Сильвия, — шепнул Зебедей.

— Он говорит не то, что думает, — сказал Умник.

— Хорошо, что я не понимаю, что он говорит.

Костяной наручник упал с ее запястья. Сильвия едва могла пошевелить пальцами. Присев перед Джошуа на корточки, она растирала руку.

— Кто за ним присматривает?

— Старые женщины.

Сильвия подошла к женщинам и дала им денег, почти все, что было у нее с собой, оставив лишь немного на проезд до Сенги. Может, эти дети будут сыты хотя бы месяц.

— Идите собирайте свои вещи, мы уезжаем.

— Сейчас? — Мальчишки отпрянули от нее, потрясенные: то, о чем они мечтали, вдруг оказалось так близко, и так же близко было расставание со всем тем, что было их миром.

— В Сенге я куплю вам одежду.

Они побежали в деревню, а Сильвия пошла вверх по холму через заросли олеандра и свинчатки к дому, где все ее имущество уже было уложено в сумку. Сильвия предлагала племяннице Ребекки взять книги, взять все, что захочется. Но девушка попросила только «картину с женщинами», которая висела на стене. Ей нравятся их лица, так она сказала.

Вернулись мальчишки, у каждого в руках по пакету.

— Вы что-нибудь ели?

Нет, разумеется, они не ели. Сильвия усадила их за стол, нарезала хлеб, поставила между ними банку с джемом. Вместе с племянницей Ребекки они смотрели, как подростки неумело возятся с ножами, намазывая джем. Им придется научиться многим вещам. На душе у Сильвии было тяжело при мысли о том, как им придется трудно. Им предстоит объять необъятное — Лондон, им предстоит столько всего узнать — начиная с того, как пользоваться ножами и вилками, и вплоть до того, как лечить людей.

Сильвия позвонила Эдне Пайн, которая сообщила, что Седрик заболел, она не может оставить мужа. Кажется, у него шистосомоз.

— Ничего страшного, мы доберемся на автобусе.

— Ни в коем случае, эти местные автобусы смертельно опасны.

— Люди же ездят.

— Ну, я, во всяком случае, и близко к ним не подхожу.

— Я прощаюсь, Эдна.

— О'кей. Не трать понапрасну нервы. На этом континенте наши дела написаны на воде... О, что я говорю, на песке, конечно, а не на воде. Это Седрик все время повторяет, он в депрессии, к нему перебежал мой черный пес. «Наши дела написаны на воде», — говорит он. Седрик становится религиозным. Да, только этого не хватало. Ладно, до свиданья. Увидимся.

И вот они втроем встали там, где дороги в миссию и на ферму Пайнов

соединяются с главной дорогой на север. Это была узкая полоска щебенки, залитая гудроном, изрытая ямами и словно изъеденная по краям, как репродукция Леонардо, которую этим утром сняла со стены племянница Ребекки. По времени уже должен был подойти автобус, но он опаздывал. Он всегда опаздывал. Они стояли и ждали. Потом сели на камни под деревом, положенные там именно с этой целью, и продолжали ждать.

Казалось бы, заштатная, плохонькая дорога, петляет через буш, засыпанная песком, — что видела она? Но по ней совсем недавно промчался кортеж шикарных машин, которые спешили на церемонию бракосочетания Вождя с его новой женой (Мать страны умерла). Приглашен был весь мир, товарищи и не только. Гостей подвозили или по этой дороге, или на вертолетах — других путей не было к той «точке роста», возле которой родился товарищ президент. Для церемонии возвели два больших шатра. В одном из них на раскладных столиках предлагались местным жителям булочки и «фанта», а во втором был накрыт на белых скатертях настоящий пир — для элиты. Однако церковная служба в честь бракосочетания длилась слишком долго. Бедняки, сметя в один миг свои булочки, повалили в шатер для сильных мира сего и, несмотря на протесты официантов, съели и там всю еду.

А потом разошлись по домам в буше. Пришлось срочно везти новую порцию деликатесов вертолетом из Сенги. Это происшествие с такой наглядностью проиллюстрировало... хотя что тут говорить, и так все ясно.

Не пройдет и десяти лет, как по этой же дороге побегут громилы и головорезы партии Вождя с мачете, ножами, дубинами, чтобы избивать фермеров, которые хотят голосовать за оппонентов. Среди них будут те юноши (уже давно, впрочем, повзрослевшие), которым отец Макгвайр давал лекарства во время войны. Часть этой армии свернет на грунтовку, ведущую к ферме Пайнов. Они будут вести себя так, будто им неизвестно, что ферму присвоил себе господин Пхири, хотя Пайны еще не уехали. Почти две сотни пьяных бандитов расположатся на лужайке перед домом и потребуют, чтобы Седрик Пайн заколол для них скотину. Он убьет толстого быка (засуха к тому времени отступит, и животные будут сыты), после чего на лужайке запалят огромный костер, начнут жарить мясо. Пайнов стащат с веранды и прикажут им выкрикивать лозунги в честь Вождя. Эдна откажется: «Будь я проклята, если стану ради вас кривить душой». Тогда ее будут бить до тех пор, пока она не закричит вместе с ними: «Да здравствует товарищ Мэтью!» Через несколько дней прибудет господин Пхири, чтобы вступить во владение двумя своими новыми фермами, и обнаружит, что сад при доме выжжен дотла, а колодец завален мусором.

А восемью годами ранее по этой дороге ехала Сильвия, ослепленная непривычностью буша, чуждым ей величием, оглушенная неумолчной болтовней сестры Молли о непреклонной враждебности мужчин: «Этот Кевин, он до сих пор не понял, что мир вокруг него давно изменился».

Возле этой дороги, в холмистом районе, славящемся своими пещерами, скалистыми ущельями и баобабами, находится место, куда время от времени приезжает тайком от всех товарищ Вождь. Сюда его призывают знахари (н'ганга, колдуны, шаманы), чтобы провести ночной ритуал, состоящий в следующем: мужчины (и иногда даже одна или две женщины), которые в обычной своей жизни, возможно, работают на кухне или на фабрике, раскрашенные и одетые в шкуры животных, танцуют до тех пор, пока не впадут в транс, после чего вещают от имени духов, что Вождь должен убить или выгнать из страны еще больше белых, а не то предки рассердятся на него. Мунгози унижался, плакал, обещал исправиться, а потом его увозили обратно в город, в его резиденцию-крепость, и он возвращался к составлению планов о зарубежных поездках, встречах с мировыми лидерами и конференциях во Всемирном банке.

Подошел автобус. Это был очень старый автобус. Он гремел, трясся и изрыгал клубы черного жирного дыма, который растянулся над дорогой многомильным хвостом. Салон был переполнен, но каким-то образом для Сильвии и двух мальчиков — кто они ей, слуги? — место нашлось. Пассажиры, всегда готовые критично отнестись к белой женщине (единственной белой среди них), окружили Сильвию неприязненным молчанием, но потом их взгляды потеплели, потому что она обняла мальчиков за плечи, и те прижались к ней, как малыши. Несчастные лица, слезы на глазах — Зебедей и Умник боялись стремительно надвигающегося будущего. Что касается Сильвии, то она была в панике. Что она делает? Что еще можно было сделать? Подпрыгивая на ухабах, Сильвия спрашивала мальчиков:

— Что бы вы стали делать, если бы я не вернулась?

И Умник сказал:

— Не знаю. Нам некуда идти.

Зебедей добавил:

— Спасибо, что вы приехали за нами. Мы очень-очень боялись, что вы не приедете.

От автобусной станции они пешком добрались до старой гостиницы, которую раз и навсегда затмил «Батлерс». Сильвия взяла один номер на троих и ожидала комментариев, но их не последовало: в гостинцах Цимлии в номерах могло стоять до полудюжины кроватей, чтобы вместить всю

семью.

Она прошла с мальчиками к лифту, зная, что они никогда не видели его и даже, вероятно, не слышали о том, что это такое, объяснила, зачем нужен лифт и как он работает. Коридор, в котором солнце разложило пыльные узоры, привел их в номер, и там Сильвия показала мальчикам ванную комнату и туалет: как включать и выключать воду, как нажимать на ручку слива, как открывать и закрывать окна. Потом она отвела обоих в ресторан и заказала для них садзу, предупредив, что есть они должны не пальцами, а ложкой. На десерт ребята ели пудинг, и с помощью добродушного официанта они справились и с этим.

В два часа Сильвия отвела детей обратно в номер и позвонила в аэропорт — заказать места на завтрашний рейс. Потом она сказала, что пойдет делать им паспорта, объяснила, что такое паспорт, предложила мальчишкам поспать, если они устали. Но оба были слишком возбуждены, и Сильвия оставила их прыгающими на кроватях с криками то ли радостными, то ли жалобными.

Она приблизилась к зданию правительства и встала перед входом, гадая, что делать дальше. И тут подъехал «мерседес», из которого вышел Франклин. Сильвия вцепилась в него и сказала:

— Я пойду с тобой, и не смей говорить, будто у тебя дела.

Франклин попытался оттолкнуть женщину и хотел уже звать на помощь, но увидел, что это Сильвия. Он так удивился, что замер, перестал сопротивляться, поэтому она отпустила его. Когда Франклин видел ее в окно месяцем или двумя ранее, то она показалась ему самозванкой, которая только притворялась Сильвией, а сейчас перед ним было то, что он помнил все эти годы: хрупкое создание с белой, будто светящейся изнутри кожей, с золотистыми пушистыми волосами и огромными голубыми глазами. На ней была белая блуза, а не тот отвратительный костюм белой мадам. И она была почти прозрачной, как дух или как златовласая Мадонна из его давно прошедших школьных дней.

Обезоруженный и беспомощный, Франклин сказал:

— Пойдем.

И они шли по коридорам власти, поднимались по лестницам, пока наконец не оказались в его кабинете, где он сел, вздыхая, но и улыбаясь тоже, и показал Сильвии рукой на стул.

— Ну и что тебе нужно?

— Со мной два мальчика из Квадере. Одному одиннадцать лет, другому тринадцать. У них нет родных. Все умерли от СПИДа. Я забираю их в Лондон и хочу, чтобы ты сделал им паспорта.

Франклин засмеялся:

— Но тебе нужен другой министр. Я этим не занимаюсь.

— Пожалуйста, договорись с кем надо. Ты можешь.

— И почему ты крадешь наших детей?

— Краду? У них никого нет. У них нет будущего. Они ничему не научились в ваших так называемых школах. Я сама всему их учила. Оба мальчика очень способные. Со мной они получают образование. А они хотят стать врачами.

— А почему ты помогаешь им?

— Потому что я пообещала их отцу. У него тоже СПИД, он умирает. Думаю, сейчас он уже мертв. Я обещала ему, что дам его детям образование.

— Это смешно. И невозможно. В нашей культуре дети не остаются сиротами. Их возьмут к себе другие родственники.

— Когда ты последний раз выезжал из Сенги в деревню? Ты ведь понятия не имеешь, что там происходит. В нашей деревне сейчас меньше народу, чем на кладбище.

— И что же, разве это я виноват, что у их отца СПИД? Разве это мы виноваты?

— Но и мы в этом не виноваты, хотя именно это вы все говорите. Думаю, тебе следует знать, что говорят люди в сельской местности: что за СПИД несет ответственность правительство, которое оказалось сворой жадных подлецов.

Франклин отвел глаза. Отпил воды из стакана. Утер платком лицо.

— Вот уж не думал, что ты станешь повторять всякие сплетни. Их же специально распространяют южноафриканские агенты.

— Не трать понапрасну время. Франклин, я заказала билеты в Лондон на завтрашний рейс. — Сильвия придвинула к нему листок, на котором были написаны имена мальчиков, имя их отца, место и даты рождения. — Вот, возьми. Мне нужен только документ, с которым я смогу вывезти мальчиков из страны. В Лондоне я сделаю им британские паспорта.

Франклин уставился на листок бумаги. Потом он медленно поднял глаза, и Сильвия увидела, что они были полны слез.

— Сильвия, ты сказала ужасную вещь.

— Ты министр. Ты должен знать, что говорят люди.

— Как ты могла сказать такое мне, своему старому другу?

— Вчера мне пришлось выслушать... Джошуа проклинал меня, чтобы заставить увезти его сыновей в Лондон. Он проклинал меня... Во мне столько проклятий, что, наверное, они не вмещаются и выливаются наружу.

И тогда Франклину стало по-настоящему страшно.

— Ты что, Сильвия? Ты тоже... проклинаешь меня?

— Я так сказала? — Но между ее бровей застыла глубокая складка, которая делала Сильвию похожей на ведьму. — Франклин, ты когда-нибудь сидел возле человека, умирающего от СПИДа? Слушал, как он осыпает тебя проклятьями? Джошуа говорил такие страшные вещи, что его сыновья побоялись рассказать мне о них. — Она вытянула перед Франклином свое запястье, окольцованное, словно браслетом, черным синяком.

— Что это?

Сильвия перегнулась через стол и сжала его запястье, так же крепко, как вчера была сжата ее рука. Она не убирала пальцев, хотя Франклин пытался стряхнуть ее, потом только освободила его.

Он сидел понурив голову, время от времени бросая на Сильвию боязливые взгляды.

— Если бы твоему сыну нужно было завтра ехать в Лондон, ты бы сумел сделать ему паспорт. Не говори мне, что не сумел бы.

— О'кей.

— Я буду ждать паспорта в гостинице «Селус».

— Ты болела?

— Да. У меня малярия. Не СПИД.

— Это что, шутка?

— Прости. Спасибо тебе, Франклин.

— О'кей, — сказал он.

Перед посадкой на самолет Сильвия позвонила Ленноксам и сказала, что прилетит завтра утром с двумя мальчиками, да, чернокожими, она обещала дать им образование, они очень умные — одного из них так и зовут: Умник; и она надеется, что в Лондоне сейчас не слишком холодно, потому что мальчики не привыкли к этому; и она продолжала в том же духе до тех пор, пока Фрэнсис не сказала, что телефонные переговоры, должно быть, стоят целое состояние, и Сильвия спохватилась:

— Да, простите, ох, конечно же. — И наконец повесила трубку со словами, что обо всем расскажет завтра.

Колин выслушал новость и предположил, что Сильвия, очевидно, намерена поселить мальчиков здесь, в их доме.

— Что за глупости. Кроме того, она сказала, что собирается в Сомали.

— Ну вот, я же говорю.

Руперт, поразмыслив над услышанным, как было ему свойственно, выразил надежду, что Уильям не очень расстроится. И это означало, что он

тоже сделал вывод о том, что мальчиков оставят с ними.

Ни Фрэнсис, ни Руперт не могли встретить Сильвию — оба должны были быть на работе. Но зато Фрэнсис предложила отметить приезд семейным ужином. На этом обсуждение новости прервалось за недостатком информации.

— Мне показалось, что она сошла с ума, — сказала Фрэнсис.

Дверь Сильвии и мальчикам открыл Колин. У него на руках сидела их с Софи дочь, Селия, очаровательный ребенок: черные кудри, черные кокетливые глаза, ямочки; она была очень хороша в красном платье. Едва взглянув на черные лица, малышка заревела.

— Не надо бояться, — сказал ее отец и крепко пожал мальчикам руки, которые, обратил он внимание, были холодны и дрожали. Стоял промозглый ноябрь. — Селия никогда еще не видела чернокожих людей, — пояснил он Сильвии.

Потом они оказались на кухне, за неизменным столом. Было очевидно, что мальчики находились в состоянии шока. Если можно сказать про черные лица, что они побледнели, то их лица побледнели. Несмотря на новые теплые свитеры, оба мальчика видимо дрожали. Они были абсолютно выбиты из колеи, Сильвия знала это, потому что сама себя так чувствовала: слишком быстро перенеслись они в огромный европейский город от тростниковых хижин, пыльных вихрей и свежих могил деревни.

Вошла привлекательная молодая женщина в джинсах и яркой полосатой футболке и сказала:

— Привет, я Маруша.

Она встала возле плиты и стала ждать, когда закипит чайник. Няня. Вскоре перед Сильвией и мальчиками появились вместительные кружки, и Маруша выставила большое блюдо с печеньем, подвинула его гостям с вежливой улыбкой. Она была полькой, и в эти дни ее мысли и воображение были поглощены распадом Советского Союза — этот процесс как раз был в полном разгаре. Посадив Селию себе на бедро, няня сказала:

— Пойду посмотрю новости по телевизору. — И ушла вверх по лестнице, напевая что-то на польском языке.

Мальчики следили за тем, как Сильвия кладет на свое блюдце печенье, как она добавляет в чай молоко и потом сахар. Они копировали каждое ее движение, не сводя с нее глаз. Точно так же они наблюдали за ней в больнице.

— Умник и Зебедей, — представила гостей Сильвия. — Они помогали мне лечить больных. Надо устроить обоих в школу как можно скорее. Они хотят стать врачами. Сейчас мальчики грустят, потому что у них только что

умер отец. У них не осталось никого из родных.

— Понятно, — сказал Колин и приветливо кивнул мальчикам, с чьих лиц не сходила печальная испуганная улыбка. — Сочувствую. И вам сейчас нелегко — вокруг столько нового. Но вы быстро привыкнете.

— А Софи где, в театре?

— Софи... сейчас она с Роландом. Нет, она не бросила меня совсем. Я бы сказал, она живет с нами обоими.

— Понятно.

— Да, так у нас обстоят сейчас дела.

— Бедный Колин.

— Роланд по малейшему поводу посылает ей по четыре дюжины роз или многозначительные букетики из маргариток или незабудок. Мне такие вещи просто не приходят в голову. Что ж, значит, так мне и надо.

— О, бедный Колин!

— Ну, неизвестно, кто из нас двоих еще бедный. Только посмотри на себя.

— Она больна. Сильвия очень больна, — вступили в разговор мальчишки.

Прошлой ночью на самолете они были перепуганы не только незнакомой обстановкой, но и тем, что Сильвию постоянно рвало, а если она засыпала, то тут же просыпалась в слезах. Что же касается их самих, то она показывала им, как работают туалеты, и ребята решили, что они все запомнили, но потом, наверное, Умник нажал какую-то не ту кнопку, потому что после него на туалете появилась табличка: «Не работает». Они оба чувствовали, что стюардессы смотрят на них с презрением, и боялись притронуться к чему-то такому, из-за чего самолет может рухнуть.

Теперь, за столом, когда Сильвия положила руки им на плечи, мальчишки сквозь одежду ощутили, что ее бьет сильная лихорадка. Они не удивились этому. Всю дорогу из аэропорта в окно такси были видны только протекающие небеса и бесконечные серые здания. И столько людей, закутанных с головы до ног, что мальчикам хотелось спрятаться под одеяло.

— Наверное, в самолете вам не удалось как следует выспаться? — поинтересовался Колин.

— Да, мы плохо спали, — ответила Сильвия. — И у мальчиков было столько новых впечатлений. Понимаешь, они из деревни. Все это для них в новинку.

— Понимаю, — сказал Колин. И он действительно понимал — насколько это возможно для человека, не видевшего своими глазами африканской бедной деревни.

— Старая комната Эндрю сейчас занята?

— Я там работаю.

— А твоя бывшая комната?

— В ней живет Уильям.

— А маленькая комнатка на том же этаже? Туда можно поставить две кровати.

— Не слишком ли тесно там будет вдвоем?

Зебедей сказал:

— В нашей хижине жило пять человек, пока не умерла сестра.

— На самом деле она была нам не родная сестра, — добавил Умник. — Она была нам двоюродная сестра, если говорить по-английски. У нас родственники по-другому называются. — И потом он тихо сказал: — Она умерла. Заболела сильно и умерла.

— Да, я слышал, что у вас другая система родственных отношений. Вы мне потом подробно ее объясните, хорошо? — Колин понемногу научился различать мальчиков. Умник худой, стремительный, с большущими выразительными глазами. А Зебедей пошире в плечах, более спокойный; его улыбка напоминала Колину улыбку Франклина.

— Можно нам посмотреть на этот холодильник? Такого большого мы еще никогда не видели!

Колин показал им холодильник, все многочисленные полки, внутреннее освещение, морозильные камеры. Мальчики восклицали, восхищались и трясли головами. Потом они начали зевать.

— Пойдемте, — сказал Колин и повел их вверх по лестнице, держа за плечи, Сильвия пошла за ними следом.

Ступени, ступени... в гостинице «Селус» мальчики впервые в жизни увидели лестницу. Они поднимались все выше: мимо большой гостиной, мимо комнат Фрэнсис и Руперта, мимо маленькой комнаты, где раньше нашла приют Сильвия, и наконец остановились на этаже, где провели свою юность Эндрю и Колин. В одной из комнат уже стояла большая кровать. Колин стал говорить, что со временем для мальчиков придумают что-нибудь получше, а пока... Но двое юных путешественников упали на постель и в мгновение ока заснули.

— Бедные дети, — вздохнул Колин.

— Когда они проснутся, то очень испугаются.

— Я скажу Маруше, чтобы она заглядывала к ним... А где ты будешь спать, ты уже думала?

— Посплю в гостиной, пока...

— Сильвия, ты же не собираешься бросить на нас мальчишек и

улететь... куда ты говорила?

— В Сомали.

Сильвия не знала, что ответить. С того момента, когда она дала обещание Джошуа, ее несло волной необходимости, и она не разрешала себе задуматься, сопоставить два факта — то, что она взяла на себя ответственность за мальчиков, и то, что через три недели она должна быть в Сомали.

Они спустились обратно в кухню, сели за стол и улыбнулись друг другу.

— Сильвия, ты понимаешь, что Фрэнсис не становится моложе, ей уже исполнилось семьдесят лет. В честь юбилея мы устроили ей большой праздник. Правда, она не выглядит на свой возраст.

— К тому же у нее уже есть Маргарет и Уильям.

— Только Уильям.

И Колин не торопясь — куда им спешить? — рассказал Сильвии обо всем, что случилось в последние годы. Ни с кем не обсуждая своих планов, Маргарет решила, что хочет жить со своей матерью. Не спросила она и мать, просто пришла в квартиру Филлиды и поставила Мэриел перед фактом: «Я приехала к тебе жить».

— Но для тебя здесь нет места, — быстро сказала Мэриел. — Сначала мне нужно обзавестись собственным жильем.

— Тогда найди нам жилье, — приказала Маргарет. — У нас весь хватит на это денег, правда?

Однако у Мэриел были другие планы: она решила поступить в университет и пройти курс психологии. Фрэнсис пришла в ярость: она-то полагала, что Мэриел уже пора начать самой зарабатывать себе на жизнь. Но Руперт ничуть не удивился:

— Я же всегда говорил, что работать она никогда не будет, помнишь?

— Да, помню.

— Мэриел очень несамостоятельная женщина, хотя, глядя на нее, трудно в это поверить.

— И что же, нам придется вечно ее содержать?

— Я бы не рассчитывал ни на что другое.

Именно поэтому Мэриел не очень хотела съезжать от Филлиды: боялась жить одна. А вот Филлида была не прочь избавиться от Мэриел. Вначале она испытывала некое темное, до конца не осознанное удовлетворение оттого, что с ней живет бывшая жена Руперта — и в ее лице семья Ленноксов, но сколько же можно? Не то чтобы ей сильно не нравилась Мэриел, только вот ее резкость действовала Филлиде на нервы.

Когда с ними поселилась дочь Мэриел, Филлиде стало казаться, будто она попала в старый кошмарный сон: она видела в Мэриел себя, а в Маргарет — Сильвию, мать и дочь, ругань, обиды, поцелуи, примирения, слезы и шумные, о, такие шумные бесконечные ссоры и крики, а затем долгое молчание.

Потом у Мэриел снова началась депрессия и ее положили в больницу. Филлида и Маргарет остались вдвоем. Филлида предложила девушке вернуться обратно к Ленноксам, но та заявила, что жить с Филлидой ей нравится больше, чем с Фрэнсис.

— Она старая корова, — сказала Маргарет. — Ей ни до кого нет дела, кроме Руперта. Мне кажется, это мерзко, когда старики вроде них держатся за руки. И с вами мне хорошо. Я хочу жить с вами. — Последнюю фразу девушка произнесла робко, опасаясь отказа, она предлагала себя своей суррогатной матери.

И Филлиду тронули эти слова. Ей приятно было слышать, что кому-то она нравится. Как непохожа Маргарет на хитрую предательницу Сильвию, которая всю жизнь только и мечтала избавиться от матери.

— Ну, ладно, только когда Мэриел станет лучше, я попрошу вас найти себе другое жилье.

Мэриел лучше не становилось. Маргарет отказывалась навещать мать в больнице, говорила, что слишком расстраивается, а вот Уильям ходил почти каждый вечер, сидел возле женщины, свернувшейся на кровати в комок, ушедшей в серое отсутствие, которое называется депрессией, и рассказывал ей вдумчиво и сдержанно (такова была его манера) о том, что произошло за день, что он делал. Однако мать не отвечала и не смотрела на него.

Закончив рассказ о Мэриел, Колин перешел к Софи, а потом к Фрэнсис, которая писала книги по истории и по социологии и имела на этом поприще успех. И под конец рассказал о Руперте, которого, по словам самого Колина, он считал лучшим приобретением этого дома.

— Представь себе, наконец-то среди нас появился здравомыслящий человек.

Так они проговорили весь день. Время от времени к ним заглядывала Маруша с милой малышкой Селией на руках, и няня с каждым разом становилась все радостнее, так как в новостях сообщали все больше подробностей об унижении старого врага Польши. А потом пришла Фрэнсис, нагруженная едой, совсем как в былые времена. Втроем они раздвинули стол на его максимальную длину.

Пока Фрэнсис готовила ужин, появился Уильям, и примерно в то же

время в кухню спустились чернокожие мальчики. Их представили друг другу.

— Умник и Зебедей поживут у нас некоторое время, — сказал Колин.

Фрэнсис ничего не сказала и продолжила накрывать стол на девять человек. Попозже обещала прийти Софи.

Фрэнсис заняла свое место во главе стола, Колин сел напротив нее, по одну руку от него — место для Софи, по другую Маруша и рядом Селия на высоком стульчике. То есть вместе с девочкой их будет десять человек. Руперт сидел справа от Фрэнсис, слева от нее — Уильям, а затем три места для Сильвии и двух мальчиков. Сильвия рассказывала о торжественном ужине в гостинице «Батлерс», о присутствовавших там влиятельных людях, некоторые из которых когда-то сидели и за этим большим столом, и потом о жене Эндрю, заметив коротко, что брак этот вряд ли продлится долго. Она говорила без выражения, просто передавала информацию, не слышалось в ее словах ни удовольствия от сплетен, ни удивления невероятными совпадениями. Мальчики поглядывали на нее, встревоженные таким странным равнодушием. Если бы не их беспокойство, никто из обитателей дома и не подумал бы, что с Сильвией что-то не так. А у нее самой было такое ощущение, будто она улетает куда-то, и дело было не только в недостатке сна. Она устала, да, невыносимо устала, ей было трудно концентрировать внимание на происходящем, но она должна, потому что мальчики зависят от нее, она — единственный человек, который знает, как им трудно. Руперт задавал вопросы как хороший журналист, но это было потому, что он каким-то образом догадывался, что Сильвию нужно удерживать, как слишком летучего воздушного змея. Наверное, он оказался чувствительным к ее состоянию потому, что уже много лет с неусыпным вниманием наблюдал за Уильямом, который столько страдал, но не показывал своих страданий и зависел от того только, поймет его отец или нет. И все время взрослый разговор перемежался веселым чириканьем Селии — она что-то лепетала и щебетала на своем детском языке и строила всем глазки, в том числе и чернокожим мальчикам, к которым уже привыкла.

В облаке духов в кухню ворвалась Софи. Она поправилась и выглядела уже «не как дама с камелиями, а как мадам Бовари», по ее собственному выражению. На ней были элегантные белые одежды, волосы убраны в шиньон. Она бросала на Колина страстные виноватые взгляды до тех пор, пока муж не поцеловал ее и не сказал:

— Ну все, хватит, Софи. Сегодня в центре внимания не ты.

— Что с тобой стало, Сильвия? — вскричала Софи. — Ты бледная как

смерть!

Слово было выбрано неудачно, но откуда Софи было знать, что мальчики только что потеряли отца (приемного, но родной отец умер еще раньше) и что в последние месяцы все субботы они проводили на кладбище, хороня людей, которых знали всю жизнь.

— Наверное, мне нужно поспать, — произнесла Сильвия и вытолкнула себя со стула. — Я что-то неважно... — Она поцеловала Фрэнсис. — Дорогая Фрэнсис, вернуться сюда, к вам, если бы вы только знали... дорогая Софи... — Со смутной улыбкой она обвела всех взглядом, затем коснулась дрожащей рукой плеча Умника и потом Зебедея: — Доброго всем вечера. — Она вышла, опираясь на спинку стула, дверь, дверной косяк.

— Не волнуйтесь, — сказала Фрэнсис мальчикам. — Мы позаботимся о вас. Только говорите нам, что вам нужно, потому что мы еще не понимаем вас так, как Сильвия.

Но ребята смотрели вслед ушедшей Сильвии, и всем было понятно, что они утомлены очередной порцией новизны. Им хотелось вернуться в ту комнату, где стоит кровать, и Маруша повела их туда, захватив Селию. Потом кухню покинула и Софи. Кажется, она собиралась остаться на ночь.

Фрэнсис, Колин и Руперт посмотрели на Уильяма, зная, что сейчас последует.

Он вырос в стройного светловолосого юношу, высокого и симпатичного, только лицо его часто бывало напряжено и в глазах возникало несчастное выражение. Уильям любил отца, всегда старался быть рядом с ним, хотя Руперт говорил Фрэнсис, что он не решается прикоснуться к сыну, не обнимает и не целует его: похоже, мальчику это не очень нравится.

И он очень скрытен, рассказывал Руперт, не делится своими мыслями. «Может, это только к лучшему, что мы не знаем, о чем он думает», — ответила Фрэнсис. С ней Уильям иногда обсуждал какие-то свои мелкие проблемы, и она чувствовала, что он прячет в себе глубокое отчаяние, которое не излечит ни поцелуй, ни прикосновение. И он изо всех сил старался быть хорошим, не позволял себе плохих оценок в школе и как будто постоянно сражался с невидимыми ангелами.

— Они будут жить с нами?

— Выходит, что да, — ответил Колин.

— С чего это вдруг?

— Брось, приятель, не будь таким, — сказал его отец. Улыбка Уильяма, обращенная к Колину (взрослые полагали, что мальчик его

любит), была как плач.

— У них нет родителей, — попытался объяснить ему Колин. — Их отец только что умер. — Он побоялся сказать «от СПИДа» — это слово вызывало ужас, даже несмотря на то что от этого дома СПИД был так же далек, как «Черная смерть». — Оба остались сиротами. И они очень бедны... Я не думаю, что люди вроде нас способны понять, как они жили. И они почти не ходили в школу, их только Сильвия учила.

В головах у всех возник один и тот же образ: класс, парты, черная доска, учитель у доски растолковывает новую тему.

— Но почему здесь? Почему они обязательно должны жить с нами?

Этот типичный вопрос «Почему именно я?» имеет только один ответ, и сводится он к великой и непреодолимой несправедливости вселенной.

— Они должны где-то жить, — сказала Фрэнсис.

— Кроме того, здесь будет Сильвия. Она подскажет нам, как вести себя с мальчиками. Я согласен с тем, что нам их пока трудно понять.

— Но как она будет здесь жить? Где она будет спать?

Если в голове Сильвии царил хаос из-за невозможности быть одновременно и в Лондоне, и в Сомали, то в головах этих трех взрослых тоже не было ясности. Мальчик был прав.

— О, мы что-нибудь придумаем, — заверила Уильяма Фрэнсис.

— И мы все должны помогать им, — сказал Колин.

Уильям отлично понимал, что подразумевается под этими словами: мы ожидаем, что ты будешь им помогать. Умник и Зебедей были младше него, что делало еще более вероятной их зависимость от него.

— Если им здесь не понравится, они уедут обратно?

Колин ответил:

— Мы, конечно, можем отправить их снова в Цимлию. Но, насколько я понял, в их деревне все умерли от СПИДа...

Уильям побелел.

— СПИД! У них СПИД?

— Нет. У них нет и не может быть СПИДа. Так говорит Сильвия.

— А она откуда знает? Хотя да, Сильвия же врач, но почему она сама выглядит такой больной? Она ужасно выглядит.

— С ней все будет в порядке. А мальчиков сначала надо будет подготовить к школе, чтобы они догнали сверстников, освоили программу, но я уверен, что они справятся.

— А их имена! Нельзя, чтобы здесь их звали Зебедеем и Умником. Их тут убьют с такими именами. Надеюсь, они не будут ходить в мою школу.

— Мы же не можем забрать у них их имена.

— Все равно, я не собираюсь защищать их.

Затем Уильям сказал, что ему пора идти к себе: делать уроки. Он ушел, но сначала, взрослые знали, Уильям зайдет в комнатку к малышке, если она еще не спит, чтобы поиграть с ней немного. Он обожал Селию.

Сильвия в тот вечер больше не появилась. Она бросилась на грудь старого красного дивана, раскинула руки и тут же заснула. Она погрузилась в глубины прошлого, утонула в объятиях, которые ждали ее.

Руперт и Фрэнсис как раз собирались ложиться спать, когда к ним постучался Колин и сказал, что он заглядывал к Сильвии и что она спит как мертвая. Позже, часа в четыре утра, какое-то смутное беспокойство подняло с кровати Фрэнсис. Она осторожно сходила вниз и, вернувшись, рассказала Руперту, которого разбудили ее перемещения, что Сильвия спит как мертвая. Уже забираясь обратно в кровать, она вспомнила, что точно такие слова употребил и Колин.

— Не нравится мне это, — сказала она. — Что-то не так.

Вместе с Рупертом они отправились в малую гостиную, где на диване неподвижно лежала Сильвия — мертвая.

Мальчики рыдали в кроватях. Первый порыв Фрэнсис — обнять их — был остановлен извечным опасением: не ее объятия нужны сейчас этим детям. Шли часы, а рыдания не прекращались, и тогда в комнату отправились Фрэнсис и Колин. Мать села с Умником, а сын с Зебедеем, они заставили детей оторваться от подушек, прижали их к себе, покачивая, стали уговаривать их перестать плакать, а иначе они заболеют, лучше сейчас спуститься с кухню, выпить чего-нибудь горячего, и, конечно, всем понятно их горе.

Первые, самые тяжелые дни остались позади, в прошлом остались и похороны, где Зебедей и Умник шли в первых рядах скорбящих. Были предприняты попытки дозвониться до миссии, но голос, незнакомый мальчикам, сказал, что отец Макгвайр забрал все свои вещи, а новый директор школы еще не въехал. Священнику оставили сообщение. Сестра Молли, которой тоже оставили сообщение, скоро перезвонила сама. Несмотря на то что находилась она далеко от цивилизации, ее голос звучал громко и ясно. Первым делом она спросила:

— Что вы думаете делать с мальчиками?

Молли полагала, что им можно будет найти работу в приюте для детей-сирот.

Когда до Лондона дозвонился отец Макгвайр, связь была хуже некуда, с большим трудом можно было разобрать его слова о том, что «бедняжка

Сильвия столько трудилась, что свела себя в могилу», что «будет лучше, если мальчиков удастся оставить в Британии», и что «здесь все весьма печально».

Горе Зебедея и Умника было столь велико и безутешно, что их новые друзья начали тревожиться и говорить между собой, что на детей (а ведь они в сущности были совсем еще детьми) обрушилось слишком много всего: их оторвали от родной почвы и бросили в совершенно непривычные условия... Нет, фраза «культурный шок» не в силах передать их ощущения, она уместна лишь для описания легкой дезориентации при перемещении из Лондона в Париж. Нет, невозможно вообразить глубину их потрясения, и поэтому не следует обращать внимание на трагические маски, в которые превратились лица Умника и Зебедея.

Была и еще одна составляющая в горе двух юных цимлийцев, этого их новые друзья не только понять, но и даже представить себе не могут. Мальчишки считали, что Сильвия умерла из-за проклятий Джошуа. Если бы она была рядом с ними, если бы сказала со смехом: «О, да как вам могла в голову прийти такая ерунда?» — ребята не поверили бы ей, но чувство вины стало бы меньше. А так вина сокрушила их, раздавила их своим весом. И поэтому оба сделали то, что все мы делаем, испытывая худшую и сильнейшую боль: они стали забывать.

Их память сохранила во всех подробностях бесконечные дни, когда они ждали возвращения Сильвии из Сенги, когда умерла Ребекка, когда Джошуа лежал под деревом и ждал: он не мог умереть, пока не поговорит с Сильвией. Долгую агонию ожидания они не забыли, не забыли и тот момент, когда Сильвия вновь появилась перед ними белым привидением, чтобы подхватить их и унести с собой в неизвестность. Все, что было после этого, скрыл туман: костлявую хватку Джошуа и его убийственные слова, пугающий перелет в Англию, прибытие в этот странный дом, смерть Сильвии... Все это стерлось, и вскоре в их памяти Сильвия превратилась в образ дружелюбного сильного человека, который опускается на колени в пыль, чтобы вправить вывих, или учит ребятишек читать, сидя между ними на веранде.

А Фрэнсис просыпалась по ночам оттого, что ее желудок сжимала ледяными пальцами тревога, и Колин тоже жаловался на то, что стал плохо спать. Руперт говорил им, что все дело в том, что до сих пор не принято никакого решения.

В очередной раз проснувшись от собственных слез, Фрэнсис почувствовала, что ее обнимают руки Руперта.

— Пойдем на кухню, я сделаю тебе чаю.

И когда они спустились, то за столом застали Колина — перед ним стояла бутылка вина.

За окном был глухой мрак зимней ночи. Руперт задернул занавески, сел рядом с Фрэнсис, положил ей на плечо руку.

— Вы двое должны наконец принять решение. И что бы вы ни решили, с этого момента вы должны выбросить из головы все остальные варианты. Иначе вы изведете себя и других.

— Правильно, — кивнул Колин и потянулся к бутылке.

Руперт сказал:

— Послушай, старина, не нужно больше пить, будь молодцом.

Почему-то Фрэнсис задело то, что ее мужчина, не отец ее сына, берет на себя роль отца: Руперт говорил так, будто перед ним сидит Уильям.

Колин оттолкнул бутылку.

— Мы оказались в безвыходном положении.

— Да, — согласилась Фрэнсис. — Что мы взваливаем на себя? Вы понимаете, что я буду мертва к тому времени, когда мальчики получат дипломы?

Рука Руперта на ее плечах напряглась.

— Но мы должны оставить их, — произнес Колин агрессивно, слезливо, умоляюще. — Если два котенка попытаются выбраться из ведра, в котором их топят, вы же не станете заталкивать бедолаг обратно. — Того Колина, который говорил это, Фрэнсис не видела уже многие годы, а Руперт вообще не встречал еще этого страстного юношу. — Так не делают! — восклицал Колин, нагибаясь через стол, направляя горящий взгляд на Руперта, затем на мать. — Не станете же вы заталкивать бедолаг обратно. — Вой вырвался из его горла; давно уже Фрэнсис не слышала этого воя. Он уронил голову на сложенные на столе руки. Руперт и Фрэнсис говорили глазами, без слов.

— Я думаю, — наконец произнес Руперт, — у вас есть только один путь.

— Да, — кивнул Колин, поднимая голову.

— Да, — сказала Фрэнсис.

— Тогда решено. И теперь выбросите все остальное из головы. Немедленно.

— Должно быть, шестидесятые навсегда поселились в нашем доме, — сказал Колин. — Нет, это не моя фраза, так Софи говорит. Ей кажется, что все это чудесно. Ей, конечно, легко говорить, ведь вся работа упадет не на ее плечи. Разумеется, она заявила, что будет участвовать — во всем. — Он засмеялся.

Когда оба они вернулись в кровать, Руперт сказал:

— Знаешь, мне кажется, я не перенесу, если ты умрешь. К счастью, женщины живут дольше мужчин.

— А я не могу представить, как можно быть без тебя.

Два этих умных и смелых человека редко говорили о своих чувствах. «Кажется, у нас пока неплохо получается» — это был максимум, что они позволяли себе. Настолько выбиться из рамок, накладываемых возрастом, — это требует определенной смелости; любить друг друга столь глубоко — в таких вещах редко признаются, даже самым близким людям.

Потом Руперт спросил:

— А что это за случай с котятами?

— Понятия не имею. В нашем доме такого точно не могло быть, да и в школе вряд ли. В прогрессивных школах не топят котят. Во всяком случае, не при учениках.

— Где бы это ни случилось, Колин надолго это запомнил.

— И никогда раньше не упоминал.

— Когда я был маленьким, то видел, как банда мальчишек мучает раненого пса. Тогда я узнал о природе человека больше, чем за всю остальную жизнь.

Начались уроки. Руперт учил Умника и Зебедея математике — помимо таблицы умножения, их познания по этому предмету равнялись нулю, сказал он, однако мальчишки так быстро все схватывают, что сумеют нагнать школьную программу. Фрэнсис выяснила, что читают оба превосходно и при этом запоминают текст целыми кусками. Они цитировали наизусть «Маугли» и Энид Блайтон, «Скотный двор» и Харди, но о Шекспире даже не слышали. Этот недостаток Фрэнсис готова была устранить, тем более что мальчишки уже приступили к освоению книжных полок в гостиной. Колин предложил вести занятия по истории и географии. Маленький атлас Сильвии сослужил хорошую службу: знания Умника и Зебедея о мире были широки, хоть и не глубоки. Что касается истории, то они изучали ее по книге отца Макгвайра «Папы римские эпохи Ренессанса» и мало что знали сверх этого трактата. Софи водила мальчиков в театр. А Уильям, без просьб с чьей-либо стороны, стал учить юных цимлийцев по своим старым учебникам — и эти уроки оказались для них самыми полезными.

Уильям говорил, что их усердие приводит его в замешательство: он сам был очень ответственным учеником, но по сравнению с ними...

— Можно подумать, что для них уроки — вопрос жизни и смерти. — И добавил, совершив для себя открытие: — Наверное, для них это и есть

вопрос жизни и смерти. Допустим, я всегда могу бросить учебу и стать...

— Кем? — спросили взрослые, ухватившись за нечаянную возможность подглядеть, что происходит в его голове.

— Садовником. Я бы хотел работать в ботаническом саду. Или, как Торо, жить возле озера и писать о Природе.

Сильвия умерла, не оставив завещания, и поэтому, сказали юристы, все деньги должны перейти к ее матери как ближайшей родственнице. А это были приличные деньги, которых хватило бы на обучение обоих мальчиков. На помощь призвали Эндрю, всегда умевшего ладить с Филлидой, и он в один из своих визитов в Лондон зашел к ней. Разговор между ними продлился недолго.

— Сильвия хотела бы, чтобы ее состояние пошло на оплату образования двух мальчиков из Африки, которых она практически усыновила.

— А, да, негритята, слышала о них.

— Я пришел к вам с просьбой отказаться от наследства в пользу мальчиков, поскольку мы все уверены, что именно так распорядилась бы деньгами сама Сильвия.

— Что-то не припомню, чтобы она говорила мне о них.

— Но, Филлида, вы же не виделись с дочерью столько лет!

Она мотнула головой с торжествующей и чуть удивленной улыбкой. Она словно аплодировала превратностям капризной Судьбы — как человек, выигравший в лотерею.

— Находка принадлежит нашедшему, — повторила она детскую присказку. — И вообще, мне тоже кое-что причитается за все мои труды.

Состоялся семейный совет.

Руперт, занимающий довольно высокую должность в газете и получающий соответствующую зарплату, знал, что, даже закончив оплачивать образование Маргарет (за Уильяма платила Фрэнсис), он будет содержать Мэриел.

Интеллектуальные романы Колина, которые Роуз Тримбл описывала как «элитарные книги для свергнутого класса», не могли обеспечить дохода сверх покрытия нужд на воспитание ребенка и содержание Софи (она часто была не занята в спектаклях). На себя он тратил так мало, что эти расходы можно было не принимать в расчет.

Фрэнсис в который уже раз оказалась в знакомой ситуации. Ей предложили стать соуправляющей небольшого экспериментального театра — осуществилось бы ее сокровенное желание, но денежная составляющая в этом случае была бы символической. А вот ее авторитетные, серьезные

книги закупались всеми библиотеками страны и приносили хороший доход. Значит, ей придется сказать театру нет и продолжить писать книги. Она пообещала, что возьмет на себя Умника, а Эндрю согласился платить за Зебедея.

Вообще-то Эндрю планировал завести семью, но зарабатывал он столько, что хватило бы и на обучение Зебедея. Тем более что пока семейное счастье не складывалось. Брак с Моной разваливался, не просуществовав и года, и беременность супруги не стала препятствием для развода. Последуют годы судебных разбирательств, но когда Эндрю все же удастся вырвать на день или два ребенка из рук ревлившей матери, то в большинстве случаев девочка будет проводить время с Селией, деля с ней няню и внимание Колина. Колин, как часто причитала Софи, оказался образцовым отцом, тогда как она сама была негодной матерью. («Ну и ладно, — щебетала Селия, когда Софи заводила об этом речь, — ты такая миленькая-красивенькая мамочка, что нам все равно».) Где же все разместятся?

Умник получит бывшую комнату Эндрю, Зебедей — комнату Колина. Колин станет работать в гостиной. Уильям останется к комнате на этаже Фрэнсис и Руперта. Няне предоставят бывшую комнату Сильвии.

А цокольная квартира? В ней ведь тоже кое-кто живет. В ней живет Джонни.

Однажды Фрэнсис шагала к остановке, и вдруг у нее за спиной раздались торопливые шаги и кто-то окликнул ее:

— Фрэнсис! Фрэнсис Леннокс!

Она обернулась и увидела женщину, которая так торопилась догнать ее, что с головы незнакомки сбился шарф и ветер трепал седые волосы. Фрэнсис не узнала ее... хотя... Да, кажется, это товарищ Джинни, из давно забытого прошлого.

— Ой, я не была уверена, — тараторила тем временем Джинни, — но да, это вы, что ж, мы все стареем, ничего не поделаешь, ой, батюшки, я просто не могла пройти мимо... Дело в том, что ваш муж... понимаете, я так беспокоюсь за него.

— Я видела его пять минут назад, он был в полном порядке.

— Ой, батюшки, вот ведь какая я глупая, я имела в виду Джонни, товарища Джонни. Если бы вы только знали, что вы оба значили для меня, когда я была молода, вы были таким примером, вдохновляли нас, товарищ Джонни и товарищ Фрэнсис...

— Извините, но мне...

— Надеюсь, я ничем вас не обидела.

— Просто скажите, в чем дело?

— Он так постарел, бедняга, так постарел...

— Мы с ним ровесники.

— Да, но одни люди переносят годы лучше, чем другие. Я только хотела, чтобы вы знали, — закончила Джинни и заторопилась прочь, помахав на прощание рукой испуганно и одновременно злобно.

Фрэнсис рассказала о встрече Колину, который сказал, что отец может хоть провалиться в тартарары, его это не касается. А Фрэнсис заявила, что ни за что на свете не станет склеивать разбитую Джонни чашку. Таким образом, миссия выпала на долю Эндрю, который как раз заехал в Лондон на полдня по пути из Рима куда-то еще. Он нашел Джонни в приятной комнате в доме достойнейшей женщины (так отозвался о ней Эндрю) в пригороде Лондона. Товарищ Джонни превратился в хилого старика с завитками седых волос вокруг блестящей лысины, пафосного и в то же время жалкого. Приходу Эндрю он обрадовался, но показывать этого не желал.

— Садись, — пригласил он. — Возможно, сестра Мег угостит нас чаем.

Но Эндрю остался стоять и сказал:

— Я пришел потому, что, как нам стало известно, у тебя настали нелегкие времена.

— А у тебя, говорят, дела идут прекрасно.

— Рад подтвердить, что твоя информация верна.

Немногие люди сочтут положение Джонни таким уж тяжелым, но нельзя забывать, что две трети жизни он провел в пятизвездочных отелях братских Советского Союза, Польши, Китая, Чехословакии, Югославии; он побывал везде — в Чили, в Анголе и на Кубе, где только ни проводились конференции товарищей. Весь мир был его бочонком устриц, его горшочком меда, его вечно открытой банкой белужьей икры, и вдруг Джонни оказался в комнате — в удобной комнате, но всего в одной, — и в его распоряжении была только пенсия по старости.

— Конечно, льготный проездной очень помогает.

— Наконец-то ты влился в ряды пролетариата, — заметил Эндрю, снисходительно улыбаясь с высоты своего благосостояния.

— И еще я слышал, что ты женился. Это хорошо, а то я уж начал бояться за твою ориентацию.

— В наши дни ни в ком нельзя быть уверенным. Но оставим мои дела, вернемся к тебе. Нам кажется, что ты не будешь возражать, если мы предложим тебе квартиру в цоколе.

— Весь дом принадлежит мне, так что не надо представлять дело так, будто делаешь мне одолжение.

На самом деле Джонни был доволен: ему предлагались целых две хорошие комнаты и при этом никаких расходов.

Колин помог отцу разложить вещи и предупредил, что пусть Джонни не ожидает, будто Фрэнсис будет обслуживать его.

— Когда это она обслуживала меня? Хозяйка из нее всегда была никудышная.

Надо признать, что Джонни не обременил семью своими нуждами. К нему постоянно шли почитатели с дарами и цветами — как к алтарю. Джонни находился в процессе превращения в святого человека, последователя какого-то древнего индуса. От него нередко можно было услышать: «Да, в молодости я, было дело, заигрывал с красными». Он сидел на кровати со скрещенными ногами, и его давнишний жест — вытянутые вперед руки ладонями вверх — прекрасно подошел к его новому имиджу. Джонни обзавелся учениками, преподавал медитацию и четверичный священный путь. В качестве платы ученики убирали его комнаты и готовили учителю еду, в которой основным ингредиентом была чечевица.

Но этот его новый образ можно рассматривать всего лишь как несколько подправленную роль в старой пьесе, где товарищей заменили сестры и братья. Тем более что старый образ не исчез навсегда, он всплывал на поверхность, когда к Джонни заглядывали его бывшие приятели — повспоминать о прошлом, словно грандиозного провала Советского Союза никогда не было, словно Империя все еще маршировала вперед. Состарившиеся мужчины и женщины, чьи жизни были освещены великой мечтой, сидели, говорили и пили вино, и эти собрания почти ничем не отличались от былых воинственных вечеров за одним лишь исключением: теперь они не курили, тогда как раньше из-за сигаретного дыма почти не видно было их лиц.

Перед тем как разойтись гостям, Джонни понижал голос, поднимал бокал и произносил тост:

— За Него!

И с нежным обожанием они пили за, вероятно, жесточайшего убийцу в истории человечества.

Говорят, что после смерти Наполеона на протяжении десятилетий старые солдаты собирались в тавернах и кабаках и тайком поднимали стаканы за Другого. Это были остатки Великой Армии (чьи героические подвиги не привели ни к чему, если не считать уничтожения почти целого

поколения мужчин), калеки, потерявшие здоровье и перенесшие невообразимые страдания. Ну и что, зато у них была Мечта.

У Джонни бывала еще одна посетительница. Она спускалась с рук Маруши, или Берты, или Шанталь и бежала к нему.

— Бедненький маленький Джонни.

— Это же твой дедушка! Его нельзя так называть.

Но малолетняя фея не обращала на благоразумные слова взрослых никакого внимания, она гладила старые, сморщенные щеки и напевала свою песенку:

— Это мой миленький дедуля, это мой бедненький Джонни.

Союз Колина и Софи произвел чудо, все чувствовали это. Старшие дети, Уильям, Умник и Зебедей, играли с девочкой деликатно, почти смиренно, словно общение с ней — это привилегия, дарованная им Селией.

Или они все сидели за столом, Руперт и Фрэнсис, Колин и Уильям, Умник и Зебедей и — довольно часто — Софи, за вечерней общей трапезой, которая могла длиться часами, и вдруг вбегало дитя, не желающее ложиться спать. Малышка хотела быть рядом с ними, но не сидеть на руках или на коленях. Она была погружена в свою игру, доверительно говорила сама с собой на разные голоса, которые взрослые уже научились различать.

— Вот Селия, да, вот она, это Селия, а вот моя Фрэнсис, а вот мой Умник...

Крошечная девочка в миниатюрных ярких одежках, ведущая бесконечные разговоры, не нуждаясь ни в ком, — хватит кусочка ткани, или цветочка, или игрушки, чтобы изобразить персонаж в воображаемой ею пьесе, — она была так прекрасна, что взрослые умолкали и сидели, глядя на нее, умиленные, зачарованные...

— А вот мой Уильям... — Девочка протягивала руку, чтобы коснуться его, убедиться, что он здесь, но смотрела не на Уильяма, а на цветок или игрушку. — И мой Зебедей...

Колин поднимался, такой неуклюжий и громоздкий рядом с дочерью, и вставал около нее, смотрел сверху.

— А вот — вот Колин, мой Колин, да, это мой папочка...

Колин, со слезами на щеках, наклонялся к Селии, словно вся его сущность переполнялась почтением, и протягивал к ней руки со стоном:

— Фрэнсис, Софи, вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное...

Но маленькая девочка не хотела, чтобы ее отрывали от игры и брали на руки, она уворачивалась и пела для себя и про себя:

— Да, мой Колин, да, моя Софи, и да, вот мой бедненький Джонни...



Творчество Дорис Лессинг воистину многогранно, среди ее сочинений произведения, принадлежащие к самым разным жанрам: от антиколониальных романов до философской фантастики. В 2007 году Лессинг была присуждена Нобелевская премия по литературе «за исполненное скепсиса, страсти и провидческой силы постижение опыта женщин».

Роман «Великие мечты» представляет собой эпохальное полотно, рассказывающее о жизни трех поколений англичан. Автор затрагивает множество проблем: положение женщин в современном мире, национально-освободительное движение в Африке, борьба со СПИДом. Великие мечты, будь то победа коммунизма на всей планете или создание вакцины от смертельной болезни, зачастую остаются всего лишь красивыми иллюзиями, но человек, у которого есть Мечта, чувствует, что прожил жизнь не зря.

В который раз уже мы убеждаемся, что Дорис Лессинг принадлежит к числу наиболее мудрых и интеллигентных литераторов современности.

PHILADELPHIA BULLETIN

W W W • A M P H O R A • R U



Рисунок на обложке
Светланы Кондесюк



ИЗДАТЕЛЬСТВО
амфора

notes

Примечания

1

Корпоративный дух (фр.).

2

Гамлет, акт IV, сцена 5, перевод П. П. Гнедича.

3

В семейном кругу (фр.).

4

Дух, интеллект (*нем.*).

5

Время *(нем.)*.

6

Вместо родителей (*лат.*).

7

При написании латиницей имена *Юлия (Julia)* и *Джонни (Johnny)* начинаются с одной и той же буквы.

8

Деръмо (*фр.*).

9

Я тебя люблю (*нем.*).

10

Старорежимная (фр.).

11

Бездушная прекрасная дама (*фр.*).

Table of Contents

[Великие мечты](#)

[От автора](#)

[Примечания](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[11](#)